ВАЛЬТЕР БАУМЕРТ

ПОЛЕТ СОКОЛА

ЮНОСТЬ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА





Вальтер Баумерт (род. в 1929 г.) — известный в ГДР кино- и телесценарист, получил философское образование в Йенском университете.

Баумерту принадлежит большое число сценариев художественных и документальных фильмов, многие из которых посвящены различным событиям из истории германского рабочего движения. Несколько изданий в ГДР выдержала его книга о пролетарском поэте, друге Энгельса, Георге Веерте. Самая большая его удача — книга о юности Фридриха Энгельса, вышедшая в ГДР в 1981 году.

ВАЛЬТЕР БАУМЕРТ

ПОЛЕТ СОКОЛА



WALTER BAUMERT

SCHAU AUF DIE ERDE

Die Jugend
des
Friedrich Engels

Roman

Verlag Neues Leben

ВАЛЬТЕР БАУМЕРТ

ПОЛЕТ СОКОЛА

ЮНОСТЬ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

Роман

Перевод с немецкого
Ю. А. Архипова

МОСКВА
«ПРОГРЕСС»
1985

ББК 84. 4 Ге
Б 29

Предисловие Б. Г. Тартаковского
Научная редакция В. В. Сазонова
Редактор Т. И. Бородулина

Баумерт В.

Б 29 Полет сокола: Пер. с нем./Предисл. Б. Тартаковского. — М.: Прогресс, 1985. —

В романе Вальтера Баумерта, писателя из ГДР, рассказывается о детских и юношеских годах Фридриха Энгельса. Показ духовного развития молодого Энгельса составляет основное содержание книги. Баумерт с достаточной степенью достоверности воссоздает атмосферу того времени и всесторонне раскрывает обстоятельства, повлиявшие на формирование мировоззрения Фридриха Энгельса.

Б $\frac{0103010000-571}{006(01)-85}$ 1—85

ББК 84.4 Ге
И (Нем)

© Verlag Neues Leben, Berlin 1981

© Оформление, перевод на русский язык с изменениями, предисловие издательство «Прогресс» 1985

Предисловие

Жизнь Фридриха Энгельса не раз привлекала к себе внимание писателей, пытавшихся в художественных образах воссоздать жизненный путь этого необыкновенного человека, раскрыть процесс становления его личности. Вряд ли следует говорить о том, сколь трудно и сложно писать о великих, которые и столетие спустя после смерти остаются в сознании миллионов живыми, какую огромную ответственность берут на себя авторы подобных художественных произведений. Дело это нелегкое, требующее большого таланта и огромного труда, но, в случае удачи, благодарное.

И вот перед нами роман немецкого писателя Вальтера Баумерта о юности Фридриха Энгельса. Его с полным правом можно назвать удачным и по форме и по содержанию.

Действие романа охватывает период примерно в 18 лет, начиная с детских лет и до того момента, когда у Энгельса созревает решение посвятить свою жизнь борьбе за освобождение рабочего класса. Хронологически роман завершается 1843 годом. Выбор этого отрезка времени, разумеется, не случаен. Он определен основной целью автора — показать путь духовного развития молодого Энгельса. А путь этот был трудным и порой мучительным. Совсем еще молодой человек, родившийся и получивший воспитание в консервативной, респектабельной семье почтенного фабриканта, в атмосфере, насквозь пропитанной религиозными традициями, с юных лет предназначенный отцом к карьере преуспевающего коммерсанта, буквально в несколько лет стал не только одним из образованнейших людей своего времени, но и самостоятельно пришел к совершенно новому, материалистическому пониманию исторических закономерностей, к новому мировоззрению, выражающему интересы самого прогрессивного класса буржуазного общества — пролетариата. Как объяснить этот необычный феномен? Какие обстоятельства, какие наблюдения и жизненные впечатления могли обусловить эту необыкновенно быструю эволюцию? Какой необычайной одаренностью, какими высочайшими нравственными качествами должен был обладать этот юноша, чтобы отказаться от перспектив, суливших ему все возрастающее благосостояние, и избрать нелегкий, чреватый опасностями путь революционера!

Чтобы найти ответ на все эти вопросы, необходимо было не только проследить эволюцию взглядов молодого Энгельса, но, что важнее всего, вскрыть те внешние обстоятельства и внутренние психологические причины, послужившие ее основой. Вальтеру Баумерту удалось сделать это несмотря на то, что источников, из которых можно было узнать о жизни Энгельса именно в этот период, сравнительно немного. Его эпистолярное наследие 30-х — начала 40-х годов XIX века дошло до нас далеко не полностью; совсем немного и свидетельств современников, очень невелико число их писем к Энгельсу и о нем. Все существующие источники, как видно из содержания романа, автором широко и творчески использованы. В полном объеме привлек он и литературные опыты молодого Энгельса, а также всю его раннюю публицистику. В результате автору удалось, на наш взгляд, с достаточной степенью достоверности воспроизвести как общую атмосферу, в которой протекали детские и юношеские годы Энгельса, так и отдельные моменты его биографии: жизнь в семье, учеба в гимназии, служба в Бремене, пребывание в Берлине и Манчестере.

Роман Баумерта нельзя назвать документальным повествованием, не является он и беллетризованной биографией. Избранная автором форма позволяет ему, сохраняя точность в изображении основных фактов жизни Энгельса, вводить в текст повествования вымышленные эпизоды и наряду с историческими личностями — вымышленные персонажи. Но все это не нарушает достоверности, не выходит за рамки допустимых и неизбежных в таком произведении домыслов, не кажется искусственным и надуманным, не противоречит тому, что нам известно о детстве и юности Энгельса. Напротив, это позволяет автору более рельефно и убедительно показать различные факторы, влиявшие на формирование личности молодого Энгельса, раскрыть процесс внутреннего развития ребенка и юноши, показать, как в его сознании под воздействием внешних обстоятельств постепенно зрели элементы, определившие его жизненный путь, прямо противоположный тому, который, казалось, был бы естественным для молодого человека, вышедшего из семьи потомственных фабрикантов. Вальтер Баумерт остается верен исторической правде в широком смысле слова, он не переступает той грани, за пределами которой начинается уже область чистой фантазии или модернизации.

Повествование в романе ведется не от лица главного героя, но присутствует он на каждой странице. Баумерт делает его действующим лицом всех описываемых событий, которые и показаны, как правило, через восприятие сначала ребенка, а потом талантливого, пытливого юноши. Все внимание сосредоточено на том, чтобы показать именно это, усложняющееся с годами восприятие окружающего юношу мира, обуревающие его сомнения, вызванные противоречиями и контрастами, свидетелем которых он является, его страстные мучительные поиски выхода из этих сомнений, его неустанное желание понять причины социального неравенства, тех несправедливостей, которые ранят его душу.

Ненавязчиво и последовательно в книге прослеживается идейная эволюция молодого Энгельса — его освобождение от религии, постепенное осознание им несправедливости существующего общественного

устройства, его близость к оппозиционной литературной группе «Молодая Германия», увлечение философией Гегеля и установление тесных связей с младогегельянцами, философски обосновывавшими необходимость политических перемен, дружба с кружком «Свободных» в Берлине, его переход на материалистические позиции.

Логично и убедительно Баумерт показывает, как молодой Энгельс в кратчайшие сроки овладевает трудами представителей классической немецкой философии и уже в процессе их изучения постепенно преодолевает свойственную им известную ограниченность. Показано и возникновение у Энгельса интереса к политической экономии, прежде всего к классической английской школе. Этот интерес был вызван стремлением разобраться в причинах социального неравенства, ужасающей нищеты рабочих, которую он наблюдал еще в детские годы в Бармене, затем в Бремене, Берлине и — в еще более широких масштабах — в Англии. Это же стремление побуждает Энгельса и к изучению социалистических теорий французских и английских утопистов. Рассказывая о личных отношениях Энгельса с последователями Оуэна в Англии, о его тесных контактах с чартистами, автор показывает, как интерес к социализму приобретает у него устойчивый характер, как он переходит на социалистические позиции.

Баумерт постоянно на разных этапах жизни сталкивает своего героя с рабочими. Молодой Энгельс глубоко сочувствует их бедственному положению. Это заставляет его рано задуматься над проблемой неравенства и несправедливости. Жизненные конфликты и вопиющие контрасты, с которыми он встречается все чаще и чаще, приводят его к пониманию того, что никакая благотворительность, никакое сочувствие, никакие попытки материальной помощи не могут решить эту проблему или даже частично улучшить положение трудового народа. В Англии он впервые ощутил мощь объединенных рабочих, убедился в их стойкости и высоких нравственных качествах. Именно здесь Энгельс проникся уверенностью в том, что только сами рабочие способны освободить себя от гнета эксплуатации и что добиться этого они могут только в результате радикального переворота в общественных отношениях.

В романе очень много действующих лиц. Некоторые появляются эпизодически, другие действуют на протяжениии значительного отрезка времени, но все они в той или иной степени оказывают влияние на формирование личности молодого Энгельса, тех черт его характера, которые позволили ему в конце концов сознательно избрать для себя путь революционного борца. Большинство персонажей романа — реально существовавшие люди: это родственники Энгельса и его барменские друзья; немецкие литераторы — Карл Гуцков, Людвиг Виль, Карл Иммерман, издатель Карл Шюнеман, а также берлинские младогегельянцы — Эдгар Бауэр, Эдуард Мейен, Карл Кеппен; профессора Берлинского университета — Филипп Мархейнеке, Карл Михелет, философ Фридрих Шеллинг; английский социалист-утопист Джон Уотс и один из лидеров левого крыла чартистов Джордж Джулиан Гарни и многие другие. Все они изображены автором в соответствии с исторической правдой.

Поскольку роман кончается хронологически весной 1843 года, Карл Маркс появляется в нем всего один раз. Баумерт описывает встречу

Маркса и Энгельса в редакции «Рейнской газеты» в ноябре 1842 года. Документальных данных об этой встрече крайне мало, по воспоминаниям же Энгельса она была «весьма холодной». Попытка автора воссоздать беседу двух будущих друзей и соратников представляется в общем удачной.

Есть в романе и вымышленные герои, которым часто отводится далеко не эпизодическая роль. Как правило, они выражают идеи того слоя или класса общества, к которому принадлежат. Это и старик француз Ростан, от которого маленький Фридрих впервые услышал слово «революция», и английский рабочий Робсон, своей трагической судьбой заставивший молодого Энгельса серьезно задуматься над бесчеловечностью существующего строя, и многие другие. Значительное место в романе отведено юношеским увлечениям Энгельса. Здесь, как правило, автор дает волю своему воображению. Но и Агнесса, и Магдалена, и Сюзанна, не говоря о реально существовавшей Мери Бёрнс, помогают Баумерту открывать в своем герое все новые и новые стороны его богатой человеческой натуры. Все образы этого романа не схематичны, они своеобразны и достаточно ярки и рельефны.

С большой теплотой изображает Баумерт деда Фридриха по матери, человека мудрого и доброго. Именно он, угадав в своем внуке задатки человека незаурядного, по мере своих сил старается их развивать. Он поддерживает в мальчике страстное желание учиться, учит его мечтать, мечтать не бесплодно, а действенно, не бояться реальной жизни со всеми ее сложностями и несправедливостями. «Мышь бывает довольна и старой коркой хлеба, — говорит он внуку. — Но соколу этого мало. На рассвете он начинает свой полет и поднимается высоко, под самые облака, парит широкими кругами иной раз до самой ночи, пока не отыщет то, что его насытит». «А где же взять крылья?» — недоумевает мальчик. «Мысли уносят дальше, чем самые мощные крылья! — отвечает его мудрый учитель. — Ну что? Мышь или сокол?» «Сокол!» — выбирает Энгельс. И внук взлетел высоко, так высоко, что увидел весь мир, а увидев, сделал все, что в его силах, чтобы «развеять ложь и заблуждения, чтобы понять тайну творения». Обо всем, что предшествовало этому взлету, читатель узнает из этой талантливой, увлекательной книги.

Б. Г. Тартаковский

К советскому читателю

27 января 1932 года в клубе промышленников Дюссельдорфа, расположенного в нескольких километрах от города, где родился и вырос Фридрих Энгельс, состоялась встреча крупнейших боссов германской тяжелой индустрии с Адольфом Гитлером. Нацистский фюрер обещал этим господам окончательно уничтожить немецкое рабочее движение.

В начале марта 1933 года данное Гитлером обещание подкрепил в избирательном манифесте Герман Геринг. «Мы не только уничтожим эту чуму, — заявил он. — Мы вычеркнем само слово «марксизм» из каждой книги. Через пятьдесят лет в Германии вообще не останется людей, которые будут знать, что означает это слово». Несколько недель спустя, 10 мая 1933 года, в костер, разожженный фашистами на Оперной площади в Берлине, первыми полетели книги Маркса и Энгельса.

Так свершилось непостижимое: я, немецкий мальчик из семьи прусского чиновника, окончивший классическую гимназию, лишь на семнадцатом году своей жизни, только после уничтожения гитлеризма, услышал о двух величайших мыслителях Германии — Марксе и Энгельсе.

Летом 1945 года, освобожденный из американского плена, я вернулся в родную Тюрингию. В одной из книжных лавок Эрфурта я рылся в книгах, запрещенных для нас в мрачные годы фашизма. Одна книжка заинтересовала меня. Называлась она «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Автором ее был Фридрих Энгельс. Выпустило книгу издательство советской военной администрации. Я купил ее и, читая, был покорен богатством идей. Она стала одной из книг, открывших мне новый мир, распахнувших двери в новую, настоящую жизнь.

Само собой разумеется, что тогда я и не подозревал, что через двадцать пять лет приму смелое решение воскресить в историко-биографическом романе детские и юношеские годы того самого Фридриха Энгельса.

Чтобы достойно справиться с избранной темой, потребовались годы напряженного труда, все мои знания и способности. Те многие месяцы, которые я провел с моими героями, следуя за юным Прометеем в его неукротимом стремлении к истине и справедливости, были прекраснейшим временем в моей жизни.

Прошло пятьдесят лет, отведенных Герингом на то, чтобы вытравить из сознания людей имена Маркса и Энгельса. Сегодня во всем мире мысли и чаяния двух основателей научного коммунизма как никогда полны жизненной силы. С их именами большинство простых людей всех континентов связывает надежды на мирную жизнь и социальную справедливость. Каждый немец вправе бесконечно гордиться тем, что принадлежит к нации, давшей миру этих титанов.

Работая над романом, я не забывал о том, что только благодаря советскому народу, его героизму и самопожертвованию было спасено и сохранено величайшее духовное наследие немецкого народа. Что стало бы с нашей матерью-Землей, если бы Гитлер, Геринг и их подстрекатели из клуба промышленников осуществили свои зловещие планы?!

Я рад, что моя книга выходит в вашей стране, стране последовательно, с первых дней своего существования отстаивающей мир на нашей Земле. Если она, дорогие друзья, понравится вам, увлечет вас, это будет для меня лучшей наградой.

Вальтер Баумерт

КНИГА ПЕРВАЯ

В руце божией



Глава первая

МЕЛЬНИЦА ЭНГЕЛЬСА

В бесконечности космоса есть небольшое скопление галактик, именуемое «местной системой». В нее входит устойчивая спиралевидная туманность средней величины, образуемая примерно ста миллиардами солнцеподобных звезд, вращающихся вокруг центра. Это — МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. В боковом его ответвлении, между двумя далеко выступающими рукавами, движется по своей орбите Солнце в сопровождении группы планет-спутников. Одна из немногих больших планет этой группы из космоса кажется голубой. Ее параметры довольно точно приходятся на середину солнечной биосферы. Это планета жизни, наша добрая мать-Земля.

В конце сентября 1825 года на земле жило около миллиарда человек. Одним из них был семидесятишестилетний Иоганн Вольфганг фон Гёте, немецкий писатель и министр великого герцогства Саксен-Веймарского и Эйзенахского. Он жил в Веймаре, на Фрауэнплане. Другого звали Фридрих Энгельс, или попросту Фриц, он был старшим сыном зажиточного немецкого текстильного фабриканта, а жил в Бармене, в Вуппертале, на Брухерплац, и было ему от роду четыре года и десять месяцев.

В это утро оба по обыкновению проснулись рано. Тот, что постарше, сразу вспомнил о письме, которое он получил вчера от Котты. Этот издатель хотел выпустить сорокатомное собрание его литературных произведений. Что ж, думай

об этом или не думай, а жизнь приближается к концу. Вторая же часть «Фауста» все еще не окончена. Не найден еще ответ на последний вопрос, может быть, единственный, над которым стоило ломать голову, — вопрос о смысле человеческой жизни. Божественное через человека достигает сознания самого себя, утверждает Гегель. Как же лихо расправляются с важнейшими проблемами философы. Берут за первооснову собственное мышление и на этой почве воздвигают вселенную. А вот поэт должен держаться жизни... Ты окупишь свои семьдесят тысяч талеров, Котта, но вторую часть «Фауста» получишь лишь после моей смерти, если только судьба отпустит мне силы и время закончить его.

Вот о чем размышлял Гёте в это сентябрьское утро. Оставим же его наедине со своими мыслями и обратимся к малышу, который был еще далек от того, чтобы задумываться о смысле и ценности человеческой жизни.

Его мир был целостным и единым, неразрывно слитым с собственным я. Он состоял из его матери, отца, сестренки Марии и братишки Германа, Ульрики, его няньки, и фрейлейн Генриетты, а также большого количества сменявшихся лиц, из которых самым важным был дедушка из Хамма. В этот мир входил и обширный родительский дом, в котором была уйма комнат, коридоров, лестниц, ниш и еще не до конца освоенных темных подвалов и чердаков. К нему относился и огромный сад, называвшийся Урочищем Энгельсов. С трех сторон сад замыкался множеством всевозможных построек. Рядом с их собственным домом стояли такие же солидные дома дяди Каспара, дяди Августа, дяди Морица, а также бесконечное множество строений поменьше, сараев и конюшен, в которых находились кареты — новые, блестящие, и старые, с ржавыми ступицами колес и запылившимися кожаными сиденьями. А между ними располагались весело раскрашенные домики с фахверками, в которых жили одни только добрые люди. Со стороны же реки Вуппер сад был огражден высокой стеной. За ней происходили удивительнейшие события, о которых еще пойдет речь, поскольку они очень занимали маленького Фридриха.

И надо всем этим ярко сияло солнце, лишь иногда его закрывали тучи, грохотали грозы и наступали печальные дождливые дни. Но дни солнечные, казавшиеся бесконечными, полнились множеством открытий и чудесных событий. И утром каждого из таких дней мальчик, с ощущением счастья открывавший глаза, рождался словно бы заново.

На улице уже занялся новый день. Взошло солнце. Оно

проникало сквозь щели ставен, пуская веселых зайчиков по стене над дверью. Вчера за чаем дядя Август сказал маме: «Такого длинного лета еще не было». Да, лето стоит прекрасное. В саду пахнет медом и сухой листвой. В кустах все жужжит и стрекочет. У раскидистых яблонь поставили лесенки, по которым можно лазать на самый верх. Над крышами кружатся стаи птиц. На лужайке — большие стога с мягким сеном, в котором так хорошо кувыркаться. День предстоит еще длинный-предлинный. Ах, какое раздолье!

Фридрих легко, без всякого перехода расставался со сном. Из хаоса запутанных снов он быстро переносился в действительность с ее обилием ярких картин и самых увлекательных планов.

Пойти что ли сегодня опять к школе? Но тогда уж лучше идти длинной дорогой мимо роз, малины и яблонь? Из сада можно будет заглянуть в классную комнату, в которой сидит кузен Карл. Летом окна там широко распахнуты, и можно услышать, о чем рассказывает господин священник. А еще забавнее послушать, как он храпит. Школяры тогда выглядывают в окно, строят рожи и вообще веселятся. Тетя Юлия говорит: «Священник пьет. Карл ничему не научится в этой захудалой школе, но мы не можем себе позволить нанять домашнего учителя. А все из-за этого кризиса».

Разве дядя Каспар бедняк? Нет, бедняки выглядят иначе. И всегда в руках у них шапка. Их можно встретить не только у церкви. Они работают и на нашей фабрике. Или попрошайничают. Они всегда «голодают». Я тоже бываю голоден, но я не «голодаю». У бедняков тоже есть дети. Много, много детей. «Голодают» ли они? Во всяком случае, многие из них болеют. А жаль. Ведь из-за этого мне не разрешают с ними играть, чтобы я не заболел и не умер, как это уже чуть было не случилось однажды. Но эта история очень давняя, и почти все о ней забыли.

Нет, мне не хочется умирать. Жить на земле так здорово! Не всегда, конечно. Плохо, например, когда Ульрика вечером рано тушит лампу вместо того, чтобы рассказать еще одну сказку. Правда, сказки у нее одни и те же, но они такие интересные. А вот мама каждый раз рассказывает новую. Но она сидит у его постели только по воскресеньям. А самые лучшие сказки знает дедушка. И зачем он живет так далеко? Мог бы ведь жить и у нас, в нашем огромном доме, и тогда рассказывал бы каждый вечер по сказке.

В доме еще тихо. Всегда, когда отец в отъезде, по утрам в доме долго царит тишина. Может, встать? Ульрика навер-

няка уже на ногах, возится, должно быть, на кухне. Можно сказать, что ему захотелось есть. И тогда она сделает ему бутерброд. Но вдруг она расскажет маме? А та станет браниться, потому что вставать до гонга запрещено, ребенок должен высыпаться. Скорее бы вырасти. Тогда можно вставать, когда захочешь, а то и вовсе не ложиться.

Отчего это мама спит так подолгу? Фридрих почти рассердился. Но потом вспомнил, что ведь мама много болеет в последнее время. Так уже с ней было однажды. Она болела, болела, а потом господь бог вдруг подарил ей Марию.

Вспомнив о сестренке, Фридрих улыбнулся. Как забавно она топает ножками по половицам. А его называет «Иц», потому что «Фр» еще не умеет выговаривать. Может, господь бог подарит нам еще одну сестренку?

Мысленно он был уже в саду. Неужто правда, что если слишком мало лежать в постели, то на всю жизнь останешься маленьким? Ну из-за одного-единственного раза этого не случится. Надо только тихонько спуститься по лестнице, осторожно прокрасться мимо кухонной двери и пройти через гостиную на веранду. Добраться бы только до конюшни, дать Пегасу свежей травы. Да обнять Лотту за теплую шею. Выйти всего на несколько минут, а потом быстренько вернуться в дом. И незаметно подняться к себе.

Решение было принято: надо вставать! Никто не заметит. Да и некому. Он уже натянул было штаны, потом заколебался: а вдруг заметит? ЭТОТ, всезнающий и всевидящий. Но, может, и не заметит. Может, он тоже спит, как мама, и при этом храпит, как священник.

Фридрих, намокнув от росы, нарвал полную охапку свежей травы и подбежал к конюшне. И вдруг — как гром среди ясного неба — перед ним вырос господь бог!

То был высокий старик с длинной белой бородой. На бледном лице с большим лбом выделялись выцветшие синие глаза. Его волосы были расчесаны на пробор и падали двумя волнами на плечи. На нем был длинный, коричневый плащ, подпоясанный толстой белой веревкой.

О, Фридрих хорошо знал, как выглядит господь бог! Недаром его место в церкви находится прямо напротив фрески «Сотворение мира», на которой изображен ОН, парящий между небом и землей с распростертыми, благословляющими руками. А внизу, на земле, видны деревья, пестрые цветы, смешные ягнята, яркоперые птицы и среди них одиноко прогуливающийся человек. Фридрих провел перед этим изображением немало часов и очень хорошо запомнил

его, особенно самого небесного отца. И вот теперь точь-в-точь он стоял перед ним.

Но потом Фридрих засомневался. Стоявший перед ним старик был, во-первых, меньше, а во-вторых, слишком уж похож на человека. И потом: как бы это он с облаков вдруг спустился в конюшню?

— Ты не господь бог? — спросил Фридрих, чтобы окончательно удостовериться.

Старик удивился:

— Как это тебе пришло в голову, мой мальчик?

— Потому что ты на него похож.

Старик смущенно погладил бороду.

— В самом деле? Похож?

Фридрих кивнул.

Старик покачал головой:

— Нет, я не господь бог.

— А кто ж ты тогда? Я еще ни разу тебя не видел.

Старик подошел поближе.

— А ты кто? — в свою очередь спросил он.

— Меня тут все знают. Я Фриц и живу в этом доме.

— Вот оно что, — сказал незнакомец и протянул Фридриху руку. — А я папаша Ростан.

Фридрих разглядывал его с нескрываемым любопытством. Он уже не раз слышал о папаше Ростане, который с незапамятных времен живет на плотине, где грохот и брызги, редко показывается на людях, потому что у него важная работа — он обеспечивает фабрику водной энергией. Фридрих, правда, не знал что это такое — «водная энергия». Но было ясно, что это что-то значительное и великолепное. Карл, его старший двоюродный брат, уже видел эту энергию и рассказывал о ней взахлеб и с восторгом, хотя из его рассказов и мало что можно было понять.

— А что ты делаешь тут, на конюшне? — спросил Фридрих.

— Да вот запрягаю Лотту в телегу, на которой лежит новое колесо для мельницы.

— Можно я тебе помогу?

— Конечно, если хочешь.

Фридрих на радостях тут же бросил траву. Пегас был забыт. Ему разрешили вывести Лотту и помочь запрягать ее.

И вдруг он опять усомнился:

— А ты правда не господь бог?

Старик покачал головой:

— Правда нет. Клянусь тебе.

Фридрих поверил и решился высказать свое самое заветное желание.

— Возьмешь меня с собой на мельницу?

— Отчего не взять, коли матушка позволит.

Фридрих пришел в восторг.

— Я спрошу у нее.

Стрелой помчался он к дому. Но у самой веранды вдруг остановился как вкопанный. В доме было тихо. Гонга еще не было! Мама спала. И даже если разбудить ее, все равно не отпустит, скажет, что сначала надо умыться и позавтракать. В лучшем случае пообещает, что вот когда вернется из Парижа отец и у него будет время, то он покажет ему мельницу. На этом все и кончится. Фридрих вернулся к папаше Ростану. Когда он подошел к повозке, по лицу его текли слезы.

Папаша Ростан погладил его по голове.

— Стало быть, не разрешила.

— Я даже не стал спрашивать, она еще спит, — сквозь слезы сказал Фридрих.

Папаша Ростан взял его на руки и посадил рядом с собой на козлы.

— Возьми поводья и подожди меня. — Он пошел к дому. И случилось чудо: пять минут спустя повозка с Фрицем и стариком катилась по Брухерплац, в направлении Энгельсштрассе, которая вела к плотине и могучей мельнице Энгельсов.

— Я сказал девушке на кухне, чтобы мать твоя не беспокоилась, только и всего, — обернулся папаша Ростан к мальчику. — Та, конечно, чуть не в обморок. Но это ничего, не страшно, — добавил он лукаво.

Фридрих озадаченно посмотрел на старика. Просто сказать Ульрике, а маму даже не спросить... Такое ему даже не могло прийти в голову! Папаша Ростан, казалось, угадал его мысли. Он обнял его за плечи:

— Если всегда слушаться женщин, то господи боже мой... — сказал он и рассмеялся, подставляя бороду солнцу.

А вместе с ним, отбросив сомнения, засмеялся и Фридрих.

Позднее, когда они уже приближались к бутовой сторожке, на которую Фридрих столько раз с завистью смотрел издалека, старик снова заговорил.

— Отца твоего я тоже в первый раз взял на мельницу, когда ему было не больше, чем тебе сейчас. Ох, и скандал закатила тогда твоя бабушка! Но городской советник, твой дед, тот только смеялся. Вот уж был мужчина так мужчина!

Ему все было по плечу. С ним я объездил полсвета, пока мы в Лионе не нашли подходящую модель для нашей установки. Он-то и настоял на строительстве плотины вопреки твоему осторожному прадедушке да насмешкам мелких ремесленников с их коротким умишком. Что бы с вами, Энгельсами, было, если бы дед не настоял на своем? Что было бы с этой землей? Ведь все, что ты здесь видишь, мой мальчик, — все эти прядильни, ткацкие цехи, белильни и красильни, улицы и мосты, школа, инвалидный дом и больница, ратуша, городской парк, — существует благодаря энергии и настойчивости городского советника. Если бы не твой дед, здесь было бы несколько сонных ткацких поселков да деревень, вот и все. А начало всему положили плотина да мельница. — Папаша Ростан выпрямился: — И я в этом во всем участвовал — с самого начала.

Фридрих посмотрел на старика с восхищением. Невольно он и сам подтянулся. Он не сомневался: папаша Ростан — человек значительный. И все это было не во сне: вот он сидит рядом с ним и сейчас ему покажут тайну мельницы Энгельсов.

Но размышлять об этом было уже некогда. Они приехали. Остановились на нешироком дворе. Грохот падающей и пенящейся воды был здесь так силен, что едва можно было слышать собственные слова. Но это были еще пустяки по сравнению с тем шумом, который обрушился на них, когда они вошли в мельничное здание. Темный коридор вел к огромному, залитому светом залу. Земля под их ногами дрожала. Воздух сотрясался. Перед ним, над ним, под ним — всюду был грохот и рев воды. Фридрих боялся вдохнуть всей грудью, чтобы не захлебнуться брызгами. Он уже очутился у подножия огромного колеса, которое медленно надвигалось на него. Инстинктивно он спрятался за папашу Ростана. И вдруг его осенило, да это же она, она! Он вскинул руки от ликования и стал, пританцовывая, кричать:

— Водная энергия! Водная энергия!

Когда Фридрих немного успокоился, смотритель плотины повел его выше, к шлюзу. Указав рукой на что-то вроде решетки, он сказал:

— Вот этой штукой можно преградить дорогу воде, и тогда колесо остановится, а вместе с ним и все веретена и ткацкие станки внизу на фабрике.

Фридрих недоверчиво взглянул на смотрителя. Фабрика «Каспар Энгельс и сыновья», которая стольким рабочим давала заработок и хлеб. Царство чуда за высокой оградой

сада. Неужели река приводила все это царство в движение? Невозможно себе и представить!

— Но как же это? — спросил он.

— Пойдем, покажу! — ответил смотритель и повел его на самый верх здания. Шум воды становился все тише, его все больше заглушал какой-то другой шум, в котором смешивались стук и свист, гул и шипение. Наверху папаша Ростан отворил какую-то дверцу. Как зачарованный, Фридрих смотрел на путаницу вращающихся шестеренок. Тут были огромные, медленные, как улитки, и совсем маленькие и такие шустрые, что нельзя было различить их зубья и спицы. Старик указал рукой на две могучие шайбы, вращавшиеся с бешеной скоростью.

— Маховики, — изо всех сил прокричал он Фридриху на ухо.

К их планкам были приделаны кожаные ремни, выбегавшие из отверстия мельницы. Папаша Ростан потянул мальчика к другой двери. Открылся узкий проход по мосту. Вдоль широких кожаных ограждений Фридрих зашагал за стариком к зданию фабрики. В конце прохода старик щелкнул задвижкой. Фридрих заглянул в зал, там он увидел длинный ряд вращающихся веретен. Между ними сновали женщины с мотками пряжи, связывали нити. За этим залом был другой, поменьше. Заглянув в него, Фридрих так и подскочил: он его вспомнил.

— Папаша Ростан, — закричал он, — вот же они!

За двумя длинными столами сидели дети и щипали вату. За ними в полумраке высилась гора заготовочного сырья, в которой копошились малыши... Эту гору он и узнал. Он был здесь когда-то среди этих детей. Это было в тот далекий, но такой памятный для него день...

Теплое утро в саду. Ульрика устроилась со штопкой на белой скамье на лужайке. Старуха садовница копалась рядом на грядке с клубникой. Его мяч закатился в траву. И он сам побежал за ним. Все дальше, дальше и дальше. За лужайку, в самый конец сада. Там, где теперь высокая стена, в то время был обыкновенный забор с деревянными планками. С удивлением Фридрих увидал за забором совсем другой мир. Мяч был забыт. Забыты Ульрика, лужайка, его привычный мир. Просунув голову между планками забора, он с жадностью наблюдал другой мир — фабричный. Нагромождение больших и маленьких зданий. Площадь с тележками. Множество людей, которые озабоченно сновали туда и сюда, запрягали лошадей, сгружали ящики, грузили

рулоны. Издалека доносились крики Ульрики и садовницы — они разыскивали его. Когда голоса приблизились, он, испугавшись, что его найдут и насильно уведут с наблюдательного поста, стал продираться сквозь кусты, прижимаясь к забору. В одном месте в заборе была дыра, через которую ему с трудом удалось протиснуться на ту сторону. Он пошел по фабричной площади, потом забрел в большое здание и вошел в зал, из которого доносились стук и тарахтенье. С испугом он смотрел на ряд странных, одинаковых чудовищ, которые непрерывно двигались и тарахтели. Он оказался в прядильне.

— А ну марш в чесальню, живо! — раздался вдруг грозный окрик.

Какой-то мужчина, на которого Фридрих смотрел ничего не понимающими глазами, схватил его на руки и потащил вверх по лестнице. Мальчик кричал, царапался и кусался, но ничто не помогало. Он был в железных тисках. Через минуту он приземлился на огромной горе мягкой ваты. Оглядевшись, Фридрих обнаружил вокруг себя много детей. Девочки и мальчики, постарше его и такие же, с визгом и смехом копошились в ватной горе. Такого количества партнеров по игре у него еще не было.

— Ты кто? — спросила какая-то девочка.

— Фриц, — ответил он ей и тут же растворился в их шумной ватаге.

Он залезал вместе со всеми на толстые мешки, с визгом спрыгивал вниз, погружаясь в пахучую вату. Удовольствие было огромным, и повторять его можно было много раз без устали. За длинными столами мальчики постарше щипали вату. Фридрих, как и все, брал вату из горы и относил ее к тем столам. При этом он мог каждый раз заглядывать в зал с веретенами, между которыми суетились женщины. Любопытство подогнало его поближе. Женщины не обращали на него внимания. Одна только улыбнулась ему. Ее рука скользнула в карман фартука, и она дала ему большое яблоко, с которым он и вернулся к товарищам, чтобы разделить с ними добычу.

Незаметно появился тощий человек.

— Надсмотрщик! — закричали дети, скатились с ватной горы и стали в ряд, как подобает. Только он, новичок, не уловил перемены; тощий стащил его с горы и влепил оплеуху. Было вовсе не больно, и, когда тощий повернулся, чтобы уйти, Фридрих высунул язык и громко крикнул:

— Бе-е-е!

Тощий немедленно обернулся, но дети заслонили собой бунтовщика. А когда надсмотрщик снова повернулся к ним спиной, они крикнули ему уже хором:

— Бе-е-е!

Тощему не оставалось ничего другого, как, чертыхаясь, поскорее удалиться. Потом появилась женщина с корзиной бутербродов с салом, и они с аппетитом их умяли.

Какой это был замечательный день! Разумеется, он ни разу не вспомнил о том, в какой ужас повергло маму его загадочное исчезновение. Все, кто только мог, искали его в саду. Наконец, жена садовника обнаружила лаз в заборе. На фабрике тотчас была объявлена тревога, Фридрих слишком поздно понял, что мужчины, появившиеся в цехе, пришли за ним. Прежде чем он успел спрятаться, чья-то большая рука схватила его за ворот, подняла и вынесла вон, в контору, где его, грязного и помятого, передали в объятия матери. Дома Фридриха сразу раздели, искупали в горячей воде, а одежду сожгли в камине. Прибежал запыхавшийся доктор Дёрнер, осмотрел его глаза, послушал, пощупал и постучал, а потом мальчика уложили в постель на несколько дней. Лишь после этого тревога постепенно ушла из глаз матери, и она опять подобрела и успокоилась.

И только тогда ему объяснили, отчего такой переполох: среди бедняков в Вуппертале свирепствовала страшная эпидемия холеры, от которой умирали сотнями. Слава богу, опасения не подтвердились. Когда же Фридриху снова разрешили встать с постели, обнаружилось много изменений. К мальчику приставили новую и очень строгую няню Генриетту. Ему теперь разрешалось гулять по саду, только держась за ее холодную твердую руку. В саду тем временем появились груды камней, рабочие возводили стену, навсегда отделившую сад от того мира, который он, едва успев открыть для себя, тут же утратил, точно не досмотрел до конца интересный сон...

— Ну, нагляделся? — спросил его стоявший сзади папаша Ростан.

Фридрих вернулся к действительности. Он бессознательно кивнул.

— Ну вот, ты и просветился немного. Знаешь теперь, что такое водная энергия.

На обратном пути Фридрих молча сидел рядом с папашей Ростаном. Солнце грело ему спину. За зелеными деревьями мелькали дома. Вот и Рыночный мост. Дорога спускается вниз, в долину. Церковь Христа на Лисьем мысу. Все то же

самое, что и по дороге сюда. И в то же время все другое, странным образом новое, изменившееся. Взгляд его упал на реку, в которой отражалось алое солнце. «Теперь я о тебе кое-что знаю», — подумал он.

Дома Фридрих первым делом побежал к маме. Крепко обнял ее за шею и поцеловал, прежде чем она успела вымолвить хоть слово упрека. Он хотел описать ей свои впечатления, но слова били из него фонтаном без всякой связи. Элизе Энгельс не оставалось в конце концов ничего другого, как от души рассмеяться.

Больше всего на свете Фридрих любил, когда мама смеется. В любой другой ситуации он был бы рад такому исходу, но теперь ее смех показался ему обидным.

— Ну не веришь, так поезжай сама посмотри! Если я попрошу папашу Ростана, то он обязательно покажет мельницу и тебе. Он такой добрый. Он тебе все объяснит!

— Да верю я тебе, верю, — убеждала его мать и гладила по голове, прижимая к себе. — Твой новый друг, кажется, пришелся тебе по душе. На первый раз так и быть, прощу, что вы отправились в это путешествие самовольно. Ступай теперь к Ульрике, пусть она накормит тебя завтраком. Ты наверняка ведь зверски проголодался.

— Да нет, совсем нет, — крикнул Фридрих и, счастливый, побежал в сад.

Ульрику он нашел под фруктовыми деревьями. Она достала из корзины большую грушу.

— На-ка, сударь мой, тебе самую лучшую. Сорвала с самой верхушки. С дружеским приветом от солнца.

Фридрих разглядывал грушу, которую он мог держать только обеими руками. Он настоял на том, чтобы и Ульрика ее попробовала, и весело рассмеялся, когда сок брызнул ей на грудь. Потом он припустился вскачь дальше по саду, на большую лужайку, к орешнику. Там было его любимое место. Фридрих упал на траву, чувствуя, как бьется сердце.

Мир прекрасен! И прежде всего мама, ее улыбка, ее теплая рука. И Ульрика такая милая, и малышка Мария, и Герман, и дети на ватной горе, и отец, и садовник, и дедушка с бабушкой в Хамме, и даже фрейлейн Генриетта. Я люблю их всех! Пусть им будет так же хорошо, как и мне.

Взгляд его устремился в небо. Два одиноких белых облачка в бесконечности голубого эфира понесли его за собой. И ОН там, на небе, и ОН добр ко мне. Сегодня вечером перед сном непременно поблагодарю его. Ни за что не забуду!

МЕСОЛОНГИОН

Бригады князя Ипсиланти были разбиты наголову, огонь и меч прошлись по непокорным островам Хиос и Крит, пали повстанческие города Афины, Патры и Фивы, отвоеваны мощные укрепления Триполиццы и Наварино, отогнаны в непроходимые горы остатки партизанских отрядов Колокотрони, а в плодородных долинах Фессалии и Македонии, Румелии и Пелопоннеса чинилась ужасная расправа над восставшими греками. Положение греческого народа в национально-освободительной борьбе против Османской империи казалось безнадежным.

Но в Патрском заливе продолжал отражать натиск турецких войск крошечный этолийский портовый город, который нельзя было сломить ни блокадой, ни осадой, ни массированным обстрелом из береговых и корабельных пушек. Городок этот назывался Месолонгион.

Уже одно название его вызывало в серале истерику и зубовный скрежет, а у султана Мохаммеда II начинались припадки ярости.

В странах христианской Европы многих волновала участь этого храброго города, в котором было погребено сердце великого английского поэта Джорджа Байрона, пожертвовавшего своей молодой и многообещающей жизнью во имя освобождения греческого народа.

Осенью 1825 года мощная армия султана прошла Фермопилы и вторглась в Этолию. Одновременно в Патрском заливе появились корабли соединенного турецко-египетского флота и направили жерла своих пушек на город. «Либо Месолонгион падет, либо твоя голова», — велел передать Мохаммед II своему верховному главнокомандующему Реджиду.

Было решено покончить с Месолонгионом, этой последней цитаделью восстания, раз и навсегда. Эта весть всколыхнула христианскую Европу. Спасите Месолонгион! Помогите Греции! Всюду создавались комитеты помощи греческим повстанцам. Тысячи добровольцев горели желанием отдать свою жизнь за независимость Греции.

Однако придворные и правительственные канцелярии сдерживали всякую ощутимую помощь. На континенте царили реакционер Меттерних и Священный союз великих держав, направленный на подавление всякого прогрессив-

ного движения. Кто тиранит и лишает всяческих прав собственный народ, того страшит и освободительная борьба других наций.

Однажды в декабре зашли на чашку чая дядя Каспар со своим восьмилетним сыном Карлом. Как обычно, разговор шел об обыденнейших вещах: о делах на фабрике, свадьбах, болезнях среди знакомых. Кто-то упомянул и смотрителя мельницы.

— Жаль старика Ростана, — сказал дядя Каспар. — Вот уже несколько месяцев он не получает никаких известий о своем сыне из Греции.

Фридрих заметил, как насторожился рядом с ним Карл.

— А что, разве у папаши Ростана сын в Греции?

— Да, — сказала мама. — Единственный.

— Значит, он сражается против турок? — спросил Карл, затаив дыхание.

Мама кивнула:

— Он отправился туда с лордом Байроном и другими добровольцами, когда ты был еще маленьким.

Неожиданно в разговор вмешалась фрейлейн Генриетта, обычно замкнутая и молчаливая.

— Последнее известие о нем было из Месолонгиона, — сказала она тихим, сдавленным голосом, глаза ее странно блестели.

Фридрих знал это название. Впервые он услыхал его очень давно, даже не мог вспомнить когда, и с тех пор много раз слышал. Он, так сказать, с ним вырос. Его иностранное звучание было таинственным и манящим. А его изображения будоражили фантазию, заставляли сердце биться сильнее. Греция и Турция. Это была любимая военная игра детворы. Никто не соглашался быть турком. Магическое слово «Месолонгион». Его выкрикивали в играх на лужайке, когда продирались сквозь шиповник, нанося удары воображаемой вражеской армии. Но в нем была и тоска, потому что относилось оно к далекому, недостижимому миру, где были приключения, испытания и героические подвиги.

Казавшееся бесконечным лето как-то сразу перешло в холодную, мокрую осень. В такую погоду строжайше запрещалось выходить на улицу. Только из окна можно было видеть, как в саду постепенно опадали листья кустов и деревьев. Дождливые дни были монотонны и скучны. А Месолонгион был так далеко.

И вот вдруг он оказался совсем рядом. Перейти только Брухерплац да спуститься по Энгельсштрассе к реке, а там мельница, папаша Ростан... В тот же день Фридрих потихоньку выбрался из дома. Дождь лил как из ведра, но он этого почти не замечал. В голове у него билась одна только мысль: я должен увидеть папашу Ростана! Расспросить его о сыне.

Он добрался почти до Брюкенштрассе. Но тут его остановил мужской голос:

— Это ты, маленький Энгельс?

Позади него стоял почтальон. Вырваться и убежать он не сумел. Завернутый в небесно-синюю накидку, он был доставлен домой и передан с рук на руки фрейлейн Генриетте. Надевая на него, промокшего до нитки, сухую рубашку, она обрушила на его голову проповедь, на этот раз более суровую, чем обычно.

— Мама твоя больна, очень больна. А ты чудовищно непослушен. Что же ты хочешь — чтобы я ей все рассказала? Ты этого хочешь?

Он помотал головой.

— Тогда обещай мне, что ты никогда больше не выйдешь из дома один!

Он задумался. Никогда больше? Но ведь надо обязательно повидать папашу Ростана. Обязательно! Фридрих молчал.

Фрейлейн Генриетта очень разгневалась.

— Значит, ты хочешь, чтобы я ей сказала? А если она умрет?

Пораженный Фридрих смотрел на фрейлейн, не понимая смысла того, что она сказала. Генриетта отвела глаза.

— Да, твоя мама настолько больна, что мы все опасаемся за ее жизнь.

«Она лжет!» — пронеслось в голове Фридриха. И он упрямо стиснул зубы. Но в этот момент увидел, как по лестнице взбегает доктор Дёрнер. За ним едва поспевала взволнованная Ульрика. Сверху отчетливо доносились стоны мамы.

— Нет, нет! — закричал он. — Пусть только она не умирает! Я все обещаю, все! — и что было мочи помчался к маминой комнате.

Какая-то незнакомая женщина его не пустила, остановив у двери. Из комнаты теперь не доносилось ни звука. Он поплелся в детскую. Здесь как ни в чем не бывало играли Герман с Марией. Фридрих не сказал им ни слова. Будто

онемел от страха. Что это? Чей это крик? Он не выдержал, выскочил в коридор и попал в объятия Ульрики.

— Что с мамой? Она жива?

Ульрика погладила его по голове, счастливо улыбаясь.

— Конечно, жива. А у тебя появилась новая сестренка.

И тут он все понял. Как безумный бросился целовать Ульрику, а потом помчался наверх. Хотел сообщить новость сестре и брату, но передумал и отправился на чердак. Забрался в маленькую кладовку у кирпичной трубы и сидел там, то плача, то смеясь, то смеясь, то плача.

Это помещение он обнаружил совсем недавно. Через чердачное окно проникало достаточно света, чтобы можно было разглядеть диковинные предметы, которые здесь хранились. Остатки прежних времен. Здесь можно было рыться часами и все время находить что-то новое. Старая посуда, абажуры из блестящего шелка с вышитыми цветами, старые запыленные шляпки, толстопузый саквояж, набитый пачками писем, деревянная лошадка, чугунный утюг, кукла с осиной талией, балдахин из черного атласа, на котором были вышиты чудные яркие птицы, подшивки старых газет, раскрашенная гипсовая фигурка апостола, ридикюль с пудреницей. На стене висел старый дедушкин ранец, с какими ходили кочующие ремесленники, еще и теперь нередко стучавшиеся в дом и получавшие на кухне еду от Ульрики. В углу стояли прялка и ржавая зернодробилка. В ящике лежали засохший лавровый венок, портрет дамы эпохи рококо, поблескивающий серебром пистолет, настолько тяжелый, что взвести курок можно было только обеими руками. В центре всего помещалось огромное кресло на трех ножках, зато с резными львиными головами. На обитом железными обручами сундуке лежала заржавленная старая сабля с богато украшенными ножнами, из которых он ее охотно бы вынул, если бы хватило на это сил. Трехцветная кокарда напоминала об императоре Франции Наполеоне, который когда-то повелевал многими странами, а потом умер на уединенном острове. Как и старый слепой король из Туле, о котором рассказывается в печальной балладе.

Когда Фридрих восседал на кресле, он и сам чувствовал себя королем или императором. И щедро награждал приближенных. Папаша Ростан получил Францию, откуда он был родом, Ульрике достался золотой замок из ее сказки «Царевна-лягушка». Кузена Карла он произвел в гофмаршалы, Германа — в министры финансов. Мария стала придворной дамой, маленькая Розочка была обручена с прекрас-

ным принцем. А курносую фрейлейн Генриетту он отправил в Индию или даже в Америку, откуда редко кто возвращается. Военному министру он приказал собрать конную армию. Во главе этой армии сам он поскакал в Грецию, чтобы прогнать турок...

Но сегодня ему было не до этих фантазий. Сегодня он был весь поглощен тем, что случилось после обеда.

«Ах, Ульрика, как я тебе благодарен! А вот фрейлейн Генриетта... Зачем она меня так напугала? Ладно уж, прощу ей. Я бы сегодня все всем простил. Сестрица, совсем маленькая, крошечная, как в свое время Мария, боже мой... Завтра, завтра я ее увижу. Но почему мама всегда болеет, прежде чем получить малыша?»

На другой день Фридрих при каждом удобном случае заходил в комнату к маме. Она была еще бледна и слаба, но всегда улыбалась ему. Если малышка была не при ней, мама читала. И в этот раз Фридриху удалось уговорить ее почитать вслух. Слушал он с большим удивлением. И как это только черные закорючки, которые называют буквами, слагаются в слова, а из слов получаются картины и люди — ну совсем как живые: все это казалось таким чудом! И сколько же книг у мамы в комнате!

— Ты их все прочитала? — спросил он.

— Почти.

— Тогда ты знаешь все на свете.

Мама рассмеялась.

— Куда там! Я знаю очень мало.

Он с почтением взирал на длинные ряды книг.

— Мало...

— Когда-нибудь ты будешь знать гораздо больше.

— Я? — Он очень удивился. Этого нельзя было себе и представить.

— Да и пора тебе уже учиться читать и писать, — сказала мама.

— Писать? А я уже умею. Подожди-ка, сейчас покажу!

И он молнией вылетел из комнаты, отыскал в ящике с игрушками грифельную доску, которая досталась ему от Карла, принес маме и с гордостью показал ей свои каракули.

— Вот это — А, а это — Б.

— Ну какой ты молодец, — похвалила мама. — Уже начал писать!

Фридрих кивнул не без гордости. Но тут взгляд его упал на бесконечную вязь крошечных печатных значков в раскрытой книге. Сомнения снова одолели его.

— Да, но читать, мама, читать я никогда не научусь!

— Но ты хотя бы попытайся!

— Да, я хочу попытаться, — решительно заявил он, — и да поможет мне бог! Когда я пойду в школу? — настойчиво спросил он.

— Я поговорю об этом с отцом, как только он вернется из Парижа.

— А когда же он вернется?

— На рождество непременно!

— Ну, это недолго ждать. Уже на рождество!

С этих пор жизнь стала неслыханно интересной. Был забыт папаша Ростан, забыт Месолонгион, Фридрих думал только о возвращении отца. А это случится скоро, потому что до рождества осталось всего несколько дней. В доме снизу доверху все скребли и мыли. Из кухни вкусно пахло печеньем, а в гостиную, куда садовник поставил зеленую елку, никого не пускали.

И наконец этот день наступил. Сразу после обеда их с Германом нарядили в новенькие казацкие поддевки со стоячими воротничками и тщательно причесали. У подъезда раздался стук подков и скрип колес. Когда они сбежали вниз по лестнице, отец был уже в прихожей. За ним внесли огромное количество пакетов и пакетиков.

Перед отцом стояли мама и державшаяся за руку фрейлейн Генриетты Мария с красным бантом в волосах. Обоим мальчикам отец только быстро пожал руки. Вид у него был озабоченный. Позже, за чаем, он сказал маме:

— Дела за границей складываются неважно, моя дорогая. Падают цены, и даже наши самые старые клиенты берут свои заказы назад.

Голос его звучал безнадежно. И еще одну фразу запомнил Фридрих из того, что сказал отец в тот вечер: «Видел я ужасные вещи: увольнения рабочих целыми фабриками, голодные забастовки, разрушение машин».

Только после раздачи рождественских подарков мама заговорила об учебе старшего сына. Фридрих с нетерпением ждал, что ответит отец.

Он чувствовал, что отец испытующе смотрит на него, и поэтому смущенно потупился. Наконец он услышал отцовское решение.

— Да, вообще-то нужно будет когда-нибудь начать. Но торопиться все же не следует.

Это звучало как отказ, и Фридрих не смог сдержать слез разочарования. Отец глядел на него с изумлением.

— Неужели ты так хочешь учиться? — недоверчиво спросил он.

Фридрих слышал вопрос, но не осознавал его смысла. Как мог отец сомневаться? Он с мольбой посмотрел на мать, та подбадривающе кивнула ему.

— Да, да, да! — наконец выпалил он. — Я хочу учиться! Хочу в школу!

Отец покачал головой.

— Нет, в начальную школу я тебя не отдам. Там ничему толком не учат. Раз уж ты всерьез хочешь учиться, то я подыщу тебе учителя, который подготовит тебя в гимназию, хотя до нее еще целых два года.

— Учителя для меня одного? — спросил Фридрих.

Отец кивнул.

— Мой старший сын должен получить самое лучшее образование.

Тут Фридрих не сдержался, вскочил и обнял отца. В ушах у него снова зазвучала небесная музыка.

Прошел, однако, не один месяц, прежде чем заветное желание Фридриха исполнилось. А пока он, как маленький, вместе с Германом все еще должен был сопровождать Генриетту «за покупками», в то время как мог бы уже быть учеником, как Карл и Юлиус.

Однажды они пошли в ламповую мастерскую в сторону Эльберфельда. А когда возвращались, то увидели странную картину. По дороге навстречу им двигалась целая толпа оборванцев, похожих на нищих, которые ежедневно стучались в двери их дома. Однако сейчас в их поведении не было ни скромности, ни смирения. Шли они, шатаясь, гоготали, горланили песни.

Генриетта быстро увела детей с дороги за кусты. Словно в каком-то страшном сне, толпа прошествовала мимо Фридриха и направилась по дороге к старинному трактиру на высоком холме.

— Что это за странные люди, фрейлейн Генриетта?

Она выглянула из-за укрытия и лишь через некоторое время ответила:

— Бедные, несчастные люди, пьяные землекопы, которые кочуют с места на место, живут то милостыней, то случайной работой. Стыд и позор этим торгашам и трактирщикам, которые спаивают их, отбирая последние пфенниги.

— Почему же они пьют?

— Потому что они бедны и хотят забыться.

— А почему они бедны?

— Потому что у них нет ни работы, ни крыши над головой.

— А почему у них этого нет?

— Потому что так хочет бог.

— А почему так хочет бог?

— Они избраны пострадать на этой земле, чтобы тем полнее вкусить благ господних на том свете.

— Когда?

— Когда они окажутся на небе.

— На небе?

— На небе. Бог сторицей возместит беднякам и несчастным за их тяжкую жизнь здесь, на земле.

С этого дня Фридрих стал с большим почтением смотреть на каждого нищего и землекопа. Иногда он им завидовал. И все же сомневался в том, что рассказала ему Генриетта.

Увидев в очередной раз шатающегося нищего перед дверью их дома, он собрался с духом и заговорил с ним.

— Ты ведь пил водку, не так ли?

Нищий рассмеялся.

— А что, заметно, малыш?

Фридрих внимательно посмотрел на него.

— А разве ты не знаешь, что принадлежишь к избранным, которых со временем бог сторицей наградит за все их несчастья?

Нищий сначала опешил, но потом совершенно серьезно кивнул:

— Конечно, знаю.

— Так зачем же ты пьешь?

Человек в рваной шляпе задумчиво посмотрел на него и сказал:

— Принеси-ка мне твою копилку, тогда я скажу тебе.

Фридрих принес. Нищий потряс копилку.

— Что ж ты, больше не накопил?

— Нет.

Нищий спрятал копилку за пазуху и хотел уйти.

— Но ведь ты обещал мне сказать! — напомнил Фридрих.

— Ах да. — Нищий снова обернулся. — Я пью, чтобы не так скучно было ждать господней награды.

Фридрих задумчиво смотрел ему вслед. Да, ждать действительно бывает ужасно скучно! Уж небесный-то отец должен был бы об этом знать, раз отец земной, как видно, не имеет об этом понятия. Учителя для него он все еще не нашел.

Но вот на пасху Фридрих вместо обычных сладостей получил ярко раскрашенный букварь, новенькую грифельную доску и целый ящичек с мелками. В полдник на чашку кофе явился застенчивый молодой человек в слишком просторном черном костюме.

— Это господин Кёстер, слушатель семинарии, твой первый учитель, — объяснила мама.

— А ты будешь моим первым учеником, — сказал Фридриху бледный юноша и подал ему руку.

— Смотри же не подведи ни его, ни нас, — строго и торжественно сказал отец.

Сердце Фридриха билось от радостного нетерпения, смешанного со страхом: а вдруг он не оправдает надежд?

Был первый теплый день весны, и, к большой радости детей, обедали на веранде. За столом собралась вся семья, кроме малыша. Фридрих настоял на том, чтобы господина Кёстера посадили рядом с ним. Правда, с левой стороны от него сидела фрейлейн Генриетта. Но все равно, он был теперь счастлив и не отходил от своего учителя ни на шаг. Застольная молитва задерживалась, потому что ждали еще дядю Августа и тетю Луизу. Паузой хотели было воспользоваться для того, чтобы Фридрих мог продемонстрировать свои первые успехи в чтении и письме, и мальчик уже предвкушал успех — может быть, даже похвалу отца, — но вскоре пришли гости, и планы его расстроились.

Дядя Август сразу привлек к себе всеобщее внимание. Вошел он не с шуткой по обыкновению, а с самым серьезным выражением лица. Стало ясно, что он принес какое-то печальное известие. Все смотрели на него выжидающе.

— Месолонгион пал.

И прежде чем кто-нибудь успел вымолвить хоть слово, он вынул из кармана газету, которую получил из Кёльна, и развернул ее. Затаив дыхание, Фридрих слушал вместе со всеми то, что читал дядя.

«Жители бродили по городу как призраки. За больными некому было ухаживать. Люди вынуждены были есть даже крыс. Рыбу получали только самые обессиленные. Остальные питались вонючими водорослями. Зимой к голоду прибавился холод. Пули и пушечные ядра осаждающих превратили город в развалины, в которых трудно было найти прибежище. Дров совсем не осталось. По ночам оборванные защитники города замерзали. По истечении года осады было решено сжечь остатки имущества и с боями проры-

ваться из окружения, взяв с собой детей и женщин. В ночь на двадцать второе апреля остатки вооруженных групп собрались в расположении восточных батарей. Две с половиной тысячи вооруженных мужчин, разделившись на три группы, должны были прикрывать обоз с женщинами, стариками и детьми. Им противостояли пятьдесят тысяч осаждающих. Отчаянный риск не увенчался успехом. Прорваться в горы и спастись удалось немногим. Все остальные погибли. И все же их участь была лучше участи тех, кто остался в Месолонгионе или был вынужден в него вернуться. Турки и египтяне самым жестоким образом расправились с ними».

Во время чтения произошло нечто странное. Фридрих вдруг почувствовал, как рука фрейлейн Генриетты вцепилась в его локоть. Разжалась она нескоро. Когда после чтения воцарилась гнетущая тишина, фрейлейн разрыдалась и убежала в дом. Все с недоумением смотрели друг на друга.

— Кто бы мог подумать, что именно фрейлейн Генриетта окажется такой чувствительной, — удивился отец.

— И надо было тебе все это читать, — упрекнула дядю тетушка Луиза.

— Кажется, я наконец понимаю, в чем тут дело... — сказала мама. — Генриетта и молодой Ростан... как-то я их видела вместе в парке, когда летом он приезжал к отцу.

— Ах, если б я это знал, — смущенно сказал дядя Август.

— Завтра утром она бы и сама все прочла, — успокоил его отец. — Жаль старика Ростана...

— Но может быть, еще есть надежда.

— Ни малейшей.

— А мы ничего не можем сделать для него? — спросила мама. — Может, сходить к нему?

Отец и дядя Август покачали головами.

— Нет, с этим он может справиться только один.

Тетушка Луиза заплакала.

— Ах, какими жестокими могут быть люди!

Мать помянула в застольной молитве и погибших в Месолонгионе. Обед прошел в молчании.

После того как с ним попрощались на ночь, Фридрих вылез из постели и оделся. Он потихонечку вышел из дома и побежал к мельнице. Было уже темно. На этот раз на пути ему никто не попался. Ворота мельницы были открыты. Одно из низких, у самой земли, окошек светилось. Папаша Ростан стоял посреди своей комнаты. Взгляд его был устремлен в пустоту. Потом Фридрих увидел и фрейлейн Генри-

етту. Она сидела за столом, обхватив голову руками. Фридрих долго размышлял, постучать ли в окно, потом на цыпочках удалился.

Дома он взял в прихожей лампу и отправился с ней на чердак, в кладовку. Там его на следующее утро и нашла Ульрика. Он спал в кресле, крепко прижав к себе французскую саблю.

Глава третья

КОРОЛЬ-ПАР

Роберту Стивенсону пришлось преодолеть чудовищные трудности, чтобы реализовать свой проект использования паровой силы на железной дороге между Ливерпулем и Манчестером — первой в мире железной дороге. Разъяренная толпа закидала камнями и болванками его геометров. Газеты тори начали кампанию против него и «бессмысленных плодов его больной фантазии». Землевладельцы, владельцы омнибусов, акционеры фирм гужевого транспорта через суд потребовали запретить использование паровых машин на транспорте. В конце концов парламент вынужден был назначить комиссию, которой вменялось в обязанность вынести окончательный приговор по этому делу. Чтобы совсем похоронить проект и в то же время создать видимость объективного нейтралитета, комиссия после нескольких лет проволочек приняла соломоново решение. Создатели локомотивов должны были доказать практическую пригодность своих творений на состязаниях с обычными конными упряжками в Ливерпуле. Это как нельзя лучше соответствовало традициям английской нации, чья привязанность к конным состязаниям превзошла античную любовь к этому виду спорта. При этом требования, предъявляемые к машинам, которые могли быть допущены к стартам, были таковы, что повергли в уныние даже самых рьяных энтузиастов. А времени до помпезно обставленного соревнования оставалось крайне мало.

Английская пресса восторгалась мудростью депутатов. Предстоящее состязание взбудоражило не только Англию, но и заинтересованную общественность далеко за ее пределами. Волновался и Вупперталь, ставший за последние два десятилетия одним из самых значительных индустриальных центров Германии, где появились сотни механизированных

прядилен и ткацких мануфактур, связанных деловыми контактами со знаменитыми английскими фирмами. Однако после двух воскресных проповедей пастора местной общины Фридриха Вильгельма Круммахера, в которых сей суровый поборник единственно истинной веры обрушил на английских пособников дьявола самые страшные проклятья, число энтузиастов техники, поставивших на победу локомотивов, заметно поубавилось. Великие ливерпульские гонки были торжественно открыты 1 октября 1829 года в десять часов по Гринвичу при стечении многочисленной публики. Локомотивов на старте объявилось немного. Заведомым фаворитом среди них считался «Новелти». Впрочем, некоторые шансы признавались и за Стивенсоном, вышедшим на старт со своей новой моделью «Рокет».

В это же самое время Фридрих занял место рядом с отцом в кабриолете. На голове его гордо красовалась бело-голубая фуражка ученика городской школы. Мама пожала ему руку. Герман подал в дверцу портфель. Мария и Анна махали руками. Ульрика стояла на лестнице, держа на руках маленького Эмиля. Сквозь свинцовые октябрьские тучи нежданно пробился солнечный луч.

— Н-но, Лотта, — сказал отец, и они тронулись в путь.

До Карлштрассе, где рядом с ратушей находилась городская школа, было не больше пяти минут ходьбы. Но то был первый школьный день в жизни Фридриха, и отец счел необходимым проводить его.

Когда их элегантный экипаж поравнялся с почтой, около которой в новую курьерскую карету запрягали шестерку вороных, Фридрих снова вспомнил о том, что происходит сейчас в далекой Англии. Всего год назад он восторгался сверхскоростной курьерской каретой. Теперь она со всем ее лакированным блеском вызвала у него сочувственную улыбку. Ни секунды не сомневался он в победе локомотивов. Эту веру в них он перенял от отца, который сидел рядом с ним, щурясь на солнце. Отец часто бывал в Англии и много рассказывал о тамошних изобретателях и их достижениях. Он без колебаний ставил на новое транспортное средство. Он разбирался в этом куда лучше, чем дядя Каспар, дядя Снетлаге и доктор Дёрнер, которые вовсю потешались над катящимися паровыми котлами. Вот и вчера Фридрих из-за двери слышал, как они втроем пытались переспорить отца.

— Неужели ты всерьез полагаешь, — кричал дядя Каспар, — что такое неуклюжее чудовище доберется когда-нибудь от нас до Берлина всего за неделю, как это делает теперь наша чудесная скорая карета?

— Уверен, что за три дня! — утверждал отец. — А то и за семь часов. Тридцать миль в час, согласно предсказаниям Стивенсона, — дело ближайшего будущего. Я видел его «Рокет». Он промчался как призрак мимо нашей курьерской на дороге между Ливерпулем и Манчестером.

— И ты согласился бы сесть в такую ракету?

Ответ отца Фридрих не расслышал, потому что он утонул во взрыве хохота.

— В таком случае, мой дорогой, я сложил бы с себя всякую врачебную ответственность за твое состояние, — сказал доктор Дёрнер под общий смех.

Отец тогда ничего ему не ответил.

«Надо бы сказать отцу, что я полностью на его стороне», — подумал Фридрих. Но тут он увидел, как навстречу им по противоположной стороне улицы катит в своей коляске доктор Дёрнер. Фридрих не мог сдержаться. Он вскочил, сорвал с головы фуражку и восторженно закричал:

— «Рокет» победит!

Люди на улице с улыбкой смотрели на эту сцену. Лотта от неожиданности остановилась. Отец вовремя подхватил Фридриха, а не то он бы свалился. Отец хотел было попенять ему за неосторожность, но вместо этого, весело блеснув глазами, сказал:

— Конечно, победит! — И прижал к себе сына. Фридрих почувствовал на своих щеках его колючую бороду.

В актовом зале Фридрих едва разбирал то, что говорил им в своей приветственной речи директор школы. Он то и дело поглядывал на отца и думал: «Я всегда и во всем буду с ним заодно. Всегда и во всем!»

Несколько дней спустя из их дома уехал художник, который занимал комнату на третьем этаже. Ее отдали Фридриху. Окна комнаты выходили в сад. За фабричными корпусами была видна мельница. Еще дальше зеленели склоны Роттберга, которые в солнечную погоду покрывались белыми пятнами: то расстилали для просушки пряжу. Слева простиралась нижнебарменская долина с разбросанными по ней фабричными зданиями, жилыми домами и одиноко возвышающейся среди них церковью Христа. Как здорово, что родители поселили его здесь!

Он переживал время ничем не омраченного радостного

подъема, знакомого каждому, кто делает первые шаги на пути к знаниям. И вот однажды, вернувшись из школы, Фридрих обнаружил в своей комнате лежащую на конторке газету. Заголовок одной из статей был подчеркнут красным карандашом. Он гласил: «Великая ливерпульская гонка». Фридрих с жадностью углубился в чтение. Список почетных гостей его не интересовал, суть дела излагалась во второй колонке. «Первые модели локомотивов провалились самым жалким образом, — читал он с бьющимся сердцем. — Наконец стартовал знаменитый «Новелти», ведомый его создателем Бленкинсопом. «Новелти» развил фантастическую скорость в двадцать восемь миль в час, но примерно за милю до финиша весь пар из него вышел и он остановился. Пришлось впрягать лошадей, чтобы перегнать его на запасный путь. Теперь только у «Рокет» оставались шансы проложить локомотивам дорогу в будущее. Зрители затаили дыхание. Замечательное чудо техники прокатилось у них перед глазами и, развив огромную скорость, помчалось вдаль, легко, как игрушку, устремляя за собой прицепленный вагон — тяжелый, нагруженный рельсами. «Рокет» финишировал и вернулся к месту старта за двадцать минут до истечения установленного срока. Стивенсон использовал это время, чтобы продемонстрировать пораженной публике безукоризненную маневренность своего шедевра. Зрители, еще так недавно преисполненные скепсиса и цинизма, теперь разразились настоящей бурей оваций. «Рокет» с блеском удовлетворил всем требованиям парламентской комиссии. Противники нового транспортного средства были побиты...»

Ликующий Фридрих помчался вниз по лестнице с газетой в руке. Он без стука ворвался в комнату родителей и закричал:

— «Рокет»! «Рокет»! Папа, он победил!

Отец с лукавой усмешкой смотрел на сына, появления которого ждал, так как сам положил своему союзнику эту газету.

— Неужели? — сказал он с притворным удивлением. — Впрочем, ничего другого нельзя было и ожидать.

— И как победил! Да ты только почитай! Ты обязательно должен это прочесть! — никак не мог успокоиться Фридрих.

Отец отложил газету в сторону.

— Успеется. А что, если нам по случаю такой победы выпить по бокалу вина? — Он подвел Фридриха к бару,

вынул уже початую бутылку вина и два бокала, налил немного себе и совсем чуть-чуть Фридриху. — Да здравствует новая эра — эра локомотивов!

Целый час пробыл Фридрих у отца, испытывая огромное удовольствие оттого, что мог чувствовать себя с ним на равных.

За поэзией начальных дней учебы потянулась проза школьной повседневности. На большинстве уроков царила мертвая скука. Многое из того, что проходили, Фридрих уже знал от своего домашнего учителя. А новый материал излагался так сухо, что слушать его стоило огромного напряжения. Только иностранные языки доставляли мальчику удовольствие. Французский, который вел доктор Шифлин, и латынь, которую преподавал студент-теолог. Тут попадались тексты, которые словно раздвигали горизонт, открывая неизведанный мир. А перемены? Двести мальчиков разного возраста в одном дворе. Чего только тут не увидишь и не услышишь! Конечно, новичку сначала нужно было освоиться, прежде чем самому пускаться в разные приключения. Но за этим дело не стало. Школьный день становился куда более сносным, если воспринимать его поделенным на перемены, а не на уроки. А завершает этот день самое приятное — возвращение домой.

В первые дни Фридриха забирала из школы фрейлейн Генриетта. Через две недели ему удалось убедить маму в том, насколько смешно выглядит эта предосторожность. С тех пор жить стало одно удовольствие. Каждый день он придумывал себе новый вариант дороги домой. Так он вскоре изучил весь город по эту сторону Вуппера — с его почтой, роскошными витринами купеческих лавок и золотыми табличками на дверях торговых фирм, с его новостройками. С течением времени к нему присоединились те соученики, которым также удалось отделаться от тягостной опеки гувернеров, старших сестер и братьев, матерей или кучеров. А вместе они стали перебираться и на ту сторону реки, в старый город с его средневековыми улочками, маленькими старинными лавками, кондитерскими, подвальными мастерскими, со старинным фонтаном в центре хитросплетения улиц.

Там, на Хойбрухштрассе, Фридрих открыл и маленькую книжную лавку, витрина которой притягивала его к себе как магнит, потому что заполнена она была не черными переплетами библий и молитвенников, не толстенными фолиантами, не роскошными корешками книг с золотыми

обрезами, как витрина книжного магазина Фалькенберга возле почты. Нет, здесь было полно манящих, красочных книжек, и сказочные картины на их обложках предвещали знакомство с захватывающими приключениями. Внимание Фридриха особенно привлекла обложка, на которой был изображен белокурый витязь, сражавшийся с огнедышащим драконом. Эта книжка смутно напоминала ему одну сказку, которую как-то зимой рассказал ему на прогулке в лесу дедушка ван Хаар. «История о неуязвимом Зигфриде» — так называлась эта книжка. Ах, как он хотел бы прочесть эту книгу, но стоила она дорого. Капитал в семнадцать пфеннигов, которым он обладал в первый день учебы, постепенно растаял в кондитерских. Не раз заглядывал Фридрих в лавку, чтобы полюбоваться книгой. Владельцем всех этих сокровищ, как можно было прочесть на табличке у входа, был некто Курт Кукош. Иногда он видел за прилавком этого маленького человечка с большими ушами и бегающими глазками за стеклами очков. Теперь Фридрих стал откладывать каждый пфенниг, который доставался ему при случае от мамы или Ульрики. Но прежде чем он скопил нужную сумму, вожделенная книга исчезла с прилавка. Расстроенный, поплелся Фридрих домой и долго еще размышлял о печальных превратностях судьбы. Но потом важные события, в которых участвовали соученики, отвлекли внимание юного Энгельса.

Ученики, жившие на той стороне Вуппера, в Гемарке, сплотились в лихую ватагу во главе с Рихардом Ротом и стали преследовать учеников, живших на этой стороне реки, в Нижнем Бармене. Переход через мост у ратуши стал небезопасен. Не раз случалось, что Фридрих с горсточкой товарищей в бессильной ярости должен был возвращаться оттуда ни с чем. Иногда, чтобы возместить утраченное удовольствие, он водил друзей полюбоваться мельницей. И вот, собравшись как-то в закутке на плотине, они тоже решили объединиться, назвав себя «Корсары Вуппера», и поклялись вечно мстить своим противникам. С тех пор началась война, которая с переменным успехом продолжалась всю зиму.

— Защищайся, презренный гунн! — крикнул Фридрих и бросился на Рихарда Рота. Тот был коренаст и могуч, как медведь, но и слишком уж неповоротлив. И прежде чем он успел опомниться, Фридрих повалил его на землю. Сдаваться, однако, Рот и не собирался. Фридрих почувствовал, как железная рука Рота все сильнее сжимает его горло. Он слышал, как подбадривали его корсары и как что-то кричали

своему вожаку ребята из Гемарка.

— Дай ему! Врежь! — неслось со всех сторон.

Фридриху было нечем дышать. Напряжением всех сил ему удалось высвободить голову. Но противник уже навалился на него всем телом.

Вдруг кто-то предостерегающе крикнул:

— Капуста!

Рихард Рот, как обычно, отреагировал слишком поздно. Над их головами выросло пухлое, веснушчатое лицо классного наставника Каппе, которого все называли Капустой. Одной рукой он схватил Рота за ухо и поднял его, другой держал за локоть Фридриха. Шум сразу стих.

— Ну, разумеется, опять господа Энгельс и Рот, — неприятным дискантом, с угрозой в голосе пропел учитель.

— Это Рот во всем виноват! — крикнул Курт Грель.

Каппе обернулся.

— Фриц первый начал! — закричали в ответ гемаркцы.

Наставник отыскал глазами в толпе школьников своего любимца, очкастого толстяка с лицом в жирных складках, которого кто-то метко прозвал Лапшой.

— Норберт Кристиан, расскажи, как было дело!

Всех своих любимцев Капуста величал по имени, а Лапшу называл даже обоими его именами. Видимо, потому, что Лапша был из семьи прусских дворян, сыном ландрата.

Лапша начал многоречиво и обстоятельно.

— Как было дело? Хорошо, расскажу. Энгельс Фриц и Рот Рихард сцепились и стали волтузить друг дружку.

Класс заржал. Веснушчатое лицо Капусты стало еще более багровым.

— А кто все-таки начал?

Лапша опять стал рассказывать так путано, что ничего нельзя было понять. Фридриху это надоело.

— Я начал! — сказал он, прервав толстяка.

— Нет, я! — сейчас же вмешался Рихард Рот.

Капуста потерял на какое-то время дар речи.

— А почему?! — наконец спросил он.

— Да так, потехи ради, — ответил Рихард.

Фридрих подтвердил:

— Да, от скуки, господин учитель.

Капуста взорвался.

— Оба к стене! И не шевелиться до самого звонка!

Фридрих и его недавний соперник отправились к стене бедных грешников. Отбывать наказание следовало стоя на коленях на камнях, которые были отполированы предше-

ственниками. Рот выискал себе местечко поудобнее и опустился на колени.

Стоять на коленях у позорной стены — какое унижение для капитана корсаров! Подчиниться или взбунтоваться — два чувства боролись в душе Фридриха. На своем затылке он ощущал взгляды двухсот товарищей. Однажды в самом начале учебного года один второклассник уже отказался встать на колени...

— Вставай, вставай, чего там! — добродушно сказал ему Рихард Рот.

И это решило дело.

— Нет, никогда! — упрямо сказал Фридрих и остался стоять.

— Ты что, парень! — продолжал все так же добродушно Рихард. — Пять минут всего, а там перемена кончится!

Фридрих посмотрел на своего противника с презрением. Сердце же его бешено колотилось. Конечно, тому второкласснику не поздоровилось, зато целых пятнадцать минут, всю большую перемену им восхищалась вся школа.

Во дворе воцарилось напряженное молчание. Фридрих ждал, что Капуста вот-вот взорвется. Но ничего не случилось, это походило на чудо. Целых пять минут — ни звука. Прозвенел звонок. Рихард поднялся. Фридрих влился в толпу учеников, направлявшихся к зданию школы. Многие действительно смотрели на него с любопытством. Лица были самые разные — насмешливые, злорадные, но были и такие, что улыбались ему подбадривающе. Его кузен Карл протиснулся к нему сквозь толпу.

— Директор тебя спас. Но смотри теперь в оба: Капуста тебе этого не простит.

Слова Карла не выходили у Фридриха из головы в продолжение всего урока французского. Директор? Почему это вдруг он его спас? Почему того второклассника продержали в карцере два воскресенья, а ему ничего? Разрешить эту загадку не удавалось.

Лапша, этот толстый задавака с графским титулом, был обязан своими хорошими отметками соседу по парте, неприметному мальчику, жившему на Шпинштрассе в доме с вывеской «Портной К. Крюбуш». С самого первого школьного дня он сидел рядом с сыном ландрата и служил ему с рабской покорностью. Отличными отметками соседа он гордился больше, чем своими. Он непрерывно подсказывал толстяку устные ответы и давал ему списывать из своих тетрадок. Класс это знал. Учителя, конечно, тоже давно все заме-

тили, но притворялись, будто ничего не видят. За Лапшой каждый день приезжал крытый черный экипаж. Однажды Фридрих заметил в нем толстого господина. На нем тоже были очки, и вообще он был очень похож на Лапшу. Наверняка то был его отец. Два учителя, вышедшие в это время из школы, поклонились ему в пояс. Должно быть, важная шишка этот ландрат, подумал Фридрих. И такой же тупица, как его сын?

— А чем, собственно, занимается ландрат? — спросил он как-то за столом.

— Управляет делами округа, — ответила мама.

— Стало быть, он управляющий? — с удивлением сказал Фридрих.

До сих пор он знал одного управляющего — складом фабрики, то был горбун Йохен, живший в крошечном домике рядом с садовником.

— Это самый важный правительственный чиновник в округе, — пояснил отец. Это было уже понятнее.

— Так, значит, он правит?

— Нет, то есть в некотором смысле да. По поручению короля.

Фридрих понял.

— Поэтому-то Лапша может списывать и отвечать по подсказке, а учителя не обращают на это внимания?

— Никто не может списывать! — решительно заявил отец. — Кто такой Лапша?

— Сын ландрата.

— Ах, так, — задумался отец и потом примирительно добавил: — А, пустяки, умнее он от этого все равно не станет.

— Я уверена, что его родители ничего не знают об этом, — сказала мама.

Отец неопределенно пожал плечами.

— Можно понять, что никому из учителей не хочется совать руку в такое осиное гнездо. Когда я учился, у нас в классе был племянник графа фон Вихлингсхаузена. Абсолютный дурак, но вся школа им гордилась.

Однако молодой семинарист, который помогал вести в школе уроки математики, сунул руку в осиное гнездо. В алгебре Крюбуш был не так тверд, как в других предметах. И вот в контрольной работе претендент в учителя обнаружил у обоих соседей по парте три совершенно одинаковые ошибки.

— Кто из вас двоих списал у другого, пусть откровенно

признается, и на первый раз он будет прощен. Ты списал, Крюбуш?

Сын портного машинально покачал головой.

— Так, стало быть, ты, фон Байсель?

— Как вы смеете это утверждать?

— Я не утверждаю, а спрашиваю. Даю вам время подумать — до завтра. Если провинившийся не признается в своем проступке, то я вам обоим поставлю по двойке и запишу порицание в дневник.

На них смотрел весь класс. Фридрих видел, как на лице Лапши появилась ухмылка. Крюбуш заплакал. Фридрих терпеть не мог этого подхалима. Его он никогда бы не принял в корсары. Его манера рабски прислуживать Лапше вызывала в нем только презрение. Но когда он увидел, как Крюбуш плачет, сердце его дрогнуло от жалости. Прозвучал звонок, уроки кончились. Фридрих догнал Лапшу на лестнице у школы.

— Ты должен во всем признаться, понял?

Лапша вдруг стал заикаться:

— В чем признаться?

— В том, что это ты списываешь. Иначе будешь иметь дело со мной.

Лапша неуверенно улыбался, отыскивая глазами свой экипаж.

— Чудак ты, Энгельс. — И тут он увидел, как его окружили корсары. Толстое лицо его побледнело от страха. Заикаясь, он выдавил из себя: — Ну, раз вы хотите...

Фридрих отпустил его. Лапша канючил:

— А все из-за этого несчастного Крюбуша! Лепит по три ошибки, тупица...

Корсары не спеша двинулись вниз по Карлштрассе. Они оживленно обсуждали победу, которую одержал их капитан над пруссаком.

Победа? Фридрих молчал. После той истории у стены авторитет его в классе вырос. Корсаров прибавилось. Их стало теперь почти столько, сколько было в ватаге гемаркцев. Но что-то очень уж быстро сдался Лапша. Так ли все просто?

— Вперед, в яму! — крикнул он, чтобы сменить разговор.

Корсары весело помчались за ним.

В нескольких метрах от дороги, выбегавшей из города, на опушке леса, находился глиняный карьер, принадлежавший графу фон Вихлингсхаузену. Густо поросший колючей

ежевикой и дроком, чертополохом и крапивой, он вызывал раздражение у солидных горожан, важно прогуливавшихся в своих цилиндрах в воскресные дни по окрестному лесу. Зато для школьников он был настоящим раем. Не одно их поколение приложило здесь руки, чтобы создать целый лабиринт различных переходов, запутанных лесных троп и дорог, чтобы украсить его множеством гротов, пещер, ям и тайников, при сооружении которых во всю мощь развернулись их юная фантазия, жажда приключений и стремление к подвигам. В это раннее послеобеденное время здесь не было старшеклассников, которым надо было отсидеть на уроках еще два часа.

Стоял ноябрь, день был холодный. Молочно-белый туман обещал морозные ночи. В карьере было пустынно, как на краю света. Ранцы полетели в кучу. С веселым криком корсары бросились врассыпную. Только сам капитан был сегодня не в духе. Он остался наедине со своими мыслями.

Сын «высокопоставленного чиновника короля» — лентяй, паразит, трус, а Крюбуш — подлиза и мелкая душонка. Какой же нечистый попутал капитана корсаров вмешиваться в эту гадость — их отношения? Издав воинственный клич, он бросился догонять корсаров.

Встретили его приветственными криками.

Домой Фридрих вернулся поздно. Со стола уже убрали. Он был твердо намерен ничего не придумывать, а сказать всю правду и достойно встретить грозу.

Фрейлейн Генриетта сразу же начала выговаривать:

— Тебя не было больше двух часов. С завтрашнего дня я опять буду забирать тебя из школы!

Фридрих опешил. Капитан корсаров, которого за ручку ведет из школы его гувернантка. Более безобразной картины нельзя себе и представить. Нет, такого позора ему не пережить!

— Поешь на кухне, — продолжала Генриетта. — Да поживее, родители хотят с тобой поговорить.

Это прозвучало угрожающе. Фридрих растерянно побрел на кухню к Ульрике.

— Ну, что ты опять натворил? — встретила она его сердитым вопросом. Однако в глазах ее таился смех. — У нас, видишь ли, были высокие гости. Всемилостивейшая графиня фон Байсель, высокородная супруга господина ландрата, оказала нам честь.

Фридрих испугался:

— Это из-за Лапши.

Круглое как луна лицо Ульрики приняло строгое выражение богини правосудия:

— Фридрих! Надеюсь, ты не поколотил ее бедного, беззащитного сыночка Норберта Кристиана?

Оба рассмеялись.

Подготовленный таким образом, Фридрих храбро постучался в мамину комнату. Его ожидал, однако, довольно мягкий прием. Мама слегка пожурила за то, что пропадал так долго неизвестно где. И отец, как видно, не очень сердился.

— Послушай, — сказал он, — у тебя там какие-то разногласия с твоим приятелем...

— Байсель мне не приятель.

— Ну, товарищ по классу. Ты ему угрожал со своими дружками, хочешь принудить его повиниться.

— Но ведь это он списал!

— Ты это точно знаешь?

Фридрих кивнул.

— И ты это можешь доказать?

— Доказать?

— Когда решаешься делать такое утверждение, нужно иметь доказательства.

— Да он сам в этом признался.

— Только из страха перед вами, как он говорит.

— Но ведь все в классе знают, что он списывает.

— Все предполагают, что это так. Но молчат. Только ты должен вмешиваться. Почему?

Этот вопрос он и сам себе задавал.

Отец встал и взъерошил ему волосы.

— Опять заварил кашу. Но ничего, отец твой уж как-нибудь ее расхлебает. Помирись с сыном ландрата и постарайся больше не сталкиваться с ним. И не вмешивайся-ка ты в дела, которые тебя не касаются!

Дружески хлопнув его по спине, отец ушел. Фридрих остался вдвоем с мамой.

— Дела на фабрике обстоят неважно, и отец хочет кое-что предпринять. Ему важно, чтобы ландрат его поддержал. Вот почему он так озабочен.

— Я оставлю Лапшу в покое.

— И не вмешивайся больше. Обещаешь?

Он уже хотел было согласно кивнуть головой, но вдруг вспомнил о том, что сказала ему Генриетта. И заговорил об этом.

— Хорошо, если ты обещаешь мне вести себя разумно, то можешь возвращаться из школы один.

— Обещаю. Обещаю! — выпалил он вне себя от радости, что его честь капитана корсаров спасена. Он не мог знать, что произойдет в школе на следующий день.

Вместе с помощником учителя математики в класс вошел сам Каппе. Когда после приветствия весь класс сел, на ногах остался один Крюбуш.

— Итак, сын мой, ты хочешь нам что-то сказать? — спросил его наставник.

И тот заученно пролепетал:

— Я только хотел сообщить, что это я списал контрольную по математике у Норберта Кристиана, о чем искренне сожалею и прошу простить меня. Обещаю, что это никогда больше не повторится, и прошу о снисхождении.

Фридрих, опешив, как и все в классе, видел, с какой самодовольной ухмылкой развалился на парте Лапша. Класс напряженно молчал, Фридрих чувствовал, что глаза корсаров устремлены на него. В них читались вопрос и вызов, они ждали реакции своего капитана. Кровь ударила ему в голову. Он слышал, как Каппе милостиво отпускал прощение. Все в нем клокотало, подмывало вскочить и заявить протест против этого надувательства. Но ведь он обещал не вмешиваться. Проклятое обещание! Озабоченные лица матери и отца. Пруссия. Король. Его армия. Проблема на проблеме. Фридрих опустил глаза и промолчал.

И вдруг неожиданно с места поднялся другой.

— Все это неправда. Сплошной обман. Списал Норберт Кристиан. Крюбуш лжет.

Это был Рихард Рот, предводитель гемаркцев, соперник, враг.

Капуста вышел из себя.

— Ты соображаешь, что говоришь, Рот? Выйди из-за парты. И помолчи. Я запрещаю тебе...

Его слова потонули в шуме всего класса. Все кричали, поддерживая Рота, подтверждая правоту его слов. Под конец стали скандировать:

— Обман, обман, обман!

Никто не обращал внимания на капитана корсаров, который один не принимал ни в чем участия и молча сидел, сгорая от стыда и отчаяния.

Появление директора мгновенно положило конец этому мятежу. Рот остался стоять рядом с партой.

— Ложись! — приказал ему директор, не требуя никаких объяснений, только переглянувшись с Капустой. Голос его звучал тихо, почти страдальчески.

Помощник учителя побледнел. Класс застыл. Капуста взял из угла палку. Рот лег на скамью, было видно, как дрожат его руки.

— Пять! — выдохнул директор.

Капуста зажал голову Рота между колен. Размахнулся и ударил со всей силой.

Фридрих в ужасе закрыл глаза. Рот не издал ни звука.

— Раз, — услышал Фридрих писклявый голос Капусты. — Два, три, четыре, пять.

Капитана корсаров обуревала бессильная ярость. Лишь мельком решился он взглянуть на Рота, медленно возвращавшегося к своей парте.

— Да послужит вам это предостережением, дети мои, — сказал директор и направился к двери.

Но тут вскочил еще один ученик и крикнул:

— И все же Рот прав!

Лишь когда директор остановился и с удивлением сказал: «Энгельс?», Фридрих осознал, что это крикнул он. В его глазах стояли слезы.

И только теперь директор стал расспрашивать о случившемся. Долго и обстоятельно. А потом обещал разобраться.

На перемене Фридрих хотел было скрыться от всех. Но корсары разыскали его в дальнем углу двора.

— Это было здорово, капитан! — крикнул Грель, и все окружили Фридриха, галдя и перебивая друг друга. Щеки мальчишек пылали. Они еще переживали случившееся.

— Я больше не капитан, — сказал Фридрих, когда все немного успокоились.

Его пытались переубедить, уговорить. Но Фридрих стоял на своем.

— Да оставьте его. Не видите разве, что он сегодня не в духе, — сказал наконец кто-то. И все отступились.

После уроков к Фридриху неожиданно подошел классный наставник.

— Придется поучить тебя уму-разуму, Энгельс, и уж я сумею сбить с тебя спесь, поверь мне, голубчик, — сказал он медоточивым голосом.

После этой угрозы следовало ждать неприятностей, слов на ветер Капуста не бросал, Фридрих знал это.

Домой он пошел один. Прошел мимо глиняного карьера, по склону холма поднялся в лес. Долго шел, пока шум города окончательно не поглотила лесная тишина. Но в душе его разыгралась настоящая буря. Месолонгион. Собственный позор. Борьба с драконом. Его нерешительность.

Палка. Боль. Глаза мамы. Лицо Рота. Крик... Буря бушевала долго, пока не пришло неожиданное успокоение. Он плакал и не стыдился своих слез и улыбался, вспоминая, как отказался от капитанства. Впервые в сознании мальчика пробудилось представление об уважении к себе и о достоинстве человека.

Сын ландрата на следующий день в школе не появился. Поговаривали, будто отец хочет отдать его в прусский лицей для дворянских детей. Исчез и молодой помощник учителя. Но Капуста остался.

В доме Энгельсов это происшествие больше не обсуждали. Но в молчании отца, во взгляде мамы Фридрих чувствовал упрек: так-то ты держишь слово! Их мнение было ему не безразлично. Он только делал вид, будто ему все равно. Но на самом деле страдал.

Поздно вечером у его постели неожиданно появилась мама. Погладив его, она мягко сказала:

— Я понимаю, ты ведь хотел сделать как лучше.

Ах, мама! Ничто не укроется от нее! Она читает и тайные мысли!

Он кивнул.

— Но ведь ты уже большой мальчик. Ты должен понять, что нельзя жить, повинуясь лишь порыву сердца, мгновенному чувству.

— Да, я понимаю, — сказал он. Ему всегда было грустно, когда мудрость взрослых спускала его с небес, обращая к земной прозе. — Ландрат сильнее, чем отец. Это все пруссаки. У них и король, и непобедимая армия.

В упорядоченном мире взрослых было много горечи. Но мама с ним, конечно, не соглашалась, возражала ему. Взрослые очень не любят, когда вещи называют своими именами.

Дом строителя Рота стоял на отшибе, на самой северной окраине Гемарка. Фридрих раза три прошел мимо, прежде чем решился позвонить. Открыла ему женщина, приветливо спросив, что ему будет угодно. Вслед затем наверху открылось окно, и в нем показалась голова Рихарда. Тот не поверил своим глазам.

— Ты? Здесь? — спросил он, когда, запыхавшись, прибежал к входной двери.

Целый день Фридрих обдумывал, как он станет объяснять Рихарду, что пришел к нему с предложением мира и дружбы. Придумал даже длинную и очень красивую фразу. Но сейчас неожиданно для себя самого просто сказал:

— Да вот зашел посмотреть, как ты живешь. Не помешал?

Лицо Рихарда просияло, и он протянул Энгельсу свою лапищу.

— Что ты! Очень рад! Мама как раз приготовила крабов. Хватит и на твою долю!

Так они подружились, и школьная вражда между барменцами и гемаркцами прекратилась.

Уже на следующий день Рихард пришел к нему с ответным визитом. И они отправились на мельницу. Сам Фридрих не повел бы Рота туда — побоялся бы бередить старые раны. Но Рихард настойчиво просил об этом. И не пожалел. Этот добродушный увалень от всего приходил в восторг и всем интересовался. И папаша Ростан оживился, увидев такой интерес к своей работе. С тех пор как Месолонгион был снова освобожден и Греция в сентябре 1829 года обрела независимость, папаша Ростан вообще повеселел. Друзья пробыли на мельнице до самого вечера. Когда они возвращались домой, Рихард сказал:

— Мельница у вас великолепная, лучшая в долине. Я ведь знаю тут все до самого Риттерхаузена. И все-таки не обижайся, Фриц, что я тебе это скажу — вашу мельницу должны снести. Я знаю об этом от отца, который долгое время занимался проектами ее переделки.

Фридрих остановился, хотел было резко возразить, но потом передумал. К чему снова спорить и ссориться? Он уже раскаивался в том, что повел Рихарда на мельницу. Может, отец Рота ошибается. Рихард-то тут причем? Он парень надежный и честный. Лучший друг, какого себе можно только представить.

На мосту у ратуши они простились. Фридрих пошел назад. Около мельницы он остановился. Колесо и вода, как всегда, вели свою увлекательную игру. Неужели уже скоро всего этого не будет? Надо спросить об этом папашу Ростана!

Он вошел в ворота и постучал в окно. Старик не мог понять, чего от него хотят.

— О чем ты? Мельница? Да она прослужит еще лет сто, это так же точно, как то, что меня зовут Филипом Ростаном. Дерево, конечно, гниет, и болты ржавеют. Ну, поставить новое колесо — вот и вся недолга! Но разве я тут распоряжаюсь? Ступай к отцу. Владелец-то он. И ему хочется иметь на фабрике как можно больше этих проклятых английских

машин. А тут уж никакая мельница не справится, это точно, это говорит тебе папаша Ростан.

Фридрих возвращался домой, размышляя: «Может быть, Рихард прав? Надо будет прямо спросить об этом отца. Сегодня же все разузнаю».

Отец поразился, услыхав о том, что волнует Фридриха.

— Хорошо, что ты с ранних лет интересуешься этими вещами. Но коротко этого не объяснишь. Завтра после обеда пойдешь вместе со мной на фабрику.

Впервые в жизни Фридрих шел рядом с отцом по фабрике — его переполняло чувство гордости. Повсюду служащие и рабочие снимали шапки и кланялись им. Вот что значит принадлежать к семье владельцев.

Осмотр начался со склада, где хранились мешки с сырьем, привезенным из Италии и далекого Китая.

— Наверху в прядильне из этого делают пряжу.

Прядильню он знал. Ходил мимо нее, когда возвращался с мельницы. Да и побывал в ней в тот раз, когда впервые проник на фабрику. Но с тех пор здесь все изменилось. Машины были новые, и их число заметно увеличилось. А женщин, которые сновали между ними, стало меньше. Шум стоял адский. Под потолком со скрежетом вращалась громадная железная ось, которая все здесь приводила в движение. Узнал Фридрих и заслонку, через которую ему показывал прядильню папаша Ростан.

— А начинается все в чесальне, — прокричал ему на ухо отец.

Да, там-то он и кувыркался тогда на ватной горе с ребятишками. Он остановил отца и побежал посмотреть, что там делается теперь. Но никаких детей не было. Стояли машины, за которыми работало несколько женщин.

— А где же дети? — спросил он отца.

— Что? — переспросил отец.

— Дети, — кричал он, — где дети, которые тут играли?

Отец не понимал. Тут Фридрих увидел ту женщину, которая когда-то подарила ему яблоко. Он подошел к ней с тем же вопросом. Она хотела ему что-то ответить, как вдруг заметила его отца и резко отвернулась. Между нею и мальчиком сразу возникла какая-то невидимая стена. Фридриху стало тоскливо.

На лестнице он снова повторил свой вопрос. Отец наконец-то понял.

— Дети — там, в бывшей рассыльной.

— Пойдем туда?

Отец покачал головой.
— Да там нет ничего интересного.
— Но мне хочется повидаться с ними.
— Мне кажется, ты хотел узнать, что станет с мельницей? — недовольно сказал отец.
Он был явно рассержен. Удивленный Фридрих подчинился. Было похоже на то, что он своим вопросом неосторожно задел какую-то тайну, заговорил о том, о чем принято молчать. Но вскоре об этом было забыто. Отец привел его в какой-то просторный цех, в котором стояла сложнейшая машина. Она работала в размеренном ритме, и возле нее не видно было ни одного человека.
— Новые «Роберты», — с гордостью сказал отец. — Я купил их в Англии. Во всей Германии таких машин больше ни у кого нет!
Фридрих долго не мог оторвать от нее глаз. Через полчаса, переполненный впечатлениями, он вышел во двор. Отец, показав рукой в сторону мельницы, сказал:
— Она долгие годы служила нам верой и правдой. Но теперь она нас разоряет. Медленно, но верно.
Больше он ничего не сказал.
Он повел Фридриха в контору. Господин Дюрхольт подал ему толстую книгу, и отец взял его с собой в кабинет. Он положил книгу на стол и сказал почти торжественно:
— Гроссбух — неподкупная совесть всякого коммерсанта, фабриканта, предпринимателя.
Фридрих озадаченно смотрел на книгу. Была она, правда, солидных размеров, но уж очень потрепана. В целом вид у нее был скорее жалкий.
— Сюда заносится все, что происходит на фабрике, от мелочей до крупнейших сделок, а делается это в виде цифр, расходов и приходов, то есть денег, которые мы тратим и которые потом получаем.
Отец раскрыл книгу. Глазам Фридриха предстали цифры, одни сплошные колонки цифр — синие, красные, зеленые цифры и ничего больше.
— Вот эти цифры и заставляют нас делать одно и не делать другого. Фирма потерпит крах, если начнет сопротивляться этим цифрам.
Фридрих смотрел на книгу с неприязнью.
— Стало быть, это из-за нее снесут мельницу?
Отец кивнул.
— Водная энергия, которую мы от нее получаем, обходится слишком дорого. Постоянный ремонт, простои в то

время, когда уровень воды в Вуппере падает, зависимость от сотен других мельниц, расположенных выше нас, — вот причины, по которым мы вынуждены искать более надежный источник энергии.

— То есть построить новую мельницу? — спросил Фридрих.

— Время мельниц миновало.

— А что же будет приводить в движение машины?

— Не догадываешься?

Фридрих покачал головой.

— А ты забыл, как мы праздновали ливерпульскую победу?

У Фридриха словно пелена упала с глаз. И как это он сам не догадался!

— Пар! — выпалил он с просиявшим лицом.

Отец кивнул. Но никакой особой радости на лице его не было. Между темных бровей пролегла складка.

— То будет первая паровая машина в долине. — Он отложил книгу в сторону и вынул из сейфа какую-то бумагу. — Вот, чтоб ты видел, что я уже много лет думаю о паровой машине. — Это был акт о купле небольшого земельного участка. — Старый глиняный карьер за Эльберфельдским шоссе. Это лучшее место в Бармене для железнодорожной станции. Я купил эту землю за сущие гроши.

— Яма? — растерянно спросил Фридрих.

— Да. И еще кое-что. Лет через десять—двенадцать, сынок, когда будет открыта линия Дюссельдорф — Эльберфельд — Бармен, мы сделаем на этом целое состояние. — И отец потряс бумажкой.

Фридрих подпрыгнул от радости и стал хлопать в ладоши. Предприниматель был заметно польщен таким признанием со стороны сына.

— Да, всегда следует смотреть вперед и предвидеть направление развития.

Восторг сына, однако, вызвала вовсе не деловая сметка отца, а то, что от их города до Дюссельдорфа будет протянута железнодорожная ветка.

Тут он вспомнил, что пар многое делает лишним. Мельница Энгельсов... К радости его примешивалась капля горечи. Как он всегда гордился мельницей! А теперь приходилось с нею прощаться.

В это время в кабинет влетел господин Браке, экспедитор.

— Господин Энгельс, господин Энгельс, в Эльберфельде беспорядки. Рабочие и ремесленники штурмуют фабрики и разбивают машины.

Фридрих испугался. Он растерянно смотрел на отца. Тот напустился на Браке:

— С каких это пор сюда входят без стука?

Тут только экспедитор заметил Фридриха. Он извинился.

— Так что же там произошло, господин Браке? Рассказывайте по порядку, — сказал отец.

— Вчера при выдаче зарплаты многие стали проявлять недовольство... — начал экспедитор.

— Это у Брюнингов, знаю, — перебил его отец. — Новый владелец платит людям товарными чеками вместо денег, — сказал он с неодобрением.

Экспедитор продолжал:

— Ремесленники протестуют против снижения заработной платы, а рабочие заявили, что не выйдут на работу до тех пор, пока хотя бы часть зарплаты им не выдадут в деньгах. А когда они сегодня утром, как обычно, пришли на работу, то увидели, что ворота фабрики закрыты.

— Непостижимо, — покачал головой отец.

— Новый владелец распорядился впускать только тех, кто письменно подтвердит свое согласие на новую форму оплаты. Когда таких не нашлось, он заявил, что все уволены. Тогда рабочие соединились с ремесленниками-ткачами и ворвались на фабрику...

— И разбили машины? — растерянно спросил Фридрих.

— Грозили разбить. Они держали фабрику в своих руках, пока в десять часов из Дюссельдорфа не прибыли войска...

— Чистейшее безумие, — взволнованно сказал отец. И Фридрих никак не мог понять, что он имеет в виду. — Ступай домой, мой мальчик, — повернулся он к сыну, снова взяв себя в руки. — Скажи маме, пусть не волнуется. У нас ничего подобного не произойдет.

Фридрих ушел. Перед лавкой он заметил группу женщин. Их разговор походил на кудахтанье потревоженных кур. Когда Фридрих приблизился, они смущенно замолчали. Садовницу Розу и еще некоторых Фридрих знал.

— Никаких оснований для беспокойства нет, — сказал он им, приняв самоуверенную позу отца. — У нас ничего подобного не случится.

Он чувствовал, что женщины смотрят на него с почтением. Ах, если бы они знали, что в нем происходило! Фридрих

видел перед собой сотни рабочих, берущих штурмом фабрику, вооруженных дубинами и ножами, с лицами, как у пьяных из трактира с холма. Они набрасываются на великолепные машины, которые отец привез из Англии... Безумие торжествует. Страх и паника нарастают.

— Вы были у отца? — спросила его фрау Лемке, жена фабричного мастера.

Фридрих отвлекся от своих мыслей и заставил себя уверенно улыбнуться.

— Можете расходиться по домам. На фабрике все спокойно.

Он видел, что женщины действительно понемногу успокаивались. Не спеша, он отправился дальше, радуясь тому, как прекрасно умеет владеть собой.

В ближайшие дни волнения улеглись. Положение в Эльберфельде стабилизировалось. Фабрика Брюнинга снова открылась. Власти рекомендовали владельцу пойти рабочим на некоторые уступки. Зачинщики смуты предстали перед судом присяжных. В Бармене же все шло своим чередом, как и прежде. Здесь ничего не случилось.

Иногда, правда, например, когда Фридрих сидел у папаши Ростана, слушая его рассказы о прежних, лучших временах и думая о том, что его любимой мельнице вынесен смертный приговор, на душе у Фридриха становилось неспокойно, тревожно, и тогда благополучный ход вещей внушал ему неясные опасения.

Глава четвертая

LA RÉVOLUTION

Через сорок лет после штурма Бастилии старик фанатик, восседавший на королевском троне Франции, решил, что настала пора покончить с конституцией и восстановить абсолютную монархию. Он самочинно назначил новых пэров, составивших верхнюю палату парламента, а палату депутатов, представлявшую гражданское большинство, распустил. Однако проведенные вскоре новые выборы, несмотря на все уловки короля и его приспешников, закончились победой либералов.

Королевская тронная речь при открытии сессии палаты депутатов прозвучала как объявление войны добившейся успеха оппозиции. «Согласно конституции, — заявил

Карл X, — защита общественной свободы является священным правом моей короны. Мой долг перед народом состоит в том, чтобы во всей целости передать эту свободу моим преемникам. И если противозаконные деяния правительства станут поперек этому призванию, я в целях поддержания общественного порядка не остановлюсь перед тем, чтобы применить силу, полагаясь на неизменное доверие французов и не единожды явленную любовь их к трону».

Читая эту последнюю фразу, король пришел в такое волнение, что выронил свою шляпу, и она покатилась по полу. «Дурное предзнаменование», — зашептались придворные. А мальчишки из предместий весело распевали:

Ай-яй-я, ай-яй-я,
Во дворце сидит свинья.
Она шляпу в грязь роняет,
Чем кормить нас, мать не знает.
Точит папа острый нож —
Будет суп свиной хорош! *

Депутаты настоятельно просили сменить ненавистный народу кабинет Полиньяка, образованный королем в 1829 году. Вместо этого Карл X вновь распустил палату. Но и новые выборы лишь усилили оппозицию. Накануне приведения к присяге палата депутатов была распущена в третий раз, либеральная пресса запрещена, а конституция произвольно изменена. Это произошло 16 мая 1830 года.

В вечных льдах Арктики англичанин Джеймс Кларк Росс пробивался в это время сквозь метели и вьюги к северному магнитному полюсу.

В Берлине были выявлены и зарегистрированы два первых случая холеры.

Европу ласкали влажные и теплые юго-западные ветры, обещавшие плодородное лето.

Однако на обычно веселых улицах Парижа никто не смеялся.

С паровой машиной дело закрутилось значительно быстрее, чем предполагал Фридрих. Уже через месяц в их доме появился английский инженер, который занял комнату

---

* Перевод В. Сазонова.

на третьем этаже рядом с ним. За обедом инженер молча сидел вместе со всеми, лишь иногда он обращался к отцу с короткими фразами на своем родном языке. На территории фабрики что-то строили, и вскоре над стеной стала расти кирпичная труба.

Отец за обедом бывал весел, шутил с англичанином. Но потом оба посерьезнели, а разговоры их стали длительней.

Однажды вечером отец пришел домой, весь кипя от негодования. Он протянул маме какой-то листок бумаги.

— Ох уж эти бюрократы, эти трусливые тупицы! А господин ландрат каков, а? Выходит, он только и ждал, чтобы переметнуться к моим противникам!

Фридрих, вздрогнувший при слове «ландрат», поймал на себе недовольный взгляд отца.

— Что же теперь делать? — спросила мама.

Отец беспомощно пожал плечами.

— Не знаю. В самом деле не знаю. Когда придут Каспар с Августом, пошли их сразу ко мне! — и он ушел к себе в кабинет.

Фридрих отправился вслед за мамой на кухню. Он хотел узнать, что случилось. Мама сначала отказывалась говорить, но потом, посмотрев ему в глаза, сказала:

— Они направили петицию ландрату, чтобы добиться запрещения установки паровой машины.

— Кто? — спросил Фридрих.

— Их много, — ответила мать. — Ландрат отказал в выдаче права на пуск предприятия.

Пришли дядья. Из гостиной доносились их взволнованные голоса, время от времени прерываемые мощным басом отца. Слов разобрать было нельзя. Потом вышел дядя Каспар, чем-то, как видно, недовольный. За ним появился усталый и подавленный дядя Август. Отец не показывался.

Фридрих долго медлил у двери. Потом осторожно постучал. Тихо вошел. Отец сидел, не поднимая головы, за бюро. Он только устало спросил:

— Элиза?

— Это я, папа. — Отец обернулся. — Я только хотел сказать тебе, что все равно мы победим! — Мальчику очень хотелось как-то подбодрить отца. И он напомнил отцу его же слова: — Назло всем тупицам бюрократам!

Отец, однако, даже не улыбнулся, только взял его за руку и подмигнул:

— Ступай спать, сынок!

На другой день строители покинули фабрику. Отец то и дело отлучался в Дюссельдорф. Возвращаясь, он всякий раз коротко говорил что-то маме и запирался у себя в кабинете. Потом он поехал в Кобленц, где заседало правительство Рейнской провинции. Англичанин тем временем целыми днями просиживал в кресле на террасе, грелся на солнце и курил.

В классе вскоре все узнали, какая история вышла у Энгельсов с их далеко идущими планами. Только Рот и несколько старых испытанных корсаров поддерживали Фридриха. Остальные ехидничали и злорадно ухмылялись. В тот день, когда отец ни с чем вернулся из Кобленца, Капуста перед всем классом с издевкой спросил Фридриха:

— Когда же снесут вашу новую прекрасную трубу?

Выпад был внезапным. В классе захихикали. Фридрих не нашелся, что ответить. За эти дни авторитет гордого капитана корсаров заметно упал. Друзья на перемене пытались его утешить:

— Да наплюй ты на этот пар! Зато останется мельница! — говорил Грель. — Ну зачем нам паровая машина?

— Она будет построена! Будет! — крикнул Фридрих. — И однажды дым из трубы поднимется до самого неба!

Эту его уверенность разделял лишь Рот. Остальные задирались, и только за одну неделю ученик Энгельс был дважды уличен в драке.

Однажды вечером до Фридриха донесся из гостиной голос отца:

— Остается только Берлин, Элиза.

— Ты отправишься в такой дальний путь?

— Что делать? — горько ответил отец.

— А Морицу нельзя этого поручить? Он ведь в Берлине и мог бы попытаться все уладить.

— Он против любых нововведений на фабрике, ты ведь знаешь. И на этот раз я не хотел бы пользоваться его связями.

Последовала длинная пауза, а затем отец заговорил с такой мукой в голосе, что Фридрих оцепенел:

— Ходишь, ходишь, Элиза, клянчишь, как побирушка, то, что необходимо всем, а не мне одному. Кланяешься, улыбаешься, умильно заглядываешь этим тупицам в глаза — все это такой ад, моя дорогая!

— Может, ты сначала заедешь к отцу в Хамм? — советовала мама. — Он был близко знаком с ландратом Маасеном,

который теперь ведает таможнями в министерстве финансов. Вдруг он тебе поможет...

Фридрих потихоньку отправился к себе. Из головы не выходили слова отца. Руки сами сжимались в кулаки. Ах, как все непросто в мире!

Тут в голову ему пришла мысль обратиться к всемогущему. И он горячо, от чистого сердца, как умеют только дети, стал молить бога, чтобы тот помог отцу.

До самой троицы шли дожди. В доме Энгельсов было прохладно, дни тянулись скучно. Зато тем большей была радость, когда лето все же вступило в свои права. В школьном расписании появлялось немало окон из-за болезней учителей, так что у Фридриха с Рихардом было время подолгу бродить по городу и его окрестностям.

Однажды они остановились перед книжной лавкой Кукоша. И вдруг Фридрих снова увидел свою книгу.

— Она опять появилась! — закричал он. — Вон, на самом верху справа, видишь, дракон? — Он пошарил по карманам и собрал все свои пфенниги. — Маловато.

— А ну-ка давай сложимся! — предложил Рихард и потянул Фридриха в лавку.

Маленький человечек с бегающими глазками за стеклами очков и оттопыренными ушами принял их как важных господ. Низко поклонившись, спросил:

— Чем могу служить, господа?

Рихард купил себе тоненькую книжку в яркой обложке — роман о разбойниках.

— А ему вон ту книжку, что на витрине, — потребовал он тоном бывалого, уверенного в себе человека. — Этого парня, который сражается с чудовищем.

— ...«Историю о неуязвимом Зигфриде», — уточнил Фридрих.

— А, понимаю! — проговорил коротышка и проворно, как белка, вприпрыжку побежал куда-то в глубь своего похожего на пещеру заведения. Глазам Фридриха предстал невероятный хаос, настоящее книжное море: книги стояли на полках, лежали стопками на столе и стульях, висели в сетках, валялись поверх ящиков и на полу. Так ловко пробираться среди всего этого хаоса мог только очень к этому привычный человек. С поразительной быстротой Кукош выудил в этом море три экземпляра и выложил их на прилавок. Затем последовала популярная лекция о достоинствах и

недостатках каждого из трех изданий. Однако Фридриха интересовало только одно из них — с яркой картинкой на обложке, которое было выставлено в витрине.

— Никаких возражений против сего труда, хотя издатель книги позволил себе некоторые вольности, которые, так сказать... Впрочем, желание клиента — желание короля.

К сожалению, это издание оказалось и самым дорогим! Друзья выложили все свои пфенниги на прилавок. Их не хватило.

— Ничего, остальное занесете потом, — подмигнул им книготорговец.

— Немалые деньги за такую тоненькую книжечку, — проворчал Рихард, пряча за пазуху свое приобретение.

Фридриху же его первую самостоятельную книжную покупку тщательно завернули, и он принял ее, как сокровище.

— Всегда к вашим услугам, — поклонился Кукош, любезно улыбаясь своему самому юному покупателю.

— Ну и книг у него! — пробурчал Рихард, выйдя из магазина. — Он их и не продает совсем, а только скапливает. Скупердяй!

И тут перед ними выросла неуклюжая фигура в черном плаще, какие носили пиетисты, и, хотя до сих пор Фридрих видел этого человека только с почтительного расстояния, он сразу узнал его. Это был зловещий пастор местной кальвинистской общины Круммахер.

— Итак, сын мой, — обратился священник к Роту, бросая недовольные взгляды на книжную витрину. — Нас привлекают, стало быть, эти соблазнительные издания? — спросил он угрожающим тоном.

— Что вы, ваше преосвященство! Ни в коей мере! Это же сатанинское зелье! — решительно парировал Рихард.

— Истинно говоришь. Посему давай сюда то, что ты спрятал за пазуху!

Рихард нехотя подчинился.

— Сатанинское зелье и есть! — сказал Круммахер, разглядывая пеструю обложку. Не говоря больше ни слова, он сунул книжку в карман своего просторного плаща.

— Отец твой будет того же самого мнения, дружочек, — ядовито заключил он и повернулся к Фридриху. — А ты кто такой?

— Фридрих Энгельс.

— Ага, значит, один из отпрысков Энгельсова семейства, — сказал пастор медоточивым голосом.

Выражение его лица, однако, не сулило ничего хорошего. И прежде чем Фридрих догадался о грозившей опасности, пастор быстрым движением вырвал книгу и у него.

— Это адское семя мы вытопчем, — сказал черный человек, удаляясь твердыми шагами.

Только теперь Фридрих опомнился.

— Моя книга! — закричал он.

И, догнав Круммахера, схватил его за рукав:

— Отдайте мне мою книгу!

Тот брезгливо стряхнул его руку, как докучливое насекомое. В его ненавидящих глазах Фридрих прочел безнадежность всякого протеста. Кипя от бессильной ярости, он дождался, пока подойдет Рихард. До самого вечера друзья не расставались, вынашивая планы мести.

— Ну что ты опять натворил? — встретила его дома Ульрика. — Твоя мать ждет тебя в гостиной. У нее дядя Снетлаге.

Фридрих пошел к ним. Он сразу понял, в чем дело, увидев на столе книгу, которую приобрел у Кукоша.

— Ну что, гуляка, наконец-то добрался до дома? — встретила его мама. — И не успел он пробормотать дежурные извинения, как она продолжила: — Как видишь, к нам зашел дядя Мориц, у него побывал пастор Круммахер. — Мама взяла в руки книгу. — Речь шла о тебе. Для твоего дяди разговор был неприятный, потому что он хотел бы жить в мире со своими коллегами-протестантами.

— Это все из-за книги, — сказал Фридрих с каким-то упрямым вызовом.

— Видишь ли, считается нежелательным, чтобы ученики реальной школы покупали книги у господина Кукоша, — сказала мама.

Дядя Мориц добавил:

— Он торгует предосудительной литературой, всяким дешевым хламом, разбойничьими и рыцарскими романами, а возможно, кое-чем и похуже...

Фридрих взглянул на книгу, которая была у мамы в руках.

— Разве это плохая книга?

Он видел, как дядя Мориц смущенно переглянулся с мамой.

— Ну, для мальчика девяти лет... — неуверенно начал дядя.

— Но ведь дедушка рассказывал историю о Зигфриде, когда мне было намного меньше, — возразил Фридрих.

— И ты её понял? — спросила мама.

Фридрих быстро кивнул и уверенно сказал:

— Кто побеждает великанов и драконов, тот герой, помогающий людям...

Мать испытующе посмотрела на него, а потом решительно протянула ему книжку:

— Можешь оставить ее себе.

Дядя Снетлаге был, по-видимому, не очень доволен таким решением.

— Видишь ли, любезная сестрица, коллега Круммахер придерживается мнения...

— Ладно уж, брат, потом... — сказала мягко мама и повела Фридриха к двери. — Младшим эту книгу показывать не надо. Возможно, и отец будет не очень доволен... — предупредила она его.

Только тут Фридрих наконец понял, что реквизированная книга снова принадлежит ему. Он бросился маме на шею. На душе снова стало радостно. Быстро проглотив ужин, поскорее ушел к себе. Нетерпеливо открыл книгу и стал читать.

«В известном всему миру городе Ксантене, что на Рейне в Нидерландах, рос сын короля Зигхарда и королевы Зиглинды. Мальчик вырос большим и сильным, потому как не держался за мать и отца, а хотел стать самому себе господином. А еще хотел он, как славный витязь, защищать страну от всякой нечисти и напастей...»

Страничка, другая, и вот уже история Зигфрида увела его туда, где не было ни Капусты с его мелкими подлостями, ни мрачного Круммахера.

Через два дня приехал из Берлина отец. Выглядел он усталым. Тем не менее из его слов явствовало, что есть надежда на продолжение строительства. С энтузиазмом рассказывал он о регирунгсрате Маасене, который был с ним очень любезен и отнесся к делу с интересом.

— Он хочет сам поговорить с министром Мотцом, а потом сообщит мне о результатах. Но, конечно, недели на две надо запастись терпением. Времени жаль, конечно, но лишь бы все кончилось благополучно!

Фридрих был рядом и все слышал. Но задерживаться не стал — книга властно манила его. Манил тот, кто не пресмыкался и не заискивал, кто сражался с мечом в руках...

Как хотелось ему стать таким, как Зигфрид...

Верхом на белом коне скачет Фридрих по дну ущелья, в котором обитает дракон. Путь его лежит через скалы самой

причудливой формы. Сухие ветви тянут к нему свои корявые руки, камнепады и болота преграждают путь. Но словно волшебная сила заставляет коня скакать все дальше и дальше, к самому краю ущелья. Там вдали светится точка, она разрастается, становится ярче, вот уже в лицо ему пышет жар адского пламени. Но он продолжает свой путь и подступает к чудовищу все ближе. Ему предстоит совершить великий подвиг, но небывалая опасность подстерегает его. Закричать бы, остановить коня, повернуть. Но есть в нем то, что сильнее страха, что помогает продвигаться вперед, — неукротимая жажда борьбы и свершений. Крепче сжимает он рукоятку меча. И вот конь замирает. Перед ним огромное туловище и хищная голова с огнедышащей пастью. Над ним взметнулись грозные лапы. Фридрих выхватывает из ножен меч, но в руке его пусто. Ужас охватывает его. Тогда он обращает к небу страстную молитву. И свершается чудо: в руке его появляется новый, сверкающий меч. Со всей мочи наносит он удар. Но что это? Меч рассекает лишь воздух. Дракон исчез, словно провалился в преисподнюю. Перед героем одна только бездонная, неотвратимая адская пропасть. Его конь падает в эту пропасть, и Фридрих глубже и глубже погружается в огненную пучину, уходя из мира, из жизни.

В этот миг он проснулся. Весь в поту, но, слава богу, жив, спасен.

Жив. За окном лето. Пахнет ромашками, медом. Впереди сентябрь — четыре долгих, великолепных недели без школы, без Капусты.

Шорох в саду отвлек Фридриха от мыслей. Кажется, кто-то торопливо прошагал в их дом.

Он выскочил из постели и подбежал к окну. При свете луны можно было различить темный силуэт мужчины, подходившего к веранде. Кто-то нетерпеливо постучал в окно Он слышал, как открыла окно на кухне Ульрика.

— Господин пастор Снетлаге!

— Мне нужно срочно поговорить с хозяином, Ульрика, — послышался взволнованный голос дяди Морица.

Открылось еще одно окно. Прозвучал озабоченный голос отца:

— Ради бога, Мориц, что случилось?

Дядя Снетлаге отвечал таким тоном, будто на дворе произошло светопреставление.

— Революция, брат! Улицы Парижа залиты кровью. Бурбон свергнут.

— Боже мой! Заходи же скорее!

Кто-то открыл и потом быстро запер дверь.

Фридрих чувствовал, как в груди его бьется сердце. Революция. Его мысли кружились вокруг этого слова, окутанного жуткой тайной. Когда его произносили мужчины, то понижали голос, а в глазах женщин появлялся страх. Фридриху было известно, что родилось это слово во Франции. Нож гильотины упал с грозным стуком, и голова короля покатилась в пыль. А больше он ничего не знал. И когда однажды спросил Генриетту, что скрывается за словом «революция», она ответила с классической точностью:

— Ничего, и незачем маленьким мальчикам ломать себе над этим голову!

«Папаша Ростан! Ведь он француз! Черт возьми, так отчего ж я не спросил у него?»

Давно не было такого тревожного утра, как утро 1 августа 1830 года. В доме то и дело хлопала дверь, входили и выходили какие-то люди с испуганными лицами и о чем-то шептались. Ставни и ворота на улицу оставались запертыми, детей собрали в комнате мамы, которая читала им сказки и вообще была совсем другой, чем обычно. Ему же, старшему из детей, позволили остаться со взрослыми, которые упаковывали серебро, посуду, покрывала, ковры и прочие ценные вещи, чтобы увезти и спрятать их в потайном месте.

Никто в этой сутолоке не заметил, как после обеда Фридрих исчез из дома. Вход на мельницу был на запоре, кругом была непривычная тишина. Мальчик нашел папашу Ростана с удочкой на берегу.

— Да ты ведь ходишь в городскую школу, хочешь стать ученым, можешь говорить со мной по-французски, а таких простых вещей не знаешь.

— Нет, не знаю, папаша Ростан, — тихо признался Фридрих и попросил объяснить ему, что же означает это слово — революция.

— Революция — это когда народ поднимается на своих притеснителей...

— Народ?

— Да, ведь я, ты, твой отец, люди, работающие на фабрике, ремесленники, женщины, весь город и крестьяне в деревнях, вся страна — это и есть народ.

— И все против короля?

— Не только. Еще и против правительства, поповской братии и всех, кто к ним относится.

— Они не посмеют.

— Не посмеют?! Еще как посмеют! Тоже сказал! Думаешь, будут спрашивать у тебя разрешения? Или ты уже забыл, что было в Эльберфельде?

Папаша Ростан смотал удочку.

— Пойдем!

У себя дома он достал из сундука какую-то толстую книгу и, раскрыв ее, показал Фридриху картинку.

— Вот, взгляни! La grande révolution à Paris *.

Фридрих стал разглядывать картинку. Перед ним была длинная улица, на ней множество мужчин в похожих на луковицы шапках, с мушкетами, топорами, молотами, мальчишки с камнями и женщины. Они наступают на гренадеров короля, стреляющих из ружей. Многие из нападающих уже сражены пулями, они падают, держась рукой за кровоточащие раны, или уже лежат на земле. Страшное, холодящее кровь зрелище. Оно перевернуло и возмутило всю душу Фридриха. Никогда он этого не забудет!

— Ты там был?

Папаша Ростан покачал головой.

— И теперь меня там нет, — сказал он с грустью.

— Французы опять придут к нам?

— Зачем это они придут?

— Ну, как тогда после революции...

— Тогда? Тогда ваш император, ваши короли и князья напали на Французскую Республику. Они развязали войну. Без этого ни один француз не ступил бы на чужую землю. — Он кивнул в сторону окна: — Слышишь?

— Что?

— Барабанную дробь.

Фридрих покачал головой. Папаша Ростан поднял руку:

— Точно тебе говорю. Снова они маршируют, ваши пруссаки, и снова на запад. Как тогда. Я слышу их с самого утра.

Фридрих с недоумением смотрел на старика. Как он ни напрягался, он не слышал ничего, кроме мирного плеска воды и птичьего щебета.

Только по дороге домой ему тоже почудилось, что он слышит какое-то «бум, бум, бум-бум-бум». Сломя голову помчался он через мост и, миновав белильни, взобрался на холм. Барабанный бой раздавался все громче, за ним послышалось и лошадиное ржанье, а там и позвякиванье сбруи, слова команд и шум шагов. Сначала над дорогой показалось

* Великая революция в Париже.

облачко пыли, а потом он увидел и марширующие колонны, растянувшиеся до самого горизонта.

Фридрих спрятался в траву недалеко от дороги. Он мог отсюда слышать голоса солдат, видеть их лица, затворы их мушкетов. Между колоннами тащились повозки с пушками, скакали на лошадях офицеры с блестящими эполетами, вышагивали барабанщики и знаменосцы. Сильно пахло человеческим потом, лошадьми, кожей и табаком.

Прибежав домой, он бросился в объятья матери с криком:

— Пруссаки, пруссаки маршируют!

Дни за этим последовали необыкновенные. Школу закрыли. Все неважное, второстепенное, превращавшее обычные недели в серые будни, отодвинулось куда-то вдаль. Очень по-разному повели себя женщины в доме. Служанки Роза и Фелисита носились с перепуганными лицами как угорелые. Молчаливая, бледная и строгая Генриетта вся ушла в себя и стала мягче, покладистее обычного. Мама не позволяла себе никакой расслабленности, как в иные, благословенные времена. Ульрика плакала, отчаивалась и причитала, возясь у котлов на кухне. Все ее утешали. Обитатели дома стали относиться друг к другу с большей нежностью и вниманием.

Но все это длилось только неделю. По ее истечении стало известно, что волнения в Париже прекратились, что трон занял новый король. Неужели оловянные солдатики победили? Вместе с коврами в дом вернулся прежний плюшевый порядок. Правда, в душе Фридрих не хотел с этим мириться, но, когда и школа снова распахнула свои ворота, он понял что révolution de juillet* похоронена. К счастью, до больших каникул оставалось всего несколько недель. А значит, не за горами и давно обещанная поездка в Хамм, к дедушке, которого можно обо всем расспросить.

Едва прозвенел в городской школе последний в августе звонок, как буйная толпа мальчишек немедленно высыпала из каменного здания наружу. Какой рев ликования, какие вопли радости понеслись по улицам, где прохожие застывали в недоумении, пока не догадывались о причинах извержения юношеской энергии. Большие осенние каникулы начались!

Фридрих покинул здание школы одним из последних. Он не принимал участия во всеобщем ликовании, потому что

---

* Июльская революция.

каникулы для него еще не начались: путь к ним лежал через тяжелое объяснение с мамой по поводу табеля. Вообще-то отметки были у него неплохие, по многим предметам он даже улучшил свою успеваемость. Например, по истории. А в графе «французский язык» после слова «похвально» стоял жирный восклицательный знак, проставленный рукой доктора Шифлина.

Фридрих мог бы быть доволен, если б не классный наставник и злейший враг Каппе, прозванный Капустой. Если б не гнусная характеристика, которую он ему написал и из-за которой наверняка будут неприятности дома. «Вопреки всем увещеваниям и предостережениям Фридрих так и не проявил усердия к добропорядочному поведению. Его фатальная склонность ко всякого рода выходкам и нарушениям дисциплины возрастает и вызывает все большую озабоченность».

И предстать с таким вот документом перед мамой! О, Капуста, Капуста! Хорошо хоть отец в отъезде, но ведь, когда он вернется, все равно все прочтет.

— Не переживай, Фриц, — сказал ему поджидавший во дворе Рихард. — Мне он написал и того похлеще. Ну, отлупит отец, и жизнь пойдет дальше.

Нет, его не отлупят. От мамы такого ожидать не приходится. Но все эти проповеди, бесконечные попреки, ее несчастный вид... Правда, у Рихарда дела обстоят еще хуже. Ни одного «похвально», ни одного даже «очень хорошо», так что пачкотне Капусты нечего противопоставить.

— Давай я тебя провожу, — предложил он другу. — Расскажу твоей матери о том, какой подлец Капуста.

— Не поможет, — отмахнулся Рихард. — Я сегодня с утра надел трое подштанников. Будет не больно.

— Ну и хитрец ты!

Друзья, смеясь, стали делиться опытом ведения партизанской войны с родительской властью и, так болтая, дошли до Гемарка.

— Ну и жарища! — жаловался Рихард.

— Еще бы, — поддразнил его Фридрих. — Надеть столько подштанников! Я бы вообще не выдержал.

Но Рихард не терял присутствия духа.

— Ничего, зато завтра отправлюсь к тетушке в Бремен. Ах, Фриц, вот где можно повидать мир!

Фридрих вспомнил о предстоящей поездке в Хамм, к дедушке ван Хаару. И сразу все прочее отошло на второй план — и Капуста, и табель, и гнев отца.

Мама как-то очень уж долго вчитывалась в то, что написал Капуста. Казалось, она никак не могла понять смысла написанного. Потом она быстро пробежала глазами гордый ряд отметок и снова вернулась к характеристике.

— Ну, что ты скажешь?

Сказать можно многое, пронеслось у него в голове. Но в глазах матери зажглись слишком опасные искорки. Лучше уж промолчать.

— Не ты ли обещал вести себя разумно? Не ты клялся?

Повесить голову с покаянием — вот что тут было уместно.

— Так почему же ты не сдержал слова?

Опять за старое...

— Почему?

Одно и то же.

— Не знаю, мама.

— Что скажет теперь отец?

Об этом лучше совсем не думать! Сейчас последует наставническая проповедь. Но он ошибся. Вместо проповеди прозвучала одна-единственная убийственная фраза:

— О поездке в Хамм и не мечтай.

Удар попал в самое сердце.

— Но, мама! — простонал он в отчаянии.

— Я тебя не возьму! Не могу же я привезти дедушке с бабушкой человека, который не умеет себя вести. — Матери и самой нелегко, видно, давалась ее строгость, потому что на глазах у нее выступили слезы. — Нет, такого подарка я им преподнести не могу! — сказала она, чуть не плача.

Фридрих повернулся и, ничего не замечая, побежал — из комнаты, из дома, через лужайку, в свое любимое укромное место. Хуже этого ничего не могло быть. «Ну, что я им сделал? — От возмущения и гнева хотелось кричать. — Дедушка, милый, добрый, все понимающий. Ему бы я все объяснил. Сколько я мечтал о том, чтобы поговорить с ним. А теперь...»

Постепенно он успокоился. Вспомнил о Зигфриде из своей книги. Однажды он покинул стеснявшие его стены отцовского замка, отважно вступил в мир и стал героем. И я им когда-нибудь докажу... Утешившись этими мыслями, он вернулся домой.

Там он обнаружил, что его братья и сестры заняты сборами. Отец, оказывается, распорядился выехать в Хамм

неделей раньше. Так что отъезд состоится завтра утром. Счастливцы! Но тут вдруг к нему подошла мама.

— А ты не собираешься укладывать свои вещи, Фриц?

Не ослышался ли он? Что все это значит?

— Но ведь я...

— Без разговоров. Времени в обрез.

Тут Фридрих осознал, что прощен. Но как, почему? Раздумывать об этом было некогда, и он побежал в свою комнату собирать вещи. Только за ужином он узнал, почему было решено выехать раньше. В Брюсселе революция! В Нидерландах кровавые столкновения! А ведь Нидерланды не так далеко от Вупперталя, как Франция. Отсюда всего часа два езды до границы. Вот отец и опасался, что всеобщие беспорядки захватят и Вупперталь. Неужели это возможно и у нас? Что-то не верилось. Но потом Фридрих вспомнил о том, что говорил ему папаша Ростан, вспомнил о событиях в Эльберфельде. Так что поездка выходила не радостной, а тревожной.

В эту ночь он почти не спал. Странный шум доносился откуда-то. Уже давно завершили свой обход ночные сторожа, а во многих домах еще горел свет. И со стороны Гемарка доносились какие-то крики.

На рассвете уже пришла первая повозка за вещами. В семь часов должна была появиться большая коляска, запряженная четверкой лошадей. Хотя отец всех торопил и заметно нервничал, отъезд все время по разным причинам задерживался. Фридрих попросил было, чтобы ему разрешили поехать на козлах рядом с кучером, но ему отказали резко и почти испуганно. Тут-то он и догадался, что в городе происходит что-то таинственное и опасное. Мама плакала, прощаясь с отцом, который даже не улыбался, когда махал им вслед рукой, стоя на лестнице.

Сразу за почтой на улицах заметно было большое оживление. Мимо них спешили куда-то группы мужчин в кассетках. Перед булочной толпились возбужденные домашние хозяйки и служанки. Завешивались витрины больших магазинов. Кучер хоть и старательно погонял лошадей, но на Кампштрассе они резко встали. Фридрих увидел, что всю улицу запрудила многолюдная молчаливая толпа. Люди в рабочих куртках и фартуках, собравшиеся у роскошного подъезда Дома предпринимателей, перегородили проезд. У кого-то в руках было черно-красно-золотое знамя.

— Дорогу! — кричал кучер и настегивал лошадей.

Грудной ребенок на руках Генриетты плакал. Мама

стала успокаивать его. Лошади встали на дыбы. Кто-то из мужчин крикнул:

— Пропустите их!

Освободился узкий коридор в людской толпе, и они медленно двинулись дальше. За стеклом кареты мелькали худые и бледные женские лица. Кто-то погрозил увесистым кулаком. «Свободы и равенства!», «Хлеба и денег!» — неслось со всех сторон. Постепенно путь освободился. Бодрой рысью выехали на загородную дорогу. Взметнулась пыль, и в ее облаке город скрылся.

— Боже мой, господин Энгельс был прав, а мы не хотели ему верить! — сказала фрейлейн Генриетта.

— Только бы с ним ничего не случилось! — вздохнула мама.

— Что это были за люди? — спросил Герман.

— Ремесленники и рабочие, — ответил Фридрих.

— Это злые люди?

Фридрих пожал плечами. Мама сделала то же самое.

— Бедные и голодные, — прошептала Генриетта.

Фридрих слышал, как шептались мама и Генриетта.

— Во всем виноваты мекели, рооны, эти новые фабриканты, что норовят платить товарами, а не деньгами.

— Только они, мадам?

Мама замолчала.

На мосту в Вупперфельде им встретился отряд жандармов с обнаженными штыками. Благополучно добрались до Риттерсхаузена. За последним его домом пришлось остановиться у спущенного шлагбаума. Пограничники сегодня были с ног до головы вооружены. Кучер предъявил им бумаги. Капрал открыл дверь кареты. Короткое, резкое приветствие, два сверлящих глаза на усатом лице, и дверь снова захлопнулась. Полосатое, черно-белое бревно поднялось. Коляска въехала в темный лес и покатилась по древней прусской земле. Мама молилась.

«Что же это за новые фабриканты? — размышлял Фридрих. Опять он не знал чего-то элементарного. — Но ничего, терпеть осталось недолго. Дедушка мне все объяснит, стоит только добраться до Хамма».

Дедушку он хорошо помнит: высокий, статный, он всегда как будто наклоняется чуть вперед, словно хочет кому-то помочь; выражение лица у него всегда ласковое и спокойное, точно он непрерывно радуется чему-то. Обычно голос у него приглушенный, негромкий, но, когда дедушка начинает рассказывать о других эпохах и странах, голос его

крепнет, становится громче, а знает он всего столько, что может рассказывать бесконечно. Рассказывая, он оживляется, лицо его словно загорается. При этом его длинные тонкие руки постоянно в движении, они словно лепят что-то в воздухе, помогают ему оживлять прошлое, делать рассказ наглядным. А какие у него глаза! Конечно, бывают глаза, в которых много огня, смелости и самоуверенной силы. Чуть увлажненные глаза дедушки не таковы, нет — зато в них столько бесконечной доброты и жалости к людям. Таких глаз не найти ни у кого на свете.

Дедушка много лет был директором гимназии в Хамме. И когда идешь с ним по городу, все, стар и млад, снимают перед ним шляпу. Теперь он на пенсии. Любит прогуливаться, уходит далеко и надолго. Фридрих будет гулять с ним. Они встанут как-нибудь на заре и уйдут далеко-далеко, и Фридрих искупается в холодном ручье, а дедушка не проговорится ни маме, ни бабушке, которые это строго-настрого запретили. Но на лестницу, приставленную к старой сливе в саду, Фридрих дедушку больше не пустит, ведь в прошлом году он чуть было не упал с нее и не разбился. Нет, на сливу Фридрих полезет сам!

И еще много приятных подробностей предстоящего пребывания в Хамме представилось Фридриху. И самое удивительное: все потом было точно так, как ему представлялось!

Правда, в первые дни настроение у всех было еще подавленное из-за домашних треволнений. Но вскоре пришло письмо от отца, которое всех успокоило. Фрейлейн Генриетта, в услугах которой здесь не нуждались, могла спокойно возвращаться назад. У Германа заболел живот, и его уложили в постель. Мария и малыши не отходили от бабушки. Так что дедушка достался Фридриху одному! Он его не отпускал ни на шаг. Ходил с ним по полям и лесам и все слушал, слушал. Оказывается, история революционных движений началась вовсе не во Франции Людовика XVI. О выступлениях народа, демоса, против тиранов упоминается уже в самых древних античных хрониках. Удивленному Фридриху предстал исчезнувший мир греков. Бунтовщик Прометей спас людей от произвола богов. Тезей и Геракл, аргонавты, Одиссей и Ахилл, которые воспеты в поэмах и песнях древних народов, — все они были свободными, мужественными героями, которые предпочли бы смерть позору рабства, это были настоящие люди, отваживавшиеся перечить самим богам. Он узнал о веселой и свободной Аттике, достигшей своего расцвета в демократический век Перикла,

о героической борьбе эллинов с завоевателями-персами.

Дни каникул летели быстро. И только уже по пути домой Фридрих вспомнил, что забыл спросить о самом жгучем и злободневном — о Капусте, ландрате, о новых фабрикантах, из-за которых возникали волнения. Хотя в нем крепло чувство, что найти ответ на эти вопросы теперь будет уже легче.

Отец был доволен и счастлив. Ему все-таки разрешили установить паровую машину. В беспорядках в Бармене не участвовал ни один рабочий фирмы «Каспар Энгельс и сыновья». Благодаря этому появились новые заказы и выгодные кредиты. Отца беспокоили только сообщения о бельгийском восстании. С брюссельскими коммерсантами его связывали тесные деловые отношения.

Мать и отец обменивались бесконечными новостями. Но Фридрих уже не слушал их с прежним интересом. Их мир чуточку отодвинулся от него.

Но тут отец вдруг сказал такое, отчего Фридрих вздрогнул:

— Да, представь, папаша Ростан нас покинул.

Фридрих не мог этого понять.

— Он что же, уехал?

— Да. В свои семьдесят лет собрал вдруг пожитки и отправился на родину, в свою лотарингскую деревню.

— Навсегда?

— Да.

На маму эта новость тоже произвела впечатление.

— Может, это он из-за новой паровой машины?

— Нет, мадам, не только из-за машины, — ответила вдруг за отца Генриетта. — Скорее это желание обрести вечный покой в родной земле.

После ужина Генриетта зашла к Фридриху в комнату. Она передала ему книгу.

— Папаша Ростан очень хотел проститься с тобой. Вот это он дарит тебе на прощание.

То была книга из сундука: «История Французской революции». Под заглавием было написано: «Au revoir, mon petit ami*, расти большой и оставайся человеком! Всегда твой Филип Ростан».

Генриетта, вручив подарок, сказала:

— Я думаю, родителям эту книгу лучше не показывать!

Фридрих посмотрел на нее.

---

* До свидания, мой маленький друг.

— Кто такие эти новые фабриканты? — спросил он.

Генриетта удивленно взглянула на него:

— Люди, которые платят своим рабочим дешевыми товарами вместо денег. Которые используют труд маленьких детей. Иногда за одну только похлебку.

Со стороны Гемарка донесся речитатив ночного сторожа:

Десять пробило часов.
Запирайтесь на засов,
Все, кто праведно трудился,
За кого господь молился.

Фридрих стоял у раскрытого окна. Где-то лаяла собака, шатаясь и напевая, брел домой пьяный. В отдалении еще раз прозвучал затихающий голос сторожа. Долина погружалась в ночную тишину. Лишь тихо журчали струи фонтана перед их домом, да равномерно стучала мельница Энгельсов.

Прометей похитил огонь у богов и передал его людям, чтобы они не жили во тьме, подчиняясь произволу богов... Завтра первым порог класса переступит Капуста... Пока существует на земле род человеческий, человек будет стремиться к совершенству.

Глава пятая

КРИК

Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн побледнел. Выронив только что прочитанные бумаги, он взял стакан с водой и принял пилюли. Вид у него был вовсе не королевский. С недавнего времени по настоянию врача от него скрывали неблагоприятные вести. После июльских событий в Париже он жил в мучительном беспокойстве. Лишь заявление о лояльности нового французского короля Луи-Филиппа Орлеанского несколько успокоило его. Но затем последовали революции в Бельгии, в Испании, восстание поляков. Мир вокруг Германии колебался. И вот теперь он узнал, что беспорядки имели место и в пределах его собственных владений, прежде всего в Бармене и Ахене. Правда, их быстро прекратили, и вовлечены в них были только низшие слои населения, как о том свидетельствуют заверения городских советников. Но кто мог поручиться, что завтра или послезавтра все не начнется сначала?

Снова вернулся к нему парализующий страх, знакомый еще с юности, со времен Французской революции. Страх перед разбушевавшимся плебсом, ужас перед всесокрушающей стихией необузданного народного гнева, кошмарное пугало гильотины.

Итак, теперь Ахен и Бармен. Не любил он их, этих рейнландцев. Не было у них беззаветной веры в авторитет, как у его бравых пруссаков, почитавших в своем суверене отечество, закон и порядок. Близость к Франции, долгие годы оккупации сделали рейнландцев невыносимо заносчивыми и строптивыми. С большой неохотой включил он их в 1815 году, после поражения Наполеона, в состав своего образцового государства. По совету Блюхера и Гарденберга он оставил им все, чем их наградили французы: свободу промыслов и ремесел, муниципальное право и этот отвратительный кодекс Наполеона, который обеспечивал народу суды присяжных и ограничивал дворянству право майората, феодальные привилегии. И все равно этот край остался очагом постоянных волнений. А те немалые деньги, которые выплачивались им в пользу короля, все равно шли на армию и полицейско-чиновничий аппарат, необходимый для поддержания там порядка.

— Что прикажет Ваше величество отписать в Ахен? — позволил напомнить о себе докладывавший королю государственный канцлер.

Король еще раз взглянул на письмо некоего Ганземана, который предсказывал еще большие беспорядки в случае, если не будет наконец принята давно обещанная конституция, не будут ограничены сословные привилегии и бюрократические злоупотребления, если не перестанет свирепствовать цензура, нагнетающая своей борьбой с либеральной прессой нездоровый общественный ажиотаж.

— Ничего! — решил король, задетый наглостью этого лавочника, осмелившегося давать ему политические наставления. — Удвоить гарнизон в Ахене!

— А что ответить на просьбу из Бармена?

Король задумался. Купцы и фабриканты из Бармена — убежденные в милости и мудрости отца отечества — просили самым верноподданническим тоном об основании торговой палаты. Это дало бы им возможность установить единую, справедливую заработную плату на всех фабриках, поддерживать в городе спокойствие и порядок, взять на себя заботу о бедных и способствовать росту общего благосостояния.

— А ты что об этом думаешь?

Канцлер пожал плечами.

— Прецедент может оказаться опасным. Правда, министр финансов очень советует ответить положительно.

— Ах вот оно что — Мотц!

Мотц в таких делах знал толк. Он привел в порядок не только финансы. Ловок, что и говорить! После отставки Штейна и Гнейзенау никому еще не удавалось провести Меттерниха и развивать прусскую экономику независимо от австрийцев.

— Мотц уверяет, что это наши лучшие налогоплательщики.

Король кивнул:

— Да, да, вуппертальцы молодцы. Их, кажется, дразнят «мукертальцами», не так ли?*

— Точно так, Ваше величество. Из-за строго ортодоксального пиетизма, который там царит.

— Славные, набожные люди, почитающие своего короля, — похвалил Гогенцоллерн и подумал: «Надо бы присмотреться к ним поближе. Дам-ка я соответствующие инструкции кронпринцу, — решил он, гордясь своим умением вести государственные дела. — Нет, оздоровительные пилюли заметно все-таки мне помогают». И король постучал пальцами по папке, на которой было написано «Бармен»:

— Разрешить!

Таким образом в 1830 году была официально учреждена торговая палата «Эльберфельд — Бармен», вторая в Германии.

Успех был неожиданный и беспримерный, и он окрылил просителей. Мудрая сдержанность и лицемерное смирение дали им куда больше, чем безрассудные требования их ахенских и кёльнских коллег. Жить можно и под прусским владычеством, если только скромно ограничивать свои интересы!

Снова наступило согласие с самим собой и миром. В этом благостном состоянии Фридрих встретил свое десятилетие, торжественно отмеченное всей семьей.

---

* Игра слов: Вупперталь — долина Вуппера. Мукерталь — долина святош (намек на религиозное ханжество состоятельных вуппертальцев).

Прекрасные, счастливые дни принес конец года в дом Энгельсов. Отец также был среди основателей торговой палаты, разрешенной прусским королем. Он этим очень гордился и часто пропадал вечерами на ее заседаниях. Полоса затишья в деловой жизни кончалась. Из Франции дул свежий ветер. Успех за успехом приносила прусская таможенная политика. Государственный советник Маасен, министр Мотц и их добровольный пособник издатель Гёте Котта, объезжавший дворы, склоняя государей к принятию прусской таможенной программы, действовали на редкость успешно.

Мистер Брайт, английский инженер, день и ночь работал над установкой паровой машины. Отца занимали уже новые обширные планы. Община избрала его церковным попечителем. Никто больше не смеялся над его паровой машиной. Однажды Фридрих отправился с мамой на фабрику, чтобы посмотреть на машину. Велико же было его разочарование. Котельная в его воображении рисовалась огромным великолепным дворцом, а оказалась чем-то вроде маленького сарая. Сама машина была еще неприметней. Котел меньше даже, чем в красильне. Маховик не больше, чем колесо кареты. И неужели эдакая неприглядность может заменить красавицу мельницу?

— Посмотреть бы, как она действует! — сказал мальчик, не скрывая огорчения.

— Пока нельзя, — ответил отец. — Внутри котла образуется чудовищное давление, и неизвестно еще, выдержит ли его вся система. Начальство разрешило ввод паровой машины только после тщательных и осторожных испытаний.

Услыхав это, мама прижала сына к себе и немедленно увела его с фабрики, словно опасалась, что взорваться может и холодный котел. И на другой день, когда наконец развели огонь и из трубы показался первый дым, она все стояла с испуганным лицом у окна и прислушивалась к каждому шороху. Лишь поздно вечером, когда вернулся сияющий, с лицом победителя отец, когда засуетилась на кухне Ульрика, а служанок послали в погреб, готовя импровизированный праздничный ужин, мама вздохнула с облегчением, подошла к отцу и обняла его.

С этого дня постоянно из новой трубы валили густые клубы дыма. Со всей округи съезжались предприниматели полюбоваться на это зрелище. В школе Фридриху приходилось снова и снова рассказывать о том, как выглядит

паровая машина и как она работает. Хотя он и сам знал об этом не больше других. Было, конечно, стыдно, и мириться с этим не хотелось. Он обдумывал, как бы ему подобраться к машине поближе. Со стороны Энгельсштрассе, где находились главные ворота фабрики, в которые входили рабочие, вряд ли можно было проникнуть незамеченным. После памятного нападения на фабрику Брюнинга этот вход стали охранять. Оставалось попробовать со стороны сада.

В самом конце сада вплотную к стене стояла старая, заброшенная конюшня. Среди всякого прочего хлама здесь хранилась проржавевшая и прогнившая коляска прадедушки. В дождливые дни дети играли в этом сарае. Здесь для них было много привлекательного, хорошо было посидеть и на полуразвалившихся козлах, правя воображаемыми лошадьми. Однажды Фридрих обнаружил на потолке над самой коляской какую-то дверцу. Отослав младших домой, он забрался наверх и попытался ее открыть. Дверца поддалась, и через мгновение он очутился на чердаке конюшни. Скудный свет проникал сюда через слепое окошко под сводом крыши. Он залез по балке повыше и сумел открыть одну створку окна. Вся территория фабрики лежала у его ног. Совсем близко, шагах в пятидесяти находилось новое здание с трубой, в котором работала паровая машина. Дверь была открыта, кругом ни души. Только бы выбраться из окна. Он высунулся из него наполовину. Вплотную к конюшне примыкал старый склад. Спуститься на его крышу было нетрудно. Вдруг Фридрих вздрогнул. Что это? Словно ожило давнее воспоминание детства. Через открытй люк на крыше Фридрих глянул вниз и увидел там ватную гору. Только дети в ней больше не кувыркались. Все, даже самые маленькие, сидели за длинными столами и прилежно, как пчелки, щипали вату, которую им подносили надсмотрщики. Никто больше не смеялся, никто не прыгал и не визжал. Малыши, согнув спины, сидели в четыре ряда и сосредоточенно работали.

Фридрих наблюдал эту сцену с испугом. Его так и подмывало крикнуть детям: почему вы больше не прыгаете, почему не смеетесь? Однако страх парализовал его. Паровая машина была забыта, как и желание проникнуть поближе к этому чуду техники. Фридрих закрыл окно, спустился вниз и под дождем побежал домой.

Мама испугалась, увидев его на пороге промокшего и чем-то явно расстроенного.

— Боже мой, что случилось? — испуганно спросила она.

Фридрих молчал, как она его ни выспрашивала. Он не хотел огорчать горячо любимую маму своим ужасным открытием.

С отсутствующим видом сидел он за ужином. Не прислушивался к молитве, избегая смотреть родителям в лицо. Отец пообещал даже как-нибудь в ближайшее время показать ему паровую машину в действии. Фридрих не поднял глаз и после этого.

— Я не хочу ее видеть, — тихо сказал он. — Она меня больше не интересует!

Отец озадаченно посмотрел на него.

— Что это значит? Любой мальчик из твоего класса много бы дал за то, чтобы увидеть паровую машину. Ты сам так говорил. И что же я слышу вместо благодарности? Что с тобой?

Фридрих не отрывал головы от тарелки. Он мог бы возражать! Есть немало детей, и среди них довольно малышей, которые вынуждены видеть эту машину постоянно, потому что день-деньской работают рядом с ней — в чесальне, сидя за длинными столами. Но он ничего не сказал.

— А мне можно посмотреть на нее? — спросил Герман.

Отец, пожав плечами, повернулся к младшему сыну:

— Ну, разумеется.

— А мне? — спросила Мария.

— А мне? А мне? А мне? — закричали за ней и остальные малыши.

— Да, да, всем можно. Всем, кроме Фрица, который почему-то расхотел ее видеть.

За столом поднялся невообразимый шум. Опять Фридрих остался в одиночестве. Но не это мучило и угнетало его. «Новые фабриканты, — вспоминал он, и эти слова больно отдавались в его мозгу. — Неужели к ним принадлежит и отец, которого я так люблю, за которого всегда готов в огонь и в воду? Не может быть! Возможно, отец просто ничего не знает об этих детях. Да, видимо, в этом все дело!»

Чем больше Фридрих раздумывал об этом, тем больше склонялся к мысли, что отец его ничего не знает: недаром ведь он, сколько ни наблюдал с крыши конюшни, никогда не видел в чесальне ни отца, ни кого-либо из дядьев. Наконец он решился спросить об этом дядю Августа, которого любил больше других своих родственников. Дядя Август нежно привлек его к себе.

— У тебя доброе сердце, Фриц, раз тебе так жаль детей бедняков.

Потом он объяснил ему, что братья Энгельсы в принципе против использования детского труда на фабрике. Но ведь нужно было как-то побеспокоиться о детях ткачих, занятых на фабрике. Для них была создана специальная школа, их кормили, давали возможность играть.

— Однако на всяком производстве иногда возникают периоды аврала, когда весьма полезными оказываются всякие, в том числе детские, руки.

Это объяснение успокоило Фридриха, и он заметно повеселел.

Миновала зима, а за ней и весна. Летом тридцать первого года поползли слухи об ужасной эпидемии холеры, распространявшейся по городам Европы. «То ужасная кара господня, — гремел с церковной кафедры голос Круммахера, — посланная всевышним на головы еретиков и нечестивцев, погрязших в мирской алчности и суетном праздномыслии и забывших об обете смирения и воздержания». Среди жертв холеры оказался министр финансов Мотц, которому отец был обязан своей паровой машиной. Скончались от холеры и Гнейзенау и Клаузевиц, барон фон Штейн и злостный безбожник, профессор университета Гегель. В городе больше обычного проводилось церковных служб и религиозных собраний. Улицы даже днем были полны мужчин и женщин в черных одеяниях, которые предписывается носить суровым кальвинистам. И разве не было чудом, что холера пока щадила всю их долину? «Призванных много. Но избранных единицы».

Большим событием стала состоявшаяся в конце лета поездка в Ксантен, где у Грисхеймов было огромное поместье с большим виноградником. Для Фридриха эта поездка явилась паломничеством на родину Зигфрида. Тетушка Фридерика, сестра мамы, рассмеялась, когда он спросил у нее, где находится замок короля Зигхарда. А барон дядя Берт указал рукой на юг. Там находился единственный в этой местности холм. До самой вершины он порос сосновым лесом. А наверху не было ничего, кроме песка, чертополоха и нескольких кустов шиповника, которые трепал ветер. Кругом до самого Рейна простиралась степь. Серебристая плоская лента реки сверкала на солнце, как фольга. Вдали дымил медленно продвигавшийся пароход. На той стороне Рейна виднелись стены и круглая башня старинной крепости. То был город Везель. Родина Зигфрида походила на

скучную повседневность девятнадцатого столетия. И расставаться с нею Фридриху было нетрудно.

Осенью через Вупперталь проходили разбитые поляки, гордые аристократы в офицерских эполетах; они требовали, а не просили. У многих на сапогах были шпоры, а в руках хлыст, хотя явились они не на лошадях, а пешком или на повозках смилостививщихся над ними крестьян. В городе им разрешили находиться только сутки, на другой день они должны были двигаться дальше на запад. По приказу русского царя их сопровождали прусские жандармы. Поляки надеялись, что французы будут достаточно человечны и дадут им достойный приют. Если же нет, то им придется продолжить свой путь на запад до самого океана, а там погрузиться на корабли и переправиться в свободную Америку.

Фридрих и Рот основали новый тайный союз. Они назвали себя «кадетами» и, собираясь в глухом лесу, обсуждали планы кровавой мести могущественному царю. При этом они делали грозные лица, как поляки.

На рождество 1832 года пришелся дебют Фридриха в роли режиссера-постановщика. Ему исполнилось уже двенадцать лет, ростом он был почти с Ульрику и считал себя совершенно взрослым. Герман играл Иосифа, а Мария — Марию. Родившемуся осенью их братишке Вильгельму предназначалась роль младенца Иисуса, но мама не позволила включить его в труппу, и пришлось заменить его куклой, которую держала Анна. На роли пастухов претендентов было достаточно. Не считая Вилли, их было уже семь братьев и сестер. Всего пять мальчиков и три девочки. Анна, отказавшаяся влезать в чьи-то старые штаны, согласилась на роль ангела, для исполнения которой облачилась в ночную рубашку Ульрики с приделанными к ней бумажными крыльями. Сам режиссер произносил текст за господа бога и трех волхвов. К сожалению, Иосиф испортил торжественный финал своей шкодливой гримасой. Актеры не выдержали и прыснули, но публика все равно отблагодарила их бурными аплодисментами. Растроганная Ульрика даже заплакала.

Изредка по вечерам приходили со своими скрипками дядя Август и учитель Хаубуш. Мама в такие дни упражнялась уже с утра. Отец извлекал из футляра виолончель. Исполняли Телемана или какой-нибудь квартет Генделя. Мощно вел свою партию отец, нежно и мягко сопровождала его на фортепьяно мама, педантически точной была вторая скрипка Хаубуша. Но над всеми царила скрипка дяди Августа, пол-

ная обескураживающей чистоты, она возносила к небу, к звездам. Музыка пронзала, повергая в священный трепет, исторгая немые слезы, которые бежали по лицу мальчика, как освежающий дождь по иссохшим листьям. В этом потоке любви, восхищения и благодарности горькая память об ужасных наблюдениях на фабрике полностью растворялась.

Ах, стать бы музыкантом, таким, как дядя Август. Пусть он научит его играть на скрипке. Только невозможно понять, как это он после звуков божественно-чистого адажио принимается вдруг громко хохотать или рассказывать глупейшие анекдоты?

— Для скрипки у тебя не хватает терпения, мой мальчик, — сказал ему дядя Август после третьего часа занятий. — Но слух у тебя хороший и голос прекрасный. Вот тебе и нужно заняться этим инструментом, данным природой.

И дядя стал брать его дважды в неделю с собой в певческий класс при церковной общине. Начав с дальних рядов, Фридрих со временем оказался среди его солистов.

А Генриетта вышла замуж. Произошло это, когда в доме снова появился бледный Кёстер. «Доктор философии» — стояло теперь на его визитной карточке. Сколько же лет прошло с тех пор, как Фридрих был его первым учеником? И рука, которой он обхватил левую кисть Генриетты, была у него бледной и хилой. Брак явно неравный. Но Генриетте видней, раз она согласилась. Праздновали бракосочетание в гостиной. Прощались с молодыми поздно вечером, было много слез и самых трогательных пожеланий счастья.

Можно было бы рассказать еще о новых школьных проделках, о визитах дедушки, о попытках ездить верхом на неоседланном Пегасе, о простуде, которую он подцепил, купаясь на спор в холодном апрельском Вуппере, о шести золотых медалях по французскому языку и латыни, а также об успехах его в математике, о Капусте, которому однажды на уроке немецкого языка был задан провокационный вопрос, не следует ли Гёте также причислять к великим немецким поэтам наряду с Готшедом, Геллертом и Клопштоком, на что тот решительно замотал головой и ответил:

— Ни в коем случае! Гёте — безбожник!

Когда Фридрих пришел из школы домой и рассказал об этом маме, с раннего детства читавшей ему стихи Гёте, она, против ожидания, не рассмеялась, а заплакала и протянула

ему эльберфельдскую газету с кратким сообщением: «Утром двадцать второго марта 1832 года в своем веймарском доме на восемьдесят третьем году жизни скончался немецкий поэт, действительный тайный советник, доктор Иоганн Вольфганг фон Гёте».

Из владений Кукоша в комнату Фридриха регулярно перекочевывали одетые в пестрые обложки посланцы мира приключений. Рот был ему верен, а Мария беззаветно преданна. Заслуживают упоминания первые экспедиции в винные подвалы отца с их обычными неприятными последствиями. Упомянуты должны быть и первые опыты в области освоения толстых бразильских сигар, добытых у отца Рота и чуть не вывернувших наизнанку все нутро обоих друзей.

Но вот наступил новый год, а с ним жизнь обрела какое-то более серьезное звучание.

Началось все с незабываемого торжества. Безупречное поведение мальчика и постоянное посредничество дяди Августа помогли осуществиться одному из самых заветных желаний Фридриха. Певцы и музыканты из Рейнланда давно решили устраивать музыкально-песенные фестивали. Для первой такой встречи певцов и музыкантов Рейнской провинции был избран соседний Дюссельдорф, где процветала музыкальная жизнь благодаря директору здешнего оперного театра, знаменитому Мендельсону-Бартольди. Несмотря на брюзжание Круммахера, который призывал кальвинистов Вупперталя бойкотировать это бесовское сборище, лишь отвлекающее прихожан от церковной службы, местный мужской хор готовился к поездке. Дядя Август был избран вице-президентом праздничного комитета в Дюссельдорфе, и весь хор гордился тем, что их испытанному импрессарио была поручена организация дюссельдорфской встречи.

О, этот первый музыкальный фестиваль, состоявшийся на троицу 1833 года, стал огромным, незабываемым событием для Фридриха. Самого юного участника празднества барменские любители пения усадили в первый экипаж направлявшегося в Дюссельдорф цуга, поручив ему держать их флаг. В Дюссельдорф въехали с песнями. Город был украшен флагами, цветами, гирляндами. Собрались уже тысячи участников со всего Рейнланда, а на пароходах, в колясках, пешком прибывали все новые и новые весельчаки-горлодеры. Три дня прошли в радостном и приподнятом настроении, которому Фридрих отдавался самозабвенно, со всем пылом отрешившегося от обыденной скуки человека.

Дядя Август был занят в фестивальном комитете больше других. Благодаря ему Фридрих познакомился с самим Мендельсоном и знаменитым поэтом Иммерманом. Три праздничных дня промелькнули, как один час, и, расставаясь утром четвертого дня, все высказывали надежду на скорую повторную встречу.

Сразу по возвращении опять потянулись школьные будни.

Наступило лето. Несмотря на козни Капусты, отметки Фридрих приносил домой хорошие. Родители были довольны его успехами и даже гордились своим старшим сыном, особенно отец, игравший значительную роль в опекунском совете городской школы.

В конце цветущего жаркого лета в семье стряслось несчастье. Неожиданно от дифтерита умер забавный малыш Вильгельм. Он не прожил на свете и года, а уже был зарыт в холодную, сырую землю. Смерть впервые предстала перед Фридрихом во всей своей непостижимости.

Заканчивался август, и на фабрике снова был аврал, и снова на ней работали дети.

Снился ночью мне сон,
Сон печальный, тяжелый...

Фридрих отрешенно слушал мелодию. Он тайком пробрался на свое любимое место в саду, чтобы побыть одному. Поближе к земле и к облакам.

Рос в садочке моем
Пышный розовый куст...

Песня была печальной, как почти все народные песни. Да и как могло быть иначе? Ведь мир полон несправедливости и горя.

Был кладбищем тот сад,
Розы падали в гроб...

А ведь где-то жил себе бог, который все устроил именно так, а не иначе. Почему?

Шел густой листопад,
Листья сыпались в ров...

Внезапно к далекой песне присоединились близкие, ясно различимые и красивые голоса Марии и Германа и допели песню до конца.

Фридрих сердито вскочил и вышел из-за кустов.

— Опять вы меня выследили, — сказал он со вздохом брату и сестре.

— Давай поиграем во что-нибудь, а? — попросил Герман.

— Без тебя так ску-у-учно, — уморительно протянула Мария.

Фридрих уже не сердился.

— Вот оно что, — сказал он. — Милостивая государыня изволят скучать. А куклы, которыми набита ее комната, а няня, которая всегда готова рассказать сказку? Неужели мадемуазель этого мало?

— Мне уже скоро девять...

— Скоро девять. Ну, тогда другое дело! В таком солидном возрасте, конечно, в детской делать нечего, тут уж нужно носиться с мальчишками по парку и пачкать свое платье.

Мария посмотрела на свою одежду.

— Да это же старое платье!

— Ну так предлагайте, во что вы хотите играть, — сказал Фридрих и сел на камень.

— Не знаю, — уныло протянул Герман.

— Давайте лазить по деревьям! — предложила Мария.

Фридрих отказался.

— Она тоже не знает! — заключил Герман. — Предложи ты что-нибудь!

— Ну хорошо, — сказал Фридрих и встал. — Я вам кое-что покажу. Только сначала вы должны поклясться, что не скажете об этом никому ни слова. Потому что это тайна.

— Клянусь! — торжественно произнесла Мария.

А Герман поднял три пальца:

— Клянусь честью!

— Смотри же, не проговорись, язычок у тебя длинный, — заметил Фридрих сестре.

— Ни за что! — сказала Мария, приложив пальцы к губам.

— Ну тогда ступайте за мной! — сказал Фридрих и повел их к старой конюшне.

— А, будем играть в почту! — обрадовалась Мария.

Но у Фридриха на уме было другое. Он залез на крышу коляски, открыл дверцу, и, подтянувшись, забрался на чердак. Потом сверху упала веревочная лестница и показалась его голова:

— Давай, Мария! Покажи, что ты не боишься!

Марию не нужно было долго уговаривать. Она хоть и

дрожала от страха, но, уверенно карабкаясь по лестнице, поднялась наверх. Когда вслед за ней поднялся и Герман, лестницу вытянули наверх, а люк закрыли. Все трое по балке долезли до слухового окна. Широко раскрыв глаза, смотрели они на то, что делается на фабрике.

— Паровая машина! — ликовала Мария.

Фридрих давал им подробные объяснения. Ведь он провел здесь немало часов! Он изучил весь рабочий процесс в подробностях и мог легко отличить ткачей от красильщиков, красильщиков от валяльщиков, валяльщиков от вязальщиков. Он знал грузчиков, мастеров, надсмотрщиков, механиков.

Внезапно все трое вздрогнули. Что это? Послышалось сначала жуткое шипение, потом закатистый и отчаянный детский крик. Белый пар вырывался из окон и дверей котельной.

— Оставайтесь здесь! И ни с места! — приказал Фридрих и спрыгнул из окна на крышу старого склада.

Замерев от ужаса, Мария и Герман видели, как их старший брат пробежал по крыше до самой котельной и исчез там в клубах белого пара.

Прыжок — и вот Фридрих уже на земле перед самой котельной. Дверь была не заперта, оттуда навстречу ему ударили мощные сгустки белого пара. Он увидел, как истопник, напрягая все силы, пытается выбраться наружу, и бросился ему на помощь. Но тот отмахнулся и показал рукой в глубь помещения, где все еще раздавалось это жуткое шипение.

— Мальчик! — со стоном произнес истопник. — Мальчик!

Фридрих все понял — он ведь слыхал детский крик. В густых клубах пара он с трудом различал контуры машины. Почти ощупью пробираясь в глубь котельной, он наконец заметил на полу чье-то хрупкое тело. Фридрих наклонился над мальчиком, приподнял его и потащил наружу.

Тем временем прибежали двое рабочих. Они подхватили мальчика и положили на траву. Фридрих осторожно поддерживал его голову, боясь смотреть на обезображенное паром лицо. Мальчик открыл глаза и, казалось, хотел что-то сказать. Фридрих наклонился к нему поближе, но он сжал губы. Фридрих испугался. Чья-то женская рука мягко его отстранила. Он поднял голову. Вокруг уже было много рабочих. Шипение почти прекратилось. Люди вокруг него стояли молчаливой стеной. Он видел, как сквозь толпу пробираются мастер смены и машинист.

— Пустите меня! Пустите! — закричал вдруг чей-то тонкий девичий голос.

К ним протиснулась девушка. Кто-то из рабочих пытался удержать ее, но она вырвалась, бросилась на землю рядом с мальчиком и запричитала;

— Братик мой, братик мой родненький, как же ты так?

Фридрих поднялся, робко глядя на брата и сестру. Где-то рядом и в то же время как будто бы вдалеке прозвучал низкий голос дяди Августа:

— Расходитесь по своим местам! Ничего страшного не случилось. Сломался вентиль, сейчас починят. За работу!

Люди, ворча, расходились.

Тут ужасным, отчаянным голосом, какого Фридриху никогда еще не приходилось слышать, девушка вскрикнvла:

— Он умер! Умер!

Фридрих в страхе повернулся к мальчику. Тот широко раскрытыми, остекленевшими глазами смотрел в пустоту. Небывалый ужас охватил Фридриха.

— Разбейте вы эту чертову машину! — прогремел чей-то голос. — Разнесите вы ее в клочья к чертовой матери!

Ему никто не ответил. Люди словно застыли и онемели. Фридрих почувствовал, как дядя Август взял его за плечи и повел сквозь расступавшуюся толпу.

— Бедная девочка, — сказала какая-то женщина в толпе. — Сначала с отцом приключилось несчастье, а теперь вот с братом. Да и мать чуть жива!

Фридрих едва помнил, как его встретил в конторе отец и отправил с Дюрхольтом домой.

— А что случилось с ее отцом? — спросил он бухгалтера по дороге.

— Он принимал участие в беспорядках в Эльберфельде и был осужден, — ответил тот.

— Спасибо, теперь я дойду и сам, — поблагодарил Фридрих своего провожатого.

Он вспомнил о брате и сестренке, которых оставил на чердаке. И побежал к ним. Помог им спуститься, успокоил. После этого у него оставалось только одно желание — побыть одному, наедине со своими мыслями, и он убежал в лес. На глазах его умер человек. Мальчик не старше Марии. Ребенок, который еще почти не жил. И вот он мертв, его нет больше. И тут только Фридрих сообразил: ведь ребенок умер из-за этого чуда техники, из-за паровой машины, которой он так восхищался и о которой мечтал. С болью он думал о том, что отныне это пятно навсегда останется на

этом чуде человеческой пытливости и предприимчивости, да и сам чувствовал себя отчасти виновным в том, что произошло.

Настал час церковной службы. Барменские колокола сзывали прихожан. Им вторили колокола других церквей, разбросанных по всей долине.

Главной из них в Нижнем Бармене была церковь Христа, в то время самое красивое здание в Вуппертале. Построенная в традиционно византийском стиле, она своим великолепием должна была напоминать о жалкой тщете всего земного и о лучезарном величии потустороннего. Она находилась на восточном берегу Вуппера, как раз напротив фабрики, на бывшей земле Энгельсов.

В церкви стоял детский гроб, рядом с ним Фридрих увидел согбенную худую фигуру матери мальчика. Ее поддерживала та девушка, которая так ужасно кричала тогда на фабричном дворе. Пастор Снетлаге читал молитву по усопшему. Все просторное помещение было заполнено до отказа. Слева от алтаря разместились мужчины в длинных черных плащах. Справа — женщины, тоже одетые в черное. Поодаль стояли дети, мальчики и девочки отдельно. Собственно, Фридрих должен был бы стоять там же, с другими мальчиками, на своем обычном месте напротив фрески «Сотворение мира». Однако сегодня он находился наверху, на балконе, за позолоченной деревянной резной балюстрадой, среди городской знати. Он почти не слушал проповедь дяди Снетлаге, его жалкие слова утешения в связи с трагической гибелью мальчика, которого господь призвал к себе на небо, чтобы избавить от земных страданий. Он смотрел на бронзовый барельеф на колонне неподалеку от места, где стоял. То был портрет его прадеда. Фридрих разглядывал изображение и разбирал подпись под ним: «Иоганн Каспар Энгельс, род. 1715, умер 1787. Воздвиг церковь Христа в Нижнем Бармене, ad gloriam dei* ».

Он знал, что этот его предок был главой местной общины, кормильцем и наставником верующих. Носившие его имя потомки могли благодаря ему претендовать на особое, почетное место в церкви, высоко вознесенное над простыми смертными. Это место по праву займет и Фридрих, но лишь после конфирмации; теперь же его допустили сюда в знак признательности за его подвиг. Он пытался придать своему лицу выражение такой же строгости, как на бронзо-

* Во славу господа.

вом барельефе. «Воздвиг церковь Христа в Нижнем Бармене». Фридрих представил себе, как этот толстый старик взбирается с тачкой камней на строительные леса. Воздвиг? Нет. Ты только дал деньги, а воздвигали храм другие.

Взгляд его переместился вниз, на людей, заполнивших церковь. Он видел, как зарыдала худенькая женщина и как еще крепче прижала ее к себе девушка... Глаза его невольно наполнились слезами. Отец тут же сунул ему носовой платок и прошептал:

— Держись! На все воля господня!

Тут только он сообразил, где находился. Забытые слова о новых фабрикантах снова всплыли в его сознании, и краска стыда ударила в лицо. Он находился среди убийц, он сам был как убийца. Воля господня?

А с кафедры в унисон его мыслям звучал чуть дрожащий голос дяди Морица:

— Что ни случается с нами на сей бренной земле, какие жестокие испытания ни выпадают тут нам на долю, мы должны подчиниться и со смирением принять неизменный жребий господень. Ибо все, что происходит, братья и сестры, происходит по воле божьей!

Фридрих больше не видел и не слышал ничего из того, что происходило вокруг. В голове его, как молот, стучали одни и те же слова: воля божья, воля божья...

И через два часа дома, в гостиной, где за ужином собралось все обширное семейство Энгельсов, он не выдержал и, вскочив со своего места, заявил:

— Нет, то не воля божья! — И глядя на отца, на дядю Августа, на дядю Каспара, спросил: — Кто заставляет детей работать на фабрике? Кто? — Все с ужасом смотрели на него. — Почему вы не отвечаете? Почему вы молчите? — кричал он.

— Ступай к себе! — сказал отец почти беззвучно. — Немедленно!

Фридрих, шатаясь, сделал несколько шагов. К нему подбежала мама.

— Бедный мальчик. Такое напряжение. Надо было это предвидеть. Ведь он еще ребенок.

Каспар Энгельс многозначительно крякал.

— М-да, вот перец так перец вырос в твоем доме, братец. Смотри, Фридрих, не прозевай сынка.

Опираясь на мамину руку, рыдая, Фриц вышел из гостиной.

Мама долго сидела у его постели и долго беседовала с ним.

— Ты очень, очень обидел отца и дядю. Они не хотели, чтобы дети работали на фабрике, я знаю. Пока был жив дедушка, детей на фабрике не было. Но с каждым годом положение становится все труднее. Налоги, пошлины, акцизные сборы растут год от года. А чего стоит эта мощная конкуренция со стороны англичан! Чтобы сохранить фабрику, нужно удешевить производство. Пойми ты это, Фриц! Не было у них иного выхода!

— Гроссбух, знаю, — сказал Фридрих чуть слышно.

Что бы мама ни говорила, а мальчик будет мертв и дети будут продолжать работать на фабрике. Дети, которых он столько раз видел, сидя на чердаке старой конюшни.

— Маленькие дети. Совсем такие, как Анна и Мария, как Герман и Эмиль. Сидят весь день за длинными столами. Молча сидят, мама. Не улыбаются, не поют.

— Это ужасно, верно, — произнесла с мукой в голосе мама. — Но если фабрика закроется, те же самые дети умрут от голода.

— Так пусть они лучше погибают на фабрике?

— Пойми же, это несчастный случай! Мальчик попал в котельную по недосмотру, ему там нечего было делать.

Он молчал. Ну что тут было еще говорить? Лишь когда он увидел, что мама плачет, он напомнил ей о том, с каким возмущением она сама по дороге в Хамм говорила о тех новых фабрикантах, которые не хотят платить рабочим деньгами и используют труд детей.

— Да, среди фабрикантов есть ужасные люди, — подтвердила она печально. — Они заставляют детей работать до изнеможения, по четырнадцать—шестнадцать часов в день. А некоторые дают им вино вместо платы. Но твой отец, дядя Каспар и дядя Август не таковы! Они хорошие, верующие люди! Они устраивают для детей длинные перерывы, выплачивают наличными каждый грош. Дедушка твой организовал на фабрике школу, в которой дети учатся каждый день по три часа. Можешь хоть у кого в городе спросить, да ты и сам это знаешь: в долине есть тысячи людей, которые были бы счастливы, если бы могли работать у братьев Энгельсов.

— Да верю я тебе, мама, верю. Виновен, конечно, не отец. Виноваты пруссаки, их законы, их чиновники и аристократы. Но почему никто им не оказывает сопротивления? Как везде в мире?

— Нельзя так говорить, Фриц!

— Да, да, я знаю, правду говорить опасно.

— Мы можем полагаться только на бога. И только ему открывать свое сердце.

— Я знаю, почему нужно молчать. Но, пожалуйста, не поминай только бога! Бог не может этого хотеть, мама! Нет, нет, никогда бог не согласится с тем, что правду нужно скрывать, что люди должны притворяться и лгать. Если б на то была его воля, мама, то я бы возненавидел его, да, возненавидел!

— Прекрати! Ни слова больше! — мать схватила его за плечи и стала трясти. — Фриц, даже думать о таком не смей! Откуда у тебя такие мысли? Из этих книг? — Она протянула руку к столу.

Но Фридрих опередил ее, прижав книгу к себе.

— Не трогай книги, мама! — закричал он.

И выскочил с книгой из комнаты, прежде чем она успела удержать его. Вмиг он очутился на улице и побежал в сторону Эльберфельдского шоссе, а потом по знакомой лесной тропинке. Лишь когда приняли его под свою сень густые ели, он сбавил шаг. Тропинка поднималась теперь круто вверх. Вскоре он был на вершине холма. На макушке его торчал огромный камень, забравшись на который можно было видеть всю долину до самого Эльберфельда. Это место принадлежало ему одному, о нем не знал никто из его друзей, даже его лучший друг Рихард Рот. Он растянулся во весь рост на мху и стал смотреть в небо.

Там сшибались белые и серые гряды облаков, застилавшие путь солнцу на землю, оттуда дул холодный ветер. Но камни и мох еще не успели остыть, прогретые дневным солнцем. Вековой покой, тишина действовали на него благотворно, приближая его к всемогущему.

Где же ты, бог? Вот тобой созданная природа — как прекрасно она удалась тебе! Цветы, плоды, солнце, дождь. Становление и умирание. Во всем прозрачная ясность, красота, совершенство. Но люди? Сколько тут лжи, сколько подлости, сколько страдания! Разве мы не твои созданья? Где же твоя всемогущая сила? Почему ты вечно молчишь? Почему ты оставил нас одних?

Долго он размышлял так о боге и мире. Вопросы, сплошные вопросы, на которые нет ответа. Ему вдруг вспомнилось испуганное лицо матери, когда он отнял у нее книгу и убежал. И лицо отца, когда тот возвратился из Кобленца...

Отец и мать, разве не были одиноки и они?

Он встал, спустился с холма и поплелся вниз, в долину, усталый, опустошенный. Он знал, что мать и отец ждут его и волнуются, может быть, ищут уже по всему саду. Он попросит у них прощения!

Но когда он пришел домой, выяснилось, что никто его не искал. У них были гости. В прихожей были зажжены все свечи. Из кухни доносился запах жареной дичи, а из погреба поднималась служанка с корзиной, полной бутылок. Из гостиной доносились голоса отца, дяди Снетлаге, тети Гедвиги, адвоката Хёстеррея, директора банка Ширмера. Потом он услышал, как они громко смеются. Да, они смеялись, как будто и в помине не было никакого мальчика с обезображенным лицом, никакого гроба в церкви, никаких поминок.

— Фриц, милый! — позвала его Ульрика. — Пойдем, накормлю тебя на кухне! Такой едой накормлю, что пальчики оближешь.

— Спасибо, Ульрика, — сказал Фридрих и хотел было пройти к себе в комнату. Но Ульрика удержала его.

— Да ты что, еще ничего не знаешь? Господин адвокат привез новость из Дюссельдорфа. Мы подписали таможенное соглашение. Люди на улицах обнимаются. Теперь жить будет легче!

Он с недоумением посмотрел на Ульрику. Ах да, таможенное соглашение. Стало быть, покойный Мотц, Котта и новый прусский министр финансов победили Меттерниха. Из разговоров взрослых он знал, что это означает для торговли и ремесел. Но его это почему-то не радовало.

Ульрика взяла его за руку.

— Будет тебе печалиться. Все равно ведь мальчика не вернешь. Мертвые уже обрели свой покой. Надо думать о живых!

Глава шестая

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

«Мир должен быть местом моего свободного нравственного поведения!» Этими словами в трактате «Об основаниях нашей веры в божественное мироправление», вышедшем в 1798 году, иенский философ Иоганн Готлиб Фихте поразил самую сердцевину ортодоксального протестантизма — догму о предопределении. Официальная теология обвинила

его в атеизме. Фихте резко возразил, доказав безнравственность мышления своих оппонентов. Ведь если соизволение божье заранее предписывает человеку определенную роль, то этическая воля индивидуума не имеет никакого значения. Шлейермахер, Гегель, Шеллинг, левые кантианцы и целая поросль молодых теологов с воодушевлением присоединились к его неопровержимым умозаключениям. Семя сомнения, посеянное Просвещением и Рационализмом, взошло. Его вскормило буржуазное стремление к свободе. Правда, эпоха Меттерниха способствовала укреплению ортодоксальной теологии и установлению строгих церковных порядков. Однако догма о предопределении была поколеблена, казалось, навсегда. И вдруг в Эльберфельде объявился фанатик кальвинизма Готфрид Даниэль Круммахер и, опираясь на оголтелых пиетистов, стал проповедовать учение о предопределении в его ортодоксальной форме. Среди приверженцев ретрограда был и его племянник Фридрих Вильгельм Круммахер, живший в Гемарке. Он не уставал обличать с амвона всякое небрежение к вере, всякие мирские помыслы и желания, а любые другие формы христианства он изничтожал в своих проповедях как идолопоклонство. Это производило странное впечатление. Пожимая плечами и усмехаясь, взирало просвещенное христианство прочей Германии на то, что происходило в Вуппертале.

Нашелся, однако, человек влиятельный, всесторонне образованный и даже неглупый, на которого вуппертальские страсти произвели впечатление. Жил он в Берлине, дожидаясь своего часа. Звали его Фридрихом Вильгельмом, и был он наследным принцем Пруссии.

С детства холодный рационализм прусского чиновничьего государства внушал ему ужас. Под пагубным влиянием своей консервативно настроенной матери королевы Луизы в нем укрепились мечты о богоугодном религиозном государстве. В пиетизме, который в семнадцатом столетии, в годы, предварявшие эпоху Просвещения, был еще течением прогрессивным, в пиетизме, основанном Шпенером и Франком из Галле, но уже изжившем себя и ставшем реакционным, наследный принц видел государственную религию будущего.

Он умел казаться другом народа, снисходительным и даже либеральным, сочувствующим индустриальному прогрессу. Но в душе лелеял романтические мечты о реставрации идиллического сословного средневекового государства.

В курсе всех вуппертальских дел он находился не только

потому, что отец поручил ему присмотреться поближе к «нашим лучшим налогоплательщикам». Принц был знаком с несколькими напечатанными проповедями Круммахера-младшего, о которых с презрением отозвался старик Гёте. Ему они тоже показались примитивными. Но ему сообщали о том, как они воздействуют на простой народ. В донесениях тайных агентов он читал о случаях массового экстаза, имевших место в гемаркской общине. Это вызывало в нем любопытство и даже некоторую ревность, ибо и сам он был не лишен тщеславных надежд покорять своим ораторским искусством толпу. Однако давно запланированная им поездка в Вупперталь из года в год откладывалась из-за того, что в соседних с Пруссией государствах было неспокойно: то волновался Гессен, то поднимала голову черно-красно-золотая демагогия в Гамбахе и Ханау, поэтому нужно было и у себя дома все время быть начеку. Однако теперь, после успешного разрешения таможенной проблемы, ситуация была благоприятной, как никогда. А подготовить почву для своего визита он решил поручить не чиновничьему аппарату, а неофициальным лицам — бывшему учителю своему Эйххорну и старому знакомому Морицу Снетлаге.

Никто в Бармене и не подозревал, какая честь уготована святой долине.

Дни становились длиннее. Однажды, выглянув утром из окна, Фридрих увидел, что и сад, и долина, и склоны гор покрылись нежной весенней зеленью. Он распахнул окно настежь. На миг его охватило ощущение счастья. Но тут же вспомнилось, что тот, умерший мальчик, ничего этого никогда не увидит. И сердце сжалось от тоски.

В доме праздновали пасху. Но Фридрих оставался глух к праздничному веселью и шуму. Беспечная радость ушла, казалось, от него навсегда.

Иногда он ловил на себе озабоченный взгляд мамы. И тогда бросался в ее объятия, пытаясь обрести прежнюю теплоту и покой. Чего бы он ни отдал за то, чтобы восстановилось его доверительное отношение к отцу и дяде Августу! Душа его тосковала по любви, пониманию, согласию. Но тот ужасный случай встал, как стена, между ним и взрослыми. Часто он лежал ночью без сна, глядел в окно на звездное небо и тосковал. Иногда молил бога, чтобы тот вернул его душе мир и покой. Но ничто не помогало. В пре-

жних отношениях его с домочадцами образовалась трещина.

Вечером накануне пасхи Фридриха позвали в кабинет отца. Ничего не подозревая, он вошел в комнату, где его ждали дядя Мориц и родители. У всех были торжественные и добродушные лица. Дядя Мориц встал, взял его за руку, погладил по голове и усадил за стол рядом с собой. Он стал говорить о том, как родители любят его и заботятся о нем. О тяжком испытании, которое послал ему господь в тот горестный день. О том, что с тех пор происходило в душе Фридриха. Голос у него был красивый, вкрадчивый, мягкий, он звучал как мелодия старинной церковной песни.

— Сомнения и тревоги, тебя охватившие, свидетельствуют о том, что у тебя чуткая совесть, понуждающая тебя переживать чужие страдания, как свои собственные. Господь дает такую совесть чистым людям, чтобы они в сознании несовершенств мира сего могли оказывать поддержку слабому человеку. Но господь дал твоему сердцу также стремление к покою и миру. Обрести их можно, однако, не там, где ты ищешь, но лишь в непосредственном созерцании бесконечности бога.

Фридрих молчал, беспомощно озираясь. Дядя Мориц кивал в такт своим словам, будто читал их в невидимой книге:

— Да, тебе нелегко. Один человек вообще не может справиться с этим. Мы поможем тебе. Твои родители, пастор и я решили, несмотря на твоей юный возраст, включить тебя в члены общины.

Фридрих от неожиданности открыл рот.

— Но это значит...

— Это значит, что уже в марте ты вместе с твоими кузенами Карлом и Юлиусом удостоишься конфирмации. Разумеется, если только ты приложишь все свое старание для того, чтобы овладеть необходимыми текстами и предписаниями церкви.

Фридрих взглянул на строгое лицо отца, который выжидающе смотрел на него. Мама кивала ему подбадривающе.

— Постараюсь, — пробормотал он.

Родители улыбнулись. Дядя Мориц взял со стола две книги и вручил их Фридриху:

— Вот что должно составлять теперь твое чтение.

Мама встала, порывисто обняла его, заливаясь слезами. Фридрих подошел к отцу, с чувством пожал его руку. Потом быстро вышел из комнаты, чтобы скрыть свои чувства, нахлынувшую радость оттого, что полоса душевных терза-

ний кончилась и можно было начать жизнь сначала.

У себя в комнате он сразу зажег лампу и раскрыл обе книги. «Новый завет господа нашего и спасителя Иисуса Христа в немецком переложении доктора Мартина Лютера» — стояло на титульном листе одной из них. Другая называлась: «Катехизис для конфирмантов, обработанный на основе Гейдельбергского катехизиса Захарии Урзинуса и Каспара Олевиануса». С этой книги он и начал. Но чем дальше он продвигался, тем больше разочаровывался. В этой книге не было ничего, кроме свода церковных предписаний.

«То, что происходит в душе твоей, уготовано тебе вечным, непостижимым промыслом господним. Только он один обладает познанием, справедливостью, истиной и совершенством». Для чего же бог дал человеку волю, думал Фридрих, если она все равно бессильна против предопределения? Для чего разум, если путь к познанию для него навсегда закрыт?

«Ни единожды согрешил ты перед богом. И только неколебимая вера откроет тебе путь к милости божьей». Только вера? А не то, что я думаю, не то, что я делаю? Очень уж это сомнительно. С большим недоверием вглядывался Фридрих в напечатанные строчки. Стало быть, они не делают ничего несправедливого, эти новые фабриканты, обманывающие рабочих и заставляющие детей работать по двенадцать часов в сутки за одну только похлебку? Как раз самые отвратительные среди них принадлежат к пиетистам; они исправно, каждый день ходят в своих черных плащах на проповеди Круммахера.

— Нет! — простонал он. — Такой не может быть господняя справедливость!

Вспомнилась жертвенная смерть Иисуса Христа. Разве он умер не ради освобождения людей? А многочисленные мученики, реформаторы, пламенные воители за дело Христово? Они действовали, боролись. Ян Гус, Ульрих Цвингли — разве не приняли они даже смерть во имя христовой истины? Откуда бы взялась у них смелость восстать против сильных мира сего, если б они не понимали завет как призыв к действию?

И Фридрих с разочарованием отбросил Катехизис. Взгляд его остановился на другой священной книге, книге книг. А если вдруг и в ней нет ответа? С некоторым недоверием стал листать ее. Утомительное перечисление предков пропустил. К чему вообще перечислять всех предков Иоси-

фа, если не он отец Иисуса? Главу о рождении он знал, стал листать дальше и вскоре задержался на пятой главе евангелия от Матфея, где начиналась Нагорная проповедь. «Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его...»

Он читал, забыв обо всем на свете. Не заметил даже, как кончилась ночь и наступило пасхальное утро. Слово Иисуса, чистое, ясное, легко проникало в его душу. Не о смиренном рабстве перед небесным деспотом, требующим слепой веры, не о покорном и неукоснительном следовании всем предписаниям церкви шла здесь речь, но о достойной жизни, полной деятельной любви к своим ближним. Некоторые слова были не слишком понятны. Слишком уж большого, всепрощающего терпения к подлости и пороку требовал Иисус. Но многое, многое в его словах было подтверждением собственных мыслей, собственных чувств мальчика.

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вспомнился папаша Ростан, уверившийся в смерти своего сына, вспомнились девушка и мать у гроба в церкви...

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Вспомнилась Ульрика, Розочка, садовники, его первый учитель... «Блаженны миротворцы...» Мама, дедушка ван Хаар, старый Кукош...

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся... Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство Небесное». Это они, герои его фантазии, разбуженной книгами Кукоша, разговорами с дедушкой, рассказами мамы: Зигфрид, Прометей, благородный лорд Байрон и его сподвижники, члены конвента из книги папаши Ростана, которую он уже почти всю перевел. Корсары, кадеты, якобинцы...

«Ищите и обрящете, стучите, и вам откроют... Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?..» Господь любит ищущих, страстно жаждущих истины, готовых бороться за нее против сил тьмы.

«И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный! Вы — свет мира!.. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного!» Ни слова о бессилии человека и о безвольной его готовности отдаться неизбежному року. Судьба каждого человека в его руках, и каждый своими свободными поступками может добиваться того, чтобы стать достойным милости божьей.

Он очнулся, лишь когда взошло солнце. По всей долине

звенели колокола. Наступил новый день, а с ним для Фридриха началась и новая жизнь.

Послеобеденные часы он теперь проводил у дяди Морица. Помогал ему наводить порядок в ризнице или вытирать пыль с толстых фолиантов в библиотеке. При этом он пользовался случаем, чтобы расспросить дядю о смысле некоторых непонятных мест в евангелии, о протестантизме, о разнице между различными вероисповеданиями, о пиетизме. Он узнал о споре о предопределении, расколовшем евангелистов Германии. Своего собственного мнения по этому поводу дядя не высказал, как ни приставал к нему Фридрих. Как пастор униатской общины, он должен воздерживаться от всяких теологических распрей. Однажды дядя Мориц рассказал о том времени, когда был молодым причетником в одном берлинском соборе. У своего профессора Шлейермахера он однажды встретил наследного принца и его наставника правоведа Эйххорна. Тогда, в 1817 году, король основал унию обоих протестантских вероисповеданий. К этому призывали его Шлейермахер и Гумбольдт. Среди восторженных юных теологов, которые разлетелись по всей стране, чтобы отстаивать дело унии, был и дядя Мориц. В Берлине были крайне удивлены, когда ему удалось основать униатскую общину в Вуппертале, этом сектантско-кальвинистском гнезде. В лице обоих Круммахеров и фанатиков-пиетистов уния обрела своих злейших врагов.

— Свой успех я приписываю отнюдь не дипломатическим способностям, которых у меня нет, а прежде всего авторитету твоего деда Каспара Энгельса, — сказал дядя. — Он был, правда, большим другом французов. Как почитатель императора, он недолюбливал пруссаков. Однако в вопросах религии полностью стоял на стороне короля. Его презрение к фанатическому пиетизму эльберфельдцев и гемаркцев перевесило его ненависть к Пруссии. К сожалению, он не дожил до того времени, когда в Нижнем Бармене возникла униатская община.

— Тогда-то ты и познакомился с тетей Луизой?

Дядя Мориц улыбнулся.

— Это было в тысяча восемьсот семнадцатом году, когда я впервые переступил порог дома твоего дедушки, в котором вы теперь живете.

— А оба Круммахера остались твоими врагами?

Дядя Мориц мягко улыбнулся, воздев руки:

— Сказать про них «враги» было бы слишком неправильно, друг мой. Лучше назвать их коллегами, которые

придерживаются другого мнения. — Взгляд его, однако, несколько затуманился. — Старший из них, тот, что служит в Эльберфельде, просто наивный чудак, который не понимает своей эпохи. А вот племянник его здесь, в Гемарке... — Он вздохнул и замолчал. На лице его больше не было христианского всепрощения.

В один из июньских вечеров дядя Мориц пришел к ним с сияющим лицом. Отец с матерью ушли к дяде Августу, фрейлейн Ведель, новая няня, еще не вернулась из города, куда ушла по делам.

— Ну тогда и я пойду к Августу! — сказал дядя Мориц, когда дети, гурьбой окружив его, сообщили, где родители.

И он пошел к двери, но потом вдруг вернулся и жестом позвал Фридриха за собой в переднюю. Было видно, что дядя хочет немедленно поделиться какой-то новостью. Он вынул из кармана конверт с печатью.

— Представь себе, мой мальчик, это письмо я получил из канцелярии самого Его высочества наследного принца! С его собственноручной подписью! Он еще помнит такого незначительного человека, как я.

Опешивший Фридрих не знал, что сказать. Дядя Мориц продолжал:

— Он собирается к нам, в Вупперталь, он хочет осмотреть церковь Христа, торговую палату, вашу фабрику, он хочет... — тут дядя поморщился, — послушать проповедь Круммахера. И поручает организовать все это мне! Каково, а? В жизни так никогда не волновался!

В последующие дни приготовления к этому великому событию пошли полным ходом. Тихий дом Снетлаге превратился в улей. Двери в нем не закрывались. Постоянно заседал своего рода комитет по вопросам приема высокого гостя, и, разумеется, видную роль в нем играл дядя Август, который с таким блеском организовал первый в Рейнланде музыкальный фестиваль. Плотникам и садовникам были заказаны трибуна, триумфальная арка, гирлянды из живых цветов. Репетиции хора длились до самой ночи. Днем и ночью трудился вуппертальский Гораций, господин Вюльфинг, над сочинением приветственной оды Его королевскому высочеству. Дядя Мориц поступил, конечно, опрометчиво, поручив это сочинение местному гению. В обеденное время Фридрих теперь каждый день мог видеть поэта, проходившего мимо их дома. Длинный человек неопределенного возраста, закутанный в почти такой же длинный темно-бурый плащ, с гордо вскинутой головой, с глазами, устре-

мленными сквозь золотое пенсне в бесконечность, с лицом, изборожденным демоническими морщинами, с рулоном белоснежной бумаги, которую он нес перед собой, как скипетр, он важно шествовал к дому Снетлаге, дабы вручить дяде Морицу очередной свой набросок. Однажды Фридрих присутствовал при том, как дядя со стоном принял из рук гения двадцать или тридцать исписанных страниц и промямлил вынужденное приглашение к обеду. Его семейство вынуждено было теперь вкушать свои кнедли под глубокомысленные комментарии пиита к только что врученному продукту его бессмертного пера. После обеда бедный дядя скользил глазами по вновь принесенному варианту и ахал, а затем, выразив сожаление о том, что последнее слово за дядей Августом, возвращал незадачливому гению отвергнутый вчерашний вариант. Небожитель с олимпийским спокойствием принимал свои страницы обратно, обещая на следующий день прийти с плодами нового прилива вдохновения. А вечерами, во время перерывов между певческими пробами, дядя Август с неподражаемо уморительным выражением декламировал отрывки из очередного вюльфингова творения, так что хористы корчились и плакали от смеха.

День визита меж тем приближался. Знакомый дяди Морица директор департамента Эйххорн лично прибыл проверить, как идет подготовка. Улицы были уже украшены. На площади перед ратушей высилась трибуна, с которой Певческая академия должна была приветствовать Его высочество королевским хором из «Ксеркса». Перед тем как прослушать проповедь Круммахера, было запланировано небольшое торжество на территории фабрики перед конторой. Здесь гостю должны были вручить подарок братьев Энгельсов, сопроводив сей акт декламацией стихов, которые дядя Август заказал в конце концов одному испытанному дюссельдорфскому рифмоплету. Все дружно решили, что читать стихи будет Фридрих. В роли двух граций по обеим сторонам от него должны были выступить его две очаровательные кузины — Луиза Снетлаге и дочь дяди Каспара Юлия. Генеральная репетиция, однако, провалилась, так как Рихард Рот, изображавший Его высочество, в ответ на первую же торжественную фразу Фридриха: «Приветствуем тебя, славнейшего потомка мужественного рода», скроил такую кислую, заносчиво-снисходительную рожу, что Фридрих не выдержал и рассмеялся. Дядя Каспар в ужасе закрыл лицо руками. Однако дядя Август решил, что

после такого провала генеральной репетиции сама премьера наверняка пройдет успешно.

В общем, подготовка шла суматошно и весело. Не до веселья, однако, стало накануне события. Последнюю ночь Фридрих почти не спал от волнения. Чертыхаясь, в сотый раз повторял проклятые рифмы.

Наконец этот день настал. Погода была великолепной. На небе ни облачка. Люди, собравшиеся на центральной площади, были празднично возбуждены. С некоторым опозданием, но все-таки заблаговременно прибыли оркестранты из Дюссельдорфа. Последняя проба прошла безупречно. Дядя Август гордился своим дирижерским искусством. Хористы, вчера еще потешавшиеся над Гогенцоллернами и рассказывавшие о них хлесткие анекдоты, за одну ночь превратились вдруг в прусских патриотов и монархистов, гордо выпячивавших грудь с приколотыми к ней черно-белыми ленточками и громко рассуждавших о безупречном поведении наследника трона. Но вот раздался колокольный звон. С потрясающей точностью на Вупперштрассе показались форейторы, а за ними и вся вереница карет с королевскими гербами. И когда капелла пожарников прогремела виват, Фридрих вдруг вспомнил о своем сольном выступлении. Но, о ужас, начальные строки стихотворения из его головы словно выдуло ветром. Он осторожно пробрался из первого ряда хористов назад, к Рихарду Роту, который их, к счастью, помнил. Но возвращаться на прежнее место было уже поздно. Он не видел и не слышал ничего из того, что происходило на площади. В голове его непрерывно прокручивались одни и те же строки. Он забыл, что должен петь вместе со всеми, забыл смотреть и слушать и опомнился лишь тогда, когда принц вместе со свитой скрылся в здании ратуши. Время выступления Фридриха приближалось.

К фабрике он пришел задолго до начала торжества. Дядя Август распоряжался и здесь. На фабричном дворе разрешено было остаться только тем рабочим и работницам, которые были хорошо одеты. Им прикалывали черно-белые ленточки и учили тому, как держаться. Остальных отправили по домам, выдав вознаграждение. Ворота фабрики были украшены гирляндами и черно-белыми лентами. Фридрих должен был еще раз отбарабанить заученное. Дядя Август поощрительно потрепал его по плечу. Появились с важными лицами отец и дядя Каспар. Его королевское высочество удостоил их уже рукопожатием. Ворота фабрики охранялись

солдатами. Там затеялся какой-то спор, который привлек внимание Фридриха. Женщина, хотевшая пройти на территорию фабрики, втолковывала охране:

— Здесь работает моя дочь Агнесса. Господа Энгельсы хорошо меня знают.

Инспектор полиции преградил ей путь:

— Жене государственного преступника здесь делать нечего.

Его пытался уговорить кто-то из красильщиков:

— Да она хочет только подать прошение на высочайшее имя, вот и все!

Тут Фридрих узнал в женщине мать погибшего мальчика. Ему опять стало не по себе.

— Отойдите, иначе я велю вас арестовать! — кричал инспектор.

К ним подошел отец Фридриха. Он взял женщину под руку и провел ее мимо инспектора на фабричный двор.

— Стало быть, ты хочешь подать на высочайшее имя просьбу о помиловании твоего мужа? — услышал Фридрих его слова, когда они проходили мимо. Отец исчез вместе с женщиной в здании конторы.

— Ты уже взял подарок, Фриц? — вывел Фридриха из оцепенения голос дяди Августа. Мальчик отрицательно покачал головой.

— Ну так ступай скорее к отцу, а не то он забудет о нем!

Дверь в кабинет отца была закрыта неплотно. Матушка Бартольд была еще там, и Фридрих решил подождать в коридоре. Он слышал, как отец внушал ей, что не стоит нарушать подачей прошения торжественность церемонии, к тому же Его высочество может рассердиться.

— Дай эту бумагу мне! И уж мы постараемся ее вручить Его высочеству в нужный момент, сопроводив необходимыми словами.

— Покорнейше вам благодарна, — с чувством произнесла растроганная женщина. Часто кланяясь и оборачиваясь, она вышла из кабинета.

— Так что можешь спокойно идти домой, к детям!

— Спасибо, сударь, спасибо!

Увидев Фридриха, женщина улыбнулась ему и ушла.

— Ах да, подарок! — взглянув на Фридриха, вспомнил отец. Не без торжественности он вынул из сейфа золотистую шкатулку и вручил ее сыну.

— Это самая большая фамильная драгоценность, которая у нас есть! — пояснил он.

Шкатулка с щелчком открылась. В ней оказалась сверкающая диадема.

— Дед привез ее из Индии. На счастье. Да сбудется оно! — Отец снова запер сейф. — Ну, ты не забыл стихотворение?

Фридрих кивнул. Он видел, как отец положил в стол письмо фрау Бартольд. Затем они снова вышли во двор. Там был наведен уже полный порядок. Юлия и Луиза в длинных белых платьях дожидались своего рыцаря. С улицы доносились крики: «Едут!»

Сердце Фридриха учащенно забилось. Мысли путались. «Приветствуем тебя, славнейшего потомка мужественного рода. Свою страну, как жизнь свою любя, ты жизнь кладешь за процветание народа...» Карета наконец въехала во двор. Ее сопровождали всего трое конных. Вокруг кричали «ура» и махали руками. В переднем окне кареты показалась большая голова в скудных завитушках, обрамлявших толстые щеки. Вероятно, это был камердинер принца. Рядом с ним, согнувшись в три погибели, сидел дядя Мориц. За ними прямо, как палки, сидели два парадных мундира, густо усыпанных орденами. Из заднего окошка выглядывало юное красивое лицо с выдающимся орлиным носом и светлыми кудрями. Настоящий Зигфрид! Только таким и мог быть наследный принц! Как ни странно, однако, ординарцы сначала открыли переднюю дверцу. И первым вышел из кареты человек, сидевший рядом с дядей Морицем. Дядя Каспар и отец встали перед ним на колени. Толстощекий камердинер оказался принцем! Разочарованный Фридрих двинулся с обеими грациями ему навстречу. Голова принца с редкими завитушками волос была посажена на коренастое туловище с кругленьким животиком. На худых, как щепки, ногах были белые гамаши. Фридрих, как его учили, припал на правое колено. Держа на протянутых руках подушечку с драгоценным подношением, он лихо отбарабанил все восемь строф прямо в лицо толстощекому.

— Браво, сын мой! — улыбнулся владыка и, наскоро осмотрев подарок, передал его кому-то позади себя.

Рука в перчатке потрепала Фридриха по волосам. Юлия и Луиза, застывшие в глубоком реверансе, были милостиво подняты и поцелованы в лоб, после чего вся группа величественно прошествовала к главному зданию фабрики.

— Очень хорошо, молодцы, — прошептал им, проходя мимо, дядя Август.

В программе оставалась еще только прощальная проповедь дяди Морица в церкви Христа.

«А что, если он увидит на фабрике детей! — пронеслось в голове Фридриха. — Что тогда подумает принц об образцовой фабрике Энгельсов?» И он через весь двор припустился к старому складу. Но дверь его была закрыта. Он заглянул в окна — столы были пусты. Нигде ни одного ребенка.

— Этого они ему, стало быть, не покажут! — пробормотал Фридрих и медленно побрел назад.

Проповедь дяди Морица была трогательной, но, как всегда, бесконечно длинной. Он толковал притчу о сеятеле, хорошо возделывающем свое поле. Прозрачная аллегория относилась, конечно, к принцу, располагавшемуся в окружении почетных гостей на возвышении за балюстрадой. Фридрих, как и многие прихожане, находившиеся внизу, то и дело скашивал глаза в его сторону. Человек, от которого так много зависело в будущем, сидел точно под изображением прадедушки. Его неподвижное лицо выглядело усталым. Казалось, он погружен в свои мысли. Вид его внушал доверие.

Сделает ли он что-нибудь в ответ на прошение женщины, муж которой сидит в темнице, а сын погиб? Конечно, сделает! Наверняка он освободит ее мужа! Но получил ли он это прошение? Не испугался ли отец, что принц таким образом узнает, какое несчастье случилось на фабрике из-за паровой машины и о том, что на фабрике работают дети? Неожиданно Фридрих снова вспомнил о том, как отец засовывал это письмо в письменный стол. А вдруг оно так там и лежит, вдруг его намеренно там забыли? Вспомнились слова Иисуса: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Не раздумывая больше ни о чем, Фридрих протиснулся к выходу из церкви и побежал через мост на фабрику. В конторе работал Дюрхольт. Письмо они нашли в кабинете отца. Оно так и лежало в ящике письменного стола.

Когда Фридрих, задыхаясь и выбиваясь из сил, бегом вернулся к церкви, к ее порталу уже были поданы кареты и принц собирался садиться.

— Подождите, — крикнул Фридрих, — вот, вам забыли передать письмо для вашего отца.

Его высочество озадаченно повернулся к нему. Фридрих протягивал ему письмо, но принц не брал его, а лишь беспомощно озирался. Тут к Фридриху подскочил отец, вырвал у

него из рук письмо и, расшаркавшись перед наследником трона, произнес:

— Простите, Ваше высочество, мальчик ошибся.

— Что же это за письмо? — заинтересовался теперь принц.

— Так, пустое, — уверял отец.

Покраснев от стыда и гнева, Фридрих крикнул:

— Прошение о помиловании, Ваше высочество, от одной бедной женщины. Пожалуйста, примите его!

— Возьмите письмо! — приказал принц.

Молодой офицер протянул руку. Отец, пожав плечами, был вынужден отдать письмо. Его королевское высочество обратился к толпе, собравшейся на площади перед церковью и наблюдавшей за этой сценой:

— Мы, наследный принц прусский, памятуя о долге, возложенном на нас богом, питаем глубокий интерес к нуждам народа. — А Фридриху он сказал: — Благодарю тебя, сын мой! Ты мужественный мальчик. А мужество — это доблесть, в которой особенно нуждается отечество. — И, протянув к толпе обе руки, он произнес:

— До свидания!

— До свидания! — вернулось к нему тысячеустым эхом.

Раздались аплодисменты, крики: «Виват! Да здравствует принц! Наша надежда! Будущее отечества!» Под крики ликования кареты тронулись. Только у отца, матери и родственников Фридриха были растерянные лица. Мальчик едва решался смотреть в их сторону. Две тяжелые складки на лбу отца, вздувшиеся жилы на его висках предвещали недоброе.

— И как ты мог! — прошипел ему дядя Каспар.

— Почему ты не спросил свою мать или хотя бы меня? — выговаривал дядя Мориц.

А дядя Август саркастически смеялся.

— Этот невероятный финал вполне развеял королевскую скуку. За это тебе по меньшей мере полагается орден!

Мама обняла Фридриха за плечи, словно желая защитить его. А отец сказал:

— Оставьте его. Он сам не ведает, что натворил!

— Неизвестно еще, передаст ли письмо Фридрих Вильгельм по назначению, — успокоил всех дядя Мориц. — Ему и самому не захочется, чтобы на его блистательный визит легла такая тень. Я, во всяком случае, напишу обо всем Эйххорну.

Молча шел Фридрих домой рядом с родителями. Он понял, что опозорил отца. Понял, что навлек на себя его

гнев. Но все эти темные намеки на дальнейшие пагубные последствия были ему непонятны.

— Так что же я все-таки натворил? — спросил он, когда они вернулись домой.

Отец лишь посмотрел на него и молча скрылся в своем кабинете. Лицо его было сердитым. Мама покачала головой:

— Когда-нибудь ты это поймешь, мой мальчик. Когда-нибудь. А пока забудь об этом.

Но забыть он не мог. Происшедшее мучило его. И после очередного занятия в хоре он пошел к дяде Августу. Тот увел племянника к себе в комнату, где обычно музицировал. Там вынул из секретера газетную вырезку:

— Читай! И если ты что-нибудь соображаешь, то поймешь все сам.

Фридрих взял газету и прочел заметку о создании правительственной комиссии по расследованию политических преступлений. Король учредил ее для «умиротворения» страны 23 июля, то есть всего несколько недель назад. Деятельность этой комиссии не связывалась законами и судебными постановлениями. Агитация против государственного строя, подстрекательство к насильственным действиям и забастовкам карались смертной казнью или тридцатью годами заключения. Следовал подробный перечень всех подобных преступлений. К ним относились и акты поощрения преступлений и содействия им. К таковым актам причислялось всякое — как публично высказанное, так и поданное в виде прошений и писем — заступничество за лиц, наказанных за совершение подобных преступлений.

— Теперь понял? Ты навлек опасность на женщину, которой хотел помочь.

— Этого я не хотел, — пробормотал потрясенный Фридрих.

— Господи, да кто же в этом сомневается. Ты еще должен научиться думать.

Долгое время после этого Фридрих ходил как побитый. Мир представлялся ему в самых мрачных красках.

С необычным усердием, которого раньше за ним никто не замечал, он засел за учебники и домашние задания. На носу были экзамены, и он поставил себе целью обойти лучшего ученика Крюбуша. Ему и в самом деле удалось окончить этот класс первым. Взгляд отца выразил недоумение, когда Фридрих, стараясь сделать это как можно небрежней, показал ему свой аттестат.

— И как это тебе удалось? — спросил недоверчиво отец.

Фридрих пожал плечами:

— Постарался — только и всего.

— Только и всего! Ты слыхала, Элиза! Каков молодец!

И отец, смеясь, стал обнимать и тискать его.

Вечером из Хамма, как давно уже было оговорено, приехали дедушка с бабушкой. Фридриху разрешили остаться вечером со взрослыми за столом, и его много хвалили. После длинного перерыва снова зазвучала виолончель отца в сопровождении клавикорда мамы. Фридриху налили даже стаканчик красного вина. Все ожидали эффекта, и он не стал их разочаровывать — притворился, будто впервые в жизни испытывает на себе действие содержимого бутылей из отцовского погребка. К радости мамы, он весь вечер опять был прежним — веселым, шаловливым, непосредственным ребенком.

На другой день после обеда последовал сюрприз. Встав из-за стола, все отправились на конюшню. Там наготове под великолепным кожаным седлом стоял его любимый Пегас, на котором он уже не раз совершал тайные прогулки.

Отец подошел к жеребцу, взял его под уздцы и подвел к Фридриху.

— Передаю тебе, сын, вороного Пегаса в полное распоряжение и попечение. Ставлю при этом, правда, одно условие: чтобы впредь ты не доставлял нам больше никаких хлопот! Обещаешь, Фриц!

— Все, все обещаю, отец! — воскликнул Фридрих вне себя от радости. И прежде чем присутствующие успели опомниться, он вскочил в седло и галопом умчался со двора.

— Нет, каков, а? — воскликнул дедушка ван Хаар. — Где этот пострел так научился ездить на лошади?

Фридрих был счастлив.

Впереди были длинные каникулы, дни, полные солнца. Старые грехи были прощены, эта глупость с петицией забыта. Письмо, к счастью, не имело последствий. Повод для величественного жеста на площади — вот и весь его смысл. Такова была участь и тех петиций, которые вручали владыке лица, близко стоявшие к трону. Можно было только радоваться, что не пострадала отправительница письма. «Политика портит характер» — это ставшее крылатым выражение отец принес с заседания торговой палаты. В школе Фридрих был на высоте, стал первым учеником, несмотря на происки Капусты. Отец вновь бывал весел, шутил и смеялся со своим старшим сыном, выдавал даже за хорошие отметки и поведение карманные деньги. Так что жить было можно.

Но главное — дедушка был рядом! Целых три недели пробыл он в Бармене. И каждый день Фридрих на два-три часа уединялся с ним после обеда. Но все кончается, уехал в конце концов и дедушка. Жаль.

В последний проведенный вместе день дедушка с внуком снова гуляли по лесу. Фридрих показал деду свое заветное место и уговорил подняться до своего камня на вершине холма. В конце концов они благополучно одолели вершину. Утомленный подъемом, дед растянулся на мху. Но когда отдохнул, он стал жадно всматриваться в окрестности, и глаза его заблестели. Фридрих сиял. Он так и знал, что вид на долину, который отсюда открывался, не оставит деда равнодушным.

— Вот теперь всю жизнь буду завидовать моему неугомонному внуку, что у него есть такое местечко! — смеялся старый добряк.

Фридрих не поддержал его. Он грустно смотрел перед собой, не в силах отделаться от своих мыслей. Дед это понял.

— Выговорись, Фриц, выговорись. На душе будет легче.

Фридрих рассказал ему о своих сомнениях в справедливости божественного миропорядка.

— Почему существуют богатство и бедность? Почему дети ткачих должны работать, в то время как мы можем ничего не делать, а только учиться? Почему у нас все боятся начальства, прусских чиновников и законов, хотя они несправедливы и вредят всей стране? И почему восстают другие народы?

Немного помолчав, дед сказал:

— Ты задал много вопросов сразу, мой мальчик. Чтобы на них ответить, не хватит ни часа, ни двух, ни тысячи часов. Пришлось бы вспомнить всю историю Германии и сверх того историю всего человечества и природы. В Берлине жил великий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Он всю свою жизнь занимался этими вопросами и написал множество книг, понять которые могут, однако, не многие. Я могу лишь посоветовать тебе не терять времени зря и использовать все возможности для учебы. И тогда, я уверен, ты сам найдешь ответы на все свои вопросы.

Фридрих с разочарованием посмотрел на своего дедушку.

— Мне очень жаль, что не могу сказать тебе ничего иного. Но я не хотел бы отделываться пустыми фразами.

— Значит, учиться, — тихо сказал Фридрих, и дед молча кивнул.

— Тогда скажи, дедушка, с чего мне начать?
— Ну, возьми для начала Гёте!
— Гёте?
— У него ты найдешь многое из того, что тебя занимает и мучит.
— Гёте... Капуста называет его безбожником. И Круммахер запрещает его читать, — припомнил Фридрих.
В ответ дедушка насмешливо улыбнулся.
— А ты никогда не говорил о нем с мамой?
Фридрих покачал головой.
— Когда-то этот великий веймарский язычник был ее любимым поэтом. Девушкой она собирала все, что выходило из-под его пера!
После этого Фридрих ждал случая поговорить с мамой.
Случай такой представился уже на другой день после отъезда дедушки с бабушкой. Сестренка Мария только что покончила со своим ежедневным музыкальным заданием, под конец исполнив новую песню Шуберта на слова Гёте «Дикая розочка».
— Опасный, вероятно, человек был этот Гёте, — лукаво начал Фридрих, когда сестра ушла из гостиной и они остались с мамой вдвоем. Она с удивлением посмотрела на него, но ничего не сказала. — И не лучше ли запрещать девочкам исполнять песни на слова этого нечестивца? — продолжал Фридрих.
— Ты это серьезно? — спросила мама. — Или опять принялся за свои шуточки?
— Какие шуточки, мама? Разве не верно, что Гёте уже в преклонном возрасте соблазнял молоденьких девушек, не гнушаясь даже тем, чтобы отбивать невест у собственных сыновей?
— Он был великим поэтом и человеком небывалого обаяния. Не удивительно, что девушки так и висли на нем.
— Конечно! Раз он был не чужд магнетизма, общался с ведьмами и, поговаривают, заключил договор с самим дьяволом.
— Как ты можешь повторять такие глупости?
— Так утверждал в одной из своих последних проповедей Круммахер.
— Не Круммахер, а господин доктор Круммахер, — поправила мама. — Так что же он утверждал?
— Он рассказывал о том, как студентом всюду ходил за Гёте по пятам, когда тот приезжал в Иену. И добился наконец того, что князь поэтов заговорил с ним. Он был

настолько ослеплен этим человеком, что пришел к выводу, будто такая сила воздействия может исходить только от человека, связавшегося с потусторонними силами, то есть с дьяволом.

— Но это же была с его стороны наверняка аллегория!

— Ничего подобного! Он утверждал это совершенно серьезно! И предупреждал против чар покойного, ибо эти чары продолжают действовать и после смерти. В виде книг, которые, к сожалению, не зарывают в могилу вместе с их автором и которые легко могут совратить с пути истинного неокрепшие умы.

Мама смотрела на него так, словно не могла на что-то решиться. Некоторое время она молчала, задумавшись, но потом энергично тряхнула головой:

— Гёте? Нет. Тут уж любезный Круммахер, кажется, в очередной раз промахнулся.

— Не Круммахер, а господин доктор Круммахер, — поправил ее в свой черед Фридрих.

— Не дерзи маме!

Они рассмеялись, довольные тем, что так хорошо понимают друг друга.

— Идем ко мне! — сказала мама. — Захвати чайник и две чашки.

Фридрих не заставил повторять приглашение дважды и немедленно последовал за ней в будуар рядом со спальней. Мама открыла старинный ларец и извлекла из него изящную книжечку с золотым обрезом.

— Вот первое, что я прочла у Гёте. Собственно, я тогда была не старше, чем теперь ты. И тоже била баклуши. А время было тревожное. Ночью по улицам города шли французы. Великий император завоевывал Европу. Рушились древние династии, и на их месте возникали новые королевства. Безумное, шальное, шаткое время. Никто не знал, что принесет ему грядущий день. И тут в руки мне попала эта книжечка. «Благородное существо человек — чуткое, доброе! Ибо только это и отличает его от всех прочих существ, которые нам знакомы...» — Она задумчиво перелистывала книгу. — Тогда это действовало, как первые лучи весеннего солнца после долгой холодной зимы...

Она читала, рассказывала, вспоминала, и они просидели рядышком несколько часов. Фридриху казалось, будто перед ним распахнули ворота в неведомый и в то же время такой желанный мир.

Этот мир назывался Гёте.

Это был сложный и гармонично организованный мир, полный мужской твердости и в то же время пылкой нежности. Это был мир, в котором можно было чувствовать себя под надежной защитой. Ибо все, что встречалось здесь — добро и зло, реально видимое и тайно угадываемое, — все это было наглядно, живо, посюсторонне, повторимо, воспроизводимо, измерено человеческой мерой.

Фридрих не решился попросить у матери книгу, которая была ей так дорога. Но Гёте он должен иметь в своей библиотеке. Это было решено. Ах, если б только он не задолжал так много Кукошу!

Деньги он добывал, помогая Снетлаге или дяде Августу в его конторе, заполняя вместо него счета, отчеты и прочие скучные для дяди бумаги.

Когда он вошел в книжную лавку, ее владелец первым делом бросился к двери посмотреть, не следует ли кто-нибудь за мальчиком. Потом он быстро провел его через горы книг в заднюю комнату и там шепотом сообщил, что не может больше продавать ему книги, иначе ему вообще будет запрещено торговать в городе.

Фридрих прежде всего рассчитался с долгами. Но дело оказалось не в деньгах. По поручению директора школы книготорговца посетил Капуста и пригрозил ему неприятными последствиями, если он не прекратит продажу ученикам предосудительной и подстрекательской литературы.

Фридрих рассмеялся.

— Ну и потеха! Школа, именно школа запрещает духовное образование!

Кукош вынул из недавно полученной пачки томик и протянул его Фридриху.

— Вот кто мутит воду.

Фридрих раскрыл книгу. «Круммахер. Откровения о царстве милосердия» — прочитал он на титульном листе. И, подражая голосу Круммахера, он произнес:

— О, вы, безмозглые, заблудшие овцы земли господней! Ведомо ль вам, что по миру распространяется злокозненное учение? Просвещением называет себя антихристианское лжеучение нашего падшего века, обожествляющее скудный разум человеческий как единственный источник истины. Хищным стервятником рыскает оно повсюду, прячась в развлекательных романах, пылких стихотворениях, непристойных трактатах. Клубами зловонного пара поднимается оно из самых недр порока, именуемого театром, облекаясь невинными мелодиями музыки, проникает оно в ваши души

и пожирает их, отвергая от бога. О, сатанинская, адская сила!

Кукош рассмеялся. Страх его как рукой сняло. Он позволил Фридриху набирать себе книг, сколько ему будет угодно, при условии, что их никто у него не найдет. Фридрих выбрал сборник стихотворений Гёте и новое издание его воспоминаний «Поэзия и правда».

— А это кто? — спросил Кукош, когда он, провожая клиента, вышел с ним вместе на улицу и увидел, как за углом мелькнула чья-то голова.

— Крюбуш, сын портного, мой соученик.

— Толчется здесь целыми днями, — озабоченно сказал Кукош. — Не шпионит ли?

Фридрих покачал головой. Никто из его соучеников не способен на такое. Но потом, по дороге домой, он вдруг подумал: а не прав ли Кукош в своих опасениях?

На другой день в школе было вывешено объявление: «Вследствие многочисленных жалоб родителей ученикам школы запрещается без особого разрешения родителей и классных наставников приобретать какую-либо внеклассную литературу и печатную продукцию, в особенности романы, сборники стихотворений и газеты. Директор».

Стоя в толпе учеников перед объявлением, Фридрих громко, так что все могли слышать, сказал:

— Вот так, господа. Отныне его преосвященство, господин проповедник Круммахер будет решать, что мы должны читать.

— Это вы узнали, вероятно, вчера от жида, торгующего книгами, Энгельс? — раздался позади него голос Капусты.

— Всем известно, чьих это рук дело, — ответил вместо Фридриха кто-то из старших учеников.

Капуста, окруженный учениками, прошествовал дальше. Но теперь Фридрих знал: Кукош прав! Крюбуш шпионил. То был заговор. Заговор против духа. Что же, сказал сам себе Фридрих. Теперь мы все знаем. Теперь мы предупреждены. И в его голове родился ответный ход. Тайному заговору стариков надо противопоставить свою тайную организацию.

В будни промышленный и ремесленный Бармен рано ложился спать. Вскоре после наступления темноты гасли масляные лампы в лачугах и канделябры в солидных бюргерских домах. Задолго до полуночи на улицах воцарялись темнота и безмолвие. Этого часа и дожидался Фридрих.

Он зажег лампу, подошел к окну и стал ритмично разма-

хивать ею, подавая условный знак кадетам. Через некоторое время последовал ответный сигнал с того берега Вуппера: Эмиль Вемхёфер. За ним еще один с дальней окраины: Рихард Рот. Потом еще и еще. Бессмыслица, конечно, думал Фридрих, ведь время и место встречи были давно оговорены. Но так в их действиях было больше таинственности.

Он спустился по водосточной трубе на крышу веранды, а потом спрыгнул на улицу. В глиняном карьере один за другим собрались одиннадцать кадетов. Фридрих изложил им свою программу действий. Кадеты были несколько разочарованы, все ожидали большего. Но потехи все равно хватало. Возражений не было, только дополнения и уточнения. Курт Грель настаивал на церемонии торжественной клятвы. Все отправились к старому камню на мельницу, о котором поговаривали, что его приволок сюда сам черт. Положив руку на камень, каждый поклялся, что будет вечно хранить тайну и скорее расстанется с жизнью, чем выдаст своих товарищей.

Фридриху эта церемония казалась дурачеством. К тому же он не видел никакой связи между нею и тем, что предложил своим друзьям. Но в интересах дела он возражать не стал.

На следующее утро еще до начала занятий одиннадцать заговорщиков совершенно открыто вошли в лавку Кукоша. Никто из них не таился, каждого мог хорошо видеть Крюбуш, который жил на этой улице. И каждый вышел из лавки с упакованной стопкой книг. На улице книги прятали в портфель или за пазуху.

Как и ожидалось, в школе об этом немедленно узнали. Веснушчатое лицо Капусты сияло от удовольствия. Начался допрос. Все одиннадцать отказывались признаваться в том, что были в лавке Кукоша. Отказались они и добровольно сдать приобретенные книги. Разозленный их упорством, Капуста позвал на помощь директора. Тот приказал обыскать учеников. Эмиль Вемхёфер, сын оберпрокурора, заявил протест против нарушений законности и потребовал, чтобы обыск производили при понятых. Директор, ворча, согласился.

Привели понятых — церковного служку, писаря из магистратуры и смотрителя. У каждого из мальчиков после тщательного досмотра была конфискована пачка книг. Приступили к их вскрытию. Капусте было поручено составить их опись. Основательность и серьезность всей процедуры лишь подчеркивали комизм результатов.

У всех одиннадцати учеников была конфискована одна и те же книга — «Откровения о царстве милосердия» главы всех правоверных в округе Бармен, проповедника протестантской церкви в Гемарке Фридриха Вильгельма Круммахера.

— Здорово, Энгельс, очень здорово! — прошипел Капуста, следуя за директором.

Весь класс слышал, как в коридоре директор раздраженно выпалил:

— Вы, Каппе, сущий осел!

Класс взорвался смехом, криками ликования, аплодисментами.

Это школьное происшествие обсуждалось во всех общинах. Смеялось полгорода. Проделка пришлась по душе вуппертальским интеллигентам, которые не любили директора школы, присланного со стороны пруссака. Два почтенных в городе человека, архивариус доктор Зингер и коммерсант Фельдман, которых Фридрих вовсе не знал, остановили его как-то на улице и пригласили отобедать за их постоянным столиком в «Городском кувшине». Его усадили на почетное место, мужчины поощрительно хлопали его по плечу, дамы улыбались.

Впервые Фридрих мог убедиться в том, что под внешней маской смиренного послушания у многих горожан скрывается бунтарский дух, направленный против прусского деспотизма и круммахеровой мистики. Эти люди пылко рассуждали о гражданском кодексе и прочих преимуществах свободы, которые им вынуждена была оставить Пруссия. Вспоминали июльские события в Париже и последовавшие за ними тайные собрания в Золингене.

Когда Фридрих, захмелевший от своего успеха и выпитого пива, возвращался домой, его остановил длинный и сухой, как жердь, человек. Фридрих узнал в нем господина Бендаля, владельца аптеки. Тот завел его к себе в дом, со слезами на глазах стал показывать различные предметы, напоминавшие о Гамбахе*, о царивших тогда надеждах. Он патетически говорил о свободе и братстве народов, взяв с Фридриха слово, что этот разговор останется между ними. Потом он позволил мальчику выбрать себе на память любой из гамбахских сувениров. А были тут листовки и памятные

* 27 мая 1832 г. в провинции Пфальц у развалин Гамбахского замка состоялась манифестация с требованием объединения Германии и предоставления политических свобод.

вымпелы, черно-красно-золотистого цвета табачница и трехцветная же шкатулка для трубок, литография с надписью Liberté, Égalité, Fraternité* и нотная запись неизвестной песни Вильгельма Мюллера.

Пока аптекарь подробно рассказывал о происхождении и значении каждой их этих реликвий, Фридрих не спускал жадных глаз с книжного шкафа.

— Господин Бендаль, если б вы могли расстаться с какой-нибудь книгой...

С некоторым разочарованием аптекарь позволил ему выбрать себе книгу. Фридрих остановился на книжке в неприметной обложке. «Гёте. Фауст, части I и II» — стояло на корешке. Ему было позволено взять эту книгу себе.

Домой он летел как на крыльях, однако там его ждал холодный прием. У мамы сидел дядя Каспар. Оба с нетерпением его поджидали. Им все было известно в деталях. Дядя без обиняков высказал племяннику, насколько невысокого он мнения о подобных выходках, в которых он не видит ничего, кроме глупого бузотерства, способного принести большие неприятности их семье и делу.

— Подумай, каково приходится твоему отцу? Разве мало у него хлопот? Разве легко ему кормить столько ртов? И вот собственный сын понуждает его отправляться к ректору и унижаться перед ним, просить прощения!

— Просить прощения?

— Конечно! Или ты думаешь, что фирма может себе позволить плохие отношения с директором, родственником регирунгс-президента? Ты настолько наивен, племянник, или только притворяешься? Ведь это чиновники президента назначают налоги и пошлины, выдают лицензии на вывоз товаров и торговые письма.

— По собственному усмотрению?

— А ты как думал? Если им заблагорассудится, старинная фирма «Энгельс и сыновья» разорится в несколько месяцев. Вот ты сходил бы, племянничек, на фабрику, поспрашивал бы рабочих, каково им придется, если останутся без хлеба только потому, что сыну владельца хочется поразвлечься!

Внезапно дверь комнаты открылась. На пороге стоял отец.

— Успокойся, Каспар. Дело улажено. Консистория решила, что ученики ни в чем не виноваты, заговора не

---

* Свобода, равенство, братство.

существовало, а стало быть, нет зачинщика, не будет и последствий, незачем и извиняться. В этом деле оказалось замешано слишком много сыновей влиятельных людей, кроме нас, еще трое из тех, кто финансирует школу.

Дядя Каспар встал.

— Фирме повезло. — И, взглянув на Фридриха, добавил: — Но если ты ему и это спустишь...

— Это уж предоставь мне.

— Ну тогда всего вам доброго! Не позавидуешь тому, у кого такой сыночек, видит бог, не позавидуешь!

Дядя Каспар ушел. Теперь разговор будет серьезный.

— Пойдем со мной! — сказал отец.

Мама, до сих пор ни во что не вмешивавшаяся, стала просить отца не давать волю гневу. Фридрих улыбнулся ей, чтобы показать, что все в порядке. Странно, но страха он не испытывал, хотя и знал, чего можно было ожидать. В кабинете отца стояли старинные напольные часы с причудливой формы гирями. Отец молча подошел к ним, открыл дверцу, пошарил рукой в темноте, вынул бамбуковую трость. И никаких вопросов? Никакой возможности хоть как-то защититься? Прозвучит приказ «Нагнись!», и засвистит бамбук... Недаром его в народе зовут испанской трубкой, ведь из Испании, как известно, пришла инквизиция...

Как и многое в доме, бамбуковая трость досталась родителям по наследству. Ассоциации с этим пожелтевшим от времени инструментом кары были связаны самые неприятные. Разбитые окна, порванные штаны, затяжные прогулы в школе. Все это теперь далеко-далеко. Наветы Капусты тоже не раз приводили к болезненным соприкосновениям с этим предметом. Вначале Фридрих дрожал от страха перед предстоящей болью. Рихард Рот научил его терпеть. И с каждым разом он боялся все меньше. Но возмущение этой процедурой росло. С любовью к родителям появляется человек на свет. С какой доверчивостью к ним делает он свои первые шаги в жизни. И связь его с родителями кажется вечной, непреходящей. Но всякое телесное наказание наносит по ней удар, расшатывает ее. Что такое физическая боль в сравнении с муками сердца, в котором убывает любовь?

— Ты был зачинщиком? — спросил отец, тяжело дыша и не выпуская трости из руки.

Сначала наказание, потом дознание. Странный метод утверждения правосудия, мсье Энгельс! Фридрих равнодушно и отчетливо, подчеркнуто холодно произнес:

— Да, я!

Пусть еще отстегает, пусть.

Тут только отец повернулся к нему лицом, и Фридрих увидел, какое оно подавленное, беспомощное, почти испуганное. Стало быть, тебе тоже не сладко, отец?

— Никак не думал, что мне еще придется применять к тебе эту штуку, — судорожно сжимая трость, сказал отец. — За твою честность Пегаса я тебе оставляю. Но это в последний раз.

Ладно, пронесло! Пегас при нем, и всеобщий успех, и подарок аптекаря! И дружная поддержка кадетов.

Правда, это было еще не все, последовал и эпилог. Во время ужина пожаловал незваный гость — грубый, самоуверенный, кипящий гневом, как бог мести, Круммахер собственной персоной.

Отец прошел с ним в гостиную. Из-за двойной двери доносился громовый голос проповедника.

— Проказы? Нет, друг мой. Твой сын строптив и высокомерен. О, я-то знаю, как быстро такое небрежение к нашему сану ведет в самые сети сатаны.

Последовала пауза: очевидно, отец возражал что-то, но так тихо, что не было слышно. Ах, чего бы не отдал Фридрих, чтобы только узнать, что сейчас говорил отец.

И опять Круммахер.

— Вот тебе совет, брат мой. Взвесь хорошенько, насколько сам ты чист от прельщения. Я тут вижу языческие картины, светскую литературу, ноты, музыкальные инструменты... И я чую, чую, откуда проистекает опасность для твоего сына.

Неожиданно мама вскочила со своего места. Она бросилась было к гостиной, но остановилась в нерешительности. И тут вдруг все услышали голос отца — такой же громкий, может быть, даже еще более громкий, чем голос самого Круммахера:

— Довольно, господин Круммахер! Довольно! Имейте в виду, что только уважение к вашему сану понуждает меня выслушивать ваш бессмысленный поклеп.

— А, вот ты каков! Называешь поклепом то, что говорит тебе Христов пастырь! Воспитание сына твоего...

— Является моим и только моим делом, — перебил его отец. — И только я несу за него ответственность перед богом!

В этот момент в гостиную вошла мама.

Круммахер неуверенно ей поклонился:

— Мадам?

Но мама была холодна как лед. Она словно не замечала проповедника, смотрела сквозь него. Повернувшись к гостиной, она крикнула:

— Фриц, господин проповедник собирается уходить, проводи его.

Фридрих в мгновение ока очутился у входной двери и открыл ее. Круммахер прошел мимо бледный как полотно, вобрав голову в плечи. Ай да мама!

На пороге проповедник остановился, попытался овладеть собой:

— Вы, богатые, надменные, нечестивые ханаане... — Дальше шло что-то нечленораздельное. Противник оставил крепость побитым.

Мама скрылась у отца в кабинете. Родителей в этот вечер больше не было видно. Фридрих поднялся к себе со смятенной душой. До полуночи просидел у окна, глядя на звезды.

Среди миллионов небесных тел существует и наша крошечная Земля... Бог во всем — и в бесконечности Вселенной, и в маленькой соломинке, которую Ванини вытащил из сена, на котором его должны были сжечь, обвинив в атеизме. Как хорошо он сказал:

— Если б поразило меня такое несчастье и я стал бы сомневаться в бытии божьем, то разве не убедила бы меня в обратном вот эта соломинка?!

Бог и в человеке. И в человеке!

Родители хотя и защитили сына от внешнего врага, но их собственное отношение к нему изменилось. Не было больше простых и сердечных отношений с мамой. Она смотрела на сына с тревогой. Отец, который опять стал часто отлучаться в поездки, наказывал ей держать старшего сына в ежовых рукавицах. Дядя Снетлаге отсоветовал включать его уже в этом году в число конфирмантов.

Фридрих пытался принять равнодушный вид, когда мать ему это многословно обосновывала. Но в глубине души он был возмущен. Разве он не выполнил все условия, которые были поставлены перед ним в связи с этим событием? Стал первым учеником в классе. Экзамен на знание Евангелия выдержал с блеском. Выучил даже скучнейшие параграфы из Катехизиса наизусть. И для чего же, выходит, он так старался? Отныне из школьных заданий он стал выполнять лишь самые необходимые. Отметки в школе ухудшились. Крюбуш снова стал первым учеником класса.

Тем временем наряду с латынью и французским, двумя предметами, в которых он по-прежнему блистал, стали изучать и древнегреческий. Ожили воспоминания о Месолонгионе и о том, что дедушка ван Хаар рассказывал об античном мире. Каждую свободную минуту Фридрих использовал для того, чтобы совершенствоваться в этом языке. Но и здесь его ждало горькое разочарование, от которого он долго не мог оправиться.

Великолепная Аттика, республика свободных мужей, основанная на началах самоуправления, республика, в которой небывалого расцвета достигли науки и искусства, торговля и ремесла, потеряла в глазах Фридриха все свое очарование, когда он, переводя Фукидида, узнал, что в свободных Афинах были рабы, несчастные создания, которыми эллины пользовались как неодушевленными орудиями.

Ощущение было такое, будто обрушился небосвод. Ведь речь шла не о какой-то подробности, которая позволяла уточнить его представление об античности, нет. Рухнул его идеал. На его месте теперь зияла пустота. Им овладело чувство покинутости и утраты, как бывает, когда проснешься, не досмотрев чудесный сон. Рабство в Афинах. Еще более недостойное, чем в аристократической Спарте, где были илоты. Ах, милый дедушка ван Хаар, большой ученый, отчего же ты не рассказал мне об этом?

В день своего тринадцатилетия он попросил, чтобы родители отпустили его на рождественские каникулы в Хамм к дедушке, но получил решительный отказ.

После этого он уже и не пытался наладить прежние сердечные отношения. Старался как можно больше бывать вне дома. Еще теснее сошелся с кадетами. Они пришли теперь к общему выводу, что грубому и несправедливому миру филистеров можно противопоставить только хитрость, лицемерное смирение и ложь.

То было горькое познание. И далось оно ему нелегко. Сердце его жаждало истины, доверия и любви. Но истина была никому не нужна. А с ней погибали и доверие, и любовь — погибали медленно, в муках и агонии, но неотвратимо.

Куда подевались лучезарные дни раннего детства? Они ушли, ушли навсегда.

Куда подевалось доброе лицо всемогущего отца нашего, утишавшего любую боль и страдание? Оно скрылось, скрылось.

Как-то ночью приснился ему сон. Будто он падал в

воронкообразную пропасть. Падал лицом вниз. И где-то далеко внизу под ним засветилась вдруг огненная точка. Он вдруг понял — то бесконечность, смерть. И опять услыхал жуткий крик ошпаренного паром мальчика на фабрике. А проснувшись, сообразил, что мальчик кричал его собственным голосом.

Никто в доме его крика не слышал. Теперь он часами ворочался в постели, подолгу не мог заснуть. Однажды у него началась лихорадка. Мама, милая, добрая мама гладила его по лбу. Он хотел ей что-то сказать, сообщить что-то важное и не мог.

Какая-то невидимая сила мешала ему. Тогда он понял, что в нем что-то сломалось.

Он не плакал. Ему уже шел четырнадцатый год. Он больше не был ребенком.

Глава седьмая

ВЕЗЕЛЬСКАЯ БАШНЯ

Город на Роне изборождили рвы. Каждый день в общие могилы сваливали трупы убитых и замученных рабочих. Жители города затаились за закрытыми ставнями, а на улицах хозяйничала солдатня. Ночью стены домов сотрясались от выстрелов карательных отрядов, а все входы в город и выходы из него были наглухо перекрыты.

Таким был Лион в мае 1834 года, четыре недели спустя после великого восстания пролетариата против политики притеснений, проводимой «либеральной» монархией.

Французское правительство напрасно пыталось замолчать эти события или представить их в ложном свете. Тысячами путей информация просачивалась в Париж, а оттуда за границу. К троице мир знал уже всю правду.

Пять дней на баррикадах второго по величине города Франции развевался красный флаг. Отборные части были брошены на подавление восстания, которое они утопили в крови. Новый класс, промышленный пролетариат уже второй раз в своей юной истории вступил в борьбу за свои права.

В 30-е годы стала формироваться и политическая организация промышленных рабочих в Англии. На своих митингах они все решительнее требовали введения всеобщего избирательного права.

Растущая армия труда, обратная сторона современной индустрии, множащей богатства капиталистов, показала свою силу.

Было ясно, что рабочие не будут вечно мириться с нищетой и бесправием. Социальный вопрос, бывший до этого заботой филантропических объединений и христианских организаций, стал теперь злобой дня.

В Германии также стали нелегально распространяться листовки, в которых поддерживались требования, выдвинутые первыми пророками социализма и коммунизма Бабефом, Сен-Симоном, Фурье и Ламенне. Составляли эти листовки в немецких рабочих кружках или в эмигрантских организациях в Париже и Швейцарии. Кочующие с места на место ремесленники переправляли их через границы. А уж дальше они переходили из рук в руки.

«Все мы одинаково родились на свет, все испытываем одинаковую потребность в жизненном счастье. Почему же именно у нас нет прав на него? Почему миллионы людей все еще должны жить во тьме, нищете и горе для того, чтобы немногие наслаждались роскошью и изобилием?

Май 1834 года начался солнечной погодой, а кончался дождями. Старьевщики и мелкие торговцы на площади перед ратушей в Гемарке собирали свои товары. Фридрих прошел между торговыми рядами и вышел к Нойбрухштрассе. В кошельке у него были деньги: зильбергрош и целая пригоршня медных монет. Все это он честно заработал, переписывая разные бумаги для церкви дяди Снетлаге. Фридрих знал, что сможет за эти деньги в рассрочку с точным установлением размеров и сроков выплаты купить у Кукоша по меньшей мере две книги. Он не торопился, потому что нужно было дождаться темноты и уже тогда с черного хода зайти в лавку.

Внезапно из булочной на углу донесся какой-то крик. Фридрих остановился. Он увидел, что булочница с помощником держали за руки какую-то девушку и звали на помощь полицию. «Воровка! Воровка!» — кричали они. Девушка пыталась вырваться. Увидев ее лицо, Фридрих сразу вспомнил тот несчастный случай на фабрике. Да, это была сестра погибшего мальчика. Не раздумывая, он кинулся к ней на выручку, оттолкнул помощника булочницы, вырвал у нее самой корзинку девушки, и они вместе бросились бежать по улочкам, переулкам и проходным дворам старого города.

Бежали до тех пор, пока позади не стих шум погони. Лишь тогда они смогли перевести дух.

Фридрих огляделся. Он находился на одной из самых старых улиц Гемарка. Покосившиеся домики стояли здесь, тесно прижавшись друг к другу, словно ища опоры. Стертые каменные ступени вели прямо к дверям квартир.

Девушка обернула платком буханку хлеба и крепче прижала ее к себе.

— Зачем ты это сделала? — спросил Фридрих.

Девушка смотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых были страх и отчаяние. Фридрих испугался этого взгляда.

— Вам совсем нечего есть?

— Оставь меня! — закричала она. — Оставьте меня!

— Что-нибудь случилось, Агнесса? — спросил грубый мужской голос из дома напротив.

— Нет, ничего! — крикнула девушка и, прежде чем Фридрих успел опомниться, исчезла в переулке.

Он озадаченно смотрел на корзину, которая осталась у него в руке.

— Простите. Вы ведь знаете эту девушку. Вы не могли бы мне сказать, где она живет?

Мужчина мрачно посмотрел на него, а потом молча закрыл окно. И к кому бы Фридрих ни обратился с этим вопросом, он всюду наталкивался на такое же ледяное молчание. Он стал неуверенно выбираться с этой улицы, чувствуя на себе недоброжелательные взгляды ее обитателей.

Лишь оказавшись в знакомом районе, он вздохнул с облегчением. Домой пошел мимо хозяйственных построек и по пути спрятал корзину в старом сарае. Тут он заметил, что на голове у него ученическая фуражка. В сердцах он сорвал ее с головы, швырнул на землю и стал яростно топтать ногами. Потом с грустно поникшей головой направился в конюшню к Пегасу, который приветствовал его радостным ржанием. Фридрих погладил коня.

— Прощай, — сказал он, — прощай, мой милый!

Он не сомневался, что продолжения этой истории ждать долго не придется.

На следующий день после первой же перемены в классе появился полицейский пристав с булочницей.

— Встать! — скомандовал Капуста. — Надеть фуражки!

И направился вместе с полицейским и булочницей по рядам.

— Вот он! — выкрикнула булочница, показывая на Фридриха. — Это он!

Полицейский пристав изумился:

— Да вы в своем уме? Этот мальчик — и вдруг пособник воровки?

— Я узнала его! И рост тот же, и светлые волосы. Он напал на меня, господин инспектор!

— Тихо! — крикнул полицейский и выдворил женщину из класса. — Да вы знаете, кого вы обвиняете?

Потом он пошептался с Капустой. Тот подозвал к себе Фридриха.

— Энгельс, ступайте за мной к директору!

Фридрих прошел мимо булочницы, смущенно потупившей глаза, в кабинет директора.

— Да что же это такое, Энгельс? Опять история, и какая! — бушевал старик. — Да вы хоть знаете, в чем она вас обвиняет?

Фридрих кивнул и начал рассказывать, как было дело. Директор прервал его.

— Знать не желаю, как это произошло, просто не желаю знать! Женщина ошибается. Она перепутала. Какой-то проходимец нацепил фуражку с кокардой нашей школы. Пусть полиция ищет его там, где водится подобный сброд. А не в нашей школе! Ясно, Энгельс?

— Нет.

Директор воззрился на него.

— Как я должен это понимать?

Опять ложь, притворство. Все одно и то же. Невыносимо.

— Я это сделал и готов отвечать.

— Ты в своем уме? Хочешь навлечь на школу такой скандал?

Фридрих молчал. Какой смысл объяснять директору, почему он так поступает? Он сделал то, что требовала его совесть. И сделал бы снова, повторись все сначала. И пошли они к черту со своей ложью!

— Отвечай! — прикрикнул на него директор.

— Я не боюсь правды.

Директор покачал головой и воскликнул:

— Бедняга! Поистине бедняга!

А Капуста добавил:

— Вы еще раскаетесь в этом, Энгельс.

Полицейский настаивал на том, чтобы составить протокол.

— Вы знали эту девушку?

— Нет.
— Опишите ее.
Фридрих пожал плечами.
— Девушка как девушка.
— Рост, цвет волос, возраст?
— Не знаю.
— Куда вы с ней побежали?
— На соседнюю улицу.
— Куда она побежала дальше?
— В лес. Или еще куда-нибудь. Откуда мне знать?! Послушайте, я заплачу за хлеб и извинюсь перед булочницей.
Полицейский ухмыльнулся.
— Нет, так легко здесь не отделаться. Воровство с применением силы. Знаете, что за это полагается?
Дома нависли тучи. Фридрих заметил это сразу, как только вошел. Ульрика посмотрела на него с состраданием. Мама взяла его за плечи, посмотрела в глаза.
— Почему ты мне ничего не сказал, Фриц? Вчера еще, пока об этом не раззвонили по всему городу?
Ну что на это ответишь?
— Не знаю. Не знаю, мама. — Он стал подниматься по лестнице, потом снова повернулся к ней. — Это была дочь фрау Бартольд, мама.
Мать с удивлением посмотрела на него.
— Они голодают. Голодают! — крикнул он и взбежал к себе.
Наверху его ждала Мария. Она сообщила, что у него в комнате побывал разъяренный отец... Он и сам вскоре это увидел.
Все в комнате было перевернуто вверх дном. Ни одной книги не осталось. Исчез и подарок папаши Ростана...
— Книги! — простонал Фридрих.
Дверь открыл Герман. Вид у него был унылый.
— Одну я спас, — сказал он и отдал Фридриху «Фауста».
Фридрих прижал книгу к себе. Он вернет мне их, обнадеживал он себя, как только все немного забудется.
Часа через два он услыхал, как у дома остановился кабриолет отца, потом в прихожей послышались крики мамы. Фридрих вышел на лестницу, прислушался.
— Да, я узнала. Они действительно голодают! Сама она больна, лежит в постели. У дочери нет работы, — кричала мама.

— Но они получают от нас пособие, — возражал отец.

— Одни обещания, которыми сыт не будешь! До сих пор они не получили ни пфеннига!

— Каспар взял это на себя.

— Каспар! А ты проверял?

— Каким образом? Ведь официально мы не имеем права помогать ей как жене государственного преступника.

— Так вот, теперь это возьму на себя я. Я!

Фридрих услыхал, как громко хлопнула дверь. После этого воцарилась тишина. Родители поссорились, и все из-за меня!

Вечером к нему в комнату зашел Рудольф.

— Тебя отец зовет, — тихо сказал он.

Фридрих встал. На лестнице навзрыд плакала Мария. Он подошел к ней, обнял, вытер слезы.

— Ну кто это так ревет? Разве можно вести себя так юной даме? — улыбнулся он ей.

— Но отец...

— Что отец? Неужели я похож на человека, который боится своего отца?

— Он тебя...

— Ну что ты, глупенькая! А если даже и да, так что с того? Разве из-за этого надо реветь? Ты ведь видишь, я улыбаюсь.

В кабинете отца ему было не до улыбок. Отец сидел за письменным столом с неподвижным лицом. На сына даже не смотрел, устремив взгляд куда-то в пустоту. Фридриху стало не по себе. Он чувствовал себя чужим. Между ними словно выросла какая-то стена. Голос отца долетал до него из-за этой стены. Что-то говорит. Стало быть, на этот раз бить будет потом?

— Трость? Нет, голубчик. «Кого люблю, того я наказываю» — так, кажется, говорит господь? Так что к трости я не обращусь — жаль тратить силы. Но то, что случилось у булочной, возмущает меня. Все это дело для меня не стоило ломаного гроша, то есть дуката. Но твое поведение у директора! Эта надменность и заносчивость! Так бить по лбу людей, которые хотят тебе помочь! Нет, такого сына я не могу больше любить.

Последовала еще длинная проповедь, во время которой отец постепенно распалялся все больше и больше. Он так и сыпал словами вроде «бесхарактерность», «упрямство», «безмозглое самобичевание», «бессмысленный бунт» и все в том же роде.

Фридрих не возражал, со всем соглашался. Затем он выслушал приговор. Пегаса с седлом и всей упряжью у него отбирают. Во время каникул на троицу домашний арест и десятикратное переписывание двадцати одной главы «Откровения Иоанна».

Отчего и почему, они даже не спрашивают. Не дают обвиняемому слова. Обвиняют и приговаривают. Потому что они взрослые. У них власть. А у кого власть, у того и право. Что толку сопротивляться? Да будет воля твоя...

Фридрих принял приговор без возражений. Собственно, на этом судилище кончилось, и он мог бы идти, но на столе, он видел, лежали книги, его любимые книги...

— А книги? — решился он спросить.

Отец будто только и ждал этого слова.

— С этим покончено. Впредь ты не будешь ничего читать без моего на то позволения. А все эти романчики, в которых действуют рыцари и бунтовщики, пираты, корсары, разбойники и прочий безбожный сброд, романчики, которые могут только отравить юную душу, ты больше никогда не увидишь. Никогда! — И отец покосился на камин.

Фридрих увидел, что в камине горел огонь. С ужасом наблюдал он, как отец рвет на части его книги и одну за другой бросает их в пылающий камин. Богоподобный Ахилл, упрямый Гёц, храбрый Дон Кихот, лукавый Тиль Уленшпигель, любимый его Зигфрид — все они превратились в пепел.

Терпение Фридриха лопнуло. Он вскочил, бросился к отцу, вцепился в его руку.

— Что ты делаешь? Что ты делаешь? Зачем ты их сжигаешь? Что они тебе сделали?

Отец оттолкнул его и продолжал свое дело. Дошла очередь до книги, подаренной папашей Ростаном.

— Нет, нет! Эту книгу я не отдам! — закричал Фридрих и, вырвав книгу из рук отца, убежал с нею на чердак, где ее надежно спрятал.

Едва он спустился к себе, как вошел отец и потребовал книгу. Фридрих решительно мотнул головой.

— Не отдам, хоть убей!

Отец побагровел. Неизвестно, что бы за этим последовало, но в этот момент вошла мама и встала между ними.

— Довольно!

Отец нерешительно смотрел на нее.

— Что это за книга? — спросила она мальчика.

— Подарок папаши Ростана.

— Можешь оставить ее у себя.

Отец зло взглянул на нее. Он подождал, пока мама выйдет из комнаты, вышел вслед за ней и запер дверь снаружи на ключ. Было слышно, как он бранился, спускаясь по лестнице.

— В этом доме распоряжаюсь я, и только я! Запомни это раз и навсегда!

Итак, он остался один. Перед ним только Библия, чернила, перо и бумага. Изо дня в день он переписывал одно и то же.

Еду ему приносили. Мир сузился до размеров комнаты, но и комната, в которой еще недавно находило приют столько прекрасных видений, потеряла теперь для него свое очарование. Без книг в ней стало голо и пусто. Никогда не скакать ему теперь с благородным Сидом на битву. Не бороздить с викингами Северное море. Не освобождать святой город с великодушным рыцарем Буйоном, не преследовать с Зигфридом дракона... «Почему? — продолжал он вести немой и заочный разговор с отцом. — Почему ты отнял у меня лучшее, что у меня было, — спутников моих надежд и грез?» Он уставился на строчки, на которых остановился. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся!» Все это звучало как дьявольский обман и издевательство! Фридрих вскочил, скомкал свое штрафное сочинение и швырнул его на пол. Одна мысль завладела всем его существом: вон из этой комнаты, вон из этого дома, из этого города лжи и притворства. Вон! Разве и Зигфрид в свое время не покинул дом против воли отца? Так он просидел до темноты. Очнулся, лишь когда услыхал шепот Марии:

— Фриц, Фриц, тебе что-нибудь нужно?

Он подошел к двери.

— Я ухожу, Мария.

Какое-то время длилось молчание.

— Уходишь?

— Я больше не могу здесь жить. Ты должна мне помочь, Мария, слышишь?

Он написал длинное прощальное письмо. «Прости мне, милая мамочка, что я причинил тебе столько хлопот. Зато теперь в вашем доме снова воцарятся мир и согласие. Обо мне не беспокойся». Он передал привет Ульрике, Марии и Герману, малышам и даже Пегасу. «Простите, что я обрекаю вас на страдания. Но вы наверняка справитесь со своим горем. Да хранит вас, как и меня, господь бог». Потом он

присовокупил добрые пожелания своему веселому дяде Августу, а под конец и добряку миротворцу дяде Морицу. После долгих колебаний он простил и отца. Ибо представил себе, каково ему будет завтра, когда откроют его комнату, а в ней пусто, лишь на столе письмо да окно открыто настежь, и как все будут обвинять отца в том, что случилось.

Когда стемнело и в доме все стихло, Фридрих вылез из окна. Внизу, дрожа от страха, его ждала Мария со старым дедушкиным портпледом, в котором лежали хлеб и колбаса, добытые в кладовке. Она положила в него также свою копилку, рубашку и длинный нож, который взяла на кухне.

— Не уходи, а! — умоляла она брата.

— Я ведь вернусь, — успокаивал ее Фридрих, — когда-нибудь...

Мария плакала.

— Я тебе напишу, Мария, длинное-предлинное письмо.

— Куда же ты пойдешь?

Фридрих и сам не знал.

— Куда? Этого я никому не могу сказать.

— Даже мне?

— Никому! Ты должна понять.

— Понимаю. Но если ты собираешься к дедушке в Хамм...

— Нет, намного дальше!

— Я только хотела сказать, что его сейчас нет в Хамме. На прошлой неделе он уехал в Ксантен к тете. Так он написал маме.

— Ну, мне пора.

— Фриц, Фриц!

— Прощай, милая Мария! Прощай! Ступай к себе. И не выдавай меня!

Он поцеловал сестру, погладил ее по голове и исчез в темноте, словно растворился в ней. Он знал: чтобы попасть в Ксантен, нужно идти вдоль Брильского ручья до Фельберта, а там пойти по дороге на Мюльхейм. Знал он также и о том, что добраться до Рейна можно, только избегая больших дорог, мостов и пограничных постов. Главное — как можно скорее выбраться из Вупперталя, где его знает каждый второй полицейский. Поэтому он двинулся на север и вскоре добрался до лесистых холмов. Сверху он еще раз взглянул на долину, которая в мертвой тишине и непроглядной темноте лежала у его ног.

— Прощайте, друзья мои, прощайте! — крикнул он.

На душе у него было смутно, ведь он не хотел никого

огорчать. Даже тебя, отец! Даже тебя... Но эта история с книгами. Зачем ты это сделал?

Вспомнив об этой тягостной сцене, он отбросил прочь всякие сомнения, повернулся к городу спиной и быстрым, твердым шагом направился дальше в горы, в широкий, чужой и манящий мир.

Когда забрезжил рассвет, городок Фельберт был уже у него за спиной. Дорога шла теперь меж нешироких полей. Затем он достиг вершины зеленого холма. Отсюда была хорошо видна долина Рура с поймой реки, горными отвалами и чернеющими сопками угля.

Руки и ноги сковала свинцовая усталость. Он прилег прямо у дороги, вытянул ноги и сразу заснул.

Во сне он сражался с двумя чудовищами, которые хотели его проглотить. Открыв глаза, он увидел над собой две раскачивающиеся лошадиные головы. Накрапывал дождь. Он вскочил и увидел, что лошади были запряжены в повозку, которой правил дюжий мельник, заговоривший с ним на рейнландском диалекте:

— Утречко доброе, молодой человек! Как это ты тут очутился, а? Упал с луны, а?

Фридрих не сразу вспомнил, где он находился. При этом на лице его было написано такое недоумение, что мельник от души расхохотался. Из крытой повозки ему вторили три юных девицы.

— Я задремал, должно быть, — сказал Фридрих.

— Задремал? Да ты спал посреди дороги, как пень. Ты хоть знаешь, куда тебе нужно?

— В Мюльхейм, — пробормотал Фридрих, — там у меня тетушка заболела, надо проведать.

— Ну тогда залезай в повозку! — приказал мельник. — Девицы, подвиньтесь. Пусть ляжет на мешки с просом и спит себе сколько хочет, пока мы не доберемся до Мюльхейма.

Фридрих не заставил себя уговаривать. Он подошел к повозке, откуда навстречу ему протянулось уже шесть рук. Едва он залез наверх, как щелкнул бич, и повозка лихо покатилась по камням и колдобинам, да так валко, что его швыряло из стороны в сторону, от одной девицы к другой, пока они не усадили его между собой. Теперь он смог познакомиться с ними по всей форме. Сняв фуражку, он изобразил что-то вроде поклона:

— Меня зовут Фридрих Энгельс.

Старшая из девиц на это заметила:

— Энгель? То есть ангел? Настоящий ангел и есть! Это небо его нам послало!

Хохот вокруг него раздался такой, что он был вынужден зажать уши.

— Надо уложить ангела спать! — сказала другая, и последовал новый взрыв хохота.

— Да оставьте вы меня в покое, черт побери! — вырвался Фридрих.

— Ах, наш ангел сердится! Не трогайте его, не то он пожалуется на нас святому Петру! — И все трое, приняв покаянный вид, набожно сложили руки.

— Вот дурехи, — примирительным тоном проворчал Фридрих, и они все дружно рассмеялись.

Завязался живой разговор, они шутили и пели, время летело незаметно. В Мюльхейме Фридрих распрощался с добрым мельником и его славными дочерьми. Получив для больной тетушки целую корзину яиц, цветов, овощей и дав слово, что при случае завернет к ним в Фельберт на мельницу, он долго бродил по городу, таская с собой корзину, пока не встретил на окраине двух нищих детей, которым ее с радостью отдал. Из города он вышел через северные ворота. К этому времени ветер разогнал тучи и показалось солнце. Мир был прекрасен, он был именно таким, каким представлял его себе Фридрих.

Недалеко за воротами находилась старая харчевня. Фридрих решил подкрепиться перед дальней дорогой. В зале находились в основном ремесленники-подмастерья, отправившиеся по весне в дальние края на поиски работы.

Фридрих подошел к столу, за которым сидели три юных плотника в черных бархатных жилетах с начищенными медными пуговицами. Вид у всех троих был добродушный.

— Вы позволите сесть с вами рядом? — с учтивым поклоном спросил Фридрих.

Плотники оглядели его с головы до пят и молча потеснились. Фридрих заказал обед и в ожидании его прислушивался к беседе за столом. Вскоре он понял, что шли они из Лейпцига, где участвовали в строительстве ярмарки, а теперь держат путь в богатые Нидерланды, так как в Германии оплата их труда резко упала. Как он им завидовал! Сколько он слышал о прекрасной стране гезов и их роскошных домах! Оттуда родом был дедушка. А что, если присоединиться к ремесленникам?

С обедом он покончил в два счета.

— Эй, хозяйка! — крикнул он в сторону стойки, где был

слышен хозяйкин голос. Потом он повернулся к соседям по столу: — Не окажут ли господа любезность выпить со мной по кружке пива?

Молодые бурши переглянулись.

— Отчего ж? Коль ты настолько богат, то мы с удовольствием опрокинем по кружке, — сказал один из них. — Однако брось, парень, с нами так изъясняться. Какие мы тебе господа. Мы подмастерья из славного цеха плотников, только и всего.

Все трое, подняв кружки, поприветствовали Фридриха и пригубили пиво. Фридрих немедля приступил к своему замыслу.

— Как я понял, господа, я хотел сказать — славные плотники, направляются в Голландию. Нельзя ли и мне присоединиться к вам? Нам все равно по пути, я иду в Ксантен.

— Зачем?

— У меня там родственники.

— И что же, ты один идешь?

— Конечно, один. Почему бы и нет?

— Сколько же тебе лет?

— Пятнадцать, — солгал Фридрих.

— А у тебя есть документы?

— Документы?

— Ну а как же? Без бумаг ни за что не перебраться на левый берег Рейна, на каждом мосту стоит полицейский кордон.

— Откуда ты вообще? — спросил Фридриха его сосед по столу.

— Из Бармена.

Трое собеседников его засмеялись.

— Из Бармена! Из Мукерталя!

Фридрих вскочил.

— Раз вы оскорбляете мою родину...

— Да что ты, милый, не кипятись, — обратился к нему сосед. — Радуйся, что ты пока не попал на глаза жандармам. Ты ведь удрал из дома, не так ли? — И он добродушно подмигнул Фридриху.

— Да, если угодно, — с вызовом сказал Фридрих. — Но у меня есть на то веские причины, понятно?

Здоровенный сосед сделал вид, будто испугался грозного вида Фридриха. Старший в компании придвинулся к нему ближе.

— Ты, как я вижу, отчаянный парень. Только вот тебе мой совет: возвращайся-ка лучше домой! По тебе видно, что

ты сбежал не от нищих родителей и не из сиротского дома. Вот и благодари бога, что растешь в таком доме. Знаешь, жить на улице, не иметь крыши над головой, не знать, где будешь сегодня ночевать, а завтра есть, не знать, найдешь работу или придется побираться, — во всем этом радости мало. Уж ты нам поверь. Как бы тяжко не приходилось тебе у родителей, но это свои, родные люди, а когда тебя пинают ногами чужие, то это куда как хуже.

Плотники поднялись и распрощались.

— И еще: не в обиду будь сказано, но не расхаживай ты по большой дороге с золотой цепочкой от часов. Не ровен час найдутся ценители, которые не остановятся ни перед чем, почуяв наживу.

— Благодарю! Только я сумею постоять за себя! — возразил Фридрих недовольным тоном и поднял свою кружку в знак прощания.

Но когда плотники вышли, он осторожно осмотрелся и сразу во всех углах харчевни обнаружились подозрительные типы, которые, как ему стало казаться, наблюдали за ним. Он незаметно отстегнул часы и спрятал их во внутренний карман жилета. Потом заткнул за пояс длинный кухонный нож. Выйдя затем на дорогу, он направился в сторону Везеля. О том, чтобы последовать совету подмастерьев, он и не думал...

— Слава господу нашему, Иисусу Христу, — послышался позади него вкрадчивый мужской голос.

Фридрих оглянулся. Невдалеке стоял странного вида бородатый человек. Фридрих только что вышел из Неймюля, где ему не удалось перебраться на ту сторону реки, потому что на мосту был полицейский пост. Раздумывая о том, как ему теперь быть, он и не заметил, что за ним кто-то идет.

— Воистину слава, аминь, — ответил он, разглядывая бородача.

По первому впечатлению тот напоминал предводителя кальвинистов Круммахера. Точно такой же на нем был черный длиннополый плащ и точно такая же с широкими полями шляпа. Но у этого человека на груди еще был деревянный крест, висевший на цепи. В руках он держал палку, а на веревке вел за собой осла, нагруженного всякой всячиной. Фридрих догадался, что перед ним бродячий проповедник одной из многочисленных сект.

— Ни слова! — предупредил его странник. — Я знаю, что тебе нужно перебраться на ту сторону, чтобы попасть в Везель. Но ты повернул стопы свои, убоявшись воителей

короля. Присоединяйся же ко мне, сын мой, и ты беспрепятственно достигнешь противоположного берега, а там и, с божьего благоволения, города Везеля, куда лежит и мой путь. Ибо патер Аурелиус помогает страждущим всюду, где ни встретит их на многотрудном пути своем к свету господнему. Идем же, сын мой, идем!

— К сожалению, патер, я потерял свой паспорт.

— Пустяки, сын мой. Ты дитя божье, и этого довольно. Господь не спрашивает у нас паспорта. А для людей я буду тебе за отца. Идем же!

Фридрих последовал за проповедником. В самом деле никто не чинил им препятствий. За мостом они поднялись на холм и пошли по его вершине, так что иногда далеко в долине им был виден Рейн. Патер оказался неутомимым проповедником. Безостановочный поток его речи был уснащен темными метафорами и таинственными намеками, понять смысл которых Фридрих, как ни силился, не мог. Вскоре он и вовсе перестал слушать, предавшись течению собственных мыслей и наслаждаясь красотою мест, по которым они проходили. Навстречу им попадались то крестьяне, везущие на быках сено, то пастух со стадом овец, то босоногий подпасок, бредущий за коровами со своей хворостиной. Селяне с глубоким почтением приветствовали его попутчика, а патер Аурелиус благословлял их. Так добрались они до речки Липпе, где паромщик переправил их на другой берег. Отсюда дорога пошла глухим, темным лесом.

День уже близился к вечеру. Голос божьего человека несколько поутих. Он поведал о том, что здешний лес имеет дурную славу из-за разбойников. Никто, кроме него, не решается ходить здесь, когда стемнеет. Его же хранил господь.

— Кто всем сердцем доверился богу, может выйти на любую дорогу, так-то, сын мой. — Внезапно патер Аурелиус остановился. — До ночи нам из этого леса не выбраться, сын мой. Он слишком велик. До ближайшего селения не меньше трех часов ходьбы. А у патера Аурелиуса ноги уже подкашиваются. Давай здесь отдохнем!

Фридрих не возражал. Он и сам устал. Место было выбрано подходящее — на краю поляны, у сплошной стены леса. У их ног журчал родник, выбегавший из-под поросшего мхом камня.

— Собери-ка хвороста посуше, — попросил проповедник, — сварим суп. — Он достал из мешка горшочек с фасолью и мясом.

Когда огонь разгорелся и они поставили на него суп, патер протянул мальчику горшочек и ложку.

— Ешь первым, сын мой, и наедайся досыта. А с меня будет довольно и того, что останется.

— У меня есть еда патер, — отказался Фридрих, хотя суп, в котором варился изрядный кусок говядины, приятно щекотал своим запахом его ноздри.

— Коли уж ты путешествуешь с патером Аурелиусом, то будешь есть его пищу, а свою побережешь до худших времен. Господь сказал: «Что делаешь меньшому из братьев моих, то сделано для меня». Так что ты лишь доставишь мне удовольствие, если отведаешь моего супа. Или ты хочешь лишить меня радости накормить господа нашего?

— Нет конечно! — воскликнул Фридрих, взял ложку и с большой охотой принялся за еду.

— Ну вот, а теперь надо подумать и о сне грядущем! — сказал божий человек после трапезы. — Будем меняться. Один станет поддерживать огонь и стеречь сон другого. Не будем испытывать судьбу, рискуя простудиться или подвергнуться нападению разбойников. В силах ли ты первым заступить на вахту, сын мой?

— Конечно!

— Есть ли у тебя часы?

Фридрих вынул часы.

— Ну так постой на вахте до полуночи. Не спускай глаз с перекрестка дорог. Прислушивайся к каждому шороху. Если покажется что подозрительным, сразу буди меня. Главное — не спи! Сказано же: «Бдите, ибо не знаете, когда придет господь ваш».

К большому удивлению Фридриха, патер извлек из своего мешка большой пистолет, зарядил его порохом и свинцом и протянул ему:

— Вот, возьми-ка! Стреляй, однако не прежде, чем разбойники приблизятся к тебе шагов на десять. А не то ухлопаешь, чего доброго, какого-нибудь заплутавшего путника.

И, не говоря больше ни слова, он закутался в свое одеяло и сразу же заснул. Фридрих остался сидеть у костра.

Быстро темнело, а вместе с темнотой лес наполнился множеством ночных звуков. Фридрих впервые в жизни ночевал в лесу. И при каждом шорохе ветвей или крике совы он весь напрягался и пристально вглядывался в темноту, там и сям воображая подозрительные тени. Заряженный пистолет он держал наготове. Пусть только сунутся господа разбойники! Он им устроит достойный прием! Но, кроме одной

заблудившейся серны, на поляне никто не показывался. Вскоре он настолько привык к шорохам леса, что не обращал на них внимания. Все свои силы он напрягал для того, чтобы совладать с усталостью и не заснуть. Последний час своего дежурства он провел, расхаживая вокруг костра и спящего патера, — сесть он уже не решался.

Наконец он не выдержал, перевел стрелки своих часов на десять минут вперед и разбудил патера. Тот сразу же встал.

— Вот и славно, сын мой! Ты хорошо сторожил!

Теперь Фридрих лег, завернувшись в свой плед, и сразу провалился в бездну. Прошла бесконечность, прежде чем он снова открыл глаза. Солнце было уже высоко на небе. Он хотел свернуть свой плед, но что это? Это был не плед, а одеяло патера! Фридрих вскочил на ноги. Ни его портпледа, ни сапог, ни шляпы, ни набожного патера с его ослом не было видно!

— Патер Аурелиус! — кричал он. — Патер Аурелиус!

Никто не отвечал. Тут он заметил, что на нем не было и куртки, его новенькой выходной куртки. Он сунул руку в карман жилета, чтобы узнать, сколько времени. Но в карманах его было пусто. Остался только нож за поясом. Да около костра лежал кусок хлеба и половинка колбасы, раздобытой для него Марией.

Все ясно: на них напали разбойники и ограбили их. А он все проспал. Бедного патера они, вероятно, увели с собой.

— Соня несчастный! Жалкий, несчастный соня! — ругал он себя.

Как он хотел бы сразиться с разбойниками и защитить от них доброго патера Аурелиуса! Он решил во что бы то ни стало исправить положение. «Прочешу весь лес, но найду разбойничье гнездо!» — поклялся он. Первым делом Фридрих взобрался на высокую скалу, чтобы получше осмотреться. Оказавшись наверху, он не поверил своим глазам. Сразу за скалой лес кончался. Вдоль дороги тянулись ухоженные фруктовые сады. А примерно в двадцати минутах ходьбы виднелась крепость Везель, расположенная на берегу Рейна.

Сразу стало ясно, как подло его обманули. Набожный патер Аурелиус ограбил его! Фридрих то отчаивался, то смеялся, проклиная свою доверчивость и глупость. Потом он выбрался на дорогу и босиком, в одной рубашке пустился бежать к городу.

— О патер Аурелиус! Попадись ты мне еще раз! И да поможет тебе тогда бог!

Вскоре Фридрих добрался до знаменитой везельской цитадели.

Он стоял на торговой площади и, задрав голову, рассматривал высокие и отвесные крепостные стены. В одном месте у подножия стены виднелся увядший венок и свежая ветка сирени. Фридрих подошел поближе. На омытой дождями деревянной доске значились имена одиннадцати немецких офицеров и дата того сентябрьского утра 1809 года, когда их из крепостных застенков повели на казнь. Под их именами стояло: «Пали за короля и отечество». Однако слово «пали за» кто-то зачеркнул мелом, а сверху написал другие слова. Теперь это читалось так: «Проданы и преданы королем и отечеством».

Даже здесь, в старой прусской цитадели, находятся люди, которые не складывают оружия в борьбе за правду! Фридрих огляделся. Сегодня суббота, на торговой площади полно людей, которые прохаживаются между лавками и лотками. Мимо шли женщины с корзинами, солдаты в выходных мундирах, бюргеры в воскресном наряде. Фридрих вдруг хватился, что оставил у потухшего костра хлеб и колбасу. Он представил себе, какие будут лица у дедушки с бабушкой, когда он заявится к ним в таком виде. Но выбора не было. До виноградников Ксантена было рукой подать, но их отделял от Везеля могучий Рейн, а на мосту было полным-полно охраняющих проход солдат.

Фридрих услышал позади себя ржанье. Площадь пришла в движение. Три драгуна на лошадях прокладывали себе дорогу к ратуше. Прохожие шарахались от них в сторону. За всадниками следовала группа заключенных. Они были скованы между собой цепями и едва волочили ноги. По их мундирам и фуражкам Фридрих распознал, что это были студенты из Галле. Был среди них и старый, седой профессор, опиравшийся на своих соседей.

Замерев у стены, Фридрих напряженно всматривался в приближающуюся процессию. Вдруг по ее рядам словно пробежала дрожь. Высокий, крепко сбитый студент мощным голосом затянул знаменитую песню Морица Арндта, которую дружно подхватили его измученные товарищи:

Железо принес господь нам в дар,
Не желая в нас видеть рабов,
Поэтому меч и копье он дал
В руки тем, кто на бой готов.

Поэтому смелостью нас наделил
И яростью вольных речей.
Тому ли, кто кровь за свободу пролил,
Страшиться ее палачей?!*

Процессия приближалась. Фридрих мог уже разглядеть лица узников. Потом он перевел глаза на тех, кто стоял вдоль обочины и глазел на проходящих с выражением покорности и смирения перед всевластной судьбой. Кулаки его сжались, сердце забилось сильнее.

— Прекратить петь! Прекратить! — приказал пронзительный голос.

Вслед затем к запевале-студенту подскочил драгунский офицер и ударил его стеком по лицу.

Тут уж Фридрих не мог сдержаться. Он выскочил на середину улицы, поднял кулаки кверху и стал что было мочи кричать:

— Смерть тиранам! Смерть тиранам! Смерть...

Какая-то женщина мягко, но властно зажала его рот рукой.

— Прячься, мальчик! Немедленно прячься! — испуганно прошептала она.

Фридрих увидел, как от ратуши к нему бегут два жандарма. Засвистела полицейская дудка. И он пустился бежать, бежать со всех ног. «Нет, вам, тюфякам, меня не догнать!» Незаметно он очутился неподалеку от порта. Показалось, что погоня отстала. Но тут вдруг за спиной снова засвиристела проклятая дудка. Испуганно оглянувшись, Фридрих увидел, что за ним бежало уже с полдюжины полицейских. Но куда деваться? Перед ним был мол, далеко выдававшийся в Рейн. Фридрих побежал по нему, потом оглянулся. Полицейские уже не торопились, думая, что он попал в ловушку. Ну подождите! Он помахал рукой своим преследователям, разбежался и ласточкой прыгнул в воду. Обжигающая холодом влага приняла его. Он нырнул, а затем стал мощными гребками рассекать воду. Течение заметно относило его к северу. Когда он впервые вынырнул, чтобы глотнуть воздуха, он был уже далеко от мола, на котором, растерянно глядя на воду, толпились полицейские. Он поплыл дальше, держа курс на башню собора в Ксантене, возвышавшуюся посреди виноградников и холмов, на одном из которых когда-то стоял замок Зигхарда. Там уже

* Перевод В. Сазонова.

виднелся лес, в котором он знал каждое дерево. Дальше, дальше! Только не расслабляться! Полицейские все еще беспомощно толклись на прежнем месте. Теперь уже были видны только голубые пятна их мундиров и блестящие шишаки касок. Наконец он ощутил под ногами твердую почву. Шатаясь от усталости, вышел на берег. Немного отдышался и побежал наверх, на холм. Только на самой его вершине, у кромки леса, он в изнеможении упал на землю.

Все тут было точно таким же, как и три года назад, когда он побывал здесь впервые. Высокая трава, заросли шиповника, сосновый бор, серебряная лента реки, кажущаяся отсюда, сверху, совсем неширокой. Вдали виднелись стены крепости, грозно высилась башня, в казематах которой теперь томились студенты со своим старым профессором.

«...Железо принес господь нам в дар, не желая в нас видеть рабов». Ах, Зигфрид, если б ты догадывался, выступая против драконов, во что они со временем превратят твою родину! Где же твой меч? Дай нам его, чтобы мы могли освободить людей из мрачных застенков прусской крепости! Сколько же противников тирании они там заперли? Крепость немецкой свободы — так именуется Везель в наших учебниках. А самые храбрые из немцев сидят там, закованные в цепи! Все то же отвратительное лицемерие! Могила свободы, могила молодости — вот что они сделали из тебя, Везель!

Зигфрид, Зигфрид! Если б я жил в твое время и мог с мечом в руках громить драконов и великанов! А что же делать теперь? Что, Зигфрид? Что может сделать немецкий мальчик в позорном 1834 году?.. Нас запихивают в тюрьмы, именуемые школами, а когда мы из них бежим, нас ловят полицейские. Полиция следит за нашими разговорами и нашими мыслями. У нас полно драконов, заражающих воздух, так что нечем дышать. Но что, что нам делать, чтобы справиться с ними?»

Порыв холодного ветра заставил его почувствовать промокшую одежду на теле. Он снял штаны и рубашку, выжал их и повесил сушиться на солнце. В лесу он нашел увесистую дубину. «Ах, если б это был меч!» — думал он, размахивая ею.

— Смотри, как летят на землю парики и каски, сутаны и камзолы! Словно головы драконов и великанов! — кричал он, нанося удары.

Вдруг за спиной его раздался громкий, раскатистый хохот. Он увидел позади себя трех всадников — пожилого

офицера в черной форме лютцоверского полка и двух его егерей. Чуть позади них на вороном коне сидела девочка, примерно одних с Фридрихом лет. Они, видно, давно за ним наблюдали и слышали его разглагольствования, которые их так развеселили.

Фридрих занял защитную стойку, держа наготове дубину. Офицер соскочил с лошади и обнажил саблю. Двумя ловкими ударами он выбил из рук мальчика его дубину.

— Раз уж ты собрался в поход на великанов и драконов, то не худо бы научиться сначала фехтовать, — сказал он со смехом. — А теперь говори, кто ты такой? Я тебя в этих местах еще ни разу не видел.

— Я вам не обязан докладывать, кто я да откуда! — дерзко возразил Фридрих.

— Да ты что себе воображаешь, щенок? Ты, может, думаешь, полковник фон Камп будет с тобой цацкаться? А ну, живо отвечай, что спрашивают!

Девочка тем временем подъехала поближе.

— Минуточку, дядя, я, кажется, его знаю. По-моему, это племянник Грисхеймов.

— Это верно? — спросил полковник. Поскольку мальчик не отпирался, он напустился на него, как на своего. — Хорош, нечего сказать. Мокрый как утка, в одних подштанниках, грязный, ободранный — просто бродяга какой-то.

Только тут Фридрих сообразил, в каком он виде. Он побежал к кустам, на которых висела его одежда. Надел штаны и вздрогнул. Прямо перед ним вырос жандарм, незаметно подкравшийся лесом.

— Руки вверх! — приказал он.

Около всадников уже стояли трое его коллег.

— Пропал, — простонал Фридрих и медленно поднял руки.

Вахмистр полевой жандармерии доложил полковнику о происшествии в городе. Тот серьезно его выслушал, время от времени бросая удивленные взгляды на мальчика.

— Стало быть, ты уверен, что этот мальчик и есть тот опасный демагог, что мутил воду в городе?

— Так точно, господин полковник, это он.

— И этот сорванец, ты говоришь, переплыл Рейн? То есть преодолел вплавь без малого полтора километра?

— Мы сами это видели, господин полковник!

— Так точно, ваша милость, — подтвердили и остальные.

— Так подите вы к дьяволу, идиоты! Этот парень — мой

стремянной, вам ясно? Он вообще не умеет плавать и целый день только и делал, что мыл лошадей, вам ясно?

— Но... — хотел было возразить вахмистр.

— Никаких но! Вам ясно? — заорал на него полковник.

Вахмистр щелкнул каблуками.

— Так точно, ясно.

— Тогда кругом, марш!

Полицейские с растерянным видом зашагали прочь. Полковник лукаво подмигнул мальчику.

— Молодец, Грисхейм.

Он приказал адъютанту развести огонь, на котором можно было бы высушить одежду. Фрейлейн попросили отвернуться, мальчика раздели донага и завернули в попону. Его накормили, дали из фляги вина. Через некоторое время полковник узнал о том, что случилось в доме Энгельсов, и обо всех последовавших за этим приключениях Фридриха.

Потом Фридрих снова облачился в свою просохшую одежду, а сверху надел куртку егеря, которая была ему слишком велика.

— Ну, на Зигфрида ты, прямо скажем, похож мало, — засмеялся полковник, взглянув на него. — Ты хоть умеешь ездить верхом?

— Если б у меня была лошадь, я бы вызвал вас на соревнование, — заявил Фридрих.

Полковник велел дать ему лошадь егеря.

— Хорошо, хвастунишка, соревноваться, так соревноваться!

И скачки начались. Фридрих быстро освоился с кобылкой егеря. Маршрут пролегал по негустому сосняку, по лугам и песчаным дорогам. На горизонте тянулась гряда холмов. Там, над берегами, торчал красный шпиль церкви. В этом направлении и скакал Камп. Фридрих старался изо всех сил. Финишировал он бок о бок с полковником.

Потом они сидели у камина в гостиной старинного феодального замка, стены которого были увешаны трофейным оружием давно отгремевших войн. Полковник с едким сарказмом высмеивал тупость немецкого Михеля, его сонную вялость и покорность, особенно в прусских владениях, где король и его клика всем обязаны народу, который они нещадно обкрадывают.

— Этот жалкий народ, который целует бьющую его руку, не достоин того, чтобы честные люди жертвовали ради него своей жизнью или сидели на цепи в башне, — заметил полковник.

Фридрих хотел возразить. Его бюргерская гордость бунтовала против дворянского высокомерия полковника. Но он очень устал за этот день, к тому же его постоянно отвлекала фрейлейн, то и дело на него поглядывавшая. Он успел еще только сказать:

— Народ поднимется и будет бороться. И горе его притеснителям, когда это произойдет! — Но потом незаметно для самого себя заснул в кресле еще до того, как подали ужин.

В полудреме он еще заметил, как к нему подошла жена полковника, положила руку ему на лоб и озабоченно произнесла:

— У него температура.

После этого все куда-то провалилось.

Тяжелые сны завладели его головой. Он сражается с великанами и драконами. У них головы жандармов, священников, учителей, чиновников. Потом он увидел, как скачет на драконе Зигфрид. Потом оказалось, что он сам и есть Зигфрид, но, когда он пытается выхватить меч, рука его хватает пустоту. Усталый, обессилевший, он опускается наземь, а над ним склоняется с палкой отец.

— Нагнись!

Но он вместо этого выпрямляется, выхватывает из рук отца палку, и это оказывается не палка, а меч. Но когда он, размахивая мечом, приближается на полном скаку к великанам и драконам, те испаряются. На их месте стоит везельская крепость и спокойно течет Рейн. Громко и раскатисто смеется полковник. Жандармы хотят схватить его...

Фридрих открыл глаза. Он лежал на большой кровати. Фрау фон Камп меняла ему холодный компресс. Около него стоял врач и щупал его пульс.

— Невероятно, но никакой температуры уже нет. Здоровье как у медведя!

Фрау фон Камп вздохнула с облегчением. Девочка подала молоко. Фридрих жадно припал к нему и выпил весь кувшин. И потом снова заснул глубоким молодецким сном.

Проснулся он ясным днем. Чей-то знакомый голос пожелал ему доброго утра. Фридрих быстро открыл глаза и увидел перед собой милое лицо дедушки ван Хаара.

— Дедушка! — обрадовался он. — Ах, сколько же мне нужно с тобой обсудить.

— Потом, Фриц, — мягко сказал ван Хаар.

Через три дня он был совершенно здоров. Сердечно простившись с Кампами, они на дедушкиной коляске отправи-

лись домой. Чтобы миновать Везель, поехали по левому берегу Рейна. Было раннее утро, только что рассвело.

— Неужели я действительно обязан вернуться домой? Неужели нельзя иначе? — спрашивал Фридрих.

Старик взял его за руку.

— Не беспокойся, я уже отправил им срочное письмо. И я останусь у вас до тех пор, пока все не утрясется.

— А ты не мог бы взять меня к себе в Хамм?

— Я бы охотно сделал это. Но я не могу отнимать тебя ни у матери, ни у отца, ни у твоих сестер и братьев. Они так привязаны к тебе!

— Отцу я не очень нужен. Из-за меня у него одни только хлопоты и неприятности.

— Глупыш! Как раз отец тебя очень любит. Отчего, скажи, именно в тебе он видит своего преемника?

— Я не хочу быть ни фабрикантом, ни коммерсантом, дедушка! Я не хочу быть таким, как отец, как дядя Каспар, как большинство их друзей. У всех у них одна только книга с двумя колонками цифр, над которыми стоит РАСХОД и ПРИХОД. Эти цифры для них как закон, они подчиняют им всю свою жизнь. Они заставляют их нанимать маленьких детей. Они заставляют их притворяться и лгать, закрывать глаза на произвол и несправедливость. Они для них больше значат, чем совесть. Они их алиби перед богом. Длинные ряды мертвых цифр выросли между ними и их христианским долгом.

— У каждой профессии, Фридрих, свои правила и законы. Мастером своего дела может стать только тот, кто этим законам подчиняется. Разве можно за это презирать своего отца?

— Не знаю, дедушка. Не знаю.

Они помолчали.

Коляска остановилась. Они находились в окрестностях Мёрса. На полицейской заставе потребовали паспорт. Вскоре после этого последовал еще один контроль, на мосту через Рейн у Дуйсбурга. Дедушка заплатил пошлину, вахмистр долго изучал свои списки разыскиваемых лиц. За Дуйсбургом потянулись густые леса, луга, бескрайние поля. В глубине прекрасных парков виднелись белые здания дворцов, на холмах возвышались великолепные замки. Затем пошли поля, разделенные на узкие полосы наделов, и ветхие лачуги крестьян. За сохой шел мальчик в возрасте Фридриха. А впряжены в нее были не быки, а родители мальчика, его братья и сестры. Дед с внуком долго и озадаченно

смотрели на эту картину, пока несчастное семейство не скрылось из глаз.

— Знает ли господь, что делается в мире, дедушка? Хочет ли он, чтобы так было?

Дед избегал смотреть в глаза внуку.

— Бог и знает и не знает одновременно, — сказал он после долгого молчания. — Все в мире непостоянно и переменчиво, как волны морские. Но в глубине всего царит покой. Как целое море остается неизменным, совершенным в своей неизменности. Таков закон. Таков бог. А изменчиво то, что мы видим и чувствуем, делаем и ощущаем. Но одно не существует без другого. Изменение без постоянства. Отдельное без целого. Сколько существует человек, столько и задумывается он об отношениях между вечным, непреходящим, и текущим, преходящим. Ибо и то и другое живет в человеке: временное, ограниченное — и вечное, божественное. Всякие есть в нем возможности: низкое, пошлое, мелкое, но и высокое, возвышенное, великое. Вот от этих-то противоречий и мучается наша душа. И эту муку можно выносить, только твердо веруя в бога.

— Но разве не должны мы преодолеть этот разрыв, эту муку?

— Для этого человек слишком слаб, Фридрих. Мы вынуждены жить так, как живем. Либо погибнуть. Ты поймешь это сам, мой мальчик. Поймешь! Накопятся знания, придет опыт, познакомишься с мыслями великих мудрецов, живших до нас.

И дедушка опять стал рассказывать о своей любимой античности, о людях, которых называли друзьями мудрости и которые пользовались большим почетом в Древней Греции. О Фалесе, Анаксагоре, Сократе, Платоне, Аристотеле...

— Но потом на Европу спустилась ночь папистского католицизма. Этот римский идол стал определять, что люди должны думать и во что верить. И прошло больше тысячи лет, прежде чем человеческий разум смог снова освободиться от оков римско-католического догматизма.

И дедушка перешел к великим просветителям, к гуманистам, которые подхватили традицию живой мысли Древней Греции и стали применять ее к колоссальному опыту, накопленному человечеством с тех пор. Джордано Бруно и Декарт, Лейбниц, Спиноза и Кант.

Фридрих слушал его с большим интересом. Новый, неведомый мир открывался ему. Неожиданно все, к чему он так пылко стремился до сих пор, все его мечты о героических

деяниях и все его попытки постичь замысел божий, показались по-детски наивными и смешными. Что такое человек без знаний? Что он может? Ничего.

— Я хочу быть таким, как ты, дедушка! — горячо воскликнул он. — Хочу все знать, всему научиться, все понять, как ты. Я не хочу больше жить так, как жил до сих пор. Я не вынесу этого больше!

Бернард ван Хаар улыбнулся и попытался отговорить Фридриха. Рассказывал ему, как бесконечно длинен и труден этот путь и как мало благ приносит человеку. Говорил о том, что человек может потратить на него всю жизнь, а потом седым стариком оказаться там, где начал, то есть прийти к выводу, что человеческому мышлению поставлены границы непреодолимые, вечные. Но все было напрасно. Он видел, что в глазах Фридриха уже горит пламень надежды на новую жизнь, и пообещал:

— Я поговорю с отцом о твоем будущем, мой мальчик. Доверься мне!

Миновали Дюссельдорф. Близ Зоннборна кучер свернул в родную долину. Вуппер лениво катил свои мутные волны вдоль дороги. Справа и слева кланялись макушки деревьев. Зеленели нежные склоны холмов. В долине цвели сады, над которыми высились башни Эльберфельда. Вдали на солнце сверкали купола церкви Христа в Нижнем Бармене.

Бесконечная грусть овладела Фридрихом. Так-то возвращается домой храбрый Зигфрид — как блудный сын, только и ждущий, чтобы его милостиво простили и приняли обратно. Далеко позади осталась та ночь, когда он взбирался на этот холм, чтобы покорить мир...

На неровных мостовых отвратительного города Эльберфельда дедушка очнулся от своей полудремы и попросил кучера свернуть в старую часть города. Проехали мимо похожего на тюрьму нового здания фирмы Брюнинга. В узком переулке, неподалеку от кальвинистской церкви Даниэля Круммахера, за кованой железной оградой находилось малоприметное невысокое здание, выступавшее двумя крыльями в сторону улицы. Дедушка велел остановиться около него.

— Это гимназия, одна из лучших в Пруссии. Здесь ты будешь учиться, — проговорил он, вылезая из коляски. — Здешний директор Ханчке — бывший мой ученик. Может быть, мы застанем его.

Новая волна надежды захлестнула Фридриха. Стало быть, дедушка обещал ему не зря. Он с любопытством

взглянул на здание, и оно уже не показалось ему таким неприметным. Из одного открытого окна доносился голос учителя древнегреческого языка. Итак, вот где начинается путь познания. Сердце Фридриха забилось сильнее. Но потом перед его мысленным взором возникло строгое лицо отца. Нет, он этого не разрешит, подсказывал ему опыт. Никогда не откажется он от своего плана обучить старшего сына ремеслу коммерсанта. Дедушка вскоре вернулся в сопровождении человека примерно такого же возраста, как отец. Дедушка помахал рукой Фридриху, и тот вылез из коляски.

— А вот и наш кандидат, — представил он Фридриха. — А это директор гимназии доктор Ханчке.

Фридрих низко поклонился.

— Буду рад, если мы свидимся вновь, — любезным тоном сказал директор.

Фридрих еще раз поклонился, от волнения он не мог произнести ни слова.

В коляске дедушка спросил его:

— Ну как, понравился он тебе?

Фридрих с жаром и без лукавства кивнул.

— Может быть, он даже возьмет тебя в качестве пансионера в свой дом.

— Слишком невероятно, дедушка! — воскликнул Фридрих. — Отец никогда этого не позволит!

Дедушка промолчал. Они выехали из города. Между Эльберфельдом и Барменом на крутом склоне Гардта, как разбойничье гнездо, повис трактир. Прямо перед ними морем цветущих фруктовых деревьев раскинулось Урочище Энгельсов. При встрече с родными самое трудное — первый час. Поскорее бы он прошел, думал Фридрих.

И вот он благополучно миновал, этот час. Братья и сестры с бурными криками ликования бросились к ним с дедушкой, окружили, стали обнимать, целовать, вешаться на шею.

Подошла, сдерживая слезы, притихшая мама, порывисто обняла чуть подрагивающими руками. Отец только гневно взглянул и туча тучей удалился, не сказав ни слова, не пожав даже руки.

Потом, смеясь и плача, налетела с поцелуями Ульрика.

— Ах, милый Фриц, ну за что ты нам устроил такое? За что? Как мы все ужасно боялись, что с тобой что-нибудь случилось! Чего мы только не пережили — твоя мама, отец, мы все! И за что нам все это? За нашу любовь к тебе? Ну

теперь, слава богу, все позади. Ты снова с нами, здоров и невредим. Все прошло, слава богу.

Только тут, на кухне, между плитой и умывальником Фридрих вдруг осознал, что он наделал. Он взбежал к себе в комнату, бросился на кровать и зарыдал, зарывшись лицом в подушки. Но вскоре снова вскочил, бросился по лестнице вниз. В саду он нашел маму:

— Прости меня, прости! — Он плакал, прижавшись к ней. И только после этого успокоился, только теперь он по-настоящему почувствовал, что вернулся домой.

А дедушка меж тем сидел в кабинете отца. Час пролетал за часом, а он все не выходил. Ужас охватывал Фридриха при мысли, что именно сейчас решается вся его дальнейшая судьба. Оба явились только к ужину. Вид у отца был очень недовольный. На вопрос Фридриха дедушка пожал плечами. Ничего они так и не решили. Отец молча ел. А дедушка как ни в чем ни бывало беседовал с мамой о погоде, о новостях жизни в Хамме и Ксантене. Один раз Фридрих поймал на себе взгляд отца. На один только миг скрестились их взгляды, но этого было достаточно, чтобы прочесть в глазах отца нечто большее, чем привычная неумолимая строгость. В них были забота и страх. Ему даже стало жаль отца. Он видел, как на руках его вздулись жилы. Ему вдруг захотелось схватить эту руку, прижать к губам... Но тут в памяти всплыла издевательская реплика полковника.

— Народ, который целует бьющую его руку... — И он в испуге отодвинулся.

Когда дети встали из-за стола, поднялся вместе с ними и Фридрих. Но дедушка удержал его.

— Я бы хотел продолжить наш разговор в присутствии Элизы и мальчика.

— Садись! — сказал отец. — Ты знаешь уже, что предлагает нам твой дед?

Фридрих кивнул.

— И тебе, конечно, этого хотелось?

— Да, отец.

Наступила тишина. Сейчас все решится! Отец разглядывал салфетку, которую мял руками. Он думал. Тоненькая полоска надежды на горизонте... Отец отбросил салфетку.

— Нет, нет и еще раз нет! Теперь я тем более должен не спускать с него глаз! Гимназия, учеба — все это мало годится, чтобы со временем успешно заниматься коммерцией и продолжить мое дело.

Небо опять затянули тучи.

Мама мягко положила свою руку на руку отца:

— Не ты ли сам всегда говорил, что нашему старшему сыну мы дадим самое лучшее образование?

— Да, да! Но прежде он должен понять, что значит носить имя Энгельса!

— Эльберфельд ведь не на краю света. На Пегасе он мог бы каждый день приезжать домой, — сказала мама.

— Нет, верхом он больше ездить не будет. С этим покончено.

— У Ханчке он был бы под самым строгим надзором, — заметил дедушка. Но это только подлило масла в огонь.

— Ханчке! — взорвался отец. — Вольнодумец, лютеранин, ученый... Знаем мы его, как же! И о фокусах так называемого высшего образования тоже знаем! С чего начинается любой бунт? Откуда берется это вечное недовольство, которое порождает один кризис за другим и не дает нормально развиваться деловой жизни?

— К лютеранам и ученым, мой милый зять, отношусь и я, — с улыбкой сказал дедушка.

— Прошу тебя! — взвился отец.

— Нет, нет, в чем-то ты прав. Познание порождает беспокойство. Такова уж пагубная человеческая привычка мерить действительность мерками созданного познанием идеала. Это и создает движение. Разве не действуешь точно так же и ты в своей области, покупая новые машины, сооружая паровые котлы?

— Уместно ли обсуждать такие вопросы в присутствии мальчика?

— Уместно! Разве он не должен знать, чем занимается его отец? Разве не должен он знать, в чем будет состоять его христианский долг и за что он будет нести ответственность?

Отец на это ничего не возразил. Но мнения своего не переменил.

— Что ж, — пожал плечами дедушка, — пусть тогда судьбу Фридриха решает высшая инстанция.

Отец опешил.

— Более высокая, чем отец?

Дедушка посмотрел на него и сказал спокойно, но твердо.

— Есть еще и семейный совет, мой дорогой.

Отец засмеялся.

— Семейный совет? Да существует ли еще что-нибудь подобное?

— Существует. Хоть он и не собирался уже двенадцать лет, со времени вашего перехода в униатство.

— И ты хочешь возродить его из-за такого пустяка?

— Да, мой дорогой. Ты ведь знаешь, что я обещал вашему отцу, когда он лежал на смертном одре!

Отец встряхнул головой.

— Ох уж эти мне старые истории. Отец с его вечной недоверчивостью... — И он, махнув рукой, замолчал.

Фридрих затаил дыхание. Прошлое словно ожило. Второй его дедушка, которого он знал только по восхищенным рассказам папаши Ростана как человека, объехавшего весь мир, построившего мельницу, как благодетеля бедных, заступника детей, этот дедушка будто снова появился здесь, между ними, протянув руку помощи своему внуку.

— Да, — сказал ван Хаар, — он был недоверчив. Но, может, не без оснований?

— Если б он все мог предвидеть... Прошло ведь двенадцать лет, как он умер.

— Но ведь я еще жив.

Отец задумался. Потом он вдруг прервал молчание.

— Хорошо. Пусть они соберутся почесать языком. Пусть хоть до хрипоты обсуждают мои личные дела. Наверняка они получат от этого большое удовольствие, любезные братья и сватья. Но они придут к тому же решению, что и я сам.

— Поживем — увидим, — сказал дедушка, и разгневанный отец покинул гостиную.

— Неужели надо было доводить до этого, отец? — спросила растерянная мама.

— Ступай спать! — велел Фридриху дедушка, не ответив ей.

Фридрих ушел. Из окна своей комнаты он видел, что и в гостиной и в кабинете отца долго горел свет. «Все еще решают, решают мою судьбу!» — проносилось у него в голове. Но уже не было от этой мысли никакого удовлетворения. Никакой надежды в сердце, один страх перед распрей, виновником которой он оказался.

«Господи, господи, ты ведь знаешь, что я вовсе не хотел этого! Почему я не такой, как другие, как остальные мои сестры и братья? Почему я не могу легко подчиняться любому ярму, как Герман, как другие? Почему ты не даешь спокойствия моей душе? Господи, дай ей мир и согласие!» Вдруг он вздрогнул. Кому он молится? Тому ли, над облаками, с почтенным лицом, который был спутником его детских лет — то сердитым и карающим, то чаще милым и

добрым? Тот образ в нем погас, давно погас. Бог во всем, сказал дедушка. Вечное, покоящееся в глубине преходящего... Туда не достигнет никакая молитва, он это чувствовал. Туда нужно самому найти путь. Гёте, сказал дедушка. Читай Гёте! Тут только он вспомнил о книжке аптекаря, которую вместе с книгой папаши Ростана спрятал на чердаке. «Фауст». Нужно прочесть эту книгу как можно скорее!

Глава восьмая

ПОЛЕТ СОКОЛА

Печальным был для Германии год 1834. Последние июльские искры надежды* на политические перемены погасли, засыпанные пеплом отчаяния. За рассветом бюргерского самосознания сразу последовала ночь реставрации старого!

Лелея свой сон и покой,
Спи, Германия, кроткой овцой!
Смогла Союз таможенный создать,
О большем для чего тебе мечтать?..
Лелей свой сон и покой!**

Народный сарказм породил эту песню. И слышать её можно было во всех немецких землях на каждом шагу, если только поблизости не было полицейского шпика.

В Пруссии, этом самом большом и мощном государстве Германского союза, брожение коснулось только нижних слоев населения. Бюргерство держалось в рамках благоразумия. Благодаря этому стареющий король смог покончить с остатками студенческой оппозиции, которая давно уже не представляла серьёзной опасности для его режима. Густав фон Рохов — так звали нового министра полиции — должен был избавить, наконец, короля от преследующих его кошмаров. Тюрьмы наполнились теми, кого подозревали в принадлежности к тайным студенческим организациям. Заодно с ними в цепи заковали и недовольных ремесленников, и строптивых рабочих. Все эти меры в глазах состоятельных буржуа, пуще смерти боявшихся четвертого сословия, вы-

* Имеется в виду отзвук в Германии Июльской революции во Франции 1830 года.

** Перевод В. Сазонова.

глядели разумной необходимостью. К тому же теперь действовало таможенное соглашение. Деловая и торговая жизнь благодаря ему оживилась. А кроме того, существовали и наследный принц, и связанные с ним либеральные надежды на конституционную монархию по английскому образцу.

Политика, вдохновляемая кулаком и дубинкой, кадилом и цепью, крестом и короной, нашла своего бесспорного мэтра в лице Клеменса Лотара Венцеля, князя Меттерниха. Некоторые успехи июльского движения, триумфальная таможенная политика прусских министров Мотца и Маасена, распад Священного союза на время отодвинули его в тень. Новая репрессивная прусская политика вновь выдвинула этого архиреакционера на первый план в немецкой политической жизни. Ему, рейнландцу по происхождению, восседавшему в кресле канцлера прогнившей австрийской монархии, на конференции министров Германского союза, состоявшейся в 1834 году в Вене, удалось сплотить правительства всех немецких земель, связав их договором о совместных действиях против всякого оппозиционного движения. Отчаянное предприятие горстки вооруженных студентов, захвативших жандармерию во Франкфурте, было немедленно использовано для оправдания целого ряда тайных соглашений, обязывавших государей к совместному выступлению против любых антимонархических акций на территории Союза. Германия скатилась к самому мрачному абсолютизму прежних веков. Всякое недовольство пресекалось в корне. Спасались от ареста лишь те, кому удавалось бежать за границу. Только в эмиграции мог еще громко звучать голос свободы и политического прогресса. А в самой стране вынуждены были пользоваться заумным языком философов или эзоповым языком намеков и аллегорий, недоступных пониманию цензуры. Друг друга понимали только посвященные.

«Двадцать девять миллионов рабов и миллион господ и надсмотрщиков! Бедная, бедная Германия!» — писал выходивший в Париже журнал немецких эмигрантов.

Фридрих ликовал. Гимназия была делом решенным. Семейный совет состоялся и после долгих споров выступил против решения отца. «Трудного мальчика лучше из Бармена удалить, ибо его проделки наносят вред репутации всей семьи» — таково было мнение дяди Каспара.

— Да, пусть тратит излишки энергии на Гомера с Цицероном! — заявил дядя Август.

Дядя Снетлаге вспомнил собственные беспокойные годы юности, которые привели его в конце концов на духовную стезю. Отец вынужден был подчиниться. Правда, он поставил условием, чтобы никакой потери во времени этот переход за собой не повлек. Начинать надо было прямо со следующего класса, подготовив и сдав разницу за все годы.

— Ну, это не проблема! С этим я справлюсь! — прыгал от радости Фридрих.

Дедушка его уверенности, однако, не разделял. Он хорошо представлял себе разницу в программах между барменской школой и эльберфельдской гимназией. Латынью и древнегреческим следовало усиленно заниматься все лето.

— Иначе ты не нагонишь, — сказал он внуку, прощаясь. — Учебники я пошлю твоей маме. Но чтобы никаких выходок больше, понял? Иначе ты сам себе навредишь.

С огромным усердием приступил к занятиям Фридрих. Все лето, все каникулы посвятил он древним языкам. На октябрь был назначен экзамен у директора Ханчке, где и должно было выясниться, достиг ли он своей цели.

Отец сам отвез его в Эльберфельд. Они подъехали к старому патрицианскому дому на Шваненштрассе. Внутри их обступила гулкая монастырская тишина. В просторном вестибюле, выкрашенном в белый цвет, мебели было немного. Только по углам под книжными полками стояло несколько скамей. Директор гимназии любезно приветствовал посетителей. В собеседовании, на котором решалось, в какой класс определять Фридриха, отец участия не принимал. Директор повел Фридриха через балюстраду во внутренний дворик, где они устроились на скамейке под липами. Началось все с непринужденной и безобидной беседы. Фридрих и не заметил, как профессор перешел к латыни. Кажется, Ханчке остался доволен. Через некоторое время к ним присоединился доктор Эйххоф, преподаватель древнегреческого языка. В течение целого часа Фридрих переводил различные тексты, определял формы глаголов, отбарабанивал склонения и спряжения.

Потом его отослали к отцу. Вскоре пришел доктор Ханчке и сообщил о результатах испытаний: «секунда», то есть второй класс, на класс выше, чем требовал отец. Фридрих ликовал. Это была победа.

Отец с директором стали обсуждать возможности устройства Фридриха в его семью в качестве пансионера. Осмо-

трели свободную комнату во флигеле. Когда возвращались домой, отец задумчиво сказал:

— Просто поразительно, чего ты можешь добиться, если захочешь! — В голосе его признание смешивалось с укоризной.

Мать была рада. Братья и сестры гордились старшим братом. Восемь дней Фридрих наслаждался своим счастьем. Все старые грехи его были прощены и забыты! Белая ворона всей семьи, он стал вдруг героем дня. Правда, его несколько насторожили слова, сказанные матери отцом.

— Плевать я хотел на рекомендации родни. Им бы, конечно, очень хотелось, чтобы мой старший сын стал попом, ученым или чиновником. Пока я вынужден с этим мириться, так как во многом еще завишу от них. Но это продлится недолго! Есть у меня такие планы, о которых мои любезные братья не смеют и мечтать. Так что подождем годик, а там, глядишь, я стану сам себе господином.

Фридрих хоть и насторожился, услышав это, но особенно огорчаться не стал. У него был свой твердый план жизни.

Когда утром 15 октября 1834 года, на следующий же день после праздника святого Михаила, он садился в пассажирский дилижанс, отправлявшийся в Эльберфельд, то казался себе страшно взрослым. Какая четырнадцатилетняя голова не вскружится, когда на ней красуется фуражка ученика второго класса гимназии!

Однако, когда он поднялся по лестнице почтенного учебного заведения и вошел в вестибюль, ему стало немного не по себе. Он остановился у двери, на которой висела табличка: «Унтерсекунда», Слышно было, как шумели его будущие одноклассники. Немного постояв, он собрался с духом и решительно открыл дверь. Внимание всех сразу переключилось на него.

Роль шута, представлявшего новичка обществу, взял на себя Вильгельм Штрюккер, знакомый по Бармену.

— Позвольте представить вам научное пополнение из городской школы Нижнего Бармена. «Энгельс и сыновья», кружева и хлопчатобумажные ткани, производимые паром! Серость несусветная, но молитвы учит усердно. Непонятно только, зачем понадобились еще Гомер, Цицерон и Гёте?

«Только не выходить из себя», — подумал Фридрих. Он снял фуражку.

— Почтеннейший привет высокообразованным господам гимназистам. А теперь позвольте пройти.

Вперед выступил долговязый парень.

— Но, малыш, разве тебе неизвестно, что войти в этот класс можно, только отдав дань своему повелителю и покровителю. А высокий совет класса решил, что твоим повелителем во время испытательного срока буду я, Петер Йонгхаус.

К такому приему Фридрих был готов. Он поклонился.

— Покорно склоняюсь перед Вашею светлостью и в знак моей верноподданнической преданности вручаю этот подарок.

В руках верзилы оказался маленький ящичек.

— Что это?

— Извольте открыть и посмотреть, Ваше светлейшество.

Йонгхаус открыл крышку и заглянул в зеркальце. Самодовольно улыбнувшись и пригладив волосы, он сказал:

— Принимаю подношение, как знак твоей верности, сын мой!

Фридрих с издевкой расшаркался.

— Стало быть, отныне Его светлость будет знать, как выглядит носорог!

Верзила опешил, а класс разразился дружным хохотом. Йонгхаус бросился на новичка, Фридрих увернулся. Лишь после третьей попытки ему удалось схватить своего «верноподданного». Схватить, но не повалить на пол. Дело так и окончилось ничьей, потому что вскоре раздался крик «Клаузен!», и все бросились по местам.

Фридрих остался возле двери. Он с большим нетерпением ожидал, когда войдет преподаватель немецкого и начнется его первый урок в гимназии.

В класс быстрой походкой вошел молодой человек. Под мышкой у него была стопка книг. Откинутые назад волнистые волосы открывали высокий лоб. Одет он был весьма небрежно, галстука не носил, из-под бархатного жилета выглядывал открытый ворот рубашки. Все это и отдаленно не напоминало привычной для Фридриха одежды учителя.

— А, наш новичок, — повернулся Клаузен к Фридриху.

Тот поклонился и назвал свою фамилию. На него внимательно смотрели большие светлые глаза.

— О ваших способностях к языкам ходят фантастические слухи. В четырнадцать лет оказаться в «секунде» — такого давно уже не было. Надеюсь, не меньшие успехи ждут вас и в родном немецком! У вас уже есть место?

— Да, рядом со мной, — сказал Йонгхаус.

— Что ж, самый младший рядом с самым старшим, не возражаю.

Преподавание ничем не напоминало скучных уроков немецкого в барменской школе. Здесь изучали историю немецкой национальной литературы. Сейчас проходили период после Тридцатилетней войны — не самый благодатный в истории отечественной словесности. Однако Клаузен умел тесно увязывать литературу с самой жизнью. Здесь не было сухого перечисления имен, названий, дат, как в Бармене, а была попытка понять дух времени, исходя из его литературных свидетельств. Фридриха поразило умение некоторых учеников во всем этом разбираться. Из высокопарного нагромождения стихотворных образов и метафор они без труда выводили доказательства роста бюргерского самосознания и национальной гордости.

Фридрих и сам всей душой стремился принять участие в разборе, но первая его попытка оказалась неудачной. Он перепутал даты, сбился и в конце концов вызвал общий смех. Чуть позже, на уроке истории, он убедился в том, что его познания в немецкой истории все же слишком недостаточны для того уровня, на котором проходят уроки Клаузена. Зато никаких трудностей он не испытывал на уроках древних языков. Во французском и естествознании он даже оказался среди лучших учеников. Однако кумиром класса да и всей школы был именно Клаузен. Помимо немецкого, он вел — так же занимательно — еще историю и географию, в которую включал и обширные сведения по этнографии. Кто отставал по этим предметам, считался в школе последним болваном и становился объектом постоянных насмешек.

Первым учеником в классе был Вильгельм Гребер, который вместе со своим младшим братом Фридрихом также жил в доме директора школы Ханчке. Их отец был главой протестантской общины в Гемарке. Он считался наиболее серьезным оппонентом Круммахера. Было приятно слушать, с какой уверенностью и находчивостью Вильгельм Гребер отвечал на любые, даже самые каверзные вопросы Клаузена, а иной раз позволял себе и вступать в спор с учителем. Несмотря на все усилия Фридриха подружиться с этим мальчиком, тот едва обращал внимание на своего нового соседа по дому. Ох, уж эта академическая заносчивость сыновей священников, ученых, чиновников! На каждом шагу Фридриху давали почувствовать, что сын коммерсанта может играть в духовной сфере лишь весьма и весьма второстепенную роль. В иные вечера, оставаясь в одиночестве в своей комнате в то время, как у братьев Греберов собирались их друзья и шумно, с большим знанием дела, красноречием и

эрудицией обсуждали запутаннейшие вопросы веры и совести, он с тоской вспоминал свою простую школу в Бармене, в которой пользовался всеобщим признанием. Упрямая воля заставляла его стремиться к тому, чтобы добиваться уважения и здесь. Ожесточенно вгрызался он в книги, милостиво предоставленные ему Йонгхаусом и Штрюккером. То были обыкновенные книги-шпаргалки, в которых давалась стройная и последовательная фактография, без всякого объяснения сути событий. Когда Вильгельм Гребер увидел его как-то с одной из таких книг, он презрительно поморщился. Вместо этой дребедени он рекомендовал ему только что вышедшую «Всемирную историю» Роттека. Фридрих попросил у Ханчке первый том из ее четырех томов и сразу был пленен этой книгой. Здесь вскрывалась причинно-следственная связь событий, анализировались внешние и внутренние мотивы, определявшие те или иные поступки исторических персонажей. История, таким образом, превращалась в театр, на сцене которого велась непримиримая борьба разных сил, за которой можно было следить с большой заинтересованностью и увлечением. Фридрих не успокоился до тех пор, пока не проглотил все четыре тома. Ход мировой истории вплоть до самых недавних событий немецкой политической жизни становился для него яснее. И предательство Пруссией освободительного движения, и альянс ее с континентальными деспотиями, призванный подавить проснувшееся самосознание наций, и народ, покорно терпевший иго, — таков был мир, в котором он, Фридрих, родился!

С некоторой односторонней увлеченностью отдался Фридрих этим занятиям — в ущерб другим предметам. Соответствующими оказались и отметки за полугодие, с которыми он отправился домой на пасхальные каникулы. Счастье еще, что отец уехал в длительную деловую поездку. Но мать, хоть и ни в чем не упрекала, казалась заметно разочарованной. Он хотел ей объяснить, что не в отметках дело, что за эти полгода он приобрел значительно больше, чем за те годы, что был в барменской школе отличником, но, увидев ее отчужденное лицо, не стал продолжать. Пообещал только, что исправится, и ушел к себе в комнату.

Подолгу сидел он у окна. Вупперталь, который когда-то казался таким огромным и прельстительным, теперь представлялся ему маленьким, ограниченным, узким. За окном шел дождь.

Наступила страстная неделя, время благочестия. Безумолку звонили колокола всех шести церквей округи, созы-

вая верующих на мессу или молитву. Мать с детьми каждый день ходила на богослужение. Фридрих ссылался на занятость и по возможности уклонялся от этого. Он наметил себе немало заданий на каникулы и с большим рвением засел за работу. Однако настоящего вдохновения не было. За какой предмет он ни брался, все казалось ему сухим, незначительным. Может, я и гожусь только на то, чтобы быть лавочником, с тоской думал он, и не в заоблачные выси науки надо мне соваться, а скромно изучать товароведение и конторские книги.

Читая «Мессиаду» Клопштока, он вдруг вспомнил о книге, которую ему подарил аптекарь. С беспокойством поднялся он на чердак. Книга, к счастью, была на прежнем месте.

«Фауст» Гёте... Клаузен не раз упоминал его. Вообще имя Гёте на его уроках упоминалось часто. Вся история немецкой литературы, по его мнению, делилась на три периода — до Гёте, при жизни Гёте и после смерти Гёте.

«Зачем мне Клопшток, зачем этот неперебродивший виноградный сок, когда существует благородное вино?» — рассуждал Фридрих.

Чтобы ему не мешали младшие сестры и братья, он забирался на чердак старого сарая у ограды сада. Устраивался у окошка, выходившего на двор фабрики, и медленно, строчка за строчкой, впитывал в себя книгу. И чем дальше читал, тем все больше захватывала его история Фауста, задуманная «безбожником» Гёте в юности и написанная в зрелые годы. То был гораздо более мощный герой, чем наивный рыцарь Нибелунгова гнезда, который только и умел что испытывать свою молодецкую силу и меч на злокозненных драконах и великанах. А Фауст бунтует против установленного богом мирового порядка! Это человек, пользующийся мощным оружием ума, духа. Это мятежник, который в своей страстной жажде познания истины не побоялся и самому всемогущему творцу бросить вызов.

Фридрих почувствовал, что в этой книге заключено куда больше, чем во всех других, им до сих пор без всякого выбора проглоченных. Трагедия Гретхен потрясла его так, что он долго после этого не мог продолжать чтения.

Как и в прежние годы, он подолгу и с большой задумчивостью смотрел на то, что происходило на фабричном дворе. Сколько же лет прошло с тех пор, как он там в последний раз побывал? Когда приезжал принц... Когда умер тот мальчик... Все это, казалось ему, было давным-давно. За это

время появилась на фабрике и вторая котельная, пристроенная к главному зданию. Устанавливали новые станки. Но дети работали по-прежнему. Фридрих подолгу смотрел на фабричный двор, надеясь увидеть ту девушку, сестру погибшего мальчика. Он пытался вспомнить ее лицо. Узкое, бледное лицо мадонны, испуганное, страдальческое... Но больше ничего вспомнить не удавалось. Очень уж похожи все эти девушки, занятые на фабрике, в своих серых платьях, с впалой грудью, согбенные, с потухшими глазами. Сохранялась ли в них хоть какая-нибудь индивидуальность? То неповторимое, что и делает человека человеком...

И вот в чистый четверг Фридрих увидел ее! Она шла по двору к красильне. Он крикнул, но шум паровой машины заглушал тут любой звук. Он вылез из окна, пробежал по плоской крыше склада, спрыгнул на землю и бегом помчался к красильне. Открыл дверь и будто попал в ад: смрад, чад, густые клубы вонючего пара. И здесь работали люди, да еще по двенадцать-четырнадцать часов в сутки! Десятник попытался уговорить его уйти, но Фридрих настоял на том, чтобы остаться. Он решил до конца выдержать эту адскую жару, вонь и чад. Глаза его постепенно привыкли к туману. Он направился в глубь помещения, к котлам, у которых работали красильщики. Девушка, которую он искал, исчезла в дальнем темном углу за грудой тканей. Но на какую-то долю секунды взгляды их встретились, и, кажется, она узнала его — узнала и испугалась. Фридрих, лавируя между котлами, бросился за ней, но она будто провалилась сквозь землю. Он снова вышел во двор. Там у двери стоял, прислонившись к стене, и жадно глотал свежий воздух какой-то парень его возраста. Рубаха на нем была расстегнута. Увидев Фридриха, он хотел было скрыться, но Фридрих удержал его.

— Подожди-ка!

Парень в нерешительности остановился.

— Ты знаешь фрейлейн Бартольд?

— Фрейлейн Бартольд? — Парень покачал головой.

— Я имею в виду сестру погибшего мальчика.

— А, Агнессу.

— Где ее можно найти?

Парень пожал плечами.

— Да она то здесь, то там — такая у нее работа.

— Ты мне можешь сказать, где она живет?

Парень недоверчиво взглянул на него.

— А зачем вам?

— Нужно.

— Она не из таких!

— Я хотел бы узнать, что стало с ее отцом.

Парень настороженно спросил:

— А чего ж вы не узнаете у своего отца или дяди?

— Они от меня это скрывают. А мать ее выздоровела?

Парень покачал головой. Он еще колебался, но выражение лица Фридриха его как будто убедило.

— Кольгартенштрассе, тридцать один, — сказал он и исчез.

Под вечер Фридрих отправился по указанному адресу. Ульрика выдала ему из своих запасов целую корзинку продуктов, а кое-какие сласти он купил по дороге. Миновав узкий дворик, вошел в ветхую лачужку и оказался в темном помещении. С лестницы на него с любопытством смотрели трое ребятишек. Фридрих спросил, где их мать. Девочка скрылась за дверью.

— Мама, — услыхал он ее взволнованный шепот, — к нам пришел какой-то молодой господин!

Он постучал в дверь и заглянул в полутемную каморку. У стены стояла кровать, на которой лежала бледная, исхудавшая фрау Бартольд.

— А, это вы, — слабым голосом сказала она.

— Доброго здоровья, фрау Бартольд. Я принес вам кое-что от мамы, которая вам кланяется.

— Подойдите, пожалуйста, поближе. Я, к сожалению, не могу встать. Лихорадка. — Она взглянула на корзинку. — Ваша мать — добрая женщина. Она каждую неделю посылает нам деньги, присылает врача. Я очень ей благодарна.

Фридрих тем временем незаметно огляделся. Он находился на кухне, превращенной в жилое помещение. В бедно обставленной комнате было сумрачно, два крошечных окошка выходили на север, в сторону Вуппера. Однако в комнате царили чистота и порядок. Это было трудно объяснить, но казалось, будто все здесь излучает теплоту.

Стараясь быть непринужденным, Фридрих, шутя и улыбаясь, стал раздавать детям сласти. Лед отчуждения вскоре растаял. Но, когда в комнату вошла Агнесса, он почувствовал себя беспомощным и смутился. Агнесса тоже заметно растерялась и хотела уйти. Мать обратилась к ней с успокаивающей улыбкой.

— Входи, входи, Агнесса. Молодой господин пришел к нам с добром. Он принес целую корзину еды от фрау Энгельс.

— Смотри, что он нам дал! — стали хвастать конфетами дети.

— Добрый вечер, фрейлейн... — произнес Фридрих, не зная, как к ней обратиться: Агнесса или Бартольд? Она хоть и была меньше его ростом и весьма хрупкого сложения, но в чертах лица ее, в больших, все понимающих глазах было что-то зрелое и чуть ли не материнское. Во всяком случае, она выглядела старше, чем он.

— Здравствуйте, господин Энгельс, — ответила она. — Стало быть, вы нас все-таки разыскали.

— Это было нетрудно.

— У вас тогда, вероятно, были неприятности из-за того, что вы помогли воровке?

— Пустяки!

Они помолчали. Взгляды их встретились. Фридриху кровь ударила в голову при воспоминании о том, какие были у нее глаза там, у хлебной лавки.

— Поблагодари же его хорошенько, поблагодари! — настаивала мать.

— Я не думаю, что он пришел ради этого, мама.

— Конечно, не ради этого, — согласился с ней Фридрих.

— Вы не откажетесь выпить с нами чашку чая, господин Энгельс? — спросила Агнесса.

— Да, да, пожалуйста! — подхватили дети.

— У него наверняка есть дела поважнее, — сказала мать.

— Нет, нет, вовсе нет, — возразил Фридрих.

Агнесса пододвинула к столу стул:

— В таком случае прошу вас.

Фридрих наблюдал за тем, как девушка проворно хлопотала у печи. Почувствовав его неотрывный взгляд, девушка обернулась и не без кокетства спросила:

— Так ради чего же вы все-таки пришли?

И снова Фридрих смутился и не нашел, что ответить, не придумал ничего вразумительного...

Придя домой, он узнал, что из Англии вернулся отец. Энгельс-старший был утомлен и не очень доволен: дела шли не так хорошо, как он надеялся. Отметки Фридриха не улучшили его настроение.

— Не слишком-то много оказал ты нам чести! — буркнул он и иронически взглянул на мать. Ему никто не ответил. — Ну да ладно, не так уж все это и важно.

Пронесло. Фридрих ликовал.

В этот погожий пасхальный день Фридрих удрал в горы. Его тянуло как можно дальше от города, от угрюмого вида отца, от покаянных грешников в церкви с их униженностью перед богом.

Фридрих был счастлив, как может быть счастлив только мальчишка пятнадцати лет, который все еще несокрушимо верит в то, что однажды завоюет мир, и который впервые в жизни — не подозревая об этом — влюблен.

Агнесса.

С нетерпением ждал он, когда прозвонят к обедне колокола на городской церкви. Наконец-то. Фридрих помчался вниз, в долину. На мосту он встретил шедшую ему навстречу Агнессу. Они, оба притихшие и настороженные, побрели сначала вдоль реки, потом стали подниматься по склонам. Наверху, у маленького озерка, было пустынно и тихо. Они, с трудом переводя дух после подъема, сели на лавочку. Помолчали, задумчиво глядя на воду. Первым заговорил Фридрих.

— Я знал, что ты придешь. Знал! Я всю неделю не мог ничего делать, все думал о тебе, Агнесса!

— А если бы я не пришла?

— Тогда я пришел бы к тебе!

Агнесса взглянула на него с улыбкой:

— Какой ты глупый! — Она встала и легкой походкой двинулась впереди него в лес, туда, где высоко в небе смыкались вершины елей, дробя солнечные лучи на мелкие блики и пятна. — Здесь я часто гуляла с отцом по воскресеньям, — сказала она. — Я тогда была совсем еще маленькой.

Фридрих молчал. Ему вспомнилась везельская башня. В Пруссии много тюрем. В одной из них томился ее отец, оторванный от своих близких.

— Тсс! — произнесла девушка, прислушиваясь. — Слышишь? Это сойка. — Она посвистела, и птица ей ответила. — С ними можно разговаривать, — произнесла она таинственным шепотом. И показала рукой на холм: — Вон там полно ежевики, а за холмом течет ручей, в котором водится форель. До чего же быстро она плавает, ну прямо как молния! Но отец все равно ловил ее руками.

Вдруг она обнаружила что-то в кустах:

— Хорек!

Фридрих слышал только возбужденный щебет птиц, но ничего не видел.

— Где? — спросил он.

— Да вон, вон, ты разве не видишь? Птицы его вовремя заметили, и он ни с чем возвращается восвояси. Не повезло ему.

— Ничего не вижу.

— Ты ходишь по лесу как слепой. Ну что ты вообще видишь! — тряхнула кудрями Агнесса.

Фридрих рассмеялся.

— О, многое. — И он стал напряженно всматриваться в лес. В кустах раздался треск сучьев. — Вот!

— Олень! — сказала Агнесса.

Фридрих покачал головой.

— Да ну, какой там олень! То скачет по лесу неуязвимый Зигфрид. Вот он все ближе и ближе. Вот его уже видно. Неужели не видишь? — Он указал рукой на заросшую кустарником ложбину под холмом. — Там внизу, в этом черном ущелье, живет ужасный дракон. К нему-то и направляется Зигфрид, доблестный витязь. Вот он пришпоривает коня. Он будет сражаться с чудовищем не на жизнь, а на смерть!

Агнесса недоверчиво посмотрела на него.

Фридрих показал рукой на ложбину:

— Смотри туда, туда!

Агнесса догадалась.

— Поможем ему! — со смехом крикнула она и помчалась в кусты.

Потом они долго сидели рядом на склоне горы, глядя в долину.

— Расскажи мне об отце! — попросил Фридрих.

О событиях в Эльберфельде Агнесса не могла рассказать ничего нового. Но что отец ее не совершал никакого преступления, что он даже и в мыслях не мог быть преступником — в этом она была уверена. Рабочий день у работавших на фабрике был долог. На неделе отец возвращался домой поздно вечером, когда они с братом уже спали. Рано утром, когда он уходил на работу, они только смотрели ему вслед, не решаясь вылезать из теплых постелей. Но по воскресеньям он принадлежал им. Они шли в лес, поднимались в горы. Каждое дерево и каждый куст получали свое название. Они учились различать птиц и подражать их голосам. И сколько же было радости, когда птицы им отвечали. В лесу было много ягод и грибов. И без вязанки сухих дров отец никогда не возвращался.

Ранние детские годы вспоминались ею как самые счастливые. Отец и мать были еще молоды и веселы. Отец

работал шлифовальщиком в Эльберфельде, получал достаточно. Родители копили на собственный маленький домик где-нибудь около леса. Они столько мечтали о нем, о кустах сирени возле калитки... В их маленькой комнатке всегда было тепло. По субботам мать возвращалась домой с покупками. Агнесса с братом с восторгом набрасывались на ее сумку, щупали и вскрывали каждый пакет, любовались колбасой, нюхали свежий ароматный хлеб. Каждому доставалось по куску сахара.

Потом у них появились младшие братья и сестры. Их, старших, мама стала брать с собой на фабрику. Втроем они зарабатывали почти половину того, что получал отец. Но внезапно мама заболела. Она не могла уже работать в полную силу. В то же самое время владельцы фабрики, на которой работал отец, продали ее. Новый владелец завел машины, и многие рабочие потеряли работу. Заработок падал от месяца к месяцу, пока деньги не перестали выдавать совсем. Вместо них появились талоны, на которые можно было отовариваться в скверных фабричных лавчонках. Кому не нравилась такая система, того на фабрике не держали. Чем расплачиваться с врачом, с аптекарем? На это ушли сбережения, а вместе с ними и мечты о домике. Собирать в лесу хворост также было запрещено. Улыбка сошла с лица отца, он становился все мрачнее и молчаливее. Однажды по фабрике Энгельсов разнеслась весть о том, что в Эльберфельде начались беспорядки. С большой тревогой поджидали они в этот день отца. В обычное время он не пришел. Не было его ни вечером, ни ночью. Утром ввалился полицейский, обыскал квартиру. Они узнали о том, что отец был арестован как один из зачинщиков. Первый приговор был еще сравнительно мягким: полтора года тюрьмы. Но потом дело было пересмотрено высшей инстанцией в Берлине. На рождество 1830 года пришла ужасная новость: девять лет заточения в кандалах. Потом это трагическое происшествие с Францем в котельной.

— После этого мама уже не вставала. Последний луч надежды мелькнул во время приезда наследного принца. Петиция. Ее составил аптекарь, — так Агнесса заключила свой рассказ.

Фридрих не решался взглянуть на нее.

— Петиция осталась без ответа? — тихо спросил он.

Девушка кивнула. Внезапно она резко повернулась к нему. В глазах ее был страх.

— Но об этом никто не должен знать, слышишь?

Никому не говори ни слова о том, что я тебе рассказала. У мамы были какие-то чиновники из Кобленца. Они ей угрожали, что если будет с кем-нибудь говорить об отце, то и ее посадят в тюрьму!

Фридрих озадаченно посмотрел на девушку. За что же? Значит, они боятся? Кого? Матушки Бартольд? Этих жалких бедняков? Правды? Бога?

Революции, да, революции они боятся — нашелся ответ. Он взял руку Агнессы.

— Ничего больше не бойся!

Девушка словно застыла. По щекам ее катились тихие слезы.

— Что мы сделали, за что бог наказывает нас? Что мы такого сделали?

— Это не бог, Агнесса, не бог. Это люди.

Они расстались только тогда, когда горы погрузились во тьму. Дома он сказал, что был у Рихарда Рота. С этих пор он стал больше внимания уделять одежде. С серьезным видом занимался перед зеркалом своей прической. Мама удивленно смотрела на него.

Он читал Агнессе «Фауста». Она сидела рядом на поросшем мхом камне и, широко открыв глаза, слушала. Он посвящал ее в размышления Фауста о жизни, в свои собственные сомнения относительно целесообразности мирового порядка.

— Почему ты так много думаешь о таких вещах? — с тревогой спрашивала девушка. — Эта книга... Разве можно так о боге, как говорится в ней? Почему не подчиниться тому, что от нас не зависит, что неизменно?

— В мире нет ничего неизменного.

— Мне страшно за тебя, Фриц.

— Не бойся.

— Такая книга...

— Это самая лучшая, самая великая книга, какую я когда-либо читал!

— И еще кое-что меня беспокоит. Господин Браке, ваш экспедитор, был у мамы, о чем-то шептался с ней, выспрашивал...

— Они ничего не знают.

— Но ведь узнают!

— А если даже и так! Никто мне ничего не сделает. Я сумею тебя защитить.

Однажды Агнесса с испугом показала рукой на кусты.

— Слыхал? Там кто-то есть!

— Глупости.
— Иногда мне кажется, за нами следят.
— Глупышка! Трусиха! — Фридрих достал из-за пазухи книгу, раскрыл ее. — Вот, прочти это место. Читай вслух!
Агнесса неуверенно взяла книгу.

Но перестань; не будем отравлять
Прекрасный этот час печальными речами.
Взгляни: уж солнце стало озарять
Сады и хижины прощальными лучами*.

В каждый из оставшихся дней каникул, а потом и в последующие воскресенья, приезжая из Эльберфельда, он подолгу просиживал у дяди Августа, у дяди Морица, в конторе у Дюрхольта, у других знакомых. Он переписывал бумаги или выполнял другую подсобную работу, всякий раз заранее оговаривая плату. Без денег он теперь не работал. О намерении усердно заниматься Фридрих, казалось, совсем забыл.

— Ну что, видали? Кто был прав? Прирожденный коммерсант, он еще всех нас заткнет за пояс, — услышал он однажды, как говорил про него отец своим братьям.

— Да куда он девает такую уйму денег? — со смехом спрашивал дядя Август. — Признайся, Фриц, зачем тебе столько денег? — приставал он к племяннику.

Фридрих молчал.

— Вот видите? Истый коммерсант с головы до пят, — говорил отец. — Скупает, должно быть, акции потихоньку у наших конкурентов.

Они не догадывались, даже не подозревали, куда он мог девать деньги. Удивлялись и почтовые служащие: откуда это у семейства Бартольд берутся вдруг средства, чтобы каждую неделю посылать арестанту в Магдебург посылки со всякой снедью. Фридрих встречался с Агнессой только по воскресеньям и далеко в лесу, где их никто не мог видеть. Он поднимался с ней на свой камень, или они брели рядышком вдоль лесного ручья. Только ради этих часов они оба и жили.

Так прошла весна, а за нею и лето. Отметки его постепенно улучшались. Однако Ханчке не раз заставал Фридриха за чтением ночью, когда положено спать, и это вызывало у него беспокойство.

---

* Перевод Н. Холодковского.

Учебный год Фридрих закончил успешно и радостно возвращался домой. В гимназии все еще смотрели на него как на выскочку, который всем обязан кошельку своего отца, а не собственным способностям. Изоляция от класса огорчала его, но мысль об Агнессе помогала коротать одиночество в доме Ханчке. А теперь и вовсе впереди были пять недель каникул, и он мог чаще видеться с девушкой.

Она с улыбкой опустила книгу. Фридрих стал рассказывать ей о дедушке из Хамма, об их прогулках по лесам и болотам, о веселом винограднике в Ксантене и о своих планах на будущее. Он рассказывал так долго, что утомился и незаметно заснул.

Агнесса положила его голову к себе на колени. Первая любовь. Нежные грезы, навеянные небесами в этом проклятом мире. Сон этот будет длиться недолго, нет, недолго, а потом последует пробуждение... Она это знала.

Фридрих очнулся, когда на небе были уже звезды. В неверном свете луны он увидел лицо Агнессы. Широко раскрытыми глазами она смотрела куда-то вдаль. Красота ночи на спящей земле и еще это лицо — только всемогущий бог щедрой рукой мог дать так много. Он будет любить ее всегда, всегда...

На мосту они прощались уже на рассвете, вместе с которым в долину проник холодный воздух, стало зябко, и все очарование волшебной ночи исчезло. У Агнессы были влажные глаза.

— Они разлучат нас! — прошептала она, и горькая складка легла вокруг ее губ.

Когда он, стараясь скрываться за деревьями, приближался к дому, ему на мгновение показалось, что за занавеской в спальне родителей мелькнула голова отца. Через заранее открытую дверцу подвала он проник в дом и стал осторожно подниматься по лестнице, каждую секунду ожидая, что его остановят. Однако он беспрепятственно добрался до своей комнаты. «Наверняка у отца хватало других забот, кроме слежки за мной — ведь завтра ему предстоит ехать в Кёльн, Кобленц и куда-то еще», — успокаивал себя Фридрих.

Бедная Агнесса, подумал он еще, ведь ей уже пора собираться на фабрику, а тут спи сколько хочешь, каникулы только начались...

Но едва он лег в постель, как в дверь постучали.

— Фриц, вставай! — услыхал он голос Ульрики.

— Почему вдруг в такую рань? — озадаченно спросил он.

— Тебе разрешили сопровождать отца в его поездке. Торопись!

Он вскочил на ноги. Сперва он очень обрадовался новым впечатлениям. Но потом вспомнил об Агнессе. Он быстро набросал ей несколько строк. Письмо он отдал Ульрике, попросил ее тайно его переправить. В гостиной его встретил веселый и бодрый отец.

— Ну, как ты находишь мою идею взять тебя с собой, мой мальчик?

— Идея неожиданная и великодушная.

— Для великодушия есть основания. Вчера я продал ваш карьер, «яму», железнодорожному обществу. Хочешь знать, с какой прибылью?

— Похоже. на сто процентов.

— А впятеро больше не хочешь?! Но это строго между нами, наследник!

В шутку, казалось бы, оброненное слово «наследник» отец понимал серьезно. В поездке он посвящал сына в самые тайные свои планы, в самые секретные деловые комбинации и связи.

Через Дюссельдорф, где у отца были дела, они проехали по рейнской дороге в Кёльн. Из Кёльна на пароходе отправились вниз по Рейну до Кобленца.

Чем дальше они продвигались на юг, тем веселее и оживленнее становился отец. Погода стояла великолепная. Справа и слева по берегам реки мягкой линией вздымались холмы, становившиеся все круче и круче. На холмах виднелись старинные замки и новые, белоснежные дворцы. Фридрих стоял рядом с отцом на верхней палубе и слушал его рассказы.

Отец рассказывал о делах. О долевом участии в манчестерской фирме Эрменов. Там, в самом сердце английской текстильной индустрии, два брата из богатой семьи, переселившейся из Голландии, приобрели старую фабрику.

— И вот с помощью моего капитала она теперь переводится на современную технологическую основу...

Кроме того, у отца были акции торговой фирмы в Брюсселе, да и в дюссельдорфском торговом регистре под его фамилией значилась небольшая посредническая фирма. На его деньги производится шелк в Савойе.

— На наши деньги, наследник, — поправился, довольно усмехаясь, отец и похлопал Фридриха по плечу.

Тот не мог в полной мере разделить его радостного настроения. Ведь такие дела, думал Фридрих, требуют много денег. И думать об этом было крайне неприятно — ведь необходимые средства отец сколачивал, нанимая на свою фабрику детей бедняков...

— Но о самом важном, — прервал отец его размышления, — о самом важном ты узнаешь на обратном пути.

В Кобленце у Фридриха была целая неделя для знакомства с городом и окрестностями. Отец с утра до вечера был занят делами. Возвращался в гостиницу поздно вечером усталый и, немного перекусив, сразу ложился спать. В последний день он заметно повеселел.

— Так, — сказал он, потирая руки, — теперь все препятствия устранены. — И он заговорщицки подмигнул Фридриху. — Можно начинать игру.

— Ты о своем самом важном деле? — спросил Фридрих.

— Потерпи еще пару дней. Потом все расскажу.

В Кёльн пароход пришел поздно ночью. Портье в гостинице «У кронпринца» принял их, учтиво кланяясь. Их ждали две комнаты на втором этаже.

— Спи, сколько хочешь, наследник! Завтра у меня дел по горло на весь день, а ты можешь познакомиться с городом.

Познакомиться с городом? Да на осмотр одного громадного собора, стоявшего еще в лесах, ушло бы дня три, не меньше.

День прошел быстро. А на следующее утро его разбудили рано. Еще на рассвете они выехали из города в западном направлении. По крутой дороге взобрались на холм. Мимо тянулись маленькие, бедные деревеньки. Лошадь, специально отобранная отцом для этой поездки, с трудом тянула по жаркой, пыльной дороге. Наконец, они покатили вниз. Вскоре их окружил густой лес. Дорога пошла под откос. Затем показалась и очаровательная долина. Отец велел остановиться.

— Это Аггерталь, — сказал он, показывая рукой вдаль, где над купами зеленых деревьев высился шпиль деревенской церкви. — Там цель нашего путешествия — Энгельскирхен.

— Энгельскирхен?

Отец кивнул.

— Энгельскирхен. Отсюда, по преданию, происходят Энгельсы. Четыре века назад, в годы Реформации, они были вытеснены отсюда папистами за их веру. Так рассказывал твой дед. Допустим, что это правда. Стало быть, двенадцать

поколений спустя их праправнуки возвращаются в родные края, для того чтобы обосноваться здесь навечно.

Через полчаса отец остановил экипаж на выезде из католической деревни. Из дорожного ларца он вынул рулон пергамента. Показывая рукой на луга вдоль реки, на которых мирно паслось несколько коров, он сказал:

— Я купил эти земли. Скоро здесь появятся первые корпуса будущего текстильного предприятия «Эрмен и Энгельс». «Эрмен и Энгельс» объединит Англию и Германию. Современные английские машины, лучшее в мире сырье из-за океана плюс немецкое усердие, немецкая старательность, немецкое ремесленное мастерство.

Отец воодушевился, заговорил с азартом. Фридрих разглядывал долину. Он видел низенькие крестьянские домишки, жавшиеся к дороге. И пока отец говорил, Фридрих представлял себе, как вскоре все здесь переменится.

— Господа мои братья не раскусили преимуществ этого дела. Они согласны довольствоваться тем, чтобы всю жизнь конкурировать на нашем жалком внутреннем рынке. Разве что подвернется какая-нибудь случайная сделка за границей — этого с них и довольно. Они не понимают, что нужно мыслить совершенно иными категориями, если хочешь преодолеть нашу немецкую ограниченность, мешающую нам выйти на мировой рынок с его великими возможностями.

Ночь они провели в единственной комнате для проезжающих в местном трактире. Крестьяне, сидевшие в зале и потягивавшие винцо, смотрели на них не очень-то дружелюбно. В комнате отец на столе и кроватях разложил рисунки будущей фабрики, парка, жилого дома. Размах проекта поразил воображение Фридриха. Он вспомнил о том, какими взглядами проводили их крестьяне.

— Такая фабрика и в такой глуши? Что скажут местные жители? Ведь коренным образом изменится вся их жизнь.

— Ты прав, мой мальчик! Противников у нас немало. Прежде всего местные помещики, зажиточные крестьяне, да и власти. Но мы преодолеем любые препятствия. В конце концов мы дадим беднякам работу и хлеб. — Отец показал рукой на проспекты и воскликнул: — «Энгельс и Эрмен» — это будущее! А перед ним никто не устоит. Вторая фабрика будет стоять в Англии, в самом центре современной текстильной промышленности, там, где будущее уже стало настоящим, — в Манчестере. Мы будем принимать долевое участие в грандиозном английском бизнесе. Из Манчестера к нам потекут капиталы, необходимые для того, чтобы воз-

двигнуть здесь, в прусской глухомани, самое современное текстильное предприятие в Германии.

Хозяйка трактира принесла еду и питье в комнату. Было похоже, что она уже хорошо знала отца. С большим любопытством она разглядывала рисунки, обо всем расспрашивала. Когда начнется строительство, сколько человек будет занято на фабрике, стоит ли строить здесь настоящую гостиницу? Отец отвечал сдержанно и немногословно. А сам использовал ее словоохотливость для того, чтобы узнать о настроениях среди местного населения, о своих союзниках и противниках. Когда женщина ушла, он заговорил о деталях. Он уже отобрал немало рабочих семей, которые намерен был взять с собой из Вупперталя. Жить они будут в поселке на той стороне реки. Подумывал он уже и о строительстве евангелической церкви и школы.

Постепенно загорелся и Фридрих. Он стал дополнять прожекты отца своими собственными предложениями, и отец говорил, что над ними стоит подумать.

Вино стало оказывать свое действие. Будущая фирма приобретала все более смелые и фантастические формы, вырастала в некую международную империю с собственными плантациями хлопка в Египте, зафрахтованными кораблями, с торговыми конторами, агентствами, предприятиями...

Было далеко за полночь, когда отец в последний раз наполнил до краев бокалы.

— Теперь ты понимаешь, — спросил он, — для чего ты мне нужен? Я вовсе не собираюсь посадить тебя за конторку в Нижнем Бармене, чтобы ты там киснул всю свою жизнь рядом с каким-нибудь дядей Каспаром. Ты нужен мне как помощник в грандиозном деле. Ты будешь представительствовать в Лондоне, в Париже, будешь проворачивать большие дела на биржах Амстердама и Брюсселя, будешь защищать наши интересы в Манчестере. Вот каково твое будущее! Будущее, о котором все твои сверстники, каких бы распрекрасных академических или теологических титулов они ни удостоились, могут только мечтать.

Фридрих посмотрел отцу в глаза. В голове его все ходило ходуном, и не только от вина. Перед ним вдруг распахнулся совершенно иной мир. Он манил путешествиями, смелыми предприятиями, покорением неизвестного. И тут он вспомнил об Агнессе, своей любви. Если он будет коммерсантом, деловым партнером отца, то кто сможет запретить ему соединить с ней жизнь?

— Стало быть, по рукам? — спрашивал отец. — Очень даже возможно, что общая цель объединит нас. Отец твой, может, не меньше твоего страдает от социальной несправедливости и политических неурядиц в нашей стране. Но он коммерсант и всегда ищет практические пути улучшения существующего положения вещей. А всякую абстрактную болтовню о переделке мира и прочую утопическую фразеологию он не ставит и в грош. — От возбуждения отец даже вскочил и забегал по комнате. — Миллионы рабочих рук в этой стране пропадают, не используются должным образом из-за отсталости нашей технологии во всех областях. Точно такая же по объему рабочая сила приносит в Англии баснословные дивиденды. Если у нас будут высокоразвитая индустрия и выход на мировой рынок, то все другие проблемы — политического и социального характера — решатся сами собой.

— Я еще никогда не слышал, чтобы ты так говорил, отец! — воскликнул Фридрих.

— Ну так, стало быть, тебе пора со мной познакомиться! — Отец подошел к столу, взял в руки бокал. — Выпьем за будущее!

Фридрих чокнулся с ним. Позже, засыпая, он видел перед собой лицо дедушки ван Хаара. Оно удалялось куда-то в бесконечность, как когда-то в детстве лицо господа бога. Об Агнессе надо мне думать, дедушка, ты пойми, об Агнессе! Но лицо деда ничего не выражало. А потом и вовсе пропало где-то в дальних облаках...

По возвращении Фридрих с большим нетерпением ждал в воскресенье условленной встречи с Агнессой. Ему надо было сообщить ей столько нового! Он прождал час, а потом и еще один. Она не пришла. Встревоженный, отправился он в Гемарк. На Хойбрухштрассе стояла тележка. Грузчики выносили скарб из дома, в котором находилась лавка Кукоша. Фридрих с любопытством подошел поближе. Что это? Витрина была пустой. Кто-то снимал уже и вывеску. Фридрих вошел во двор. Тут он увидел маленького человечка, который укладывал в ящики свои книги.

— Вы переезжаете, господин Кукош?

Книготорговец поднял голову и, кисло улыбнувшись, кивнул.

— Да, друг мой. Только вот не знаю пока куда. Город лишил меня права продавать здесь книги.

Фридрих растерянно смотрел на него.

— Как же это случилось?

— Да так, как и следовало ожидать.
— Но против этого нужно протестовать.
— Какое там. Господин Круммахер и Каллиопа, муза поэзии, средневековая набожность и современная литература — они на дух не выносят друг друга. — Кукош вынул из ящика книжку. — Не эту ли книгу вы купили у меня в первый раз?
Фридрих сразу узнал ее:
— Неуязвимый Зигфрид. Я с удовольствием куплю ее у вас еще раз. Моя за это время пропала.
— Продавать книги мне запрещено. Я дарю вам ее.
Фридрих с благодарностью принял подарок.
— Желаю вам счастья в другом, лучшем городе.
— Такой город трудно найти на немецкой земле. Но искать мы привыкли.
Фридрих, простившись, поспешил дальше — в квартал бедных, на Кольгартенштрассе. Миновав узкий двор, он подошел к заднему домику. Двери были открыты. На знакомой кухне его встретили голые стены... По лестнице спускалась древняя старуха.
— Скажите, Бартольды переехали?
— Да уж больше недели. Приехала тележка, и они погрузились. Прямо среди ночи.
— А куда?
— Куда? Не вы первый спрашиваете. Да только никто не знает куда. Никто не знает.
Фридрих, запыхавшись, прибежал домой и первым делом бросился на кухню.
— Ты на самом деле отнесла письмо на Кольгартенштрассе? Это точно? — стал осаждать он Ульрику.
— В первый же вечер. Как я тебе и сказала. И как мне малышка сказала, так я тебе и передала: в воскресенье, на мосту.
— Они исчезли, Ульрика. Как сквозь землю провалились! И никто не знает куда.
— Об этом она ничего мне не говорила. Ни слова. Но, может, городской священник что-нибудь знает. Они ведь принадлежат к общине униатов.
Дядя Мориц принял Фридриха очень любезно, но сразу как-то насторожился, когда Фридрих сказал, зачем он пришел. Да, он знает, куда они переехали. Это очень далеко от Вупперталя, это вообще не в Пруссии.
— Я не имею права говорить тебе это, Фриц. Уверяю тебя только в одном — и ты можешь поверить своему дяде,

что так оно и есть — все было сделано во благо этой семьи. И господь бог отблагодарит твоих родителей за их добросердечие.

Родители, стало быть, знают, все знают! И они все сделали — «во благо этой семьи»! Это подозрение терзало душу Фридриха всю обратную дорогу. Вспоминалась последняя встреча с Агнессой, ее страх перед разоблачением, ее подозрения, что за ними в лесу наблюдают, тень за занавеской в спальне, внезапное решение отца взять его с собой, его дружеское расположение — все это, значит, подлый обман, дешевая игра, нужная для того, чтобы разлучить его с Агнессой...

— Где мать с отцом? — спросил он Германа, который играл перед домом.

— По-моему, у себя, Фриц.

В самом деле, родители сидели за чаем. Решительное обвинение, которое Фридрих выпалил им в лицо, ничуть их не смутило. Отец даже рассмеялся.

— Вот видишь, я был прав. Наследник и юная дева из обслуживающего персонала. Старая история. Но чтобы это оказалась именно малышка Бартольд...

— Куда вы ее подевали? — закричал Фридрих.

— Прежде всего успокойся! — приказала мать. — Мы тебе все объясним. Но место их пребывания мы тебе назвать не можем.

— Объясните! Знаю я ваши объяснения. Но вы заблуждаетесь, если думаете, что всего можно добиться деньгами. Вам не удастся нас разлучить. Я найду ее! Даже если вы загнали ее на край света!

Он почувствовал, что вот-вот разрыдается, и, чтобы скрыть от родителей слезы, хотел убежать из комнаты. Но мама преградила ему путь. Неожиданно она влепила ему крепкую пощечину. Потом схватила его за руку и усадила на стул.

— А теперь выслушай нас! — гневно сказала она.

Отец подошел к двери и запер ее на ключ.

— Мы должны были помочь фрау Бартольд перебраться через границу, — говорила мама. — То самое прошение, которое составил ей аптекарь, попутешествовав по инстанциям, докатилось до министра внутренних дел. Против его отправительницы было возбуждено дело. Заступничество за государственного преступника.

Фридрих побледнел.

— Мама узнала об этом от дяди Морица на следующий

день после нашего отъезда, — продолжал отец. — И она успела переправить семью Бартольдов в безопасное место.

— Это правда? — пробормотал Фридрих. Он беспомощно переводил глаза с одного на другого.

Мать достала из своего ридикюля какое-то письмецо.

— Вот прощальное письмо Агнессы. Прочти его здесь, а после этого мы его уничтожим, — сказала она, несколько смягчившись.

Он дрожащими руками вскрыл письмо. «Милый мой Фридрих! Нам не суждено больше свидеться. Твоя мама обо всем тебе расскажет. Она так добра к нам, и мы все ей очень благодарны. И тебе тоже! Ах, мой милый, ты подарил своей глупышке Агнессе самые дивные воскресенья в ее жизни! Я не забуду их до конца жизни! Прощай! Прощай! Агнесса».

— Простите меня, — прошептал Фридрих и отдал матери письмо, которое она сожгла в камине.

Он неподвижно смотрел на быстро умиравший огонь. Обуглившийся остаток бумаги свернулся в трубочку. Он поднялся, вышел из комнаты и медленно поплелся к себе. Возмущение буквально душило его. Вытащив из своего ранца учебник истории, он стал выдирать из него все портреты прусских королей, все гербы Гогенцоллернов, бранденбургских орлов и стал рвать все это на мелкие клочки и бросать на пол. Он выл от бессильного гнева. Но потом вдруг в душе его воцарилось жуткое спокойствие. Тела своего он больше не чувствовал. Даже мысли его как будто замерли. Высохли слезы.

Все, детство кончилось, подумал он. Пора подводить черту.

Начался новый учебный год.

Фридрих равнодушно занял свое место рядом с классным великаном. Расписание уроков почти не изменилось. Снова первым в класс вошел Клаузен. На этот раз стопка книг, которую он держал под мышками, была больше обычного. Он велел раздать их. Йонгхаус немедленно вырвал одну для себя. Фридрих заметил, что это была первая часть «Фауста», и сердце его забилось сильнее.

Учитель поручил Вильгельму Греберу, первому ученику класса, прочесть вслух диалог Фауста с Мефистофелем в кабинете Фауста.

В любом наряде буду я по праву
Тоску существованья сознавать, —

читал он ужасно, без выражения, монотонно. А когда дошел до слов:

Я слишком стар, чтоб знать одни забавы,
И слишком юн, чтоб вовсе не желать*, —

класс захихикал.

— Довольно! — нетерпеливо оборвал его доктор Клаузен. Он взволнованно пошел по рядам.

— Век величайшей революции! — воскликнул он. — Мир потрясен в самом своем основании! И только в раздробленной Германии все осталось по-прежнему. А в одном из ее карликовых княжеств живет придворный вельможа, лояльный верноподданный, которого пугают раскаты революции, — это господин фон Гёте! Но он не только вельможа, он прежде всего поэт! А поэт не может быть безразличен к идеям века просвещения и народного суверенитета с его формулой «Свобода! Равенство! Братство!». И только так, только благодаря этому он смог стать крупнейшей фигурой своего времени. Куда бы он ни бежал — на природу, в Италию, на овеянную романтическим ореолом виллу Боргезе, неумолимые проблемы эпохи, до которых нет дела вельможе, — преследуют гения, которого они сформировали и от которого требуют дани. И какую бы тему ни избрал Гёте, как бы далеко ни завела его фантазия, поэт в нем снова и снова восстает против тайного советника. И он производит на свет то, перед чем ужасается, как перед народными трибунами Конвента, производит духов революции! Союз с дьяволом — так воспринимает собственное творчество министр, теряющийся перед тайной и буйной силой собственных творений. Такова его судьба, такова трагическая разорванность его души, — и в этом «Фауст»! Это вам не средневековые приключения с их занимательными похождениями... Но о чем я толкую? Какой смысл в моих речах, если самой поэзии не удается прошибить ваши вуппертальские черепа, зажечь в них хотя бы крошечный светильник! — Он со вздохом опустился на свой стул. — Итак, кто из вас решится прочесть монолог Фауста?

Фридрих смотрел на товарищей. Под впечатлением речи Клаузена они потупились и притихли. Никто не отваживался подвергнуть себя его хлесткой критике. И тогда Фридрих поднял руку. Учитель удивился:

— Наш малыш из Нижнего Бармена? Что ж, по крайней

* Здесь и далее стихи Гёте даются в переводе Б. Пастернака.

мере мужество у вас есть, Энгельс. Итак, Нижний Бармен против Эльберфельда! Да будет так!

Фридрих встал. Перешептывания и шиканья вокруг ему не мешали. Он теперь ясно представлял себе главный конфликт «Фауста». То, что он до сих пор лишь смутно ощущал, после объяснений темпераментного учителя открылось его сознанию со всей отчетливостью. Неистовый порыв Фауста, изображенного в этой сцене, Фауста, рвущегося из оков тесного мира на свободу, разорванность этой великой души, продирающейся сквозь тернии к свету и не могущей окончательно сбросить опутывающие ее цепи и кандалы, — все это было и его, Фридриха, состоянием.

Сосед по парте Йонгхаус с ухмылкой подсунул ему раскрытую книгу. Фридрих захлопнул ее. Он прочитал монолог наизусть.

В любом наряде буду я по праву
Тоску существованья сознавать.
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы,
И слишком юн, чтоб вовсе не желать.

В классе больше никто не смеялся. Все как завороженные, смотрели на Фридриха. А он этого даже не замечал — настолько был погружен в свои мысли. Ах, каким счастливым ребенком я жил в этом мире, грелся в солнечных лучах, любил всех людей и с бесконечным доверием к богу взирал на небеса! Что от всего этого осталось?

Что даст мне свет, чего я сам не знаю?
«Смиряй себя!» — вот мудрость прописная,
Извечный, нескончаемый припев,
Которым с детства прожужжали уши,
Нравоучительною этой сушью
Нам всем до тошноты осточертев.

Что стало с тобой, Месолонгион? Там, где герои сражались за свободу, теперь наживаются торговцы и ростовщики. А былые рыцари Германии — разве не вбирают они пугливо голову в плечи, завидев жандармских сатрапов?

Я утром просыпаюсь с содроганьем
И чуть не плачу, зная наперед,
Что день пройдет, глухой к моим желаньям,
И в исполненье их не приведет.

Намек на чувство, если он заметен,
Недопустим и дерзок чересчур:
Злословье все покроет грязью сплетен
И тысячью своих карикатур...

О вы, Зигфрид, храбрый Сид, рыцарь Буйон, божественный Ахилл, благородный Одиссей, вы, научившие меня искать лучший мир, да жили ли вы когда-нибудь?

О, если мне в тот миг разлада
Был дорог благовеста гул
И с детства памятной отрадой
Мою решимость пошатнул,
Я проклинаю ложь без меры
И изворотливость без дна,
С какою в тело, как в пещеру,
У нас душа заключена.
Я проклинаю самомненье,
Которым ум наш обуян.
И проклинаю мир явлений,
Обманчивых, как слой румян.
И обольщенье семьянина,
Детей, хозяйство и жену,
И наши сны, наполовину
Неисполнимые, кляну.
Кляну Маммона, власть наживы,
Растлившей в мире все кругом,
Кляну святой любви порывы
И опьянение вином.

Где ты, Агнесса? Куда они тебя отправили? Разве не привилегия любви предаваться совместным мечтам целую жизнь? Нам же было отпущено всего несколько воскресений.

Я шлю проклятие надежде,
Переполняющей сердца,
Но более всего и прежде
Кляну терпение глупца.

Монолог окончен. Окончено и мое детство. Передо мной новый мир, который встречает меня недоверчиво и враждебно, как выскочку и чужака. Станет ли этот мир моим?

Класс секунду молчал, а потом взорвался аплодисмента-

ми. Доктор Клаузен подскочил к нему, схватил за плечи.

— Да! — вскричал он. — Да! Вот так и нужно читать!

Гигант Йонгхаус в знак признания стукнул его своим кулачищем по плечу. Первый ученик Гребер пожал руку. И в этот момент Фридрих простил им то, что раньше они задавались. Он чувствовал, что эти ребята поймут его. Вместе стремиться к тому, чтобы овладеть всеми сокровищами науки, духовного знания, опыта, оставленного им самыми выдающимися умами человечества, — это ли не высокая цель? Вот мир, по которому он тосковал. Счастливое чувство общности овладело им — он был принят!

На ближайшую встречу друзей Вильгельм Гребер пригласил к себе и его. Собравшиеся встретили его так, будто он всегда входил в их кружок. Спор шел о главной теме года, занимавшей ведущие умы Эльберфельда, о распре внутри пиетистской общины: Круммахер против Коля и Германа. Да, тот самый Круммахер — Фридрих Вильгельм. Провидению было угодно отправить его вслед за Энгельсом из Бармена в Эльберфельд. Как и в Бармене, он стал рьяно насаждать здесь свой догматический обскурантизм, наталкиваясь на сопротивление более умеренных коллег. И здесь он навербовал немало последователей среди необразованной мелкой буржуазии, среди ремесленников, торговцев, ткачей, старух домохозяек. Местные пасторы, все завзятые кальвинисты, но, на взгляд Круммахера, недостаточно ортодоксальные, выступили как могли против него, и немедленно разразилась священная война за монопольное право на истинное учение. И, естественно, сыновья пасторов еще больше раздували огонь этой распри.

Как униат и непрофессионал, Фридрих воздерживался от того, чтобы вмешиваться в теологический спор. Но на него произвело впечатление то, с какой страстью и с каким остроумием аргументировали свои утверждения братья Гребер. Оба апологета Круммахера, Штрюккер и Вурм, вынуждены были в конце концов признать справедливость продуманных аргументов Вильгельма Гребера.

После диспута Вильгельм зашел к Фридриху. Они выпили по бокалу вина из подвалов отца Фридриха, откуда он прихватил с собой некоторый запас для торжественных случаев. Сердце его было переполнено, и он не удержался, чтобы не рассказать старшему товарищу об Агнессе. Тот выслушал рассказ с сочувствием и пониманием. Около полуночи они расстались друзьями.

Фридрих еще долго не мог заснуть. Думал он о творце,

который дал человеку не только сердце для страданий, но и силу духа, и упрямую волю, позволяющую выносить эти страдания. Он чувствовал себя примиренным с собственной судьбой и обещал себе больше не роптать, а запастись впредь Христовым терпением.

Положение Фридриха в школе изменилось. На уроках Клаузена он теперь играл заметную роль. Его сочинения хвалили. Никто больше не смеялся, если он и делал ошибки. Без особых усилий с его стороны улучшились отметки и по другим предметам. Мать бывала очень довольна, когда он по воскресеньям показывал ей свой дневник, да и отец нахваливал, наезжая из Энгельскирхена, где он все больше пропадал. Приближалось рождество, и настроение было хорошим.

Но тут произошло событие, снова взволновавшее гимназистов. Незадолго до рождественских каникул на последний урок грамматики всегда доброжелательный Клаузен пришел весьма серьезным. Кто-то из классных заводил зажег две свечи, чтобы напомнить учителю, что в канун рождества не следует мучить их грамматикой.

— Потушите свечи! — распорядился Клаузен. — Рождество еще не наступило! Боюсь вообще, что праздник любви и надежды в этом, тысяча восемьсот тридцать пятом году будет у нас достаточно мрачен. Да я и не собираюсь мучить вас сегодня грамматикой.

Он вынул из кармана изящную книжечку с золотым обрезом и стал читать:

Из слез моих много родится
Роскошных, пестрых цветов.
И вздохи мои обратятся
В полуночный хор соловьев.

Дитя, если ты меня любишь,
Цветы тебе подарю,
И песнь соловьиная встретит
Под милым окошком зарю*

Класс затаил дыхание. Клаузен листал книжечку.

Ты, как цветок весенний,
Чиста, прекрасна, нежна.

---

* Перевод А. Фета.

Смотрю на тебя, и грустью
Душа моя смущена.

И просится невольно
Молитва на уста,
Чтоб ты всегда оставалась
Нежна, прекрасна, чиста*.

Он читал стихотворение за стихотворением, больше четверти часа. Стихи, полные чудесной простоты, проникали прямо в сердце. А когда он под конец захлопнул книжку и прочитал наизусть:

Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена...**, —

каждый знал, какого поэта он им читал, и имя «Генрих» зашелестело от парты к парте.

— Правильно, Генрих Гейне! — подтвердил Клаузен. — Мне неизвестно, сколько немцев знакомы с его стихами. Но мир их знает. Ни одного немецкого поэта не переводили так много на иностранные языки еще при жизни. Имя Гёте тоже известно всему миру. Но кто хочет узнать, о чем думают современные немцы, о чем они мечтают, что составляет суть их характера, тот должен читать Гейне. Стихи его звучат на всех основных языках мира. В Париже их распевают на улицах, в Лондоне декламируют у камина, их можно услышать и под южным небом Италии. Даже в Индии читают Гейне, а недавно его томик вышел в Японии. Он наш земляк, поскольку родился всего в нескольких километрах отсюда, в Дюссельдорфе. Вы можете им гордиться. Каждый немец может им гордиться, потому что он завоевывает для нас симпатии в мире больше, чем все немецкие дипломаты, вместе взятые.

Учитель занял свое место и вынул из кармана газету. Изменившимся голосом он произнес:

— Несколько дней назад, десятого декабря, немецкий Союзный сейм принял постановление, касающееся молодой немецкой литературы. — Он протянул газету Фридриху. — Прошу вас, Энгельс, прочтите!

Фридрих подошел к кафедре. На газетном листе среди других деловых и ведомственных сообщений было одно,

---

* Перевод В. Разумовского.
** Перевод В. Левика.

помеченное карандашом. Он прочитал: «Поскольку в последнее время в Германии образовалась литературная школа, получившая известность под названием «Молодая Германия» или «Молодая литература», и поскольку идейные усилия этой школы совершенно неприкрыто направлены к тому, чтобы в беллетристических сочинениях, доступных всем слоям читателей, самым предерзким образом хулить христианство, подвергать уничижению существующие социальные отношения и наносить ущерб всякой нравственности и морали, немецкий Союзный сейм постановляет следующее: I. Все немецкие правительства обязуются неукоснительно применять по всей строгости существующее в их землях законодательство против авторов, издателей, владельцев типографий и распространителей сочинений, выходящих из-под пера участников группы «Молодая Германия» или «Молодая литература», к которой относятся Генрих Гейне, Карл Гуцков, Генрих Лаубе, Людольф Винбарг и Теодор Мундт; те же меры должны применяться к лицам, осуществляющим подобные публикации в прессе или содействующим их распространению посредством книготорговли, публичных библиотек и прочими способами...»

Класс бурно протестовал. Гребер предложил читать стихи Гейне на их вечерних собраниях, чтобы самим составить себе представление о его действительной «безнравственности». Клаузен согласился при условии, что при этом не будут забыты и другие современные поэты. Каждый должен был читать то, что ему больше всего по душе. У Ханчке удалось добиться разрешения, чтобы эти поэтические собрания происходили в просторном вестибюле гимназии.

Они начались сразу после рождества. Лирика вызывала всеобщее воодушевление. А учеников «секунды» будто охватила поэтическая лихорадка.

Приближалось время конфирмации. Фридриха взял под свое покровительство друг и коллега дяди Снетлаге добродушный пастор Лейпольд.

— Да что уж там, чего там учить, друг мой, ты и так все знаешь, — прошепелявил он на своем ахенском диалекте.

На конфирмации Фридриху выпала роль козыря униатов, поэтому он должен был идти последним. По старому обычаю опрос проводился в церкви при стечении народа. Каждый имел право задать вопрос конфирманту. Фридрих не поверил своим глазам, когда среди присутствующих увидел вдруг пастора Круммахера, старого противника Снетлаге. Пресловуто знаменитому проповеднику немедленно

освободили почетное место в комиссии между священником и директором городской школы.

Наконец вызвали Фридриха. Он оказался, таким образом, лицом к лицу с человеком, который отравлял жизнь его дяде. «Только ни в коем случае не выказывать никакого волнения!» — уговаривал он себя. Он прямо, с некоторой бравадой смотрел на членов комиссии, чувствуя себя чуть ли не миссионером. Так, вероятно, стоял когда-то Иисус перед первосвященником Иерусалима, возвещая приход бога любви. Ни один из вопросов, относившихся к истории религии, не возбудил интереса Круммахера. Но вот кто-то из учеников дяди Морица спросил о путях достижения милости божьей.

— Я должен постоянно спрашивать свою совесть и поступать в соответствии с ее указаниями. Иисус говорит: «Добрый человек производит добро, черпая из сокровищницы сердца своего», — ответил Фридрих.

На подиуме ожидали, что он продолжит свою речь. Фридрих знал, чего они ждут. Вера — вот наипервейшая и важнейшая предпосылка того, чтобы принадлежать к избранным. Но поскольку здесь присутствовал Круммахер, который утверждал, что сам человек не может даже желать добра, не говоря уже о том, чтобы его делать, Фридрих свел ответ к установлениям совести. Желваки Круммахера заработали.

— Не сюда ли относится и безусловная вера? — Это дядя Мориц решил выручить Фридриха.

— Вера в справедливость господа облегчает христианину обретение правильного пути.

Тут-то и вступил Круммахер.

— Не хочешь ли ты сказать, что путь к свету господнему может открыться и неверующему?

— Иисус умер за всех людей. Но не всем дано его слышать. Разве они за это обречены на проклятие?

— Да, сын мой, навеки. Ибо лишь немногие избраны милостью божьей. «Итак, помилование зависит, — говорит апостол Павел, — не от желающего и не от подвизающегося! Только вера открывает человеку путь к милосердию божьему». «А без веры угодить богу невозможно» — так говорится в «Послании к евреям».

— Однако Иаков говорит:

«Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».

По рядам слушателей пронесся сочувственный шепот. Дядя Мориц закончил опрос, довольно улыбаясь. Круммахер удалился с сердитым лицом.

Экзаменационная комиссия установила у Фридриха серьезное рвение к святой истине и превосходное знание писания. Похвала немалая, и родители были польщены.

Но самый акт конфирмации разочаровал Фридриха. Впервые принимая причастие, он надеялся испытать тот священный трепет, о котором постоянно упоминалось в Катехизисе. Но вино в кубке было водянистым и кислым, и кто-то из мальчиков, пригубив его, скроил такую рожу, что Фридрих лишь с большим трудом сдержал смех. О священном трепете, о приливе новых духовных сил не могло быть и речи. Не дождался Фридрих и непреложного знака бытия небесного отца, на который с надеждою уповал. Бог молчал.

«Может, он пренебрегает мной? Может, прав предводитель кальвинистов Круммахер, и перед всевышним нужно ощущать себя последним и ничтожнейшим червем?» Фридрих начинал сомневаться в собственном верном понимании Священного писания. Он казался себе отвергнутым, отринутым, одиноким. Но тут он поднял голову, и сердце его возликовало. Вверху, на балюстраде, рядом с отцом и дядей стоял дедушка ван Хаар!

Старик не отказал себе в удовольствии поприсутствовать на конфирмации любимого внука и приехал как раз вовремя.

Ему единственному мог он доверить свои сомнения!

Уже на следующий день Фридрих отправился с дедушкой ван Хааром в заветный еловый лес к тому тайному месту у озера, которое показала ему Агнесса. Они сели на поваленное дерево. Вода сверкала и переливалась на мартовском солнце. Кругом тихо. Пернатые обитатели леса и дикие утки еще не прилетели, а ворон не было слышно.

Прошло какое-то время, прежде чем Фридрих подыскал слова для тех сомнений, которыми он хотел поделиться с дедушкой. Конфирмация, первое причастие, первая молитва...

— Мне так хотелось ощутить его присутствие, присутствие того, кто делает всех вас такими умиротворенными и уверенными в себе. Я ничего не ощутил, ровным счетом ничего. Как я никогда ничего не чувствовал в церкви. Даже к Круммахеру я ходил тайком, видел, как он беснуется на своей кафедре. Женщины кругом стонали и выли. Мужчины плакали. А мне было скорее противно. Только здесь навер-

ху, когда я поднимаюсь в горы и сижу здесь в лесу один, я иногда испытываю блаженство. Здесь я чувствую близость творца, чувствую себя в руце божьей. Понимаю, как мы должны быть ему благодарны за то, что он открыл нам красоту природы. И тогда мне кажется, что это и есть любовь, та любовь, о которой говорил Иисус, бесконечная любовь бога.

— Продолжай же, продолжай!

Фридрих потупился.

— А потом, дедушка, когда я стою в церкви и слушаю в проповеди, какие мы бессильные, падшие, ничтожные существа, обреченные влачить свой жалкий жребий всю нашу жизнь, тогда меня охватывают сомнения, не находится ли то, что я чувствую, и то, чему учит церковь, в кричащем противоречии друг с другом. Может, я отринут им, дедушка?

На миг ему стало даже жутко: как далеко завели его признания. Он ждал приговора. Дед снял свою руку с его плеча.

— Ах вот ты о чем? Тебя, стало быть, мучит, что ты не приходишь в экстаз на службе своего бравого дяди или на проповедях шарлатана Круммахера?

— Но ведь другие...

— Кого ты имеешь в виду? — прервал его дедушка. — Мышь бывает, конечно, довольна и старой коркой хлеба. Но соколу этого мало. На рассвете начинает он свой полет и поднимается высоко, под самые облака, и парит широкими кругами иной раз до самой ночи, пока не отыщет то, что его насытит.

Фридрих пожал плечами.

— М-да, сокол... А где же крылья?

— Мысли уносят дальше, чем самые мощные крылья! Оставь старухам их попов. Ищи сам! Лети дальше! Твоя голова полна прекрасных мыслей, нужно только стараться додумывать их до конца. А на сомнения ты имеешь святое право, важно только не застревать на них. Многие люди, причем далеко не худшие, начинали, как и ты, с сомнений. А потом им открылись истины, которые двинули человечество вперед. Вот у них и учись.

На другое утро, прощаясь с ним у почты, дедушка подмигнул:

— Ну что? Мышь или сокол?

— Сокол! — ответил Фридрих.

Он смотрел вслед дилижансу, пока тот не исчез в конце улицы.

Чувство глубокой связи с дедушкой не покидало его. У него даже появилась дедушкина манера постоянно улыбаться собственным мыслям. Всем, всем на свете он был обязан ему.

Завтра в Эльберфельде он опять увидит своих новых друзей. Через два года выпускные экзамены, а там прощай, Мукерталь, и айда в Бонн, в веселый Гейдельберг или еще куда-нибудь продолжать учебу. Пока еще он колебался между историей, классической филологией, романистикой и германистикой. Но время окончательного решения еще не настало. Ясно было лишь одно — коммерсантом ему не быть. Никогда в жизни не будет он забивать себе голову этой цифирью — ценами, расходами, прибылью!

Он повернулся и пошел назад по улице. Вспомнились слова дедушки о соколе. Грудь его распрямилась. Да, он взлетит высоко! Так высоко, чтобы видеть весь мир, чтобы развеять ложь и заблуждения, чтобы понять тайну творения, — вот чего он хотел.

КНИГА ВТОРАЯ

Прощание с грёзами



Глава первая

ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ

К вечеру небо потемнело, над долиной сгрудились черные тучи. Скромные эльберфельдские домишки, казалось, еще глубже запрятались под сень раскидистых вязов. Те, кого непогода застала в пути, торопились поскорее достичь спасительного крова. Было воскресенье, начало февраля 1837 года. В этот день зал собраний реформатской церкви в центре города был до отказа заполнен одетыми в черное пиетистами. Да и кто бы осмелился пропустить еженедельную покаянную молитву после того, как Фридрих Вильгельм Круммахер, заняв место умершего дяди, придал и без того строгой церковной дисциплине еще большую жесткость? Скамьи были тесно заполнены склоненными фигурами грешников. Потные лбы, глаза, беспокойно блуждающие по сторонам, на лицах страх: вдруг зычный голос пастора обрушится на тебя, обвиняя в тяжких прегрешениях перед божьими заповедями. Кто мог быть уверен, что коварный сосед, лучший друг, или даже собственная жена не донесли церковному начальству о тех или иных грешках, коих у каждого наберется немало. Бесконечен список возможных прегрешений. Всякое наслаждение жизнью неминуемо ставилось в укор — будь то чтение романа, тайком привезенного из Кёльна, или посещение театра в Дюссельдорфе, не говоря уже о питейных заведениях округи.

А вот люди праведные, всегда помнившие бога, дряхлые старухи, например, или обедневшие ремесленники-мастера,

не расстававшиеся с молитвенником, пока всю работу за них делали подмастерья, те восседали со злорадными лицами, нетерпеливо ожидая, когда начнется судилище над бесстыжими, падшими, нечестивыми...

Однако в этот затянутый тучами вечер дожидались они напрасно. Прегрешения в этот день не обсуждались. Нужно было дать отпор гораздо большему злу, грозившему незапятнанной чистоте богоугодного града. Пастор Круммахер указал рукой на север, туда, где рядом с ратушей со времен французского нашествия высилось здание с колоннами, которому тогдашние вольнодумствующие отцы города дали языческое название «Музеум». В вечерних сумерках это здание с высокой крышей выглядело как огромный безобидный верблюд. На самом же деле это был троянский конь сатаны. Правда, благодарение богу, его гигантский зал на тысячу мест в течение многих лет пустовал. Бдительной общине пиетистов удавалось воспрепятствовать предусматривавшимся в нем театральным и концертным гастролям. И хотя это обходилось городу в копеечку, но чего не сделаешь ради спасения души. И вот теперь в «Музеуме» появился новый директор, некий господин Потхоф. Пользуясь молчаливым попустительством вялого бургомистра, он пригласил самый большой оркестр Рейнской провинции, и через несколько недель в чинном городе кальвинистов должен был состояться первый в его истории симфонический концерт!

— Какой преступный заговор! — кричал, распаляясь, проповедник. — Прислушайтесь к себе! Не нашептывает ли и вашей душе кто-то, будто концерт — это пустяк? Разве не слушает концерты король, а он набожный человек? Как может какой-то концерт поколебать нашу веру? Но я говорю вам, что никто не защищен от сетей сатаны! Сатана достаточно хитер и изобретателен, чтобы увлечь ваши жаждущие удовольствий души легкомысленными прелестями соблазна, куда более привлекательными, чем суровые требования писания. Предостерегаю вас, предостерегаю! Кто ищет спасения души не там, где звучит святое слово божье, тот ближе к Люциферу, чем к господу! Хотите ли вы пренебречь милостью бога?

— Нет! — ответил хор голосов. Пуще всего паства боялась, что их поводырь снова начнет расписывать уготованные им ужасы ада.

— Хотите ли вы, чтобы господь в гневе отвернулся от нашего города?

— Нет!

— Тогда пусть каждый из вас и посильно следит за тем, чтобы наш город не превратился в Содом и Гоморру, как другие города нашей страны, а чтобы царили здесь вечно мир в покой. Горе искусителям! Горе соблазнителям и смутьянам!

После январского холода с гор повеяло предвесенним теплом. Воскресенье Фридрих провел дома, а теперь возвращался в Эльберфельд. Он вытянулся и уже перерос отца с матерью. С тех пор как его приняли в гимназию, прошло два с половиной года. Длинные ноги быстро несли его по шоссе. За пазухой похрустывали бумажные листы. В мыслях своих Фридрих был уже там, в доме Ханчке, где друзья давно ждали его на первую после рождественских каникул курительную ассамблею в сводчатой комнате братьев Гребер. Он обещал им новые стихи. Тяжкая судьба — считаться поэтом в кругу ненасытных друзей, требующих все новых и новых стихов! Подражания Гейне, Ленау и еще одному, совсем новому молодому поэту по имени Фердинанд Фрейлиграт, который, подобно комете, блеснул на небе поэзии смелостью образов и ритмами, стали после запрета «Молодой Германии» манией, повально охватившей всех соучеников Фридриха. Результаты, однако, как выяснилось во время чтения у Греберов, оказались весьма различными. Многие новоявленные пииты вызвали своими стихами смех. И только выступление Фридриха прошло в полной тишине и повлекло за собой серьезное обсуждение! После него Фридрих был признан первым поэтом гимназии.

Небывалый, оглушительный успех! Если у кого-нибудь из сыновей солидных священников и высокооплачиваемых врачей, правительственных чиновников и гимназических профессоров и оставалось еще предубеждение против выскочки, выходца из презренного купеческого сословия, то с этих пор оно развеялось.

Со дня святого Михаила Фридрих с гордостью носил на голове фуражку с кокардой ученика первого класса. Теперь среди его соучеников речь то и дело заходила об окончании гимназии и учебе в университете. Им уже официально разрешили курить, а в курительных ассамблеях согласился участвовать сам Клаузен! Одно это обстоятельство делало роль местного поэта чрезвычайно рискованной и щекотливой. «Может, вместо стихов надо было взять с собой мой первый прозаический опыт, рассказ о морских разбойниках», — размышлял по дороге Фридрих. Но тут же отбросил эту мысль — повесть была слишком детской, незрелой. Только

весьма неискушенный автор мог взяться за сюжет из истории освободительной войны в Греции, так мало о ней зная! Средиземное море, Эгейский архипелаг, партизаны, корабли, моряки. Когда он начал писать, он думал, что все это ему знакомо и близко. Но вскоре выяснилось, что он ничего не знает об этом мире. Ведь он до сих пор не был даже на Северном море...

Когда Фридрих, занятый этими мыслями, достиг первых домов Эльберфельда, его улицы уже по-вечернему притихли. В детстве этот город казался ему отвратительно монотонным, но за время учебы он успел полюбить его серую прозу. Здесь пролетело почти три счастливых года. В памяти хорошо сохранился тот день, когда он вместе с отцом впервые переступил порог дома Ханчке, который давно стал его вторым родным домом. Все здесь было ему хорошо знакомо — каменный стол под липами, где сидели летом, и печь, у которой так хорошо было греться в морозные зимние дни, скромные пейзажи и портреты фламандской школы на стенах, старинные книги на полках, его собственная комната с новой небольшой библиотекой, в которой хранилось столько сокровищ мировой литературы — Гомер и Эсхил, Овидий и Гораций, Данте, Петрарка, Вийон, Шекспир, Мольер, Лессинг, Байрон, Шелли. Здесь утихало его отчаяние, приливы которого накатывались на него после Месолонгиона. Картины человеческой нищеты, которые он наблюдал еще в детстве, на фабрике, где работали дети, или в городе, где встречал смиренных пиетистов, пьяных землекопов, закованных в цепи арестантов, здесь обретали новые черты. В царстве духа, литературы, искусства человек и все человеческое представали в новом виде. Беспрестанное стремление к познанию, истине, духовному совершенствованию — ради этого стоило жить! Да скорее небо опрокинется на землю, чем я покину теперь этот светлый, прекрасный мир и пойду по стопам отца, чтобы, как он, задыхаться среди этих бесконечных и скучных цифр, обозначающих доходы и расходы, спекуляции, махинации...

Вдруг что-то привлекло внимание Фридриха. В конце улицы он увидел, как человек в черном плаще пиетиста срывает с афишной тумбы какую-то афишу. Стоило Фридриху ускорить шаги, как человек этот пустился наутек. Ветер трепал рваные полосы. Соединив их, Фридрих увидел афишу о предстоявшем симфоническом концерте в «Музеуме». В их городе должен был выступать знаменитый оркестр Гюрцениха. Он будет исполнять Бетховена, «Геро-

ическую симфонию». Это чудо было знакомо Фридриху до сих пор только по отрывку в клавирном переложении. Сердце его забилось сильнее. Эта новость наверняка поднимет настроение участников курительной ассамблеи! Черт бы побрал этого негодяя, поднявшего руку на имя Бетховена!

Он быстро направился к следующей тумбе. Афиша, извещавшая о концерте, была сорвана и здесь. Возмущение Фридриха нарастало. Внезапно он услыхал, как на соседней улице кто-то зовет на помощь. Потом крик оборвался. Фридрих побежал туда. Добежав до угла, он увидел там странную сцену. Двое мужчин в длинных черных плащах с надвинутыми на самые глаза капюшонами крепко держали старика, который расклеивал афиши и объявления. Фридрих нередко видел его за работой. Тележка старика была опрокинута, лесенка сломана. Мужчины, которыми командовал человек с факелом, завершали меж тем свой погром. Запах керосина ударил Фридриху в нос. Не помня себя, он бросился на одного из мужчин. Ему сразу же удалось освободить старика. С дикими воплями тот бросился бежать. Фридрих успел увидеть, как горящий факел приблизился к тележке с афишами и из нее мгновенно вырвался сноп пламени. В тот же миг его ударили кулаком в лицо, потом в живот. Он упал, ударившись головой о мостовую, и получил еще пинок ногой.

— Бежим! — услышал он чей-то голос и поспешно удалявшиеся шаги.

Какое-то время Фридрих лежал без движения, смутно доносился до него стук открываемых дверей и окон. С трудом приподнявшись, он вытер кровь с лица. Тележка пылала, ярко освещая улицу. К нему подошли какие-то люди, женщина в халате и чепчике склонилась над ним. Мужчина поднял его фуражку.

— Гимназист первого класса! — воскликнул он.

— Это и есть поджигатель? — спросил кто-то.

— Господь с вами, — запротестовала женщина, поддерживая его голову. — Он хотел помочь старику, который расклеивает афиши.

Фридрих поднялся.

— Эти негодяи не могли убежать далеко! — сказал он.

Женщина всплеснула руками.

— Господи, да это же юный Энгельс из Бармена!

— Это были пиетисты, люди в черных длинных плащах, — рассказывал Фридрих обступившим его людям, прикладывая платок к ране на лбу. Все вокруг испуганно за-

молчали, пожимая плечами и переглядываясь. Женщина поддерживала его под руку. — Спасибо, все в порядке! — сказал он и ушел не попрощавшись.

На углу он поднял одну из разбросанных всюду афиш и тщательно сложил ее. Происшествие занимало его всю дорогу до самого дома Ханчке. Перед глазами всплыло широкоскулое лицо Круммахера с опущенными уголками губ и мрачно сверкающим взглядом... Он хочет сорвать концерт любыми средствами. Пастырь кальвинистов боится Бетховена. Тупой торговец душами трепещет перед могуществом гения! Фридрих рассмеялся. Вспомнился яростный мотив борьбы из первой части симфонии, которую мама любила наигрывать на клавикорде, а дядя Август иной раз подхватывал на своей пылкой скрипке. Насвистывая этот мотив, он поднялся к себе, где его встретили заждавшиеся и напуганные его видом друзья. Пока они выслушивали его историю, фрау Ханчке перевязала ему голову.

— Концерт должен состояться, — сказал Фридрих в заключение. — Пусть музыка Бетховена оглушит господина Круммахера и встряхнет хорошенько его сонную пиетистскую душу. Мы оклеим весь город новыми афишами!

Молодой директор Потхоф отнесся к делу с пониманием. Он дал им новые афиши. И уже на другой день начались приготовления. В тазу фрау Ханчке они развели клейстер, заполнили им горшки и ведра, приготовили кисти. На ноги было поднято полгимназии. Сама операция проходила в беззвездную ночь. За два часа были расклеены сотни афиш. Ни одной стены, ни одного забора, даже ни одного толстого вяза не осталось без объявления о предстоящем через три дня концерте, так что ни один житель города не мог и шагу ступить без того, чтобы не узнать о нем. За несколько часов были проданы все билеты.

Вечером в день концерта «Музеум» осветили тысячи свечей. Фридрих стоял вместе с товарищами по классу у входа и раздавал контрамарки тем гимназистам, которые принимали участие в расклеивании афиш. Посетителей было много — чуть не полгорода, в основном из числа тех, кто не принадлежал к общине Круммахера. Сотни людей спрашивали лишний билет. Не оставило равнодушными это событие и некоторых видных пиетистов. Гимназисты, смеясь и потешаясь, отмечали в толпе то дам, прятавших лицо под густой вуалью, то господ, кутавшихся поглубже в свои шарфы.

Внимание Фридриха привлек худенький юноша, который пытался проникнуть в зал без билета и был задержан

контролером. Он был года на два моложе Фридриха и одет, как приказчик. Рядом с контролером немедленно выросла грозная фигура блюстителя порядка в парадной форме и с саблей на боку. Фридрих видел, как юноша лихорадочно рылся в карманах, и его большие меланхолические глаза молили о помощи. Фридрих быстро подошел к контролеру и, прежде чем жандарм успел вмешаться, сунул контрамарку ему под нос:

— Вот его билет.

Контролер озадаченно смотрел на него.

— Что-нибудь не в порядке? — жестко и надменно спросил Фридрих.

Контролер униженно поклонился.

— Что вы, что вы, все в порядке, молодой господин!

Полицейский исчез. Зардевшись от счастья, юный приказчик вошел в зал. Прозвенел звонок. Пора было и Фридриху занимать свое место. Через несколько мгновений все повседневное куда-то провалилось, все обыденное исчезло. Музыка захватила его и увлекла за собой.

Кто никогда не слышал Бетховена в оркестровом исполнении, кто довольствовался скромными фортепьянными переложениями, тот не может иметь и малейшего представления об истинной мощи этой величайшей музыки века!

Все, что Фридрих еще ребенком смутно провидел в природе, в белых облаках на синем небе, в поражающей воображение бесконечности ночного звездного неба, все, что он ощущал в молчании соснового бора или при чтении «Фауста», — все это вырвалось здесь в стремительной буре звуков, зовущих прочь от обыденной пошлости жизни к совершенству, которое господь сделал призванием человека! Нет, набожность не в том, чтобы смиренно склонять голову, трусливо прячась от испытаний. Ведь ты человек, венец творения, господин своих чувств, своих мыслей, своей воли. Как бы ни терзали тебя страдания, как бы ни обступало засасывающее болото жизни — подними голову, восстань и иди на бой!

Фридрих бежал и от неистовых оваций в зале, и от друзей, которых Потхоф пригласил отметить событие. Он хотел побыть наедине с собой. Однако на улице его остановил тот самый приказчик, которому он помог попасть на концерт. Юноша горячо пожимал ему руку, искал слова, чтобы выразить свою благодарность. Он был глубоко взволнован.

— Пойдем со мной! — пригласил его Фридрих. И,

широко шагая по мостовой, устремился к окраине города, в сторону гор, увлекая за собой спутника. Остановились они на вершине Уленберга, только здесь Фридрих прервал молчание.

— Я еще ни разу в жизни не слышал симфонию Бетховена в исполнении оркестра. Но теперь я знаю твердо: если бог вообще желает разговаривать с людьми, то уж вовсе не на мертвом языке церковников! Но на языке музыки. И теперь мне понятно, почему этих ханжей так перекашивает при одном имени Бетховена! Отец хочет, чтобы я пошел по его стопам. Жизнь, состоящая из махинаций, молитв и плюшевой семейной идиллии, — как она отвратительна, мелка и мертва перед лицом этой могучей музыки! — И тихо добавил: — Позор, вечный позор тому, кто хоть однажды услышал в себе этот голос и подавил его, чтобы трусливо вернуться в жалкий мир филистеров!

Юный приказчик робко взглянул на него; казалось, он был удивлен, что стал свидетелем тайных мыслей незнакомого человека.

Неожиданно он заговорил. Голос у него был мягкий, приятный. А заговорил он стихами. Замечательными стихами, которые Фридриху очень понравились:

Бетховен! Взору ты распахиваешь ширь!
Трепещет сердце пред безмерной далью.
И обновленными нас принимает мир —
Довольно ссор, рыданий и печалей!
Звезда упала полночи на дно.
Движенье вечности,
Ты в нас пробуждено!*

— Откуда эти стихи? — спросил Фридрих.

Юноша смущенно склонил голову.

— Не знаю. Право, не знаю. Просто они родились во мне на концерте. Сам не могу понять, как это получилось.

Фридрих на мгновение словно остолбенел, а потом схватил оробевшего юношу за плечи и стал трясти его с криком:

— Черт тебя дери, парень! Да ведь ты настоящий поэт!

— Поэт?

— Да, поэт! Как тебя зовут?

— Веерт, Георг. Я из Детмольда.

— Да что у вас там, есть какое-то волшебное средство? Сначала Граббе, потом Фрейлиграт, а теперь вот Веерт!

---

* Перевод В. Сазонова.

Юноша хотел было что-то возразить, но Фридрих не дал ему говорить.

— Идем! — крикнул он и устремился вниз по склону. — Я тоже пишу стихи, — кричал он ему на бегу. — Правда, корявые, очень корявые. Но сегодня ты должен познакомиться с ними.

Фридрих ощущал бурный прилив жизненных сил. Сначала Бетховен, а потом этот вот симпатяга с искрой настоящего поэтического таланта, который наверняка поймет его скорее, чем сыновья пасторов и чиновников с чересчур трезвым и осторожным рассудком. В приподнятом настроении летел он по Шваненштрассе, увлекая за собой спутника. И вдруг резко остановился. Что это? Перед домом Ханчке стоял кабриолет отца...

— Подожди-ка меня здесь. Мой старик явился. Видно, что-то случилось. Боюсь, недоброе!

Сбавив шаг, он направился к дому, раздумывая, зачем приехал отец. Какое-нибудь несчастье дома? Фридрих испугался. Но нет, тогда бы послали кого-нибудь другого...

В прихожей горел свет. Он постучал. Открыла фрау Ханчке, глядевшая на него с беспомощным сочувствием. Господин Ханчке с виноватым и подавленным видом сидел у камина. Посреди комнаты стоял отец, около него упакованные чемоданы. Фридрих вздрогнул, прочитав на его лице приговор. Глаза отца были полны гнева. Никакого приветствия, никаких объяснений.

— Прошу вас прислать мне счет, а также выпускное свидетельство моего сына. — Голос отца звучал холодно, почти враждебно.

Господин Ханчке только устало кивнул в ответ.

Вслед за тем отец обратился к сыну:

— А теперь простись с госпожой и господином Ханчке и бери свои чемоданы!

Фридрих не пошевелился.

— Ты не мог бы мне объяснить, что все это значит?

— Для этого у нас будет достаточно времени! — бросил отец и протянул руку поднявшемуся доктору Ханчке. — Еще раз простите за столь позднее вторжение и примите мою благодарность. Охотно верю, что вами руководили лучшие побуждения. В вашем понимании, разумеется. Но это мой сын. И перед богом отвечаю за него я. Вы должны это понять. — Он прошел мимо Фридриха к двери.

— Господи, — вскричал Фридрих, — могу я по крайней мере узнать, что случилось?

— Ступай за отцом, Фридрих, — сказал доктор Ханчке.

— Прошу тебя! У него есть основания забрать тебя из гимназии. Нам жаль тебя отпускать. Ты должен знать, что мы полюбили тебя. Ты и учеником был хорошим, и домочадцем желанным.

— Ты очень, очень хороший мальчик, — произнесла фрау Ханчке, в глазах которой стояли слезы. Она обняла его за шею и, всхлипывая, поцеловала.

— Торопись! — послышался голос отца.

Господин Ханчке подал ему чемоданы.

— Всего тебе доброго!

Фридрих в подавленном состоянии вышел с чемоданами на улицу. Его новый друг глядел на все это, ничего не понимая.

В голове Фридриха проносилось сразу множество мыслей. Он пытался восстановить в памяти все, чем был занят в последние недели. Но никакого объяснения внезапной катастрофе не находил. Отец прервал наконец молчание, когда они уже выехали из города. Он заговорил голосом, полным горечи и сарказма:

— Вы, конечно, принимаете нас за честных купцов? Нет, мы не таковы! Посмотрите на наши пушки, наши боевые припасы, на наш склад оружия, и вам станет ясно, что мы только притворяемся торгашами...

— Отец... — Фридрих с первых же слов отца узнал свой рассказ о морских разбойниках. И он сразу же понял все. Они нашли в его комнате тетрадь с прозаическими набросками... Ах, почему он не спрятал ее получше!

Отец повысил голос, продолжая цитировать. Кажется, он выучил наизусть весь рассказ. И каждое слово звучало в его устах как гневное обвинение.

— Знайте же, что мы лучше других, а именно: мы истые эллины, люди, еще умеющие ценить свободу, короче, мы корсары... — Отец перевел дух. — Довольно с тебя или продолжать? Может, прочесть отрывок из школьного сочинения о Гейне, том самом выходце из почтенной купеческой семьи, который ведет теперь разгульную жизнь в Париже на деньги, получаемые за то, что чернит собственное отечество?

— Гейне! Знаменитый на весь мир поэт! А что он живет в Париже...

— И ты хочешь пойти по той же дорожке? Для этого-то я тебя определил в гимназию?

Фридрих умолк. Не было смысла объяснять отцу, что он и сам не относился к своим поэтическим опытам серьезно и

уж во всяком случае не собирался отвлекаться ради них от науки.

— Подозревал я все это, подозревал! — горестно выкрикивал отец. — Не могло это кончиться добром. Лютеранин во главе школы, учителя сплошь вольнодумцы! Лучшая гимназия в Пруссии! Черт попутал меня послушаться твоего деда!

— Но где же теперь мне учиться дальше?

Эти слова повергли отца в еще большую ярость.

— Поэт, студент — все что угодно, только бы не заниматься презренной коммерцией, как отец! Нет уж, с этим покончено, покончено навсегда! С завтрашнего дня ты будешь брать уроки коммерции в фирме «Энгельс и сыновья». Не сомневайся, за конторкой эта дурь быстро из тебя выйдет!

Отец хлестнул лошадь, и та ускорила свой бег. Коммерсант отвернулся от сына и с ожесточением смотрел прямо перед собой. И Фридрих понял, что всем его надеждам и мечтам пришел конец. Боже милостивый, если ты существуешь, помоги как-нибудь, выступи против этой несправедливости! Пошли молнию, устрой бурю. Что же я сделал такого, чтобы мое будущее, всю мою жизнь так безжалостно разбили?

Полная луна бросала неверный свет на дорогу. Показались огни трактира на холме, за ним дом ламповщика, колокольня церкви Христа. Еще раз зазвучали в нем призывные трубы триумфального мотива «Героической симфонии». Но внезапно мотив оборвался. Гнетущая, ужасная пустота вокруг. О небо! Зачем ты лишь на мгновение озарило меня светом, чтобы тут же низвергнуть в темноту?

Позади них раздался стук копыт. К ним быстро приближался скорый дилижанс «Дюссельдорф — Галле». Отец направил кабриолет к обочине. Мысленно Фридрих представил себе лицо деда. Последняя надежда, соломинка, за которую хватается утопающий... Внезапно он выпрямился и выпрыгнул на шоссе. Дилижанс приблизился. Фридрих бежал изо всех сил. Наконец он ухватился за дверцу багажного отделения. Толчок, прыжок — и вот он уже наверху, и карета катит его на восток... Позади при свете луны мелькнула фигура отца с высоко воздетыми руками. Через несколько секунд расстояние между ними настолько увеличилось, что уже ничего нельзя было различить.

Быстро домчались до Хагена. Перед почтовой станцией, где меняли лошадей, Фридрих спрыгнул на землю и спря-

тался в кустах. Так он и добрался до Хамма. В домике деда горел свет. Взявшись за калитку, Фридрих почувствовал, как у него дрожат колени. Больше года не видел он деда, который хворал и почти не выходил из дома. Вдруг на него напали сомнения: а стоило ли вообще бежать очертя голову? Чем может помочь ему дед?

На постаревшем лице бабушки, которую он не видел с позапрошлого лета, — сначала испуг, потом радость, наконец, смятение и слезы.

— Мальчик мой, милый мой мальчик... Как хорошо, что ты приехал, что они тебя послали... Как он обрадуется, твой бедный, бедный дед.

— Он плохо себя чувствует?

Бабушка зарыдала.

— Ах, мой милый! Скоро, скоро уже ему будет совсем хорошо.

Фридрих испугался. Он не мог проронить ни слова. Словно ком застрял в горле. Он вошел за бабушкой в дом.

Дед лежал на диване в библиотеке. На белых подушках осунувшееся бледное лицо. Бабушка сказала ему о приезде внука, но он ее не услышал. Казалось, он уже был далеко, вдали от всего земного. Лишь когда Фридрих склонился к нему, он будто вернулся на землю и лицо его просветлело.

— Неужели это ты, мой Фриц, неужели это ты?

Фридрих взял его бледную руку, пожал ее.

— Как хорошо, что я тебя еще раз увидел. Какой ты стал большой, высокий и сильный!

Жизнь, казалось, вернулась к умирающему. Он стал расспрашивать об успехах в гимназии. Как-то доктор Ханчке был в Хамме и с большой похвалой отзывался о его внуке. Фридрих решил не рассказывать деду о событиях минувшей ночи. Но ему не хватило актерского мастерства, чтобы утаить случившееся. Пришлось в конце концов во всем признаться. Дед долго смотрел на него угасающим взглядом.

— Бедный мой мальчик, — прошептал он еле слышно, — бедный мой мальчик. — Глаза деда закрылись.

Бледный как смерть Фридрих выбежал из комнаты. Ему навстречу уже спешила бабушка с врачом.

— Он спит, — констатировал врач. — Это еще не конец. — В ответ на вопрошающий, полный надежды взгляд бабушки он добавил: — Чудеса иногда бывают.

Фридрих остался сидеть с бабушкой в комнате. Он продержался около часа, а потом забылся в беспокойном сне. Проснулся он на рассвете, почувствовав руку

бабушки. По лицу ее было видно, что надежды не осталось никакой.

— Он хочет тебе еще что-то сказать, — едва выговорила она.

Фридрих наклонился к губам умирающего.

— Не мучай больше мать и подчинись отцу! Я знаю, как они тебя любят, своего первенца, свою гордость. Обещай мне это!

— Хорошо, дедушка, — кивнул головой Фридрих, — обещаю.

— Мой мир — это поиски в прошлом, бегство в область духовного, грезы, тени, иллюзии... — Он покачал головой. — От жизни все равно не убежишь. А жизнь моя... — Тут он прервался. Мучительный кашель вырвался из его груди. — Ты должен искать собственный путь, Фриц, собственный!.. — Вдруг голова его приподнялась, оторвавшись от подушки. Глаза лихорадочно блестели. Слова клокотали в горле, падая, как отдельные комья: — Гляди... на землю... и ничего... не бойся!

Голова откинулась на подушку. Дед хотел будто сделать еще движение рукой, но не сумел, и лицо его вдруг осветилось мягкой улыбкой. Глаза застыли. Это был конец, конец. Фридрих с плачем упал на грудь деда.

Бабушка мягко подняла его. Он тихо вышел из комнаты и через кухню прошел в сад. Утренний ветерок освежал лицо. Ярко светило солнце, щебетали птицы, открывались ставни и двери в соседних домах... Чужой мир вокруг, а он в нем одинок и потерян. Одиночество наваливается как камень. Зачем ты даешь нам жизнь, которую потом снова отнимешь безжалостной рукой, зачем, всемогущий и грозный бог?

Приехали Грисхеймы и дядя Людвиг с детьми, которые наполнили дом шумом. Это и раздражало и успокаивало, включая ужасное в обыденный ход вещей.

На другой день приехали и родители из Бармена: огорченная, растерянная и беспомощная мать и отец с немым укором во взоре. Бабушка сказала:

— То был перст судьбы, даровавшей ему еще одну встречу с Фридрихом. То была его последняя радость.

Отец заговорил с ним только после пышно обставленного погребения. Ни словом не упрекнул за побег. Вместо этого последовало великодушное разрешение закончить учебный год в гимназии. Крошечная искра надежды на миг вспыхнула в душе Фридриха, но тут же снова погасла.

Посмотрев на отца, он понял: то была только отсрочка. Студентом ему не быть и в храм науки не войти. 15 сентября должно было начаться постылое изучение коммерции.

Глава вторая

В ГОСТЯХ У ПОЭТА

Когда 20 июня 1837 года Вильгельм IV, король Великобритании, Ирландии и Ганновера, умер, не оставив законных наследников, и британская корона перешла к его племяннице, восемнадцатилетней Виктории, кончилась и длившаяся сто двадцать лет британско-ганноверская уния. Согласно немецкому праву наследования, корона ганноверская могла достаться только наследнику мужского пола. Повезло младшему брату Вильгельма Эрнсту-Августу, герцогу Кумберлендскому. Став суверенным правителем Ганновера, он надеялся избавиться наконец от множества долгов, накопленных за свою долгую жизнь бонвивана. Его верноподданные приняли первого собственного короля с подобающими почестями, так что новоиспеченный монарх испытал трогательно отцовские чувства. Однако первое же его государственное деяние — «покушение» на государственную казну — натолкнулось на неожиданные препятствия. Министры указали ему на то обстоятельство, что в финансовых вопросах без согласия сословной палаты нельзя ступить и шага. Это открытие крайне шокировало жуира. Он узнал, что его предшественник, король Вильгельм, напуганный событиями Июльской революции. позволил бюргерам выторговать такую идиотскую поправку к закону. Сословия отказывали своему господину в неограниченных тратах принадлежащих им средств. Королевская кровь вскипела. Он разогнал палату и, мрачнее тучи, отправился отдыхать в Карлсбад и Баден-Баден. От германских коллег, которые невзирая на исключительную бедность своих земель позволяли себе вести весьма роскошную жизнь на курортах, он узнал, как следует ему поступать со своими немецкими подданными. Вернувшись домой, «богопомазанный» монарх немедленно отменил конституцию, освободив от прежней присяги всех чиновников. Не удовольствовался он и устными заверениями в верности королю. Немало попользовавшись на своем веку кредитами в британском деловом мире, Эрнст-Август научился ценить фатальную силу письменных обязательств. Составленное по его распо-

ряжению верноподданническое послание от имени государственных служащих на королевское имя Эрнст-Август обязал подписать всех чиновников. Те не артачились. «Мы подпишем все, что угодно, — цинично заявил один из министров. — Ведь мы же королевские псы!» Народ удивился, но не шевельнулся. «Адвокаты пусть тоже подпишут!» — настаивал престарелый владыка. Адвокатов он особенно не любил, потому что именно они не раз его подводили, когда он пытался уклониться от выплаты многочисленных долгов. Потом он вспомнил, что в Гёттингене есть королевский университет. «Учителишки пусть тоже подпишут!» — потребовал он.

И большинство заслуженных профессоров послушно подписались.

Однако семь человек отказались подписываться, заявили о своей верности конституции и выразили протест против произвола. Эти семеро были настоящие ученые — правовед Фридрих Кристоф Дальман, братья Якоб и Вильгельм Гриммы, всемирно известный физик Вильгельм Вебер, талантливый историк Георг Готфрид Гервинус, юрист Вильгельм Альбрехт и ориенталист Георг Эвальд.

Фридрих молча и неподвижно сидел за конторкой. Его рука механически выписывала на бумаге цифры и слова, коммерческие предложения, смысл которых был ему неведом. Часы, проводимые здесь, отличались уныло-серым однообразием. Разговоры сослуживцев, их банальные шуточки и проделки с посетителями, мелкие шашни и плутни и даже сочувствие к нему высохшего, в тень превратившегося Дюрхольта — все это его не интересовало.

Однажды в конторе появился Браке, бывший экспедитор фирмы, выросший до разъездного коммивояжера. На дурном французском языке он стал хвастать ночными похождениями в Париже.

Фридрих сидел, склонившись над своим столом. Он заканчивал копию подтверждения заказа. Ему вспомнился папаша Ростан. Сколько же ему теперь лет, если он еще жив? Ах, старой мельницы нет больше, как нет и прежней безмятежности детства. Его рука непроизвольно стала рисовать. Голова Бетховена. Птица в клетке. Сломанная и вянущая роза. Потом — карикатура на Дюрхольта.

Бухгалтер сидел наискосок от него, в другом углу конторы, согнувшись в три погибели. Щеки его пылали, а руки

так и порхали над бумагами. Образец усердия и рвения. Бедный червь, отдающий все свои силы фирме.

Вдруг над головой Фридриха раздался взрыв хохота. Толстая рука Браке схватила со стола рисунок.

— Здорово! — вскричал он. — Сходство удивительное! — И стал показывать всем листок. — Разве не похоже на старика Дюрхольта! Кривой и тощий, как дождевой червь!

Присутствующие дружно рассмеялись. Фридрих яростно вырвал листок из рук Браке и смял его.

Он подошел к конторке, за которой, весь сжавшись, сидел Дюрхольт, и сказал:

— Извините!

Старик ничего не ответил, только грустно и смущенно посмотрел на Фридриха. Конторские служащие примолкли.

— Ну что вы так горячитесь, юноша, это была всего-навсего шутка, — примирительно сказал Браке.

Пожав плечами, Фридрих вернулся на место. Чувство было такое, будто ему нечем дышать.

Вечерами, после занятий в конторе, Фридрих уединялся в любимом лесу. Он старался избегать встреч с гимназистами, которые нередко приезжали из Эльберфельда, чтобы зазвать его на очередную курительную ассамблею. Его верный дружок Рот, как и он сам, тоже учился коммерции. Он оказался наследником своего дядюшки, у которого было пуговичное дело в далеком Плауене. Кадетов разбросало кого куда. В конторах сидели дети фабрикантов, в школах и семинариях учились дети чиновников, а дети тех, кто был победнее, служили в армии.

Иногда он приходил туда, где они сидели с Агнессой. Где-то она теперь? Воспоминания о ней были особенно болезненны, когда в конторе или в Певческой академии принимались подшучивать над тем, какой он стал взрослый мужчина, или когда в церкви Христа принимались кокетничать принаряженные девушки, или когда словно невзначай по воскресеньям являлись к ним кузины Ида и Юлия, чтобы поболтать о том о сем.

Он осторожно снова начал наводить справки о местопребывании Агнессы. Мать решительно отказалась ему отвечать. Дядя Август разразился хохотом и похвалил за отменный вкус и лучший выбор, который он мог сделать на фабрике, но на этом дело и кончилось. А мужчины и женщины на фабрике, кого ни спросишь, отделывались недоверчивым и враждебным молчанием.

Однажды вечером он пришел к выдаче заработной платы в надежде встретить того парня, который однажды дал ему адрес Агнессы. А может, встретится кто-нибудь из женщин — подружек ее матери?

Дюрхольт с торжественной миной на лице выдавал деньги. Погода была теплой, и вся процедура проходила перед зданием конторы. Механики, мастера и десятники получили свой заработок раньше. Теперь первыми шли красильщики, аристократы среди рабочих. Они подходили, гордо выпрямившись, и принимали деньги с достоинством. Торжественно выглядевшая церемония длилась долго. Каждому из мужчин с выбеленными руками и задубленными от пара лицами тщательно отсчитывали монету за монетой. Большинство из них умели писать, только несколько стариков поставили против своей фамилии три креста. Дядя Каспар стоял тут же, добродушно беседуя с каждым, расспрашивая о здоровье, семье, садике, детях. Эти люди непринужденно разговаривали с ним, не снимая шапок, и называли его «хозяин» или «господин Энгельс». Затем пошли набойщики. И с ними дядя Каспар беседовал, обязательно спрашивая, правильно ли начислили им деньги, которые они получали в отдельных, заранее приготовленных пакетиках. Эти деньги они долго и тщательно пересчитывали. После них дядя Каспар ушел. Служащие конторы принесли большие ящики с пакетами. Из ворот фабрики потянулись теперь ткачи и прядильщики, среди которых было много женщин и девушек. В сторонке стояли дети. Их зарплата прибавлялась к жалованью отцов, матерей или старших сестер и братьев. Теперь уже деньги раздавали конторские служащие, каждый из которых отвечал за отдельный ящик.

Наконец Фридрих увидел парня, которого искал. Но тот ему ничем не помог. Как и все, он сделал вид, что ничего не знает. Фридрих хотел уже уходить. Но тут странная сцена привлекла его внимание. В тени складского навеса стоял мастер смены и принимал деньги от бедно одетой старухи ткачихи, которая ему низко и часто кланялась. Затем мастер остановил вторую ткачиху, которая, как заметил Фридрих, норовила прошмыгнуть мимо. Та стала о чем-то его просить, умолять. Фридрих подошел поближе. Он увидел, что и эта женщина часть своей получки отдала мастеру. При этом она плакала:

— На что я буду теперь кормить моих пятерых детей?

Фридрих схватил мужчину за руку.

— Почему вы отнимаете у женщин деньги?

— Я, деньги?

Фридрих рванул его руку. Три монеты упали на землю. Фридрих их поднял.

— Ну что вы от меня хотите? — пролепетал мужчина. — Я ей их одалживал.

Фридрих повернулся к работнице.

— Он давал вам в долг?

Женщина покачала головой. В глазах ее был страх.

— Почему же вы ему отдали деньги?

Женщина молчала. Фридрих показал рукой на старуху, которая была уже у фабричных ворот.

— А ей вы тоже давали в долг?

— Да, черт возьми!

— Ну просто банкир! — сказал с издевкой Фридрих.

Но тут кто-то из ткачей сказал:

— Он лжет! Женщины платят ему, чтобы он их не уволил!

Мастер выругался и хотел уйти. Фридрих задержал его. Их двоих кольцом окружили рабочие. В дверях конторы показался дядя Каспар.

— Что здесь происходит?

— Он вымогает деньги у женщин. Я его поймал, дядя. Разберись с ним. Пусть покажет, что у него в карманах.

Фридрих попросил людей перед конторой не расходиться, а также позвал в качестве свидетельницы и старуху.

В конторе из карманов мастера извлекли восемьдесят шесть зильбергрошей и целую гору медяков. Сумма получилась гораздо большей, чем он зарабатывал в месяц. Но он по-прежнему настаивал на том, что давал деньги в долг.

— Я докажу, что это не так! — сказал Фридрих. Он открыл дверь конторы. Никто из свидетелей не ушел. Впереди всех стояла ткачиха, которую звали Ганна Гронненберг. Подошла и старуха. — Эти люди могут рассказать, каким способом добывает деньги этот мошенник.

Но тут случилось то, чего нельзя было понять! Ни одна из женщин не подтвердила своего обвинения. Обе они теперь уверяли, что брали у мастера в долг. И фрау Гронненберг, как он ни уговаривал ее сказать правду, говорила то же, что и другие.

Все это походило на какой-то кошмарный сон.

Он просил, умолял, сердился — ничего не помогало. Женщины молчали, опустив головы.

— Довольно! — сказал наконец дядя Каспар и повернулся к женщинам: — Впредь вы не будете больше зани-

мать у мастера! Если у вас будет нужда в деньгах, приходите ко мне! А теперь ступайте!

— Да, хозяин, — пробормотали женщины и, низко поклонившись, ушли.

Вне себя от гнева Фридрих наблюдал, как дядя Каспар возвращал вымогателю деньги.

— Извинись перед ним, — сказал он племяннику.

— Нет, никогда! — выкрикнул Фридрих.

— Ступайте! — сказал дядя мастеру.

Тот, слегка осклабившись, прошел мимо Фридриха к двери.

Когда он вышел, дядя напустился на Фридриха.

— Это же наш лучший мастер! Буду теперь за ним приглядывать. Но тебе я раз и навсегда запрещаю являться на выдачу жалованья. Твое рабочее место здесь и больше нигде, понятно?

— Поистине соломоново решение! — зло смеясь, сказал Фридрих. — Вот она — ваша справедливость!

Когда вечером он возвращался домой, горечь в нем несколько улеглась, оставив, правда, чувство какой-то опустошенности. На углу к нему подошел тот парень, которого он искал на фабрике, и молча сунул ему в руку записку. Двое рабочих поздоровались с ним приветливее обычного, как ему показалось. При свете фонаря он прочел записку. Прыгающими буквами в ней было написано: «Хенкельсмюль у Адорфа, округ Нассау». Адрес Агнессы.

Над голой равниной сверкали молнии, резко высвечивая серые, неказистые здания живодерни и мыловарни Хенкеля. Несмотря на грозу, в воздухе стоял мерзкий запах. Группа унылых домов была отгорожена от мира высокой кирпичной оградой. Тесовые ворота были на запоре.

Фридрих отвел усталую лошадь в тень ограды. Выехал он на рассвете. Всю дорогу зной сменялся порывами ураганного ветра. И лошадь и всадник совершенно вымокли в разразившуюся под вечер грозу, зато цели достигли еще до темноты. Здесь, стало быть, жила Агнесса, сюда упрятали ее семейство отец с матерью... Из милого Вупперталя в эту унылую безнадежность.

Фридрих постучал в ворота. В ответ раздался яростный собачий лай. Прошло немало времени, прежде чем в узком окошке показалась чья-то голова. Фридрих потребовал, чтобы его впустили. Но ворота оставались запертыми. Через некоторое время в окошке показался другой человек. Фридрих объяснил, что ему нужно. Ответ был грубым и злым:

— Катись к дьяволу! Нечего здесь рыскать!

Собаки лаяли не переставая. Он подошел к лошади и повел ее вокруг ограды. На северной стороне ее он нашел место, где можно было перелезть. На заднем дворе фабрики виднелись жалкие лачуги, в которых жили рабочие. Оборванный старик, хихикая, провел его в комнату, которую вряд ли можно было бы принять за жилое помещение, если б на это не указывали некоторые предметы убогой мебели. Через некоторое время в комнате появилась молодая женщина. Она осторожно выглянула на улицу, потом закрыла дверь на задвижку. Фридрих во все глаза смотрел на нее. Красивая молодая женщина в самом расцвете лет, лицо серьезное, строгое и большие, вопрошающие глаза. Агнесса! Она выглядела совершенно иначе, чем он представлял ее себе. Всего три года прошло. А как будто целая вечность...

— Зачем вы приехали? — Голос ее звучал холодно, отчужденно.

— Разве мы чужие, Агнесса? Ведь это я, Агнесса, твой любимый из Бармена.

Но чем больше он пытался разбить лед между ними, тем больше она замыкалась в себе.

— Уходите! Уходите отсюда как можно скорее! Если вас здесь найдут, будет плохо!

— Я уйду только для того, чтобы найти способ забрать тебя отсюда. Я искал тебя целых три года. И вот теперь нашел. И ничто не может нас разлучить. Или ты больше не хочешь быть со мной? У тебя другой? Нет, не верю. Между нами нет ничего, кроме этих трех лет, которые ты провела здесь, в этой вонючей тюрьме.

— Уходите, прошу вас! Уходите! Я не могу уйти с вами. Если б я хотела уйти, кто бы мог меня задержать? Но тогда я никогда бы не увидела больше моих маленьких сестер и братьев. Вы спрашиваете, что лежит между нами? Многое, все! Мы живем в двух разных мирах. Моста между ними не существует. Умоляю вас, уходите! Здесь у меня место, на котором я получаю больше других. Мне здесь хорошо, и малышам со мной тоже хорошо.

— Где твоя мать?

— Умерла. Царствие ей небесное.

— А отец?

— Все еще в тюрьме. Он очень болен. Но еще жив.

Вдруг она испуганно вздрогнула. За дверью послышались мужские голоса и собачий лай. Фридрих хотел что-то

сказать, но она жестами показала ему, чтобы он молчал. Кто-то постучал в дверь.

— Открой, Агнесса!

— Чего тебе, Ксавер?

— Ты одна?

— А с кем же я могу быть?

— Они ищут незнакомца, который тебя спрашивал. Открой! Открой же!

— Поди ты к черту! — Агнесса подвела Фридриха к заднему окошку. — Вылезай, Фриц, да поскорее, а не то будет худо!

Раздумывать было некогда. Фридрих вылез в окно. На крыше сарая, на которую он попал, он еще раз обернулся, увидел в окне лицо Агнессы, ее глаза, ее руку — она махала ему. И тут он услыхал крики:

— Вот он! Держи его!

К нему бежали мужчины с собаками. Но Фридрих успел перемахнуть через забор раньше, чем они приблизились.

— Ну что, съели, болваны? Передайте своему хозяину, что я заложил динамит в его подвале. Так что к ночи он взлетит на воздух! — Фридрих помахал им шапкой. — Приятного вознесения на небо!

Он вскочил в седло и поскакал к лесу, черневшему на горизонте.

Домой он возвратился в еще большем смятении, чем уезжал. Люди, казалось, составили против него заговор. Он начинал презирать их и страдал от этого. Мир, который когда-то казался ему божьей обителью, опустел и одичал. Он начинал ненавидеть его и страдал от этого. Он не знал, что ему предпринять. Посоветоваться бы с дедушкой. Но ведь дедушка умер! На душе стало больно и грустно. Ночью ему приснился сон. Он стоял совершенно один на широкой, покрытой снегом равнине. Куда бы, в какую бы сторону он ни побежал, нигде не было видно ни одного человека. Он проснулся среди ночи в холодном поту.

С матерью, которая очень переживала утрату своего отца, он не стал делиться печалями своего сердца, чтобы не увеличивать ее горе. Но по его бледному лицу и запавшим глазам она догадывалась, что с ним что-то происходит. Однако в ответ на ее озабоченные расспросы он только смеялся и говорил, что у него всего-навсего насморк, и она успокаивалась. Мама за эти годы очень изменилась. Большое хозяйство, дети, нарастающее охлаждение в отношениях с отцом, который в своем увлечении отчаянно смелыми

предприятиями становился все более капризным и резким, — все это отражалось на ее состоянии. О том, что происходит с Фридрихом, знала одна только Ульрика, и она очень переживала за своего любимца, молилась и плакала по ночам.

Однажды в воскресенье, когда все, кроме Фридриха, были на дне рождения у дяди Августа, Ульрика увидела, как он среди бела дня идет по дому с зажженной лампой.

— Зачем ты зажег лампу? — спросила она. — Ведь сейчас день!

— Я ищу людей, — сказал он.

— Бедный мой мальчик! — в ужасе воскликнула Ульрика. — Что они с тобой сделали!

Постепенно Фридрих пришел в себя. Увидев, как она испугалась, испугался сам.

— Не плачь, Ульрика, не плачь! — стал он уговаривать ее.

Успокоившись, она тихо взяла у него из рук лампу. Фридрих покорно отправился вслед за ней на кухню и сел за стол у окна, на то место, на котором любил сидеть в детстве.

— Дальше так жить нельзя! — сказал он. — Жизнь без всякой надежды невыносима! Я был счастлив. У меня была цель. Я видел перед собой ясный и светлый путь. Но ведь не может быть так, чтобы путь был только один?

Добрая Ульрика погладила его по руке. Как ей хотелось надеяться, что его тяжкая хандра скоро пройдет.

— Путей всегда много, мой милый, очень много, — прошептала она. — Особенно когда молод и полон сил, как ты...

И опять ему вспомнился дедушка ван Хаар.

— Что же хотел сказать своими последними словами мой дедушка?

— А что он сказал?

— Гляди на землю и не бойся...

Ульрика закрыла глаза.

— Гляди на землю и не бойся, — шепотом повторила она.

Фридрих как будто размышлял вслух:

— Он произнес их как предостережение и напутствие... Не слишком предаваться грезам... Не бежать от мира, от повседневности, от жизни, какой бы жалкой она ни была... Мужественно и стойко встречать несчастья... — Он задумался, а потом кивнул: — Да. Он имел в виду это. Именно это.

Фридрих улыбнулся. Ульрика тотчас улыбнулась ему в ответ. Кажется, господь бог услышал ее молитвы. Она принесла кофе.

Они просидели на кухне долго.

То был первый хороший день после долгого мрачного осеннего месяца.

С этого дня Фридрих заметно повеселел. Без надежды жить человеку нельзя, а надежду он может почерпнуть только в себе самом. Надо начать все сначала, решил он. И принялся за самообразование. С каким-то ожесточенным усердием засел за учебники и тетради. Всякую свободную минуту, оставшуюся у него после работы в конторе, он использовал для того, чтобы совершенствоваться в языках. К французскому, который стал его вторым родным языком, добавился английский, язык мировой торговли, затем итальянский, голландский и испанский. Он снова стал много читать. Достать запрещенных поэтов «Молодой Германии» было почти невозможно. Новая книга Гейне «Романтическая школа», а также роман Гуцкова «Вали, сомневающаяся», из-за которых и подверглись гонениям младогерманцы, шли на черном рынке по высокой цене, да и владельцы этих книг старались с ними не расставаться. Так что приходилось довольствоваться официально разрешенными новинками. Дядя Август привез ему из Дюссельдорфа только что вышедший трехтомный роман своего знакомца еще по музыкальному фестивалю Карла Иммермана. Целую неделю напролет Фридрих читал по ночам «Эпигонов», сопереживая герою романа Герману, с которым пережил крушение его идеалов, развенчанных за годы наполеоновских войн. В гнетущей атмосфере Реставрации были задушены всякие надежды на лучшее устройство отечества. Нигде нет места для свободного развития человека. И герою не остается ничего другого, как бежать от мира. В семейной идиллии он пытается сохранить для себя осколки прежних идеалов.

Роман Иммермана позволил Фридриху глубже заглянуть в круг проблем, которые занимали поколение его родителей. Он стал понимать, что имел в виду дедушка, когда говорил о трагической разорванности человеческой души. Он стал лучше представлять себе, кем были его мать, отец, дядя Август, братья Снетлаге, дядя Каспар до того, как круг их интересов сузился до семьи, собственного благополучия, до того, как они превратились в верноподданных марионеток, в эпигонов. Сочувствие, сожаление, прощение — вот

что он испытал. Подолгу находясь в своей комнате взаперти, наедине с собой, Фридрих все чаще и чаще стал испытывать потребность в том, чтобы пойти к матери, к отцу, открыть им свое сердце. Фантазия рисовала ему трогательные сцены всеобщего семейного примирения и взаимного прощения. Но когда потом он видел родителей — вечно озабоченную будничными домашними хлопотами мать, взвинченного своими рискованными предприятиями и спекуляциями отца, — желание сблизиться с ними пропадало и возникало одно упрямое и несгибаемое решение: никогда в жизни не идти по их стопам! И дальше все шло по-старому. Принужденные разговоры, холодные взгляды, отчужденность с обеих сторон при встрече и одинокие часы в своей комнате, заполненные чтением и размышлениями.

Однажды вечером он услыхал на улице свист и крики. Перед домом Энгельсов стояли гимназисты, почти вся старая компания из Эльберфельда. Фридрих быстро сбежал вниз по лестнице.

— Если гора не идет к Магомету... — крикнул при его приближении Вильгельм Гребер.

— Простите, — сказал Фридрих, — но ваши приглашения...

— Никакого отпущения грехов грешнику, — возразил Штрюккер.

— Ты избегаешь нас, как бешеных псов, — добавил Вемхёнер. — Разве мы это заслужили?

Эльберфельдцы не могли выбрать лучшего времени для своего визита.

— Заходите! Сейчас добуду пару бутылок мозельского! — просиял Фридрих.

Но гимназисты отказались. Они зашли за ним. Нужно было навестить нового жителя старого Вупперталя, друга поэзии и искусств.

— Какого друга? — спросил Фридрих, несколько разочарованный тем, что они явились не ради него.

— Угадай!

Фридрих пожал плечами:

— Да кто может появиться в таком захолустье!

— Он служащий конторы коммерческой фирмы, как и ты, — сказал Гребер.

Лицо Фридриха омрачилось. Служащих, бухгалтеров, коммерсантов он достаточно насмотрелся. Целыми днями он видел одни только их рожи!

— Ступайте без меня. Это неинтересно!

— Нет, он действительно не догадывается. — Гимназисты весело переглянулись. Вемхёнер процитировал:

Душа моя твердит все то же:
Посев наш на полях растет!
С солдатом-хлебопашцем схожи,
Встречаем солнца мы восход.
И видятся мне счастья годы,
Тяжелым сном уходит прочь
Все, что тревожило народы,
И давней станет эта ночь*

— Фрейлиграт! — угадал Фридрих. Не прошло еще и года с тех пор, как между гимназистами стали циркулировать стихи новой звезды в немецкой поэзии.

— Да, Фрейлиграт, — подтвердили друзья.

И так как Фридрих все еще ничего не мог понять, Гребер воскликнул:

— Фрейлиграт стал твоим новым соседом!

— Это правда?

— Как и то, что ты видишь нас перед собой. И он непременно хочет познакомиться с нашим лучшим школьным поэтом.

— Да ведь вы говорили о каком-то конторском служащем?

— Да, он служит у Эйнера, он коммерсант и поэт в одном лице. Как и ты.

Фридрих побежал за шапкой.

— Что ж вы сразу не сказали? Где он живет?

— На Ротплац. В старом доме Лангенвишей.

— Этот дом я знаю.

— Не забудь свои стихи!

В гостиной большого дома на склоне горы было полно народа. Фридрих сразу узнал доктора Клаузена и своего первого учителя, Кёстера. Рядом с ними сидел Потхоф, директор «Музеума». Был и Герман Пютман, добродушный толстяк, новый редактор «Барменского листка», поселившийся у дяди Августа. Был и бородач в берете, известный художник Кётген из Эльберфельда, «Рембрандт из Вуппер-таля», как иронически называл его доктор Клаузен. Все много смеялись и пили. Поднимали тосты за Бахуса и поэзию. Хозяин дома, широкоплечий человек с копной

* Перевод Т. Сильман.

ниспадающих волос и светлыми, сияющими глазами, радостно приветствовал гимназистов.

— А вот и Фридрих Энгельс, о котором мы говорили. Без сомнения, наше самое большое поэтическое дарование, — представил его доктор Клаузен.

— Пусть сразу же это докажет, — потребовал Фрейлиграт, поддержанный гостями.

— «Прощание юного Зигфрида!» — предложил Клаузен.

Фридрих огляделся. Глаза всех присутствующих были устремлены на него. Волей-неволей пришлось вынуть из кармана свою тетрадку. Но тут в комнату из кухни вошел еще один человек с бутылкой вина в руке. Фридрих узнал его. Это был тот юноша, которого он провел на концерт Бетховена. После того вечера он еще не раз вспоминал о нем, но больше его так и не видел. Он снова спрятал тетрадку.

— Ерунда! — сказал он. — Если в наших краях и есть юное поэтическое дарование, то вот оно, — и он показал на молодого приказчика. — Пусть он и читает!

Фрейлиграт даже подскочил от неожиданности.

— Что такое? Георг, земляк мой по Детмольду? Пишет стихи?

Юноша покраснел и замотал головой.

Фридрих пришел ему на помощь.

— Пишет! Да еще как пишет! Намного лучше, чем любой из нас!

— Ты пишешь, стало быть, а мне ни гугу? А ну выкладывай, что у тебя есть, — возмутился Фрейлиграт.

Юноша стал отпираться, говоря, что в жизни своей ничего не писал, кроме школьных сочинений, писем и счетов.

— Так кому же верить? — спросил Фрейлиграт.

— Лжет он! — заявил Фридрих. — Я знаю одно его стихотворение. После концерта Бетховена, который давал в Эльберфельде Гюрцених, он мне его прочитал. А я запомнил — слово в слово: «Бетховен! Взору ты распахиваешь ширь! Трепещет сердце пред безмерной далью...»

После того как он кончил читать, на миг установилась тишина. Потом загремели аплодисменты. Юноша хотел убежать. Фрейлиграт поймал его у дверей.

— Чертенок! — Он заключил молодого поэта в объятия. — За это стихотворение ты заслуживаешь поцелуя. Имя Георга Веерта следует многим запомнить! Но за то, что

скрывал стихи от меня, ты заслуживаешь трепки!

Часы летели незаметно. Много было выпито, немало обсуждено, немало спето песен. Старые вязы и темные ели на Ротплац вряд ли когда слышали на своем веку столько насмешек над святынями немецкой нации, над ее коронованными особами, над ее церковными авторитетами. Чуть позже от Фридриха все-таки потребовали чтения «Зигфрида», и он пожал успех. Даже Вильгельм Гребер удостоился благосклонной похвалы великодушного хозяина за свои грустные притчи. Вечер был чудесный. Расставаясь, обещали друг другу собираться теперь почаще.

— Я хочу вдохнуть движение, беспокойство, жизнь в юную поросль фабрикантов! — восклицал Фрейлиграт. — Здесь крутятся самые быстрые маховики в мире, а люди просто дохнут от скуки.

Жизнь, беспокойство, движение — Фридрих ликовал! Фрейлиграт импонировал ему, он был не только поэтом божьей милостью, но и умным, душевным человеком, обаятельным и энергичным.

Еще более унылыми и скучными казались ему теперь часы в конторе. Однако мысль о предстоящей встрече у Фрейлиграта снимала хандру. Что это были за вечера!

Не удивительно, что молодежь — и эльберфельдские гимназисты, и бывшие ученики барменской реальной школы — принимала в этих вечерах все более широкое участие. Маленький домик на Ротплац не мог вместить всех желающих.

Владелец «Городского кувшина», почуяв наживу, предложил поэту устраивать свои вечера в его помещении. Однако Фрейлиграт обнаружил трактир на холме, подозрительное заведение между Эльберфельдом и Барменом, и сделал его своим излюбленным местом. Каждый четверг там теперь вместо скабрезных песен звучали изысканнейшие образцы новейшей немецкой поэзии в исполнении Фрейлиграта, Клаузена, Кёстера и Пютмана. Молодежь внимательно слушала, с замиранием сердца нащупывая в кармане собственные стихи, которые предстояло читать после старших.

Фридрих не пропускал ни одной встречи. Он чувствовал себя здесь будто в ином мире. Здесь спорили не ханжи-пиетисты и фанатички-старухи о всякой чепухе. Здесь говорили о духе времени, о философских течениях и политическом развитии Германии и всего мира, о том, как все это отражалось в современной поэзии.

Его юный друг из Эльберфельда Георг Веерт редко отваживался приходить на эти вечера. А если и приходил, то робко отсиживался в углу и никогда не выступал. Одному только Фридриху он признался в том, что пробует теперь записывать свои стихи. Ни за что на свете не соглашался он обнародовать плоды своих тайных усилий, и его оставили в покое.

С Фридрихом дело обстояло иначе. Он был явным фаворитом вуппертальской молодежи. И гимназисты, и ученики коммерсантов видели в нем своего трибуна. Он ввязывался даже в дискуссии старших, когда речь заходила о современной литературе. Но и доставалось ему больше других, если он являлся иной раз без своего нового стихотворения. Фрейлиграт не жалел тогда крепких выражений, безжалостно обличал его в постыдной лени. Так что ему приходилось использовать каждую свободную минуту, чтобы к очередному четвергу подготовить хотя бы восьмистишие. Материала хватало. Но как блекли его беспомощные рифмованные излияния рядом с чеканными ритмами и могучими образами, которые создавал Фрейлиграт! И как жалки они были на фоне того, что выходило из-под пера Гейне, Фаллерслебена и Ленау, которых декламировали Клаузен и Кёстер! И какими неуклюжими казались они рядом с нежной лирикой Аннетты фон Дросте-Хюльсхофф.

Однако Фрейлиграт подбадривал его.

— У тебя есть все, что нужно поэту. Сила переживания, сердце, язык, музыкальность и мысли, мысли прежде всего, глубокие собственные мысли. А все остальное — дело терпения и прилежания, которые необходимо проявить в поисках собственного стиля. Когда же найдешь его, созреешь для него — сразу освободишься от всяческого подражания, порвешь пуповину, соединяющую тебя с тем, что ты прочел.

Однажды вечером в кафе появился приехавший из Дюссельдорфа Иммерман. Он читал главы из своего нового романа «Мюнхгаузен». После той давней встречи писателя с трудом можно было узнать. В нем не осталось ничего от того молчаливого сухаря, с которым его когда-то познакомил дядя Август. Успех романа «Эпигоны», казалось, пробудил в нем новые жизненные силы. Темные глаза писателя излучали огонь.

— Откровения Иисуса Христа? Что вы под ними понимаете, господин доктор Клаузен? Насколько я знаю, история накопила огромное множество диаметрально противоположных истолкований этого предмета. А во времена самых

кровавых распрей, сотрясавших Европу, враждующие стороны всегда писали имя Христа на своих знаменах.

— И все же христианство оказалось той силой, которая сформировала единую европейскую культуру, определила ее историческое мышление и деяние, — заметил Кёстер.

— Ну что до этого, то религии Востока, буддизм и ислам, обнаружили куда большую жизненную силу, — сказал Фрейлиграт.

— Если так смотреть на вещи, то следует признать, что никакой истинной религии не существует вообще. Вероятно, таково ваше мнение, господин Иммерман? — спросил Клаузен.

— Совершенно верно, — ответил тот. — Любая из религий столь же хороша и столь же порочна, как ее оппонентка. Не религиозная система создает веру в бога, а древнее убеждение человека в воздействии на него трансцендентной силы, которое и подыскивает для себя в том или ином случае соответствующее метафорическое обрамление.

— Почему же в таком случае в старушке Европе победило именно христианство?

— Потому что эта религия лучше всего отвечала политическим устремлениям средневеково-феодальных наследников античного мира. Потому что они нашли покладистых союзников в епископах и священниках. И с их помощью смогли покончить с остатками родового строя, с сопротивлением племенных старейшин.

Фрейлиграт саркастически добавил:

— И, кроме того, покуситься на сокровища Востока, утвердить привилегии дворян, держать в жесткой узде простой народ, обирать до нитки собственных крестьян и подавлять всякое свободолюбивое движение.

Иммерман кивнул:

— И все это во имя господа, распятого на кресте.

— Жизнь — это страдание. А ценой страдания будет искуплено воскресение. Утверждая это, попы уверяют закованный в кандалы народ, будто его несчастная судьба предопределена самим богом и не может быть изменена, — сказал Пютман.

Такие мысли Фридрих встречал уже в книге папаши Ростана, а позднее в романах Вольтера, в сочинениях французских энциклопедистов. Ему показалось уместным задать давно мучавший его вопрос:

— Разве виноват Христос в том, что его именем так часто злоупотребляют?

Иммерман взглянул на него.

— Нет, мой юный друг, не виноват. И кинжал не бывает виноват в убийстве. Важно, однако, знать, в чьих он находился руках!

За столом Фрейлиграта была и еще одна гостья — молодая дама, красивая и грациозная, как фея, графиня Дюбуа. Она была в родстве с именитой французской знатью. О ней ходило немало самых фривольных слухов, и даже дядя Август утверждал, что однажды имел случай познакомиться с ней покороче. Она была единственной женщиной в этом собрании. Фрейлиграт и Иммерман соперничали в том, чтобы завоевать ее расположение.

Вскоре разговор зашел о Гёте, любимом поэте Клаузена.

— Только такой человек, как Гёте, с его глубочайшим умом, был в состоянии высмеивать тупоумие церковных демагогов, — сказал он.

Фрейлиграт вздохнул.

— Ах, опять этот Гёте. Единственный, великий, который все наперед продумал и написал за всех нас, солнце, в сравнении с лучезарным светом которого все мы не более чем несчастные тлеющие головешки.

Глаза Иммермана снова загорелись.

— Конечно, Гёте — человек великого, мирового ума, но — как и все мы — он немец, то есть человек, свято верящий в авторитеты, лояльный до самоотречения. Гений и филистер, переполненный мужской силой, жадный до жизни и знаний и в то же время верноподданный на немецкий манер. Мировой дух, склонивший голову перед скипетром. Так кончается немецкий полет к звездам. Так великаны духа превращаются в политических карликов. Таковы Лютер и Меланхтон, Кант и Гегель. Их охватывает дрожь от результатов собственного познания, и они трусливо отступают, ссылаясь на государственные интересы. Лишь бы подальше от бунта!

— А народ следует за своими пророками, — поддержал его Клаузен.

— Потребность пасть к ногам начальства, служить ему — вот немецкая страсть. При этом немцу важно еще уверять себя и всех в своей неподкупной честности. Он еще и гордится тем, что пожертвовал собственными убеждениями ради высших целей и необходимостей мирового порядка! Даже если речь при этом идет всего-навсего о том, чтобы уступить свою любовницу какому-нибудь похотливому

феодалу, — ехидно заключил свою тираду Пютман.

— Но дело ли поэта, философа и ученого влезать в дебри политики? Разве не обязаны они служить исключительно своему таланту и своей среде? — высказал сомнение Фрейлиграт.

— Да на что он нужен, талант, если он не в состоянии послужить общему благу? — резко заметил Иммерман.

На это Фрейлиграт возразил:

— С таким понятием, как общее благо, в поэзии, к сожалению, нечего делать.

— Почитай-ка Бёрне, мой друг! — сказал на это Иммерман. — Вот кто сумеет развеять твои сомнения!

Фридрих напряженно следил за ходом дискуссии. Бёрне! Он уже слышал это имя. Вспомнился рассказ аптекаря о празднестве в Гамбахе, о том, как приехал туда некий немец-республиканец из Парижа и как его чествовали и триумфально принимали...

— Бёрне? — спросил он. — А где его можно почитать?

— В архиве министра внутренних дел, — саркастически заметил Пютман. — Его сочинения служат там доказательством государственного преступления.

Собравшиеся еще долго спорили об ответственности поэта перед нацией, перед общественным благом. Аргументы защитников чистой науки и чистого искусства раззадорили Фридриха.

— Будь ты поэт, философ или ученый, — воскликнул он, — но если ты обладаешь истиной и не отдаешь ей всего себя, может быть, даже жизнь свою, то ты поступаешь бессовестно!

Француженка сверкнула в его сторону своими темными глазами и подбадривающе кивнула. Иммерман покачал головой.

— Все не так просто, мой юный друг. Жертвовать собой легко. Слепо идти на штыки, как в свое время горячие головы среди студентов в Гисене, или этот убийца Коцебу, или повстанцы в Гессене и во Франкфурте, — это еще не политическое деяние.

— Они подали сигнал!

— И испугали народ. И тем самым подготовили Германию к карлсбадским резолюциям, к венской конвенции министров, к тайным судилищам и цензуре, которая нас теперь душит.

— Но что же тогда делать?

— Прежде всего учиться отличать неизменное и изменя-

емое. И только за это последнее стоит отдавать все свои силы, всю свою стойкость и мужество.

— А что изменяемо?

— Пока только мысли и чувства. Вполне доступно, я полагаю, привлечь внимание общественности к истинным причинам кризиса немецкой действительности, каковыми можно считать лживость, неспособность и несостоятельность правящих князей, моральное разложение дворянства, использующего свои привилегии исключительно для личной корысти, пагубную роль теологической догматики, преследующей всякую свежую мысль. Так вот: сеять семена политического мышления, чувства государственной ответственности, самосознания — это немного, конечно, но этого достаточно, чтобы постепенно расшатать основы ханжеского и верноподданнического сознания.

— С тобой хочет познакомиться графиня! — остановил Фрейлиграт Фридриха, когда тот собрался уходить вместе со всеми.

Рука у нее была мягкой и нежной, и задержалась она в его руке дольше положенного.

— Помните ли вы еще тот давний воскресный обед в «Городском кувшине»? — спросила она его. — Вы были тогда еще совсем маленьким белобрысым мальчиком, а уже были приглашены к столу именитых горожан, которые вам аплодировали.

Фридрих вспомнил тот волнующий день после школьной проделки.

— Прошла уже целая вечность!

Графиня смерила его с головы до пят внимательным взглядом, так что он покраснел.

— Да, вы правы, прошла целая вечность! — Выдержав паузу, она спросила: — А теперь, говорят, вы пишете стихи?

Фридрих смущенно потупился. Эта женщина, ее темные с поволокой глаза, ее манера разговаривать — все это как-то смущало его.

— А, ерунда! — сказал он пренебрежительно.

— О, я так люблю стихи! — сказала она и с улыбкой добавила тихим, просящим шепотом: — Вы должны прийти ко мне в гости! И почитать мне свои стихи!

Домой Фридрих возвращался в приподнятом настроении. Мысли его вновь и вновь возвращались к прелестной графине. Пойду ли я к ней в гости? Может быть, если когда-нибудь получится подлинно хорошее стихотворение. Каким

оно должно быть? Ему вспомнились слова Иммермана о том, что поэзия должна влиять на мысли и чувства людей. Заставить людей почувствовать свою ответственность за свое государство, за политические события в Германии — на это способен только поэт! Он вспомнил о том, как проходило его собственное развитие. Зигфрид, Сид, Дон Кихот, герои Гомера, Вильгельм Телль Шиллера, наконец, Фауст Гёте — вот кто были кумирами его школьных лет. Что бы с ним стало, если б не они?

«Ах, стать бы поэтом! И силой слова искоренять лицемерие и рабское чувство, все то, что насаждает заклятый враг Круммахер! Фрейлиграт, Иммерман — это люди, которые в состоянии бросить вызов властям. Путь в науку ты мне закрыл, отец. Хочешь привлечь меня к своей проклятой коммерции. А что бы ты сказал, если б твой сын сделался литератором? И никакая сила в мире не может мне в этом помешать!»

Он принял решение. То, что было начато, как забава — стихи, памфлеты, проза, — следовало продолжить всерьез. Нужно добиваться, чтобы слова и мысли были острыми и разящими, как булатный клинок.

Но потом наступил тот вечер, тот ноябрьский вечер, когда взволнованный и перепуганный Пютман прибежал в трактир и ошарашил всех новостью о произволе его величества в Ганновере.

К этому времени было уже немало выпито, и настроение у всех было приподнятое. Фрейлиграт развеселил всех чтением одного стихотворения из «Газеты для немецкого дворянства». И вдруг:

— Эрнст-Август, король Ганновера, самовластно отменил конституцию!

Воцарилась тишина. Кто-то из новичков удивленно спросил:

— Разве у Ганновера была конституция? Интересно...

Пютман вскричал:

— Да вы что, не понимаете? Этот вшивый англичанин позволяет себе попирать ногами священные права народа!

Фрейлиграт подбежал к Пютману.

— Прежде всего сядь, Герман! — Он взял у него из рук газету, пробежал глазами заметку.

— С нами обращаются точно так, как англичане привыкли обращаться с жителями своих колоний где-нибудь в Индии или Африке. Жалкий жребий, друзья! Жалкий и невыносимый!

— Однако Ганновер — это не колония, а одна из немецких земель, — заметил Клаузен. — И, согласно ее конституции, король Ганновера должен подчиняться франкфуртским резолюциям.

— Союзный сейм не может согласиться с таким произволом, — сказал Потхоф.

Клаузен саркастически засмеялся:

— Союзный сейм? Вы всерьез полагаете, что это сборище князей станет защищать интересы народа?

— Я сам из Ганновера, — возразил Потхоф. — Конституция, которая так тяжело нам досталась, одобрена и ратифицирована Союзным сеймом.

— Извините, милый друг, — засмеялся Фрейлиграт. — Но я знаю вашу так называемую конституцию. Она не что иное, как фарс! Несколько избранных имеют право совещательного голоса в вопросе о налогах. Вот и все.

— Вот и все?! — вскричал Пютман. — Да это больше, чем у нас в Пруссии. Для всех немцев погас последний лучик надежды.

— В этом вы правы, — согласился с ним Клаузен.

Фрейлиграт кивнул.

— Если так смотреть на вещи, то конечно. И этим дело не кончится. Сначала запретили «Молодую Германию», потом приняли закон об ужесточении цензуры. А теперь вот это. Если так пойдет и дальше, то мы скоро скатимся к средневековому деспотизму.

До сих пор Фридрих слушал молча. Вся значительность этого прецедента открывалась ему постепенно. Вспомнились парижские события 1830 года. Последний Бурбон тоже пытался покуситься на конституцию. И тогда буря возмущения охватила французов.

Фридрих вскочил на ноги.

— Предположим, немцы и дальше будут безучастно смотреть на развитие этих событий...

Он чувствовал, что все испытующе смотрят на него, слышал, как Фрейлиграт сказал:

— А что они могут еще, немцы?..

Как раз этот вопрос мучил его. Что они, немцы, могут? Он вспомнил отца с матерью за обеденным столом, дядю Августа и тетю Луизу, унылых конторщиков на фабрике, залы Певческой академии... Поговорят, поворчат, посудачат и перейдут к своим делам, если вообще не промолчат. И ничего больше. Больше ничего...

— Мы должны составить декларацию протеста —

зажигательную, ясную и отточенную, как кинжал. И теперь же, немедленно, не сходя с места! Все мы подпишем ее, а экземпляры срочной почтой направим этому вшивому англичанину в Ганновер, прусскому королю, Союзному сейму. Пютман напечатает декларацию в своей газете, господин Потхоф передаст ее «Эльберфельдской газете». И тогда посмотрим, какое это произведет впечатление. Популярное имя Фрейлиграта, известные всему городу имена Клаузена, Потхофа, Кётгена, Пютмана, Кёстера... — Фридрих умолк. Он почувствовал, что его не поддерживают.

Глаза присутствующих избегали встречаться с его глазами.

— Значит, нет, — выдохнул он разочарованно.

Ему стало трудно дышать. Красивые слова о свободе, о растущем самосознании, о благе народа... Он сел.

— Я бы рискнул! — сказал Пютман в наступившей тишине. — Попробовал бы обмануть цензора, поставив на карту свое место, а возможно, подставив себя и под судебное разбирательство. Но если все здесь... Я бы рискнул!

Доктор Клаузен, тончайший Клаузен, идол гимназистов, откашлялся:

— Но ведь мы не знаем всех деталей и обстоятельств этого дела...

Кёстер:

— И как бы мы ни были возмущены, не лучше ли подождать реакции народа?

Георг Веерт, маленький приказчик, впервые взял слово:

— А что такое народ, господин учитель? Разве мы не народ?

— Я имею в виду прежде всего тех, кого это в первую голову касается. Население Ганновера.

Разгорелась дискуссия. Фридрих к ней почти не прислушивался, ибо тот единственный, слово которого все бы решило, молчал. Фрейлиграт молчал долго. Наконец он встал.

— Герман, Фридрих, маленький мой Георг, я понимаю ваше возмущение. Все мы разделяем ваше чувство. Ты не прав, Генрих Кёстер. Это дело касается не одних только ганноверцев. Оно касается всех нас, всех немцев. Мы не были бы друзьями, если бы по-разному смотрели на священные права народа. Но мы в первую очередь чтим свободу совести каждого. Поэтому я против совместной декларации, как бы привлекательно она ни выглядела. Каждый должен поступать по велению собственной совести. Протестовать

или молчать — дело личного выбора. Лично я буду протестовать. Не в форме политического памфлета, но средствами, которыми располагаю как поэт.

Возникшая было напряженность мигом исчезла. Вздох облегчения прокатился по рядам. Легче стало и эльберфельдским гимназистам, которым предстояло поступление в университет. Поэт, сумевший столь мудро и ко всеобщему удовлетворению разрешить щекотливую ситуацию, стяжал громкие крики одобрения: «Да здравствует поэзия! Да здравствует наш Фрейлиграт!»

Фридрих незаметно поднялся. Воздух на улице действовал освежающе. Туман располагал к одиночеству. Он медленно побрел по неосвещенной дороге в долину. Голоса из трактира доносились все приглушеннее. На память пришли строки Гёте: «Трусливых мыслей юркость, суета...»

Вдруг рядом с ним послышались чьи-то шаги. Кто-то положил руку ему на плечо. Он обернулся и увидел рядом с собой Фрейлиграта. Тот выглядел утомленным и недовольным собой.

— Ну что, мой юный друг, ты разочарован?

Фридрих не отвечал.

— Я хотел просить тебя проводить меня домой.

— Почему?

— Да ведь выпито сегодня изрядно. Дай-ка мне руку!

— Пожалуйста! — ответил Фридрих.

— Зима в этом году будет ранняя.

— Возможно.

— Достанется и людям, и зверям.

— Но не вам и не мне.

— Нет, не мне и не тебе. А беднякам.

Разговор оборвался. Фридрих молча вел через лес спотыкающегося поэта. Только когда они были уже внизу, на дороге к Эльберфельду, Фрейлиграт снова заговорил. Он больше не задавал вопросов. То, что он говорил, было монологом. Он говорил о себе, о своих сомнениях, которые он скрывал под маской преуспевающего поэта. Потом заговорил о своей юности. С любовью описал отца, скромного учителя в Детмольде, который в голове своей копил мудрость величайших мыслителей, но всю жизнь прозябал в карликовом государстве среди тупых обывателей, презиравших его за бедность.

— В душе его жила самая глубокая жалость к детям бедняков. Но он был слишком беден и слишком слаб, чтобы чем-нибудь помочь им. Меня, единственного своего сына,

лучшего ученика детмольдской гимназии, он, скрепя сердце, вынужден был выпустить в мир без всякой поддержки. Рожденный, может быть, для успехов в науке, я влачил самое жалкое существование, целиком завися от подачек толстосумов-благодетелей. Пришлось учиться на коммерсанта. По четырнадцать часов в день за конторкой. Не тебе рассказывать, что это такое. С мечтами о науке пришлось расстаться. Надежда была задушена. По ночам я убегал в далекий мир стихов Оссиана, романов Вальтера Скотта, баллад Уланда. Эти ночи и стали моей истинной жизнью. Стал я и сам писать стихи. Все больше о далеких странах, в которых никогда не бывал. Как вдруг фантазии мои были напечатаны и кое-кому пришлись по душе. В один прекрасный день сын бедного учителя сделался знаменит. Отец до этого не дожил. Стихов от меня стали требовать все больше и больше. Не важно каких, читатели бывали довольны и тем, что речь в них шла не о их постылой действительности. Не знаю, насколько я талантлив. Когда я думаю о Гёте, Байроне, Шелли, то бледнею от зависти. Я чувствую, что мне следовало бы сражаться с пером в руках, как это делают Бёрне, Гейне, Бюхнер. Я завидую их мужеству. Разделяю их взгляды. Но мне было бы страшно разделить с ними судьбу. Изгнание из отечества, беспросветная бедность — я страшусь всего этого. От меня требуют, чтобы я поддержал подлеца и доносчика Менцеля. Требуют, чтобы выступил против Гейне, Бёрне и запрещенных младогерманцев. Я устроил себе убежище на нейтральной платформе, хотя я, как и они, ненавижу эту дворянскую сволочь, воображающую, что ей дано судить духовную культуру. Вместо того чтобы писать баллады о пустынях, я бы хотел говорить о нуждах бедняков. Хотел бы написать о тех унижениях, которые выпадают на долю духа в нашем благословенном отечестве. Не знаю, удалось ли бы мне это.

— Удалось бы!

— Может быть. Но я не решусь. Из страха. Я боюсь.

На глазах его показались слезы. Фридрих опешил. Видеть, как плачет сильный, уверенный в себе человек! Он плотнее прижал к себе руку Фрейлиграта.

— Ты сегодня так пламенно говорил. Я должен был бы обнять тебя. А вместо этого... Я самый жалкий трус среди поэтов.

Фридриха эта исповедь напугала. Что он мог посоветовать? Как утешить? Ему самому хотелось заплакать из-за бессильного сочувствия к человеку, смелости и независимо-

сти которого он завидовал всего час назад. Что он мог сказать ему в утешение? Ничего, ровным счетом ничего.

Так добрели они до дома на Ротплац. Фрейлиграт замолчал. Нужно было что-то ему сказать. И тут совершенно машинально Фридрих произнес:

— Я буду за вас молиться.

Поэт с удивлением, широко раскрытыми глазами посмотрел на Фридриха.

— Ты прелестен! — воскликнул он, весь сотрясаясь от смеха.

Фридрих ошарашенно смотрел на него. Фрейлиграт обнял его и сказал:

— Забудь все, что я тебе наговорил, душа моя. Забудь! Пусть твоя детская вера останется с тобой! Она даст тебе мужество, которое необходимо мужчине для борьбы. Но если ты хочешь не просто бороться, но и оказаться на стороне победителей, тогда положись лучше всего на свой разум! Забудем все, что было, будем дружить по-прежнему. Никогда больше не услышишь ты от меня ни единого слова отчаяния и уныния!

По пути домой Фридрих чуть не сгорал со стыда. Слова, которые вырвались у него в ответ на откровения Фрейлиграта, были достойны разве что дядюшки Снетлаге. Дурацкие, поповские слова. Он выломал в кустах себе палку и ею прокладывал себе путь в зарослях. Успокоился он только дома.

Поэтическое настроение улетучилось. Возвышенные слова поэтов, как обрывки героических снов, — к нашей жизни они не имеют отношения. Между ними и нами пропасть. Может, об этом и говорил как раз дедушка? «Гляди на землю и ничего не бойся...»

Он молился богу. Но где-то глубоко-глубоко в душе его жили сомнения. Что толку от мужества, которое должно быть подкреплено господом? Я живу на деньги моего отца и зимой не замерзну. Однако есть на земле люди, которые будут мерзнуть и даже погибать. И вот, стало быть, одни христиане предоставляют другим христианам гибнуть от холода! И господь не противится этому...

Однажды в конторе заговорили о сенсации: Фрейлиграт и графиня Дюбуа! Эту новость принес толстяк Браке. Служащие загадочно поглядывали на Фридриха. Всегда, когда речь у них заходила о Фрейлиграте, все смотрели на него, так как знали, что он поклоняется этому поэту.

— Да уж, теперь порастрясет он денежки! Сколько ни

заработай, все будет мало! — злорадствовал Браке. — Что касается меня, то я предпочитаю фабричных девчонок. С ними не бывает проблем. За какой-нибудь пустячок готовы на все услуги. Как парижские кокотки, — ухмыльнулся Браке. — Вот уж кто быстро усваивает любую науку, только сумей их научить.

Фрейлиграт и Дюбуа! Сын бедного учителя и окруженная ореолом загадочности молодая родовитая француженка. Фридрих вспомнил, как недавно встретил их вместе. Они ехали в коляске. Фрейлиграт правил лошадьми, графиня сидела рядом. Увидев его, они улыбнулись и помахали ему. Ах, быть бы поэтом, независимым и свободным!

В газетах появились сообщения о протесте семи гёттингенских профессоров. Оказал сопротивление и целый город — Оснабрюкк во главе с бургомистром Иоганном Штюве. Однако надежды на немецкий Союзный сейм не оправдались. Австрия и Пруссия проголосовали за то, чтобы не вмешиваться в ганноверские дела. Их поддержало, разумеется, большинство. И все-таки восемь голосов было подано против произвола ганноверского короля. Бавария, Саксония, Веймар, юго-западные немецкие княжества, имперские города. Семь честных гёттингенцев поплатились за свой поступок увольнением и высылкой. Пютман имел мужество процитировать в барменской газете выступление правоведа Дальмана. Этот выпуск газеты произвел в Вуппертале настоящий фурор. «Что же мне впредь говорить студентам, что закон — это то, что удобно власть имущим? Я скорее покину эту страну, чем стану выдавать ложь за истину. Я всегда свято соблюдал долг законопослушания, но я не могу признать своим долгом рабство».

В кружке Фрейлиграта речь о событиях в Ганновере больше не заходила. Совсем другое занимало поэта. Издатель Гёте Котта выпустил огромным тиражом томик стихотворений Фрейлиграта. Рецензенты захлебывались от восторженных похвал. Его заметили за границей. Лик его просиял: больше никаких слез, никакого уныния! Но и, как заметил Фридрих, больше никакой политики.

> Бивуак. Костер. Палатка.
> «Кто там?» — крикнет часовой.
> Кони сгрудились гурьбой...

Да, это был Фрейлиграт, его язык, его ритмы, его умение вдохнуть жизнь в далекие от повседневности предметы.

На возвышении торжественного зала «Городского кувшина» стоял знаменитый в немецких землях поэт и музыкант Карл Лёве. Совершая турне вниз по Рейну, он остановился в городе, чтобы встретиться со своими коллегами-поэтами. В этот вечер Фрейлиграт созвал всех своих вуппертальских друзей. Те явились в сопровождении самых красивых юных дам Бармена и Эльберфельда. Белые шелковые платья, черные вечерние костюмы, зал, залитый светом сотен свечей. Отпрыск бедного учительского дома, сопровождаемый графиней Дюбуа, не жалел ни шампанского, ни самых изысканных блюд. Он пировал, как князь. Да разве и не был князем он, первый среди немецких поэтов, чьи стихи передавали из рук в руки? Уланд и Рюккерт вышли из моды и пылились на полках, век романтиков миновал, Платен умер, Ленау скитался где-то в далекой Америке, Гейне жил в Париже и был под запретом. А тот, кто понимал дух времени, кто умел ладить с миром и мог заранее прикидывать размеры успеха, ударяя по своим поэтическим струнам, тот чувствовал себя триумфатором. Пусть кое-кто и брюзжал, выражая неудовольствие оттого, что он разменивал талант на экзотические пустяки, забывая о жгучих национальных проблемах, — от такой критики популярность его только возрастала. Пусть метал громы и молнии по его адресу Круммахер, браня за языческую распущенность, — все равно всяк в городе, кто был молод и кто мог позволить себе фрак, был в этот вечер здесь, считая для себя честью принадлежать к друзьям Фрейлиграта. Каких только людей не было в его окружении! Были здесь и самовлюбленные болваны, которые ни за что на свете не смогли бы отличить александрийский стих от гекзаметра, и ловкие дельцы из выскочек, и случайные баловни счастья из бывших крестьян, земля которых оказалась на месте проведения железной дороги, благодаря чему несказанно их обогатила, были отпрыски новых фабрикантов, обогащавшихся за счет оплаты труда товарами. Фрейлиграт собирал вокруг себя всех без разбора. С того ноябрьского вечера он сделался необыкновенно популярен. Все тянулись к нему, и с каждым, кто был платежеспособен, он готов был пить на брудершафт. Новые друзья не уставали благодарить его за то, что он их приблизил к себе, щедрыми и обильными застольями. Из трактира на холме компания перекочевала в «Городской кувшин», который был удобнее расположен и имел в ассортименте лучшие вина. На вечерах, устраиваемых Фрейлигратом, пили все больше. И давно уже не велись

серьезные разговоры о литературе и духовных проблемах. Преобладали плоские конторские анекдоты и сплетни из немецкой деловой жизни. Фрейлиграт и здесь выказал себя мастером, блистая остроумием и эрудицией. Он всегда умел найти нужный тон, чтобы понравиться окружению. Доктор Клаузен и большинство гимназистов из Эльберфельда исчезли еще в декабре, возобновив свои безобидные курительные ассамблеи в доме Ханчке. Фридрих остался. Вместе с Пютманом, Кёстером, Кётгеном и Потхофом он принадлежал к элите, которая, к зависти всех прочих, сидела непосредственно за столом поэта. За этим столом была своя атмосфера.

И вот праздничный вечер в честь приезда Лёве. Фридрих впервые в жизни во фраке... Он выпил, а выпив, напрочь забыл о своем твердом решении ни за что на свете не танцевать. Юные дамы очаровали всех. Для благочинных пиетистов их декольте были смелы, а танцевальная походка обольстительна, как сам дьявол. Из Дюссельдорфа прибыла капелла. Венский вальс заворожил весь зал. За ним последовала премьера оратории Лёве на слова баллады Фрейлиграта — подарок гостя хозяину. Успех был шумный. Под конец пели всем залом «Наш рыцарь принц Евгений...».

Фридрих веселился вместе со всеми. Ты хотел привнести движение в косную купеческую жизнь, Фрейлиграт. И ты этого достиг! Правда, не так, как ты это провозгласил в первый свой вечер. Но какая разница? Ни один из тех, кто пришел сюда сегодня, никогда уже не попадет в сети Круммахера. У кафе толпилось множество любопытных. Слушайте, думал Фридрих, слушайте и смотрите, как в новом поколении начинается новая жизнь...

Посреди выступления Лёве к Фридриху подошел вдруг какой-то пьяный и повис у него на шее:

— Энгельс, дружок, дай обниму тебя! Какая роскошь все-таки пировать с нашим Фреди. Пойдем, выпей с нами!

Молодого человека звали Бирляйн, он был сыном одного из выскочек-фабрикантов, платившим своим рабочим товарами. За ним стояло еще несколько подвыпивших молодых людей такого же типа. Фридрих брезгливо стряхнул его с себя и знаком призвал молчать. По счастью, снова вступил хор, и бормотания Бирляйна не стало слышно. А там и вовсе грянули аплодисменты.

— Композитору и певцу виват! Поэту виват! Да здравствует Лёве, да здравствует Фрейлиграт! Да здравствуют поэзия и музыка!

Какой-то крестьянского вида парень с расплющенным носом из компании Бирляйна кричал:

— Да здравствует жратва, да здравствует выпивка, да здравствуют девки!

На него не обращали внимания. Все повернулись к столу Фрейлиграта. Там тем временем наполняли бокалы. Лёве обращался к графине:

— Позвольте поднять бокал за великий французский народ! В вашей нации мы чтим успехи свободы и завоевания прав человека...

— И революции, — добавил Фрейлиграт.

В зале зааплодировали. Но тут к почетному столу, шатаясь, подошел Бирляйн.

— Революция, свобода, власть плебса — все это мусор! — заплетающимся языком заявил он. И, встав в позу перед графиней и Лёве, добавил: — Единственно значительное, что произвела великая нация, — это коньяк, сыр и проституция!

В зале воцарилось ледяное молчание. Графиня вскочила из-за стола и с криком «Хам!» влепила толстяку пощечину.

— Как вы смеете оскорблять моих гостей! — закричал на малого Фрейлиграт.

— Да я всего-навсего пошутил, — пролепетал несколько протрезвевший бузотер. Дружки увели его.

— Он оскорбил не только меня, — слышался голос графини, — он оскорбил Францию, мою нацию, мой народ.

— Это же пьяный, Клодина. Не обращай внимания, — уговаривал ее Фрейлиграт. И, повернувшись к залу, крикнул: — Забудем об этом инциденте, друзья!

Он подал знак музыкантам. Лёве пригласил графиню на танец.

— Ты позволишь, Фердинанд?

Графиня рассеянным взглядом окинула Фридриха, у которого как-то пропала охота искать себе партнершу. Он присоединился к Пютману и Кёстеру, которые вели скучный диспут об особенностях рейнских народных песен. Однако глазами он непроизвольно искал в толпе танцующих стройную, грациозную фигуру Дюбуа, которая старалась держать на расстоянии потеющего Лёве.

Танцуя, они приблизились к нему. Фридрих перехватил ее взгляд и услыхал у самого уха ее жаркий шепот:

— Пригласите меня на следующий танец, Фридрих, пожалуйста! Спасите меня!

Он кивнул. Лицо его горело. Он огляделся. Никто за

столом ничего не заметил. Рука его отодвинула бокал. Нет, теперь пить больше нельзя! Он нервно поднялся. Графиня, стучало у него в голове, графиня! Достаточно ли хорошо я танцую? Сердце его сильно билось. «К чему бы это?» — сердито спрашивал он себя. Танец тянулся бесконечно долго. В перерыве в него снова, как клещ, вцепился Бирляйн:

— Это опять мы, Фреди. — Малый с расплющенным носом сунул под нос ему полный бокал. — Выпей с нами, Энгельс!

Фридрих отодвинул бокал и хотел молча отойти в сторону. Его задержали:

— Не хочешь с нами знаться, не так ли? Считаешь себя сортом повыше из-за того, что Энгельсы раньше других нажили свои денежки?

Фридрих чуть было не вскипел, но вовремя сдержался и ответил спокойным ледяным тоном:

— Не имею чести быть с вами знакомым, сударь.

Тут из этой компании выдвинулся еще один парень.

— Это мои друзья. Или меня ты тоже не помнишь?

Рыжие волосы, веснушки. Как же, как же: городская школа, сынок ландрата, граф фон Байсель, такой же толстый, как и тогда.

Подошел великан Вемхёнер, а с ним еще несколько друзей:

— К тебе кто-нибудь пристает, Фридрих?

Веснушчатый отпрыск графа засуетился:

— Ну, какое там пристает! Просто хотим выпить за свидание. А старые распри мы давно похоронили. Ведь мы теперь люди одного круга!

— Пейте без меня! — сказал Фридрих.

А Вемхёнер добавил:

— И лучше где-нибудь в другом месте, чтобы не было неприятностей.

Сынок ландрата с дружками немедленно ретировался. Не отставал один только пьяный Бирляйн:

— Да, Энгельс, уж такие мы сякие фабриканты. Даем рабочим вино вместо зарплаты, а не заводим на фабрике школ, как чистюли Энгельсы, — говорил он притворно жалобным голосом. Его приятель с расплющенным носом стал оттаскивать Бирляйна в сторону. Тот, сопротивляясь, кричал уже издалека: — Но, в сущности, все мы делаем одно и то же! А именно: деньги, деньги, деньги!

Фридрих поблагодарил Вемхёнера за помощь. Настроение его внезапно испортилось. Разве не прав этот Бирляйн

из компании отъявленных выжиг и спекулянтов? Разве не делали они одно и то же? Он и не заметил, как снова заиграла музыка. Из оцепенения его вывел голос графини:

— Вы забыли меня, mon chéri?

— Простите, графиня. У меня как-то пропало желание танцевать.

Графиня удивленно взглянула на него.

— У меня тоже. Я полагаю, нам с вами здесь больше нечего делать.

На улице она подвела его к своему экипажу и вручила поводья.

— Вы знаете дорогу? — Он кивнул. — Тогда вперед! Чего же вы ждете?

Коляска катилась легко и плавно. Он пустил лошадь рысью. Тяжелые мысли улетучились сами собой, он чувствовал себя легко и свободно.

— Отчего же вы не заходите ко мне?

— Хотел сначала написать что-нибудь хорошее. Что-нибудь настоящее, значительное...

Она игриво ударила его по руке.

— Какой глупый. Разве из-за этого можно заставлять женщину ждать?

Он не нашел что ответить. Мысленно он представлял себе ее особняк на краю леса. Быть наедине с ней... Воображение рисовало фантастические картины и ситуации... Сердце его готово было выпрыгнуть из груди. «Глупости!» — говорил ему трезвый разум. Графиня, красавица, и вдруг увлечется каким-то зеленым юнцом, учеником коммерсанта! Ей понадобился кучер, и вот эта роль как раз по тебе...

Четверть часа спустя он сидел напротив нее в ее маленьком уютном будуаре. Пили чай с печеньем, он рассказывал о родных, о доме, о братьях и сестрах, об Ульрике, о гимназии и литературном кружке в доме Ханчке, о том, как он начал писать рассказ о морских разбойниках и что из этого вышло. О матери он почему-то рассказывать не стал, и об Агнессе тоже. Самое невероятное, однако, было в том, что рассказывал он весело, в ироническом ключе, как будто никаких серьезных проблем у него никогда и не было, не было ни смерти дедушки ван Хаара, ни утомительного скучного просиживания в конторе, ни похороненных надежд, ни укусов уязвленной совести.

Хозяйка дома, однако, не смеялась, она смотрела на него задумчиво и серьезно. Посерьезнел и он — и замолчал. Раз-

лив снова чай, она погладила его по волосам. Жест был совсем не материнский.

— Бедный Фриц!

Он почувствовал, как снова ужасно покраснел.

— Теперь вы все знаете обо мне, графиня...

— Называйте меня Клодина!

— А я ничего не знаю о вас, Клодина.

— Ничего? Разве? — спросила она с каким-то ироническим подтекстом.

— Кроме тех романтических историй, которые на все лады пересказывают в городе.

Она улыбнулась.

— При этом в жизни моей нет ничего необыкновенного: молодая дама из весьма обедневшей дворянской семьи, потеряв во время путешествия по Европе своего возлюбленного, предпочла скромную, но независимую жизнь за границей обычной скуке благопристойного брака. Вот и вся романтическая история.

Она допила чай и встала.

— Вам пора идти.

Поднялся и Фридрих. Сквозь неплотно задернутые занавески пробивался рассвет.

— Да, пора. Если меня здесь увидят соседи, у них появится новый повод для пересудов.

Хозяйка дома принесла его пальто.

— Я делаю что хочу и плевать хотела, говоря попросту, на то, что обо мне говорят. Но ваша мама, должно быть, очень обеспокоена вашим отсутствием.

Она помогла ему одеться.

— Мне уже восемнадцать, — соврал он, — и что касается моей мамы, Клодина...

Она зажала ему рот рукой:

— Тсс!

Он удержал ее руку, стал целовать ее. Она не отнимала руки.

— Клодина... — выдохнул он. Она смотрела ему в глаза. В лице ее не было ни иронии, ни привычного торжества бывалой соблазнительницы. Он видел перед собой только ее глаза, в которые он проваливался, как в бездонную пропасть. Он обнял ее за нежные плечи. Запах ее волос пьянил. Он закрыл глаза и поцеловал ее — впервые в жизни поцеловал женщину.

Но вдруг она отстранилась.

— Ты еще совсем не умеешь целоваться, mon chéri, —

непринужденно заметила она, улыбаясь. И нежно провела рукой по его волосам, убирая их с лица. — Приходи ко мне в субботу на чай. Итак, в субботу!

— Так долго ждать, Клодина? Зачем так долго?

— Да, так долго, mon ami, так долго. И ты принесешь мне свое стихотворение и историю о корсарах, хорошо? Au revoir, mon ami!

— Au revoir, Клодина.

— Au revoir, au revoir!

Такова жизнь. Так устроен мир. Вчера еще беспросветная тьма, а сегодня сплошной яркий свет. Он помчался вперед, не разбирая дороги, навстречу утру. Не по улице, где уже попадались спешащие в церковь первые прихожане, а по тропинке в горы. Он бежал, пока не выбился из сил. Обнимал деревья и целовал капли росы на листьях. Сердце его стучало от счастья.

Неделя тянулась сплошной адской пыткой, но суббота вознаграждала за все муки ожидания. Это была небесная гармония взаимного растворения и согласия. Но потом во все это стали вкрадываться какие-то фальшивые нотки. Поначалу едва заметные. То Клодина оказывалась в дурном настроении, и ее приходилось долго умасливать. То она выказывала недовольство, когда он настаивал на том, чтобы таких дней было больше, чтобы они не ограничивались одним свиданием в неделю. Май выполнил далеко не все, что обещал март, но все же достаточно, чтобы поддерживать пыл юного поэта. Из-под пера его потекли стихи. Все, все становилось поэзией — чувства, мысли, боль ожидания, радость исполнения...

Но каковы мукертальцы! У них тысячи глаз и ушей. И по лицу мамы, которое вытягивалось все больше и больше, было заметно, что чаша ее терпения скоро переполнится.

Так и случилось — в последнее воскресенье мая. Отец только что вернулся из Манчестера. У него было великолепное настроение победителя. Давно запланированное английское предприятие увенчалось успехом. «Эрмен и Энгельс», самый дешевый трикотаж в мире и самая дешевая рабочая сила в Европе, английская техника плюс немецкое ремесленное мастерство — предпринимательский шедевр мистера Фридриха Энгельса существовал! Скромный господин попечитель учебных заведений и председатель церковного совета мигом превратился в самого значительного предпринимателя Вупперталя, к тому же он обрел независимость от своих братьев и был свободен в своих решениях. По этому

поводу ему так хотелось потолковать в субботу со своим старшим сыном, со своим наследником, потолковать и распить бутылочку. Но того весь день не было дома. И у матери было озабоченное лицо, а в ответ на расспросы она стала делать многозначительные намеки...

После церкви Фридриха позвали для неприятного разговора в гостиную. Мама и великий предприниматель сидели за столом, поджидая его. К чему лгать, лукавить, изворачиваться? К тому же Фридрих был готов к этим вопросам и не видел в правде ничего дурного.

— Да, я бываю в ее охотничьем домике. По субботам, начиная с марта. Люди не врут, и предположения их верны...

— Стало быть, правда, что графиня...

— Да, отец. Клодина и я...

— Клодина! — с ужасом воскликнула мама.

— Мы любим друг друга.

Отец сначала не поверил своим ушам и озадаченно поглядел на Фридриха. Никакой бури, однако, не последовало. Отец рассмеялся.

— Кажется, тебя это мало беспокоит, — с упреком сказала мама.

— Беспокоит? Напротив, Элиза, напротив! Ничего другого я от него и не ожидал, душа моя. У него моя кровь. Дикая, пламенная кровь Энгельсов, которым пришлось отвоевывать свое место под солнцем в неравной борьбе против папистов. Ему надо перебеситься. И лучше уж в объятиях красотки, чем в опасностях бессмысленного бунта. А Дюбуа, прости, моя милая, драгоценная Элиза, такая красотка, что перед ней охотно капитулировали бы многие из столпов местной набожности...

Мама высказала свои опасения. Возраст Фридриха, толки людей...

С последним отец согласился.

— Это верно. Нельзя допустить, чтобы старые вуппертальские кумушки перемывали нам косточки. Перебеситься ему надо. Но не здесь! Не в этом городе, где всем сразу же становится известен каждый шаг любого жителя.

— Ты хочешь его отослать? — испуганно спросила мама.

И тут было произнесено важное, решительное слово, от которого перехватило дыхание и сильнее забилось сердце.

— Да, отослать. И чем скорее, тем лучше.

К первой радости примешалась тревога из-за Клодины.

Как-то она отнесется к этому сообщению? Фридрих поспешил к ней.

— Я должен буду уехать, Клодина.

Она с улыбкой погладила его по волосам.

— Это счастье для тебя.

— Но наша любовь...

— Она была прекрасна, mon ami, прекрасна, как это лето, но и так же преходяща.

Она ничем не омрачила прощания. И только теперь радость от предстоящего отъезда стала полной. Он заторопился в Эльберфельд.

Фридрих распахнул дверь комнаты Греберов в знакомом доме Ханчке. Так он и думал. По четвергам вся компания была в сборе. Окутанные клубами дыма, его приятели вместе с Клаузеном и папашей Ханчке проводили очередную свою курительную ассамблею.

— Привет вам, друзья!

Вильгельм Гребер встал.

— Кто вы? Мы вас не знаем. Или кто-нибудь помнит этого господина?

За ним с совершенно серьезным выражением лица вступил Штрюккер:

— Знать не знаем!

А там и Бланк:

— Да и откуда? Ведь мы не видели его лет сто.

— А слухи ходят разные...

— О кутежах и амурах!

— Об одном юном поэте, который наслаждается жизнью в объятиях некоей графини, предоставляя своим несчастным друзьям иссыхать в дебрях древнегреческого и древнееврейского спряжений.

— Опомнись, нечестивец, погрязший в пороках и оставивший своих друзей без всякой стихотворной мзды!

Фридрих вынул из кармана тетрадь со стихами и бросил ее на стол.

— О маловерные! Как вы могли сомневаться в моей верности? Вот вам целый том стихотворений! Да, господа, была и графиня. Но были и сомнения и муки поэтической души, искавшей освобождения! А в результате? Скандал в благородном семействе предпринимателей и мудрое решение удалить еретика-наследника из Мукерталя.

— Удалить? Что это значит? Тебя высылают?

— Да, высылают. Гонимый несчастным жребием, согбенный от жестокосердной кары, я поспешил к вам,

чтобы утешиться вашим сочувствием: отцовский суд приговорил меня к году высылки! — И Фридрих от души, ликующе рассмеялся. — Ну что вы с такой завистью уставились на меня?. В трактире на холме уже приготовлен зал для вас, для всех моих друзей. Мы, принц Фридрих, имеем честь пригласить вас всех на прощальный банкет!

...Фридрих поднял наполненный для прощального тоста бокал и оглядел зал. Здесь собрались все вуппертальцы, принимавшие участие в первых вечерах Фрейлиграта.

— На прощание я хотел бы поблагодарить вас всех. Когда мы впервые собрались здесь четыре года назад, в голове моей была настоящая каша. Призраки средневековых рыцарских теней. Тут же туманные мечты, неясные устремления, мучительные сомнения в смысле жизни. Слепой бунт против всего сущего без познания возможного и перспективного. Я вел бесцельную жизнь. Я принимал за действительность мои представления о ней и ходил, завернувшись в тогу отчаяния. Только с вами, благодаря вам я обрел то, что необходимо человеку, чтобы выстоять в наше жалкое время, — я обрел знания, дружбу и веру. В вашей среде открылся мне смысл поэзии и музыки нашего времени. Радостными, счастливыми глазами я заглянул в чудесный сад, в котором человек — властелин и творец всего прекрасного. И я понял: не в бессмысленном возмущении собственным горем содержится наша надежда на будущее, но в фаустовом стремлении к истине, к познанию. Только истина может освободить человека. Употребить всю свою богом данную силу на то, чтобы сражаться за будущую справедливость, за свободу, за счастье всех на этой земле, — вот мой прощальный обет. За это и выпьем!

Глава третья

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

Когда Союзный сейм во Франкфурте налагал запрет на произведения Генриха Гейне и писателей «Молодой Германии», никто из собравшихся там князей не подозревал, что результат будет прямо противоположен ожидаемому. До запрета вообще не было литературного направления с таким названием. Писатели «Молодой Германии» не составляли ни какого-либо объединения, ни школы, ни даже дружеского кружка. Напротив, все они были индивидуалистами, избегавшими любых союзов. Кроме Гейне, все это были

писатели молодые и мало известные, которым еще предстояло добиваться признания. И они собирались добиваться его в одиночку, выходя, как гладиаторы, на арену, где борются посредством мыслей и слов. У них не было никакой единой программы, их связывали только надежды и желание пойти новым, нехоженым путем. Винбарг придумал термин «Молодая Германия», чтобы хоть как-то отличить писателей нового поколения от устаревших уже романтиков.

И только резолюция Союзного сейма сделала писателей «Молодой Германии», неожиданно для них самих, составившими некую антиправительственную группировку, известными всему миру.

Отныне это направление стало фактом. Начался приток в него лучших литературных сил Германии. Теперь к нему примкнули все молодые писатели, которые не хотели поддерживать старый, прогнивший режим. Запрещенные авторы сменили место жительства и псевдонимы и продолжали писать дальше. К лету 1838 года, то есть через неполных три года после запрещения, они овладели уже портфелями редакций всех ведущих литературных журналов в Германии. Их нелегальные издания повсеместно ходили по рукам. Стало появляться что-то общее и в стиле их произведений, стремившихся удовлетворить новейшие духовные запросы общества. «Молодая Германия» стала важнейшим литературным движением в стране. Заслугой думающих, активных его участников стал отказ от вечного погружения в прошлое, поворот к современности, к ее злободневным и жгучим проблемам. А это в свою очередь демократизировало и форму их произведений — родился свежий, раскованный, живой стиль. И стареющий Меттерних, и господа из княжеского Союзного сейма ничего с этим не могли поделать.

Свободен!

Он стоял на набережной в бременском порту, подставляя лицо ветру с Везера и глядя, как уменьшается на его глазах пароход, увозивший его отцовское высочество по направлению к Роттердаму. В последний раз помахав вслед пароходу, он повернулся к порту с его сотнями парусов и вымпелов разных стран. Затем перевел взгляд на стены ганзейского города, над которым зеленел шпиль собора, виднелись крыши ратуши, почтенных фирм, отелей и ресторанов, а за ними взбирались на холм кривые улочки, стекавшиеся к

нарядным ярмарочным площадям с их винными подвалами и оплетенными кудрявой листвой беседками... Свободен!

С собственным полным кошельком в кармане он впервые в жизни остался один — в вольном ганзейском городе Бремене, а Вупперталь с его проблемами, разочарованиями, ограничениями остался далеко-далеко позади... Свободен, свободен!

Фридриху отвели уютную комнату на первом этаже с окнами на Везер, с отдельным входом со стороны сада. Отец хоть и поселил его, для пущего присмотра, в доме Тревирануса, своего знакомого пастора церкви святого Мартина, но присмотр оказался не докучливым. К тому же молоденькие дочки пастора с их живыми, стреляющими глазками отличались чем угодно, только не приличествующим сану отца смирением...

А если добавить, что и шеф Фридриха, Генрих Лёйпольд, ведавший торговыми связями с Америкой и заодно выполнявший обязанности консула королевства Саксонии, был человеком широким, размашистым, великодушным, в чем-то напоминающим сразу и дедушку ван Хаара, и папашу Ростана, то станет ясно, что веселенькая контора, в которой Фридрих здесь оказался, была вовсе не прусского и не мукертальского образца...

Сердце его ликовало, душа пела, он не шел, а летел по улице, насвистывая какую-то песенку, подобно матросам-американцам, которых немало попадалось на улицах...

Свободен, свободен, свободен!

Был летний воскресный день. Город мирно подремывал в послеобеденном зное. На улицах ни души. Фридрих прошел по торговой площади мимо городской стражи. Внимание его привлекли команды на бременском диалекте, последовавшие за звуком труб. Солдаты выстроились по сигналу: Фридрих не мог не улыбнуться, глядя на бравых стариков с оттопыренными животами. Одетые в яркие, красно-белые формы, они напоминали солдат на сцене дюссельдорфской оперы. Послышалась барабанная дробь и стук копыт с противоположной стороны площади. Прискакал офицер, за ним гуськом явилась смена караула — одиннадцать гренадеров с неимоверно длинными ружьями. Из винного погребка вышел красноносый пьяненький моряк в капитанской фуражке и, встав во фронт, заорал на северном диалекте, в котором «р» трещит, как сбиваемые кегли:

— Да здравствует гордая и непобедимая армия вольного имперского и ганзейского города Бремена! — И, помахав

фуражкой, добавил: — Я гражданин Бремена! Я гражданин Бремена!

Серьезные лица престарелых героев, как и вся обстоятельная церемония смены караула, производила комичное впечатление. Голос капрала звучал так, будто он вел на битву по меньшей мере дивизию.

«Непобедимая» бременская армия! Фридрих улыбнулся. Вспомнилось виденное им в 1830 году: марш пруссаков на запад, запах лошадей, кожи, мужского пота, табака... Вольный имперский и ганзейский город... Сколько бы он продержался против одной какой-нибудь роты прусских гренадеров?

Порыв ветра поднял пыль на улице, надвигались темные тучи. Сверкнула молния. За ней послышались раскаты грома. По мостовой ударили капли дождя. Фридрих спрятался под арку. Оттуда наблюдал он за продолжением смехотворной церемонии, не в силах сдержать смех. Посреди церемонии солдаты вдруг подхватились и бросились спасаться от дождя!

Через несколько секунд улыбка сбежала с его лица. По улице от биржи тянулся бесконечно длинный серый людской поток. Со своими пожитками устало брели мужчины, женщины, дети; запряженные быками повозки со скарбом, козы, ручные тележки, инвалид на тачке. Перед колонной шел седой священник в длинном пиетистском черном плаще... И никто в этой процессии не обращал внимания на дождь.

Что же это за люди? Рядом не было никого, кто мог бы ответить на этот вопрос. И вдруг Фридрих догадался сам: это же переселенцы! С содроганием всматривался он в их лица — лица, знакомые ему по фабрике и по кварталу ткачей в Гемарке, лица, на которых были написаны не только нужда, отчаяние, голод, но и возмущение, и решимость до конца, из последних сил бороться с судьбой.

Неподалеку, всего на расстоянии одного дня перехода, находился Бремерхафен, порт, к причалу которого пришвартовывались океанские суда. Там эти люди в последний раз оглянутся на родную землю, чтобы навсегда с ней проститься, отправляясь в неизведанное будущее...

Странное шествие кончилось. Кончилась и гроза. Вскоре снова меж белых облаков показалось солнце. Но радостное настроение не возвращалось.

Фридрих уныло брел мимо винных погребков на Беттихерштрассе домой. Со стороны церкви святого Мартина

доносился негромкий колокольный звон. Из открытых дверей ее слышался голос священника. Фридрих вошел в церковь. Были крестины, однако без цветов, без счастливых родителей, чинно торжественных родственников и плача младенцев. Юноша и девушка, брат и сестра, стояли у каменной купели. То были Якоб и Юдифь Гольдштейны из еврейского гетто за городской чертой. Они принадлежали к богатейшему семейству, но лишь только теперь, после обряда крещения, могли рассчитывать на то, чтобы стать полноправными гражданами Бремена. Робкого, худенького юношу, которого пастор приобщал к христианской вере, Фридрих уже встречал в доме пастора и не раз дружески беседовал с ним. Его сестру, высокую, миловидную, стройную девушку в белых кружевах, из-под которых на нежные плечи выбивалась волна жгуче-черных волос, он видел впервые.

Когда церемония закончилась и девушка обернулась, у Фридриха перехватило дыхание. Он не мог оторвать взгляда от ее глаз, в которых жила загадочная, бездонная меланхолия.

— Брат мне уже рассказывал о вас, господин Энгельс.

Чары были разрушены. Голос у нее оказался самым обычным, выговор тоже — с широким «а» и раскатистым «р», какие встречаются только на севере Германии.

— Очень рад познакомиться с вами, фрейлейн Гольдштейн.

— Взаимно.

— Разрешите поздравить вас с вашим христианским днем рождения.

Они прошли в пасторский сад, где дочки пастора уже накрыли столы и приготовили кофе. Фридрих рассеянно потягивал свой кофе и, не обращая внимания на хихикающих девчонок, беседовал с братом принцессы.

— Чувствуете ли вы себя теперь счастливее?

Тот задумчиво пожал плечами.

— Отец велел.

Но Юдифь, расцеловавшая пастора, его жену и дочек, радостно воскликнула:

— Да, я счастлива! Новая вера открывает мне путь к браку.

— К браку?

— Я помолвлена.

— Ах так...

Ее брат помрачнел.

— А мне путь в казарму.

Он произнес это с такой горечью, что смех за столом прекратился и наступило тяжелое молчание.

Фридрих рассказал о шествии, увиденном на площади во время грозы. Этот рассказ окончательно испортил всем настроение. Бременцы повидали на своем веку немало переселенцев, ведь их город-порт был воротами в Америку. Английские машины, пар, дешевые манчестерские ткани — из-за них целые деревни во многих немецких землях оставались без хлеба. И путь через океан для многих немецких крестьян был их последней надеждой.

— Бывают здесь и политические беженцы. Ремесленники, студенты, христиане, одно неосторожное слово которых превращает их в мишень консистории. — Это вступила в разговор бабушка, еще очень крепкая седоволосая женщина, пользовавшаяся в семье большим авторитетом, хотя высказывалась она редко. — Многие из них умирают еще в порту от голода и истощения. Вкладывают все свое состояние в билет на пароход, а на хлеб денег уже не остается.

Пастор согласно кивнул и, выразительно глядя на наследницу миллионного состояния, сказал:

— А мы люди бедные и ничем не можем им помочь, кроме молитвы.

Девушки подавленно замолчали. Жена пастора стала собирать остатки хлеба в корзину.

— Сколько уж мы всего насмотрелись! И когда только люди перестанут ненавидеть друг друга?

— Только тогда, когда сильные и богатые поймут, в чем состоит их христианский долг.

— Стало быть, никогда! — вырвалось у Фридриха.

Все посмотрели на него. Должно быть, здесь не было принято противопоставлять мудрости старухи собственное мнение.

— Отчего же никогда? — спросил хозяин дома.

— Потому что в таком случае им пришлось бы отказаться от богатства и власти. Но тогда они перестали бы быть богатыми и сильными.

Старуха озадаченно посмотрела на него.

— У вас очень острый ум, Фридрих. Но для разряда циников вы слишком юны. А для холодного скептика у вас слишком чуткое сердце.

«К черту и ум, и сердце! — думал Фридрих, пытаясь ночью выразить в стихах впечатления, которые охватили его на рыночной площади. — К черту, если они не способны

дать другим людям представление о том, что происходит в моей душе, и заставить их почувствовать то же...»

Он стал представлять себе будущее переселенцев, и им овладели мрачные видения. Согнанные со своих мест европейцы, жертвы деспотии, там, в далекой Америке, они сами становятся работорговцами, палачами свободы, грабителями коренного индейского населения...

Усталость одолела его, но и во сне он продолжал бороться с гекзаметрами и ямбами.

Только через несколько недель, сидя как-то в конторе консула Лёйпольда, он вдруг без всякого труда написал стихотворение «Флорида». И с облегчением отложил перо в сторону, освободившись от кошмара, который так долго преследовал его. Он чувствовал, что это стихотворение было лучшим из всего, что он до сих пор написал. После сотни детских опытов в Вуппертале наконец-то что-то путное! Ах, Клодина, если б теперь я мог заглянуть к тебе как-нибудь в субботу... Может, сейчас ты перестала бы так снисходительно-иронически улыбаться, слушая мои стихи...

После обеда он пригласил всех молодых служащих конторы на кружку пива. Были тут и длинный бухгалтер Эберлейн, балагур и охальник, умевший разыграть кого угодно с самой серьезной миной на лице, и оба не очень удавшихся сына шефа Карл и Вильгельм, которых тот вечно жаловал ироническими прозвищами, и самый молодой из всех, веснушчатый ученик Деркхим. Все находили, что сегодня Энгельс какой-то особенный, явно в ударе, хотя никто не догадывался почему. Они выпили на брудершафт. А Карл, старший из сыновей шефа, вечно испытывавший денежные затруднения, тут же одолжил у Фридриха три луидора. Но когда Фридрих вечером снова перечитал свое поэтическое творение, он нашел его невыразительно-бледным, далеким от той картины, которая предстала его воображению во время ночного лихорадочного возбуждения. И он с грустью сунул исписанные листки в ящик стола, где было погребено уже немало других неудавшихся поэтических опытов.

Охота за книгами сделалась его страстью. Книги, которые в Вуппертале можно было достать только по бешеным ценам на черном рынке — «Польские песни» Платена, «Новый сборник» Гофмана, «Новые стихотворения» Ленау или «Железные песни» совсем юного Бека, — здесь стояли совершенно свободно на полках респектабельных магазинов и продавались по вполне сносным ценам. А у букинистов они были и вовсе дешевы. Приобрел Фридрих и памфлет

Якоба Гримма, направленный против ганноверского узурпатора, а также запрещенную в Пруссии «Всеобщую историю» Роттека.

Ни воскресений, ни вечеров и ночей не хватало, чтобы прочесть все, что ему хотелось. А хотелось писать и самому, хотелось бродить по городу, по реке, наслаждаться волшебными красками осени за городом. К счастью, делать в конторе временами было совершенно нечего. Корреспонденция, которую он по-братски поделил с Эберлейном и которую, к удовольствию шефа, делал намного быстрее и лучше, чем тот, оставляла ему немало времени для чтения и собственного творчества.

Старик Лёйпольд на эти его занятия смотрел сквозь пальцы. Он ценил Фридриха и всегда посылал его в порт, когда нужно было принять очередную партию товаров: кофе из Бразилии, сахар с Кубы, хлопок из Флориды и Каролины. Или посылал его на склады с ревизией.

Первые недели в Бремене пролетели незаметно. Фридриху все здесь нравилось, казалось интересным, увлекательным, новым. Ему не хотелось упускать ничего из того, что предлагали новая жизнь и новый город. Все провинциальное, что было в его поведении и мыслях, на удивление быстро исчезло. Сам собой установился тот вольно-иронический тон, который отличает столичного, светского человека. Ганзейский город Бремен уменьшался в его глазах по мере того, как он с ним знакомился. Но вот поэзия оставалась для него все таким же огромным и неизведанным океаном.

Сентябрь начался холодной погодой. В конторе царило настроение беспросветной скуки, как всегда в начале недели. В доме было тихо. «Старуха», как консул называл свою жену, после скандала с благоверным отбыла к своим родителям. Сам консул пребывал в ярости, потому что она, желая насолить ему, прихватила с собой кухарку. Пришлось устраивать конкурс среди тех, кто откликнулся на призыв консула и являлся предлагать свои услуги в качестве поварихи. Это было развлечением для всех. Эберлейн предавался этому занятию с особенным увлечением, забраковав немало претенденток.

Однажды в разгар очередного развлечения в конторе появился хозяин трактира на Беттихерштрассе. Карл поторопился увести посетителя в прихожую, где, то и дело оглядываясь на обитую кожей дверь отцовского кабинета и отчаянно жестикулируя, пытался в чем-то убедить этого малень-

кого толстенького человечка. Через стеклянную дверь Фридрих наблюдал эту сцену.

— Опять лопнул вексель! — ухмыльнулся младший брат Карла Вильгельм. — Посмотрим, как он на сей раз выкрутится!

Угадать, впрочем, было нетрудно. Преследуемый кредитором, Карл снова вошел в комнату. Все как по команде пригнули головы к письменным столам. Один Фридрих, ничего не подозревая, смотрел на вошедших. Карл немедленно направился к нему. Медоточивым голосом он произнес:

— Фриц, дружочек, единственный мой спаситель, выручи! Твой бедный Карл оказался в калоше.

— Задолжал за вино?

— Да не за вино, друг мой! Тут другое — женщины! Берегись женщин, предостерегаю тебя! Сначала они сами раздеваются, а потом начинают раздевать тебя и продолжают это занятие, пока у тебя не останется ни гроша! Видишь этого душегуба? Хочет пожаловаться на меня старику, ты только представь! Из-за нескольких паршивых талеров!

— Пятьдесят пять талеров, — с нажимом произнес трактирщик.

— Пятьдесят пять, — повторил как эхо Карл. — То есть даже меньше десяти луидоров. Ну та ли это сумма, из-за которой нужно нарушать семейный покой счастливого дома, наносить удары по чувствительному отцовскому сердцу? Отдай ты их ему, милый Фридрих, чтобы успокоилась ненасытная душа этого сквалыги. Отныне будем брать у него только самое дешевое вино!

— К сожалению, у меня осталось всего тридцать зильбергрошей, Карл.

Тот схватился за голову.

— Всего тридцать. Я погиб! И куда только ты деваешь свои деньги, бездельник? — Взгляд его упал на книги, лежавшие на конторке Фридриха. — А, на книги! Конечно, ты тратишь на книги. Ну какой разумный человек тратит деньги на книги? Ну, делать нечего — будь что будет! — Он повернулся к трактирщику и наглым голосом произнес: — Вы слыхали? Мой банкир в настоящий момент неплатежеспособен.

Посетитель окинул должника гневным взглядом и решительно направился к двери. Но тут Карла осенило.

— Минуточку! — Он удержал толстяка за рукав. —

Есть выход! Как это у тебя нет денег, друг мой? — спросил он Фридриха и, подняв крышку его конторки, вынул целую стопку исписанных листков. — Вот, глядите, это все стихи. Великолепные стихи, которых заждалось человечество, по которым тоскуют господа редакторы. Что они собой представляют? Талеры, друг мой, сплошные талеры.

— Оставь! — взмолился Фридрих. — Никто не станет их печатать!

Но Карл уже сгреб листки в карман.

— Поживем — увидим!

А опешившему трактирщику он объяснил:

— Сегодня вечером получите презренный металл. Повезло вам!

И он деловитой походкой вышел из конторы.

К вечеру Фридрих уже забыл этот эпизод. Широко раскрыв окно, за которым шумел Везер, он с головой ушел в только что приобретенные им «Путевые картины» Гейне, и Карлу Лёйпольду, просунувшему голову в окно, пришлось кричать, чтобы его услышали.

— Вот, стало быть, где его обиталище! Свобода полная, можно позавидовать. А чем он занят? Читает! — Карл влез в окно и выхватил из рук Фридриха книгу. — Тебе нужно не читать, а писать! Твои стихи должны печататься! Вот, на первое — вексель от братьев Гейзе. — Фридрих машинально взял в руки вексель на двадцать талеров. — И кроме того, небольшой аванс наличными. Да, да, Фома ты неверующий! Рифмоплетство твое имело успех. В воскресном номере «Собеседника» можешь полюбоваться на свою первую публикацию — набор антиквой, на первой полосе. А теперь хватит затворничать! В глухой, забытой богом дыре родился во всем своем великолепии настоящий поэт! Это ли не достаточный повод для торжества!

Фридрих испуганно зажал ему рот.

— Не так громко, болван. Если услышит пастор, то сообщит моему старику. И тогда моей свободе конец. — И тут только до него дошло. — Меня напечатают! Неужели правда? — И, вскочив, он радостно закричал: — О моя чудесная бременская свобода!

Через несколько минут он облачился в свой вечерний фрак и уже на улице узнал, что напечатана будет не «Флорида», а «Бедуины», небольшое лирическое стихотворение, написанное им между прочим и под очевидным влиянием Фрейлиграта. Он удивился.

— Пусть печатают, если хотят, только не под моим именем, слышишь? — сказал он своему спутнику. — Только не под моим именем!

Вместе с сыном своего шефа он вошел в изысканный винный погребок при ратуше. Помещение было залито ярким светом. Ноги их утопали в мягких коврах. В зале было тихо. Дамы и господа за столами, казалось, говорили шепотом. Тяжелые бархатные портьеры и обитые парчой стены поглощали любой звук.

Еще по дороге сюда Карл Лёйпольд подцепил двух очаровательных «артисток», прогуливавшихся близ площади. Одна из них, маленькая блондинка, сразу же повисла на руке Фридриха, как будто они давно были знакомы.

— Называй меня Лаурой, малыш.

— Вот стол, за которым когда-то восседал Вильгельм Гауф, а потом Генрих Гейне, — сказал Карл, приглашая их за столик в нише. Он, как было заметно, хорошо знал тут всех — и официантов, и посетителей, и его здесь знали. — Лаура, прошу тебя, садись здесь! А ты, киска, сюда! — распоряжался он, целуя свою даму в щечку. — А это почетное место по праву принадлежит нашему поэту. Шампанского, кельнер!

Выпили за здоровье Фридриха. Лаура многозначительно ему улыбнулась.

— Вы напишете пьесу с ролью для меня, не правда ли? — обратилась к нему дама Карла. — О поэт! Наконец-то в этих стенах снова появился поэт!

Фридрих сиял. Шампанское делало тело легким, а мысли в голове так и порхали, как весенние птички. Голова его шла кругом. Ах, как велик и прекрасен этот мир!

Неожиданно над их столом склонилось лицо в шрамах. Фридрих поднял глаза и увидел офицера в форме бременской армии. Не обращая никакого внимания на обоих молодых людей, офицер наклонился к дамам и что-то шептал им. Те нерешительно переглядывались, посматривая на расположенный невдалеке стол, за которым сидела группа офицеров и пожилых господ в штатском.

— Ну, давайте, давайте, живее! — грубоватым тоном требовал лейтенант.

Это уже было чересчур!

— Что вы себе позволяете? — вскочил на ноги Фридрих.

Он встал между девушками и офицером. Тот направил на него монокль. Затем последовало презрительное:

— Croquant grossier!*

Фридрих не остался в долгу.

— Mal léché, lourdaud!** — крикнул он прямо в лицо этой напыщенной обезьяне, да так громко, что его слова можно было слышать всем в зале.

Наступила вдруг мертвая тишина. Глаза всех присутствующих устремились на обоих противников. Лейтенант гордо вскинул голову.

— Даю вам десять секунд... — Он не успел договорить. Обе девушки встали и, повиснув слева и справа на лейтенанте, увели его.

— Оставь его, Харальд! Не трогай мальчика!

Фридрих словно окаменел. Карл потянул его за рукав на место.

— Спокойно! Это лейтенант фон Котбек, самый отчаянный дуэлянт в городе!

— С каким бы удовольствием я дал ему по надутой роже...

— Но не из-за этих же пташек!

Те уже пристроились за столом пожилых господ.

— Ты прав, — с презрением в голосе сказал Фридрих и рассмеялся. — Господин кельнер! Еще бутылочку!

Раздражение его под воздействием винных паров быстро прошло. Счет в конце концов был почти равен гонорару. Карл отодвинул руку Фридриха, в которой тот держал серебряные монеты.

— Наличные нам еще понадобятся. Запиши счет на свое имя. Этого достаточно.

В доме пастора все спали сном праведников. Тут Фридрих вспомнил, как начиналась эта ночь, давным-давно, вчера вечером. Его напечатают! Эта мысль снова обдала его волной счастья. Он выбежал на улицу, сорвал с себя одежду. Разбежался и прыгнул в холодные волны Везера. Вскоре он почувствовал, как тело наливается привычной силой. Он поплыл, мощными движениями рассекая воду.

Настало утро, которого он ожидал с таким нетерпением. От церкви святого Мартина доносился воскресный колокольный звон. Газеты продавали прямо перед папертью, чтобы не упустить прихожан, спешащих к заутрене. Первым покупателем сегодня был Фридрих.

---

* Ничтожный бродяга!

** Неотесаный грубиян!

— «Бременский собеседник»!

— Пожалуйста.

Затаив дыхание, он развернул газету. На первой же полосе увидел: «Бедуины».

— Еще один экземпляр, пожалуйста! — попросил он.

А потом побежал в сад, где можно было не торопясь выпить кофе. Равнодушным жестом он положил на столик газету. Первым на приманку попался пастор.

— Вы позволите? Любопытно, что там печатают сегодня братья Гейзе?

— Да все как обычно.

В разговор вмешалась Мария, старшая из дочек пастора.

— Есть какое-нибудь новое стихотворение?

— Конечно.

— Дай же мне посмотреть, ну дай мне, папа!

— После меня!

Фридрих полез в карман.

— Знаете, я по рассеянности купил две газеты, так что если могу быть фрейлейн полезен...

— О, «Бедуины», без подписи! — восторженно воскликнула Мария.

Пастор просмотрел газету и отложил ее.

— Вы правы, Фридрих, все как обычно. Ни одной интересной строчки.

— Разве что... этот стишок, — вставил Фридрих, — по-моему, он неплох, вы не находите, господин пастор?

— Ах, что вы, мой друг! Когда я читаю эту выспреннюю тарабарщину, которую пишут современные молодые поэты, у меня слезы наворачиваются на глаза. Когда-то мы читали новые вещи таких поэтов, как Гердер, Виланд, Гёте!

Мария возразила:

— Вкушали мед беспечных снов... — такая строчка могла бы встретиться и у Гёте.

— Гёте! — со святым укором в голосе возразил старик, как будто селедку сравнивали с китом. И он протянул газету жене: — Прочти, Матильда!

Но та отговорилась недостатком времени и кивнула в сторону бабушки, которая, опираясь на палку, выходила в сад.

— Вот вам судья неподкупный. Пусть бабушка скажет свое мнение!

Все с нетерпением смотрели на старую даму, которая, прочитав стихотворение, высказала такой приговор:

— Идея и зачин неплохи. Язык еще бедноват. Рядом с

истинным чувством искусственное подражание. Но конец никуда не годится!

Фридрих вырвал газету у нее из рук. Он прочитал заключительную строфу стихотворения, побледнел, взволнованно вскочил и, извинившись, убежал.

— Что это с нашим другом? — услыхал он у себя за спиной голос пастора.

Он яростно шагал взад и вперед по комнате. Подлец редактор! Неужели он не понял, что для меня было главным? Взял и приделал другой конец! Бледный, бессодержательный, штампованный! Ах, приятель, ну что ты наделал! Уничтожил, осмеял первое же мое опубликованное стихотворение. Такое они проделывают с нами в 1838 году, а потом нам ставят в пример Гёте! Каждому слову его, каждой запятой они поклоняются, как божеству, и от всего приходят в экстаз! А со стихами человека молодого и никому не известного они обращаются как с мусором!

Он обхватил голову руками. Тут в дверь его нерешительно постучали.

— Кто там?

Робко вошла Луиза, младшая из пасторских дочек. Пришла узнать, не случилось ли с ним что-нибудь. Он успокоил ее. Кроме того, она пришла сказать, что на улице его дожидается господин Лёйпольд-младший в коляске с двумя молодыми дамами.

— Скажи ему, пусть катится к че... пардон, пусть едет один. Я нездоров.

— Могу я помочь вам?

Фридрих покачал головой. Но тут он вспомнил: Гёте! У бабушки было великолепное издание Котта. Как-то она сказала о том, насколько ей оно дорого. А ведь в этом издании, в последних томах, были напечатаны статьи Гёте о литературе.

— Да, ты можешь мне помочь. Ты можешь даже спасти меня! Принеси мне два последних тома гётевского издания, которое есть у бабушки!

— Это невозможно. Гёте бабушка никому не дает!

— Ну так прокрадись к ней в комнату и стащи их для меня!

— Украсть?

— Если, конечно, у тебя хватит смелости!

Подумав, девочка сказала:

— Я это сделаю! — И кокетливо взглянув на него, добавила: — Для вас я все сделаю! Но сначала я отошлю

это чучело Лёйпольда с его тележкой! — И она решительно удалилась.

Но отделаться от Карла Лёйпольда было не так-то легко. Дверь снова распахнулась, и в комнату ввалился Карл.

— Да что с тобой! Погода великолепная, светит солнце, мы тебя ждем, а ты, наша гордость, наше открытие, поэт, которым зачитываются тысячи, хандришь?

Соль на раны.

— Поэт! — вскричал Фридрих. — Не могу слышать этого слова! Да покажи мне хоть одного из этих тысяч, на кого моя стряпня произвела хоть малейшее впечатление! Гейне, Ленау, Фрейлиграт — вот что такое поэзия.

Карл наигранным жестом закрыл лицо руками и стал ретироваться к двери. Фридрих догнал его, схватил за воротник, встряхнул.

— Я с ума могу сойти, спятить от ярости, что мне это не подвластно! Я должен понять, как это им удается, должен! — Обессиленный, он отошел в глубь комнаты и опустился в кресло.

— Ладно, ладно! Я все понимаю. А дамам так и объясню: сражается, мол, с Пегасом до изнеможения, и никаких других муз, особливо театральных, не хочет и признавать.

Фридрих схватил свою туфлю:

— Вон.

Только оба тома Гёте, тайком доставленные ему Луизой, успокоили его. За чтением их прошел день, а там и ночь. Фридрих жадно глотал страницы. Искусство и жизнь, идеал и действительность, человек и природа — мысли веймарского старца вновь и вновь возвращались к этим противопоставлениям. «Природа творит словно бы ради себя самой, художник творит как человек и ради человека».

В конце своей жизни Гёте обратился к молодым, к тем, кто делал свои первые шаги в мире поэзии. В его завете звучали нотки отчаяния и прощания с эпохой искусства, которая исчерпала себя и которую похоронят вместе с ним. Он испытывал симпатии к молодежи, к ее идеалам. Но и сомнения! Как дедушкин завет, звучал его призыв не растворяться в голубых, недоступных мечтах, повернуться к тому, что достижимо, к земной жизни. «Поэтическое содержание — это содержание нашей собственной жизни... Моим друзьям, молодым поэтам, мне хотелось бы сказать следующее. У вас теперь нет нормы, и вам самим предстоит ее создать; пока же спрашивайте себя каждый раз, есть ли в вашем стихотворении что-нибудь от истинного пережива-

ния, вдохновлено ли оно им? Держитесь развивающейся жизни и проверяйте себя при случае жизнью же: ибо только она может сказать, живы ли мы, если речь идет о настоящем, и были ли мы живы, когда наше время пройдет».

Однажды ночью Фридрих услыхал, как около их дома остановилась коляска и спустя некоторое время кто-то осторожно постучал в дверь. Перед домом стояла девушка, закутанная в длинный плащ. Она пряталась от дождя под навесом над входной дверью. Приглядевшись, он узнал в ней Юдифь Гольдштейн. Фридрих быстро отодвинул задвижку.

— Якоб, мой брат, дезертировал из армии! — простонала она.

На лестнице показался пастор.

— Правильно ли я расслышал? Якоб дезертировал?

Сквозь слезы девушка рассказала, как, узнав об этой новости, испытал тяжелое нервное расстройство ее отец.

— Жених мой тоже вне себя.

— А он что советует? — спросил Тревиранус.

— Чтобы Якоб вернулся.

— Это самое разумное, — согласился пастор.

— Но он не хочет, господин пастор, — жалобным тоном говорила девушка, нашедшая брата в районе порта, где он прятался у друзей. — Он клянется, что в казарме для него совершенно невыносимая обстановка, что он там погибнет. Он там столько всего пережил, что весь трясется при мысли, что придется туда возвращаться.

Плача, она умоляла пастора поговорить с ее братом.

— Он доверяет только вам. Вы достаточно влиятельны в магистрате. Может быть, вам удастся устроить так, чтобы его простили.

— Охотно помогу, дитя мое, охотно поговорю с ним. Но для этого мне нужно его увидеть. Вы ведь понимаете, фрейлейн Гольдштейн, что пастору-протестанту нельзя появляться в столь нечестивых местах, где обретается сейчас ваш брат.

— Я схожу за ним. Он ждет меня.

— Вам нельзя появляться там в такое время, среди ночи.

— Я должна. Завтра, может быть, будет слишком поздно. Харальд дежурит как раз сегодня ночью.

Фридрих, до сих пор не вмешивавшийся в их разговор, изъявил готовность проводить ее.

По дороге Юдифь рассказала ему о брате. Что толку, что он крестился? В казарме он для всех все равно жид.

К тому же он не отличается ни смелостью, ни силой. Всем известно, насколько богат его отец. К расовой неприязни примешивается зависть бедных солдат, фельдфебелей, офицеров.

— Но ведь вашему отцу было бы нетрудно внести за него выкуп и тем самым освободить его от военной службы?

Девушка кивнула.

— Однако отец не хочет этого. Он надеется, что добровольное вступление Якоба в армию даст ему возможность добиться гражданского равноправия в Бремене.

Кучер внезапно остановил лошадей, и все с ужасом увидели, что дом, к которому они подъехали, оцеплен солдатами.

— Опоздали! Его обнаружили! — горестно воскликнула Юдифь.

Фридрих спрыгнул на землю. Дезертира в кандалах как раз вывели из дома. Юноша узнал его.

— Помогите мне, господин Энгельс!

Фридрих постарался, как мог, утешить его, пока солдаты не уволокли несчастного. Затравленный взгляд юноши — последнее, что осталось в его памяти.

Фридрих удерживал девушку, которая хотела бежать за братом. Сломленная несчастьем, она поникла.

Страшное подозрение закралось вдруг в душу Фридриха. Жених Юдифь — офицер-дворянин?..

— А вы не говорили своему жениху, где прячется ваш брат?

Девушка вздрогнула. На лице ее были ужас и гнев.

— Вы ведь не думаете, что такой благородный человек, как Харальд, мог нарушить свою клятву?

— Значит, он знал, где прячется ваш брат?

Юдифь резко отпрянула от него.

— Что он вам сделал? Почему вы так плохо думаете о нем? — закричала она.

Он попытался успокоить ее. Но от этого она пришла в еще большее негодование.

— Оставьте меня в покое! Оставьте меня! — И она бросилась назад к карете.

Фридрих посмотрел ей вслед. Потом повернулся и медленно побрел пешком в город. Сердце его разрывалось от жалости и упреков самому себе. Красавица-еврейка Юдифь и белокурый офицер-дворянин... Глубоко любящие друг друга и несчастные, потому что их разделял двойной барьер — сословный и религиозный. Бедная девушка

чувствовала себя глубоко несчастной, она доходила до отчаяния. И тогда отец, воспитанный в самых набожных традициях своих предков, решился на крайний шаг — вместе со всем семейством перешел в христианство... Но чтобы спасти счастье дочери, требовалась еще одна ужасная жертва. Слабенький сын вынужден был добровольно стать солдатом... Начался четвертый, заключительный акт трагедии, достойной пера Лессинга, пера Шекспира или Расина. А я-то, дурень, подозреваю подлый расчет, предательство и коварство... Я напишу ей покаянное письмо и попрошу прощения!

В течение нескольких дней он носился с этим намерением, предаваясь самобичеванию. И вот однажды, возвращаясь под вечер домой из конторы, он вдруг увидел свадебный кортеж перед церковью святого Мартина. Девушки усыпали паперть цветами, расстилали ковровую дорожку. Играла музыка. Дамы в праздничных платьях, мужчины в военной форме и фраках. Из парадных дверей ратуши в белом подвенечном платье вышла Юдифь. Фридрих опешил. Рядом с ней стоял тот самый надутый офицер, с которым он схватился в кабачке.

— Что вы хотите? — насмешливо сказал подошедший к нему художник Фейсткорн. — Котбеки погрязли по уши в долгах. А семейство богатого ростовщика дружно перешло в христианство. Деньги и знатность. Одно к другому.

— А как же сын?

— Старик Гольдштейн официально отрекся от него. Говорят, его помиловали.

До Фридриха не сразу дошел смысл того, что он услышал. Потом, сообразив, он громко, саркастически рассмеялся. Но в глазах его стояли слезы.

Наступила осень. В«Бременском собеседнике» время от времени появлялись анонимные стихи. Карл извлекал из стола Фридриха его дилетантские упражнения, которые не могли ни обогатить поэзию, ни испортить ее. Как бы там ни было, а кое-какие талеры это занятие приносило. Читателей же Фридрих больше не расспрашивал об их мнении. У него появились большие планы: хотелось переложить в драму сказания о Нибелунгах. Зигфрид, герой его детства, рисовался бунтовщиком против косных традиций, против аристократических предрассудков, жестокой отцовской опеки. Он представлялся ему рыцарем справедливости, радетелем народного счастья, другом бедных и угнетенных...

Наладилась постоянная связь с Вупперталем. Со всеми своими эльберфельдскими друзьями Фридрих поддерживал

переписку. Они в большинстве своем стали студентами, изучали теологию или юриспруденцию в Берлине, Бонне, Эрлангене, Гейдельберге. Но пробудить в них интерес к чему-нибудь новому было почти невозможно.

Прогуливаясь как-то по лабиринту улочек неподалеку от старого центра города, Фридрих заметил витрину книжного магазина с манящей пестротой обложек. Он подошел поближе. И вдруг чуть не споткнулся от изумления. Он едва верил своим глазам. «Романтическая школа» Гейне стояла рядом с «Эстетическими походами» Винбарга. Он взволнованно вошел в магазин. Пробежал глазами ряды корешков — книги Гуцкова, Бюхнера, Мундта, Лаубе, сплошь запрещенная литература. Он не стал дожидаться, пока подойдет продавец. Вскоре на прилавке громоздилась уже огромная стопка.

— Бог в помощь, молодой человек!

Он даже вздрогнул от неожиданности, услыхав голос продавца. Широкоплечий, моложавый блондин приветливо улыбался. Обветренное лицо и орлиный нос делали его похожим скорее на морехода, чем на человека, погруженного в книги.

— Простите, что я тут роюсь. Но как удержаться, когда видишь перед собой сразу столько запрещенной литературы, о которой знаешь только понаслышке.

— Вы не из Бремена?

— Нет, я приехал не так давно, летом. Из Вупперталя.

Блондин улыбнулся.

— Ройтесь себе дальше! Мы живем, слава богу, не в Пруссии. До нас доходят не все решения Союзного сейма. Вы все это хотите купить?

— И не только это. Все подобные книги. — Фридрих вынул кошелек, в котором лежало все, что прислал ему на месяц отец. — Да вот боюсь, что наличности моей недостанет.

— Так вы, стало быть, из Вупперталя?

— Да. Завершаю здесь свое коммерческое образование. В фирме Лёйпольда.

— У Лёйпольда? Так это о вас, значит, так много говорят? Причем самым лестным образом. Можете брать сколько угодно книг — в кредит, под квитанцию, вексель или как вам будет угодно.

— Вы владелец магазина?

— Да, меня зовут Карл Шюнеман. Раз уж вас интересуют запрещенные младогерманцы, я вам покажу кос-

какие редкости, которые даже мы не можем выставить напоказ.

И он нырнул под прилавок. Фридрих жадно схватил поданную ему книгу. Нет, то был не сон: он держал в руках скандально известный роман Гуцкова «Вали»! И наконец-то перед ним была книга заклятого врага полицейского государства Людвига Бёрне — «Страницы драматургии».

— Могу достать вам и «Парижские письма», если вы запасетесь терпением. Через несколько недель они будут у вас. К сожалению, не могу обещать вам последнюю книгу Бёрне «Менцель-французоед». Это его литературно-политическое завещание. Настоящий динамит! Одно только хранение этой книги влечет за собой тюрьму. Даже в Гамбурге трудно достать экземпляр. У старика Кампе, издателя книги, краснеют уши всякий раз, когда я о ней спрашиваю. При этом я точно знаю, что он ее печатает! Тайком, в каких-то засекреченных подвалах, где-то не то в Брюсселе, не то во Франкфурте — точно так же, как и «Швабское зеркало» Гейне. Печатает и продает. Делает на этом изрядные деньги. Это пресловутое решение Союзного сейма запретить младогерманцев несказанно обогатило его. Или вы всерьез верите его уверениям, будто он выиграл состояние по лотерейному билету?

Кошелек был пуст. Кроме того, Фридрих задолжал сумму, от которой волосы вставали дыбом. Он выписал с полдюжины журналов, в том числе либеральный гамбургский «Телеграф», который издавал у Кампе не кто иной, как Карл Гуцков.

Итак, прощайте соблазнительные портовые кабачки, прохладные винные погребки и уютные кофейни, прощайте, прогулочные пароходы, толстощекие бременские красотки! С вами всеми покончено навсегда. Взгляните на эти горы книг! Они полны идей, от которых Меттерних не спит по ночам, от которых князья дрожат на своих тронах. Чтобы прочесть все это, понадобится по меньшей мере полгода. Он чувствовал себя на вершине блаженства. Будем надеяться, Тревиранус, что в твоей церкви достанет свечей на все длинные бессонные ночи, в продолжение которых этот одержимый чудак, глухой и слепой ко всему, кроме книг, надеется разгадать тайну своего века!

За ужином Фридрих не мог усидеть долго. Пусть пастор далеко не исчерпал свои залихватские анекдоты, пусть не нахихикались еще обе его желторотые пташки, а сосед Фридриха по пансиону Фейсткорн не устал еще хвастать своими

грандиозными планами. Любопытство к приобретенным книгам было таким сильным, что Фридрих извинился перед любезными хозяевами и, сославшись на усталость, удалился к себе.

С этого дня так и повелось. Он рано приходил из конторы и запирался у себя. Прежние дружки, вроде Карла Лёйпольда, удивлялись тому, что веселый собутыльник превратился вдруг в затворника-трезвенника. Пасторское семейство строило догадки, отчего вдруг так переменился их подопечный. От них не укрылось, что ночи напролет горели в его комнате свечи и до самого потолка росли горы книг и бумаги, заполненной выписками из них. Пташки с тоской вспоминали о тех летних вечерах, когда он подолгу просиживал с ними, смеялся, шутил, забавлял. А хозяйка дома писала в Вупперталь письма, в которых жаловалась, что у него пропал аппетит и он очень бледен. Фридрих только посмеивался в ответ на ее предостережения. Он проглатывал книгу за книгой, ему так много нужно было наверстать! И он справился со своей программой быстрее намеченного и вскоре уже ясно представлял себе, в чем суть запрещенного литературного направления, в чем особенности стиля современной литературы, каковы намерения молодых авторов и каковы их судьбы.

Они были еще детьми, когда Меттерних накинул свою мрачную сеть на Европу. Первое наглядное представление о жизни они получили, когда на их глазах ломали хребет студентам-упрямцам. Они видели на лицах своих отцов затравленный, угодливый страх; в школе их крестом и дубиной учили повиноваться. Так зародилась в них ненависть ко всему, что зовется авторитетом, начальством, церковью. В отличие от своих матерей они не находили утешения у Гете, Шлегеля или Рюккерта. Голубой цветок романтизма издавал запах разложения. Бацилла свободы, занесенная когда-то французами, развивалась в них, становилась заразой, которую не мог искоренить никакой Меттерних.

Когда они возмужали настолько, что начали задумываться и читать листовки и политические брошюры, передавая их друг другу под партами, их кумиром стал Людвиг Берне, тот публицист милостью божьей, слово которого стало грозным оружием в борьбе против власти князей и рабства народа. Берне был первым немецким литератором, который жил не на подачки двора, а литературным трудом, на гонорары, получаемые в издательствах и журналах. Зве-

здой поколения стал Генрих Гейне, который виртуозно овладел мелодией романтизма и сумел привить ей французское остроумие и едкий, направленный против бюргеров эпатаж.

Вместе с Бёрне и Гейне они страдали от общественных бед своего отечества, образуя армию молодых, но уже отчаявшихся циников, у которых не было надежды на будущее, а были гнев и презрение. Как вдруг наступило лето 1830 года, ставшее поворотной точкой в их жизни. Из Парижа пришло сообщение о революции! Людвига Бёрне, больного душевно и телесно, находящегося на грани отчаяния, оно нашло на курорте Соден, пробудив в нем, сломленном человеке, новую искру жизни. «Сердце билось у меня так, что мне почти стало дурно, и только слезы могли облегчить мою стесненную грудь». Гейне в эту пору полеживал на пляжах Гельголанда, предаваясь грезам о давно ушедшем, потому что будущее казалось ему беспросветным. И тут «с материка пришел толстый пакет с газетами, полный теплых, знойно-горячих новостей. То были солнечные лучи, завернутые в газетную бумагу, и в моей душе они зажгли неукротимый пожар. Мне казалось, что тем огнем воодушевления и дикой радости, который пылает во мне, я могу зажечь весь океан до Северного полюса».

А каково было юным! Только что выпущенные университетами в жизнь Гуцков, Винбарг, Лаубе или еще студенты, как Мундт и Кюне, высокообразованные, напичканные знаниями античности, философским наследием Просвещения, диалектической философией Гегеля, они были далеки от сколько-нибудь реальных представлений о политической жизни. Бурные июльские дни 1830 года они встретили с восторгом. Будто рассеялся на мгновение туман, и взорам их предстало неотразимое обаяние политически просвещенной, уверенной в себе и в своих целях нации. Смутные иллюзии патриотов 1813 года, вроде фантастической барбароссовой мечты о немецкой империи, которая принесет народу благо, были разом погребены.

Нет, свободу и право народы должны завоевывать в борьбе с крестом и короной. То, что не удалось старшему поколению, с его легковерием и верноподданничеством, с его неспособностью к самостоятельному политическому мышлению и действию, должны сделать они, молодые!

И вот наступило утро, когда Фридрих прочел последнюю книгу. Он и не заметил за чтением ни своего восемнадцатого дня рождения, ни рождества, которое провел в одиночестве,

даже не сходив в церковь. Первое утро 1839 года застало его в глубокой задумчивости.

На столе Фридриха лежали письма Фрица Гребера, полные ласковых увещеваний теолога, встревоженного судьбой друга. О, он посыплет солью и перцем свой ответ этой наивной овечке, взывающей к благоразумию. «Стать лояльным? Тьфу, черт! Придерживаться саксонской посредственности? О боже! Следовательно, я должен стать младогерманцем, или, скорее, я уже таков душой и телом. По ночам я не могу спать от всех этих идей века; когда я стою на почте и смотрю на прусский государственный герб, меня охватывает дух свободы; каждый раз, когда я заглядываю в какой-нибудь журнал, я слежу за успехами свободы...»

Письмо получилось длинным. Печь давно прогорела. Фридрих накинул свою меховую куртку, обмотал шею шарфом, обернул ноги пледом. Перед ним лежала стопка издаваемого Гуцковым «Телеграфа». Он положил на стол чистый лист бумаги, обрезал себе новое гусиное перо. Быстрым, беглым почерком написал: «Письма из Вупперталя».

Взгляд его устремился вдаль. Перед глазами стояло недавнее солнечное лето. Послышалась тихая мелодия: «Всю ночь я проблуждал...» Рука его опустилась. В памяти всплыли навсегда милые образы детства... Он зачеркнул начатое. Музыка оборвалась. Он отбросил плед, вскочил, стал расхаживать по комнате. На смену отзвучавшему пришел новый мотив, странный, в котором церковное пение смешивалось с пением землекопов. И перед глазами встали иные, совершенно иные образы и картины, ужасные картины бедности, нищеты, голода, отчаяния. Он шагал по комнате все быстрее. Потом сел за стол. Перо побежало по бумаге.

Уже утро... Еще одно, последнее предложение: «Вся эта местность затоплена морем пиетизма и филистерства, но возвышаются над всем этим не прекрасные, цветущие острова, а лишь бесплодные голые утесы или длинные песчаные отмели, среди которых блуждает Фрейлиграт, как выброшенный на берег моряк».

Фридрих вложил листки в конверт, запечатал его и надписал: «Господину Карлу Фердинанду Гуцкову, «Германский телеграф», Гамбург...» Он раздвинул шторы. В комнату хлынул солнечный свет. На Везере был ледоход. Он

собрал все, что написал до сих пор, все, что привез с собой из Вупперталя, добавил к этому стихи, написанные уже здесь, в Бремене, сложил все это в камин. Детский, бессмысленный лепет, макулатура... Огарком свечи он зажег себе сигару, а потом бумагу в камине. Комическая прелюдия кончилась. Начиналась серьезная жизнь!

Глава четвертая

МУКИ СОМНЕНИЙ

Джордано Бруно.

Гораздо более внятно и осознанно, чем натурфилософы языческой эры, жившие в Ионии и Александрии, этот мыслитель Возрождения сформулировал тезис о бесконечной, абсолютной материи, первооснове и живой потенции бытия.

Единство Вселенной, связь всех форм бытия на основе вечной, непреходящей материальной субстанции, «которая все выводит из всего» в вечной смене явлений, безбрежное многообразие природы и человеческий разум, «который может познать все, исходя из всего», — таким было представление Бруно о божественном всемогуществе.

Никогда прежде ни один христианин не дал так много богу, и в то же время никогда прежде церковное учение, догматика не испытывали таких смертельных ударов. Кто все дает богу, уничтожает его, потому что подчиняет его условиям собственного существования. Увязнув в необходимости, суверенная воля и произвол властелина, свобода творца исчезают.

Церковь клеймила нечестивца. Его сочинения запирали секретными замками, как какой-нибудь яд, их сжигали, уничтожали, где только находили. Преследуемый папистами, избегаемый лютеранами, отвергнутый кальвинистами, их создатель кочевал из страны в страну, пока не попал в Венеции в западню инквизиции. Семь лет длились напрасные усилия Рима пытками и соблазнами сломить волю этого человека. 17 февраля 1600 года Бруно с высоко поднятой головой взошел на костер. Они могли сжечь его тело, но не его дух — дух проснувшегося самосознания человека, впервые заговорившего в полный голос. Никакая сила в мире не сможет отныне воспрепятствовать мощному стремлению человека к познанию, взрывающему тюремные

стены мистицизма и прорывающемуся к живой материи.

Сбылось предвидение Джордано. Всего через несколько поколений пытливый человеческий ум освободился от религиозных оков и стал исследовать естественные основы бытия.

Через десять лет после казни Джордано появился главный труд Иоганна Кеплера, посвященный небесной механике. Галилей и Ньютон, Декарт и Лейбниц, Бойль и Паскаль заложили основы физики и химии как наук. Всякий новый шаг в исследовании природы укреплял авторитет разума перед верой. Философия сделала сам процесс познания предметом своего непредубежденного изучения. Фрэнсис Бэкон создал методологические основы исследования объективных законов природы, исходя из причинно-следственных связей ее явлений. Декарт воздвиг грандиозное здание рационализма на фундаменте научного мышления.

И все же теология цеплялась за свои позиции. Изгнанная из сферы эмпирического и рационального познания, она селилась в джунглях иррациональной метафизики. Здесь, в мире неясных грез, необузданных фантазий, в неисследованном лабиринте человеческой души, воображаемых прозрений, смутных чувств и представлений, и находилась твердыня ее бога, выдержавшая даже мощный штурм французского Просвещения, с его возмущением здравого смысла против теологической деспотии, натиск цинизма Вольтера, критицизма энциклопедистов и атеизма материалистов.

Поскольку неуемное стремление человеческого сознания к свободному развитию и совершенству в самой действительности не находило ни подтверждения, ни надежды, оно вынуждено было бежать в мир иллюзий. Серая монотонность механической причинности и рационалистической ясности, к которой наука сводила посюсторонний мир, не могла удовлетворить творческие потребности ищущего человеческого духа. Наука с достаточной убедительностью объяснила естественными причинами вечное круговращение природы, но она не могла найти объяснения процессу перехода от неживого к живому, от бессознательного к сознательному, от необходимости к свободе. Не могла она разобраться и в практике общественной жизни, в процессах политической и социальной борьбы буржуазии, стремившейся к изменениям и свободе воли. Оказалось почти не замеченным эпохальное сочинение Канта «Всеобщая естественная история и теория неба», первая попытка спекулятивного мышления преодолеть статическую неподвижность физиче-

ской картины мира и понять универсальную связь природных явлений в их развитии. Так в головах ученых и осталось старое схоластическое представление о том, что бытие распадается на физический мир слепой необходимости и на сверхчувственный мир метафизики, где царят независимый дух, свободная воля и где удовлетворяется беспокойное творческое стремление. Идеологический предтеча Великой французской революции Жан Жак Руссо также вынужден был отдать дань этому расколу. А Кант, этот неподкупный кёнигсбергский мудрец, и вовсе стал жертвой этого расщепления духа, не совладав с шизофренией. Буржуазный протест самосознания против религиозных пут кончился в конце концов — как и политическая борьба граждан за самоопределение — компромиссом. Сферы влияния были поделены. Наука и мистика, эти непримиримые противники, скрепя сердце терпели друг друга на расстоянии. Просвещенные теологи и философы старались оправдать это сосуществование. Однако религиозная ортодоксия не желала с этим мириться и стремилась вернуть утраченные позиции. Такова была духовная атмосфера к тому времени, когда в Германии пробил час новой философии, которая понимала сознание и бытие, мышление и мир как единство, определяемое едиными законами развития, — пробил час диалектического идеализма. Он опирался на идею развития, выдвинутую Кантом. Ему предшествовали также конструкция Фихте, сводившего содержание мира к его умопостижению, и стремление молодого Шеллинга понимать природу и дух как абсолютное тождество. После них пришел философ, давший последний козырь буржуазному самосознанию в борьбе с обскурантизмом, бросивший на весы все, что было добыто эмпирической наукой и создано духом рационализма, и в то же время посчитавшийся с вековым стремлением человека к гармонии и свободе. Этим универсальным мыслителем был Гегель. К 1839 году философия Гегеля завоевала ведущие позиции в Германии, оказав мощное влияние на все области научного знания.

Как же переносил пытку ожидания юный автор, пославший первое свое публицистическое произведение в известный журнал, представив его на суд самой взыскательной в Германии литературной критики? Сердце его замирало в ожидании приговора. Отринут ли его в темную бездну бездарности или вознесут к тем сияющим горным высям, где

парят признанные таланты? По сто раз на день он раскаивался в своем шаге, ругал себя оголтелым, сумасбродным болваном. Добровольно отдаться в руки суда! К тому же суда последней и высшей инстанции! С тем чтобы ты, дуралей, знал, что этот приговор неоспорим и окончателен! Бедный слепой глупец!

Неделя тянулась за неделей — ужасные, полные неизвестности дни! Вечерами он позволял себе карнавальные развлечения, которым предавался в компании Карла Лёйпольда. В Бремене было больше танцевальных залов, чем церквей во всем Вуппертале! И все они были наводнены прелестными девицами. Актрисы, служанки, дочки сенаторов — Карл ни для кого не делал исключения, тянулся за ним и юный поэт.

А дни в конторе тянулись, как сплошная бесконечная скука, особенно ближе к обеду, когда с минуты на минуту должен был появиться почтальон.

Конторские служащие с удивлением отмечали изменения, происходившие с юным практикантом. Он стал капризным, обидчивым, импульсивным. Вот уже несколько дней не обедал, а во время перерыва то пускался в выспренние разговоры (не понятные никому независимо от того, на каком языке он говорил — греческом, латинском, немецком или бременском диалекте), то молчал с мрачнейшей миной на лице, и тогда можно было подумать, что он по меньшей мере убил человека. Так что лучше всего его вовсе не трогать!

Вот и сегодня все отправились обедать, оставив его наедине со своими переживаниями. Наконец-то пришел почтальон, и Фридрих прямо-таки вырвал корреспонденцию у него из рук. Вильгельм Гребер, мать, Штрюккер, Вемхёнер, сестрица Мария, которую собирались отправить в пансион благородных девиц в Мангейме, письма из Эльберфельда, Берлина, Бонна, Эрлангена. Писали все, кроме одного-единственного человека.

Неужели ему требовалось так много времени, чтобы прочесть каких-нибудь полсотни страничек и сформулировать свой вежливо-иронический отказ?

А вдруг сей дельфийский оракул все же что-то нашел в этой рукописи и теперь должен решить, как ему с нею быть? Что, если Карл Гуцков, о благосклонном внимании которого мечтал целый сонм поэтов, готовит вовсе не отказ?

— Ничего нельзя понять, — невольно вслух произнес Фридрих.

— Чего нельзя понять? — внезапно раздался голос рядом с ним.

Это был Карл, который рылся в ящиках его стола.

— Что ты ищешь? Может, помочь тебе? — спросил Фридрих.

— Стихов я ищу, стихов! У нас денег ни гроша.

— Можешь не искать. Я все сжег.

Карл озадаченно посмотрел на него.

— Ты что, спятил? Все бременские редакции ждут теперь его стихов, а он, святой безумец...

Бременские редакции! До них ли теперь? Но ведь Карлу Лейпольду этого не объяснишь... Почему он их сжег, хочет он знать.

— Потому что они никуда не годились. Их стыдно показывать людям.

Ответ последовал саркастический:

— Никуда не годились? Твои стихи? Это господа редакторы никуда не годились, которые их правили, да господа читатели, которые их не понимали.

Фридрих не стал возражать. В конце концов и то верно, что чем слабее были стихи, тем охотнее редакторы их печатали. А он, вместо того чтобы угождать их желаниям, сидел и ждал ответа от Гуцкова.

Неожиданно в голову ему пришла забавная идея.

— Что ж! — воскликнул он. — Доставим им удовольствие. Дадим им стихи. Садись за стол! Я тебе продиктую. Что-нибудь самое глупое, идиотское, что мне придет в голову. А ты можешь отнести их потом в «Городской вестник», в «Бременский собеседник» или куда-нибудь еще. Будешь опять посыльным таинственного безымянного поэта. И он начал диктовать:

Тот не мудрец, кто почерпнул все знанья
Из сотен пыльных многомудрых книг, —
Он не проник в глубины мирозданья,
Хотя бы всю науку он постиг...

— Великолепно! Только не так быстро!

Фридрих продолжал в таком духе до прихода остальных. Карл ликовал.

— Это они напечатают! Спорим? Но платить как начинающему я им теперь не позволю!

И в самом деле: стихи напечатали. Первым «Городской вестник». За ним и другие газеты. Карл придумал для

Фридриха и псевдоним: Теодор Гильдебранд. Фридрих же писал возмущенные отзывы на стихи этого Теодора. Карл относил их в редакции конкурирующих газет, и друзья получали гонорары и оттуда. В Бремене разразилась настоящая лирическая война. Принадлежавший самому пастору Тревиранусу «Церковный вестник» вступился за «ищущего» поэта и в благодарность получил от него безвозмездно «Объяснение пиетиста в любви».

Честная дева! К тебе после борьбы
большой и упорной
Против соблазнов мира пришел я
с просьбой покорной.
Не согласишься ли ты стать мне
законной женой,
Тем перед господом богом долг
исполняя свой!
Правда, тебя не люблю я, об этом
не может быть речи,
Бога в тебе я люблю, который — [вечен].

Развлечение получилось занятное, и благодаря ему он даже забыл на время о Гуцкове. И тут-то от него пришел ответ. В самый разгар сочинения новой поэмы в обеденный перерыв появился почтальон.

— Тут кое-что из Гамбурга для господина Энгельса.

Фридрих побледнел. Но вместо столь желанного письма ему вручили толстый пакет. Все было ясно. Рукопись вернули назад. С сожалениями и уверениями. А ты, идиот, ожидал чего-нибудь другого?

— Что с тобой, Фриц? Дурные новости?

— Ничего, пустяки!

Махнув рукой, он отодвинул пакет в сторону и не стал его распечатывать. Только под вечер он снова попался ему на глаза. Черт возьми, надо хоть посмотреть, как эти господа обосновывают свой отказ. Он сорвал печать, сунул руку внутрь упаковки... Странно, однако, бумага была совсем другой на ощупь! Он вытащил всю пачку и обомлел: гранки! Гранки! На первой странице заглавие. Его заглавие! И его имя! «Письма из Вупперталя Фридриха Энгельса».

Он не мог далее сдерживаться, вскочил и, размахивая гранками, закричал:

— Сбылось! Сбылось!

Конторские служащие смотрели на него с недоумением. Он бросился в кабинет консула, где сидел Карл, обнял товарища и ликуя выпалил:

— Он взял! Он напечатает!

— Кто? Что?

— Гуцков. В «Телеграфе».

— Покажи.

Бросившись на диван, Фридрих прочел сопроводительное письмо. По поручению редакции ее сотрудник доктор Виль благодарил за присылку рукописи, которую редакция намерена — «правда, после некоторых сомнений, вызванных весьма щекотливой темой», — опубликовать в марте—апреле. «Господин Гуцков просит передать Вам привет и предлагает сотрудничать и в дальнейшем. Он, правда, советует Вам снять свое имя, поскольку можно ожидать бурной реакции со стороны задетых в Вашей статье лиц. Гранки с Вашей правкой просим как можно скорее переслать спешной почтой...»

Конечно! Сначала мурыжат целых пять недель, а потом пересылай им «как можно скорее»!

А как же быть с именем? Зачеркнуть, разумеется, зачеркнуть. «Телеграф», несмотря на запрет, доходил и до Вупперталя. А уж в Бремене он продавался в каждом киоске. Он вдруг взглянул на отдельные пассажи своего очерка чужими глазами — глазами отца, дяди Каспара, других родственников и знакомых...

Карл Лёйпольд вывел его из состояния глубокой задумчивости.

— Взгляните-ка на этого счастливчика! Его печатают на первых страницах ведущие литературные журналы Германии. Все дамы будут теперь у его ног. А он сидит себе как ни в чем не бывало!

Наследник владельца фирмы подбежал к двери, распахнул ее и прокричал в коридор:

— Пива, Эберлейн, пива! Нет, вина! Нет, шампанского! Да, шампанского! Пять бутылок!

Фридрих оттащил Карла от двери, вырвал гранки у него из рук.

— Послушай, Карл, об этом никому ни слова! Ни единой душе. Я не шучу. То, что ты видишь, — не шутки. Это объявление войны...

Он хотел было порассуждать о том, что нужно бросить в лицо старому прогнившему миру. Но увидел, как в коровьих глазах Карла светится предвкушение удовольствий, и не

стал продолжать. Карлу не дано было понять, какие страсти обуревают душу борца.

Целую неделю после этого он жил, ощущая себя юным рыцарем, выигравшим первую битву. А потом настал день, когда в Бремене появился сорок девятый номер «Телеграфа» с его очерком.

Когда он вечером пришел в дом пастора, то ему показалось, будто сей уютный ковчег превратился в обиталище ведьмы. Все возмущенно кричали:

— Как это подло! Как низко! Клевета! Облыжный навет!

Похожий на пророка со своей черной бородой проповедник Маллет воздевал кулаки к небу:

— Это написано против нас всех, против пиетистов! И мы должны нанести ответный удар.

Здесь собрался весь цвет бременских протестантов и пиетистов. Фридрих полюбопытствовал о причине такого возбуждения. Случилось, должно быть, что-то невероятное. Вдруг до Фридриха долетели слова: «...эта статья в „Телеграфе“». Его словно ударило током: «Как, неужели моя статья?.. Так и есть!» В руках одного из гостей, директора местной гимназии доктора Тёля, Фридрих увидел сорок девятый номер «Телеграфа». Пастор Паниель, добившийся внимания присутствующих, призвал их подать в суд на редакцию «Телеграфа». И это худосочный коротышка Паниель, который во всеуслышание заявлял, что он враг пиетистов и ортодоксов и сторонник просвещенного рационализма! Фридрих ценил его своеобразные проповеди.

Итак, самые разные религиозные общины сошлись в осуждении его статьи. Стоит поблагодарить умного Гуцкова, который советовал ему снять свое имя!

Тут глаза его встретились с глазами воинственно настроенной супруги шефа. Если только сын сказал ей, кто автор статьи...

Но нет! Она ничего не знала. В голосе ее звучало сочувствие:

— Бедный мальчик! Вы уже читали, как оклеветали вашу родину?

Он не успел незаметно проскочить к себе. Остальные тоже обратили внимание на юного вуппертальца. Все наперебой выражали ему сочувствие как единственному в их кругу человеку, который мог чувствовать себя задетым лично. Фридрих растерянно пожимал чьи-то руки и выслушивал утешения. Сосед Фейсткорн подал ему журнал.

— Вы, похоже, и не знаете, что произошло. Читайте же! Тут вот какой-то иезуит или жид пакостит пиетистам, играя на руку их конкурентам.

Фридрих с трудом удержался, чтобы не вспылить в ответ на такое обвинение. Бурные дебаты продолжались. Многие требовали от пастора Тревирануса, чтобы он составил петицию в гамбургский сенат.

— Что ж, братья мои, — беспомощно мямлил хозяин дома, — если вы этого хотите, я, пожалуй, отражу наше возмущение в воскресной проповеди.

Но тут кто-то спускавшийся с лестницы оборвал его резким возгласом:

— Нет, ты не сделаешь этого, Георг Готфрид! — Фридрих поднял глаза. На лестнице стояла бабушка, держа в одной руке палку, в другой — журнал. Лицо ее было бледно и строго. Трижды ударив палкой об пол, она повторила:

— Ты не сделаешь этого!

В наступившей тишине Тревиранус спросил:

— Ты прочитала статью, мама?

Старуха подняла руку с журналом:

— Да, с твоего позволения, сын мой. — И, возвысив голос, обращаясь теперь ко всем присутствующим, она сказала: — И я не нахожу в ней ничего иного, кроме благородного возмущения истинно благочестивого сердца всеми теми мерзостями и постыдными несправедливостями, которые ежедневно совершаются именем господним. — Она прочитала вслух: — «Среди низших классов господствует ужасная нищета, особенно среди фабричных рабочих в Вуппертале; сифилис и легочные болезни настолько распространены, что трудно этому поверить; в одном Эльберфельде из 2500 детей школьного возраста 1200 лишены возможности учиться и растут на фабриках — только для того, чтобы фабриканту не приходилось платить взрослому рабочему, которого они заменяют, вдвое против той заработной платы, какую он дает малолетнему».

И, перекрывая своим голосом раздавшийся ропот, она спросила:

— Разве это неправда или клевета? Вы знаете, что все так и обстоит на самом деле! Посмотрите, что делается вокруг вас. Сходите в кварталы, где живут портовые грузчики. Поспрашивайте ваших единоверцев из числа переселенцев, которых бывают тут тысячи и которые отдают свои последние сбережения, чтобы только спастись от нищеты, уготованной им в собственном отечестве! — Она снова

взяла в руки журнал и процитировала: — «...У богатых фабрикантов эластичная совесть, и оттого, что зачахнет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад, тем более если эта душа каждое воскресенье по два раза бывает в церкви». Чем же вы возмущаетесь? Тем, что нашелся человек, который сунул под нос вам зеркало? Может, вас гложет собственная совесть? А разве не изгнал сам Христос из храма торговцев, которые во имя господа обделывали свои делишки? А Мартин Лютер, а Ульрих Цвингли? Разве не призывали сжечь их на костре только за то, что они вывели на чистую воду дельцов-папистов, сорвав с лица их лицемерные маски?

Присутствующие смущенно молчали. Кое-кто счел за благо уйти еще во время тирады фрау Тревиранус. Фридрих облегченно вздохнул, словно сбросив с себя огромную тяжесть. Он хотел подойти к ней, обнять, поцеловать. Тут она сама поманила его к себе:

— Помогите мне сойти вниз, Фридрих.

У двери в свою комнату она остановилась.

— Если вам снова понадобится Гёте, приходите ко мне сами! Я решила сделать для вас исключение из своего правила никому не давать его в руки. — После этого она вынула из кармана бумажку и подала ее Фридриху. — Только не оставляйте в книгах свои записи!

Фридрих увидел свой первый набросок, на котором его собственной рукой было написано «Письма из Вупперталя». Он почувствовал, как покраснел. Стало быть, она знала все. Старуха смотрела на него проницательными глазами...

— Вы хотели действовать, не так ли? И вот это произошло. Так ли вы себе все представляли? Или вы напуганы, разочарованы? Вы ведь богатый молодой человек, наделенный многими талантами. Вы можете прожить долгую счастливую жизнь, лишенную всяких забот. А вот это может принести только неприятности, лишения, разочарования, одиночество, преследования. От вас отвернутся ваши лучшие друзья. Почтенные сограждане станут забрасывать вас камнями, в том числе, кто знает, и люди, которым вы хотите помочь!

Он хотел было живо возразить ей, но она грубовато отмахнулась.

— Ступайте, ступайте к себе! Там вас давно дожидается один молодой человек из Гамбурга.

Фридрих бросился вниз, в свою комнату, распахнул дверь. Навстречу ему поднялся невысокого роста человек

лет тридцати с приятной мягкой улыбкой.

— Меня зовут Виль, доктор Людвиг Виль. Гуцков поручил мне доставить вас в Гамбург.

— Господин Гуцков хочет говорить со мной?

— Именно так.

— Вы слышали, что здесь происходит?

— Это еще пустяки. В редакции вы еще не то увидите. Мы получили столько проклятий в свой адрес. Вплоть до угроз физически расправиться с нами. Давно уже не всплывало столько дряни. Но давно уже не было и столько проявлений сочувственного энтузиазма. Гуцков опять на коне. А ваш материал стал гвоздем номера. Где вы, собственно, печатались до сих пор? Под каким псевдонимом скрывались?

Фридрих покачал головой.

— Это первая моя публицистическая работа.

Гость с любопытством посмотрел на него.

— О да, вижу, ведь вы совсем еще мальчик.

— Ну не совсем. Скоро мне будет уже девятнадцать.

— Бог мой, восемнадцать лет! А мы-то в редакции ломаем голову, какая это старая лиса могла додуматься взять себе имя известнейшего прусского предпринимателя: Фридрих Энгельс, импорт и экспорт, Дюссельдорф — Роттердам.

— Это мой отец...

Вечная серая пелена над Альстером*, должно быть, злая выдумка Гейне, думал Фридрих, глядя на голубое гамбургское небо, залитое ярким солнцем. Огромный и пустынный мартовский небосвод придавал особую, загадочную прелесть нагромождению домов. От почтовой станции было недалеко до Генземаркта, как по старинке именовалась площадь, на которой находилось длинное, казарменного типа здание книжной фабрики Гофмана и Кампе.

По черной лестнице мимо длинных переплетных, наборных и печатных цехов поднялись под самую крышу, где находилось бюро. И сюда проникал запах олифы, нафталина и спирта, сопутствующий всякой только что напечатанной газете или книге. Сладковатый, неприятный запах этот для любого начинающего литератора казался привлекательнее запаха роз. В приподнятом настроении, вызванном ощущением сбывающихся надежд, Фридрих вошел в небольшую комнату, где его как старого доброго знако-

* Пруд в центре старого Гамбурга.

мого встретил человек с быстрыми, живыми глазами. Он не стал поражаться его юному возрасту, не стал и тратить время на обычные вежливые формальности. Только деловито констатировал:

— Стало быть, новичок.

Доктор Виль закрыл за собой дверь. Они остались вдвоем. По обе стороны стола сидели отважная юность и увенчанная лаврами знаменитость, которая должна была вынести ей свой приговор. Знаменитость встала, походила вокруг юности, которая удобно устроилась в кресле.

— Итак, юный друг, мы предлагаем вам место нашего выездного корреспондента. Твердое жалованье, накладные расходы и — постоянная рубрика в журнале! Религиозная и социальная тематика на материале разных земель и все такое прочее. Немало для начинающего, никому не известного новичка. Это, так сказать, полигон, на котором вы можете испытать разные системы оружия, найти свой стиль. Хотя у вас уже есть тот верный тон, соединяющий разумные доводы с сердечностью, святую серьезность с сарказмом, который так нравится простым людям.

«Так вот из-за чего меня сюда пригласили. «Религиозная и социальная тематика на материале немецких земель». Экая милость! И тут же признание, что стиля у меня еще нет, зато есть некая смесь, которая так нравится профанам. Не нам, конечно, профессионалам — нас-то ты на мякине не проведешь...»

— Итак, господин Энгельс, поговорим об условиях!

— Весьма сожалею, господин Гуцков, но я не могу принять ваше предложение. Моя статья не путевой очерк. Все это я пережил сам. Я стремился вовсе не к эффекту — поверьте мне! Мной руководила забота о родине, забота о развитии моего собственного религиозного чувства.

На лице Карла Гуцкова промелькнула едва заметная ироническая улыбка.

— Ваше религиозное чувство, мой друг...

Отважная юность перебила увенчанную лаврами знаменитость:

— Не может быть предметом переговоров, господин редактор. — Слова эти прозвучали резче, чем хотелось бы.

На лице знаменитости показались признаки некоторой растерянности. Чтобы ее скрыть, знаменитость еще раз прошлась по комнате, взяв в дальнем углу ящик с сигарами.

— Курите?

«Разумеется, будем! Как-никак за плечами у нас кури-

тельная ассамблея. Только сорт очень уж неважный — сигара плохо горит и воняет. Чертовски дрянной сорт для человека, который пишет свой третий роман и печатает свою вторую пьесу. Как-то даже жалко становится знаменитость! Только бы теперь не выказать слабость и не закашляться!»

Гуцков сел в кресло рядом с Фридрихом. Он о чем-то задумался, и лицо его стало симпатичнее.

— Стало быть, святой бунт, проглядывающий сквозь сарказм в каждой вашей строчке, вполне серьезен. Наигранным является только небрежный скептицизм. Простите, но мы, берлинцы, особый народ. У нас в крови до десятого колена будет бродить этот насмешливый Фридрихов дух обитателя Сан-Суси.

— Который мог позволить себе держать Вольтера в качестве придворного шута. Но с тех пор вы, берлинцы, все научились писать по-немецки.

Гуцков скептически поморщился, но все же поинтересовался:

— Вы находите?

Фридрих честно ответил:

— Великолепный язык. Поразительное соединение проницательности ума и глубокого чувства.

— Весьма признателен.

Так завязался настоящий, деловой разговор. Два товарища по одну сторону баррикад, забывшие о разнице в возрасте.

В какой-то момент лицо Гуцкова омрачилось.

— Я все думаю, кого вы мне напоминаете? И вот вспомнил! Десять лет уже прошло. Я тогда был еще гимназистом вашего возраста. И вот в Берлин приехал один знаменитый критик. Я у него добился аудиенции, запасшись парочкой гимназических стишков в духе Уланда и сатирой на бедного Граббе в стиле Жан-Поля. Он все прочел и, прощаясь, прикончил меня вопросом: что же подлинно в вас, молодой человек, ваша мировая скорбь или ваше циничное презрение к человеку? Сначала решите для себя этот вопрос, а потом уже ищите встречи с революционером! Этим знаменитым критиком был Людвиг Бёрне. — Он затянулся своей сигарой. — Вы читали Бёрне, господин Энгельс? — неожиданно спросил он.

— Только то, что можно достать в Бремене, — «Страницы драматургии» и «Описания Парижа».

— Прочтите все! «Парижские письма» и прежде всего «Менцеля-французоеда».

— А где же их взять?

Гуцков вскочил на ноги.

— Виль! У нас есть Бёрне? — крикнул он, выглянув в дверь.

— Как можно, шеф! Только позавчера был последний обыск!

— А можно его достать?

— Только не в Гамбурге.

— Тогда дай господину Энгельсу адрес нашего парижского источника.

— Хорошо, шеф!

Гуцков снова повернулся к своему посетителю.

— Вы должны его прочитать! Ведь вы единственный писатель в Бремене, в этом некультурном, варварском гнезде, где каждый думает только о своих сделках. Там нет даже путаника Фрейлиграта. Бёрне, вот кто вам нужен! — Гуцков закончил беседу словами: — Жаль, мне так хотелось поработать с вами. Давно уже не появлялось новых талантов. Но вы хотите слишком многого сразу. Все или ничего. Рано или поздно вам придется чем-то пожертвовать. — Он выписал квитанцию. — Надеюсь, вы скоро пришлете нам что-нибудь отвечающее вашим искренним убеждениям.

Фридрих хотел подписать квитанцию.

— Секунду! — Гуцков удержал его за руку. — У вас нет псевдонима? Вам нельзя подписываться собственным именем. Иначе при следующем же обыске вы попадете в категорию запрещенных, а ваши почтенные единоверцы устроят вам ад уже на этой грешной земле.

Фридрих задумался. Не очень-то легко вот так, на ходу подобрать себе имя. К счастью, припомнился герой романа Иммермана «Мюнхгаузен». И он подписался: «Освальд».

Гуцков прочел и насмешливо улыбнулся. Он истолковал это имя совершенно иначе.

— Освальд, святой Освальд, превративший диких англов и саксов в набожных овечек стада Христова. Ради бога, не пытайтесь этого делать с нашими просвещенными гамбургскими читателями! Они на это не клюнут.

Энгельс с удивлением взглянул на него.

— Значит, вы все же действительно ненавидите пиетистов. А моя статья явилась бальзамом для вашей души!

Гуцков усмехнулся.

— Ну зачем так сразу сердиться, молодой человек? Или вы всерьез полагаете, что ваше представление о боге имеет

хоть отдаленное сходство с какой-либо ортодоксальной интерпретацией Библии?

Фридрих упрямо ответил, что верит в то, что любое христианское воззрение, в том числе и пиетизм, можно обновить и исправить.

— Вы так полагаете? Вы занимаетесь теологическими проблемами?

— Не специально.

— Ну так займитесь ими!

Гуцков вынул из ящика письменного стола деньги, затем из нижнего ящика стола он достал книгу и присовокупил ее к деньгам. Это была «Жизнь Иисуса» Давида Фридриха Штрауса. Самая сенсационная книга, когда-либо написанная теологом; все верующие, которых Фридрих знал, поносили ее. Но видеть ее никто не видел, не говоря уже о том, чтобы читать.

— Эта книга принадлежит вам? — удивленно спросил он.

— Теперь нет, — с улыбкой сказал Гуцков. — Я дарю ее вам.

Фридрих стал горячо благодарить писателя, который, протянув ему руку, сказал:

— Очень надеюсь на наше плодотворное сотрудничество!

Какая книга! Он начал читать ее еще в Гамбурге, поначалу с чувством заведомого превосходства над автором, этим несчастным, хитроумно-путаным теологом, который, конечно же, не сможет поколебать его основанную на глубоком внутреннем чувстве веру. В карете он продолжал чтение, все чаще погружаясь в задумчивость. А когда он в первую свою ночь в Бремене закончил последнюю страницу, ему было ясно: из безоблачной лазури прекраснодушной веры он низринут в пучину сомнений.

И снова над расколотой твердыней промчалась буря...

Ужасные мысли! Знакомые очертания созвездий на ночном небе стали вдруг одинокими, без сочувствующего, милостивого существа, ограждающего своей дланью хрупкую человечью душу. Высшая добрая сила отодвинулась вдруг в недосягаемую даль, оставив вместо себя непостижимую необходимость, поделившую космос на вечные маршруты и ничего не знающую о человеке, о его страданиях, борьбе, о его чаяниях и надеждах. Микробы на пылинке в бесконечности космоса — вот что такое люди. Он содрогался.

Все клеточки его существа возмущались против этой мысли. Измученное сердце кричало: нет! нет!

Но вот перед ним лежала книга, походившая на беспристрастный протокол неподкупного судии, опиравшегося на философские доводы Гегеля и логический разум. И судия этот выносил уничтожающий приговор: нет никакого небесного отца. А твоя искренняя вера в небесного распорядителя вещей, в доброте своей пославшего сына спасти людей, не более чем продукт фантазии ранних и незрелых христианских общин.

Ужасная, крамольная мысль!

Зачем же тогда всякая борьба? Бессонные ночи? Волшебство поэзии? Счастливое чувство бессмертия в симфониях Бетховена? А природа, вселяющая в нас чувство величия господа? Зачем улыбка дедушки, глаза Агнессы? И все, все это существует на свете не по милости божьей? Борьба не на жизнь, а на смерть обреченных? Пламенные сердца борцов за свободу и справедливость? Неужели это все пустые иллюзии, которые лопаются от прикосновения к ним критического разума? Нет! Нет!

Бледный, с побелевшими губами Фридрих ходил сам не свой. В сердце его вскипала ярость против ненавистной книги и против того, кто стоял за ней с топором категорий в руке, — против пруссака Гегеля.

Но яд сомнений разъедал и разъедал его душу, а мысли вновь и вновь возвращались к доказательствам разума.

Весь апрель Фридрих провел за чтением духовных сочинений, трактатов и памфлетов теологов, направленных против прислужника дьявола Штрауса и диалектического идеализма его философского наставника Гегеля. Но все они были бессильны против логики Штрауса. Всякий раз Фридрих презрительно отшвыривал эти убогие, попахивающие инквизиционным душком опусы. Грязные руки таких вот гиен и виновны в том, что наша христианская вера вянет!

Но ведь есть другие, лучшие пастыри веры! И Фридрих отправился к добряку Тревиранусу, в ризницу церкви святого Мартина, зная, что застанет там его одного. Он изложил ему все свои сомнения, привел все доказательства против истины откровения.

Пастор с заметным испугом заглянул в истерзанную сомнениями душу своего подопечного. Долго пришлось Фридриху ждать ответа. Наконец тихим, мягким, вкрадчивым голосом было произнесено:

— Да, Фридрих, все верно. Противоречия налицо. Их невозможно отрицать.

— Как же вы можете после этого учить, будто всякое слово писания вдохновлено богом?

— Но так оно и есть!

— Тогда выходит, что бог противоречит сам себе?

— А почему бы ему не противоречить самому себе, если он бог? Разве он не противоречит себе, своим собственным законам, превращая воду в вино, возвращая мертвых к жизни, останавливая солнце?

Тревиранус, по-видимому вовсе не пришедший в ужас от раздиравших душу Фридриха сомнений, продолжал спокойно возиться в ризнице.

— Вы ищете надежных доказательств, — сказал он. — Но их не может быть в вопросе о боге. Есть только чистая вера в то, что написано в четырех книгах Евангелия. Любое сомнение, любая попытка разобраться в них, исходя из человеческого разумения, ведет ко все большим противоречиям.

— Нет, — возразил Фридрих. — Бог не для того дал людям глаза, чтобы они блуждали на ощупь в темноте. Он не для того дал нам разум, чтобы мы прекратили думать! — разочарованный и возбужденный, он вышел из ризницы.

— Постой-ка, сын мой! — раздался за его спиной голос Тревирануса. Пастор вдруг совершенно переменился. На лице его было смятение. — Вернись, сын мой! Пока не поздно. Поверь старому, много пожившему человеку. Если ты пойдешь по этому пути дальше, ты потеряешь бога!

Фридрих покачал головой.

— Как же я могу потерять его, если я его ищу?

— Твои поиски происходят от надменности ума, который признает истиной только то, что имеет доказательства.

— Стало быть, для бытия божия доказательств не существует?

Тревиранус печально покачал головой.

— Так значит, Штраус прав?

— А если и прав? — сказал священник. — Разумом можно постичь только посюстороннее, сын мой, но не потустороннее, не бытие бога.

Фридрих растерянно посмотрел на пастора. Тот, выходит, приравнивал веру в бога к вере в пустой миф, еще хуже, чем антихрист Штраус.

— Нет, — вскричал он, — бог — это истина! Нет такой истины, которую нельзя было бы осмыслить. И если я ищу истину, то могу только приблизиться к нему!

— Ты ничего не выиграешь на этом пути, но все проиграешь. Однажды ты вдруг обнаружишь, что стоишь совершенно голым и одиноким перед темным и непонятным Ничто. И тогда тебя день и ночь будет терзать ужас перед слепой и бессмысленной жизненной необходимостью, ужас перед безнадежностью неотвратимой смерти.

— В этом-то и причина вашей веры в бога — в страхе перед Ничто?

— Вера превращает страх в надежду. А разум уничтожает надежду. Вот единственное основание для веры в бога, покуда люди будут жить на этой планете. Но этого более чем достаточно. Молись, сын мой, проси господа, чтобы ты выдержал ниспосланное им испытание.

Он ушел от Тревирануса с прежними сомнениями и с прежней упрямой решимостью пожертвовать всем ради поисков истины. Отказаться от истины ради надежды — это трусость, предательство, рабское унижение. Если бог существует, то он во всем, в закономерности всех явлений. А красота природы? Но ведь природа закономерна. Ее гармония — эта вынужденная, слепая, статическая необходимость. А образ гармонической красоты возникает только в глазу воспринимающего. Чтобы быть красивой, природа нуждается в человеке с его грезами, в поэте с его богатой, чуткой фантазией. Так стало быть, божественное заложено в человеке, в его чувствах? Но тогда рушится все здание веры в откровение! И Штраус прав, что его уничтожил!

Фридрих отправился в собор к Паниелю. Тот любезно принял его, угостив сухой, тощей соломой рационализма, которой никак нельзя было утолить мучивший его душу голод: истина того, о чем думаешь, содержатся уже в том, что ты думаешь об этом. Разве не является доказательством бытия бога то, что человек неосознанно принимает его существование. Поскольку бытие предполагает небытие, то трансцендентный творец существует хотя бы потому, что ведь должен же кто-то переводить небытие в бытие.

— А что же такое Евангелие, господин доктор, что такое книга книг, на которой и основывается вся христианская вера?

— Все это лишь толкования, друг мой. Толкования божьего завета, приспособленные к человеческому пониманию, к ограниченному мышлению человека того времени.

— То есть сказки?

— Можно назвать их и так. Но ведь вы ищете рациональное зерно во всем. А во всякой сказке есть мораль.

Четыре евангелия — это зашифрованная моральная заповедь людям самого бога. Всякое последующее поколение расшифровывает ее все более и более полно.

У каждого свое собственное объяснение, у каждого своя собственная теория. Неужели нет никого, кто бы мог вместо советов и рецептов дать толковое объяснение?

«...Молись, сын мой, проси господа!..» — стоял в ушах голос Тревирануса.

«Я молюсь, прошу, но толку никакого. Пастор прав в одном: кто хоть на миллиметр отклонится от ортодоксии, тот уже неисцелим. Но я не могу иначе, господин пастор! Того, что кажется мне убедительным, я при всем желании не могу выбросить из своей головы».

По ночам Фридрих лежал на кровати с широко раскрытыми глазами. Голова болела. Сердце грозило выпрыгнуть из груди. Мир расшатался. Сомнения пожирали силы, как болезнь. Он продолжал молиться богу. Но там, где раньше, казалось, он получал ответ, теперь была черная бездна молчания. Отец всемогущий был мертв, гораздо более мертв, чем умерший дедушка, который каким-то образом все еще присутствовал в его жизни — своим голосом, улыбкой, словами, мыслями, рассуждениями. А вот ОН был мертв так, как будто никогда и не жил.

Всюду на каждом шагу Фридриха преследовала теперь эта мысль: его нет и никогда не было. Там, где было его место, зияла дыра. Я непознаваем, недоказуем, немыслим. Я не вещь среди вещей. Я не посюсторонен, не достоверен, не необходим, не существую. Я ничто.

Старая болезнь человеческого духа одолела Фридриха: муки созревшего сознания, выбирающегося из уютной темноты детской убежденности на яркий свет и обнаруживающего вдруг свое одиночество в бесконечном мире.

Он сидел за своим столом в конторе и вместо того, чтобы писать письмо в Детройт, все рисовал и рисовал кресты на бумаге. Даже сообщение в лондонской «Таймс» о поражении восстания бланкистов в Париже, от которого он в иное время пришел бы в бурное возбуждение, на этот раз дошло до его сознания, как отдаленное приглушенное эхо. «Луи Огюст Бланки, — писала английская газета, — этот заговорщик-фанатик, добивавшийся отмены права частной собственности с целью установления ужасного коммунистического господства, приговорен к смерти». Фридрих отбросил газету. «Фанатик-заговорщик...» Он горько рассмеялся. Разве не выступал против «права частной собственности» и

Христос? Луи Огюст Бланки, таким образом, скорее мученик во имя нового, справедливого мира. Надо запомнить это имя. Но сначала нужно понять, имеют ли смысл все эти жертвы, приносимые во имя справедливости, защиты человеческого достоинства, свободы? Где ты, бог? Где твоя вечная правда, тот закон, которому мы, смертные, подчиняем свою жизнь?

Вдруг чья-то могучая рука схватила его за плечо и вытащила из-за стола. Перед ним стоял консул, басивший, как иерихонская труба:

— Черт знает что, а не вид у тебя, злодей! Весь белый, как сыр, и тощий, как сто лет не жравший клоп! Бери-ка немедля сюртук и шляпу и вон с глаз моих. Проклятье! Что ж ты, таким призраком вернешься к отцу? Чтобы он подумал, будто Лёйпольд стал живодером? Вот тебе тридцать талеров и писулька к учителю Людерсу в Гроне. Пусть-ка он откормит тебя да погоняет хорошенько по своей флоре, чтобы ты засиял, как паша. Ты хоть выходил в море?

— В море? — Фридрих смутился.

— Святой Панкратий, скоро год как ты в Бремене, а на море еще и не был ни разу! Зато по погребкам да ресторациям мой оболтус, видать, потаскал тебя изрядно!

— Я давно уже собираюсь. Каждое воскресенье, — пролепетал Фридрих.

— Ну пора бы и собраться! В Гроне у них есть лошади. Часа за три домчат тебя до моря. Подержишь на морском ветру свою постную рожу, вся блажь мигом и выскочит. И никаких книг! Если все читать да читать да скрипеть весь день пером за столом, то можно и слона засушить!

...Старик Людерс оказался чудесным человеком, сохранившим молодость в душе и поддерживавшим прекрасные отношения со всей деревней. Он фанатично, как Руссо, любил природу; все свое свободное время проводил в лесу или на Везере, который здесь, в устье, был особенно широк. Учитель прислушивался к миру живого, подобно язычнику-волхву, чтобы понять тайну жизни. Май во всем своем великолепии раскинулся по обоим берегам реки, по лугам, лесам, деревенским посадкам. Охота за ракушками, крошечными рачками, редкими червяками, водорослями и мхами вскоре стала казаться Фридриху не менее увлекательной, чем поиски истины. Ум Людерса был прост и прямолинеен. Он немногословно объяснил, почему самая большая тайна заложена в самом простом.

— Обращаясь к примитивному, ты оказываешься у исто-

ков. Тут уже исчезают ухищрения формы и наслоения времени. Ты находишь точку, откуда все произошло. Ты находишь альфу и омегу органической жизни, ее вечный, неистребимый принцип. Последняя тайна является в конце концов простенькой правдой первоначала.

Как-то вечером Фридрих признался скромному учителю в своих мучительных сомнениях. Тот не охал, не ахал, не высказывал сентенций и нравоучений. А просто кивал головой, показывая, что понимает, в чем дело. На следующее утро он подвел к Фридриху оседланного красавца жеребца и сказал:

— Скачи к морю, Фриц! То, что ты ищешь, есть не церковный бог, а ключ к твоей собственной жизни. Может, ты отыщешь его там, где начинается всякая жизнь.

...Исчезали последние кусты. Лишь кое-где из песка выступали осока и дрок. Конь поднял уши и раздувал ноздри. Выскочили на дюну, вспугнув стаю чаек. С северной стороны подул свежий, солоноватый ветер. Все громче и громче слышался рокот моря. Наконец на горизонте показалась огромная зеленоватая плоскость, сливавшаяся с серовато-голубым небом. Жеребец остановился и, стуча копытами, поворачивал голову к седоку, как бы говоря ему: ну вот и то, чего ты хотел. Неописуемая живая сила природы. Море.

Море.

Это бесконечное зеленое зеркало, непрерывно порождающее белые барашки волн и играющее мириадами солнечных бликов, это цветное чудо, смешавшее зелень воды с голубизною неба и золотом солнца. В этом зеркале отражается гордое бытие свободного, бесконечного духа, в котором исчезают все мелкие обыденные тревоги и заботы.

Ложный призрак вне измерений пребывающего всемогущего Отца умер. Но жива всемогущая сила вечной созидательницы природы. То единое, что действует во всем, в бесконечности Вселенной точно так же, как в каком-нибудь людерсовом червяке, то простое и истинное и есть бог. К нему-то и стремимся мы всем сердцем, всей неуемной тоской вечно ищущей души. Гордый свободный ум склоняется перед этим богом без всякого унижения. Мы живем и ощущаем себя в нем! Все вокруг нас и мы сами пронизаны им. Поэтому вся природа родственна нам, волны так ласковы с нами, небо так приветливо, а солнечные лучи так теплы.

Мир и покой снова вошли в душу Фридриха. И реши-

мость — строить отныне свою веру на новой основе, которая должна стать «ключом к своей собственной жизни», как сказал Людерс. Поздно ночью вернулся он в учительский домик в Грон, где старик поджидал его, сидя у окна. Они молча заключили друг друга в объятия.

На прощание Людерс подарил ему небольшую тоненькую книжечку. Это были «Монологи» Шлейермахера, изданные в 1800 году.

Дома его ждала приятная новость. Рихард Рот, старый дружище, которого он не видел с незапамятных времен, собирался в Бремен, где он должен был занять место торгового служащего в филиале фирмы своего дяди.

На почтовой станции Фридрих просидел несколько часов, пока наконец не прибыл дилижанс с юга. Из него первым вылез толстяк и помахал ему шляпой.

— Фриц!

Фридрих узнал его по голосу. И тут же заключил медведя в свои объятия. Частица детства, частица Бармена.

— Как же я рад, что здесь со мной будет мой старый товарищ, толстокожий и упрямый старина Рихард Рот! — Они отнесли вещи Рихарда на неподалеку расположенную Гартенштрассе. — Ну рассказывай же, рассказывай, что там дома! Я не выпущу тебя до тех пор, пока не узнаю о всяких пустяках тамошней жизни.

— Да что ты, Фриц. Какие же у нас могут быть новости? — качал головой Рот.

— Да ты с ума сошел! Выкладывай немедленно! Убью на месте, если будешь молчать!

Рихард, мучительно наморщив лоб, помолчал. Но потом все же стукнул себя по лбу.

— Есть, есть одна новость!

— Ну наконец-то!

— Мы строим теперь железную дорогу!

— И это ты называешь новостью? — простонал Фридрих.

— Ах, стало быть, ты уже знаешь.

— Да ведь это же было в газетах!

— Ну так скажи тогда, чего ты еще не знаешь!

У Фридриха чуть слезы не выступили на глазах от смеха. Рихард не сразу сообразил, отчего его друг смеется, но потом и сам присоединился к нему. Как выяснилось, Рихард пробудет в Бремене год.

— Целый год еще! — с завистью сказал Фридрих. —

Счастливец! А мне осенью возвращаться уже к мукертальцам. Под отцовское крыло.

В оставшееся время они поклялись не разлучаться.

Но в будние дни часто ничего из их намерения не выходило.

Фриц Гребер, с которым Фридрих поделился своими душевными тревогами, опасаясь за друга, выслал ему целую стопку душеспасительных брошюр, написанных официозными теологами, вроде Хенгстенберга, которые якобы опровергали Штрауса, но на самом деле лишь доносили на него властям. Фридрих страшно разгневался на своего бывшего друга. Просто поразительно, как низко мог пасть бывший гимназист-вольнодумец, став студентом-теологом. О стряпне такого рода не стоило и распространяться. Только брошюра некоего Генриха Лео с ее рабьим прусским душком заинтересовала Фридриха. Этот автор использовал книгу Штрауса как повод для фронтальной атаки на философию Гегеля. Этого бесспорного властелина в мире идей, которого само прусское правительство провозгласило государственным философом, он объявил атеистом, врагом христианства и христианско-монархической системы, скрывающимся под маской лояльности.

Эти нападки подняли бурю возмущения в стане сторонников Гегеля. Фридриху едва хватало ночей, чтобы познакомиться со всем, что печаталось в научных журналах в защиту Гегеля. Но сколько он их ни читал, эти статьи его не убеждали. Странная мысль завладела им! А что, если Лео не так уж и не прав в своих обвинениях? Что, если в этой нашумевшей формуле «Все действительное разумно; все разумное действительно» было не что иное, как смиренный поклон власти? Ведь и революция была действительной, и младогерманская оппозиция, и борьба за право народа на самоопределение, и идея свободы! С пылающей головой помчался он из конторы к книготорговцу Шюнеману и заказал ему все, что можно было достать из сочинений самого Гегеля.

Но помнил он и об обещании, данном Рихарду Роту.

В следующее воскресенье друзья взяли напрокат лошадей и поскакали прочь из пыльного города. Они скакали по лугу вдоль Везера. В одном месте остановились, скинули с себя одежду и бросились в холодные волны.

Рот рассказывал Фридриху о том, что произошло дома с тех пор, как он уехал. Но скоро Энгельсу надоели сплетни из Вупперталя, города, который меж тем покинули и Фрейли-

грат, и графиня, и большинство из старых друзей. С ужасом он думал о возвращении домой и с еще большим ужасом — о предстоящем переселении в Энгельскирхен, где начала работать новая фабрика отца, коммерческим руководителем которой он должен был со временем стать.

Фридрих много рассказывал Роту о себе, о долгих месяцах, в течение которых перечитал горы книг, о новой литературе последнего десятилетия, о развитии теологии от Гердера до Штрауса, о философии.

— Я стал младогерманцем. Гуцков бомбардирует меня письмами, требуя новых статей. «Молодая Германия». Как тебе это нравится? С тех пор как я в Бремене, я понял, какую жалкую, рабскую жизнь мы вели дома! Я теперь не могу спокойно видеть прусский герб. Во мне сразу же закипает мысль о революции. С пиетизмом я порвал. Долой этих шутов детской веры, запрещающей человеку думать. Что отвергает наука, того не должно быть и в жизни!

Рихард внимательно его слушал. Понимал он, правда, немного. Но он чувствовал, какие большие перемены произошли в старом предводителе кадетов.

— Так, стало быть, верно говорили мне о тебе старые приятели твои, братья Гребер? Будто ты попал в сети этого христопродавца Штрауса? И что нужно всем нам молиться, чтобы господь вернул тебя на путь истинный?

— Ну и что же? — спросил Фридрих.

— Что? — переспросил Рот.

— Молишься ты за меня? — Фридрих со смехом набросился на увальня, повалил его на траву, сел верхом на него, приговаривая: — Будешь ли ты каждое утро, день и вечер молиться за спасение моей заблудшей души?

— Да! Да! Да! — в тон ему отвечал друг. — Только если ты об этом попросишь!

— Твое счастье! — Фридрих отпустил его. Оба не переставали смеяться. — Бедные Греберы, несчастные овечки. Фрица я вызову на диспут. Посмотрим, устоит ли его теологическое начетничество перед научной аргументацией Штрауса. — Фридрих глубоко вздохнул. — Да, я — штраусианец, я, жалкий поэт, прячусь под крылья гениального Давида Фридриха Штрауса. Послушай-ка, что это за молодчина! Вот четыре евангелия с их хаотической пестротой — и вот появляется Штраус, как молодой бог, извлекает хаос на солнечный свет и — прощай, вера! Она оказывается дырявой, как губка. Я прибился к берегу гегельянцев и знаю о непобедимой мощи разума, который пробивает

себе дорогу сквозь любые препятствия. Но когда я лежу на солнце, вижу небо, чувствую ветер, слышу вдали мощное дыхание моря, тогда мне в голову приходит мысль, что, может быть, правы и Гердер с Шлейермахером. Религиозное сознание, вечное стремление человека к высшему вырастает только из встречи человеческой души с бесконечностью Вселенной.

— Ох, и путано что-то, если тебя послушать. Но говори, говори! Бог мой, Фриц, как я соскучился по твоим речам, по твоему голосу даже!

В очередном своем письме Фрицу Греберу Фридрих писал: «Я тебе только скажу напрямик: теперь я пришел к тому, что божественным можно считать лишь то учение, которое может выдержать критику разума... Я надеюсь дожить до радикального поворота в религиозном сознании мира; если бы только мне самому все стало ясно! Но это непременно будет, если у меня только хватит времени развиваться спокойно, без тревог.

Человек родился свободным, он свободен!»

С увальнем Ротом он к этой теме больше не возвращался. У того не было ни малейшей охоты всерьез заниматься религиозной тематикой. Зато он разбирался в музыке. Он затащил в Певческую академию и Фридриха, в котором проснулись воспоминания о первом рейнском музыкальном фестивале. Рот привел Фридриха и в церковь святого Стефана, где каждую среду молодой капельмейстер Карл Космали исполнял новые композиции Мендельсона или своего дрезденского друга Роберта Шумана. Фридрих стоял возле самого органа. Музыка мощными волнами наплывала на него, вроде бы чужая, но в то же время как будто знакомая. В ней было что-то баховское, но странным образом измененное. Мучительная тоска души, пробивавшаяся наружу... Фридрих благодарно пожал товарищу руку.

В громадной церкви царил полумрак. В ней почти никого не было, только впереди, у алтаря, склонилась женщина в черном. Вдруг эта женщина упала. В испуге Фридрих и Рихард бросились к ней. Фридрих узнал Юдифь фон Котбек. Тело ее билось в судороге. Оба друга подняли ее и отвели к ближайшей скамье. Здесь и она узнала Фридриха.

— Он мертв, господин Энгельс. Они убили моего брата, — с трудом выдавила она из себя.

Фридрих не понял. Он следил за судебным процессом над дезертиром, длившимся несколько месяцев.

— Но ведь его оправдали?

— Помиловали, приговорив к ста ударам палками. Двумя сериями. Пятьдесят он еще выдержал. Но мысль о следующих пятидесяти была ему невыносима. Утром они нашли его повесившимся в камере. Я тоже виновата! Ведь это я привезла его тогда в город.

Фридрих был потрясен.

Над заброшенным кладбищем за городской чертой стояло серое утро. Провести погребение по христианскому обряду согласился только пастор либертинской общины, объединявшей самых неимущих бедняков. У свежей могилы стояли всего два человека — Юдифь и Фридрих. Он осторожно отвел ее потом к экипажу, дожидавшемуся у ворот кладбища. Они обменялись всего несколькими словами — о покойном. Юдифь с горечью рассказала о том, что ни родители, ни другие родственники не захотели проводить ее брата в последний путь, и о том, как она бегала по городу от одного евангелического пастора к другому. У каждого была своя отговорка, но никто так и не согласился провести погребение.

— Отчего люди так жестоки? — спрашивала она. — Что он им сделал плохого? Жизнь моя кончена. Уже ничто, ничто не радует меня больше.

Дома за воскресным обедом сидели пастор Тревиранус, его жена, обе дочки, их жилец Фейсткорн. Фридрих отказался сесть за стол.

— Его все же похоронили, как христианина, — произнес он с горечью. — Смилостивился либертинец и спас его от собачьего конца. — С этими словами, не поклонившись, он прошел к себе в комнату, прежде чем пастор успел что-либо возразить.

Взгляд его упал на подарок учителя из Грона. «Монологи» Шлейермахера. Он без особой охоты стал листать эту книжку. Потом вспомнил о том, как она возникла. Знаменитый спор 1799 года об атеизме. Кант, Гердер и Гёте против Фихте с его абсолютным Я. И вдруг некий молодой теолог отваживается выступить в защиту Фихте. Это был Шлейермахер, учитель и кумир дяди Снетлаге. Как давно это было! Благодарю за искренний порыв, милый Людерс, но с тех пор многое изменилось в мире. Так думал Фридрих, начиная листать эту книгу. Но потом заинтересовался, вчитался — и увлекся. Здесь он нашел все те вопросы и сомнения, которые мучили и его. Но он нашел здесь и ответы на них, настоящие глубокие ответы.

«Кто живет в ладу с современностью и не желает

ничего иного, тот современник полуварваров, заложивших основы нашего мира; он продолжает жить их жизнью, вполне удовлетворяясь завершением их замыслов, а то лучшее, что было им недоступно, недоступно и для него».

«Да сблизится в любви и надежде всякий, кто, как я, принадлежит будущему, да сплотятся они словом и делом и да расширится таким образом союз приверженцев лучшего будущего».

«Судьбе подвластны только боги, поскольку им не нужно действовать, и худшие из смертных, поскольку они действовать не хотят; но не человек, который поступает так, как достойно человека».

«Всякий миг моей жизни, особенно когда вижу перед собой дрожащих рабов, приветствую тебя, близкое моему сердцу сознание свободы!»

Прозрение осенило Фридриха. Религия — дело сердца; и у кого есть сердце, тот может быть благочестивым, но у кого благочестие коренится в рассудке или даже в разуме, у того его вовсе нет. Древо религии растет из сердца и покрывает своей сенью всего человека и добывает себе пищу из чистого эфира разума. Это и был Шлейермахер.

Ах, дядя Мориц и ты, мама, зачем вы не дали мне почитать эту книгу? Зачем вы предлагали мне сухую солому, когда измученное сердце мое жаждало такой вот духовной пищи! Глупцами вы были, полагая, будто меня нужно оберегать от свободной мысли! Если б я вовремя мог опереться на Шлейермахера, на Неандера и Мерклина, я, может быть, и устоял бы против искусителя Штрауса и до сих пор разделял бы вашу веру, и у вас не было бы причин испытывать страх за мою душу.

Теперь же Шлейермахер пришел ко мне слишком поздно. Духовный наследник Гегеля Штраус произнес свое слово и разрушил веру, которую вы построили на одном лишь ветхом фундаменте библейских легенд.

Гегель! Снова и снова Гегель! Все цитируют его. Все на него ссылаются. Гуцков, Руге, Ганс, Неандер, Винбарг, даже Гейне. Благородный Штраус, как он горд тем, что принадлежит к его ученикам. Пора, пора и мне заняться им.

Фридрих взглянул на внушительную стопку книг Гегеля, которую он себе заготовил. Ранние произведения. «Феноменология духа», «Лекции по философии истории», «Философия религии» в издании Мархейнеке. Главное произведение Гегеля «Логика». Ах, если б он только писал более доступным языком!

Ему захотелось продолжить давно начатое письмо к Фридриху Греберу.

Все, хватит! Никакой щепетильности больше, никакой жалости к чувствительно воздыхающему над Библией студенту-теологу! То, что написал ему этот христианский догматик в своем последнем письме, требовало отповеди.

«Свобода духа, говоришь ты, заключается в отсутствии самой возможности сомнения. Но ведь это — величайшее рабство духа; свободен лишь тот, кто победил в своем убеждении всякие сомнения.

Я молюсь ежедневно, даже почти целый день об истине; я стал так поступать с тех пор, как начал сомневаться, и все-таки я не могу вернуться к вашей вере.

Тебе, конечно, приятно в твоей вере, как в теплой постели, и ты не знаешь борьбы, которую нам приходится проделать, когда мы, люди, должны решить, воистину ли бог есть бог или нет; ты не знаешь тяжести того бремени, которое начинаешь чувствовать с первым сомнением, бремени старой веры, когда нужно принять решение: за или против, носить его или стряхнуть...»

Он не захотел переписывать свой набросок набело. Пусть этот тип попыхтит, разбирая его каракули! А он перед сном еще поплавает с полчасика в холодной реке.

На другой день в конторе Фридрих услыхал раскаты громового голоса, доносившегося из кабинета консула.

— Нет и нет, будь ты трижды проклят! Вот тебе билет! Я не передумаю! Терпение мое лопнуло, пся крев! Катись к дьяволу!

Последовало еще какое-то сложное польское ругательство, после чего из кабинета пулей вылетел Карл Лёйпольд. Дверь за ним с грохотом захлопнулась.

— Аминь! — сказал Карл, показывая Фридриху билет на пароход. — Прощай, прекрасная, сладкая жизнь, полная удовольствий! Карла выпроваживают в холодное море. Не на великолепные пляжи на фоне вечной весны, отнюдь! На север, на холодный, мрачный север, где ни девушек. ни винных погребков, одни только медведи, сани да охотники за шкурами.

Фридрих протянул приятелю руку.

— Сочувствую! Стало быть, не удалось смягчить старика?

— Через час «Густав Адольф» поднимет парус. Итак, прощай, брат мой! Прекрасная пора миновала. Назад мне

дозволено будет лишь тогда, когда на скудном огне в хижине эскимоса душа моя созреет для брачного ига.

— Не ты один! — грустно заметил Фридрих. — И моя прекрасная пора скоро кончится. Отец велит возвращаться в Мукерталь.

В дверях показался кучер. Фридрих пошел было провожать Карла, но тут его позвал к себе консул.

— Уехал, наконец, этот бездельник? — спросил старик и передал Фридриху папку с корреспонденцией, относящейся к Америке. Это была неожиданность.

— Мне вести торговлю с Америкой?

— Да не притворяйся ты, дьявол. Что у меня, глаз нет что ли и я не вижу, что ты и так ведешь ее вместо моего отродья? И где только ты этому всему научился? С сегодняшнего дня будешь получать жалованье, а твоему отцу я напишу, что вследствие семейной трагедии, постигшей меня, фирма не может без тебя обойтись. Ты остаешься! Или все его ситцы проваляются на складе, пока не сгниют! А эти бездельники, — обратился он в сторону учеников, — пусть регулярно ставят тебе пиво, раз никуда не годятся в работе, черт бы их драл. А уж я прослежу за этим, будь спокоен!

Фридрих вне себя от восторга выбежал на улицу и помчался по ней, размахивая руками. За лотком торговала овощами толстая женщина. Он подскочил к ней, обнял, расцеловал со словами:

— Я останусь в Бремене!

— Ну так и прекрасно, мой мальчик! — улыбнулась та.

Фридрих побежал дальше. У газетного киоска он снова остановился и крикнул старику, продававшему газеты:

— Я останусь в Бремене!

Тот озадаченно посмотрел на него, а потом серьезно кивнул в знак одобрения.

Еще необузданнее радовался этой новости Рихард. Когда рядом друг, лучше Бремена нет города на свете! Они исходили вдоль и поперек весь город, строя планы на будущее. Вечерами они ходили слушать Бетховена в театральный зал — Пятую, Шестую, Седьмую симфонию. Северонемецкая тяжеловесность, отличавшая дирижера Штегмайера, позволила Фридриху познакомиться с совершенно новым Бетховеном, зрелым, не восстающим со всей необузданностью юности против судьбы, а по-мужски подчиняющимся тому, что неизменно, и твердыми шагами идущим своим путем до конца. Смирение и достоинство. Глубокая меланхолия, разлитая в природе, во всем живом, ибо оно бренно,

невосстановимо, неповторимо, но не обречено. Где отмирает старое, зарождается новое, совершеннее, прекраснее прежнего... Становление и увядание, вечная смена, вечная жажда любви, самоутверждение в борьбе, страстная борьба за долговечность и постоянство, напрасная и все же не совсем напрасная, ибо над всем властвует один закон — вечный, непреходящий закон жизни. В подчинении ему нет трусости, нет унижения, ибо и в нас есть непреходящая часть человеческого существа, которая коренится в бесконечном и выходит за рамки нашей индивидуальности в нетленность.

Вот они, прекрасные носители этого вечного, человеческого начала: Сократ, Христос, Бруно, Гус, Мюнцер, Руссо, Робеспьер, Бёрне — отравленные, распятые, сожженные, доведенные до самоубийства, обезглавленные, запрещенные, сосланные.

Так печется господь о тех, кто берет его сторону!

Нет, не господь, а власть имущие, когтями и зубами держащиеся за свою власть. Им удается покончить со своими противниками, но не с их идеей освобождения человечества. Она, эта идея, заложена в человеке, она вечна и неделима, как универсум. Она — та преобразующая мир сила, которая дает нам надежду и уверенность в победе, мужество для сопротивления и оружие в борьбе с тьмой.

20 июля Фридрих получил длинное письмо от его отцовского высочества, крупного коммерсанта Фридриха Энгельса старшего. В письме содержалось немало похвал в адрес Фридриха в связи с проявленными им прекрасными деловыми качествами в конторе высокочтимого бременского коллеги. Письмо было опущено в Антверпене, ибо «тревожные события» на Британских островах побудили отца срочно выехать в Манчестер. Сошла беззаботная улыбка и с лица консула, на котором она, казалось, поселилась навечно. Что-то случилось на Альбионе, на этой торговой базе самого господа бога! Неимущие наемные рабочие больших фабрик осмелились требовать в Народной хартии всеобщего избирательного права.

Свыше миллиона англичан подписали петицию в британскую палату общин. Однако преобладающее большинство депутатов, избранных для служения народному благу, в святом гневе отвергло эти невероятные претензии. После этого в Бирмингеме началось настоящее народное восстание, на подавление которого были брошены армия и полиция.

Чартисты ответили призывом ко всеобщей забастовке, намеченной на 12 августа. Англия, этот надежнейший

бастион частной собственности, стала вдруг кипящим котлом.

Фридрих инстинктивно чувствовал, что здесь началось что-то новое, небывалое. Самые бедные слои населения, необразованные, смирившиеся со своей судьбой промышленные рабочие целой страны, обязанные своим существованием, казалось бы, предпринимателям, дающим им хлеб и деньги, эти несчастные и бесправные объединились вдруг под флагом свободы и в качестве третьей силы смело вступили в борьбу. И опять он вспомнил о тех новых фабрикантах, жупелах своего детства, которые были для него символами необузданной жадности, настоящей болезнью мира предпринимательства. Революция народных масс в Париже, восстание в Лионе... Неужели умные, бывалые, всемогущие магнаты-капиталисты богатой Англии настолько слепы, что забыли об этом? Неужели они надеялись, что им удастся сохранить только для себя ту свободу, за которую они боролись против наследственных привилегий паразитов-аристократов? И что люди, которым судьбой не дано ничего, кроме рабочих рук, не потребуют и от них такой же свободы?

Фридрих обегал весь город в поисках английских газет, расспрашивая даже английских моряков в порту. Те с недоумением смотрели на него, отмахивались:

— А, эти идиоты-чартисты!

Восстание в Бирмингеме было самым жестоким образом подавлено. На лице консула вновь появилась привычная безмятежная улыбка. Вместе с Фридрихом они осмотрели несколько тонн высококачественного ситца, который отец прислал из Манчестера со своей фабрики «Эрмен и Энгельс». Там производство разворачивалось все шире. Английское дело процветало. Фридриху удалось выгодно сбыть всю партию ганноверской фирме, сэкономив на транспортировке и пошлине.

Было ясно, что цена на английские товары, поскольку положение в Англии стабилизировалось, могла только падать. Консул потирал руки:

— У отца твоего большой коммерческий талант. Из тебя же выйдет настоящий гений нашего дела!

В прекрасном расположении духа они вернулись в контору.

— Господин Энгельс, — сказали там Фридриху, — после обеда к вам заходил какой-то француз. Загадочный какой-то француз. Приносил вам пакет.

Фетье, самый младший из учеников конторы, вежливо принял у Фридриха шляпу и помог снять пальто.

— Пакет? — переспросил Фридрих.

Фетье кивнул.

Парижский адрес тот самый, который дал ему Гуцков! Фридрих обрадовался.

— Наконец-то Бёрне!

Юноша покачал головой.

— Нет, его зовут Лютрек. — Он вынул из кармана какую-то записку. — Пакет он может вручить вам только лично. Вот его бременский адрес.

«Отель „Роза"» — было написано на клочке бумаги. Отель находился недалеко от порта. Это было старинное, средневековое здание. Фридрих вошел в большой зал таверны, поделенный на отсеки низкими сводами. За стойкой хозяйничал могучий бородач в полосатой матроске. Матросская форма разных частей света преобладала и за столами. Хозяин, которого называли Мишей, обращался ко всем на «ты». Широкие скулы, раскатистое «р», мягкий выговор указывали на его русское происхождение. На Фридриха, севшего между матросами за стойку, он обратил внимание не сразу. Фридрих чувствовал, как его со всех сторон изучающе разглядывают. И великан за стойкой оглядел его с головы до пят.

— Мне нужен мсье Лютрек.

Хозяин пожал плечами. Никакого мсье Лютрека он не знает. А когда Фридрих показал ему бумажку с адресом, он кивнул в сторону лестницы:

— Ступай наверх, спроси там.

— Attacco! Cavation! Battuta! Riposte!* — Еще на лестнице Фридрих услыхал высокий пронзительный голос учителя фехтования, звон металла, выкрики, топот.

Он заглянул в фехтовальный зал. Парни в сетчатых масках нападали друг на друга, а маленький грациозный француз передвигался от одной пары к другой, поправлял позу, подбадривал, кричал, хвалил, ругал. Не успел Фридрих опомниться, как он кинул ему рапиру и, встав перед ним в позицию, крикнул:

— Защищайтесь!

Не долго думая, Фридрих двинулся на маленького француза. Бой длился не больше минуты. Фехтовальное искусство Фридриха было не на высоте. После первого же приема клинок учителя уткнулся ему в грудь.

---

* Атака! Уход! Укол! Рипост!

— Вам еще многому нужно учиться!

Наконец-то Фридрих получил возможность сказать, зачем пришел.

— Я ищу некоего мсье Лютрека...

Учитель фехтования поклонился.

— Это я. Чем могу служить?

— Меня зовут Фридрих Энгельс.

— Ах, коммерсант. Идемте!

Он завел его в какую-то комнату и передал тщательно перевязанный пакет.

— С наилучшими пожеланиями от мсье Барруа из Парижа.

Фридрих вынул из кармана несколько золотых и протянул их Лютреку. Тот, пораженный такой щедростью, многократно кланялся и благодарил.

— Если вам снова понадобится провезти контрабанду... — И, с любопытством взглянув на пакет, он шепотом спросил: — Тут у вас что, бриллианты?

Фридрих вскрыл пакет. Лютрек с изумлением увидел, что в нем были всего-навсего две книги ценой в несколько талеров. Он взял одну из них.

— Бёрне! Великолепно! — воскликнул он, а потом достал из кармана деньги, полученные от Фридриха, и вернул их ему.

— Ваши деньги. Я не возьму денег от одного из друзей Бёрне. — Затем он подбежал к двери и крикнул в зал: — Все сюда! Пришел наш друг!

Пока он доставал бутылку коньяка из шкафа, зал наполнился молодыми людьми. Лютрек представил Фридриха:

— Это мсье Энгельс, мой друг, ваш друг! Наш друг!

Все это были студенты, постигавшие во время каникул фехтовальное искусство. Среди них находились и два выпускника, один юридического, другой медицинского факультета, которые уже сдали последние экзамены, но еще не нашли себе места. Все они, как и Лютрек, принадлежали к завзятым оппозиционерам-либералам. Фридриху особенно понравился юноша его возраста, представившийся как Ян Торстрик, который, умно и темпераментно аргументируя, критиковал систему княжеского правления.

— Если вы хотите, — обратился он к Фридриху, — можете вступить в наш академический клуб «Германия», объединяющий либералов, республиканцев, сторонников конституции. Всех, кто против прогнившего рабства. Мы встречаемся каждую субботу внизу у Миши.

— Но ведь я не ученый, а коммерсант.

— Это неважно, — вмешался Лютрек. — Человек, который знает и читает Бёрне, без всякого сомнения, принадлежит к нам.

Фридрих не долго раздумывал.

— Ну тогда с условием, что я приведу с собой еще одного человека.

— Что ж, если только он не вонючий филистер и не полицейский шпик, то пусть приходит!

Фридрих обещал прийти в ближайшую субботу и заторопился домой со своим новым, драгоценным приобретением.

Забравшись в самый тихий угол пасторского дома, Фридрих раскрыл сначала «Парижские письма». Ожили горячие июльские дни 1830 года. Бёрне целует землю Франции, храбрый народ которой не стал больше терпеть унижения и освободил себя от цепей...

Он залпом прочел эту книгу и благодаря ей взглянул на Париж глазами немецкого республиканца, который, обливаясь слезами, постоянно вспоминает о жалком положении народа в своем отечестве. От Бёрне он узнал о революции в Бельгии, о польском восстании, о волнениях в Испании, Португалии, Италии, поднятых июльской бурей, то есть о событиях, нашедших лишь слабый отзвук в сонном царстве его детства. Впечатление было такое, будто он второй раз переживает детство, только теперь понимая, что тогда происходило. А потом какой стиль! Все, чем он восхищался в «Путевых картинах» Гейне, в прозе Гуцкова и Винбарга, все, что казалось ему таким новым и современным, отличным от того, как писали Лессинг, Жан Поль или Гёте, — все это воплотил в себе Бёрне! Пламенный публицист пользовался самыми разными выразительными средствами языка, чтобы зажечь в сердцах своих слушателей огонь правды. Четкая лапидарность сменяется эпически спокойными и развернутыми описаниями, пластически воспроизводящими полноту жизни. Простой, безыскусный язык взрывается вдруг яркими образами и блестящим юмором.

«Я никогда не стремился к славе хорошего писателя, никогда не хотел считаться искусным сочинителем. Моя природа возложила на меня священную обязанность, которую я исполняю в меру своих сил. Мысли, слова — это мои инструменты, которыми я дорожу до тех пор только, пока они мне нужны, и которые бросаю, как только использую их».

Забрезжило утро 27 июля, того дня, когда девять лет

назад в предместьях Парижа граждане взялись за оружие... Фридрих начал читать вторую книгу Бёрне — «Менцель-французоед», расчет с доносчиком и пасквилянтом, расчет со всем трусливым филистерством, лизавшим сапоги тех, кто топтал его, страстный памфлет в честь свободы, написанный Бёрне незадолго до его преждевременной кончины.

«Солдат в бою не может не стрелять из опасения, что в рядах, в которые он целит, стоят благородные люди, его друзья, многие нисколько не виноватые в войне. Пули этих людей тоже в кого-то попадают. Таковы печальное право и суровый закон войны: только побежденного можно любить, только ему можно прощать».

Здесь уже автор не иронизирует, глядя как бы со стороны. Горячее сердце не скрывается больше под маской бывалого превосходства. Истовость библейского пророка чувствуется в завещании этого немецкого якобинца.

«Если бы даже все властители были тем, чем они не бывают, — отцами своих подданных, если бы они заботились только о счастье, только о довольстве этих подданных, то даже и в этом случае их народы, лишенные свободы и чести, были бы достойны сожаления. Только в условиях свободы могут развиваться все силы народа! Только свобода может проявить скрытые, находящиеся в зародыше, добродетели народа!»

Фридрих не мог в такой день сидеть в конторе. Он попросил отпустить его, взял лодку и поплыл вверх по Везеру. Небо вскоре покрылось тучами. Поднялся ветер. На западе засверкали молнии. Легкую лодку швыряло по волнам. Гроза приближалась. Землю объяла вдруг непроглядная тьма. Внезапно эту тьму распорола близкая молния. На какое-то мгновение в таинственном освещении мелькнули очертания города. Дождь хлестал Фридриха по лицу. Такая погода была ему по душе, она как нельзя лучше отвечала настроению, которое пробудил в нем Бёрне. Фридрих яростно налег на весла. Напрягая все силы, он направил свой шаткий челн к спасительному берегу. При этом мысли и чувства его сами собой отливались в гекзаметр, воспевавший будущую борьбу его народа за свободу отечества...

Как волна за волною, вскипая, бежит,
как неистово носится буря!
Гребни волн в человеческий рост,
и мой челн еле держится в злобной пучине.

С Рейна дует пронзительный ветер; кругом
собирает он черные тучи...
Государи Германии, в зыбком челне
я невольно о вас вспоминаю!
Как на плечи свои терпеливый народ
поднял трон золотой ваш когда-то.
. . . .
С негодующим взором, Эрнст-Август, к тебе
я прежде всего обращаюсь:
Ты нарушил закон, своевольный тиран,
но прислушайся к голосу бури,
Посмотри, как народ негодует и меч
не желает в ножнах оставаться.
Так же ль крепок твой трон золотой, как мой челн,
необузданной бурей гонимый?

Он выкрикивал приходившие ему в голову строки навстречу ветру и буре, дождю и молниям. Пусть обрушатся они на прогнившие княжеские дворцы!

Фридрих вытащил Рихарда из его конторы. Вооруженные последней книгой Бёрне, друзья отправились к порту.

В самом дальнем зале «Розы» собралась «Германия». Народу было столько, что яблоку было негде упасть, а дым от многочисленных сигар стоял такой, что было просто не продохнуть. На стенах висели черно-красно-золотые флаги. Дверь в другие залы таверны была приоткрыта. Фридрих встал на скамью. Ему хорошо были видны лица присутствующих вплоть до великана Миши за стойкой. Фридрих читал вслух Бёрне: «Разве немецкие государи, всякий раз, когда кошка-революция уходила из дому, не прыгали, словно мыши, на стол и не принимались грызть все, до чего могли добраться? Сделали ли они когда-нибудь для своих народов больше, чем обстоятельства заставляли их? Но горе тем государям, а также и народам, которые повинуются времени, а не повелевают им!»

Его слушали не только «Германцы». И в других залах воцарилась тишина. Миша прервал свою работу и тоже внимательно слушал.

— Мыши на столе, так и есть! Вонючие твари! — вторил ему мощным басом боцман с татуировкой.

Фридрих продолжал читать: «Победив Францию, Германия всего-навсего поменяла одно иго на другое — иностранное на свое собственное, внутреннее». (В зале раздава-

лись сочувственные выкрики.) «Мы оплакиваем благородную, бесплодно пролитую кровь этих героев. Будь они так же мудры, как были храбры, столько осторожны, сколько доверчивы, они не сложили бы оружия до тех пор, пока не была бы полностью обеспечена свобода народа. Поступи они так, мы бы жили теперь в отечестве счастливые и уважаемые, а вы, гнусные прислужники тирании, колесили бы по свету в поисках достаточно темного уголка, чтобы скрыть свой позор».

Толпа, собравшаяся у боковых дверей, зааплодировала. Фридрих продолжал читать: «Не благодаря терпению, а благодаря нетерпению народы добиваются свободы. Да, если народ хочет быть уверенным в удовлетворении своих требований, то он должен сам заниматься своими делами». Фридрих захлопнул книгу и спрыгнул со скамьи.

Начались жаркие дебаты. Юрист кричал:

— Да, так и есть! Нам нужна немецкая конституция!

Торстрик взорвался:

— Немецкая конституция — это чушь! Прежде всего нужно вымести метлой князей! На мусорную свалку истории!

Какой-то матрос кричал:

— Да здравствует республика!

Ему возражал юрист:

— Это утопия!

Студент разъяснял:

— Республика — это беззаконие, хаос. Народ должен сначала научиться править.

Торстрик возмущался:

— Тебе ли, княжескому прислужнику, учить народ, как править?

Студент схватил Торстрика за горло:

— Что ты сказал?

Шум поднялся невообразимый. Спор начинал переходить в потасовку.

Фридрих с недоумением смотрел на дерущихся, которых становилось все больше! Он снова вскочил на скамью.

— Друзья!

Никто его не слушал. Тут в потасовку вмешался великан Миша, развел заводил-петухов и громовым голосом потребовал тишины. Только теперь стал слышен голос Фридриха.

— Зачем нам спорить? Разве не все мы друзья свободы? Разве есть среди нас хоть один человек, который хотел бы и

дальше видеть Германию под сапогом князей? Называем ли мы себя республиканцами или конституционалистами, демократами или либералами — это не так важно, а важно, что враг у нас общий. И хотим мы одного и того же, — чтобы над страной нашей промчалась очищающая буря, после которой мы могли бы дышать.

Присутствующие согласились с ним.

— Верно! Так и есть! Тут мы все заодно!

Фридрих продолжал:

— Сегодня двадцать седьмое июля. В этот день девять лет назад народ Парижа сбросил Бурбонов. За это надо выпить! — Все немедленно согласились. Фридрих вспомнил о деньгах, которые он выручил несколько дней назад благодаря выгодной сделке. — В лучшем ресторане города! — крикнул он. — Приглашаю всех в погребок при ратуше. И пусть лихорадит сонных филистеров, когда они увидят, что в Бремене еще есть люди, в сердцах которых горит пламя революции!

«Германцы», допив пиво, вышли на улицу. К ним присоединилось несколько моряков. Впереди с флагом в руках шел Торстрик. Все весело болтали, пели старые студенческие песни.

Стража у Стефановых ворот смотрела на процессию, выпучив глаза. Вся многочисленная компания шумно ввалилась в чинный ресторан. Огромный зал в несколько секунд преобразился. Столики приставили друг к другу, выстроив длинный ряд. Посреди зала «Германцы» повесили свой черно-красно-золотой флаг.

Солидные завсегдатаи начали протестовать против шумного поведения молодых людей. Хозяин пытался их урезонить.

— Господа, умоляю вас! Вы разгоните мне всех клиентов!

Тогда Торстрик громко оповестил его и всех о причине празднества, а Фридрих добавил:

— Все, кто чтит этот день, приглашаются к нашему столу как братья. Остальные же сегодня могут отправиться по домам, краснея от собственной трусости, если они еще способны краснеть!

Фридрих оглядел зал. В одной нише он заметил книготорговца Шюнемана в компании нескольких пожилых, хорошо одетых господ, которые нерешительно что-то обсуждали. Одним из них был судовладелец и сенатор Карл Кёйтген.

За столиком около стойки сидели военные и бурно протестовали.

— Невероятно! Вы его знаете?

— Да сброд какой-то! Плебс!

— Выгнать их вон!

Среди прочих за этим столом сидел и барон фон Котбек.

Однако за столиком, где сидели иностранцы, их поддержали. Сидевшие там встали и подошли поближе. После некоторых раздумий за ними последовало еще несколько человек.

Наконец пришли к единодушному мнению и за столиком Шюнемана. Старший из сидевших там крикнул:

— Мы с вами, если позволите!

— Браво, господин сенатор, браво! — Какая-то дама с воодушевлением стала хлопать в ладоши.

Фридрих крикнул кельнеру:

— Господин кельнер, всем вина — самого лучшего!

Он видел, как официант сначала пошептался со своим хозяином, который после некоторых колебаний разрешил ему обслуживать этот импровизированный длинный стол.

— Принесите им все, что они пожелают.

После этого официанты засуетились, забегали, а сам хозяин стал подгонять их, хлопая в ладоши:

— Пошевеливайтесь, господа! Пошевеливайтесь! Гости ждут!

Лейтенант Котбек со своими приятелями в ярости покинул ресторан. К ним присоединилось еще несколько человек. А за длинным столом уже наполняли бокалы вином. Кто-то из студентов бросил с издевкой вдогонку ушедшим:

— Приятных сновидений, господа!

Фридрих встал:

— Поднимем наш первый бокал за храбрых парижан, надежду и оплот всех свободолюбивых народов Европы!

Какая-то старая француженка крикнула:

— Vive la liberté! Vive l'Allemagne!*

— Vive la France!** — крикнул студент-медик.

— Vive la révolution!*** — добавил Лютрек.

Какой-то студент подошел к пианино. Присутствующие грянули хором «Марсельезу» так, что задрожали стекла.

То был бурный, неистовый вечер. Было выпито немало

---

* Да здравствует свобода! Да здравствует Германия!

** Да здравствует Франция!

*** Да здравствует революция!

вина, но больше вина опьяняли надежды на будущую немецкую республику. Пили на брудершафт, было сказано немало прекрасных слов о свободе, за столом смеялись, пели и плакали от избытка чувств и уверенности в близкой победе.

Шюнеман был одним из самых шумных и речистых в компании. Он не отходил от Фридриха.

— Я давно уже горю желанием поговорить с вами о литературных планах одного молодого и очень талантливого писателя по имени Фридрих Освальд. Я хочу поговорить с вами как издатель, понимаете?

Фридрих удивился.

— Откуда вы знаете?

— Я ведь снабжаю вас книгами. Кроме того, читаю каждый номер «Телеграфа», и к тому же доктор Виль — мой хороший приятель. Но пусть это вас не смущает: хранить секреты — это дело чести.

Только на рассвете Фридрих простился с новыми друзьями. Голова его кружилась, ведь их было никак не меньше дюжины, тех, с кем он выпил на брудершафт. Кошелек его был пуст. Все-таки день был чудесный! Фридрих не заметил, как из темной подворотни выскочили четыре человека. Прежде чем он сообразил, в чем дело, его сшибли кулаками на землю. Он почувствовал, как его бьют ногами, и инстинктивно сжался. Откуда-то, словно издалека, доносились ругательства... голос Котбека... Его продолжали бить. Вдруг Фридрих услышал свисток и почувствовал, что его оставили в покое. Он попытался пошевелиться, но тело словно налилось свинцом. Он лежал без движения. Голову сверлила назойливая мысль: а вдруг это смерть? Бессмысленная, одинокая смерть посреди уличного мусора? Но, странное дело, страха он не испытывал, только грусть, сожаление о чем-то упущенном...

Человек рождается в любви. Полными доверия глазами смотрит на мир ребенок. Милые, добрые спутники, помощники, заботливые существа — вот те, кто его окружает. Как ему хочется обнять их, выразить им свои чувства любви и признательности! Но постепенно чувство беспредельной любви начинает иссякать. И в один прекрасный день рождается ненависть...

Вдруг он ощутил на своем лице влагу и почувствовал запах помоев из водосточного желоба. Тошнота подступила к горлу. Он напряг все свои силы. Ему удалось приподнять голову, облокотиться, встать на одно колено. Поднимаясь на ноги, он ощутил резкую боль в области почек. Пошел, с

трудом передвигая ноги. Хорошо хоть до Мартингассе было недалеко. Вот и калитка, комната, свежая вода в большом тазу, кровать...

Через несколько дней кровоподтеки на теле побурели, боли прекратились.

Первым делом Фридрих отправился в «Розу». Поговорил с Мишей. На лестнице в шлепанцах и халате показался Лютрек.

— Это вы, друг мой? Что с вами? Почему вы так выглядите?

— Дайте мне рапиру, Лютрек! Я хочу брать у вас уроки.

Француз захлопал в ладоши.

— У вас есть способности, я знаю! Если у вас хватит терпения, через год вы станете лучшим «гладиатором» Бремена.

После того вечера в погребке у ратуши Фридрих стал популярен в Бремене. На улице с ним часто здоровались люди, которых он не знал. На квартиру пастора Тревирануса и в контору часто поступали приглашения. Он их все отклонял, а визитные карточки выбрасывал в корзину. У него хватало дел! Важнее всего теперь были поиски ответов на основные вопросы жизни: «Мышление и бытие, дух и мир, человеческое сознание и вечные законы природы; сущность и назначение человеческого рода. Почему я существую? Куда иду? В чем смысл моего существования? Найду ли я ответы в философских произведениях Гегеля?» И он проштудировал их все до конца.

Глава пятая

ЩИТ И МЕЧ

Гегель.

Сначала нужно представить себе мрачный период Реставрации, когда и в Германии было задушено всякое политическое движение. И, однако, именно в Пруссии под эгидой короля-капрала Вильгельма III хитроумной философии удалось свить себе гнездо. С 1818 по 1831 год одна из аудиторий Берлинского университета была трибуной абсолютного разума и в то же время трибуналом свободолюбивого духа, боровшегося с рецидивами средневекового деспотизма. Конечно, эта битва происходила в царстве идей. И говорили в этой аудитории не на открытом языке какого-нибудь Пьера Бейля или Руссо, которые умели зажечь массы и тем

самым подготовить действительные буржуазные революции в Англии, Нидерландах, во Франции, а на языке, который был слишком мудрен для бдительных ушей профанов. Он маскировался униженными поклонами в сторону прусского государства, был подслащен лицемерным смирением, которое необходимо рабу, чтобы обеспечить себе возможность потаенных подстрекательских действий. Этот человек, обрушивавший на своих слушателей пламенный поток диалектики, и внешне был похож на крота. Он любил использовать этот образ в применении к человеческому духу, который тысячелетиями прорывается к свету свободного самосознания.

Согбенная фигура возвышалась над кафедрой и, брюзгливо покашливая, рылась в своих манускриптах. Внешний облик ее был непрезентабельным, манеры неуклюжими. Сутулая спина, седые взлохмаченные волосы — ни в чем ни блеска, ни полета, ни искры обаяния. И тем не менее аудитория всегда была переполнена, зрители заполняли все проходы, теснились на галерке. И хранили полную тишину в продолжение всей лекции. Люди едва решались дышать, словно понимая, что наблюдают мыслительный процесс, определяющий ход истории, всемирную историю духа, всемирную революцию разума. «Задача же новейшей немецкой философии определяется в том направлении, что она вообще должна теперь сделать своим предметом и постичь само то единство мышления и бытия, которое есть основная идея всей вообще философии, т. е. ухватить сердцевину необходимости, понятие».

Слова он произносил отрывисто, почти неохотно, с монотонными интонациями, присущими характерному для него швабскому диалекту. Прелюдия всегда звучала безобидно. Но потом мысль вдруг начинала сверкать, как меч, поднятый против потустороннего бога церкви: «...Это достигается тем, что самосознание мыслит само себя и познает абсолютную сущность как мыслящее само себя самосознание».

Потустороннее, таким образом, начисто устраняется. Но в посюстороннем царит еще хладное одиночество фихтевского Я. Человек за кафедрой поднимает голову. Лицо обожжено пламенем страсти — всепоглощающей, безудержной страсти ума, вознамерившегося дойти до конца, открыть основы существования самого универсума. «Есть какое-то великое упрямство, упрямство, которое делает честь человеку, в решении не признавать никакого нравственного убе-

ждения, пока оно не получит оправдания посредством мысли».

Ледяные, неприступные вершины существительных, громоздясь, образуют предложения, те складываются в громоздкие и сложные конструкции, которые обрушивает на слушателей диалектическая логика, заставляющая их быстрее, живее, энергичнее шевелить мозгами. Слово «быть» служило чуть ли не единственной опорой для этих конструкций.

«Чистое мышление двинулось дальше, перешло к противоположности между субъективным и объективным; истинное примирение противоположности есть усмотрение, что эта противоположность, доведенная до своей абсолютной крайности, разрушает самое себя, что, как говорит Шеллинг, в себе противоположности тождественны — и не только в *себе*, а вечная жизнь и состоит в вечном порождении противоположности и вечном примирении».

Саморастворение духа в материальном мире и новые формы вечного становления. Исчезают все отгнившие, окостеневшие очевидные истины рассудка; прочное бытие, неподвижное существование — лишь химеры неразвитого мышления. Все — лишь переход, лишь ступень в спиралевидном развитии, борьба за единство на более высоком уровне. Муки творчества для сознания — выражение в виде понятий всей полноты действительности, стремление абстрактного к конкретному, конкретного ко всеобщему, всеобщего к абсолюту.

«Сущность всего конечного состоит в том, что оно самое себя снимает. Диалектика есть, следовательно, движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собою единственный принцип, который вносит в содержание науки *имманентную связь и необходимость...*»

Гегель пытался сохранять дистанцию по отношению к своему предмету, пытался только интерпретировать, обосновывать, рефлектировать, но все чаще и чаще сбивался на роль строителя, творца. Это мышление самого мышления, освобожденное от холодных, безжизненных силлогизмов, от догматического окостенения, от пустоты формалистики, очищенное от бесплодного сомнения, от эмпирической односторонности и от абстрактного рационализма, поющего дифирамбы себе самому. Наконец-то мышление оказалось у самого пульса истины, где бьется сердце универсума.

Так трудно было духу познать самого себя.

Когда это началось?

Когда в этой голове впервые сверкнул луч догадки, который привел потом к диалектическому объяснению мира?

Жаркий июль 1789 года... Только в стенах Тюбингенского монастыря прохладно. Из уст в уста шепотом передавались радостные новости из Парижа. Народ взял штурмом Бастилию, захватил власть. Как молот, билось сердце в груди студента-теолога, который к этому времени уже проглотил вместе со своим приятелем Гельдерлином свободолюбивые трактаты Руссо. Они читали их по ночам, в подвале, при свете свечей. И вот чудо воплощения руссоистских идей в политической действительности! Мировоззрение становится мировой историей! Дух создает себе новую действительность. Друзья посадили на тюбингенском холме дерево свободы. На саженец лились потоки лунного света, над ним раскрыли свой шатер вечные звезды. И, взявшись за руки, Гегель, Гельдерлин, Шеллинг и другие пустились вокруг дерева в дикий танец... Вот тут-то, в миг восторга, и вспыхнула молния интуиции, постигающей давно искомую, страстно желанную, безустанно добываемую истину. Я познаю тебя, мир! В гигантском котле твоих безостановочных превращений я провижу единую завязь. Единение после бесконечного разделения. Новое самообнаружение духа в природе. Мировой дух. Вечно действующая творческая сила, стремящаяся к совершенству. Ты обретаешь себя в человеческом духе, поднимающемся от субъективного ограничения к объективности...

Жаркое августовское солнце лило немилосердный свет на узкие улочки города. Только под сводами церкви святого Мартина было прохладно, только здесь можно было спокойно размышлять.

Фридрих заснул на церковной скамье. Восемь дней он почти не спал. К тому же в конторе, на складах и в порту, где одно судно сменяло другое, было много работы.

Ему снилось, что он идет на ощупь в сплошной темноте. Впереди брезжит свет, к которому влечет его какая-то магическая сила. Земля, родина, воздух, свобода! Вдруг со скрежетом упала решетка. Стены кругом, одни стены. Он стал колотить кулаками в тяжелые двери. Стены, кружась, придвигались к нему все ближе. Мысль о том, что он в ловушке, что выхода нет, что он обречен, угнетала его. Вдруг вспыхнуло алое зарево. В его лучах виднелась печальная, одинокая фигура. Это был он сам. Он кивнул, кивнул еще раз, еще и еще.

Когда он проснулся, была уже ночь. Капеллан запер цер-

ковь, не заметив его. Пришлось вылезать на улицу через окошко ризницы. Он шел по дамбе вдоль Везера, катившего свои мутностеклянные волны. Не хотелось возвращаться к себе в комнату, где его ждала «Феноменология духа», головоломнейшая книга мудреца Гегеля. Ночной воздух действовал благотворно, освежая мозги. Ясность! Казалось, весь мир представал перед ним без прикрас и маскировки: впервые в жизни он словно бы достиг предела ясности в своих мыслях. Раньше он не ощущал своего потолка: любое дело, любая область знания давались ему легко, играючи. И вот впервые в жизни он ощутил горечь бессилия собственного разума. Штурм крепости под названием «Гегель» привел к полному поражению.

Гуцков то и дело писал, взывал к его совести, умолял прислать что-нибудь новое, соглашался даже на стихотворение, но перо валилось у него из рук! Что мог знать Гуцков о подавленности и усталости ума, который еще недавно чувствовал себя всемогущим, а теперь не знает, что ему делать? Вам-то, господин Гуцков, легко двигаться в царстве абсолюта, подбирая умные и красивые слова о последнем великом философе. Вы его слышали и поняли. Я же не могу в нем разобраться. Последняя, вечная истина, мировой дух не открывается мне. Одни ничего не говорящие моему уму слова и туманные понятия, которые клубами вьются над недоступной ледяной пустыней. Лишь время от времени на секунду перед глазами вспыхивает картина живой жизни, цветущего острова, чтобы в следующую секунду оказаться миражем. Ибо цель — обещанная вершина познания — находится много, много дальше... Как же тут писать о боге и мире? Как поучать других, когда сам бредешь в потемках? Такой бесстыдной наглости во мне нет. Сначала я сам должен забраться на вершину, чтобы видеть оттуда весь мир, сначала я должен заглянуть в его недра, чтобы докучать людям своими мыслями.

Фридрих направился к дому с твердым намерением на время отложить «Феноменологию духа» и сначала взяться за лекции Гегеля по истории философии. Там, где этот человек вынужден заниматься конкретным историческим материалом, скорее увидишь, куда клонятся его мысли. Мировой дух, создающий Вселенную, творящий все живое, порождающий человечество, обрекающий его в продолжение многих тысячелетий на невообразимые муки и страдания, — только для того, чтобы однажды познать самого себя благодаря некоему господину Гегелю? Не может ведь это философ-

ское здание быть таким примитивным, каким оно представляется реакционным поповским мозгам какого-нибудь Хенгстенберга! На такое чудовищное шарлатанство не попались бы такие умы, как Гуцков, Гейне, Розенкранц, Ганс, Мархейнеке, Руге, не говоря уже о гениальном Штраусе! Однако тут же Фридрих с испугом вспомнил о том, что и не такие выдающиеся умы поддавались порой куда более примитивным мистификациям, принимая их за истину в последней инстанции. Лишь прочитав предисловие Гегеля к его гейдельбергскому курсу истории философии, он успокоился.

«Смело смотреть в глаза истине, верить в силу духа — вот первое условие философии. Так как человек есть дух, то он смеет и должен считать самого себя достойным величайшего, и его оценка величия и силы своего духа не может быть слишком преувеличенной, как бы он ни думал высоко о них. Вооруженный этой верой, он не встретит на своем пути ничего, столь неподатливого и столь упорного, что не открылось бы перед ним. У скрытой и замкнутой вначале сущности Вселенной нет силы, которая могла бы противостоять дерзанию познания; она должна раскрыться перед ним, показать ему свои богатства и свои глубины и дать ему наслаждаться ими».

Казалось, эти слова философа адресованы прямо ему, призывают его не поддаваться отчаянию. И он снова взялся за дело, решив брать вершину философии не штурмом, а систематической осадой, последовательной и терпеливой. В конце концов можешь же ты, несчастный торговый служащий, посвятить год тому, на что все человечество ухлопало две с половиной тысячи лет!

Румянец снова сошел с его лица. Бабушка Тревиранус только качала головой. Его уже почти не решались звать к столу. Пасторские дочки ходили на цыпочках мимо его комнаты. Консул Лёйпольд называл его книжным червем, а Рихард Рот с бессильным раздражением взирал на горы гегелевских книг, когда забегал навестить друга. Тот почти не удостаивал его вниманием и каждый раз твердил одно и то же:

— Я должен сквозь это продраться! Я почти уверен: истина, которую я ищу, находится здесь, у Гегеля. Правда, облечена она в самый заумный профессорский язык, который когда-либо существовал на белом свете. Но за этим языком скрываются мысли, на которые никто еще не отваживался, грандиозные, всеохватные мысли о человечестве,

изменяющемся под воздействием железных законов разума! Мировая история как развитие понятия свободы! Конечно, филистеры и не догадываются, что эти книги дышат самой революцией!

Рихард Рот только печально поглядывал в окно, за которым на деревьях уже начинали желтеть листья.

— Уже осень. А чего только мы не намечали на это лето!

Шюнеман прислал с посыльным только что вышедшую книгу, сопроводив ее запиской: «Лучшее, что когда-либо было написано о вашей Пруссии. Уже запрещена и изъята из обращения во всех немецких землях!» Это была «Пруссия и пруссачество» Якоба Венедея. «О вашей Пруссии», — написал с иронией книготорговец, подразумевая его гражданство, а может быть, подразумевая заодно и Гуцкова, о котором было известно, что он вырос в среде лакеев прусского короля.

Фридрих с любопытством начал читать. Автором был кёльнский юрист, как и Бёрне, участник Гамбахского празднества, обвиненный в измене родине, но сумевший бежать из мангеймской тюрьмы в Париж. Писал он деловым стилем, подвергая критике прусские законы, государственное управление и налоговую политику. Результаты были очевидны: покровительство денежной аристократии за счет бедняков, стремление к увековечиванию абсолютизма, подавление политической мысли, оболванивание народных масс с помощью религии. В то же время блестящие успехи в области внешней политики, безудержное политическое хвастовство и видимость покровительства наукам. Вот эта видимость ослепила не одного Гегеля, не позволив понять реакционную сущность прусского государства и породив иллюзорные надежды на способность этой монархической системы к самообновлению.

В конторе работы поубавилось. Осенние штормы преградили кораблям путь из-за океана, и у Фридриха появилось свободное время. Теперь, сидя в конторе, он мог писать статьи для Гуцкова. Его первая критическая работа, опубликованная под псевдонимом Фридрих Освальд, рецензия на новые издания немецких народных книг, в редакции понравилась. За ней последовал основательный разбор лирики многообещающего молодого поэта Карла Бека, которого — после выхода в свет его «Железных песен» — ставили рядом с Фрейлигратом и очень превозносили. Критик Освальд обратил на себя внимание, так как первым предо-

стерег против «новомодной» тенденции в новейшей литературе предаваться политически бессмысленной мировой скорби.

Чем основательнее Фридрих вгрызался в Гегеля, тем увереннее чувствовал себя при оценке литературных явлений современности. Внимания и поощрения, понял он, заслуживает только такая литература, в которой находит выражение идея свободного самосознания человека, борющегося за воплощение идеи свободы и в социально-политической сфере. Фридрих снова решился на собственные поэтические опыты. Пламенный Торстрик и Рихард Рот стали его первыми слушателями, которым он прочел и свои прозаические сочинения. К сожалению, в октябре кончалось пребывание Торстрика в Бремене. Он должен был приступать к занятиям в Боннском университете. Зато теперь Фридрих все чаще встречался в погребке при ратуше с Шюнеманом, излагая издателю свои литературные планы.

«В моей груди постоянное брожение и кипение, — писал он в это время в Берлин Вильгельму Греберу, — в моей порой нетрезвой голове непрерывное горение; я томлюсь в поисках великой мысли, которая очистит от мути то, что бродит в моей душе, и превратит жар в яркое пламя. У меня теперь зарождается великолепнейший сюжет, по сравнению с которым все прежде написанное мной только ребячество. Я хочу показать в «новелле-сказке» или в чем-нибудь подобном современные чаяния, обнаружившиеся уже в средние века; я хочу вызвать к жизни духов, которые, будучи погребены под фундаментом церквей и подземных темниц, бились под твердой земной корой, страстно добиваясь освобождения».

Весь январь и февраль он писал статью за статьей, в которых измерял современную поэзию, эпику и драматургию тем масштабом, который давали ему гегелевская философия и политические требования Бёрне.

«Ничто не ново под луной!» — восклицал он иронически в статье «Ретроградные знамения времени», обращаясь к вечно повернутым вспять поклонникам старого, ушедшего мира средневековья, а также к утомленным либералам, разуверившимся в прогрессе и предавшимся отраве скептицизма. «Нет, — писал он, — нового достаточно, но его подавляют... Настоящим истинам всегда приходилось бороться и терпеть, их истязали и заживо хоронили, каждый лепил их по своему вкусу... Но если на горизонте восходит, как утренняя заря, новая, настоящая истина, тогда дети ночи

хорошо знают, что их царству грозит гибель, и хватаются за оружие».

Он находил начатки этого нового у целого ряда писателей и поддерживал их мужество, вдохновлял на продолжение борьбы. Проникновение в художественную литературу диалектического духа гегелевской философии приведет, как он надеялся, к новому подъему немецкой литературы. Это были лишь первые, обрывочные мысли, которые возникли у него при чтении Гегеля. Никакой законченной, зрелой политической или эстетической программы у него еще не было. Он только пытался вылущить рациональные зерна философии Гегеля, чтобы вырастить из них революционные всходы.

И вот наступил счастливый день — день, принесший освобождение. Фридрих закончил «Науку логики», которую он отложил себе на самый конец. Это было воскресенье, 1 февраля 1840 года, года новой надежды. Мысленным взором он как бы увидел закон истории, открытый Гегелем. Не линейное вверх и вниз, не движение по вечному кругу с постоянным возвращением к исходной точке, а непрерывная борьба молодого и сильного нового с отжившим, но цепким старым, которое всеми средствами противится своему исчезновению, лишению былого могущества и тем не менее сметается революционным напором нового. Начиная с невидимой в дымке времен точки, история медленно, сонно, по малому кругу двинулась в путь, но со временем круги ее становятся все шире и шире, скорость увеличивается, нарастает; и вот уже она прочерчивает свой путь, словно комета, сбиваясь с ровной траектории, пересекая свою прежнюю орбиту, приближаясь к бесконечности. Кто может знать, каков будет конец?

Для того чтобы проверить новоприобретенные знания, Фридрих занялся мировой историей. У Роттека были приведены факты бесстыжего вероломства прусских правителей. Выводы Венедея подтверждались. Фридрих так и рвался применить накопленные исторические познания в практической борьбе. После того как в университетах возобновились занятия, «Германия» сократилась до небольшого кружка. Тут неожиданно пришло приглашение в аристократический союз «Уния». Предполагались дебаты по вопросу об «умеренной немецкой конституции». Фридрих твердо решил пойти.

На заснеженных улицах было уже темно, когда он появился перед домом Рота

— Рихард! — громко крикнул он. — Рихард!

Во многих домах открылись окна. Наконец открылось и чердачное окошко его друга.

— Что случилось?

— Идем! Пора! Сегодня нам предстоит завоевать самый первый, самый изысканный, самый дерьмовый слой бременского общества! — Фридрих помахал приглашением, текст которого был отпечатан золотом. — «Уния» имеет честь пригласить нас.

— Они, понимаешь ли, желают видеть меня в своем знатном клубе, — говорил Фридрих другу, шагая по темным улицам старого города. — Так они увидят меня! Эти ночные колпаки, которые вечно кичатся подачками, в то время как речь идет о святых правах народа! Эти тупицы, надменно разглагольствующие о своей сиятельной мудрости, когда только кулаком революции можно вышибить хоть искру разума в их бараньих головах! Я намерен дать этому сброду решительный бой. Гегель и Бёрне! Вот мои щит и меч! С таким вооружением я разгромлю этих трусливых лавочников, торгующих человеческим достоинством, как на базаре! Смелее, Рихард! Вспомни о твоем великом тезке по прозвищу Львиное сердце! Ты мой оруженосец. Толкни меня ногой, если меня занесет!

Друзей встретил деловитый толстяк невысокого роста. Дебаты, по-видимому, уже начались. В празднично украшенном зале слышался чей-то монотонный голос. Здесь собрались сливки либеральной буржуазии свободного имперского города Бремена. Господа и дамы в дорогих вечерних туалетах стояли группками, время от времени уделяя внимание щедро предлагаемым напиткам. Им кивнули Шюнеман и сенатор Кёйттен, сидевшие за столом президиума. Рядом с ними блестела известная всему городу лысина крупного коммерсанта Фрезе, который был президентом «Унии». Фридрих прислушался к тому, что говорил оратор.

— Тем самым, господа, я полагаю, что в достаточной степени обосновал и истолковал смысл нашей петиции, адресованной высокому собранию немецких князей во Франкфурте со всею необходимою почтительностью и соответствующим их рангу уважением.

Фридрих с Рихардом прошли мимо группок, которые, не обращая ни малейшего внимания на оратора, предавались болтовне. Общее отсутствие интереса к речи делало ее еще более скучной, чем она была на самом деле.

— Таким образом, мы выражаем надежду, что и в увен-

чанных коронами головах созреет убеждение в том, что умеренное участие всех сословий в управлении может принести неоценимые выгоды всем заинтересованным сторонам.

Обоих друзей забавляла реакция находившейся в зале молодежи.

— Опять сегодня смертная скука!

— Кошмар!

— Он опять об этой петиции. Какая же это по счету?

— Семнадцатая.

— И все с теми же аргументами.

Деловитый толстячок протиснулся к Фридриху.

— Господин президент просит узнать, не окажете ли вы нам честь своим выступлением в дискуссии, господин Энгельс?

Фридрих кивнул.

Толстячок поблагодарил и радостно засеменил к столу президиума. Рихард подтолкнул Фридриха, указывая ему на какого-то молодого человека.

— Космали, — прошептал он с восхищением.

Фридрих и сам узнал органиста из церкви. Но взгляд его не мог оторваться от молодой дамы, с которой беседовал Космали. Золотые кудри волнами сбегали на великолепные плечи. Крутой лоб и благородный профиль напоминали статуи античных богинь. Вот она повернула к нему свою голову. Огромные мечтательные глаза, отливавшие при свете свечей зеленовато-голубым блеском, как морские волны...

За столом президиума раздались усталые аплодисменты. Оратор наконец-то сошел с подиума. Теперь встал президент.

— Дамы и господа! — Поскольку никто не обратил на него внимания, он взял в руки колокольчик и крикнул погромче: — Я чрезвычайно рад предоставить слово представителю молодого поколения — господину Фридриху Энгельсу!

Фридрих испугался. Он не рассчитывал на то, что ему дадут слово сразу же. Ноги слегка подкашивались в коленях, когда он шел через весь зал. Он слышал, как за спиной шептали его имя. Он чувствовал, что глаза всех присутствующих прикованы к нему. Дойдя наконец до кафедры, он вновь обрел уверенность в себе и отвесил президенту умеренный поклон. «Сейчас, сейчас этой лысине станет так жарко, что у нее на всю жизнь исчезнет радость оттого, что она может предоставить мне слово!» — подумал он.

— Вы хотели узнать мое мнение о той «мужественной» петиции, которую собираетесь направить высокому собранию немецких князей во Франкфурте, — начал он. — Я скажу вам свое мнение. Вот оно: не стоит тратиться на почтовые расходы. Отнесите эти бумажки в известное тихое место, где они могут принести хоть какую-нибудь пользу.

Фридрих вдруг увидел, как побледнел президент. Он перевел взгляд в зал, и глаза его встретились с колдовскими очами красивой блондинки, стоявшей около Космали. Эти очи смотрели на него серьезно. Он позволил себе слегка им улыбнуться. Ему подбадривающе кивнули в ответ. С этого момента он говорил, видя только ее.

— От кого же из наших коронованных невежд вы ожидаете благосклонного внимания к своей «нижайшей просьбе о дозволении соответствующей теперешним обстоятельствам конституции»? Может быть, от того «радетеля общего блага» среди наших соседей, который недавно отменил ради личного обогащения длительное время действовавшую конституцию? — Присутствующие придвинулись поближе к кафедре. В зале установилась напряженная, внимательная тишина. — Или от того прохвоста-клятвопреступника, который обещал в 1815 году, испугавшись возрождения империи, своему народу конституцию, чтобы только тот спас его от унижения, а потом позорно обманул свой народ?

— Прошу вас не оскорблять прусского короля! — дрожащим голосом произнесла лысина. — Он среди них один из немногих, кто выступает за справедливость.

— Имя назвали вы, господин президент, а не я! Это я подчеркиваю, чтобы уберечь корреспондентов от ложной информации. Кстати, каждый из присутствующих здесь в зале знает, что вам принадлежит немало акций прусских рудников. Я спрашиваю вас, как можно назвать человека, который обещал своему рабу свободу, если тот, рискуя жизнью, вынесет его из горящего дома, а потом, когда пожар кончился, велит заковать своего спасителя в еще более немилосердные цепи? Назвать такую тварь всего навсего прохвостом — значит почти польстить ему. Господь пусть удержит мой язык от таких выражений, как скотина, подлец или мразь! Но если б нас не сдерживало наше христианское воспитание, мы должны были возненавидеть этого человека, не жалея для него никаких самых гнусных слов. Теперь немного о том, господин президент, как прусские короли выступают за справедливость. Стоит только обратиться к некоторым примерам из недавней истории, чтобы получить

об этом исчерпывающее представление. Год тысяча восемьсот четырнадцатый: Вильгельм Справедливый признает испанскую конституцию. Год тысяча восемьсот двадцать третий: Вильгельм Справедливый посылает французов в Испанию, чтобы огнем и мечом уничтожить ту же самую конституцию и вернуть испанскому народу драгоценные дары инквизиции и пыток. Двадцать три тысячи испанцев, господин президент, такие же либеральные приверженцы конституции, как и вы, были уничтожены самым жестоким образом, став жертвами поистине королевской справедливости! Не было еще в истории времени, более насыщенного преступлениями королей и князей, чем время с тысяча восемьсот шестнадцатого года по наши дни. История может порассказать нам немало замечательных саг о том, какими щедрыми и великодушными слугами народа и государства являются наши князья. Вы хотели узнать мое мнение? Вот оно: скорее Везер потечет с севера на юг, чем хоть в одном князе проснется совесть и внимание к правам народа. «Когда это свобода получала разрешение быть свободной? — спрашивает Бёрне и отвечает: — Свободу берут, а не получают». А Гегель, прусский государственный философ, пишет о мужах Великой французской революции: «Это великое человеческое право на субъективную свободу, усмотрение и убеждение люди, о которых мы говорим, геройски завоевали с помощью своего великого гения, теплоты чувства, пламенности ума и мужества...» А не лакейскими петициями. Я из Рейнланда, — продолжал Фридрих. — Те преимущества, которые есть у нас, завоеванных пруссаками, жалованы нам вовсе не щедростью чадолюбивого короля, их подарил нам Конвент, свободные граждане Французской республики. А вам, гражданской элите бременской республики, позвольте напомнить о храбрости и стойкости ваших предков, которые отвоевали свою свободу и гражданские права в борьбе с алчностью князей и епископов.

Девушка с зелеными глазами согласно кивала ему.

Победа, победа, стучало у него в висках, когда он произносил последние фразы своей речи.

— История учит: от государей можно ждать чего-либо хорошего только тогда, когда у них гудит в голове от пощечин, полученных от народа, и когда стекла в их дворцах выбиты булыжниками революции.

Фридрих сошел с кафедры. Он был уверен в том, что сейчас его вышвырнут из зала. Но ничего подобного. В зале даже захлопали. Аплодисменты были не слишком

бурные, но сравнительно долгие, уважительные. Неожиданно перед ним вырос сенатор Кёйттен и поздравил его:

— Браво, мой юный друг! Вы победили. В вас виден необыкновенный ум! Вы опасный оратор! Окажите честь, пожалуйте за мой стол!

Он подхватил под руку Фридриха и Рихарда Рота и повел их к столу для почетных гостей. Множество рук протянулось к Фридриху. На него обрушился град комплиментов:

— Великолепно! Замечательно! Вы были восхитительны! А мы-то уж было подумали, что этот вечер проскучаем.

Фридриху предложили войти в комитет по подготовке к четырехсотлетию книгопечатания. Городской архивариус доктор Мейерхольд пожал ему руку:

— Мы слушали вас с огромным интересом! И пришли к общему выводу: во всем Бремене нет более подходящего человека, чем вы, для того, чтобы произнести речь на наших торжествах.

Фридрих, однако, решительно отклонил эту просьбу и указал им на профессора Вильгельма Эрнста Вебера.

Тут в разговор вступил Шюнеман:

— Но вы могли бы по крайней мере написать что-нибудь для нашей торжественной программы?

Тем самым он намекал, что пора бы Фридриху представиться городу Бремену не только в качестве оратора, но и в роли молодого поэта, которому предсказывали большое будущее.

— Мы обсуждаем различные проекты об основании в Бремене какого-либо литературного журнала. Роль Бремена как центра торговли с Америкой постоянно растет. Хотелось бы придать городу больший вес также в области культуры.

Фридрих был удивлен.

— Литературный журнал? В Бремене?

— У нас лучшие цензурные условия, чем где-либо. Прежде всего нас никто не обязывает считаться с Пруссией, от чего, например, страдает Гамбург.

Фридрих задумался. Это походило на правду. Гуцков не раз уже вычеркивал в его статьях те строчки, в которых содержалась критика Пруссии.

— Но где вы возьмете сотрудников?

— С некоторыми мы уже ведем переговоры. Могу назвать вам такие имена, как Иммерман, Дросте-Хюльсхофф, Фрейлиграт, Виль, Бёйрман. Не хватает еще одного

значительного имени. — Шюнеман со значением посмотрел на Фридриха. — Вашего!

Фридрих рассмеялся.

— Можно рассматривать это как предложение?

Книготорговец кивнул.

— Имя Освальд приобрело уже вес в литературной полемике.

Фридрих пожал плечами. Предложение Шюнемана последовало слишком неожиданно, чтобы можно было что-либо возразить. Он повернулся к залу. В суматохе он совершенно потерял из виду блондинку. Космали стоял теперь уже без нее в группе молодых людей. Колдуньи не было видно. Исчезла как призрак... В задумчивости Фридрих снова повернулся к столу. Сенатор налил ему вина и затеял разговор о юридических основах бременского законодательства. Фридрих рассеянно слушал.

Шюнеман вновь заговорил о своем предложении.

— Не согласитесь ли навестить меня на пасху в моем загородном доме в Бремерхафене, на берегу моря? Мы бы могли там спокойно обсудить все детали.

Прежде чем Фридрих успел ответить, Шюнеман встал.

— Позвольте познакомить вас с моей младшей сестрой Магдаленой?

Фридрих повернул голову. У него перехватило дыхание. Призрак стоял во плоти у стола. Он вскочил. Руки ее были холодны, рукопожатие крепко. Она улыбалась. В глазах ее горели веселые огоньки. Он, волнуясь, предложил ей свое место.

— Я бы охотно побеседовала с героем дня, но мне, к сожалению, пора идти, — сказала она удивительно юным, чистым, как серебряный колокольчик, голосом.

— Господин Энгельс, может быть, посетит нас в конце недели в Бремерхафене, — сказал книготорговец и вопросительно посмотрел на Фридриха.

— Да, непременно, охотно, — быстро ответил Фридрих. Сердце его ликовало.

Ночью потеплело. Мартовское солнце растопило последние льдины на Везере. В городском порту опять началось столпотворение, и в конторе дел было выше головы. Рихард Рот на несколько месяцев покинул Бремен, чтобы представлять за границей интересы своей фирмы. С ним исчезла для Фридриха последняя живая отдушина, и город Бремен, со своими горожанами, в голове которых не было ничего, кроме их торговых сделок, акций, биржевых курсов, бан-

ковских счетов и фрахта, предстал перед ним во всей своей посредственности. Наконец наступила пасха. Голландская шхуна, проходившая мимо, доставила его в Бремерхафен. До Браке, гавани, к которой поднимались большие купеческие суда, бриги и барки, он хорошо знал реку. С борта он с радостью приветствовал деревушку, на краю которой стоял домик Людерса. Чем ближе Бремерхафен, тем неспокойнее становилось у него на душе. Все чаще вспоминал он о зеленых, лучистых глазах, белокурых локонах... Ах, как могут сойтись в одном существе все, все радости и горести земли... Что толку, что трезвый рассудок саркастически смеется над глупой сентиментальностью? Все равно чувство было сильнее, и оно не уставало прясть свою пряжу из самых смелых надежд и желаний.

В Бремерхафен он прибыл раньше, чем обещал, и даже не стал тратить время на осмотр новых величественных портовых сооружений. Могучие суда, быстрые фрегаты, четырех- и даже пятимачтовики не произвели на него никакого впечатления. Не хватило у него и терпения дожидаться кучера, которого должны были выслать Шюнеманы. В ответ на его вопрос кто-то из местных указал рукой на далеко выступающую в море косу, где виднелись деревья и белела на солнце каменная стена. Фридрих закинул за плечо свой саквояж и пошел по освобожденному отливом берегу. Идти пришлось намного дальше, чем поначалу показалось, и, когда он наконец очутился перед домом, крытым камышом, солнце уже садилось за море. Начавшийся прилив, песчаные дюны, вязы, невысокий домик погрузились в таинственный фиолетовый полумрак. Он приостановился, чтобы насладиться этой картиной. За окнами горел свет. Он думал вовсе не об издателе с его литературными проектами, его мысли кружились только вокруг Магдалены. Внезапно Фридриха охватил страх, что ее нет здесь, что он ее не увидит, и он инстинктивно прибавил шагу.

Одно окно в доме было открыто. Он услышал звуки рояля, аккорды сливались в мелодию, полную таинственной меланхолии. В полусумраке гостиной он увидел за роялем девичью фигуру. Это была она! Затаив дыхание, он слушал, как она играла. От Рота он узнал, что Магдалена Шюнеман считалась пианисткой с будущим. То, что он услышал, превзошло его ожидания. Только выдающийся интерпретатор мог играть столь виртуозно. Его уверенность в успехе таяла. Он постучал в дверь, машинально ответил на приветствия Шюнемана, и, продолжая прислушиваться к музыке, на

цыпочках проследовал за хозяином в гостиную, где горел камин. За столом сидел доктор Виль. Перед ним лежал проект проспекта еженедельного журнала. Звуки рояля были приглушены закрытой дверью, которая вела в соседнюю комнату. Фридрих принял немного из того, что предложили Виль и Шюнеман. По его мнению, новый журнал должен был занять совершенно независимую позицию, вне спорящих и ссорящихся литературных группировок современной Германии. Он должен был стать посредником между литераторами старого и нового поколений, между романтиками и младогерманцами, он должен был дать представительство каждому направлению.

Шюнеман и Виль были возбуждены и много говорили. Они осуждали односторонность «Телеграфа», который был слишком сосредоточен на персоне Гуцкова и поэтому находился в состоянии вражды с берлинскими младогерманцами, объединившимися вокруг Мундта и Кюне. Они говорили о распрях между сторонниками Бёрне и Гейне в парижской эмиграции, вызванных статьей Гейне о Бёрне, в которой поэт не удержался от того, чтобы несколько цинично отозваться о святых принципах искреннего республиканца.

Всюду споры и ссоры. Новые писатели ополчались против романтиков, северонемецкие республиканцы против южнонемецких, младогегельянцы против старогегельянцев, сторонники Гёте против его хулителей. Сорок «отечеств» — и в каждом свое собственное представление о пути к свободе. В иных обстоятельствах все это целиком захватило бы Фридриха и заставило бы его страстно включиться в спор. Дать представительство всем направлениям? И доносчику Менцелю? Ведь и тот называл себя «другом свободы». По другим вопросам у Фридриха тоже было свое мнение. Он гораздо благосклоннее судил о Гуцкове. И недавно вышедшая работа Гейне о Бёрне вызвала в нем гораздо меньше эмоций, чем в докторе Виле. Может, Виль просто пытается свести личные счеты с Гейне? Ведь тот както обозвал его цепным псом Кампе, обвинив как ответственного редактора в том, что он обкарнал его «Швабское зеркало». Но в этот вечер все это странным образом мало трогало Фридриха. Музыка за стеной не прекращалась. Всего в нескольких метрах от него сидело существо, которое оглушило все его чувства, после встречи с которым мир предстал перед ним в совершенно новом свете...

Шюнеман уже несколько раз повторил свой вопрос.

— Как вы к этому относитесь?

— К чему? — наконец Фридрих понял, что обращаются к нему.

Шюнеман переглянулся с Вилем.

— К нашему проекту.

Журнал... Он думал о нем еще в Бремене.

— Что касается содержания, то тут многое можно было бы сказать. Но все это будут беспредметные разговоры до тех пор, пока не решится финансовый вопрос. Если Германский союз или даже только Австрия и Пруссия запретят распространение журнала, то делу не поможет даже большой общественный интерес. Тираж в таком случае будет так мал, что расходы по набору, печатанию, гонорарам не будут возмещены.

Шюнеман отмахнулся.

— Ну а если отрешиться от этой проблемы, то что бы вы сказали о своем участии?

Фридрих, все еще прислушиваясь к музыке, пожал плечами.

— А было бы оно полезно делу?

Шюнеман даже немного рассердился.

— А зачем же мы здесь в таком случае собрались? Весь проект построен с учетом вашего сотрудничества в нем. И мы надеялись получить в вашем лице энергичного союзника...

Доктор Виль положил руку на плечо Шюнемана и со смехом сказал:

— Да разве ты не видишь, Карл, ему сегодня интересен только Шопен. Или только фрейлейн Магдалена? Кто знает?

Фридрих покраснел, как школьник. Он постарался сосредоточиться на деле.

— Какую же роль вы отводите мне?

Отвечать взялся доктор Виль.

— Вы за короткое время стали заметной фигурой в команде Гуцкова. В редакцию постоянно приходят отовсюду запросы, люди просят дать ваш адрес, чтобы связаться с вами, но он оберегает вас, как сокровище Граля. Кунстштюк да и только! Он хочет сберечь вас для себя самого и при этом всю жизнь платить вам гонорар как начинающему.

Фридрих с удивлением взглянул на доктора Виля.

— Но ведь я и есть начинающий.

— Давно уже нет! — Виль вынул из своей папки связку писем. — Я захватил с собой письма. Если вы откликнетесь

на эти предложения, имя Освальда скоро будет у всех на устах. Могу предсказать, что с таким талантом, как у вас, вы можете сделать литературную карьеру, какой давно уже не было в Германии! При условии, конечно, что вы не повторите моей ошибки и не позволите Гуцкову использовать себя в его целях.

Шюнеман добавил:

— А посему мы и делаем вам такое предложение, — он протянул Фридриху папку. — Да вы хоть взгляните. Магдалена и Шопен никуда от вас не убегут.

Фридрих открыл папку. Имена Фридриха Освальда и Людвига Виля стояли рядом против строки «Ответственные редакторы». Он пробежал глазами список финансирующих издание. Во главе его значилось имя Гольдштейна.

— Главный капитал предоставляет банк Гольдштейна?

— Мы получили от него чрезвычайно выгодное предложение. При полном невмешательстве в наши компетенции.

Фридрих погрузился в глубокую задумчивость. «Гольдштейн...»

Шюнеман, казалось, разделял его сомнения.

— Мы не станем выпячивать его имя. А что речь идет о еврейском предприятии...

Фридрих перебил его:

— Евреи или христиане — не это важно. Это крупные капиталисты. Я знаю этот слой. Такие люди не дадут ни пфеннига, если они не будут оказывать влияние на лицо и характер журнала.

— Ну, это зависит от того, насколько мы сумеем оградить себя от влияния.

Уверенность, с какой Виль произнес эти слова, развеяла сомнения Фридриха. Новый журнал начинал казаться ему не пустой фантазией. Оба инициатора о многом подумали и провели переговоры с нужными людьми. А то, что они предложили ему, двадцатилетнему мальчишке, начинающему литератору, пост второго главного редактора, покорило Фридриха.

— Мне не остается ничего другого, как поблагодарить вас! — с чувством произнес он. — Поблагодарить за столь высокое мнение обо мне. И еще я хотел бы просить прощения за свою непростительную рассеянность. Пожалуйста, дайте мне некоторое время, чтобы изучить этот документ! Сейчас я просто ничего не соображаю. — Он показал рукой на дверь: — Я хотел бы только слушать, погружаться в эту музыку...

— А еще и видеть! — засмеялся Виль. — У кого в доме живет такая волшебница, тот не должен удивляться, что его не слушают гости.

Наконец-то и Шюнеман все понял.

— Пардон! — сказал он, подошел к двери и широко распахнул ее. — И ни слова больше о сделках и прожектах.

Фридрих стоял, не шевелясь. Перед ним были глаза Магдалены. Она узнала его и с серьезным видом кивнула, не прекращая играть. Ее пальцы скользили по клавишам неутомимо и нежно. Она была еще прекраснее, чем являлась ему в мечтах. Она была самим воплощением красоты, но далекой, далекой, такой недоступной, будто пришла из другого мира.

«Забудь о мечтах, сядь и слушай музыку», — говорил себе Фридрих. Фридрих Энгельс, он же Освальд, конечно, слишком неуклюжий увалень для такой феи из сказки...

Пьеса, которую она играла, кончилась. Волшебница встала из-за рояля и подошла к нему. На лице ее светилась улыбка. А голос был вовсе не сказочный, земной:

— Очень мило с вашей стороны, что вы посетили нас в этой глуши. Надеюсь, вы останетесь у нас на несколько дней!

— Если бы это зависело от меня... — И он вздохнул так глубоко и взглянул на нее с такой мукой, что сразу же себя выдал.

Она смутилась. Веселая улыбка сбежала с ее лица. Ему показалось, что в глазах ее мелькнули боль и печаль. Она быстро отвернулась от него к другим.

— Надеюсь, ваши переговоры прошли успешно?

Шюнеман улыбнулся.

— Не совсем. Наш будущий редактор не слышал ничего, кроме музыки.

Фридрих почувствовал, как кровь ударила ему в лицо.

— Стало быть, Шопен вам понравился? — легко спросила она.

Он с недоумением взглянул на нее. Понравился? Не то слово. Он потряс его, перевернул ему душу. Но Фридрих молчал. Магдалена опустила глаза. Было похоже, что она поняла его и без слов.

Неожиданно у него возникло чувство, будто он давным-давно ее знает. Ах, эта дурацкая влюбленность, из-за которой слова застревают в горле.

— А теперь я покажу вам вашу комнату, — сказала она,

чтобы вывести его из смущения. И, непринужденно болтая, повела его по дому.

— Шюнеманы — старинное бременское семейство. Этот дом построил наш отец, после того как совершенно оставил дела.

Она открыла дверь в комнату.

— Надеюсь, вам здесь будет удобно. Если что-нибудь понадобится, я к вашим услугам, — сказала она и хотела уйти.

— Магдалена! — с трудом выдавил он из себя.

Она быстро повернулась к нему, глядя на него широко раскрытыми глазами.

Я должен сию же минуту объясниться с ней, должен, иначе мое пребывание здесь превратится в нестерпимую муку! Но как же начать, чтобы не оказалось пошло? Чтобы обойтись без обычного набора комплиментов, с которого начинаются подобные объяснения. Наверняка у нее давно уже есть кто-то другой, получше. Космали, может быть? Сейчас она покачает головой, скрывая досаду, или попросту посмеется надо мной...

— Смейтесь надо мной сколько хотите, Магдалена! Называйте болваном, зеленым юнцом, несмышленышем! — быстро проговорил он. — Но я должен сказать вам, что моя душа обожжена. С того вечера в Бремене...

— Довольно! — прервала она его. — Я все понимаю. — Она не смеялась и не досадовала. — Все, — тихо повторила она, посмотрев ему в глаза.

О, счастье одной секунды, в которой вечность! И опять ему показалось, будто в глазах ее мелькнул страх.

Он сделал к ней шаг, взял ее за руку.

— Одно ваше слово, Магдалена, одно только слово! Вы только назовите мои мечты глупостью или...

Она освободила свою руку.

— Я должна позаботиться об ужине. Потом, мой друг, потом. — И она исчезла.

Фридрих распахнул окно. Море рокотало. Он полной грудью дышал свежим соленым ветром. Мираж? Нет, не мираж! Надежда!

Вечер с вином, прекрасное настроение, разговоры о музыке, шуточки по адресу бременских бюргеров, легкомысленное философствование о боге и мире... Как он переменился! Ведь она сидела рядом! От его рассеянности и молчаливости не осталось и следа. Язык его развязался, он был в ударе, шутил, острил. Заговорили, конечно, и о теме их пере-

говоров. Он несколькими штрихами обрисовал современную литературную ситуацию и выдвинул концепцию такого идейного движения, которое могло бы объединить все оппозиционные, свободолюбивые литературные силы. Его идеей была не надпартийность, а союз всех прогрессивных движений, всех оппозиционных партий против реакции.

— Пора положить конец всяким распрям личного толка, противоборству группок и клик, бесплодным спорам о форме и стиле, раздирающим прогрессивный лагерь. Надо сосредоточить все силы на борьбе с врагами прогресса, гуманизма, свободы! Ведь всех великих классиков прошлого от Лессинга и Канта до Виланда, Шиллера, Фихте, Гёте и Гегеля, всех представителей среднего поколения, таких, как Жан Поль, Уланд, Арндт, Брентано, братья Гримм, Граббе, Гейне, Иммерман, Ленау, Платен и Бёрне, молодых писателей, как Гуцков, Бюхнер, Винбарг, Фрейлиграт, Гофман фон Фаллерслебен и Бек, радикальных младогегельянцев Штрауса, Руге и других, сколь ни различны они по своей индивидуальности, темпераменту, стилю, всех их объединяет идея человеческого прогресса, стремление к преодолению политической и религиозной отсталости Германии, надежда на освобождение человека от средневекового деспотизма. Любят они друг друга или не любят, сходятся их конечные политические цели или нет — все они выступают единым фронтом против религиозного оболванивания народа, против привилегий аристократии, против предательской политики немецких князей и их пособников. — Фридрих говорил с огненным пафосом. Его вдохновляли глаза Магдалены. — До тех пор пока общий враг удерживает в своих руках всю власть, бессмысленно спорить о деталях. Нужно объединяться, а не препираться.

Шюнеман и Виль захлопали в ладоши.

— Браво! — крикнул Шюнеман. — Вот речь, которой мы ждали от нашего редактора!

— Если вы утверждаете и поддерживаете эту концепцию, если ваши финансисты не возражают против такого курса, тогда я ваш. Тогда распоряжайтесь мной, как вам будет угодно. Тогда я бы все бросил, от всего отказался — от поддержки отца, от ненавистной профессии, даже от собственных литературных планов, чтобы только послужить общему делу!

— Вот и прекрасно! — Шюнеман и Виль встали и пожали Фридриху руку. — Будем считать, что мы договорились!

Спать? Спать, когда рядом любимая? Рано утром, с первыми лучами рассвета он выбрался из дома, ушел на самый конец косы, сел там на выступающую в море скалу. Голова его шла кругом. Под ним бушевали волны. Бледное солнце слегка грело спину. У него был с собой альбом для рисования. Но как было неуклюжей руке угнаться за тем, что видел глаз, что чувствовало сердце? Он разорвал рисунок, выбросил его в море, начал сочинять стихи...

Вдруг он почувствовал на своем плече нежную руку. Магдалена... Она взяла с колен его листок и прочитала:

Обиды злого рока
Ты, наконец, забудь!
Перед тобой широко
Открыт свободный путь.
Гляди! Склонен бездонный
Над морем небосвод;
Меж них ты — раздвоенный —
Как мнишь найти проход?

Магдалена села рядом, вернула ему листок.

— Продолжайте! Пишите дальше, Фридрих!

Он был в состоянии высокого душевного взлета. Они открывали друг другу самые тайные мысли и во всем находили согласие. Когда он поведал ей о том представлении о божественном, которое развивал Гегель, о миссии человека нести свет в темную, полную мучительных противоречий природу, она сжала его руку; то, что он говорил, чему находил простые слова и ясные формулировки, — все это она с ранних лет угадывала смутным чувством... Счастливый, примиренный с миром, он окончил начатое стихотворение.

К земле в томленьи страстном
Приникнул небосклон;
Он плотию прекрасной
Блаженно опьянен.
Волны порыв влюбленный
Вздымает бурно грудь; —
А ты, ты раздвоенный —
Как завершишь свой путь?
С благим, бессмертным богом
Мир сочетан навек,

И их любви залогом
Явился человек.
Бог несказанным чудом
Живет в груди твоей:
Достойным будь сосудом
И божий дух лелей!

Но какая-то тень омрачила их счастье. Фридрих чувствовал это. Что-то тяжелое было у нее на душе. Однажды он спросил Магдалену об этом. Но вместо объяснений на глазах ее выступили слезы.

Упрекая себя в нечуткости, он поклялся никогда больше не задавать этого вопроса.

Космали ждал Магдалену на судне. Нет, никаких иных отношений, кроме профессиональных, у нее с дирижером не было. Но их совместная концертная поездка в Швецию разлучала Фридриха с возлюбленной на три долгих месяца.

Трогательным и нежным было прощание на набережной. Блаженное чувство непреходящей любви побуждало Фридриха клясться в вечной верности и требовать таких же клятв от Магдалены. Но она словно смотрела сквозь него в бесконечную морскую даль.

— Любовь моя принадлежит тебе. А что касается верности... — она улыбнулась, — то она будет вечной!

За счастливым опьянением первых дней последовало сознание ответственности. Связь на всю жизнь... Предоставить талантливой артистке возможность свободно совершенствоваться... Всякая мысль о будущем представала в радужном свете. Но это влекло за собой и проблемы, проблемы, о которых он никогда раньше не думал, но решение которых стало теперь очевидным: он должен был упрочить свое положение в литературе. Первый драматический опыт, посвященный итальянскому трибуну и народному герою Риенци, основавшему в средневековой Италии первую демократическую республику, удался. На столе Фридриха множились наброски рассказов, стихи, которые все больше свидетельствовали об обретении собственного стиля и достижении определенной зрелости. В те дни в его руки впервые попало собрание сочинений великого английского поэта Перси Биши Шелли. Его вдохновил революционный пафос стихов Шелли, этого пламенного духа, стремящегося к свободе. Благопристойная английская аристократия оттолкнула его, как и его друга, благородного Байрона, преследуя их обоих с небывалым ожесточением по всей

Европе. В самом расцвете сил, в начале итальянского периода своего творчества, тридцатилетний Шелли при загадочных обстоятельствах утонул — скорее всего был утоплен наемным убийцей. Он решил перевести на немецкий язык произведения поэта, которые не были известны в Германии. Но сначала нужно было утвердить свою репутацию публициста за пределами «Телеграфа». Он установил отношения с наиболее известными из прогрессивных журналов. Брауншвейгская «Полуночная газета для образованных читателей» заказала ему серию статей о современной литературе. Начал он с оценки драматургического творчества Карла Гуцкова. Просили статей и другие органы печати. Своим получившим известность псевдонимом он подписывал не все статьи. Но специалисты, знакомые с его стилем, все равно узнавали манеру Освальда. Его голос с юношеским задором и неотразимой логикой звал к единению все распыленные свободолюбивые силы для борьбы против апологетов реакции. Этот полемический фейерверк не остался без последствий. Статьи Ф. Освальда охотно цитировали. Верные режиму реставрации органы печати начали травлю неизвестного выскочки. Через Виля он теперь регулярно получал письма, которые отовсюду направляли публицисту Освальду в Гамбург. Его радовало то, что его призывы и полемика находили столь широкую поддержку. Однажды ему передали письмо Пютмана, который переселился в Дюссельдорф. Пютман просил Освальда об участии в готовящемся «Рейнском литературном ежегоднике». Он передавал ему дружеские приветы от Иммермана и Фрейлиграта. Добрый увалень писал почтительно-витиевато. Он и не подозревал, что под псевдонимом Освальд скрывается его юный приятель из барменского кружка Фрейлиграта, с которым он когда-то пил на брудершафт. «Именно вашим призывам к единению мы обязаны тем, что достигнута договоренность о встрече 27 мая сего года в кёльнском отеле «Император» рейнских и северо-западных немецких писателей и поэтов. Мне поручено сердечно пригласить вас как сторонника нашего дела на эту встречу. Мы были бы весьма рады, если бы вы сочли возможным быть нашим гостем».

Фридрих даже поцеловал письмо! Ничто на свете не помешает ему поехать в Кёльн. Мысленно он представлял себе сцену, как он явится к Иммерману и Пютману и назовется Фридрихом Освальдом. Пора было уже осуществить и все время откладываемую поездку в родные края. Ни жалобным письмам матери, ни тоскливым посланиям сестер,

соскучившихся по своему Фрицу, не удавалось пробудить в нем тоску по родине, а вот Пютману удалось. К тому же так хотелось поделиться с кем-нибудь переполнявшим его счастьем! Живое напоминание о родине и ее представитель — Рихард Рот уехал, и его так не хватало! А больше в Бремене у него не было родной души.

Фридрих осторожно прозондировал почву у консула, и тот немедленно дал согласие на поездку, даже стал настаивать на ней. Деловые интересы фирмы требовали личных контактов с партнерами в Ганновере, Брауншвейге, в Вестфалии, Вуппертале, Кёльне и других городах по Рейну вплоть до Роттердама. Он написал Магдалене о своих планах. Она радовалась вместе с ним.

Каждое ее письмо он воспринимал как дар эдемского сада. Сердце его ликовало. Все сомнения в ее любви и верности мигом рассеивались. Она жива, она думает обо мне, целует меня, любит, как я...

У Фридриха постоянно было такое чувство, будто он парит в облаках. В то же время он находил в себе силы много работать в конторе и дома. За несколько дней до его отъезда в конторе появился посыльный и передал Фридриху конверт. «Прибыл в Бремен и непременно хочу говорить с вами. Ваш К. Г.», — гласил текст на вложенной в конверт открытке.

Карл Гуцков, сразу догадался Фридрих. Почерк был ему хорошо знаком. Тревожное, неприятное чувство охватило его, когда он отправился за посыльным. В переулке святого Мартина их ждала карета.

— Куда мы едем?

— В город, — ответил посыльный и замолчал.

Фридрих размышлял о том, не является ли причиной этого свидания его рецензия на драмы Гуцкова, напечатанная у конкурентов «Телеграфа». Он предвидел неприятное объяснение с писателем, о котором написал в тоне, весьма далеком от безудержного захваливания... Но Фридрих решил твердо защищать свою позицию перед знаменитостью, которая, конечно, могла по праву ссылаться на то, что является его покровителем с первого дня существования на свете писателя Освальда.

Карета остановилась в одном из переулков позади собора. Через железные ворота они вошли на задний дворик отеля. Поднялись по крутой винтовой лестнице. Провожатый постучал в какую-то дверь и пропустил его в комнату. Фридрих в полутьме увидел, как навстречу ему поднялся

Гуцков. Тот заплатил посыльному и запер дверь на задвижку.

— Садитесь! — произнес он усталым голосом. Прежде чем сесть самому, он осторожно, сдвинув немного шторы, выглянул на улицу.

— Вас, вероятно, удивила комедия, которую мне пришлось разыграть для того, чтобы с вами встретиться. Но это были вынужденные меры, необходимые для вашей безопасности. Прусская тайная полиция объявила розыск человека, который скрывается под псевдонимом Освальд.

Так вот в чем дело! Фридрих улыбнулся.

— Какая честь!

— Дело не покажется вам таким уж смешным после того, как вы узнаете, что произошло в Гамбурге.

Гуцков рассказал о загадочном нападении на редакцию «Телеграфа». Никто не мог понять, что именно могли искать ночные налетчики в безобидных бумагах, пока не выяснилось, что исчезла вся корреспонденция Освальда. Незадолго до этого в редакции объявился некий «книготорговец» из Потсдама, который настойчиво интересовался «высокоталантливым» Освальдом, пытался узнать его настоящее имя и адрес. Разумеется, безуспешно.

— Ну, а если бы их розыск увенчался успехом? Какой вред они могли бы причинить мне, пока я нахожусь в независимом от Пруссии Бремене?

— Вы прусский подданный, не забывайте об этом. Если будет установлено, что вы и литератор Ф. Освальд одно и то же лицо, вас, как только вы окажетесь на прусской территории, немедленно арестуют и отдадут под суд. К тому же можно ведь и под покровом ночи выкрасть вас из Бремена. В Берлине взят более жесткий курс, с тех пор как ушел в отставку министр юстиции фон Камптц. Камптц был суров, но все же не безрассуден. Он был человеком образованным и со вкусом, к тому же обязанным мне. Его преемник ненавидит всех, кто способен писать и мыслить. Он поклялся искоренить литературную оппозицию.

— Вы проделали этот путь только для того, чтобы сказать мне это?

— Для этого я сделал только небольшой крюк. Я еду в Берлин.

— А за себя самого вы не опасаетесь?

— Мое имя слишком известно. Случись со мной что-нибудь, и за границей в движение придет сразу столько перьев. В Берлине и даже в Вене ставят мои пьесы.

Меттерних и Гентц публично аплодировали на представлениях моего «Ричарда Сэведжа». Таким вещам в Пруссии придают немалое значение. Но вот если вы попадете в казематы Магдебурга или Везеля, вас вызволить оттуда смогут только деньги вашего отца.

Фридрих молчал. Мысль о том, что отец узнает об опаснейшей игре, затеянной против государства его сыном, казалась ему едва ли не более страшной, чем возможность оказаться перед судом.

Гуцков жестом подозвал его к окну.

— Видите этих двух неприметных господ в сером? Это шпики пресловутого министерства, которые сопровождают меня от самого Гамбурга. И боюсь, что этим милым сопровождением я обязан вам.

Фридрих взглянул на мужчин, которых указал ему Гуцков. Ему трудно было понять, зачем прусскому государству так тратиться только для того, чтобы задушить один-единственный голос, требующий свободы.

— Как долго еще будет Пруссия вести эту тупую политику, вредящую ее собственному престижу?

— До тех пор, пока в лице «капрала» Фридриха Вильгельма III ею будет править панический страх перед собственным народом и комплекс неполноценности перед Веной и Петербургом. Поговаривают, что старик неизлечимо болен и дни его сочтены. Но пока еще правят он и его камарилья...

Фридрих еще раз взглянул на обе фигуры, маячившие перед входом в отель. Неожиданно ему захотелось немного попортить шпикам кровь.

— Скоро оба эти типа отстанут от вас, — весело предсказал он Гуцкову.

На листе бумаги он несколькими штрихами набросал карикатуру. Прусский король трясет за плечи своего унылого наследника. Уста властелина изрекают его королевский указ министрам Подевилю и Тулемейеру: «Газеты могут не стесняться!» Рисунок он подписал инициалами «Ф. О.».

— Великолепно! — похвалил Гуцков карикатуру.

Фридрих взял конверт, надписал адрес Фридриха Вильгельма III Гогенцоллерна и запечатал той стороной талера, на которой был прусский герб. После этого он простился с Гуцковым, который сердечно пожал ему руку.

— Надеюсь, мы сохраним прежние отношения, несмотря на ваш ход конем в сторону конкурентов?

Фридрих спустился по парадной лестнице. Нижнюю половину лица он замотал шарфом, а шляпу надвинул на самые глаза. На улице он подошел к двум томившимся фигурам. Коверкая немецкий на манер англичан, он обратился к одной из них:

— О мистер! Вы может сказать, что есть время?

Тот вынул часы и ответил на берлинском диалекте:

— Десять десятого.

— I thank you! Слышать я правильно: ты есть берлинец?

— Все может быть.

— Very good, wunderfool! У меня есть letter, письмо, понимайт, в Берлин. Вы его берет с собой, тогда я давай деньги. — Фридрих склонился к уху шпика: — Письма, посылаемые по почте, видите ли, вскрывает и читает цензура.

Шпик хотел было что-то возразить, но его товарищ сказал:

— Конечно, конечно! Давайте ваше письмо, мистер! Мы окажем вам эту услугу.

Фридрих таинственным жестом передал им запечатанный конверт.

— I thank you very much! — Он вынул из бумажника золотую монету. — Вот вам вознаграждение.

И неторопливо направился к ожидавшей его карете, незаметно наблюдая за шпиками. Те осмотрели конверт и увидели, кому он адресован. Как Фридрих и ожидал, они без малейших колебаний сорвали печать. Тут же оба встрепенулись и стали лихорадочно озираться в поисках «англичанина». Фридрих посвистел им и помахал рукой из кареты. Шпики пустились бежать за ним вдогонку. Фридрих велел кучеру не гнать слишком быстро и побольше поколесить по городу, а потом направиться в портовый квартал. Перед Мишиной таверной он отпустил карету, войдя в зал, быстро объяснил Мише, кто его преследует. Вскоре в «Розе» появились оба господина. Они едва волочили ноги. Но человека, которого они искали, нигде не было видно. Они сунулись было к Мише, но результат оказался для них весьма плачевным.

— Проклятые прусские шпики! — взревел великан и, схватив их за воротники, вышвырнул за дверь.

К несчастью, за дверью они попали в руки целой судовой команды, которая позаботилась о том, чтобы город Бремен надолго запомнился непрошеным гостям.

Фридрих, преспокойно сидевший в это время за столом, сказал:

— Отличная работа, Миша! Вина всем за мой счет!

Май был солнечный, теплый. По-утреннему бледный небосвод переходил в бесконечность. Для путешествия не может быть лучшей погоды. Фридрих отправился скорым дилижансом в Брауншвейг. С делами Лёйпольда он покончил в два счета. В издательстве Мейера редактор «Полуночной газеты для образованных читателей» Бринкмейер принял его как знаменитость. Продолжение его литературно-критических статей, которое он привез с собой, было принято с восторгом. Ему предложили дальнейшее регулярное сотрудничество, а на обед пригласили к владельцу издательства. Любимым прожектом этого не лишенного литературных амбиций господина было издание альбома, посвященного Гутенбергу, приуроченное к четырехсотлетию изобретения печатного станка. Каким-то образом в руки Мейера попала поэма испанского поэта и республиканца Мануэля Хосе де Кинтаны о Гутенберге. Ему требовался теперь хороший литературный перевод этой поэмы на немецкий язык. Фридрих попросил показать ему это произведение. Высокопарный гимн звучал для немецкого уха слишком выспренне. Но революционный пафос автора понравился Фридриху. Он выговорил себе право на вольный перевод. Мейер без колебаний согласился. За это соглашение было изрядно выпито, гостя из Бремена чествовали как будущего лидера поэтической молодежи. Фридрих в приподнятом настроении подписал впервые в жизни своим именем авторский договор.

С тяжелой головой, но с самыми радужными перспективами на будущее он уехал на следующее утро дилижансом в Хамм. Перед въездом в город он вынул из кармана копию договора. Впервые напечататься в настоящей книге под своим собственным именем! Это будет решающий шаг в цех поэтов! Если бы дедушка мог это видеть! Но вдруг он вздрогнул. Что это? Он не верил своим глазам. В договоре, им подписанном, значилось, что он берет на себя десять процентов расходов по изданию книги и что соответствующая сумма будет вычтена из его гонорара, в случае если не найдет сбыта обусловленный договором тираж.

Будь проклят Бахус! Фридрих Энгельс, сын прожженного коммерсанта того же имени, представитель фирмы с мировым именем «Лёйпольд и сыновья», попался на удочку брауншвейгского проходимца. На мгновение он чуть было

не потерял самообладание. Но потом рассмеялся так громко, что попутчики разом, как по команде, повернули к нему головы.

Два часа пробыл он в Хамме. Побывал в гостях у бабушки, тихой, но еще вполне бодрой и почтенной старушки. Прошел знакомой тропинкой на кладбище. На могиле дедушки стояли свежие цветы! Печаль в сердце Фридриха сменилась тихой радостью. Доброта не проходит бесследно. Не напрасно прожитая жизнь сохранила память по себе в сердцах многих людей! Счастлив тот, кому удается так вернуться в природу, как тебе, дедушка!

В Хамме Фридрих впервые сел в поезд и поехал по железной дороге. Меньше двух часов длилась поездка до Бармена. Там, где некогда была их милая яма, высился теперь похожий на прусскую казарму вокзал, по которому сновали люди в железнодорожной форме. На воротах каждой третьей фабрики в городе было написано, что производство здесь ведется с помощью пара. Фридрих повидал былых кадетов, восторженных приверженцев свободы. Теперь они хвастали процентами доходов. На той стороне Вуппера появились поселки. От мельницы Энгельсов, гордости папаши Ростана и маленького мальчика, впервые восхитившегося когда-то изобретательностью человеческого ума, не осталось и следа. На месте снесенных хижин Гемарка также были новостройки. Однако лица рабочих были по-прежнему усталыми и угрюмыми.

Мать не выпускала его из объятий, она то смеялась, то плакала, без конца повторяя одну фразу:

— Наконец-то, наконец-то ты дома!

Сестры заметно выросли. Не было Германа, который проходил свое коммерческое обучение во Франкфурте, и Марии, которая «воспитывалась» в Институте великого герцогства в Мангейме. Для каждого он привез подарок. Ликованию детей не было предела. Малыши впились в него, как клещи. Один лишь Рудольф держался независимо и отчужденно. В доме ничего не изменилось. И все же все стало таким чужим... Даже наверху, в своей комнате, где все осталось по-прежнему, как было и при нем, он не сумел вызвать в себе прежнее чувство родного очага. Фридрих был недоволен собой из-за этого, чувствовал себя виноватым. Он старался сделать так, чтобы никто не заметил, насколько он отдалился. В глазах семьи он оставался тем же веселым Фрицем, каким он два года назад покинул отчий дом. Никто не замечал, насколько ослабели его семейные привязанности. Ночи

он проводил за переводом поэмы Кинтаны о Гутенберге. Успешное продвижение этой работы примиряло его с проделкой Мейера. Перевод давал ему возможность выполнить обещание бременскому обществу книгоиздателей принять участие в празднествах, посвященных Гутенбергу.

Наступил и тот час, о котором он мечтал, — час разговора с глазу на глаз с мамой, в ее комнате. Он хотел рассказать ей о своей любви, дать волю чувствам. Хотел прочитать ей свои последние стихи, рассказать об успехах в журналистике и о полученном от Шюнемана предложении, поделиться планами на будущее, которые были твердо определены. Но мать предупредила его рассказ, с тревогой спросив, как у него обстоят дела с религией. Слухи, которые распространяли его бывшие друзья по гимназии, достигли и ее ушей. Вместо предполагавшегося сердечного признания возник жаркий спор.

На следующее утро он простился с домашними. Отец ждал его в Энгельскирхене. Но прежде нужно было заехать в Дюссельдорф, где предстояло открыться Пютману и посетить Иммермана. Без особого сожаления Фридрих выехал утренним поездом из Вупперталя. Он свободно вздохнул, будто освободился от тяжелой ноши. Проехав Зоннборн, он в последний раз оглянулся на родные холмы, и сердце все-таки защемило. Он стал упрекать себя в том, что понапрасну встревожил мать, что был слишком холоден с родными, которые так плакали, с ним прощаясь, и так истово махали вслед... Но он заставил себя побыстрее отрешиться от этих воспоминаний и смотреть вперед, туда, где уже поднимались в долине реки Дюссель башни большого города. Блеснула на горизонте и серебряная полоска Рейна. Нет, истинной его родиной был не Мукерталь, а весь мир — тот, который манил настоящей жизнью и свободой!

Пютман растолстел еще больше. Квартира его была полна детей. Он радостно встретил друга своей юности, однако выразил сожаление, что не сможет уделить ему много времени, потому что на носу встреча писателей в Кёльне — первая встреча всех прогрессивно настроенных рейнско-вестфальских литераторов. Он перечислил наиболее громкие имена тех, кто согласился в ней участвовать. В этом перечне было и имя молодого гамбургского критика Освальда.

— Никогда не встречал этого имени, — сказал Фридрих, и Пютман был вынужден подробно рассказать ему, что это за фигура.

Лишь после этого Фридрих открылся.

— Раз уж ты такого хорошего мнения о писанине этого парня, я открою тебе один секрет. Дело в том, что человек, о котором мы говорим, стоит перед тобой.

Пютман широко раскрыл глаза.

— Как, ты — Освальд?

Фридрих кивнул.

— И до меня дошло твое письмо. Я был страшно рад, что мы со старыми друзьями по-прежнему говорим на одном языке, хотя с тех пор, как я покинул Вупперталь, в голове моей многое перевернулось.

Вечер они провели у Иммермана. Засиделись у него до утра. Иммерман был в ударе, он не закрывал рта.

— Громадные перемены последних лет, железные дороги, сталеплавильные заводы, новые крупные фабрики — все это вступает в противоречие со средневеково-монархическим принципом управления, с политическим и духовным подавлением граждан этого государства. Краска стыда заливает лицо, как только посмотришь на Францию, политический режим которой, как он ни жесток, все же не препятствует развитию творческих сил народа. И, как следствие, мы наблюдаем настоящий расцвет литературы по ту сторону Рейна. Гюго, Ламартин, Мюссе, Нодье, Готье, Жорж Санд и Жирарден, Бейль, он же Стендаль, Бальзак, Мериме, Сент-Бёв, Расин, Дюма, Де Виньи и многие другие. И всех их связывают дружба и взаимное признание, уважение, что образует мощную духовную силу, которая питает политическую стойкость, чувство справедливости, чувство национального самосознания, свойственные французам. А у нас... — И Иммерман махнул рукой.

Фридрих воскликнул:

— Кто же, как не писатели и ученые, эта духовная элита нации, призваны к тому, чтобы клеймить кричащие противоречия, пробуждая народ от спячки?

Иммерман согласился с ним:

— Однако обновление может начаться только в Пруссии. Только Пруссия достаточно сильна, чтобы вызвать волну решительных изменений в Германии. Время для этого созрело. Недовольство теперешним состоянием охватило все слои населения — от самых низов до правительственных кругов. Слишком долго мы спорили о пустых формах, абстрактных принципах, о проблемах стиля и метода, забывая об общей цели, об общей политической и духовной ответственности.

Простились под утро, поклявшись друг другу общими усилиями отстаивать эту линию на встрече писателей в Кёльне.

Дни, проведенные на новой фабрике в Энгельскирхене, укрепили Фридриха в его решении ни в коем случае не идти по стопам отца.

Внушительные фабричные корпуса были еще не закончены, но здесь уже работали, используя силу пара высокого давления. Как ему было интересоваться комбинациями и расчетами отца, техническими подробностями новых машин, планом будущего особняка и парка вокруг него, когда голова его была полностью занята высокими идеями человечества? Но он старался не выказать отцу своего равнодушия, и в результате отец щедро финансировал его дальнейшее путешествие вплоть до Англии.

Кёльнская встреча не оправдала всех ожиданий троих заговорщиков. Аполитичность по-немецки осторожного Брентано определила преимущественную тональность выступлений. Под конец и здесь, в Кёльне, образовались две партии, и Фрейлиграт никак не мог выбрать между ними. Однако первый шаг был сделан. Авторитет Иммермана был достаточно велик, чтобы способствовать единению разрозненных сил. После этих двух дней в Кёльне у Фридриха появились новые надежды.

К тому же удалось оживить старые дружеские связи и завести новые. Пютман также оказался пылким поклонником Шелли. Редактор указал ему на молодого литератора Левина Шюккинга из вестфальского города Мюнстера, который уже перевел несколько стихотворений Шелли. Они решили привлечь Шюккинга и втроем, поделив произведения Шелли между собой, полностью перевести их на немецкий и подготовить совместное издание.

Он снова увиделся с маленьким, робким Георгом Веертом, которого наконец-то уговорил выступить с публичным чтением своих стихов. Пютман и Веерт проводили Фридриха в порт. Путешественник отправился пароходом вниз по Рейну до Роттердама, а оттуда в Англию. Два дня он провел в Лондоне. Глаза устали рассматривать, ориентироваться в этом хаосе, восхищаться. Голова была не в состоянии понять, какая скрытая сила приводила в ритмичное и мощное движение этот людской муравейник с его миллионами загнанных индивидов. Поездка по железной дороге через Ливерпуль в Манчестер дала совершенно другие, прямо противоположные впечатления. «Рокет» мчался по похожей

на бесконечный парк местности с живописными группами деревьев на мягких холмах.

Время здесь как будто остановилось. Все выглядело как и в старой, доброй Англии времен Шекспира, и казалось, что вот-вот в кустах мелькнет его долговязая фигура. И было странно, что на этой зеленой сцене перед глазами проезжающих не разыгрывается какая-нибудь из комедий гениального драматурга и актера.

Двух дней в текстильной столице мира Манчестере едва хватило на то, чтобы уладить все дела Лёйпольда и отца на местной бирже. Времени не хватило даже на беглый осмотр «Victoria mill», фабрики, которая была гордостью отца. Вечер, правда, он провел у Эрменов, которых несколько шокировал и развеселил прямодушным немецким юмором, изложенным, как с восхищением уверяла миссис Эрмен, на самом безупречном английском языке.

Обратно Фридрих доплыл на океанском грузовом судне до устья Рейна, а там, пересев на местный пароход, добрался до Ксантена. Грисхеймы чуть не попадали со стульев от неожиданности. Смеясь вспоминали о его заплыве, о том, как совершенно мокрого его подобрал полковник фон Камп — царствие ему небесное. Теперь перед семейством предстал элегантный молодой джентльмен с щеголеватыми усиками.

Тетушка Фридерика всплеснула руками:

— Господи боже мой, юным дамам очень даже надо быть начеку с тобой!

— Нет, теперь уже им ничего не грозит, — шепнул ей на ухо Фридрих. — У меня есть одна, единственная. И я не променяю ее на всех самых соблазнительных красоток земли, вместе взятых.

— Ну, тогда ты счастлив.

— Счастлив, тетушка, счастлив, как Ганимед на Олимпе. И чувствую в себе силы прямо титанические. Прикажи она, и луну достану с неба!

— Ах, как я рада за тебя. Ты, первый дедушкин внук, с самого рождения был нашим любимцем, но и тревожились мы больше всего за тебя.

Дальше Фридрих отправился в сторону Мюнстера.

Мрак над болотом, мрак,
Над лугом ночная тишь.
Лишь не заснет никак
У мельницы чуткий камыш.

И с мельничного колеса
Капля ползет, как слеза*.

Нужно было побывать в лондонском людском месиве, в этом хаотичном коловращении, чтобы вновь обрести частицу исконно немецкого духа в тех задумчивых вестфальских ландшафтах, о которых так проникновенно пишет в своих стихах Дросте-Хюльсхофф. Немало пострадала на своем веку и немало вобрала в себя крови земля, на которой упрямо стоит город Мюнстер, родина дедушки. Бедная, скудная земля, которая и самое необходимое дает с большой неохотой. Что толкало твоих жителей на протяжении веков оказывать яростное сопротивление всемогущим мира сего, жертвовать скорее своей жизнью, чем человеческим достоинством и свободой?

Пютман уведомил коллегу о приезде Фридриха. На почтовой станции его ждал красивый мечтательный юноша. Это был Левин Шюккинг. Фридрих сразу заговорил о задуманном издании Шелли. Они быстро договорились о том, кто что будет переводить, и еще до наступления вечера стали друзьями. Шюккинг отвел его в затейливый дом поэтессы Аннеты фон Дросте-Хюльсхофф. Теплой июньской ночью они втроем долго сидели у раскрытого окна, беседуя о короткой и быстрой, как комета, жизни английского поэта. Шюккинг показал свои переводы. Дросте читала новые стихи, пела свои новые песни, аккомпанируя себе на рояле. Юный Шюккинг смотрел на нее с восторженным обожанием. Волшебство ее поэзии заставляло забыть обо всем неустроенном и тяжелом. Клубы густого тумана над болотистым лугом за ее домом дышали историей. Может, там бродит дух Иоанна Лейденского, основавшего здесь некогда утопическое царство нового Сиона, первое на земле царство равенства, свободы и братства? Глядя на влюбленную пару, Фридрих невольно вспомнил о Магдалене. Благодарность, вера, надежда наполнили его сердце.

На другой день нужно было заниматься делами Лёйпольда. Переговоры с упрямыми коммерсантами затянулись. Последний дилижанс ушел на Оснабрюкк без него. Утром ему надо было во что бы то ни стало добраться до этого города, чтобы выполнить все возложенные на него поручения.

Возвращение в Бремен было строго определено праздне-

* Перевод В. Сазонова.

ствами в честь Гутенберга, которые он не мог пропустить, так как в программе уже значилось его имя. Он нанял экипаж и пустился в ночное путешествие в одиночку. На границе ганноверского королевства последовал длинный и нудный досмотр багажа и установление личности. Неподалеку от Оснабрюкка разбили свой лагерь пехотинцы и артиллеристы. Перед ратушей стояли вооруженные до зубов часовые. По грозно-решительным лицам жителей, по обрывкам разговоров в конторе и за обедом он понял, что город все еще оказывает упрямое сопротивление ганноверскому королю-самодуру.

Чувство огромной радости охватило его. Сколько же требуется усилий, чтобы сломить сопротивление одного-единственного, среднего по своим размерам города! А если бы все города Германии, все жители между Одером и Рейном... Как быстро исчез бы призрак средневековья и наступило бы желанное время торжества человеческого достоинства и свободы!

Дома он первым делом набросился на письма Магдалены, которых собралась целая связка. Она мало писала о себе и концертах. Лишь по рассыпанным кое-где замечаниям он воссоздал картину ее гастролей. Концерт Шопена, данный ею в королевском дворце, повлек за собой множество предложений и приглашений, часть которых было невозможно не принять. Из-за этого ее поездка, к огорчению Фридриха, продлится еще несколько недель. Письма были заполнены описанием различных сценок из местной жизни, мыслями и наблюдениями, касающимися обычаев и нравов этой северной страны. Она добросовестно отвечала также на все вопросы, которые задавал ей Фридрих в своих письмах, написанных во время его путешествия. Только на один вопрос, самый важный вопрос о том, как она представляет себе их совместное будущее, ответа не было. Но из каждой ее строки веяло любовью к нему...

Он не знал, как объяснить это противоречие. Считал недели и дни до ее возвращения, решив тогда потребовать от нее определенного ответа.

Триста фонарей было зажжено в самом большом увеселительном парке Бремена, в Ланкенау. Все столы были заняты пестрой и нарядной публикой, гостями праздника, посвященного Гутенбергу. Здесь собралось полгорода. В павильоне занял место большой хор Певческой академии и театральный оркестр. Стоя на сцене, Фридрих читал свое вольное переложение испанской поэмы о Гутенберге:

Настал великий день,
В который смертный из глубин паденья
Воспрянул гордо, полный возмущенья,
И над простором рек
Пронесся клич: свободен человек!
И полетел, сметая все преграды,
Святой призыв; и эхо понесло
Его чудесно на крылах могучих,
Что создал Гутенберг;
И, окрыленный, вмиг
Он взвился над горами, над морями,
Господствуя, свободный, над ветрами.
Не заглушил его тиранов крик,
И мощно прозвучал во всей природе
Призыв рассудка: человек свободен!
. . . .

Ты видишь, видишь этот обелиск,
Сей памятник прекрасно-величавый, —
Он ослепляет, словно солнца диск!

. . . .

Пред ним неугасимо
Струится аромат,
Что Гутенбергу в изумленье люди
В знак благодарности везде кадят.
Хвала тому, кто темной силы чванство
Повергнул в прах, кто торжество ума
Пронес сквозь бесконечные пространства;
Кого в триумфе Истина сама,
Осыпавши дарами, вознесла!
Борцу за благо — гимны без числа!

Раздались бурные аплодисменты. Фридрих быстро сошел со сцены и попытался раствориться в толпе. Но его подозвали к столу устроителей праздника, где главный оратор профессор Вильгельм Эрнст Вебер сердечно приветствовал его, осыпав восторженными комплиментами. Его коллега поднял бокал:

— За нашего друга Фридриха Энгельса! Да здравствует наш молодой поэт!

И все разом сдвинули бокалы. Фридрих сел рядом с Шюнеманом, который прошептал ему:

— Теперь вы местная бременская знаменитость! Наш журнал будут рвать из рук в этом городе. — И, вздохнув, доба-

вил: — Жаль, что сестрица моя не могла разделить этот триумф вместе с вами!

Фридрих не упустил случая поговорить с книготорговцем о Магдалене.

— Вы ведь знаете о наших отношениях?

Шюнеман с улыбкой похлопал его по плечу.

— Друг мой, в своих письмах Магдалена интересуется одним-единственным человеком во всем Бремене: «Как он? Что поделывает? Не слишком ли много работает? Почему ты ничего не пишешь о нем? Почему ты не посылаешь мне каждую его статью?» И если вы отвечаете ей хоть небольшой частицей такой любви...

Фридрих резко перебил его:

— Что значит частицей? Я люблю Магдалену. Все мои мысли, мое сердце, душа, вся моя жизнь — все это принадлежит ей. Я...

— Довольно, довольно! — со смехом отмахнулся Шюнеман. — Безумная страсть приобретает античные размеры!

Продолжить разговор им помешал шеф Фридриха, который, весь красный от натуги, жестикулируя, протиснулся на середину танцевального круга перед павильоном и своим громовым голосом призвал всех выслушать его.

— Господа! Я только что получил известие из Берлина, очень важное известие...

Дирижер оркестра, старик Рим, поднявший было свою палочку, снова опустил ее. Внимание всех присутствующих было приковано к Лёйпольду.

— Фридрих Вильгельм III, король Пруссии, скончался в воскресенье вечером в своем берлинском дворце!

На какое-то мгновение установилась полная тишина. Потом раздались голоса: «Умер, стало быть? Мертв? Нет его больше?»

— Именно так, друзья! — крикнул консул Лёйпольд.

Раздался мощный, дружный крик ликования, словно прорвалась долго сдерживаемая лавина. Потрясенный Фридрих видел, как люди обнимались, плакали от радости, бросали в воздух шляпы. Вскоре начался фейерверк...

Шюнеман горячо пожал Фридриху руку, глядя прямо ему в глаза. «У него такие же глаза, как у нее!» — отметил Фридрих, удивляясь тому, что не замечал этого раньше. Фридрих слышал, как Вебер сказал:

— Это поворот! Поворотный пункт в истории Германии!

Шюнеман в порыве чувств наполнил до краев два бокала.

— Выпьем на ты, Фридрих! — сказал он. Они выпили залпом.

На лужайке разожгли костер. Звучала музыка Бетховена.

Запел хор, и все присутствующие в едином порыве встали со своих мест.

Горит пламя, тихий свет,
Шлет во тьму тебе привет...

Все, кто был на лугу, взялись за руки и стали петь вместе с хором.

Всеобщий энтузиазм захватил и Фридриха. Какой незабываемый, святой миг! Две тысячи человек в едином, мощном порыве...

Профессор рядом с типографским рабочим, ухоженная рука коммерсанта в ручище пекаря, сенатор рядом с прачкой... Мост, Агнесса, мост! Он существует! Неожиданно в памяти Фридриха всплыла почти забытая картинка из старой книги папаши Ростана. Уличное сражение в Париже. Штурм Бастилии. Вспомнились летние дни 1830 года. Революция. С тех пор он напрасно пытался проникнуть в тайну ее возникновения, а тут вдруг она обнажилась сама собой: это тот момент в истории, когда миллионы людей охватывает единая воля к переменам...

Оркестр и хор закончили последнюю строфу «Жертвенной песни» Бетховена. Им вторила вся толпа — это была самозабвенная, полная надежд и единства, пламенная молитва освобождения: «Всегда будь щит и меч свободы...»

На протяжении нескольких недель в Бремене только и говорили, что о событиях в Пруссии. На наследного принца возлагали фантастические надежды: разве он не заявлял при любой возможности о том, какое трогательное сочувствие в его сердце вызывают нужды народа? Этот монарх исполнит давно обещанное, даст свободы, избавит от давящего наследия прошлого! Фридрих был настроен скептически. Сначала казалось, что правы оптимисты. Первые реформы нового правителя вызвали ликование. Жертвы деспотии, «демагоги» были освобождены из казематов, Эрнсту Морицу Арндту вернули профессуру в Бонне. Прессе были обещаны большие свободы. Нового прусского правителя с воодушевлением приветствовал даже молодой свободолюбивый поэт с юга Германии Георг Гервег:

К тебе влечет всех немцев так,
Как стрелку компаса на север.
О государь, взметни свой стяг!
И стань звездой, что многих краше,
Последнею надеждой нашей!*

Никогда прежде в истории Германии смена властителей на троне не порождала в народе столько надежд, как в те летние дни 1840 года. Гордый Бремен проснулся от летаргического сна. Богатые судовладельцы и патриции зачастили в «Унию». Даже консул Лёйпольд оказал однажды всем честь своим присутствием, заняв рядом с Фридрихом место за столом сенатора Кёйтгена. Произносилось много либеральных речей о близости к народу; пили за нового монарха в Берлине и за близкую прусскую конституцию, которая повлечет за собой перемены во всей Германии. Господа надеялись на мощный деловой подъем и поздравляли друг друга со смелым решением вложить большие капиталы в новый океанский порт.

Реализуя внезапно возникшую идею, Фридрих предложил сенатору и своему шефу — оба как-никак были самыми важными держателями акций Везерской пароходной компании — устроить для горожан развлекательную прогулку по Везеру по сниженным ценам. Каким великолепным жестом со стороны предпринимателей было бы такое решение — отказаться от личной выгоды и предоставить согражданам возможность собственными глазами увидеть новый океанский порт города-государства!

Оба немедленно согласились с этим предложением. Уже две недели спустя для этой цели был зафрахтован флагманский корабль пароходства, собравший на своем борту большую толпу желающих.

Фридрих, широко расставив ноги, стоял на капитанском мостике рядом с капитаном, радостно вдыхал свежий утренний воздух и наблюдал за разворачивавшимся на его глазах спектаклем.

Такого старый патрицианский город Бремен, в котором всегда строго разделялись городские слои, чины и классы, еще не видел!

Сотни, тысячи горожан в это первое воскресенье июля пришли на берег Везера, чтобы поглазеть на небывалое событие. То, что видели они на реке, было не сном, а явью:

---

* Перевод В. Сазонова.

на новом, лучшем судне Везерского пароходства «Роланде», на котором прежде могли позволить себе прогулку только представители самых знатных семейств города, богатые судовладельцы и коммерсанты, находился преимущественно простой люд — ремесленники, рыбаки, грузчики, кучера, рабочие, мелкие торговые служащие! Они гордо стояли на палубе на своих крепких ногах, одетые в незамысловатые воскресные костюмы, а рядом с ними — их принарядившиеся жены и веселая, неугомонная ребятня, которая непрерывно махала руками.

Фридрих наслаждался всеми подробностями этого неповторимого представления. Он по праву чувствовал себя виновником происходившего.

Когда последние башни города исчезли за холмами Вегезака, Фридрих покинул мостик. Внизу играл судовой оркестр. В кают-компании его ждал Шюнеман. Здесь председательствовали сенатор Кёйттен и консул Лёйпольд. По лицам их было видно, что они еще не очень освоили свою неожиданную роль и не знали, как им держать себя при таком стечении народа. За их столом сидел и развязный американец, в ладной белой форме капитана, который возвращался на свой корабль, бросивший якорь в Бремерхафене. Он то и дело давал волю рукам, норовя залезть под кружева к одной дочке портного. Та с трудом удерживала нахала на последней грани приличия. Она с мольбой посмотрела на Фридриха. Он решил прийти ей на помощь и вовлек американца в разговор о его профессии. Обрадованный тем, что может говорить на своем родном языке, морской волк тут же оставил предмет своих чувственных атак и разговорился с молодым человеком. Мозельское лилось рекой и нравилось все больше. Настроение за столом поднималось. Люди за соседними столами также начинали чувствовать себя раскованнее. Молодежь танцевала. Постепенно всех вовлекли в полонез, не разбирая чинов и званий, и сенатора, и консула, и других важных персон. Когда достигли конечной цели, все пассажиры были такими друзьями, что не разлить водой. Сенатор увлекся прелестями бравой вдовы почтаря, которая уверенно дирижировала их танцем. А консул Лёйпольд заплетающимся языком уверял Фридриха в том, что идея его была великолепна и что отныне надо проводить такие экскурсии регулярно.

Фридрих был рад.

Ах, эти летние дни 1840 года!

Все в Бремене казалось ему новым, изменившимся.

Солнце сияло, как никогда прежде. Дело процветало. У города едва хватало рук нагружать суда в Америку. Чувство было такое, будто бременцы распростились с привычной угрюмостью, стали ближе друг другу. Со смертью Вильгельма III, заклятого врага бременцев, по наущению которого в 1815 году на город были наложены за его верность императору тяжелые и унизительные контрибуции и наказания, исчезла и ставшая наваждением ненависть к Пруссии, уступив место восторженным ожиданиям чуда от нее. Разумеется, большую роль играли при этом и торговые интересы. Фридрих знал, какую выгоду Бремену принесло бы присоединение города к таможенному соглашению. И он понимал, что если серьезные деловые люди вроде Шюнемана рассказывают небылицы о готовящихся будто бы реформах нового прусского короля, то это только обычное стремление выдать желаемое за действительное.

Торчащее брюшко на тоненьких ножках, жирное лицо со свиными глазками — навсегда врезавшееся в память разочарование детских лет — и вдруг освободитель отечества! Нет, такое предположение казалось ему слишком смешным.

Но Фридрих не лез спорить и опровергать то, что ему преподносили как очевидную истину, он отмалчивался, многозначительно улыбаясь. Молодой и горячий республиканец, он в эти дни стал тих, спокоен, сговорчив. Ходил будто по розам, наслаждаясь небесной голубизной. Любовь к человечеству пронизывала все его чувства. Звуки Шопена струились, как нежный шелк. Да! Огромные, пронзительные глаза на узком девичьем лице смягчали контрасты жестких противоречий.

Магдалена!

Словом «тоска», избитым и стертым, не передать того чувства, которое овладело им, когда он вспоминал Магдалену.

Она должна была вернуться в августе. Он умолял ее в письмах приехать раньше. И хотя она отклоняла его мольбы, от ее брата Фридрих знал, что для нее по-прежнему существовал он один!

Судовой оркестрик окончил свою программу. Шюнеман, сенатор и американец с разгоряченными лицами вернулись с танцевальной площадки к столам.

Между американцем и сенатором завязался спор о будущем океанского пароходства. Карл Кёйтген был твердо убежден в том, что сила пара завоюет со временем и море. Американец утверждал, что только ветер может дать судам

максимальную скорость. Лёйпольд и Шюнеман с ним соглашались. Небольшая скорость «Роланда» сделала бы путешествие через океан длинным и утомительным испытанием. Фридрих взял сторону Кёйтгена. Он с раннего детства интересовался развитием паровых машин. Ничто не сможет противостоять их победному шествию! Кёйтген, явно обрадованный, что наконец-то нашел единомышленника, поделился с ним своими переживаниями. Он вложил немалые деньги в акционерное общество по строительству первого немецкого океанского парохода и нажил себе из-за этого огромное количество врагов среди владельцев парусных судов. Фридрих обещал сенатору выступить в защиту его проекта в прессе. Может, ему удастся использовать в этих целях влиятельную «Аугсбургскую газету», входившую в число изданий Котты. Сенатор был ему глубоко признателен.

— По возвращении я пришлю вам всю техническую документацию! — обрадованно воскликнул он.

— Бремерхафен! — выкрикнул матрос за штурвалом. Судно вздрогнуло и остановилось. Капитан принес две бутылки мозельского.

Выпили за благополучное путешествие.

Толстяк американец все обнимал Фридриха и прижимал его к груди.

— Very good, Германия, — кричал он, — very good!

Он показывал рукой в иллюминатор, где у причала стоял океанский грузовой многомачтовик, над которым кружили стрижи и чайки: — Вот мой корабль.

Он пригласил всех сидевших за столом осмотреть его корабль и отобедать на нем. Приглашение было охотно принято.

— Хорош ли ваш фрахт? — спросил Фридрих капитана по-английски.

— Очень хорош! — ухмыльнулся капитан в ответ. — Для американца здесь не может быть ничего лучше.

Они сошли на берег. В портовом ресторане уже ждали пассажиров «Роланда». Толпа радостно хлынула туда. Шюнеман подошел к Фридриху.

— Ну как, понравилось тебе все это?

— Что за вопрос! Триста человек, сплоченные единым радостным настроением! Для трехсот человек это событие, о котором они будут с радостью вспоминать всю свою жизнь!

Фридрих сиял. Тут взгляд его упал на корабль с американским флагом. Все палубы и проходы его были запол-

нены людской массой: оборванцами с мешками, крепышами крестьянами, бледными ткачами, целыми семьями с детьми и стариками. Фридрих помрачнел. «Эмигранты, — пронеслось у него в голове. — Людей везет американец, переселенцев!» Фридрих поспешил присоединиться к своим сотрапезникам, которые уже поднимались по трапу на американское судно под названием «Мэри».

В то время как все отправились за капитаном в кают-компанию, Фридрих огляделся на палубе. Каюты были пусты. Верхние трюмы были заполнены ящиками и мешками.

— Where are the emigrants?* — спросил Фридрих стюарда, проходившего мимо с подносом, на котором стояли напитки.

Тот указал на люк с лестницей, сбегавшей к нижним отсекам корабля, и равнодушно сказал:

— In the steerage.

Слово «steerage» неприятно удивило Фридриха. Им обозначали обычно нижний трюм, самое глухое и темное место на корабле, где обычно помещались дешевые, непортящиеся грузы вроде запасов воды, нефти, угля, смолы.

Фридрих на ощупь спускался в полной темноте по лестнице. В конце длинного коридора едва мерцал керосиновый фонарь. Он пошел в ту сторону. Послышались невнятные людские голоса. Потом глазам его предстала невероятная картина! В трюме, на полу, покрытом соломой, на сколоченных из ящиков нарах копошилось огромное количество народу. В воздухе стоял сильный запах смолы и плесени.

Два малыша уставились на хорошо одетого господина.

— Вы откуда? — спросил их Фридрих.

— Мы из Силезии, — ответил один.

— Мы едем в Америку! — заявил другой, тот, что поменьше.

— А где же ваши родители?

С пола поднялась молодая женщина и подошла к ним.

— Что вам угодно?

Фридрих растерянно посмотрел на женщину. Он выгреб из кошелька целую пригоршню монет и отдал их ей.

— Для малышей.

Женщина сделала книксен и благодарно пожала ему руку.

Рядом на корточках сидели два молодых человека, кото-

---

* Где эмигранты?

рые наблюдали за этой сценой. Фридрих подошел к ним, поздоровался.

— Стало быть, на родине не было удачи? — спросил он, чтобы завязать разговор.

Один из парней горько рассмеялся.

— Удача? Мы, видите ли, ткачи. Работаем вручную. Фабрики пустили нас по миру.

Фридрих понял.

— А что вы будете делать там, вы себе представляете?

Второй парень ответил:

— Работать, все равно где и кем. Днем и ночью, если понадобится. И откладывать каждый цент, чтобы со временем перетащить и остальных — братьев и сестер, родителей, стариков. Они отдали все до последнего гроша, чтобы только нам хватило на дорогу. Мы теперь их последняя надежда.

— Всего доброго!

Речь давалась Фридриху с трудом, волнение перехватило горло. Он сделал усилие и заставил себя уйти. Когда он был уже в коридоре, он вдруг услыхал свое имя.

Он повернулся. Перед ним была женщина с двумя детьми. Это лицо... Вспомнился день выдачи зарплаты у них на фабрике...

— Вы ведь работали ткачихой на нашей фабрике? — взволнованно спросил он.

— Да, — сказала женщина. — Вы еще хотели мне тогда помочь.

Фридрих смешался, не знал, что ей сказать. Она, кажется, угадала его мысли.

— Там нам тоже, конечно, будет несладко, — сказала она. И, показывая на детей, добавила: — Но пусть хоть им будет лучше.

Стало быть, и на образцовой фабрике, принадлежавшей его семейству, положение таково, что люди решаются на этот последний, отчаянный шаг. Он снял свои золотые часы и сунул их женщине в руку. Не успела она опомниться, как он был уже на лестнице. В голове была одна только мысль: «Прочь!»

В кают-компании он услыхал голос собутыльников. Смех американца, раскатистый бременский диалект Шюнемана, тенор сенатора, органный бас консула. Прочь, прочь!

Лишь когда порт остался далеко позади и его обступили пустынные прибрежные скалы, он остановился. Сел на камень. Стыд, гнев и жалкое чувство собственного бессилия

охватили его. Господи, до чего нужно довести людей, чтобы они доверили свою жизнь пьяному капитану, запершему их в грязном трюме, везущему их в чужую, неизвестную страну, где у них не будет никакой надежды снова увидеть своих родных и близких!

Вспомнилось приподнятое настроение последних недель, часы беспечного веселья на пароходе, иллюзия новой гармонии всего народа...

Постепенно мысли его успокоились, в то же время в нем выросла и окрепла железная решимость.

Дни радужного ослепления миновали!

Больше никаких иллюзий, прикрывающих судороги мира, он не допустит!

Начался дождь. Не обращая на него никакого внимания, Фридрих проделал обратный путь на «Роланде», сидя в одиночестве на открытой палубе. Звуки царившего внизу безудержного веселья сюда не долетали. Слышны были только глухие удары машины да мерный стук колес...

Он вновь стал чаще наведываться к Лютреку. Необъяснимый инстинкт побуждал его, упражняясь с клинком и саблей, развивать силы и быстроту реакции. Он давно уже научился отражать хитроумные атаки француза и своим бурным, диким наступлением загонять его в угол. В День памяти июльской революции он до глубокой ночи пропировал со старыми друзьями из «Розы». Август принес с собой много работы в конторе и немало журнальных заказов, которые нужно было выполнить. В августе наступил наконец-то день, о котором он столько мечтал.

Усталой и изможденной вышла Магдалена из почтовой кареты. В обществе родных и знакомых, заполнивших городскую квартиру брата и сестры и забросавших ее вопросами, не было никакой возможности уединиться с ней и поговорить по душам. Она сидела напротив него как чужая. Лишь когда сели за стол, глаза их встретились и погрузились друг в друга...

Собравшийся у них болтливый народ, казалось, вовсе не хотел расходиться. Последняя бутылка давно уже опустела, но городские сплетни были неисчерпаемы. Когда же Шюneману наконец удалось положить конец застолью, было уже так поздно, что Фридрих спросил себя, удобно ли оставаться ему одному. К тому же жена сенатора предлагала подвезти его до дома. Он колебался.

Выручил его Шюнеман.

— Ты ведь обещал нам помочь, Фридрих!

Он сказал это так громко, что все гости могли это слышать.

— Ну, обещания надо выполнять! — Жена сенатора лукаво перевела взгляд с Фридриха на Магдалену и простилась.

Шюнеман со смешными ужимками передразнил сенаторшу.

— Обещания надо выполнять! — пропищал он, поцеловал сестрицу и закрыл за собой дверь.

Они остались одни.

Магдалена убрала волосы со лба. Ее чудные глаза смотрели на него. Чужие и близкие. Она не шевельнулась, когда он к ней подошел. Он бережно положил руки на ее хрупкие плечи, вдыхая дурманящий аромат ее волос. Он почувствовал теплоту ее рук, которыми она обняла его, почувствовал, как от его поцелуя вздрогнули ее губы.

Они не сказали ни слова.

Все, что их окружало: стол с бокалами, рояль, кресла, орнамент ковра, обитые шелком стены — все это стало вдруг каким-то нереальным и как будто отодвинулось вдаль. Фридрих закрыл глаза. Чувство бесконечной нежности, казалось, парализовало его. Он поднял ее на руки, как пушинку, и отнес в ее комнату, где ветер трепал занавеску.

Этот час походил на сон. Домой по пустынным улицам города Фридрих шел, как сомнамбула. Только когда он уже был в своей собственной комнате, к нему вернулось сознание. Он бросился на постель. Тайна любви, теперь он постиг ее! Счастливец, кричало все в нем, счастливец!

Магдалена была теперь в городе, всего в нескольких минутах ходьбы от него. Однако часы, которые они проводили вместе, можно было сосчитать на пальцах одной руки. Две бременские газеты сообщили о триумфальной поездке Магдалены по Швеции, после чего ей был предоставлен большой театральный зал для ее сольных концертов в родном городе. Желание не осрамиться перед своей публикой заставляло ее часами сидеть у инструмента. Она с такой страстью работала над своей программой, как будто речь шла о ее жизни и смерти. Фридрих делал что мог, чтобы поддерживать в ней веру в свои силы. Но чем ближе был день ее выступления, тем больше возрастала ее неуверенность и нервозность, которая отражалась даже на ее отношении к Фридриху.

Фридрих предпочел занять место в зале, среди обыкновенной публики, отказавшись от места в ложе рядом с

Шюнеманом и Космали. В программу вошли Шопен, Шуберт и Бетховен. Минуты огромного нервного напряжения перед началом. Люди вокруг него непринужденно и равнодушно болтали, они казались ему одним тысячеголовым чудовищем. Наконец подняли занавес. На сцене одиноко стоял черный рояль. У Фридриха вдруг появилось чувство, будто он присутствует при публичной казни, и жуткий страх за любимую охватил его. В зале показалось невыносимо жарко и душно. Он почувствовал, как на лбу его выступили капельки пота. В висках дико стучало. Каково же сейчас приходится Магдалене! Вот она вышла из-за кулис. Публика приветствовала ее, как ему показалось слишком холодно и скептично. На огромной сцене Магдалена казалась крошечной. Фридрих едва мог дышать, когда она начала, — слишком быстро, как ему показалось.

— Ее не хватит до конца! — испугался он. Лишь когда она успешно преодолела самые трудные пассажи первых пьес, на душе стало спокойнее. Однако тысячеголовое чудовище оставалось равнодушным, аплодировало с вежливой сдержанностью, с которой ничего не могло поделать неистовое хлопанье Фридриха в ладоши.

В последующие полчаса ничего не изменилось. Фридрих чувствовал отчаянное желание Магдалены преодолеть свою скованность, но у нее ничего не получалось. После антракта немало мест осталось пустыми. Фридрих незаметно разглядывал лица сидевших рядом с ним. Тут было немало знакомых из числа участников Певческой академии, в хоровых вечерах которой он нередко принимал участие. Вот седовласый добряк Рим, блестящий знаток музыки. На его лице можно было без труда прочитать приговор пианистке: славно, прилежно, талантливо, но ничего выдающегося, если не считать ее молодость и красоту... Третий звонок. Сцена. Одинокий рояль... Эшафот надежды. Но моя любовь остается с тобой, моя любовь навеки!

На этот раз она долго не выходила. Наконец быстро вышла на сцену, чуть не бегом припустилась к роялю и, прежде чем умолкли аплодисменты, взметнула руки. «Апассионата» Бетховена. Первый же аккорд оборвал аплодисменты. И вот тут-то и произошло чудо, то чудо единения интерпретации, музыки и публики, которое заставляет забыть обо всем внешнем, постороннем, случайном, которое и составляет суть настоящего художественного события. Дальше, дальше, любимая, ты их покорила! А потом и для него пространство и время слились воедино...

Отзвучал последний аккорд. Все сидели молча, не шелохнувшись. Магдалена быстро встала и ушла со сцены. Только тут зал очнулся и грянула овация. Люди вскакивали со своих мест, кричали, стучали, выкрикивали имя Магдалены, требовали повторения.

«Победа, победа, победа!» — ликовал Фридрих. Он словно сбросил с себя оковы.

Вместе с другими молодыми людьми он протиснулся к сцене, чтобы первым заключить Магдалену в свои объятья. Какой день, какой час!

И вдруг вместо радости — страх. Вместо пианистки на сцену вышел импрессарио.

— Из-за внезапно наступившего недомогания пианистка просит извинить ее...

Коридоры позади сцены были забиты людьми с цветами — ловцами автографов, друзьями Шюнеманов, музыкантами. Фридрих с трудом протиснулся к самой двери артистической уборной, где два вахтера преградили ему дорогу.

Тут дверь уборной открылась. На пороге показался Шюнеман.

— Что с ней? — бросился к нему Фридрих.

У Шюнемана был испуганно-озабоченный вид.

— У нее доктор Дальберг, — ответил он.

Последовали минуты неизвестности, пока не вышел от нее доктор.

— Ей теперь лучше.

Это успокаивало.

— Можно к ней?

Доктор смерил его взглядом с головы до ног.

— Вы господин Энгельс, как я предполагаю?

Фридрих кивнул.

Врач показал рукой на дверь.

— Вас ждут.

Магдалена без движения лежала на узком диване. Увидев его, она попыталась слабо улыбнуться.

— Все опять хорошо, любимый, — тихо прошептала она.

Он встал перед ней на колени, взял ее голову.

— Ну что же это с тобой, а?

— Бетховен, понимаешь, я, видимо, слишком слаба для него.

— Тебе нужно больше заботиться о себе, моя милая! Поменьше работать, побольше есть, отдыхать. Тебе нужно окрепнуть!

— Ну как это было? Хоть на что-нибудь похоже?

— На что-нибудь? Это был грандиозный успех!

— Я хочу знать, понравилось ли тебе?

Фридрих посмотрел на нее с упреком.

— Ты еще спрашиваешь!

— Ты проводишь меня домой?

— Коляска уже ждет.

— Нет, лучше пешком.

На лице Фридриха отразилась тревога. Но он не успел ответить, как она уже встала.

— Врач прописал мне свежий воздух и движение.

Воздух был по-летнему теплый. Город уже погрузился в сонную тишину. Фридрих крепко обнимал возлюбленную. Они шли по Бишофснадельгассе между старыми патрицианскими домами, вобравшими в себя дух столетий. Любимая была рядом, свою собственную жизнь он ощущал как великолепный подарок природы, и все-таки в сердце закралась какая-то неясная тоска. В голове продолжала звучать «Апассионата».

Заговорил он только на площади перед собором.

— Сколько раз я уже слышал эту сонату, наслаждаясь драматическим столкновением противоположных эмоций. Но сегодня я как будто заглянул в сердце человека, создавшего эту музыку. Никакого трагического разлада из-за непосильной борьбы с могущественной судьбой. Никакого стона обреченного на страдания существа. Да, этому сердцу знакомы страдания, но его переполняет любовь. Оно кровоточит из тысячи ран и в то же время полно несломленной силы. Это человек, повернутый лицом к бездне, преодолел свой страх и твердо идет своим путем до конца.

Магдалена остановилась.

— Твердо идет своим путем до конца, — задумчиво повторила она. — Ты это почувствовал?

Фридрих заметил на лице ее страх.

— Ты это сыграла, милая!

Она недоверчиво покачала головой и стала упрекать себя в техническом несовершенстве, в неуверенном переходе от одной темы к другой, в смазанности динамических контрастов.

Фридрих почти резко оборвал ее.

— Все это глупости. Ни один человек еще не добивался большего!

Они дошли до дома Шюнеманов.

— Не оставляй меня этой ночью! — попросила Магдалена.

Гостиную украшало море цветов и поздравлений. На столе стояла бутылка шампанского и два бокала. Рядом лежала записка Шюнемана, который просил извинить его за отсутствие в этот вечер.

— Как жаль! — улыбнулась Магдалена и до краев наполнила бокал. Она вдруг очень переменилась, стала радостной, оживленной. Вино оживило ей лицо. Напряжение минувших недель миновало, приступ слабости, казалось, совсем прошел.

Потом, когда они лежали рядом, глядя через окно на звезды, Фридрих решил, что настало наконец время задать ей тот самый важный вопрос, вопрос вопросов — об их совместном будущем. Но она опять ускользнула от прямого ответа.

— Будущее? Зачем думать о будущем? Разве мы не счастливы сейчас, в это мгновенье? Как бы я хотела удержать его навсегда!

Он молчал.

— Ну что ты наморщил лоб?

Он тяжело вздохнул.

— Ах, Магдалена, сердце мое, мне страшно.

— Страшно?

— Страшно потерять тебя — или никогда не заполучить целиком.

— Любимый...

— Ты выдающаяся артистка. А я кто?

— Ты для меня лучший из людей.

Он поцеловал ее и тут же снова вернулся к мучавшей его теме:

— Но по-настоящему, до конца счастливым я буду лишь тогда, когда ты станешь моей женой.

Магдалена тяжело вздохнула. Фридрих почувствовал, как она отняла свою руку.

— Я должна тебе кое-что сказать, Фридрих, — нерешительно начала она.

Сейчас она скажет решительное и окончательное «нет» — пронеслось в голове Фридриха.

— Молчи! — вскрикнул он. — Оставь мне хоть какую-то надежду, хоть самую слабую!

Он повернулся, чтобы обнять ее, и испугался. В ее глазах была бесконечная печаль, а по лицу текли слезы. Тут он понял, что между ними есть что-то неизмеримо более серьез-

ное и печальное, чем каприз артистки, которая хочет сохранить свою свободу. И он больше не решался задавать вопросы. Осторожно вытер ей слезы и молчал, не зная, что сказать и что предпринять. Он видел, что за окном начинал потихоньку сереть наступающий день, погашая одну звезду за другой. Может ли и наша любовь так же погаснуть — тихо и незаметно? Нет, никогда!

Она уехала в Бремерхафен, чтобы отдохнуть там в своем домике, используя последние дни уходящего лета. Они условились, что Фридрих приедет к ней в ближайшую субботу. Но когда он в пятницу вечером возвращался домой из конторы, то перед домом пастора увидел ее. Он был поражен. Она выглядела подавленно и едва решалась смотреть на него.

— Я дожидалась тебя, чтобы проститься, — сказала она без всякого выражения.

— Проститься?

Она вынула из кармана письмо.

— Читай!

Фридрих взглянул на подпись отправителя. «Фредерик Шопен...»

— Он передает мне приглашение мадам Жорж Санд в Ноан.

Фридрих быстро пробежал глазами по строчкам, полным сердечной теплоты.

«Все здесь будут чрезвычайно рады, если вы проведете с нами зиму...»

— Зиму? — озадаченно спросил он. — Целую зиму?

— Я не могла отказаться, любимый.

Он печально кивнул. Приглашение Шопена. Какая бы пианистка на ее месте отказалась?

— Разумеется. Когда ты едешь?

— Завтра.

Они сели в лодку, и Фридрих отвез ее на другой берег Везера в тишь лугов. Он старался не показать ей, насколько он потрясен.

— Ну что такое полгода? Мы опять будем часто писать друг другу. Ну что такое тысяча километров? Каких-нибудь восемь-девять дней пути. Выберем себе звезду, на которой каждый вечер будут встречаться наши взгляды. Но когда ты вернешься, мы не будем говорить с тобой ни о чем другом, кроме нашей свадьбы!

Магдалена, не проронившая ни слова, после того как вышла из лодки, покачала головой.

— Я не могу быть твоей женой, Фридрих. Я нездорова.

Фридрих рассмеялся.

— А кто здоров?

— У меня серьезная болезнь. До недавнего времени я не была в этом уверена, но теперь нет никаких сомнений. Легкие.

Так вот она, ее тайна. Пораженные легкие, болезнь века, которая встречается теперь у каждого третьего. Он осторожно обнял ее.

— Ну если только это...

Она быстро высвободилась из его объятий.

— Пойми же, пойми, дело не в музыке, не в моем учителе Шопене, не из-за них я уезжаю, а потому, что потеряна последняя надежда на выздоровление.

Они сидели на берегу Везера. Крыши города поблескивали в лучах заходящего солнца. Фридрих горячо говорил ей о многочисленных чудесах исцеления, о гигантском прогрессе медицины.

— Ты выздоровеешь! — Неколебимая сила его уверенности прогнала с лица ее темные тени.

Лишь на другой день вечером, когда уже было сказано последнее «прости» и ее коляска скрылась в сером тумане, лишь тогда Фридрих осознал в полной мере, что произошло. Шесть месяцев, шесть долгих месяцев он обречен на то, чтобы быть без нее. Город показался ему пустым. Даже ее брату не удавалось его утешить. Шюнемана призвали на военные сборы, откуда его отпустили только на час проститься с сестрой. Форма бременской армии, запах кожи и табака делали его чужим, незнакомым. Фридрих сел вместе с ним в экипаж, чтобы проводить друга до его лагеря.

— Не желаешь ли узнать новости о нашем проекте? Новости обнадеживающие. С финансированием дело, кажется, решилось. Да и в остальном события развиваются наилучшим образом. Берлинский наследник трона объявил об амнистии всем политическим заключенным, а также обещал сделать цензурные послабления прессе, разрешить свободу мысли и печати.

Мысли Фридриха вернулись к действительности. Ах да, журнал. Надежды на самостоятельное будущее, на совместную жизнь с Магдаленой, если она вернется здоровой.

— Могу я чем-нибудь помочь делу?

— Писать, только писать. Сделать так, чтобы голос Освальда не замолкал.

В лагере бременских резервистов Фридрих встретил

много знакомых, которые воспринимали военные экзерсисы как своего рода карнавал, приятное освобождение от повседневных обязанностей. Пушек здесь явно не хватало, зато не было недостатка в пивных бочках. Почтеннейшие бюргеры сбросили здесь маску благопристойности и ни в чем не уступали рыцарям бременской ночной жизни. В пасторский дом Фридрих вернулся только утром. Вспомнил, что это воскресенье он собирался провести на море с Магдаленой. Тоска по ней сжала сердце. О сне нечего было и думать. Он взял воскресную газету, которая лежала на столе. Первая полоса была заполнена обычной придворной хроникой, сообщениями из Франкфурта, Берлина, Вены. Прочитал заметку о волнениях в рабочих кварталах Парижа и снова с тревогой подумал о Магдалене. Но потом он успокоился. Ей предстояло ехать в одну из отдаленных провинций на юге Франции. Он хотел было уже отложить газету в сторону, но тут его взгляд упал на коротенькое сообщение, окаймленное траурной рамкой. «Как сообщили сегодня из Дюссельдорфа, там вечером 25 августа в возрасте 44 лет умер драматург и романист Карл Лебрехт Иммерман...»

«Иммерман умер. Умер двадцать пятого августа. В то самое время, когда Магдалена давала свой концерт, он, единомышленник, друг, человек в расцвете сил, надежда на обновление немецкой литературы, лежал на смертном одре».

Ты отдавал неугасимый жар
Своей души иному поколенью,
Оно признало твой могучий дар,
Рукоплескало твоему творенью.
Благоговея, мы к тебе пришли,
У ног твоих в молчании мы сели,
Внимали, как твои стихи текли,
И в очи вдохновенные глядели.
И вот, когда, признав тебя, народ
В почтении перед тобой склонился
И пышные венки тебе несет, —
Мой Иммерман, — куда от нас ты скрылся?
Прощай! Ты нас совсем осиротил,
Тебя сравнить у нас, ты знаешь, не с кем.
Но я поклялся стать, каким ты был:
Таким же твердым, сильным и немецким.

Так Фридрих простился с писателем.

Улица и площадь перед собором уже заполнились людь-

ми, которые привыкли начинать воскресенье с молитвы. Ах, какими чужими показались ему эти люди. Тени минувшего мира.

А его мир опустел еще больше. Сердцем он был далеко отсюда.

На другой день он снова сидел в конторе. Без всякой охоты принялся за стопку неразобранных писем. Дело их попрежнему процветало, и старик Лёйпольд пребывал в приподнятом настроении.

— Ну что, сын мой! — похлопал он его по плечу. — Что ж, хороша недотрога, малышка Шюнеман? И ты, брат, не промах, явился черт знает откуда, из какого-то Бармена, и отхватил нашу лучшую кралю, а? — Уходя, уже в дверях, он еще раз обернулся. — Да, что я тебе еще хотел сказать, Фриц! Ты помнишь этого американца? Ну, мы еще сидели у него в каюте!

Еще бы ему забыть!

— Так вот, его корабль затонул со всеми, кто на нем был, недалеко от берегов Америки.

Глава шестая

ИЩУ ОГОНЬ

Государственный советник фон Рохов вошел с папкой в небольшой кабинет.

— Поздравительный адрес ландтага, Ваше королевское высочество.

— Положите его к остальным, — отмахнулся Фридрих Вильгельм Прусский.

Он устал. Устал от долгого путешествия в Кёнигсберг, от серых, как пепел, будней, которые состояли из скучнейших докладов советников и министров. Нужно было выдумывать какие-нибудь замечания, а потом подписывать бумаги. Он устал даже от бесчисленных адресов и заверений в нижайшей покорности, которые поступали к нему со всех сторон. Фридрих Вильгельм хотел побыть наедине со своими мыслями. Сегодня он еще регент, «королевское высочество», как аккуратно выразился фон Рохов, а завтра уже «Его величество, король божьей милостью», как мы непременно прикажем добавить назло этим сухарям-советникам! На письменном столе лежала переплетенная в сафьян тронная речь, которую он сочинял много лет и которую разучивал много часов. Он хотел повторить еще раз все перед

зеркалом, чтобы проверить эффекты, отработать нюансы. За портьерой наготове стояла уже хорошо охлажденная бутылка золотого «Асманхойзера», которая в нужный момент может снабдить его божественным вдохновением. Однако фон Рохов все еще не уходил.

— Еще что-нибудь? — спросил регент.

— Прочтите документ, Ваше королевское высочество! В нем содержится наглое требование утвердить конституцию.

Фридрих Вильгельм озадаченно смотрел в неподвижное лицо чиновника. Огрызаются, стало быть! И не только рейнландцы, эти полуфранцузы захваченных провинций, но и кёнигсбергцы, пруссаки из пруссаков, мозг и мышцы империи, самая могучая твердыня нашего королевства?

— Ваше королевское высочество обязательно должны в своей тронной речи дать достойный отпор подобным веяниям, чтобы впредь не возбуждать в умах надежд, вредных для государственной политики.

Фон Рохов ушел.

Часы перед торжественным событием, полные радостного ожидания, были напрочь испорчены, как и наслаждение от уникальной, искусно составленной речи.

— Господи, почему допускаешь ты такое ослепление? — «Асманхойзер» вызвал лишь слезы разочарования и бессильной ярости. — Укажи мне на корни зла, господи, укажи мне на корни зла, и я вырву их из твоего сада!

Он увидел в зеркале свое отражение и мрачно кивнул ему. Да, он знал, где прячутся эти корни. Разве не отпивал и он сам когда-то от их соблазнительного сока? Разум и дух. Надменность холодного разума, пытающегося встать над божественным порядком природы. Вольтер, Руссо, Робеспьер. А в Пруссии Гегель. Покуда в Пруссии не вытравлена его опасная философия, смутьянам есть чем вдохновляться.

Уже наступила осень, а неизвестность продолжала терзать сердце Фридриха. До самого октября почти каждый день приходили письма от Магдалены, подробные описания дорожных приключений, сообщения о том приеме, который ей оказали в замке в Ноане, восторженные описания «этой обители высоких умов и ищущих истину сердец». Магдалена с восторгом писала о своеобразном очаровании Жорж Санд, о гении благородного Шопена, вместе с которым скорбела о попранном отечестве. «И ты здесь не чужой. Я рассказала всем о тебе, и многие мысли из твоих писем нашли здесь

сочувственный отклик. Ах, если бы ты мог приехать! Самый сердечный прием был бы тебе обеспечен». Так она писала в последнем письме. За ним последовала только открытка с кратким приветом почему-то из Лиона и с обещанием вскоре выслать подробное письмо. И больше ничего, ничего...

Шюнеман, которого можно было бы расспросить, отбыл по делам в Берлин и Лейпциг, так что не оставалось ничего другого, как ждать и надеяться, и снова ждать, и опять надеяться, пока мука неизвестности не обернулась недоверием. Однажды утром почтальон принес три письма в контору. Наконец-то! — обрадовался он. Но тут же его охватил страх: то были его последние три письма, которые он отправил в Ноан. Они вернулись из-за отсутствия адресата.

Стало быть, ее больше там не было. Она путешествовала. И наверняка не одна. Сомнений для него больше не было. Ты забыт, забыт и покинут...

Ах, какой прием закатили Фридриху «Германцы», когда он после долгого перерыва снова появился за их столом в «Розе»! Бокалы пенились, тосты за свободу и революцию не смолкали. Распалясь, компания двинулась в погребок при ратуше, чтобы вызвать на диспут жалких филистеров. Правда, фракция поклонников нового прусского короля несколько поутихла после того, как из Кёнигсберга пришли сообщения о том, что никаких особых отклонений от прежнего курса ждать не приходится. Однако сторонники конституции все еще верили в добрые намерения нового хозяина в Берлине и не сомневались в его либеральных убеждениях.

«Я хочу направлять заблудших детей, руководить падшими, делиться всем, что имею, с моими подданными», — с издевкой цитировал Фридрих тронную речь нового величества божьей милостью. Друзья отвечали ему взрывом хохота и принимались распевать сатирические куплеты и запрещенные песни.

Так и повелось теперь — очень часто вечерами Фридрих с приятелями появлялся в погребке при ратуше, расшевеливая своими остроумными выпадами сонные умишки бюргерских сынков, шокируя презренных филистеров сумасбродными выходками. Было объявлено об основании общества носителей усов. Добрая сотня молодых людей немедленно внесла себя в список членов и к ужасу родителей и начальников отрастила себе щетину над верхней губой. «Опять выдумки этого Энгельса!» — бранились почтенные горожане, жалуясь на него Лёйпольду. Но тот только

посмеивался, отпуская свои грубые шуточки и напоминая недовольным о проделках их собственной молодости. Он знал, кого он имеет в лице практиканта. Ни один из добродетельных паинек в его конторе не мог тягаться с ним в составлении разного рода бумаг и писем или в мастерстве ведения переговоров.

Иногда в отношении шефа к Фридриху проглядывала смесь сочувствия и заботы. Консул, по-видимому, догадывался, что было у него на душе. Однажды, когда они были в конторе одни, Фридрих почувствовал на своем плече тяжелую руку старика.

— Не вешай носа, дружок, — насмешливо-заговорщицким тоном сказал он, — поверь старой перечнице, что ни одна юбка не стоит того, чтобы из-за нее переживать!

Мой бог, разве такой тон был нужен, чтобы утешить кровоточащее сердце. И все же даже от такого грубого прикосновения к ране Фридрих почувствовал облегчение и смог более спокойно и трезво смотреть на вещи.

Он и сам был в состоянии взять себя в руки. В конце концов какими бы потрясающими ни были сердечные смуты некоего юнца по имени Фредерикус Энгельс, они ни в малейшей степени не влияют на ход мировой истории, у которой свои заботы.

Если за целое лето в политической жизни немецких земель не случилось ни одного мало-мальски примечательного события, то осенью наметилось некоторое брожение. Меры короля против гегельянцев из Университета имени Фридриха Вильгельма натолкнулись на открытое сопротивление берлинских студентов. Посаженный новым монархом реакционный правовед Юлиус Шталь был вынужден уйти из-за протестов учащейся молодежи. К их бойкоту присоединились и многие видные профессора во главе с широко известным теологом Мархейнеке. Из Кёнигсберга пришло известие о том, что восточнопрусские сословия вовсе не хотели мириться с тем, что король отклонил их прошение. Произошло кое-что и в непосредственной близости от Бремена, в ганноверском королевстве. Король-самодур решил принять более крутые меры против упорно настаивавшего на своей верности прежней конституции города Оснабрюкка. Полк королевской гвардии был введен в город и насильственно в нем расквартирован. Это повлекло за собой взрыв арсенала королевских войск, который взлетел на воздух в ночь на первое ноября. Официально причиной несчастья было объявлено разгильдяйство. Однако все знали о том,

что это дело рук свободолюбивых патриотов. Фридрих и его приятели ликовали. Наконец какое-то дело!

...В этот вечер Фридрих возвращался домой с твердым намерением подвести черту под главой своей жизни, которую называл именем Магдалены.

У него накопилась куча дел. Гуцков взывал к его совести, брауншвейгцы напоминали о данном им обещании, авторитетная тюбингенская газета «Утренний листок» и штутгартский «Немецкий курьер» просили статей. Аугсбургская «Всеобщая газета» меж тем уже опубликовала серию его статей о проблемах строительства океанских пароходов и получила на них немало откликов. Сын Котты сам прислал Фридриху письмо с просьбой о дальнейшем сотрудничестве. Нужно было ответить на целую кучу писем, да и кое-какие лирические фрагменты, начатые весной, ждали своего завершения. Самое время засесть за работу!

В доме пастора он давно уже был предоставлен самому себе, никто, кроме старухи, которая иногда заглядывала к нему в комнату поболтать, им больше не интересовался. Девицы были заняты ловлей женихов, а сам пастор с головой ушел в большой церковный спор между ортодоксами и рационалистами-пиетистами, вызванный недавними бременскими гастролями Круммахера.

Работа спорилась у Фридриха лучше, чем можно было ожидать. В дорожные впечатления от родины Зигфрида Ксантена, которые он давно, еще до своего весеннего путешествия, обещал Гуцкову, он включил многие занимавшие его теперь мысли.

«Что захватывает нас с такой силой в сказании о Зигфриде? Не развитие действия само по себе, не подлейшее предательство, жертвой которого пал юный герой, а глубокая значительность, заложенная в его личности. Зигфрид — представитель немецкого юношества. Все мы, у кого бьется в груди еще не укрощенное трудностями жизни сердце, все мы знаем, что́ это значит. Все мы чувствуем ту же жажду подвига, тот же бунт против старинных обычаев, которые заставили Зигфрида покинуть замок его отца; нам глубоко противны вечные колебания, филистерский страх перед смелым деянием, мы хотим вырваться на простор свободного мира, мы хотим пренебречь осторожностью и бороться за венец жизни — подвиг».

Было поздно. Вдруг он услыхал выстрел на улице. Стреляли, кажется, из мушкета. Фридрих распахнул окно, прислушался. На набережной раздался стук копыт. Он прибли-

жался. Вдруг послышались еще два или три выстрела подряд и кто-то крикнул: «Дальше! К Большому мосту!» Мимо палисадника проскакала кавалькада. На улице Святого Мартина послышалась команда: «Стой!» Затем хорошо ему знакомый голос лейтенанта фон Котбека произнес:

— Он должен быть где-то здесь!

Неожиданно в пасторском саду что-то зашевелилось. Фридрих вздрогнул. В кустах, метрах в двух от него, выросла крупная мужская фигура. Тут же послышалось позвякивание цепей. Человек подошел к окну Фридриха, и он разглядел полосатую арестантскую куртку, орлиный нос, пышную окладистую бороду.

— Помогите! — Рука в кандалах протянулась к Фридриху и вдруг исчезла — человек упал.

Фридрих выпрыгнул из окна. Человек, скрючившись, стоял на коленях. Одна рука его была прижата к телу, между пальцами сочилась кровь.

Через минуту на ноги был поднят весь дом. С помощью пастора удалось перетащить раненого на чердак. Фрау Тревиранус и ее дочки носились по дому.

— Заприте дверь на задвижку! — приказала им старуха. Она склонилась над раненым. — Воды! Полотенце! Бинт!

— Я... — с трудом начал мужчина.

— Ни слова! — прервала его старуха, стягивая окровавленную куртку. Девицы в ужасе отвернулись. Из раны в области ребер сочилась кровь. На лестнице показался художник Фейсткорн.

— Что случилось?

— Тсс! — Старуха прислушалась к тому, что делается на улице.

Стук копыт снова приближался.

— Он должен быть в церкви или в доме пастора, — раздался голос фон Котбека.

Все в ужасе затаили дыхание. Только старуха сохранила присутствие духа.

— Отнесите его в мою комнату! — приказала она. — Да поосторожнее!

Мужчина тяжело повис на плече Фридриха. Шедшая сзади старуха несла арестантскую куртку и перевязочные материалы.

Входная дверь сотрясалась от ударов.

— Именем закона! Откройте.

Они уже добрались до комнаты старухи. Раненого уложили на белоснежную постель.

— Господи, господи, — причитала жена пастора, забинтовывая его дрожащими руками.

Фридрих подошел к двери комнаты и прислушался к тому, что делалось в прихожей. Он услыхал голос пастора.

— Кто там?

— Лейтенант фон Котбек. Открывайте!

Послышался звук отодвигаемой задвижки.

— Что это значит? — проворчал Тревиранус. — Что за шум вы подняли среди ночи?

По плиткам прихожей застучали кованые сапоги.

— Виноват, господин Тревиранус. Но мы преследуем человека, бежавшего из-под стражи.

Грубым голосом вмешалась старуха.

— Какого еще человека?

— Опасного смутьяна, приговоренного к смерти.

— Здесь, у нас, в Бремене? — удивленно спросил пастор.

— Нет, он бежал из здания королевского суда в Ганновере, господин пастор. Это главарь шайки заговорщиков, взорвавшей пороховые склады арсенала в Оснабрюкке.

Фридрих еще плотнее прижал ухо к двери. Голос старухи:

— И такого человека вы ищете в пасторском доме?

— Он бежал в эту сторону. К сожалению, мы вынуждены обыскивать каждый угол.

Снова голос старухи:

— А кто дал право ганноверцам вести свой розыск в Бремене?

Голос фон Котбека с надменными интонациями:

— Я, мадам. Согласно ордеру президента сената.

— О, с этим не поспоришь!

Внизу по коридору загремели сапоги. Затем стали открываться двери, и сапоги загремели по комнатам. Фридрих тихо закрыл дверь на щеколду, посмотрел на раненого. Главарь заговорщиков? Человек, который взорвал арсенал в Оснабрюкке...

— Господи, господи, — причитала хозяйка дома. — Они ведь сейчас поднимутся сюда, найдут его, господи...

Тысячи мыслей проносились в голове Фридриха. Спрятать раненого под кровать? Забаррикадировать дверь? Голыми кулаками защищать лестницу? Нет, все это чистая глупость!

— Господи, господи, что же делать?

Раненый приподнялся.

— Послушайте, женщина! — с трудом выговорил он. — Господь мне уже не поможет. Зовите этих гадов!

Нет, нет и нет! — закричало все в Фридрихе. Вдруг с улицы донеслось ржанье лошади. Он подошел к окну. Внизу стояли лошади солдат. Часовой, спокойно раскуривая трубочку, сидел на каменных ступенях портала. Если бы беглец мог прыгнуть из окна... Если б не промахнулся да попал прямо в седло... Если б он не был ранен. Если бы...

Внезапно взгляд его упал на окровавленную куртку арестанта. А что, если вместо него? Нельзя терять ни секунды!

Фридрих схватил куртку, быстро натянул ее на себя.

— Что вы собираетесь делать? — спросил опешивший Фейсткорн.

Фридрих прошептал художнику:

— Отвезите его на Розенгассе, в портовый квартал. На лодке. Отель «Роза». Хозяина зовут Миша. — Он подошел к окну, осторожно открыл его. Оглянулся, увидел перед собой перепуганное лицо пасторши. Потом встал на подоконник. Приземлился благополучно. Домашние туфли погасили звук. Он очутился на площади перед церковью. Вот и лошадь. Он вскочил в седло. Часовой поднялся.

— Хоп! — крикнул Фридрих и ногами ударил лошадь по бокам. Та поднялась на дыбы и сорвалась с места. За его спиной послышались крики, потом прозвучал выстрел, но он был уже в конце улицы, свернул на соседнюю, а потом поскакал вдоль берега, где не было мостовой, а гигантские штабели бревен служили хорошим прикрытием. Под вязами на старом городском валу он остановил лошадь. Преследовавшие его были еще довольно далеко. Он соскочил на землю и отпустил лошадь обратно. На берегу Везера снял с себя арестантскую куртку, бросил ее в воду, а сам спрятался в одном из сараев дровяного склада. Просидел там около часа, а потом вдоль берега дошел до улицы Святого Мартина. Начался дождь. Садами он добрался до дома. Первым делом осмотрел причал перед домом пастора. Лодка исчезла. В доме его встретили одни перепуганные женщины.

— Господи, а что как они попали бы в вас? — ужасалась пасторша, а старуха деловито стягивала с него мокрую рубашку.

— Они повезли раненого в порт, — объяснила она.

Еще через час явились и пастор с Фейсткорном. На лице духовника сияла счастливая улыбка.

— Он в безопасности, сын мой, у твоих друзей в порту.

На другой день ему принесли записку от Миши. «Пациенту лучше. Самое худшее позади. Он хочет познакомиться со своим молодым другом». Фридрих ликовал.

В это время явился почтальон. Фридрих принял деловую корреспонденцию. А вот письмо из Лиона! Сердце Фридриха готово было выпрыгнуть из груди. Он узнал почерк Магдалены. Стало быть, он все-таки не забыт! Он взглянул на дату отправления. Письмо шло пять недель. А он, он в ней сомневался... Он вышел из конторы, чтобы никто не видел, как он взволнован. В конторском сарае вскрыл конверт. Всего несколько строк, в которых она писала, что туберкулез вновь открылся и что лионские врачи настоятельно советуют ей отправиться в горный санаторий в Швейцарию. Затем шло такое, отчего голова его пошла кругом. Она писала, что порывает с ним навсегда, просит не вспоминать о ней больше, не искать ее, не пытаться узнать адрес. Фридрих ничего не мог понять в мотивах этой жертвы отречения, которой она освобождала любимого от связи с больной женщиной. Он чувствовал себя только преданным, брошенным, она оттолкнула его...

Он отпросился в конторе и отправился в порт. «Поверь старой перечнице, ни одна юбка не стоит...» Эти слова консула стучали в его голове, как набат. Потом вспомнилось ночное приключение. Как он обвел вокруг пальца ганноверцев и фон Котбека и спас народного героя от мести этих сволочей. Думая об этом, он несколько успокоил душу, которую разбередила своим прощальным письмом Магдалена.

Беспрепятственно вышел он за городские ворота, где каждого прохожего ощупывали внимательные глаза стражи. Хотя хвоста за ним не было, он на всякий случай сделал большой крюк, прежде чем зайти к Мише. Миша сразу же повел его дворами, мимо складов куда-то в глубь порта.

— У него кличка Кузнец, — рассказывал он по дороге, — уже не первый раз бежит из-под стражи.

Они вошли в дверь приземистого домика, оказавшись в крошечном, полутемном помещении. Перевязанный раненый лежал на кровати. Его глаза под кустистыми бровями просияли. Он попытался приподняться на локте. Он был старше, чем показалось вчера Фридриху. К нему подскочила девушка, подложила под спину подушку.

— Оставьте нас одних, — попросил он.

Фридрих не знал, что сказать. Мужчина протянул ему руку.

— Брат мой! — сказал он.

Фридрих пожал протянутую руку.

— Ну как, получше уже?

— Ничего, жив, дышу. Я среди верных друзей и на свободе. И обязан этим тебе. Подойди поближе! Я хочу рассмотреть твое лицо.

Фридрих подошел к кровати. Человек с кличкой Кузнец долго смотрел на него, а потом спросил:

— Кто ты?

— Друг свободы, — произнес Фридрих.

— Ты еще мальчик. Почти ребенок. Знаешь, кому ты помог?

Фридрих кивнул.

— Человеку, который имел мужество взорвать арсенал королевского гарнизона в Оснабрюкке. — Мужчина отмахнулся.

— Государственному преступнику, который половину своей жизни провел в казематах и подлежит розыску во всех немецких землях. Ты говоришь мужество? — Он покачал головой. — Это было безумие, в политическом отношении совершенно бессмысленное. Но у меня не было выбора.

— Где же твои товарищи?

— Кто расстрелян, кто в кандалах, кто бежал, как и я. Тревога о них омрачает мою душу. Нас ведь была только маленькая горстка. Почти все молодые люди, без всякого опыта борьбы, но с идеалами и с жаждой подвига. Когда они меня посвятили в свой сумасшедший план, я просто не мог отказаться, оставить их одних. Сумеют ли они пережить поражение?

— Поражение?

— Они ведь хотели подать знак, пробудить народ от спячки. Но за нами никто не последовал. А господа республиканцы, в святые клятвы которых они безоговорочно верили, попросту отвернулись от них.

Фридрих вскипел:

— Но ведь мы, молодежь, мы приняли этот знак. Наконец-то какое-то дело! Наконец-то проклятым деспотам кулаком по морде!

— Да что от этого толку, если народ молчит?

— Никакой подвиг во имя свободы еще не был бессмысленным!

— Свобода, мой друг, — это великое слово. Кто только его не произносит! Но каждый раз надо определить для себя, что за ним скрывается. Может, обыкновенное корыстолюбие, низкий эгоизм, обида, зависть, тщеславие. Или просто

романтическая любовь к приключениям, свойственная иным горячим юным головам.

Фридрих задумался. Не к нему ли относится последняя фраза?

— Разве это не право юности — мечтать и всем жертвовать ради осуществления человеческих прав и свободы? — спросил он.

— Бессмысленные жертвы только укрепляют деспотию. Не забудь, что на вас теперь возлагает все надежды наше попранное отечество!

— А что же нам делать, Кузнец?

— Прежде всего научиться различать, отделять овец от козлищ и не верить лжепророкам. А верить только тем, кто готов всю свою жизнь целиком, без остатка отдать делу народной революции, — только им! Только когда власть будет принадлежать народу, наше отечество из могильщика свободы превратится в его оплот!

— Народная революция, Кузнец...

Фридрих задумался. Сколько уже он думал об этом? С того самого лета тридцатого года, когда папаша Ростан объяснил ему, что означает слово «революция», слово, которого все вокруг так боялись, даже дедушка, даже такие люди, как Клаузен, Фрейлиграт, Иммерман. Кузнец прав: все они только говорили о свободе, проклинали произвол и гнет княжеской власти, но революцию отвергали.

Раненый, словно угадав его мысли, продолжал:

— Кто говорит о свободе, но боится революционной мощи масс, тот на деле ничем не лучше, чем послушный слуга князей, он даже хуже, потому что обманывает свой народ.

— Революционная мощь народа, где она у нас в Германии, Кузнец? Где вообще немецкий народ? Где те мужи, в сердцах которых кипит возмущение? Где те массы, без которых в Германии не могут наступить никакие перемены? Бюргеры? Я их знаю. Все они дрожат за свои гешефты и свои должности. Ремесленники, которые молятся денно и нощно и всего ожидают от бога? Крестьяне? Каждый их них живет только ради себя. Среди них нет таких, которые не смотрели бы сверху вниз на тех, кто еще беднее. Наемные рабочие, судьба которых целиком зависит от фабрик, на которых они работают? Где он, народ, Кузнец?

Раненый взглянул на него.

— Все они и есть народ, мой мальчик. Все те, кто сохранил человеческое лицо, но лишен человеческого досто-

инства. Никогда не презирай их за малодушие, трусость, эгоизм. Тысячелетнее рабство их согнуло. И все же все, что делает эту землю обитаемой, создано их руками. И все, что мы делаем, мы делаем ради них. Без них мы бессильны, без них мы только жалкая кучка бунтующих фантазеров.

Разговор с Кузнецом состоялся за несколько дней до двадцатилетия Фридриха, которое намечалось отпраздновать в погребке у ратуши. Друзья все как один явились с усами. Те, у кого они еще не выросли или кто вынужден был их сбрить по требованию начальства, сегодня нарисовали их себе ваксой. Все были в самом прекрасном расположении духа, кроме, пожалуй, юбиляра, ради которого, собственно, и собрались. Тот был немногословен, молча сидел в своем углу, мало пил и почти не смеялся.

Но в конце концов Фридрих сумел преодолеть себя. Здесь были его друзья, они ждали от него тоста. И тост последовал — великолепный, остроумный экспромт:

Усы носили во все времена
Мужи, в ком доблесть была видна.
Тот, кто поднимал за отчизну меч,
Усами не смел никогда пренебречь.
И в эти дни, что военной тревогой полны,
Мы гордые усы носить должны.
Филистер, конечно, не любит усов,
И срезать их он всегда готов.
Но мы — не филистеры, мы — другие,
У нас усы растут густые.
У добрых христиан лучшей нет красы,
Чем лихие мужские усы.
Да погибнут филистеры все,
Что не разберутся в такой красе.

Однажды в конторе наконец-то появился Шюнеман. Он увел Фридриха в ресторан и закатил ему роскошный ужин, за которым весело рассказывал о своем путешествии.

— И что радует больше всего — финансирование состоялось. Гольдштейн согласился с твоими требованиями невмешательства в дела редакции. — Приятель вынул из кармана и вручил Фридриху карточку.

— «Имеем честь пригласить господина Фридриха Энгельса-Освальда на торжественное открытие нашего торгового дома. Гольдштейн и Котбек», — прочитал Фридрих.

— И Котбек? Бретер-офицер стал компаньоном?

— Нет, сдал в аренду только свою дворянскую фамилию. Ловкий шахматный ход старика Гольдштейна, с помощью которого он надеется обрести полные гражданские права. Я полагаю, ты не откажешься по этой причине от приглашения.

Фридрих надеялся узнать что-нибудь подробнее о Магдалене, но его надежды не увенчались успехом.

— А я хотел тебя расспросить о ней. С тех пор как Магдалена в Давосе, она прислала мне только две открытки.

— У тебя хоть есть по крайней мере ее адрес.

Шюнеман удивился.

— Как, вы больше не пишете друг другу?

— Она распрощалась со мной, Карл.

Шюнеман озадаченно смотрел на него.

— Не верю.

— Хочешь сам прочесть? Вот ее письмо.

— Но ведь должна быть какая-то причина?

— Она рассматривает себя как обузу и дарит мне свободу.

— Как мало она тебя знает!

Фридрих рассмеялся с горьким сарказмом.

— Как мало!..

— Бедняга! Вот я напишу ей!

— Не надо, прошу тебя, Карл. Я сам напишу ей, если ты дашь мне адрес.

— Конечно, — кивнул Шюнеман. — Мы ведь увидимся у Гольдштейнов?

— Поскольку мы нуждаемся в его деньгах, то мне не остается ничего другого.

— Старик тебе понравится.

— Вопрос в том, понравлюсь ли я ему.

Шюнеман несколько неестественно рассмеялся.

— Ну ты уж постарайся придержать свой острый язычок за зубами. — Перед тем как проститься, он снова заговорил о сестре. — У вас с малышкой опять все наладится, я в этом уверен. Правда, в Давосе она может пробыть долго.

Той же ночью Фридрих написал длинное письмо Магдалене. У него опять появилась надежда.

В воскресенье после обеда он сбрил усы и надел свой праздничный фрак, собираясь на открытие банка. Не забыл на сей раз даже белые лайковые перчатки, которыми прежде пренебрегал. Жена пастора обомлела от восхищения, когда он с ней прощался. Наверняка остался бы им доволен и старик Гольдштейн, и с журналом бы все уладилось, если бы

не неожиданное происшествие, которое спутало все карты.

Выходя из дома, Фридрих столкнулся в дверях со стариком лакеем в ливрее.

— Господин пастор дома, — сказал Фридрих.

— А я к вам, господин Энгельс, — проговорил старик. — Однажды вы уже помогли нам.

Тут Фридрих узнал его. Это был кучер Юдифь Гольдштейн, теперь баронессы Юдифь фон Котбек. Старик был в большом замешательстве. Страх и ужас были написаны у него на лице. Из его сбивчивой речи Фридрих узнал об ужасном происшествии в доме баронессы. Она узнала правду об обстоятельствах, которые привели ее брата к гибели. Случайная догадка, мелькнувшая в ту ночь в голове Фридриха, подтвердилась. Котбек, бывший в то время ее женихом, лично отдал приказ об аресте дезертира после того, как она сообщила ему, где он скрывается.

Фридрих ужаснулся. Он представил себе, какой катастрофой для бедной женщины явилось это открытие. Быть совиновной в смерти собственного брата, обнаружить в собственном муже подлого доносчика и убийцу...

— Ради бога! Что она сделала?

— Уехала. Сломя голову. Она в таком состоянии, что...

— Должно быть, к родителям...

— Нет, там ее нет. Туда она только отправила ребенка. И ни у кого из родственников ее тоже нет.

Ну чем я могу тут помочь, спрашивал себя Фридрих. Как вдруг у него возникла одна идея. Он прыгнул в коляску.

— Поезжайте на старый вал, к часовне либертинцев. И как можно скорее!

До кладбища за чертой города они добрались уже в сумерках.

— Вы полагаете, госпожа баронесса здесь, у брата?.. — спросил кучер.

— Сейчас увидим.

Они свернули на дорожку, по которой когда-то несли гроб самоубийцы. И сразу же увидели вдалеке ее фигуру, распростертую на могильном холме...

Когда Фридрих подошел и позвал ее по имени, она подняла голову. Ее глаза, в которых не было слез, смотрели на него не узнавая. Казалось, она была не в состоянии что-либо понимать. Она безропотно дала увести себя с кладбища. Когда они подошли к коляске, к ней вернулось сознание.

— Нет, только не в город!

Она попыталась вырваться и убежать. Фридрих с трудом ее удержал.

— Мы не поедем в город, Юдифь. Мы отвезем вас в Грон, понимаете? Небольшое местечко, недалеко отсюда. У меня там друг, один старый школьный учитель...

Учитель Людерс и его жена без всяких расспросов приняли Юдифь и отнеслись к ней с сердечным сочувствием. В город вернулись уже поздно — городские ворота были уже заперты, и кучер вынужден был разбудить стражу. В новом здании банка еще всюду горели огни. Играла музыка, и в ночи далеко разносился смех.

Фридрих поднялся в праздничный зал. Свет многочисленных канделябров на мгновение ослепил его. Танцующие пары кружились, как призраки.

— А вот и ты наконец! — К нему подошли Шюнеман с Вилем. — Господи, ну где ты торчал?

Фридрих разглядывал зал.

— Где Гольдштейн? — спросил он.

Виль показал на невысокого человека с патриаршей бородой и блестящей орденской ленточкой. Рядом с ним Фридрих увидел и Котбека. Впервые он видел его не в военной форме. Шюнеман схватил Фридриха за руку.

— Мы извинились перед ним за тебя.

Фридрих не стал тратить времени на объяснения и прямо двинулся к бороде.

— Меня зовут Энгельс, — представился он.

Бородач быстро взглянул на него, сверкнув маленькими глазками.

— Вы поздно пожаловали, молодой человек. Даже слишком для человека, который собирается делать карьеру с помощью моих денег.

— Меня задержала ваша дочь, господин Гольдштейн.

— Девочка, господи, где она прячется?

К ним, прислушиваясь, подошел Котбек.

— Ей очень худо, — сказал Фридрих. — Она не хочет больше жить. — И, глядя на Котбека, он повысил голос так, чтобы его могли слышать многие. — Она узнала, что человек, которого она любила и которому слепо доверяла, выдал ее брата и обрек его на смерть.

Котбек подскочил к Фридриху и схватил его за лацкан.

— Вы что, пьяны? — прошипел он. — Опомнитесь!

Фридрих отбросил его руку и оттолкнул лейтенанта.

— Вы не смеете прикасаться ко мне, господин фон Котбек. Вам я этого не позволю.

Маленький бородач испуганно втиснулся между ними. Голос его дрожал, в нем появились умоляющие нотки:

— Милый господин Энгельс, пройдемте в кабинет, прошу вас, люди...

Однако люди уже заинтересовались происходящим. Образовался кружок любопытных.

— Зачем же в кабинет, господин Гольдштейн? — громко спросил Фридрих. — То, что я хочу сказать, могут слышать все. — И, указывая на Котбека, который с жалкой улыбкой искал сочувствия у окружающих, он громко выкрикнул: — Этот человек — низкий доносчик, грязный шпик, заслуживающий того, чтобы каждый порядочный человек плевал на него!

Оркестр прекратил играть. В зале воцарилась жуткая тишина. Фридрих в упор смотрел на Котбека, на лице которого застыла жалкая улыбка. Потом он повернулся и твердыми шагами прошел через зал к мраморной лестнице мимо в ужасе расступившихся перед ним людей.

— Мне доставит большое удовольствие продырявить вам грудь! — раздался у него над головой визгливый выкрик Котбека, который обрел наконец дар речи. Но Фридрих уже вышел на улицу, вдохнул свежий воздух и почувствовал себя снова легко.

На следующее утро в комнате его собрались пастор, сенатор, консул и Шюнеман. Все в один голос уверяли, что могли бы наилучшим образом уладить это дело, и уговаривали его найти самый разумный выход из создавшейся щекотливой ситуации. Барон готов отказаться от дуэли, он удовлетворится чисто формальным извинением, причем не публичным, в прессе, а в узком кругу специально приглашенных для этого свидетелей. Фридрих спокойно заявил, что это невозможно, изложив им суть дела. Миссия его доброжелателей кончилась, таким образом, безуспешно, и они ушли в подавленном настроении.

Спустя час в доме появились два офицера бременской армии. Они вручили Фридриху вызов своего товарища.

— Я сообщу ему мой ответ! — сказал Фридрих.

Господа офицеры поклонились и удалились размеренным шагом.

Женщины в доме стенали. Бабушка назвала его идиотом, если он не откажется от своей затеи. Фридрих сбежал из дома. Озабоченный состоянием молодой несчастной женщины, он нанял карету до Грона. Там никто не знал о том, что произошло, и Фридрих боялся проговориться.

Разумеется, я действовал неправильно, совершенно бессмысленно и абсолютно неразумно. Но разве я мог иначе?

Он нашел Юдифь в небольшой мансарде, где и он жил когда-то. Она сидела у окна, задумчиво глядя перед собой на прибрежные луга, скованные в декабре безжизненным панцирем, заброшенные и печальные.

— Для чего мне теперь жить? — вновь и вновь спрашивала она себя упавшим голосом. — Как жить в мире, в котором жадность к деньгам убивает в людях все человеческое? Где Иегова? Мы одиноки в этом мире. У нас нет надежды. Нам нет спасения от нашего отчаяния. О, Якоб, если б я еще могла надеяться, что душа твоя обретается подле бога! Но нет. Все это ложь. Вся наша жизнь — одна сплошная ложь, лицемерие, предательство. Мы все обречены. Как эта опавшая листва в лесу. — Она покачала головой. — Для чего еще жить?

Фридрих осторожно коснулся ее плеча.

— Нет, — сказал он, — несмотря на все несовершенство нашей жизни, есть высшая справедливость. Одни называют эту справедливость богом, другие — законом. Любое название — пустой звук и дым. Но искать надо не там, в заоблачной выси и не в молитве. Искать надо в нас самих! В нашей груди живет любовь к истине, чувство справедливости, стремление к познанию нового и совершенного и уверенность в том, что неисчислимые жертвы павших в борьбе за справедливость были не напрасны. И никто из тех, кто на протяжении веков жил по этим заветам своей души, не ушел бесследно, каждый из них жил не зря.

Юдифь молча слушала. А когда он кончил, взглянула на него, покачала головой, зарыдала.

Учитель несколько успокоил Фридриха относительно состояния его подопечной.

— Раз уж она заплакала и заговорила, значит, самое страшное уже позади.

На центральной рыночной площади Бремена Фридрих расплатился с извозчиком и отправился к своим друзьям в погребок при ратуше. Все ждали его с озабоченными лицами. Они привели с собой и Лютрека. Ситуацию давно уже обсудили со всех сторон.

— Ты не обязан считаться с его кодексом чести, — сказал юрист.

— Опасен он дьявольски. На его совести уже несколько человек, — причитал медик.

— Если ты наплюешь на него, на тебя никто не будет в

обиде, — сказал задумчиво Лютрек.

Фридрих встал, посмотрел на своих друзей, каждый из которых говорил не то, что думал. Он улыбнулся.

— Я наплюю на него! — Лица друзей вытянулись еще больше. Он ударил кулаком по столу. — Так наплюю, что он запомнит это на всю жизнь.

Все облегченно вздохнули, и Лютрек обнял его.

— Правильно. Выбери саблю потяжелее. Тяжелая сабля получается у тебя лучше всего.

Все три вечера до дуэли Фридрих упорно тренировался.

— Можешь спать спокойно, — заверил его Лютрек.

На лесной поляне держался утренний туман. Несколько экипажей сгрудились под высокими соснами. «Германцы», разумеется, были в полном составе. Однако перед лицом непосредственной опасности никакой уверенности в победе никто не выказывал. На противоположной стороне поляны собрались приятели барона. Офицеры и несколько денди. Все ждали, пока врач и его помощники приготовят свои инструменты. Лютрек в качестве секунданта Фридриха и один из офицеров проверили оружие. Пора было идти к размеченной площадке, где предстояло сражаться.

До сих пор Фридрих следил за приготовлениями совершенно безучастно и лишь чисто машинально исполнял все, что от него требовалось. С самого раннего утра, когда за ним заехали друзья, им овладело какое-то странное равнодушие, как будто дело шло не о его собственной жизни и смерти. Лишь когда был подан знак начинать и он взглянул на скривившееся в надменной ухмылке лицо своего противника, он очнулся...

Лютрек настойчиво советовал ему быть начеку особенно в начальной стадии боя, не рисковать, защищаться. Начальная фаза прошла как игра, сотни раз отрепетированная. Финт, атака противника, легко отбитая. Ухмылка постепенно сползла с лица Котбека, и уже ожесточенная ярость искажала его черты. А Фридрих радостно ощущал силу и гибкость своего молодого тела. Ему начинало доставлять удовольствие отражать ожесточенные наскоки. Уже раза три или четыре он мог бы контратаковать, но он воздерживался от этого, твердо следуя плану боя, начертанному Лютреком. Легкий подсек около самого уха противника, тоненькая царапина около горла, почти нечаянная, пардон. Фридрих улыбался. Ненависть к этому человеку испарилась. И это самый грозный дуэлянт в городе, мой бог, каковы же остальные! Но как раз в эту секунду противник начал

стремительную атаку. Фридрих уловил ее начало с опозданием на какую-то долю секунды. Однако тело реагировало подсознательно точно. Клинок со свистом рубанул воздух у самого плеча. За этим ударом последовала целая серия других ударов. Фридрих с трудом их отбивал.

— У, шакал! — яростно ощерясь, выдохнул противник.

Ненависть снова вернулась. Фридрих в диком порыве бросился на противника, тот ускользал. На лице его Фридрих видел капельки пота. Удары его становились слабее, их рисунок расплывчатее. Вперед, так держать! Один удар пришелся барону в плечо. Тот, пошатнувшись, упал. Прежде чем он успел подняться, Фридрих приставил клинок острием к его груди. В глазах противника мелькнул ужас смерти и рука бросила оружие в знак сдачи.

— Кончено! — выкрикнули секунданты.

«Германцы» ликовали. Фридрих отвернулся, бросил на траву клинок и перчатки. Беспредельное разочарование было написано на лицах приверженцев Котбека. Фридрих видел, как врач, осмотрев его плечо, подал им успокаивающий знак.

Фридриха окружили «Германцы». Ему протягивали бокал с вином.

— Пей, пей! Ты разделал его, как мальчика, этого великого дуэлянта. — Лица друзей Фридриха сияли. Все восстанавливали подробности боя. Компания Котбека спешно удалилась, осыпаемая вдогонку бранью. В воздухе захлопали пробки. Откуда-то появился черно-красно-золотой флаг, и над лесом понеслись удалые студенческие песни.

Фридрих стоял в толпе, беспомощно озираясь. Как человек, по ошибке попавший на сцену и не знавший, какую играть роль.

— Вот была потеха! — выкрикнул один юноша, швырнув в кусты пустую бутылку.

Фридриху стало не по себе.

— Оставьте меня, прошу вас!

Мимо экипажей он прошел в лес. Он шел и шел, пока голосов не стало слышно, пока его не приняло к себе безмолвное одиночество леса. Он упал на ковер из мха. Высоко над ним в сером небе смыкались верхушки сосен, а еще выше над ними кружил орел.

«Потеха, вам все потеха!» — с мрачным сарказмом подумал Фридрих. Стало быть, все забыли, зачем он вышел драться и для чего? Потеха! А если бы все кончилось иначе? Что бы со мной было? Куда меня занесло? Святые идеи о

предназначении человека. Бёрне, Гегель. Тянулся за великими. И вот...

Он лежал долго, пока не остыл, пока холодная сырость не начала заползать под рубашку. Тогда он поднялся и пошел вперед и шел до тех пор, пока лес не кончился. Перед ним была река, а вдали виднелись башни города. Назад?

Он с тоской вспомнил свое первое лето в Бремене, то счастливое чувство освобождения, которое он испытал здесь после Бармена. Человек среди людей, равный среди равных. А теперь? Тут он вспомнил о Кузнеце. Ну вот хоть один родной человек. А ведь я не был у него целую неделю.

Вся компания была уже в городе и шумно заседала в «Розе». Ему удалось проскользнуть во двор незамеченным.

Кузнец поменял свое пристанище. Девушка проводила Фридриха к реке. Там на конюшне Кузнец ремонтировал старую карету. Он обрадовался, увидев Фридриха, но потом пожурил:

— Тягаться в чести с аристократом! Неужели нет забот поважнее?

Фридрих не стал оправдываться. Кузнец чувствовал себя снова здоровым и собирался как можно скорее перебраться во Францию, где его ждали друзья. Пора было подумать о том, как его туда переправить. Его все еще искали, тщательно проверяя все отходящие из города суда. Оставался только путь по суше в ольденбургский порт Браке. Фридрих обещал организовать эту операцию на рождественской неделе.

Тревиранус, старик Лёйпольд и другие друзья помогли. В экипаже консула саксонского королевства хорошо одетый, с почти безупречно подделанным английским паспортом, Кузнец в сопровождении Фридриха благополучно пересек границу и сел на французское грузовое судно, капитан которого имел дела с фирмой Лёйпольда. Фридрих поднялся вместе с ним на корабль, над мачтой которого на холодном декабрьском ветру развевался трехцветный флаг. Франция, Ноан... Еще два месяца назад он с радостью бы уехал вместе с другом...

— Спасибо тебе за все, Фридрих!

— Это я должен тебя поблагодарить, Кузнец. Поблагодарить небо за нашу встречу. Всего, всего тебе доброго на чужбине.

Кузнец окинул ироническим взглядом свою одежду.

— Я не в первый раз бегу из Германии. Но еще ни разу не делал этого под видом английского лорда.

Пора было прощаться. Кузнец обнял его.

— Прощай, брат! Никогда тебя не забуду! Куда бы ни занесла меня судьба, всегда буду помнить твое имя. Я еще вернусь. И в тот день, когда в Германии ударит набат революции, мы с тобой еще увидимся.

— Когда же это будет, Кузнец, когда?

— Хочешь знать правду? — Лицо беглеца омрачилось. — В настоящее время в нашем народе нет воли к политическому свершению. Если ты хоть немного повидал мир, то и сам знаешь, в какой глубокой отсталости пребывает наше отечество. Не горстка князей, а проклятая преданность им и забитость простого народа создает в нашей стране тиранию.

— И что же нам делать?

— Набраться терпения и ждать, пока время созреет. Беречь огонь!

— Опять терпение!

Снова ударил корабельный колокол, и Фридриху предложили покинуть судно.

— До свидания, Фридрих!

— Прощай, Иоганнес!

Когда Фридрих возвращался, шел снег и звонили рождественские колокола. Он рассказал доброму Лёйпольду о благополучном отплытии демократа. В толпе людей, спешивших в церковь, ему встретился почтальон.

— Я оставил вам письмо из Швейцарии! — сказал он, просияв.

Магдалена, наконец-то! Сердце его радостно забилось, он пустился бежать по улице.

В прихожей никого не было. Письмо лежало на столе. Всего только новогоднее поздравление и еще несколько строк. «Я получила твое письмо. Ах, я не хотела причинять тебе страдания! Неужели ты так неверно меня понял? Мое сердце принадлежит только тебе, тебе и никому другому! Всего, всего тебе доброго, будь счастлив...»

Открыв дверь в свою комнату, он испугался — перед ним сидел Шюнеман. Он был бледен как полотно. В руке у него была телеграмма. Фридрих, ничего не понимая, взглянул на эту бумажку. Потом он стал догадываться о самом ужасном...

— Она... — пробормотал он.

Шюнеман глухим голосом продолжил:

— Умерла. Сегодня похороны. На горном кладбище в Давосе. Согласно ее последней воле.

Как часто природа смиряет гордыню духа человеческого. Но, не ропща на судьбу, вынести раннюю смерть в расцвете сил и таланта... Нет, никогда!

Люди приходят и уходят. С первым ударом сердца начинается отсчет их временного пребывания на этой земле. Горе тому, для кого время течет бессмысленно и он не понимает зачем. Ночи напролет Фридрих смотрел на звезды, и казалось, что оттуда смотрят на него ее глаза, как в их первые летние ночи любви. Ничего, кроме памяти о Магдалене, не связывало его больше с этим городом. От его серости он страдал теперь, как никогда прежде.

Проект бременского журнала был окончательно похоронен. Зато кое-кто в Пруссии воспользовался благоприятным моментом, чтобы дать волю накопившейся критике прогнившего режима. В кёнигсбергской газете стали появляться статьи, в которых ясно и недвусмысленно указывалось на права народа. Имя их автора Иоганна Якоби стало символом сопротивления деспотии. В самом Берлине на основе студенческих выступлений в защиту гегелевского духа в университете возник клуб вокруг журнала «Атенеум», и в этом клубе все чаще стали раздаваться требования революционных преобразований. С родины Гегеля и Гельдерлина Фридрих получил томик стихотворений молодого вюртембергского поэта Георга Гервега. В них он нашел мощное поэтическое выражение всего того, что воспламеняло и его душу.

Над могилой крест стоящий
Перекуйте в меч разящий!

Фридрих с головой ушел в работу, он писал, читал и снова писал. Старая, почти абстракцией ставшая любовь к человечеству с новой силой вспыхнула в нем, а святая ненависть к притеснителям побуждала его к лихорадочной деятельности. Он все еще сидел в доме пастора церкви святого Мартина, глядел в окошко на Везер, но мысли его были уже далеко, далеко, на зеленых берегах Шпрее, там, где велись великие битвы за освобождение человеческого духа.

Ждать?

Нет, Кузнец, ждать я не могу. Не от мудрости зрелого озраста, не от осторожности, которой научил вас опыт, зависят народные судьбы, а от молодого, яростного напора, от пламени возмущения, который горит в молодых сердцах.

Я ищу огонь, Кузнец, огонь!

КНИГА ТРЕТЬЯ

Долгий путь познания



Глава первая

СВОБОДНЫЙ СРЕДИ СВОБОДНЫХ

В последнюю субботу января 1841 года двое мужчин средних лет въезжали в Берлин через южные Галлеские ворота. Они кутались в теплые меховые плащи и явно были погружены в свои мысли. Одному из них было около 40 лет. Он был высокого роста и крупного телосложения. Другой путешественник был мал ростом, худощав и на вид старше своего спутника. Это были доктор Арнольд Руге из Галле и Отто Виганд, книгоиздатель из Лейпцига, — так значилось в их документах.

Багажа у них было немного: только самое необходимое на несколько дней пребывания в Берлине. Их пропустили через заставу, не спросив даже о цели путешествия. Да и кто отправится в путь по такой погоде — под снегопадом и ледяным ветром, — не будь в том крайней необходимости?

Примерно в семь утра на северо-восточную заставу у Королевских ворот прибыла почтовая карета из далекого Кёнигсберга. Среди пассажиров находился доктор медицины Иоганн Якоби. Дежурный капрал вежливо, но дотошно проверил его багаж. Не обнаружив никакой контрабанды, он пропустил приезжего в город.

Ни капрал, ни попутчики приезжего не догадывались, что этот с виду вполне безобидный человек с докторским саквояжем провез через заставу нечто такое, что для государственного строя Пруссии было опаснее динамита.

Он провез свое собственное сочинение, продиктованное горячим сердцем и неподкупной гражданской совестью. Ничего особенного. Всего лишь четыре вопроса. Четыре вопроса простого гражданина Кёнигсберга с ответами на них, адресованные новому королю Пруссии.

О чем просили Его величество сословия на заседании ландтага по случаю коронации?

Что побудило их обратиться с петицией к Его величеству?

Какой ответ услышали они из монарших уст?

Что им остается делать?

Он только записал то, о чем думали его друзья в Кёнигсберге, что обсуждали они между собой в страстных спорах. «Чем же вызван такой повышенный интерес к моим скромным запискам? — спрашивал он себя. — Почему меня пригласили на эту встречу в Берлин?»

Обе кареты почти одновременно остановились на Линиенштрассе перед домом № 165. Здесь помещалась квартира и врачебный кабинет доктора Георга И. Вальдека, друга и родственника Якоби, практиковавшего в бедных кварталах Берлина. Он поддерживал связи с кружком младогегельянцев и взялся передать копию рукописи издателю «Галлеского ежегодника», достойному всяческого уважения демократу Арнольду Руге, заплатившему многими годами тюрьмы за свои политические убеждения.

Вальдек представил своего племянника уже находившимся у него Руге и Виганду.

— Вы хотите опубликовать мою рукопись? — с интересом спросил Якоби.

Руге пристально взглянул на человека, памфлет которого обещал ему и Виганду много бессонных ночей. Этот доктор выглядел именно таким, каким он и представлял его себе, — честным и прямодушным. Но в его голосе, в его спокойных глазах отражалось нечто возвышавшее его над заурядным добропорядочным обывателем: несгибаемая воля. Руге покачал головой:

— Если я напечатаю его в «Ежегоднике», номер с вашим памфлетом будет последним.

— У нас есть другая мысль, — вступил в беседу издатель Виганд. — Мы напечатаем его отдельным выпуском.

— Но ведь его никогда не пропустит цензура.

Виганд подтвердил:

— Даже если мы его обкорнаем.

— Тогда я не понимаю, зачем мы здесь собрались?

— Есть лишь один способ — печатать в обход цензуры.

— В виде нелегальной брошюры? Но попадет ли она к тем, кому предназначается?

— Честным гражданам Пруссии? — Руге покачал головой. — Вряд ли. Даже при самых благоприятных условиях нелегальные материалы распространяются в очень узком кругу. Потребуется слишком много времени, чтобы ваше сочинение оказало свое воздействие. Его нужно распространить мгновенно и как можно шире.

Прежде чем Якоби успел выказать разочарование, в беседу снова вмешался издатель:

— Мы предлагаем другой выход: издание — нелегальное, разумеется, анонимное, а распространение — официальное, через книжные лавки моего издательства.

Якоби испытующе посмотрел на Виганда:

— И вы пошли бы на такой риск?

— Вы рискуете больше. Я не являюсь прусским подданным и всегда могу сослаться на автора.

— Не называя его имени?

Виганд и Руге обменялись взглядами. Они понимали: наступил решающий момент объяснения. Собственно, ради него они и устроили эту встречу.

— Мы полагаем, господин доктор, — начал Виганд, — что большая часть тиража будет раскуплена, прежде чем полиция примет свои меры. Мы верим, Якоби, что ваше сочинение произведет сильное впечатление на публику. За несколько недель образуется довольно широкий фронт ваших сторонников. При поддержке общественного мнения вы сможете открыть свое авторство.

Он закурил сигару, собираясь продолжить изложение своего плана. Якоби перебил его:

— Благодарю вас. Я понял и принимаю ваше предложение.

— Нет, — с жаром возразил Руге. — Вы ничего не поняли. Вас обвинят в оскорблении королевской особы, в нарушении общественного порядка, может быть, даже в государственной измене. Каждый, кто имеет хотя бы самые слабые познания в истории, сможет провести параллель между вашими «Четырьмя вопросами и ответами на них жителя Восточной Пруссии» и «Тремя вопросами» аббата Сиейеса, которые в свое время положили начало великой революции французов. Вас вызовут в Королевскую судебную палату, бросят в тюрьму. Реакционная пресса выльет на вас потоки клеветы и ненависти. Вся государственная машина обрушится на вас.

— Еще не поздно, — сказал Виганд. — Вы еще можете отступить.

— И вести тихую жизнь верноподданного, в то время как отечество испускает дух в предсмертной агонии? — Якоби спокойно выдержал вопросительные взгляды своих собеседников. — Нет, господа, — сказал он тихо, — будь что будет, пусть самое худшее. — Он встал, прошелся по комнате. Внезапно в нем произошла какая-то перемена, глаза задорно сверкнули: — Но того, кто дерзает утверждать, что царствует именем божьим, кто обнадежил народ обещаниями реформ, а потом низко его обманул, я заставлю лично выступить против меня. Первый же печатный экземпляр моего сочинения я пошлю королю Пруссии. Я поставлю свое полное имя и укажу адрес.

Вальдек обнял племянника.

— Я знал, что ты решишься.

Руге и Виганд, скрепляя договор, крепко пожали руку Якоби.

Через месяц памфлет разошелся по всей Пруссии, по всем немецким землям. Благодаря великолепной организации дела 20 февраля эта небольшая книжечка появилась в витринах всех книжных лавок Германии. В Берлине же ее умышленно начали продавать двумя днями позже, чтобы помешать преждевременной конфискации тиража. 24 февраля прусское правительство запретило это сочинение. Через несколько дней последовал запрет и Союзного сейма. Сочинение Якоби подлежало изъятию во всех немецких землях. Но время было упущено. Из трех тысяч экземпляров полиции удалось конфисковать не более десятка, из трехсот берлинских — всего семь. По приказу короля 2 марта было начато судебное следствие по делу Якоби. Все произошло так, как предсказывал Руге. Якоби было предъявлено обвинение в государственной измене и оскорблении особы Его величества. Автору «Четырех вопросов» грозило многолетнее заключение или смертная казнь. Но общественное мнение набирало силу. Тысячи простых людей приняли участие в собраниях, на которых Якоби чествовали символическим венком гражданина. Несмотря на запрет, памфлет продолжали распространять. Печатались новые тиражи. За границей выходили переводы. Травля, затеянная реакцией против смелого демократа, не достигла цели. Вплоть до лета 1841 года его портрет украшал витрины многих книжных лавок Германии.

Под влиянием общественного мнения судебное разбира-

тельство затягивалось. Делом Якоби занимались два суда: Королевская судебная палата в Берлине и Верховный земельный суд в Кёнигсберге. Обвиняемый оказался серьезным противником. Он выдерживал многочасовые допросы, не запутываясь в ловушках, расставляемых чиновниками юстиции. Его стойкость служила вдохновляющим примером: оппозиционно настроенные умы, следуя его примеру, раскрывали свои псевдонимы и публично заявляли о своих политических убеждениях.

Так складывалась ситуация в стране в конце августа 1841 года, когда молодой человек по имени Фридрих Энгельс, он же Освальд, садился в почтовую карету, направлявшуюся из Бармена в Берлин.

Еще не забыто утомительное летнее путешествие на юг: Швейцария, перевал Сен-Готард, Северная Италия. Но вот Фридрих снова в пути. На этот раз на восток, в исконные прусские земли, в самое сердце солдафонского деспотизма и философского мирового духа, в город Гогенцоллернов и Гегеля. В Берлин. Что-то ждет его там?

Фридрих возлагал большие надежды на этот город. С самой весны, когда отец вызвал его из Бремена, чтобы ввести как младшего партнера в дела фирмы, он рвался в Берлин, который стал ареной идейных столкновений между силами прогресса и реакции. Судя по многочисленным статьям и листовкам, по письмам и рассказам очевидцев, главным же образом по бешеным нападкам газеты Хенгстенберга и правительственной печати на крамольный дух гегельянства, царящий в университете, в этом городе можно было найти людей, близких ему по духу.

Пока вуппертальские рутинеры поднимали мышиную возню вокруг пиетизма, молодые сторонники Гегеля в Берлине дали сигнал к атаке на идейные бастионы деспотии. Но удивительные события происходили не только в университете. Мысли Фридриха занимало имя Иоганна Якоби, сочинение которого попало ему в руки еще в Бремене. Однако политическое значение этого памфлета стало понятно ему лишь тогда, когда автор «Четырех вопросов» по высочайшему указу был обвинен в государственной измене и над ним нависла угроза смертной казни. Фридрих испытывал чувство глубокой духовной близости к человеку, который стойко и бесстрашно боролся за народные права — один против всей Королевской судебной палаты. Возвратившись из Италии в Вупперталь, Фридрих узнал о выходе в свет маленького томика стихов, сразу же завоевавших сердца

молодежи. Это были «Стихи живого человека», принадлежавшие перу Георга Гервега, того самого, который одновременно с неким Освальдом опубликовал в «Телеграфе» свои первые поэтические опыты. Пребывание в Бармене, работа в конторе, родительский дом, где совершенно никого не интересовали события в стране, — все это стало почти невыносимым. Чтобы не нарушать семейного покоя, Фридрих был вынужден заниматься публицистической работой втайне от родных, а свою обширную корреспонденцию получать по чужому адресу.

Когда из редакции берлинского младогегельянского журнала «Атенеум» ему сообщили, что хотят взять известного публициста Фридриха Освальда в постоянный штат своих сотрудников, он был готов пойти на разрыв с семьей и переселиться в Берлин против воли домашних. Но тут подвернулась возможность отправиться в прусскую столицу на законном основании.

Фридрих усмехнулся при воспоминании о том, как он добился согласия отца, получив к тому же достаточно денег на дорогу и родительское благословение. Теперь он может целый год жить в Берлине. Конечно, ему придется ради этого чем-то и пожертвовать. Может быть, жертва окажется слишком большой? Он покачал головой. Нет и нет. Чтобы удрать из конторы, чтобы расстаться с захолустным Мукерталем и попасть туда, где разыгрывались великие битвы современности, не страшна никакая жертва!

— Вы, кажется, впервые путешествуете один, молодой человек? — вывел его из задумчивости голос попутчицы.

Это была толстая матрона, которая села в Магдебурге. Она беспрерывно что-то жевала, извлекая из внушительной корзины всевозможную еду. Фридрих коротко кивнул, чтобы уклониться от разговора. Женщина протянула ему открытую коробку с кексом. Фридрих молча покачал головой. Дама обиженно забрала коробку и предложила угощение пассажиру, сидевшему напротив. Фридрих отвернулся к окну, чтобы ему больше не мешали.

За окном проплывали узкие полосы полей. Картофель и свекла еще зеленели буйной ботвой, но пшеница была уже убрана. Лето медленно шло на убыль. За Магдебургской грядой ландшафт изменился. Поля стали просторнее, деревни реже, на горизонте темнела зелень сосновых лесов, под лучами послеполуденного солнца блестели блюдца озер, окруженные светло-желтыми отмелями, мелькали белые пятна песчаников.

Пассажиры примолкли, начали позевывать и посапывать. Фридрих тоже устал от однообразной скудости пейзажа. Устроившись поудобней, он скоро заснул глубоким сном без сновидений.

Когда он проснулся, карета ехала по широкой улице мимо вытянутых в длину зданий, напоминающих казармы. Фридрих поднял окно. Улица была абсолютно прямой, словно прочерчена по линейке. Все строения походили друг на друга, и только по прохожим можно было догадаться, что кругом стояли доходные дома, а не казармы. Карета ехала и ехала. Вид улицы не менялся. Неужели это Берлин?

— Шарлоттенбург, молодой человек, — сказал его визави на берлинском диалекте, словно угадав его мысли. — Совсем новенький, словно из яйца вылупился. Впечатляет, а?

Фридрих мрачно кивнул. Его отталкивало это однообразие. У Потсдамских ворот карета остановилась: конечная станция. Начал накрапывать дождь. Фридрих взял извозчика и назвал адрес Фельдмана — старого школьного товарища по Эльберфельду, который вот уже седьмой семестр изучал здесь юриспруденцию. Он жил на квартире у дяди — чиновника королевского прусского ведомства морской торговли. Ехать пришлось недалеко. Дверь открыла полноватая светловолосая женщина. Его уже ждали. В «салоне», маленькой комнате, тесно заставленной безвкусной мебелью, был накрыт кофейный стол. Король Пруссии не слишком щедро оплачивал своих чиновников!

— Густав, — позвала блондинка. — Приехал господин Энгель.

— Энгельс, тетушка. — Это «с» было подчеркнуто с излишним педантизмом. В комнату вошел полный мужчина в темном фраке, в пенсне. Остановившись в дверях, он довольно снисходительно взглянул на гостя.

— Ну-с, друг мой, добро пожаловать в Берлин. Надеюсь, вы хорошо доехали?

Неужели это нелепое обезьяноподобное существо в самом деле Фельдман — «печная труба», его добрый старый приятель, с которым когда-то можно было шутить и говорить по душам? Вскоре появился второй знакомый Фридриха по Эльберфельду, тоже учившийся в Берлине, — теолог Плюмахер, такой же чужой, как и будущий асессор юстиции. Плюмахеру уже было приготовлено место викария в Остерате, поэтому он заранее напускал на себя вид великодушной сдержанности, достойной пастора.

Фридрих ничем не обнаружил своего разочарования. Он увлеченно рассказывал им о том, как воспользовался единственной возможностью попасть в Берлин.

— Как-то в июльский день, такой скучный и тоскливый, что вы себе и представить не можете, к нам в дом заявились вербовщики.

— Значит, ты будешь служить?

— Во Второй гвардейской артиллерийской бригаде, на Купферграбен, очень близко от университета. И черт меня побери, если я не найду туда дороги!

— Ты все еще мечтаешь о науке? — Плюмахер осторожно улыбнулся.

Фельдман удивленно спросил:

— Неужто твой старик не смог откупиться?

— Он-то мог. Но я не захотел.

— Ты не захотел?

— Да! И в конце концов убедил его, что если младший компаньон выполнит свой долг перед королем и отечеством, это только пойдет на пользу репутации фирмы.

— Ну ты непроходимый дурень! — рассердился Фельдман. — Ты не знаешь, что тебя ждет. Да еще выбрать для прохождения службы Берлин, где практикуется такая жестокая муштра.

— Я поставил Берлин непременным условием. Причем единственным.

— Да, ты всегда был... — начал Плюмахер с мягким укором в голосе.

Фридрих саркастически заключил:

— ...сумасшедшим. Но я рад, что по крайней мере вы избрали верный путь к достижению благополучия.

Тетушка Фельдмана не заметила иронии в его словах. Она с жаром поддержала гостя.

— Да, господин Энгель, они позаботились о своем будущем.

Фридрих перевел разговор на положение в университете. Его интересовали идейные расхождения младогегельянцев с защитниками реставрации, студенческие протесты против Шталя и Савиньи и, наконец, мужественная борьба честного кёнигсбергца врача Иоганна Якоби с судебной палатой.

Оба студента смотрели на него с жалостью.

— Какой толк заниматься такими вещами? Политика, философия. Да разве этим будешь сыт? Якоби — фантазер, лишенный чувства реальности. Младогегельянцы? Горстка спятивших публицистов и литераторов, явных атеистов,

которых никто не принимает всерьез, хотя бы потому, что их никто не понимает.

— Рассказывают, что недавно при дворе произошла замечательная история. Его величество спрашивает у министра по делам культа: «Как, по-вашему, почему Гегель стал такой знаменитостью?» Эйххорн не знает, что на это сказать. Тогда Его величество отвечает сам: «Потому что он умеет говорить так, что никто его не понимает». — И оба студента разразились хохотом.

Беседа продолжалась в том же пошлом духе, пока Фридрих не решил, что с него довольно.

— Шесть семестров теологии и семь семестров юриспруденции. Неужели у вас не найдется более свежих анекдотов?

— Чтобы продавать свежий товар, нужно, вероятно, учиться на коммерсанта, — кисло съязвил Фельдман.

Хозяйка дома не дала Фридриху отпарировать.

— Нехорошо с вашей стороны показывать свое превосходство над господином Энгелем, — пожурила она студентов. А потом с видом крайнего смущения извинилась за тесноту квартиры. — Можно, правда, поместить гостя в подвале. Но там не особо комфортабельно, господин Энгель.

Фридрих поблагодарил и отказался. Он солгал, что у него есть, где остановиться, и ретировался со своим чемоданом.

На дворе стемнело. Все еще шел дождь, и редкие прохожие торопливо проходили мимо, втянув головы в плечи. Он нашел маленький отель. Окно узкой комнаты выходило на тесный двор. Человеческие голоса и звуки деловой суеты, доносившиеся из квадратного колодца двора, смешиваясь в какой-то неопределенный гул, действовали угнетающе.

В раздражении он сорвал с себя пропыленную дорожную одежду и бросился к умывальнику. Переодевшись, сбежал с четвертого этажа вниз, на улицу.

— К университету! — приказал он извозчику таким решительным тоном, что тот пустил лошадей рысью.

Лошади остановились у ярко освещенного парадного подъезда. Дверь была широко открыта. Сторож отдал честь и без всяких возражений пропустил его внутрь. В вестибюле не было ни души, но из аудиторий доносились приглушенные голоса. Его взгляд упал на доску объявлений: «Мархейнеке. Значение философии Гегеля для христианской теологии. Публичный вечерний семинар. Аудитория 13,

с 6 до 8 часов». «Сейчас, это сейчас!» — Фридрих взбежал по лестнице, но дверь тринадцатой аудитории охранялась. Грозный усатый сторож загородил ему дорогу.

— Вы записаны в семинар?

— Конечно. А иначе зачем бы я пришел?

— Но я вас совсем не знаю.

Фридрих сунул талер в руку цербера.

— С сегодняшнего дня вы меня знаете, не так ли?

Сторож щелкнул каблуками:

— Так точно, господин доктор! — И доверительно шепнул: — Подождите до перемены. Если ему помешать, могут быть большие неприятности.

Фридрих приложил ухо к двери. Он услышал сильный голос.

— Ни пиетисты, ни ортодоксы не имеют никакой возможности вернуть себе утраченные позиции. Мистицизм первых лишен фантазии так же, как догматизм вторых лишен духа. Мы никогда не позволим снова заслонить от нашего взгляда широкие, свободные горизонты, которые открыл перед нами Гегель во всех областях мышления!

Фридрих улыбнулся.

Вдруг в аудитории поднялся шум. Кто-то вопил:

— Богохульникам не место на теологическом факультете!

Фридрих рывком распахнул дверь. На задних рядах неистовствовала группа слушателей.

С передних скамей их старались остановить:

— Тихо!

— Долой скандалистов!

Фридрих пробрался вперед и разыскал свободное место.

Профессор невозмутимо ждал, пока шум несколько утихнет.

— Господа буяны из епископальной ординатуры или откуда вас там подослали. — Его голос перекрыли крики и свист. — Вы находитесь в стенах университета. И потому вам придется примириться с тем, что все вопросы, в том числе и религиозные, решаются здесь с научной точки зрения.

Снова наступила тишина, так что Мархейнеке смог продолжить лекцию.

— Мы говорим здесь о Гегеле, который обосновал притязания самосознания на постижение первопричин всего происходящего. Не гегельянцы, не так называемые левые и даже не явные атеисты среди них, нет, не они, а религиозные

догматики, стремящиеся ограничить бесконечное стремление человеческого духа к истине и определенности, — вот кто настоящие безбожники и враги всякого религиозного умонастроения. Ибо они низводят бога на уровень тиранического пугала, которое должно трепетать перед разоблачением со стороны свободной мысли.

Словно по команде опять разразился шум. Буяны на задних скамьях уже не ограничивались кошачьим концертом. Они пробились вперед, грозя Мархейнеке кулаками и осыпая его оскорблениями.

— Антихрист!

— Шарлатан!

— Чертовщина!

— Долой Гегеля!

— Якобинец!

— Это не студенты, Эдгар, — произнес долговязый парень, сидевший рядом с Фридрихом. Эдгар, красивый темноволосый юноша с глубокими, карими, сверкающими азартом глазами, закричал:

— Платные провокаторы, полицейские ищейки, трехгрошовые сопляки!

Длинный схватил одного из них за лацкан сюртука.

— Убирайся вон, — крикнул он и толкнул парня к двери, где его подхватили и выпроводили из аудитории другие студенты.

Через пять минут порядок был восстановлен, и Мархейнеке смог спокойно продолжать семинар.

Фридрих почувствовал направленный на него взгляд темноволосого соседа, которого назвали Эдгаром. Он ответил ему доброжелательным взглядом.

— Позвольте представиться, — сказал юноша после окончания лекции. — Эдгар Бауэр.

— Я знаю одного Бауэра по его публикациям, его зовут Бруно.

— Бруно Бауэр мой брат.

Тем временем вокруг них собрались друзья Бауэра. Он представил их:

— Доктор Карл Науверк, Людвиг Буль, Карл-Фридрих Кёппен, Рутенберг, доктор Эдуард Мейен.

Почти все были известны Фридриху по статьям в «Галлеском ежегоднике», по брошюрам и по журналу «Атенеум», где Мейен редактировал раздел политики и философии.

— Вам известен наш журнал?

— Я сам иногда писал для вас, доктор Мейен. Мое имя...

Худощавый редактор перебил его.

— Минуточку, значит, вы... да нет, неужели? Фридрих Освальд?

— Это мой псевдоним.

Мейен воскликнул, обращаясь к собравшимся:

— Друзья, приехал Освальд. Вот вам еще один повод отпраздновать нашу победу. Все — к Штехели!

Они пересекли Унтер-ден-Линден и направились к Жандарменмаркт. Дождь прекратился. Газовые фонари бросали мягкий свет на бульвары. Из «Колизея» доносились звуки оркестра. На улицах царило оживление праздничного вечера.

Свободные манеры и модные туалеты прохожих ничем не напоминали атмосферы захолустного Бремена, которая придавала налет чопорности любому, пусть даже самому смелому приключению.

В кондитерской Штехели было полно народу. Но молодые гегельянцы пользовались здесь явным предпочтением. Им был предоставлен салон, отделанный красным плюшем и шелком.

Эдгар Бауэр и Эдуард Мейен сидели рядом с Фридрихом. Мейен настойчиво предлагал ему написать новые статьи для «Атенеума». Бауэр рассказывал о положении, сложившемся в университете с того момента, когда новый велеречивый король и ненавистный министр Эйххорн начали кампанию против Гегеля.

— Никогда еще гегельянцы всех оттенков не были так единодушны. За нами не только студенческое большинство. На кафедрах дух гегельянства силен, как никогда прежде.

Фридрих узнал и о Докторском клубе, в который после скоропостижной смерти Гегеля вступили ученики философа, чтобы продолжить его дело.

— Мой брат Бруно входил в этот клуб. Он сейчас преподает в Боннском университете. Мы скоро возьмем с боем и эту твердыню теологического обскурантизма!

На столе появилось вино. Раздались тосты в честь приезда смелого единомышленника Освальда и за победу над ставленниками партии Эйххорна. Потом заспорили о политическом преобразовании Германии. Фридриха поразило то, с какой откровенностью здесь судили о священных устоях монархии. Устремления этих людей были направлены ни больше ни меньше как на преодоление религиозной веры и на подрыв устоев феодального государства посредством философской критики. Беззаветная вера Гегеля в историче-

скую миссию благих идей, в то, что критически опровергнутая система неспособна устоять против законов разума, окрыляла умы и души, сплачивала собравшихся в единое целое.

Некоторое время Фридрих молча следил за течением диспута. Но когда речь зашла о том, кому должны быть адресованы публикации, он с горячностью вступил в спор, требуя общедоступности, непосредственного обращения к народу, с тем чтобы пробудить большинство от политической летаргии. Он напомнил о беспримерной эффективности памфлета Якоби. Хотя почти все собравшиеся возлагали свои революционные надежды на образованные слои нации, ему никто не возразил. Они слишком высоко ценили и уважали человека, которого Фридрих назвал в качестве главного свидетеля в пользу своего мнения.

Мейен поднял бокал.

— Выпьем за здоровье Иоганна Якоби! За мужественного человека, который в нужный момент выстрелил из легкой мортиры по вражескому бастиону. Наши выстрелы будут не столь громкими, но они попадут глубже, в самое сердце врага!

Сравнение всем понравилось, в нем звучала уверенность в победе, и Фридриха захватило общее возбуждение.

Кафе закрылось, но расходиться никому не хотелось. Было решено продолжить пирушку на квартире Бауэра. Здесь все успокоились, больше говорили о личном, и Фридрих получил возможность узнать некоторых поближе.

Эти люди были совсем не такие, как развязные тупицы из бременского кружка «Германцев». Все они работали над научными публикациями, выдвигали новые идеи и остро спорили об основных, краеугольных проблемах настоящего и будущего.

Рядом с Бауэром и Мейеном, чьи взгляды уже давно были известны Фридриху по их трактатам о философии Гегеля, сидел Карл Науверк, высокий, худой человек с печальными глазами. Он был одним из самых любимых студентами доцентов на философском факультете. Но его имя уже попало в черный список, так как своими историко-философскими статьями в «Галлеском ежегоднике» он навлек на себя гнев Его величества. Напротив него примостился маленький, страшно начитанный Людвиг Буль, издатель журнала «Патриот», в котором он ловко протаскивал политическую контрабанду. Рядом с ним известный публицист Адольф Рутенберг рассказывал о своем труде, посвя-

щенном Французской революции.

— А каковы твои планы в Берлине, Освальд? Какие курсы собираешься слушать в университете? Что писать?

Этот вопрос задал Карл-Фридрих Кёппен. Внимание всех было теперь приковано к Фридриху. Вместо ответа он извлек из бумажника удостоверение. В нем значилось, что он зачислен в прусскую королевскую армию сроком на один год для прохождения внештатной добровольной службы. Подпись его отца свидетельствовала, что семья берет на себя расходы на экипировку и жилье. Пока документ переходил из рук в руки, Фридрих пояснял:

— Да, друзья, сегодня я еще свободный среди свободных, а завтра уже — ландскнехт на службе деспотии.

Кёппен повертел документ в руке.

— Вторая гвардейская артиллерийская бригада? Генерал-лейтенант фон Мёллер! — Он кивнул и сказал спокойным тоном: — Ты прекрасно устроишься. Предоставь это мне.

Фридриху объяснили, что Кёппен, между прочим, был еще и доцентом военной истории в военной академии, имел офицерский чин и располагал кучей возможностей облегчить жизнь рекрута.

Расстались под утро. Буль и Мейен проводили Фридриха до его гостиницы. Он улегся спать, вполне довольный своим первым днем и первой ночью в Берлине. Он нашел людей, которых так долго искал, единомышленников, соратников в битве за правду.

Посредничество Кёппена было успешным. Фридриха радушно приняли в казарме на Вейдендамм, в трех шагах от университета. Капитан фон Ведель, командир его роты, принял к сведению указание Его превосходительства, чтобы добровольцу Энгельсу в рамках служебных предписаний была предоставлена возможность продолжать занятия в Университете Фридриха-Вильгельма и жить на частной квартире.

— Вам пришло письмо, Энгельс, — сообщил Ведель. — С курьерской королевской почтой. — И протянул запечатанный конверт.

«Карл-Вильгельм Мориц Снетлаге», — прочел Фридрих.

— Родственник? — спросил ротный.

— Дядя.

— Позавчера Его величество назначил вашего дядю главным придворным капелланом, мой милый! Если вам

понадобится засвидетельствовать ему свое почтение, я не буду иметь ничего против. Думаю, мы с вами поймем друг друга.

Энгельс уже прослужил несколько недель и дважды получал увольнение «с целью нанесения визита духовной особе». Но использовал он эти увольнения для более важных целей. Дальше откладывать визит было невозможно.

Добрый дядя Мориц! Новое величество божьей милостью не забывало его, и образцовый пастырь христианских душ сменил униатскую общину в Бармене на великолепие берлинского собора.

Дверь открыла молодая дама. Секунду она недоуменно разглядывала молодцеватого посетителя в мундире гвардейского артиллериста. Потом узнала своего кузена.

— Фриц! — Она бросилась ему на шею и закричала на весь дом: — Фриц приехал!

— Маленькая Ада! — изумился Фридрих. — Да тебя узнать нельзя! — Вошла тетя Луиза. Фридрих с преувеличенным рвением отдал честь: — Рекрут Энгельс, волонтер Второй гвардейской артиллерийской бригады явился по вашему приказанию.

— Что же, давно пора, господин племянник, — раздался голос дяди, и в гостиную вступил новоиспеченный главный придворный капеллан. — Мы уже собирались ходатайствовать перед господином фон Веделем, чтобы он отпустил тебя к нам.

— Дядя Мориц, позвольте вас поздравить с высоким назначением!

Снетлаге сделал протестующий жест.

— Как твои дела, мой мальчик?

— Если не считать слишком близкого знакомства со знаменитым здешним песком и не обращать внимания на изумительные голосовые данные нашего капрала, которые подчас бывают несколько утомительны, то очень хорошо.

Тетя Луиза с упреком покачала головой.

— Твой отец так хотел освободить тебя от военной повинности, а ты пожелал служить.

Фридрих усмехнулся.

— Не из-за песка же, тетя.

— А из-за университета, — вздохнула хозяйка дома. — Мы прекрасно знаем, что ты все еще не расстался со своей старой мечтой.

«И не расстанусь», — подумал он про себя. Но перед семейством Снетлаге было разумнее разыгрывать покор-

ного сына, беспрекословно подчинившегося отцовской воле.

— Вы знаете, что с отцом бесполезно спорить.

— Если бы твой дед не умер так рано! — посочувствовала тетя.

Потом, за кофе, он, как прежде, весело и непринужденно шутил с хорошенькой кузиной, советовал, где и как можно развлекаться в Берлине.

— Молодая очаровательная дама вполне может появиться на публичном балу в сопровождении гвардейского артиллериста. Ведь здесь не какое-нибудь мукертальское захолустье, а самая настоящая столица. Если только новый господин придворный проповедник не привьет берлинцам более строгих нравов.

Дядя не обиделся на шутку, приказал подать бутылку из своего винного погреба и вернулся к разговору о занятиях Фридриха.

— Значит, ты посещаешь университет?

— Каждую свободную минуту.

— Весьма похвально! И что же ты прослушал?

— Историю философии у Вердера. Метафизику у Михелета, государственное право у Хеннинга. И философию религии.

— Разумеется, у Мархейнеке?

Фридрих кивнул.

— Михелет, Вердер, Хеннинг, Мархейнеке, — подвел итог священник. — сплошь гегельянцы.

— К чему скрывать, дядя Мориц? Я приехал в Берлин не для того, чтобы маршировать парадным шагом перед Его светлейшим величеством. Я здесь затем, чтобы узнать из первоисточника все, что оставил после себя величайший из философов.

Снетлаге нахмурился. Откровенное признание Фридриха задело его. Он молча отпил вина из своего бокала.

Тетя Луиза воспользовалась паузой:

— Подумай, Фриц, не переехать ли тебе к нам? У нас ты сможешь без помех заниматься.

Фридрих озорно подмигнул Аде.

— Я сомневаюсь в этом, тетя.

Сообразив, хотя и с некоторым опозданием, на что он намекает, она со смехом погрозила ему пальцем:

— Похоже, берлинский воздух идет тебе на пользу.

Старший капеллан тем временем резюмировал свои соображения.

— Гегель! — Он с сомнением покачал головой. —

Величайший философ? Я не хочу спорить с тобой о сравнительных достоинствах давно поблекнувших знаменитостей. Но один из стариков, тот, кого Гегель сам причислял когда-то к великим вдохновителям умов, еще жив.

Фридрих знал, о ком речь.

— Шеллинг! Он неплохо пригрелся под крылышком Его католического величества — короля Баварии. Живой труп, дядя, вот уж тридцать лет. С тех пор как он позорно спасовал перед католицизмом, мир напрасно ждет от него пресловутой новой философии.

Дядя Мориц многозначительно ухмыльнулся.

— Весьма скоро берлинские гегельянцы смогут воочию убедиться, что Шеллинг еще жив и здоров.

— Вот как? Уж не собирается ли старикан посетить Берлин? Может, он хочет на могиле Гегеля просить прощения за свое подлое предательство?

— Он приезжает не с визитом, Фридрих! Он избрал Берлин местом своей будущей деятельности.

Фридрих удивленно взглянул на дядю:

— Вы шутите?

— Отнюдь. Его величество лично призвал его в Академию наук.

Фридрих не мог прийти в себя.

— Не может быть...

— Ты сомневаешься в надежности моего источника информации. При дворе давно решили покончить со всей этой гегелевской чертовщиной в Берлине.

Фридрих одним духом осушил свой стакан. То, что он услышал, привело его в состояние боевой готовности. Шеллинг в Берлине! Он слишком хорошо понимал, что́ это значит для всех гегельянцев в университете. Он поднялся. Нельзя терять ни минуты, он должен сообщить друзьям об этой новой угрозе.

— Никогда им это не удастся, дядя Мориц, никогда! — заявил он с мрачной решимостью при прощании.

Энгельс нашел друзей в «красной комнате» кафе Штехели. Новость о назначении Шеллинга вызвала бурю возмущения. Все здесь знали о ренегатстве философа, о его тирадах против идей Гегеля — его бывшего соратника. Они, как и Фридрих, понимали, что это назначение было со стороны короля решительным объявлением войны всем гегельянцам. А все, что они пережили до сих пор — назначение Шталя и Савиньи, отклонение кандидатуры Давида Фридриха Штрауса в университете Галле, официальные

почести, которых был удостоен реакционный историк Ранке, травля Ганса и Михелета, провокации против Мархейнеке, — все это было только мелкими уколами. Великая решающая битва еще предстояла.

Надо встретить врага во всеоружии. Комната загудела. Посыпались предложения. В качестве действенных мер предлагались листовки и карикатуры, статьи в печати и публичные диспуты, бойкот лекций и демонстрации протеста. Но все это было не ново, да и противная сторона была готова к этому. Для широкой кампании среди студентов не оставалось времени. Кроме того, все акции такого рода могли бы доставить популярность имени Шеллинга среди младшекурсников, привлечь к нему слушателей. Шеллинг был хорошим оратором и умел ловко пользоваться неопытностью и невежеством своей аудитории.

Наконец Эдгару Бауэру пришла в голову одна мысль.

— Давайте устроим ему встречу сразу по прибытии в Берлин, прежде чем он взойдет на кафедру Гегеля.

Мейен, у которого были свои связи в одной из министерских приемных, и Буль, занимавший должность ассистента в академии, взялись выведать предусмотренный протоколом церемониал встречи. Им понадобилась неделя для разработки детального плана действий.

Шеллингу готовился настоящий торжественный прием. Перед зданием академии философа, словно какого-нибудь экзотического царька, должны были приветствовать магистрат и президент академии, «при теплом участии образованных слоев гражданского населения». Для привлечения публики протоколом предусматривался военный оркестр, вице-президент академии Фридрих фон Раумер должен был произнести приветственную речь. Придворному художнику Швехтену было дано высочайшее указание написать транспарант с приветственным адресом, который следовало в решающий момент развернуть над порталом здания академии.

Буль зачитал последнюю фразу официального циркуляра: «Торжественный акт должен проходить под охраной местных органов полиции, представленных в количестве достаточном, чтобы абсолютно исключить возможные нарушения общественного порядка».

— Транспарант! — вдруг воскликнул Фридрих. — А что, если там развернется нечто... нечто прямо противоположное запланированному чествованию?

— Что ты имеешь в виду?

— Если бы можно было заранее подменить транспарант...

Друзья уставились на него.

— Отчаянно смелая мысль. Такого в Берлине еще не видали...

Придворный художник Швехтен был образцом надежности и прилежания. Мало кто из его собратьев по искусству умел так точно уловить вкусы и тайные желания заказчиков. Из его мастерской на Розенгассе выходили только довольные клиенты.

Однажды в кабачке «Лаухс Вайнштубен», где старый холостяк любил пропускать стаканчик после мессы, он познакомился с двумя юношами, которые сообщили, что происходят из старинных буржуазных семей Голландии и для собственного удовольствия путешествуют по Европе. Он пригласил их заглянуть в мастерскую. А в мастерской решил угостить скромной закуской, для приготовления коей ему пришлось на некоторое время удалиться в свою образцово оборудованную кухню. Гости смогли без помех осмотреть мастерскую и все, что там находилось.

Фридрих и Эдгар Бауэр, довольные, возвратились на главную квартиру. Они вполне насладились зрелищем чрезвычайно вычурного транспаранта с приветствием Шеллингу и выразительно описали сей шедевр своим друзьям. На нем богиня мудрости Афина Паллада гостеприимно раскрывала свои объятия. Ниже на латыни было написано: «Добро пожаловать в Берлин, о Шеллинг, звезда философии!» Но что еще важнее, они сняли точные размеры и даже раздобыли кусок холста, чтобы сделать новый транспарант из того же материала.

Молодой художник Вильгельм Шольц, заклятый враг прусского деспотизма, охотно взялся за деликатное поручение — изготовить транспарант, по размерам соответствующий оригиналу.

Но предстояло еще выполнить самую опасную часть предприятия. До 15 октября, когда должна была состояться торжественная встреча Шеллинга, оставалось всего несколько дней. Приготовления к церемонии встречи уже были закончены. Трибуна для ораторов перед зданием академии на Унтер-ден-Линден была воздвигнута, состоялась репетиция оркестра и мужского хора, и придворный художник господин Швехтен сдал выполненный заказ, как всегда, точно в срок. Огромный, свернутый в трубку транспарант висел над трибуной.

Теперь в дело включился лейтенант Кёппен. Нужно было все обдумать и составить план действий. Все зависело от того, удастся ли незаметно снять рулон и подогнать новый к королевскому патентованному механизму для раскатки.

Ночь на 15 октября выдалась холодной и сырой. Ровно в полночь погасли газовые фонари на Унтер-ден-Линден. Город затих. На площади перед академией стоял часовой из городской полиции.

Кёппен взглянул на карманные часы.

— Давайте!

Буль по-кошачьи мяукнул. Две молодые, ярко накрашенные «дамы», отчаянно жестикулируя, перебежали широкую улицу и бросились к часовому.

— Господи! Боже милосердный! Господин вахмистр, господин вахмистр, быстрей, идемте с нами! Убийство! Там убитый! Помогите!

— Что, где, какое убийство?

Прежде чем ошарашенный полицейский успел что-то сообразить, «дамы» подхватили его под руки и решительно увлекли в сторону Оперы.

Кёппен наблюдал за всем этим со своего поста на углу улицы. Он свистнул, и тут же в одном из домов, неподалеку от академии, раскрылись ворота. Из них выехала груженая повозка и остановилась под деревьями между академией и университетом.

Трое в масках спрыгнули с повозки. К стене за трибуной были мгновенно приставлены две лестницы. По ним поднялись двое парней — подмастерья слесаря из Нойкельна. Фридрих и Эдгар подтащили к лестницам длинный рулон. Тем временем парни уже сняли и спустили вниз шедевр Швехтена. Несколько ловких движений — и новый транспарант занял место на стене. Старый рулон, лестницы, фигуры в масках, повозка — все почти бесшумно исчезло в темноте.

На площади перед академией снова воцарилась глубокая тишина. Полицейский вернулся на свой пост, слегка обескураженный ложной тревогой. Припомнив строжайшее предписание ни при каких обстоятельствах не покидать поста, он решил не сообщать начальству о ночном происшествии.

Все еще долго сидели в мансарде Бауэра. При общем одобрении Кёппену было присвоено звание капитана. Операция, двадцать раз отрепетированная во всех деталях, удалась на славу. Вероятность полного осуществления дерзкого

замысла чрезвычайно возросла. Даже если их проделка будет преждевременно обнаружена, они все равно своего добьются. Так как быстро создать новую аллегорическую картину в честь ренегата Шеллинга не в состоянии даже самый всемогущий деспотизм.

Вино было превосходным. Головы пылали. Счастливо пережитая опасность еще больше сблизила друзей.

— Наконец-то уж не дебаты, не словопрения, наконец какое-то дело, — воскликнул Эдгар Бауэр, и все с ним согласились.

Кто-то предложил преобразовать клуб друзей в прочный союз с уставом и четкими целями. И с названием.

Цель ясна, решило большинство.

— Устава нам не нужно, — сказал Буль. — На то мы и друзья.

— А название у нас есть, — заключил Бауэр и посмотрел на Фридриха. — Его сформулировал Освальд в день своего приезда. Помните, как он сказал: «Свободный среди свободных». «Свободные»! Разве может быть название лучше?

Все поклялись не уронить чести своего союза. Они расстались с чувством, что присутствовали при эпохальном событии.

На следующий день, когда Фридрих пришел на площадь перед академией, все было готово к встрече Шеллинга. Уже целый час играл духовой оркестр городской пожарной команды, и, несмотря на хмурую октябрьскую погоду, на площади собралось множество любопытных берлинцев. На трибуне стояли академики, члены ректората, бургомистр и советники магистрата. Все в парадных сюртуках, обвешанные орденами. Над их головами висел свернутый в трубку транспарант. Его должны были раскрыть в тот торжественный момент, когда президент академии возьмет слово для приветствия Шеллинга.

Фридрих заметил среди зрителей, толпившихся у самой трибуны, кучку «Свободных».

Вот капельмейстер взмахнул дирижерской палочкой, и раздались звуки «Прусской славы». Роскошная карета с королевским гербом, запряженная четырьмя лошадьми, выехала на широкую мостовую Унтер-ден-Линден и остановилась перед зданием академии. Ливрейные лакеи отворили дверцу. Из кареты, гордо подняв голову, вышел Шеллинг в сопровождении министра Эйххорна.

Обоих проводили к трибуне. Бургомистр вытащил из

кармана листок бумаги. На почтенные седины мыслителя, исповедующего философию откровения, обрушился приветственный спич. Потом на его плечи была возложена черно-белая лента с гербом Берлина. Импресарио подал знак. Капельмейстер поднял палочку, прозвучала фанфара. Решительный момент наступил.

Свернутый холст, висевший над головами, развернулся. Глазам изумленной публики предстал маленький жалкий Шеллинг в иезуитской рясе и с крестом. Крошечным, бессильным кулачком он грозил недосягаемо большому портрету Гегеля, взгляд которого был устремлен к небесам. Ниже на латыни было написано: «Добро пожаловать в Берлин, о Шеллинг, жалкий слуга теологии!»

То, что последовало дальше, напоминало либретто какой-то фантасмагорической оперы. Сначала все шло по режиссерскому плану импресарио. Не сразу и не вдруг зеваки на площади уловили непристойное содержание красочного произведения живописи на огромном холсте. Профессор Раумер подошел к кафедре и начал торжественную речь. В публике возникло странное оживление, обеспокоившее почетных гостей на трибуне. Первым обнаружил ужасную подмену импресарио. Но он успел только протянуть руку в направлении транспаранта — и упал в обморок. Профессор Раумер, невзирая ни на что, спокойно продолжал свою речь. Тут к транспаранту обернулся министр, потом бургомистр, все почетные гости...

Публика пришла в неистовство. Раумер оборвал речь на полуслове. Оркестр — согласно протоколу — грянул королевский гимн. На трибуне царило беспомощное замешательство. Двое профессоров, сохранивших самообладание, увели растерянного Шеллинга через портал в здание академии: тот ничего не понимал, а обернуться он не догадался. Все прочие поспешили вслед за ними. Полицейские быстро очистили площадь от публики.

«Свободные» достойно ретировались, прилагая судорожные усилия, чтобы не обнаружить своего триумфа. Где-то неподалеку от площади они встретили Мархейнеке. Профессор не ответил на их приветствие. Он не улыбался. Их затею он явно не одобрял.

— Тот, кто хочет защищать Гегеля, располагает лучшим оружием, — только и сказал он.

Но это замечание не смогло омрачить ликования друзей по поводу удачной проделки. Они решили достойно отпраздновать победу в кабачке Хиппеля. У Фридриха пропала

охота идти с ними. Эдгар толкнул его в бок.

— Неужто старик так подействовал на тебя своим брюзжанием?

— Мне просто хочется побыть одному, Эдгар. Может, потом пройдет.

— Понимаю.

Фридрих пересек Жандарменмаркт в направлении Фридрихштрассе. Он снимал недорогую квартиру на другом берегу Шпрее у Вейдендаммерского моста. Фридрихштрассе, прямая и ровная, казалась бесконечной. Он усмехнулся, вспомнив первое впечатление ужаса, которое внушил ему этот город.

Дома у него лежала только что вышедшая в свет, еще даже не разрезанная книга одного из учеников Гегеля, чье имя было известно пока что только по историко-философским сочинениям. Это была «Сущность христианства» Людвига Фейербаха. Пютман, с которым Фридрих поддерживал переписку, очень хвалил новинку. По его мнению, эта книга затмевала все сочинения по критике религии — от Штрауса до Бруно Бауэра.

Фридрих разрезал первый лист. Введение захватило его. «Сущность человека в отличие от животного составляет не только основу, но и предмет религии. Но религия есть сознание бесконечного, и поэтому человек сознает в ней *свою* не конечную и ограниченную, а *бесконечную* сущность».

Всю усталость как рукой сняло. Он читал до тех пор, пока не спохватился, что наступил новый день и пора уже идти в казарму.

Глава вторая

ТРИУМФ И БЕССИЛИЕ

Достопамятный 1841 год...

Нет, он еще не принес Германии решительных перемен. Но он оставил вехи. Вышли в свет три сочинения, которые отразили изменения в сознании общества и сами вызвали определенные изменения.

Сначала неслыханный эффект произвел памфлет Якоби. Затем последовал беспримерный успех вольнолюбивых стихотворений Гервега. И наконец, книга ученика Гегеля — Фейербаха. Берлинские гегельянцы старшего поколения хорошо помнили этого студента...

В начале зимнего семестра 1825 года в деканате философского факультета появился молодой человек с баварским акцентом и попросил зачислить его чуть ли не во все семинары. Он изъявил желание прослушать все лекции Гегеля, курсы друзей философа — Мархейнеке, Шлейермахера, Неандера и посещать занятия доцентов Хеннинга, Михелета и Ганса. Он сообщил, что прервал изучение теологии в Гейдельберге, поскольку находит бессмысленным забивать свой мозг выхолощенными догмами евангелистской ортодоксии, которые не в состоянии удовлетворить его стремление достоверно истолковать человеческое существование. Профессора, собравшиеся в деканате, с некоторым интересом посмотрели на посетителя. В его манере держаться и говорить чувствовалась глубокая серьезность.

— И вы теперь ожидаете от нас разрешения вашей проблемы? — спросил не без симпатии профессор Гегель.

— Я читал кое-какие ваши сочинения, а о других кое-что слышал. Во всяком случае, вы, кажется, не переливаете из пустого в порожнее.

Профессора переглянулись: такое заявление в адрес их декана, чье имя знаменито на весь ученый мир, выглядело довольно бесцеремонным. На лице Гегеля появилась задумчивая улыбка. Он протянул юноше руку и сказал с мягкой иронией:

— Мы постараемся оправдать хотя бы часть ваших далеко идущих ожиданий.

— Как его имя? — спросил Гегель, когда за новым студентом закрылась дверь.

— Фейербах, — отвечал Хеннинг. — Людвиг Фейербах из Ландсхута.

— Он полагает, что проглотит нас, как кружку баварского пива. — Гегель рассмеялся.

Но уже на первых занятиях семинара он проникся уважением к баварцу. У него еще не было студента, способного работать с такой сосредоточенностью и с такой страстью докапываться до сути вещей.

Всего за два года молодой человек сдал все необходимые экзамены и, получив диплом с отличием, распрощался. Даже предложение Гегеля защищать диссертацию по его кафедре не заставило его отказаться от решения покинуть Берлин.

— Я слушал два года ваши лекции, господин профессор, два года я полностью посвятил изучению вашей философии...

— И она не оправдала ваших надежд? — спросил Гегель.

Баварец ответил не сразу.

— Да нет. Я еду в Эрланген изучать естественные науки.

Профессор погрузился в раздумье. Да, естественные науки! Казалось, неудержимая сила духа взорвала все преграды в самой глубочайшей сущности подвижной материи. Физики, химики, биологи и геологи как будто без всяких усилий делали все новые захватывающие открытия, вырывая у природы ее тайны — одну за другой. Не хватало времени, чтобы за всем уследить, чтобы проанализировать диалектическую связь сущностей и найти для всего место в собственной системе. Понятно, что молодого философа влекло в маленький университет Эрлангена. В области гуманитарных наук этот университет не играл значительной роли, но здесь изучали происхождение видов — проблему, над решением которой неотступно бились Ламарк и Гёте. Этот баварец из Ландсхута поступил умно!

— Будь мне двадцать три года, как вам сейчас, — сказал Гегель, — на вашем месте я поступил бы точно так же!

Они обменялись крепким рукопожатием.

— Благодарю вас за все, — мягко сказал Фейербах. А потом тихо, словно извиняясь, добавил: — Но все же я полагаю, что если бы природы не было, то логика, эта непорочная девственница, никогда бы не создала ее из самой себя.

Студент давно ушел, а Гегель еще долго глядел на захлопнувшуюся за ним дверь деканата. «Людвиг Фейербах! Надо запомнить это имя! Он когда-нибудь заставит говорить о себе».

Наше убеждение в том, что в основе поразительного многообразия естественных процессов лежит творческая сила неустанно созидающего высшего разума, который все более ясно проявляется в человеческом духе, — неужели эта обязательная предпосылка нашей системы, для которой мы нашли неисчерпаемую полноту аргументов, неужели она в конце концов может быть опровергнута? Не может ли быть наоборот? «Разумом управляют законы природы». Если это так, то все доказательства господства вечного мирового духа сведутся к нулю. Но тогда все человеческое существование пришлось бы понимать только как неизбежный эпизод в вечном круговороте слепого, не сознающего себя универсума. И никогда ищущий человеческий дух не найдет ответа на вопрос всех вопросов: почему все это, почему? Ибо

если нет формирующего все разума, то нет и цели. Профессор успокоился. Он слишком хорошо знал, что такое человеческая душа, что такое гордость сознания. Человеческий дух никогда не откажется от того, чтобы ощущать себя последней и высшей целью развития универсума! Тот, кто захочет опровергнуть приоритет духа над материей, должен будет сначала вывести из естественных причин неисчерпаемый мир мыслей и идей. Но кому же удастся это сделать, не потерпев крушения, как потерпели его все замечательные умы прошлого, начиная с Демокрита?

Поначалу казалось, что время подтвердило его правоту. Первые сочинения философа Фейербаха были вполне гегельянскими. В то время, когда великий философ умирал от холеры, его система еще оставалась неколебимой, его идеи торжествовали победу над всеми противниками. Только много лет спустя, в 1839 году, его предчувствие оправдалось. В небольшом сочинении «К критике философии Гегеля» Фейербах высказал принципиальные возражения против исходной идеалистической позиции гегелевской системы. Сочинение прошло незамеченным. Никто из правоверных гегельянцев не принял его особенно всерьез. Но через два года, в памятное лето 1841 года, лейпцигский издатель Отто Виганд выпустил в свет книгу, которая по своему эффекту превзошла все философские работы, написанные после Гегеля. Имя Людвига Фейербаха в течение года стало знаменитым. В истории западной мысли открылась новая глава: «Сущность христианства».

Весь день в казарме Фридриха не покидала мысль об оставленной дома книге. Он едва дождался вечера, но, выйдя за ворота казармы, встретил на улице Эдгара Бауэра.

— Мы веселились и напрасно ждали тебя.

— Оно и видно, — сказал Фридрих, не объясняя своего отсутствия на пирушке. — Ты читал Фейербаха, Эдгар? — спросил он неожиданно.

Приятель отмахнулся.

— Просмотрел, — ответил тот. — Весьма любопытно и оригинально. Хотя, разумеется, критика религии отнюдь не обладает той остротой, которая способна революционизировать сознание. Вместо христианской мистики — обожествление природы и всеобъемлющее человеколюбие. Об этом лучше читать у стариков — у Бёме, Спинозы, Руссо.

Фридрих не стал возражать. Сославшись на усталость, он

распрощался и в этот вечер дочитал книгу до конца. Хотя он не мог согласиться с некоторыми сентенциями, книге в целом нельзя было не отдать должное! Прав был Пютман, а не Эдгар Бауэр! Сколь бледным, мелким, рассудочным и банальным было все, что писали младогегельянцы о критике христианской веры, по сравнению с подкупающей аргументацией Фейербаха, разоблачившего как иллюзию веру в откровение, веру в потустороннее. Фейербах низвергнул всех богов!

После долгого периода господства гегелевской абстракции Фейербах снова обратился к животворной силе и богатству природы. Фридриху казалось, что он напился из источника живой воды.

Он долго раздумывал над прочитанным. У него было чувство, будто лишь теперь исчезли последние клочья религиозного тумана, только теперь были побеждены последние сомнения. Он посмотрел в окно на звезды ясного октябрьского неба. То, что недавно казалось ему чуждым, далеким и подавляющим, показалось ему вдруг совсем близким, знакомым, нерасторжимо с ним связанным.

В ближайшие недели он позаботился о том, чтобы все его друзья прочли Фейербаха. Его радовало, что Эдгар Бауэр с его сдержанным отношением к этой единственной в своем роде книге остался в одиночестве. Все остальные очень скоро стали восторженными фейербахианцами.

К началу зимы прусский рекрут успешно прошел начальную военную подготовку. Фридрих освоил парадный шаг, умел, к удовольствию капрала, автоматически реагировать на все команды, и перед ним раскрывалась блестящая перспектива — стать канониром королевской прусской армии.

Днем — бравый солдат, вечерами — вольнослушатель лучших профессоров и преподавателей университета. Ночами и по воскресеньям — оппозиционный писатель и свободный среди «Свободных», заговорщик во имя вольности духа против сил мрака. Это поистине бурная жизнь нравилась Фридриху. А что его ждало впереди? Будущее представлялось далеким и неясным.

В середине ноября 1841 года человек, которому король Пруссии поручил очистить столицу от бунтарского гегельянского духа, собирался взойти на ту самую кафедру, откуда крамольный диалектик воздвигнул внушительное здание абсолютного разума и укрепил его как несокрушимый бастион. Фридрих понимал, что стареющий пророк философии откровения взял на себя нелегкую задачу — ниспро-

вергнуть Гегеля. Интересно, как-то он выпутается из этой авантюры?

Большая аудитория Берлинского университета была до отказа забита слушателями. Никто из многочисленных сторонников Гегеля, равно как и его противников, не хотел пропустить этого события.

За полчаса до начала в зале негде было даже встать. Многим пришлось слушать за дверьми. Фридрих заблаговременно занял место впереди. «Телеграф» настойчиво просил дать подробный отчет, поэтому нельзя было пропустить ни единого слова из вступительной речи Шеллинга. Он не знал, что место, занятое им, предназначалось для почетных гостей университета. В своем рекрутском мундире Фридрих чувствовал себя здесь довольно неуютно, тем более что в непосредственной близости от него оказалось несколько превосходительств в генеральских мундирах.

Но переселяться было уже поздно. «Не лучше ли принять такой же, как у них, значительный вид», — сказал он себе, состроил важную мину, вытащил из кармана блокнот и карандаш и как ни в чем не бывало начал писать.

«Если вы сейчас здесь, в Берлине, спросите кого-нибудь, кто имеет хоть малейшее представление о власти духа над миром, где находится арена, на которой ведется борьба за господство над общественным мнением Германии в политике и религии, следовательно, за господство над самой Германией, то вам ответят, что эта арена находится в университете, именно в аудитории № 6, где Шеллинг читает свои лекции по философии откровения. Ибо в настоящий момент все отдельные возражения, которые делали спорным господство гегелевской философии, потускнели, поблекли и отступили на задний план перед *одной* оппозицией Шеллинга».

Хорошее начало, удовлетворенно констатировал Фридрих. Даже самый глупый читатель поймет, что здесь и сейчас речь идет о большем, нежели ученый спор двух философских направлений.

Наконец прозвучал звонок. Зал замер в глубоком молчании. Сторож открыл дверь. Шеллинг с высоко поднятой головой вошел в аудиторию и поднялся на кафедру. Несмотря на седые волосы и некоторую полноту, он казался моложе своих лет. Но когда он заговорил на своем баварско-швабском диалекте, то несколько ослабил первое впечатление силы и уверенности в себе. Начал он осторожно, позволил себе длинный, но эффектный экскурс в исто-

рию философии, которая явно была его коньком, ошеломил слушателей таинственно звучащими терминами собственного изобретения, жонглируя которыми он с ловкостью эквилибриста возбудил интерес присутствующих к совершенно новой «позитивной философии». И тогда только перешел к Гегелю.

Он действовал умело, воскресил в памяти юношескую дружбу с Гегелем, великодушно отдал должное заслугам своего бывшего сокурсника и защитника шеллинговской философии тождества от господствовавшего повсюду учения Иммануила Канта, мрачный ангостицизм которого затемнил философский небосклон начала столетия. Свою собственную измену юношеским идеалам Шеллинг завуалировал уверением, что Гегель просто не понял его, а потому несправедливо обвинил в непоследовательности.

Ожидалась демонстрация протеста со стороны студентов, вроде той, что состоялась год назад во время выступления реакционера Фридриха Юлиуса Шталя, читавшего лекции по философии государства и права. Шталь тогда вынужден был прервать лекцию. Но сейчас до этого дело не дошло. Тайные агенты полиции, приставленные к вожакам младогегельянской оппозиции, только зря потеряли время. Фридрих сам высказался в клубе за решение держаться нейтрально. «Свободные» рассчитывали на то, что Шеллинг и так спровоцирует бурю протеста. Но философ откровения слишком хорошо понимал, что было поставлено на карту. Он точно взвесил каждое слово. И слушатели заинтересованно следили за его речью, заняв скорее выжидательную, чем негативную позицию.

Будучи опытным оратором, Шеллинг совершенно сбил с толку аудиторию, когда возвысил свой голос в защиту разума как бесконечной потенции познания. Он ни на минуту не забывал, где находится. В этой цитадели гегельянства нельзя было завоевать ни пяди вражеской территории, не сделав реверанса в сторону разума.

— Разум, — заявил он, — в состоянии доказать, каким законам должно подчиняться сущее, при условии, что оно существует. Однако, — ввел он ограничение, — разум не в состоянии доставить нам обоснование, доказательство самого существования.

По Шеллингу, выходило, что всякий рационализм охватывает только возможное. Границу же между чисто логической возможностью и действительностью, фактическим существованием разум переступить не в силах.

— И если бы человеку не было дано нечто, что сверх всякого опыта и мышления могло бы показать ему достоверность его знаний, то я бы сказал, что самое последнее слово в философии сказано Кантом, а все, что мы сделали после него, было напрасными суетными усилиями.

Шеллинг объявил, что в дальнейших своих лекциях будет говорить об этом «нечто», ибо только оно поистине единственно надежно в сознании человека, только оно одно в состоянии утвердить реальность, чувственный мир как «положительно» существующий и царить над логическим познанием.

Этим интригующим обещанием он эффектно заключил первую лекцию своего курса.

Фридрих отложил карандаш. Ему теперь было ясно, куда «направлял свою ладью» этот шарлатан на кафедре — в мутные воды предчувствий, бессильных страхов, мистических ощущений. Там — убогий мир разума, только возможное, «негативное» — то, что можно спокойно предоставить разрабатывать Гегелю, этой честной рабочей лошади; здесь — напротив, фантастическая полнота живого творения, недосягаемая для разума, доступная только ясновидящему взору гениального пророка Шеллинга, — «позитивное». Фридрих отмахнулся и нахмурился: «Старая песня, господин Шеллинг! И вы собираетесь таким образом победить Гегеля?» Он поймал устремленный на него взгляд Шеллинга. Выдержав взгляд, он усмехнулся в лицо человеку на кафедре. Насмешливая улыбка юноши явно выбила лектора из равновесия. Финал получился не слишком триумфальным. Никто не свистел ему вслед, но аплодисменты были довольно жидкими. Слушатели постарше покидали аудиторию разочарованными или раздраженными. Полицейские незаметно улетучились. Горстка «Свободных» и большинство студентов остались. Разгорелись жаркие дебаты.

Бауэр, Кёппен, Буль и другие пытались подбить студентов на протест против шарлатанства, проповедуемого Шеллингом.

— Протестовать? — спросил кто-то из студентов. — Почему протестовать? Мы считаем, что старикан довольно интересный тип.

Эдгар Бауэр возмутился:

— Да что интересного в этой болтовне? Это наглость — преподносить себя как наставника Гегеля! Дескать, как жаль, что Гегель меня не понял. А сам пытается прикрыть красивыми словами свою измену идеалам молодости.

— Я имею в виду великое «нечто», то «позитивное», о котором он толкует.

Другие студенты поддержали товарища:

— И как толкует!

— Это впечатляет!

— Новая философия.

— Наконец-то мы узнаем, что из этого выйдет.

Фридрих, молча прислушивавшийся к спору, поднялся.

— Это я могу раскрыть вам уже сейчас.

Все взглянули на молодого человека в артиллерийском мундире.

— Добрый старый господь бог, — начал Фридрих, — это, и ничто иное, скрывается за таинственным «нечто».

Студенты восприняли его заявление скептически.

— Ваше утверждение бездоказательно! — воскликнул кто-то со старшего семестра.

Кровь бросилась Фридриху в голову.

— Тот, кто отрицает познаваемость мира с помощью человеческого духа, может прийти только к мистицизму, — бросил он резко. — Да, именно так, господа. Мы имеем сомнительное удовольствие присутствовать в качестве свидетелей при неслыханной провокации, устроенной разуму. Ваш милый старичок пытается от имени философии унизить науку до положения служанки теологии.

— Он не посмеет! — воскликнул студент, которого Фридрих часто видел на лекциях Хеннинга. — Только не с этой кафедры, откуда Гегель провозгласил победу разума над мистицизмом.

— Его задача состоит только в этом — и ни в чем другом. Вы и оглянуться не успеете, как проглотите это его орфическое единство — разные там квиддитативы и кводдитативы. Он вас так убаюкает, что вы лишитесь и зрения, и слуха.

— Но разве старик не прав, когда упрекает Гегеля в том, что вся его система покоится на некоей недоказанной предпосылке предсуществования абсолютного разума? — спросил толстый юрист, производивший впечатление человека вдумчивого и осторожного.

— Понятие предсуществования могло родиться только в поповском мозгу, — возразил Фридрих. Философы дружно поддержали его. Он продолжал: — Для Гегеля, который мыслил научными категориями, существует лишь неделимый универсум. Абсолютное с необходимостью постулирует существование реального. Всяческие «до этого» и «вне это-

го» существуют лишь в фантастических бреднях теологии или шеллинговской философии откровения. А она, разумеется, имеет весьма отдаленное отношение к разуму, тем более к абсолютному.

— Отличный выпад! — воскликнул Эдгар Бауэр.

Некоторые студенты зааплодировали. Фридрих почувствовал, что большинство — на его стороне. К нему подошел элегантно одетый человек лет 25 или немного старше, до сих пор державшийся в тени.

— Если вы, мой юный друг, так прекрасно во всем разбираетесь, — сказал он с характерным рейнским акцентом, — то, может быть, сумеете объяснить нам, почему в последнее время даже в лагере Гегеля делаются попытки поколебать исходный пункт гегелевской системы?

Фридрих понял, к чему клонит этот человек.

— Если вы намекаете на Людвига Фейербаха, то я могу сказать только одно: ни ему, ни какому-либо другому серьезному философу никогда и в голову не приходило ставить под сомнение основную мысль Гегеля о единстве и внутренней логике универсума и о его диалектическом развитии. Когда Фейербах доказывает, что разум, идея могут существовать только в природе и с природой, то это не ренегатство, не измена научному духу гегелевской философии, но ее последовательное дальнейшее развитие, которое, кстати, завещал всем нам великий мыслитель.

— Ответ недурен. — Незнакомец рассмеялся. — Но так легко вам от меня не отделаться. Вопрос стоял о приоритете разума, молодой человек!

— По отношению к вере разум всегда будет иметь приоритет! Речь идет единственно об этом, если мы хотим противостоять попытке снова стащить философию вниз на уровень мистических спекуляций.

— Тогда, по-вашему, гегелевская система есть последнее слово философии?

— Напротив! Это начало, толчок, вызов человеческому стремлению выйти за ее пределы. Именно таким путем идет Фейербах. Для него люди и мир, дух и природа есть единое целое. После Гегеля нет пути назад к разделению мира надвое. Между знанием и верой не может быть примирения, только путь вперед, только преодоление веры знанием. Людвиг Фейербах — с нами. Но Шеллинг, отрекшийся от собственного идеала молодости, наш противник. Поэтому мы будем бороться с ним тем оружием, которое выковал для нас Гегель.

В аудитории наступила тишина. Оппонент Фридриха задумался. Но тут Фридрих взглянул на часы, висевшие над дверью, и ужаснулся: время его увольнения истекало. Ни с кем не простившись, он выбежал из аудитории и помчался в казарму.

— Ну как, Энгельс, выдернули зуб? — спросил его, заговорщицки подмигнув, секунд-лейтенант барон Галлер фон Галлерштейн.

— Позвольте доложить, начали лечить, ваше благородие.

— Ступайте на строевые занятия.

«Всегда сохранять хладнокровие и не попадаться на глаза, — внушали Фридриху благожелательные люди, отслужившие свой срок. — Тогда с тобой ничего не случится». Ох уж эти благожелатели! Наверняка они не знали капрала Краушке! Ему невозможно было угодить при любом старании. Этот человек страдал навязчивой идеей, что славная королевско-прусская армия набирает рекрутов с единственной целью — вогнать его в гроб. И он с отчаянным бешенством защищался от этих чудовищ.

— Перестаньте ковылять, как параличные утки! — услышал Фридрих знакомый зычный голос толстого капрала, который никогда не скупился на ругательства. — Если вас увидит Его величество, от вас мокрого места не останется. Рота, кругом! К ноге! На плечо! Приседать: раз, два, три! Энгельс, шаг вперед! Покажите этим тупоголовым паралитикам, что значит прусский парадный шаг. И чтоб никто из вас не шелохнулся! Канонир Энгельс, парадным шагом — марш!

Фридрих маршировал вдоль шеренги парадным шагом. Левой, правой, левой, правой... «Интересно, удастся ли мне увильнуть от парада на этом проклятом замковом плацу?» Задумавшись, он удалился от роты на довольно заметное расстояние.

— Канонир Энгельс, к роте — кругом!

Он повернул назад.

— Так-то, канонир Энгельс, встать в шеренгу!

Фридрих продолжал маршировать, вытягивая носок точно по уставу. Он слышал, как оглушительный голос Краушке обрушился на его товарищей.

— Ну что, толстопузые вы обжоры, поняли?

Фридриху было жалко товарищей, которые все еще должны были продолжать приседания.

— Вы что, не поняли, канонир Энгельс?

Фридрих, как ни в чем не бывало продолжая маршировать, крикнул:

— Так точно, вы, обжоры!

Словно бес толкнул его сделать ударение на предпоследнем слове, так что ругательство рикошетом вернулось к капралу. Рота расхохоталась.

Голос капрала сорвался:

— Канонир Энгельс, перед ротой — стой!

Фридрих выполнил команду.

Капрал был в ярости:

— Думаете, вы очень умный! Но вы у меня узнаете, как умничать, не сомневайтесь! На коленях поползаете, будь вы хоть семи пядей во лбу, скотина этакая!

Фридрих, с тем же ехидным ударением:

— Так точно, скотина этакая!

Капрал, потеряв дар речи, вытер пот со лба. Для мести он выбрал свободный от строевых занятий вечер. В течение часа он гонял Фридриха в полной полевой выкладке по мокрому от дождя песку казарменного двора.

— Ложись! — приказывал капрал, как только Фридрих добегал до середины лужи. Он пробегал несколько шагов и ложился позади лужи.

— На животе — кругом! Ползком — марш! — Фридрих полз вдоль лужи. — Я вам покажу, где раки зимуют! Вы у меня... — хрипел, изнемогая, Краушке.

— Вы спятили, капрал Краушке! — раздался вдруг резкий голос командира.

— Как прикажете, господин капитан.

Ведель повернулся к Фридриху.

— Канонир Энгельс, вам надлежит немедленно переодеться в парадный мундир и явиться в штаб бригады.

Фридрих вскочил.

— Рад стараться, господин капитан!

Любезно улыбнувшись бледному от страха капралу, вытянувшемуся перед командиром по стойке смирно, он удалился.

— Его сиятельству было угодно пригласить господина канонира Энгельса к себе, а вы, дубина стоеросовая, тупица безмозглый...

Штаб Второй гвардейской артиллерийской бригады размещался в отдельном здании за казармой. Дежурный офицер равнодушно проводил Энгельса наверх. «Интересно, — думал Фридрих, — зачем я понадобился генерал-лейтенанту фон Мёллеру?» Энгельс видел его один-единственный раз

и то издали, когда он приезжал верхом в сопровождении штабных инспектировать королевские охотничьи угодья. Открыв дверь, он испугался. В комнате находился тот самый элегантно одетый человек с рейнским акцентом, с которым они дискутировали в Большой аудитории о Фейербахе. Может быть, стала известной его связь со «Свободными» и это вызвало неудовольствие?

Но опасения оказались напрасными. Генерал принял его доброжелательно. Говорил он с мягким кёльнским акцентом.

— Мой племянник Георг Юнг.

Штатский поднялся и протянул Фридриху руку.

— Рад с вами познакомиться. — И обратился к генералу: — Если ты не имеешь ничего против, дядя Генрих, я охотно побеседовал бы с господином Энгельсом с глазу на глаз.

Генерал гостеприимно указал на какую-то дверь.

— Идите туда! Там вы можете поговорить без помех. Но не воображайте, что я позволю переманивать своих солдат без надлежащего выкупа.

Они вошли в спальню, убранную по-спартански. Георг Юнг закрыл дверь.

— Значит, вы хотите меня переманить? — спросил Фридрих, не догадываясь, о чем идет речь.

— Скажу без обиняков: так оно и есть. Я представляю здесь группу людей, стремящихся организовать издание в Кёльне новой газеты. Разумеется, это должна быть не обычная газета. Цель ее — быть рупором демократической оппозиции в Пруссии. Свое согласие сотрудничать уже дали Гейне, Гервег, Гофман. Возможно, вам известно имя Кампгаузен?

Фридрих кивнул. Кампгаузен был одним из тех рейнских промышленников, которые довольно открыто выступали за реформу прусского государственного аппарата и предоставление гражданских свобод.

— Хотите стать нашим сотрудником? Предлагаем вести культурную страницу и фельетон. Очень хорошее независимое место с приличным содержанием.

— А почему вы приглашаете именно меня?

— Мы читали вашу статью, которую вы опубликовали под псевдонимом Освальд.

— И больше вы ничего обо мне не знаете?

— Этого достаточно.

— Ваше предложение делает мне честь, хотя я и не имею

понятия, чем все это заслужил. — Фридрих прошелся по комнате и остановился перед гравюрой, висевшей над походной кроватью. На гравюре был изображен рейнский пейзаж с городом Кёльном на заднем плане.

— Я и сам когда-то мечтал о собственном журнале, в котором сотрудничали бы лучшие литераторы Германии.

Георг Юнг подошел к нему, дружески положил руку на плечо.

— Скажите да, и еще до рождества вы расстанетесь с казармой.

Фридрих с сожалением возразил:

— Теперь-то уж я не могу уехать отсюда. Я не верю в литературную оппозицию. Я понял по опыту, что в Германии она безрезультатна. Самые лучшие порывы и самые прекрасные намерения у нас кончаются мелочной грызней. Теперь я знаю, что все решается совсем в другой инстанции. В споре идей. Только философия, господин Юнг, в состоянии указать нам верный путь к цели. Потому-то я и приехал в Берлин, в город, где преподавал Гегель. Вы же знаете, кто сейчас вещает с его кафедры, дабы уничтожить все, что воздвиг гегелевский дух! Я нашел здесь множество чудесных друзей. Единомышленников. Мне незачем говорить вам, какая цель нас объединяет!

— Ваши друзья — это и мои друзья. Но разве вы не послужите своей цели намного успешнее на таком месте, откуда вас услышат тысячи? Вы будете работать бок о бок с лучшими философами из числа левых гегельянцев. С нами Фейербах, Штраус, Бруно Бауэр, Карл Маркс.

— Рядом с такими блестящими умами, господин Юнг, я с моими пробелами в образовании буду излучать слишком слабый свет. Я здесь учусь.

— Это ваше последнее слово?

— Да.

Юнг протянул ему руку.

— Жаль, очень жаль. Могу ли я по крайней мере считать, что уговорил вас сотрудничать с нами?

Фридрих обещал написать для газеты, как только ему позволит время.

Генерал приказал подать чай. Они сидели и беседовали больше часу. С поразительной откровенностью бригадный генерал вспоминал первые годы своей военной службы, которую начинал порученцем в штаб-квартире генерала фон Гнейзенау. С тех пор утекло много воды, он расстался со своей мечтой о германском отечестве, в котором был бы дан

простор развитию нации. Теперь его интерес к политике выражался лишь в саркастических замечаниях по поводу придворных интриг и нерешительности нового короля. Фридрих воздерживался высказывать свои мнения и предоставил Георгу Юнгу спорить со стариком о будущем Пруссии и Германии.

Эта аудиенция принесла ему неслыханную удачу. Отныне он был недосягаем для злобы капрала Краушке. Пользуясь своим особым положением в роте, он любыми хитростями добивался увольнений.

Стремительно пролетали недели. Мощное влияние книги Фейербаха становилось все ощутимее. «Свободные» теперь открыто исповедовали атеизм фейербаховского толка, а в красной комнате у Штехели то и дело появлялись новые лица. Никогда раньше Фридрих не поверил бы, что однаединственная книга может привести умы в такое возбуждение. Идеи Фейербаха обсуждались на всех факультетах. Почти каждый день в реакционной государственной и церковной прессе появлялись грязные разносные статьи против философии Фейербаха. О процессе Иоганна Якоби газеты почти уже не упоминали. Даже резонанс от лекций Шеллинга, тезисы которого становились все более запутанными и непонятными, не шел ни в какое сравнение с шумной славой Фейербаха.

Шел к концу январь, когда совершенно непредвиденное событие вывело «Свободных» из состояния самоуспокоенности.

Однажды вечером Фридрих, выходя со двора казармы, увидел у ворот карету, а в ней взволнованного Эдгара Бауэра, который знаками приглашал его быстрей садиться. Пока они мчались в карете, Фридрих узнал, что несколько студенческих групп устраивают факельное шествие в честь 67-летия Шеллинга. «Свободные» пытались помешать этой затее, но все их попытки были безуспешны.

Между тем карета прибыла на Лейпцигерштрассе. Там они и увидели это шествие. Сотни студентов с факелами проходили мимо небольшого особняка. На балконе над порталом виднелась седая шевелюра философа откровения.

— Да здравствует Шеллинг! — кричали студенты, размахивая своими факелами.

Такое ликование — и кто герой дня? Враг, предатель, Шеллинг!

Фридрих выскочил из кареты, сердито схватил за плечо первого попавшегося студента.

— Что случилось? Что вы делаете?

Студент с изумлением воззрился на солдата. Вдруг Фридрих увидел в толпе знакомое лицо, это был Фельдман. Он бросился к высокому широкоплечему вуппертальцу, чья голова возвышалась над толпой:

— И ты — тоже?

Фельдман обернулся:

— Фриц!

— Что это значит? Зачем вы это делаете? Кто приказал вам сюда явиться?

Фельдман ухмыльнулся:

— Ваш Гегель мертв! Да здравствует позитивная философия! — И он подхватил: — Да здравствует Шеллинг! Да здравствует Шеллинг!

— Вы все спятили, — закричал Фридрих, — спятили, спятили!

Но никто не обращал на него внимания. Поют. Размахивают факелами.

Эдгар Бауэр вытащил Фридриха из толпы. Он возмущался.

— Мерзавцы! Стадо! Пойдем отсюда!

В этот вечер Бауэр собрал у Штехели всех, кого удалось найти. Было очень шумно. Все бранились, орали, проклинали подхалимов-шеллингианцев и собственную бездеятельность.

— Почему никто из нас не знал об этом?

— А что толку знать?

— Мы бы тоже устроили демонстрацию.

— Демонстрацию?

— Ну митинг, заградительную цепь, дьявол его знает что, против этих поповских прихвостней.

— Там были не только с теологического. Были юристы, историки и философы.

— Подлые предатели, гадят в собственное гнездо.

— Да что говорить! Дураки, невежды, как услышат звон, повалят гурьбой за любым бараном.

Бауэр с трудом установил тишину.

— Надо что-то предпринять, друзья! Мы должны смыть это позорное пятно!

— Вопрос — как? — отозвался доктор Науверк. — Они только и ждут, чтобы под любым предлогом закрыть всем гегельянцам доступ в университет.

Он сообщил о новом указе кабинета, согласно которому число доцентских мест значительно сокращалось. Теперь

после Мархейнеке угроза отставки нависла над Хеннингом. Его собственное прошение о предоставлении ему доцентуры уже было отклонено.

— Все враги прогресса сплотились вокруг Шеллинга, и лишь очень немногие студенты понимают, что в конечном счете речь идет о свободе. Их ослепил ореол святого и загадочный лик старого маразматика.

До сих пор сдерживавшийся Фридрих вскочил с места:

— Тогда остается только одно: мы должны их просветить, надо атаковать Шеллинга, разбить его теории.

Науверк был настроен пессимистически:

— Кто захочет нас слушать? Скоро на кафедрах не останется никого из учеников Гегеля.

Один из новичков среди «Свободных» по фамилии Шмидт, которого из-за высокого лба прозвали Штирнером*, спросил:

— А вообще-то разве так уж это важно — двумя студентами больше или меньше на нашей стороне?

— Разумеется, нет ничего более важного! — вскричал Фридрих.

— В самой идее это ничего не меняет!

— Напротив: это меняет все. Ваша власть, ваша преобразующая мир сила, в конце концов само ваше существование зависят от того, сколько людей постигают вашу истину, действуют в согласии с ней, выступают за ее осуществление.

— А кто должен открыть глаза этим людям? — раздался вопрос.

— Мы! Мы все! Это наша задача. Мы призваны нести идеи в массы. Через дискуссии, газетные статьи, листовки, книги.

— Чтобы справиться с Шеллингом, недостаточно доброй воли. Для этого необходимы широкие философские знания и острое перо.

Кёппен вздохнул.

— Да, был бы здесь Карл Маркс! Вот кто сумел бы вывести Шеллинга на чистую воду.

Фридрих разгорячился:

— Битву против Шеллинга нужно выиграть здесь, в Берлине. Выстоит, выживет ли гегелевский дух — зависит от нас.

В спор вступил Эдгар Бауэр:

— У нас тоже найдется кое-кто, у кого хватит силенок,

---

* Stirn — по-немецки «лоб».

чтобы показать, что скрывается за шеллинговой дымовой завесой.

— Так говори кто! — потребовал Фридрих. И тут вдруг почувствовал, что все взгляды устремлены на него.

— Ты.

— Я?

— Мы все прекрасно помним, как ты провел дискуссию в аудитории после первой лекции Шеллинга. Это произвело впечатление.

— Но я ведь только самоучка. И далеко не гений.

— Гегеля ты понимаешь ничуть не меньше, чем все мы. И у тебя есть время...

— Время?

Бауэр усмехнулся.

— Да, время, остроумие, острое перо, одухотворенность и энтузиазм, близкие молодежи.

— Мы имеем в виду брошюру, — сухо пояснил Мейен, а остальные поддержали его:

— Ты получишь наши конспекты лекций.

— Мы тебе поможем, если понадобится. Брошюра должна быть краткой, точной и тем не менее охватывающей все проблемы.

— Издатель уже есть.

— Затраты мы берем на себя.

Фридрих понял.

— Значит, вы договорились об этом заранее?

Бауэр похлопал его по плечу:

— Давным-давно, брат мой.

— Это заговор. И не подумаю вам в угоду позориться на весь свет.

Кёппен покачал головой.

— Уж если кто не опозорится, так ты. Позволь, я процитирую одну статью? — Он полистал хорошо знакомый Фридриху декабрьский номер «Телеграфа» и прочел: — «*Нашей* задачей будет следить за ходом его мыслей и защищать могилу великого учителя от поругания. Мы не боимся борьбы... Противники должны признать, что многочисленная, как никогда, молодежь стекается под наши знамена, что теперь, больше чем когда-либо, круг идей, владеющих нами, получил богатое развитие, что никогда не было на нашей стороне столько людей мужественных, стойких и талантливых, как теперь. Итак, пойдем же смело в бой против нового врага; в конце концов найдется кто-нибудь среди нас, кто докажет, что меч воодушевления так же хорош, как и меч

гения». Эти золотые слова написал некий Фридрих Освальд.

— Вы просто бандиты!

— Итак, когда ты начнешь? Дело не терпит. У нас нет времени! Лучше всего, если в казарме ты притворишься больным. У нас есть один знакомый врач, который готов выписать какие угодно аттестаты, чтобы отнять солдат у нашего козлиного величества. Доктор Вальдек, родственник Иоганна Якоби.

Ему оставалось только согласиться. Итак, нужна брошюра против Шеллинга. Молодой скромный самоучка против старого знаменитого ученого — неравный бой. А может, равный, если принять в расчет, какие у тебя тылы. «Тот, кто хочет защищать Гегеля, располагает лучшим оружием!» Неопровержимая сила диалектического метода против мистики!

До Линиенштрассе, где принимал больных доктор Вальдек, было рукой подать. Когда Фридрих позвонил, ему открыла молодая дама, по всей видимости сестра милосердия. Она была в курсе дела.

— Дядя просит его извинить. Его срочно вызвали к настоящему больному. Садитесь, пожалуйста, — пригласила она посетителя. — Я должна заполнить карту пациента. Это необходимая формальность. Фридрих Освальд...

— Нет, Энгельс.

— Итак, Фридрих Энгельс, родился?

— 28 ноября 1820 года в Бармене, место проживания — Берлин, Доротеенштрассе, 56, профессия — коммерсант, в настоящее время — канонир Второй гвардейской артиллерийской бригады, вторая пехотная рота.

— В детстве болели?

Фридрих покачал головой:

— Нет, ничем.

Юная сестра милосердия окинула «пациента» испытующим взглядом.

— Да, на больного вы не похожи. — Она переменила тему. — А я совершенно иначе представляла себе писателя, дерзающего выступить против великого Шеллинга.

Фридрих рассмеялся.

— Худой, бледный субъект в очках, с львиной гривой, так?

— Не совсем так...

— И вы, значит, разочарованы?

Девушка встала.

— Ну, вот вам медицинское заключение!

Он собрался сунуть бумагу в карман.

— Минутку, поинтересуйтесь хотя бы, какое мы вам придумали недомогание.

Фридрих заглянул в бумагу.

— Гипертония. Так-так...

— Это значит повышенное кровяное давление.

— Ага.

— Оно выражается в головокружении, чувстве усталости. Вам прописан покой, домашний режим. Вы должны избегать любого физического напряжения или возбуждения. Строгая диета, нельзя курить и употреблять спиртное.

— Какое счастье, что я здоров!

— Незачем кричать об этом. Да, кстати, мой дядя ставит одно условие: он просит у вас экземпляр вашего сочинения, как только оно будет напечатано.

Фридрих взял руку девушки, галантно поцеловал и торжественно заявил:

— Я обещаю принести брошюру вам лично. Передайте вашему дяде мою благодарность, мадемуазель...

— Сестра Сюзанна, — сказала она холодно, но все же прибавила немного теплее: — Сюзанна Эссер.

Провожая его к двери, она спросила:

— А почему, собственно, вы больше не пишете стихов?

Фридрих посмотрел на нее с изумлением. Он ожидал всего, чего угодно, только не этого вопроса. Неужели кто-то обратил внимание на его стихи?

— Сейчас не время для стихов, да и таланта нет, — ответил он.

— Не говорите так! У вас есть хорошие стихи. — Она процитировала:

Уже бледней вечерняя заря,
Лишь миг — уже грядет заря свободы;
Вот вспыхнет солнце, пурпуром горя,
Минует ночь, а с ней — ее невзгоды...

Фридрих зажал уши:

— Полно!

— Мне нравится. Даже если вы не Гейне...

— Да что вы! Гейне! — воскликнул Фридрих. — Гейне — поэт! Но даже он давно не пишет лирики. Отложим наши поэтические грезы, пока не победит революция.

Он ушел окрыленный. Мадемуазель Эссер, сестра

Сюзанна... Прелесть ее женственной фигуры, легко угадываемая под белым халатом, простота и естественность обращения, какие редко можно было встретить у большинства знакомых ему дам, произвели на него большое впечатление. Как хорошо, что у него есть предлог увидеться с ней опять. Он засел за работу.

«Вот уже десять лет, как над горами Южной Германии нависла грозовая туча, которая все более угрожающе и мрачно надвигалась на северогерманскую философию. Шеллинг снова появился в Мюнхене; шла молва, что его новая система приближается к своему завершению, готовясь противопоставить себя засилью гегелевской школы». Фразы легко сбегали с пера.

Какое наслаждение ощущать силу собственных убеждений в борьбе с врагом! Он работал ночами и засыпал на несколько часов лишь тогда, когда перо выпадало из рук. В комнате громоздились книги, стол был завален конспектами, страницами рукописи, пустыми коробками из-под сигар и огарками свечей. По нескольку раз в день заходили друзья, снабжали его всем необходимым, радовались, что дело движется вперед, помогали править готовые разделы, не скупились на похвалы, если что-нибудь им особенно нравилось, подбадривали его.

Ах, этот февраль сорок второго года! За окном бушевала непогода, валил снег. Извозчики пересели на сани. Сигналы горнов, доносившиеся из казарм, не имели над ним власти. Время словно перестало существовать. Дни и ночи, заполненные лишь одним делом, пролетали как во сне. Никогда еще он не испытывал такого счастья творческого интеллектуального труда. Воспоминание о том ужасном моменте в Бремене, когда гегелевский мировой дух вызвал у него первые приступы сомнений, заставило его улыбнуться. Теперь каждая мысль великого философа была ему знакома, как азбука родного языка. Только безграничное невежество или чудовищная страсть к профанации могли упрекать строгое мышление Гегеля в том, что оно оторвано от реально существующего мира. Основа гегелевского мышления как раз и состояла в том, чтобы понять универсум как единое целое, все проявления которого в равной мере подчинены законам диалектики! В сознании человечества, которое освобождается от призраков мистического и обретает способность постижения внутренней логики всего происходящего, реализуется познавательная сила мирового духа.

Предназначение человека заключается в том, чтобы

носить в себе бесконечное богатство универсума. Какая грандиозная идея! Никто из тех, кто воспринял ее, не согласится больше уступать свои права отжившей, «недействительной» деспотии. Ворота в революцию распахнуты.

И вот появляется некто, стремящийся снова затолкнуть человеческое сознание в мрачный карцер невежественных религиозных догм! Фридриху было недостаточно опровергнуть тезисы своего противника. Необходимо было противопоставить шарлатанству Шеллинга освободительную силу гегелевской философии так, как он сам ощутил ее, постигая истину в сомнениях и муках.

Наконец он дописал заключительную фразу, в которую вложил всю восторженность своего пылающего сердца. «Идея, самосознание человечества и есть тот чудесный феникс, который устраивает себе костер из драгоценнейшего, что есть в этом мире, и, вновь помолодевший, опять восстает из пламени, уничтожившего старину.

Понесем же на костер этого феникса все, что нам было дорого, все, что было нами любимо, все, что было свято и возвышенно для нас, прежде чем мы стали свободными! Пусть не будет для нас любви, выгоды, богатства, которые мы с радостью не принесли бы в жертву идее, — она воздаст нам сторицей! Будем бороться и проливать свою кровь, будем бестрепетно смотреть врагу в его жестокие глаза и сражаться до последнего вздоха! Разве вы не видите, как знамена наши развеваются на вершинах гор? Как сверкают мечи наших товарищей, как колышатся перья на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать, они спешат к нам из долин, они спускаются с гор с песнями при звуках рогов. День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!»

Конец. Дело сделано. Он отложил перо. Его охватила усталость. У него даже не было сил разуться. Он лег на постель и провалился в глубокий, как пропасть, сон.

Он не слышал, как Эдгар Бауэр и Мейен постучали в дверь, как они вошли в комнату. Когда он проснулся, в печи потрескивал уютный огонь, на столе стояла бутылка бургундского; он сам был заботливо прикрыт одеялом. Взглянув на часы, он понял, что проспал четырнадцать часов. Он вскочил, собираясь править последние страницы рукописи. Но рукопись исчезла. На столе лежала записка от Эдгара. «Мы решили не тревожить твой заслуженный сон. Спасибо за работу. Предоставь остальное нам и отдыхай хорошенько! Да здравствует свободная философия!»

Чудесная холодная вода из умывальника прогнала остатки сонливости.

В дверь осторожно постучали.

— Вы уже одеты, господин Энгельс? — Вошла квартирная хозяйка, еще довольно бодрая вдова какого-то мелкого чиновника. Она принесла завтрак и утреннюю газету. Он с жадностью накинулся на ароматные свежие булочки. Взгляд на газету заставил его вспомнить день недели и число. Он возликовал. У него в запасе еще целая неделя — блаженная долгая неделя, свободная от военной службы. Троекратное ура уважаемому доктору Вальдеку, с которым он незнаком! И его очаровательной доброй фее, сестре Сюзанне, с которой он знаком и которая желала бы вернуть его, заглянувшего в кристальную сферу чистого научного мышления, в туманную область лирических, совершенно бесполезных чувствительных излияний посредственного поэта.

А теперь — в университет! Интересно, к чему придерутся друзья в моем первом философском трактате? Морозный воздух вливал бодрость. Солнце и снег слепили глаза. По расписанию читал Михелет. Он пошел на лекцию. Но его надежда встретить своих не оправдалась. Наверное, сидят всей компанией у Штехели и обсуждают его рукопись. На полдороге к Жандарменмаркт он изменил направление. Ну и пусть себе сидят и дебатируют! Он свое дело сделал и заслужил пару дней досуга.

В пивной на углу Егерштрассе он роскошно пообедал. А потом отправился бродить по городу, по тесным переулкам, где никогда не бывал, по площадям, мостам, мимо длинных фасадов домов. Вечерело. Улицы наполнились прохожими, возвращавшимися домой со службы. Он испытывал острое удовольствие от возможности отдаться течению, двигаться без плана, не ощущая времени. Постепенно он начал уставать, резкий восточный ветер пронизывал до костей. Приглядевшись к табличкам с названиями улиц, он понял, что находится в северо-восточной части города, недалеко от центра. Он знал одно хорошее кафе на Александерплац, где можно было согреться и поужинать. Он свернул на Кёнигштрассе, названную так в честь дедушки Старого Фрица, который проезжал по ней, возвращаясь в Берлин королем из провинциального городка в Восточной Пруссии.

Фридрих заблудился и оказался вдруг не на Александерплац, а у почтовой заставы недалеко от Королевских ворот, где начиналась дорога на Восточную Пруссию. Он миновал

заставу. Ему почему-то вспомнился Иоганн Якоби — родственник прелестной сестры Сюзанны. Этот человек отважился напомнить королю об обещании предоставить народу его права. Что-то ничего о нем не слышно. Процесс в Королевской судебной палате все еще тянется. Говорят, что обвинение в государственной измене не подтвердилось. Однако осталось еще много пунктов обвинения: в «непочтительных упреках» (как будто бывают почтительные упреки), в «побуждении к неудовлетворенности и неудовольствию» (да разве это не цель каждой критики) и в «оскорблении Его величества» (значит, напомнить королю о том, что он обязан соблюдать закон, изданный его предшественником, — это оскорбительно).

Фридрих вышел на улицу, которая называлась «Потерянная дорога»... Странное название! Фридриху захотелось пройти по улице с таким названием. Где-то там, за темными холмами, она незаметно потеряется. А ты окажешься один среди бесконечных сосновых лесов и никогда больше не найдешь «Потерянной дороги». Фридрих вспомнил почтовую карету, которая покинула Бремен однажды сентябрьским утром. Магдалена тогда тоже отправилась в путь по потерянной дороге...

«Потерянная дорога» — вот прочтешь такую вывеску, и прекрасное настроение удачного дня вмиг улетучится...

Он решил не ужинать и упрямо зашагал обратно в город. Путь к правде никогда не бывает потерянной дорогой! «Занимается новая заря...» В ритме марша звучали в голове заключительные строки брошюры против Шеллинга. Великие мысли, звонкие слова, вдохновленные фейербахианским преклонением перед природой и непреклонной верой Гегеля в разум, пронизанные уверенностью в победе над мраком. «Как только идея становится революционной, действительность уступает ей!» И вдруг, вдруг его охватили сомнения. Ему вспомнились слова Шмидта о народе. А его собственное глубочайшее убеждение, которое пробудил в нем еще папаша Ростан! Настоящий политический переворот может быть осуществлен только силой миллионов! Чего они, философы, могут добиться, если народ их не понимает? Якоби — да, его поняли тысячи. Но непонятный для многих язык философии? Наша вера в прогресс, не окажется ли она в конце концов иллюзией?

Он целыми днями сидел над новыми книгами. Раздобыл всего Фейербаха. Кроме того, он перечитал Гольбаха и Гельвеция. Впервые его захватил великий вопрос всякой

философии со времен Аристотеля и Платона: идея и мир, сознание и бытие, как они соотносятся друг с другом? Безусловное убеждение в приоритете идеи — каким оно казалось твердым и непоколебимым во время работы над брошюрой о Шеллинге! Но повторное чтение последней книги Фейербаха снова пробудило в нем сомнения.

Сомнения, снова сомнения? Снова бессонные ночи? Снова метания мысли, борьба за истинное познание, которое одно может привести к истинному действию?

«Тайной теологии является антропология». Как освещает все эта четкая аргументация! Человек почитает в боге не что иное, как собственную сущность. И вдруг Фридриху стало ясно, что он проглядел в своем первом порыве восторга перед этим тезисом. Бог как символ совершенства и всемогущества рода человеческого соответствовал наивным воззрениям необразованных людей. А если применить тот же принцип к возникновению философской идеи у людей образованных? Что, если идея является воплощением совершенства и всемогущества человека, обусловленным уже не чувством, но обоснованным разумом?

Фридрих испугался своих мыслей. Если они верны, тогда человек, который критически преодолел веру в бога, одновременно подорвал и основу всей идеалистической философии, включая гегелевскую систему! Тайна философского построения, приписывающего природе разумные цели, оказалась бы не чем иным, как рационально осмысленной верой человека в самого себя. Антропология — это не только тайна религии, но и тайна философии... Вокруг нас и в нас существует не что иное, как вечно действующая природа... А все, что происходит в глубинах нашей души, безграничность нашего самосознания — неужели это всего лишь ее отражение? И то, что представляется нам действием высшего разума, это чудо его диалектической творческой силы — неужели всего лишь внутренняя закономерность развития природы? И значит, мы все-таки рабы, а не господа собственной судьбы, значит, мы обречены на несвободу?

Нет! Ибо остается человек — властелин своих мыслей и решений, способный определять свою судьбу. Остается история. В ней действуют не бессознательные силы природы, но человек, определяющий цели в согласии со своей свободной волей. И все же — насколько она свободна? Разве может человек безнаказанно, не рискуя гибелью, преступить хотя бы один-единственный закон природы?

Да, да, снова сомнения! Снова бессонные ночи! Снова неуемное беспокойство мысли!

Когда в субботу днем Бауэр распахнул дверь, он опять нашел Фридриха за книгами.

— Вот ты где торчишь! Зарылся в книги, а между тем твои идеи привели в движение все умы в университете.

— Мои идеи? Надо бы еще раз просмотреть рукопись.

— Твою рукопись?

— Да. Я должен переработать последний раздел. Вот, видишь, я проглотил Фейербаха. Все, что он пишет о происхождении идей, о произвольности гегелевской системы. И у меня возникли сомнения в той категоричности, с которой мы восхваляем всесилие идеи.

— Несчастный безумец! Он сомневается в правильности собственных выводов, а они между тем стали уже историческими. Да, дружище, твой трактат давно напечатан. Он бушует во всех аудиториях и семинарах. Газеты публикуют первые критические отзывы. Друзья Гегеля вышли из оцепенения. Мархейнеке и Хеннинг цитируют его на лекциях целыми страницами. Руге негодует, что упустил возможность приобрести право первой публикации для своего «Ежегодника». Сегодня на лекции студенты впервые устроили Шеллингу демонстративную обструкцию. Хватит с тебя? Уж теперь-то твоя совесть спокойна?

— Почему я не получил гранки для корректуры?

— Нечего там было корректировать! Мы отпечатали слово в слово, как в рукописи. И правильно сделали. Хорошо, что мы не стали сокращать заключение, которое писалось с таким воодушевлением! Оно удалось на славу! Студенты на митинге цитировали из него целые фразы! Все поняли, что выступает против старика не какой-то там академический конкурент, сводящий приватные философские счеты с инакомыслящим коллегой, но рыцарь без страха и упрека, который с самыми чистыми намерениями, со страстью и пылом защищает достоинство разума и право свободы. А теперь одевайся, вся братия ждет тебя у Штехели. Надо еще многое обсудить относительно твоей второй брошюры. Она должна покончить с Шеллингом.

Фридрих, ошеломленный бесцеремонностью, с какой распоряжались им «Свободные», под шквалом словоизвержения приятеля потерял дар речи. Наконец он сдался:

— Хорошо. Я приду попозже. А теперь дай-ка мне экземпляр моего философского излияния.

Эдгар вытащил из кармана брошюру. Фридрих долго и

старательно брился, потом оделся, повязав шейный платок по всем правилам моды. Было бы ложью не признаться себе, что он волновался, когда стоял на Линиенштрассе перед дверью с табличкой «Д-р мед. Вальдек, практ. врач». Он услышал за дверью легкие шаги. Дверь отворилась, и в полутьме прихожей он увидел сестру Сюзанну.

— Ах, это вы, господин Энгельс.

— Я принес вам обещанный экземпляр.

— Мы давно прочли ваше сочинение. — Она улыбнулась. — Но как хорошо, что вы не забыли своего обещания. Входите, мой дядя хотел бы видеть вас, он в восхищении.

Приемные часы кончились. Без белого халата она выглядела иначе — более женственной, обаятельной. В гостиной навстречу им поднялся человек лет тридцати пяти, с открытым взглядом светлых глаз, густыми бровями и точеным орлиным носом. Он сердечно пожал Фридриху руку и окинул его испытующим взглядом с головы до пят.

— Так вот вы какой. Молодой человек, который в двадцать лет уже пользуется литературной известностью, а в двадцать один затевает дерзкий диспут с самым крупным из живущих философов. В самом деле, Сюзанна, ты не преувеличила! Он не только хорошо пишет. Он еще и весьма хорош собой.

Девушка покраснела до ушей.

— Полно тебе, дядя Юлиус! — сказала она растерянно.

Но врач только рассмеялся в ответ.

— Нечего стесняться! Вот видите, Энгельс! Эти женщины любят толковать об эмансипации и во всем подражать своему кумиру Жорж Санд. Но в сердечных делах они такие же жеманные гусыни, как раньше. Ну-с, дети, прошу меня извинить. Вон там, в буфете, вы найдете французский коньяк и кофе. Поболтайте в свое удовольствие. А меня призывает долг. — В дверях он еще раз обернулся. — Кстати, о всемогуществе идеи. Великолепно! Я тоже бредил этим десять лет назад, открывая свою практику в северной части Берлина. Но увы, с помощью самой хорошей идеи нельзя вылечить даже одного-единственного пациента. — Он кивнул Фридриху и своей племяннице и с дружески-ироничной улыбкой закрыл за собой дверь. Они остались наедине...

— Не обижайтесь на него, господин Энгельс, — сказала Сюзанна. — Он человек практический. В абстрактных теориях и философских системах он не слишком силен.

Фридрих посмотрел на Сюзанну.

— А вы? — спросил он.

— Честно говоря, я тоже, — сказала она с улыбкой, словно прося извинения. — И все же я с восхищением прочла ваше сочинение. Оно укрепило меня в убеждении, что вы обладаете таким стилем, который позволил бы вам помериться силами с лучшими из наших современных поэтов.

Казалось, Фридрих не слышал последнего замечания.

— Власть идеи... — проговорил он, — категоричность, с какой Гегель выводит из нее ход мировой истории. Я сам начал испытывать сомнения в этом. — Он зашагал по комнате. — Если идеи определяют историю, почему же тогда именно нашу Германию, страну величайших подвижников духа и философов, отличает безнадежная политическая отсталость? Почему именно на нас идеи Просвещения не оказали никакого политического влияния, в то время как в Англии, Нидерландах, во Франции, в Италии и даже в архикатолической реакционной Испании они вызвали мощные революции? — Он продолжал ходить по комнате. — Должны быть другие причины. Причины, лежащие вне идей, побуждения, действующие глубже, сильнее, чем сами эти идеи, исторические обстоятельства, влияющие независимо от идей на поступки людей, на их волю, на их политическое движение. Какие-то постоянно действующие факторы... — Он разгорячился. — Но ведь это означало бы, что все наши усилия в борьбе за изменение существующих условий бессмысленны и напрасны!

Фридрих продолжал приводить аргументы за и против гегелевского понимания истории. Он совершенно забыл, где находится, рвал и метал против несовершенства человеческого знания в области общественного развития, пока его взгляд не остановился наконец на Сюзанне, изумленно взиравшей на него.

— Простите, — опомнился он. — Опять закусил удила.

— Удила? — переспросила Сюзанна.

— Меня снова занесло, как любит выражаться мой отец.

Девушка улыбнулась.

— И пусть заносит, господин Энгельс. Не позволяйте останавливать полет ваших вдохновенных мыслей. С вашего разрешения я пока сварю нам кофе.

Фридрих от души расхохотался.

— Кофе! Да, кофе! — вскричал он. — Я вам буду помогать!

Было уже темно, когда он покинул дом на Линиенштрассе. Сюзанна! За каких-нибудь два-три часа она вдруг стала

ему такой близкой, такой родной, словно они были знакомы много лет. Она умела слушать с таким участием, что слова, мысли, тайные чувства, давно, казалось, забытые воспоминания просто сами выплескивались из души. Ее ненавязчивые, безобидно звучащие вопросы заставляли вспоминать подробности, которые в общем-то нельзя было рассказать никому другому. Только теперь ему пришло в голову, что сам-то он, собственно, ничего не узнал о ней. Она лишь упомянула о родственнике из Кёнигсберга, о том самом Иоганне Якоби, чей процесс в Берлинской судебной палате так взволновал умы.

Задумавшись, Фридрих не заметил, что уже шагает по Вейдендаммерскому мосту. Сюзанна! Разве когда-нибудь я разговаривал так непринужденно хотя бы с одной женщиной?

Фридрих, увязая в сугробах, перешел на другую сторону улицы. Значит, я влюбился, несмотря ни на что, ни на что... Перед ним возникло лицо Магдалены, дивная красота ее глаз. Он вспомнил горное кладбище в Давосе, крест на еще свежем могильном холме. Чтобы съездить в Милан прошлым летом, он выбрал обходной путь через Сен-Готардский перевал — хотелось проститься с ее могилой. Больно, все еще больно... Неужели мне никогда не превозмочь этой боли? Да и зачем? Она останется частью моего существа, будет со мной, пока я дышу. Но теперь я знаю, что воспоминание об ушедшей любви не делает глухим живое сердце. Новая любовь, новая жизнь. Сюзанна, такая земная, такая мудрая, все понимающая. Я хочу снова видеть ее. Я готов бросить все на чашу весов, чтобы завоевать ее сердце!

Он пришел в университет. В Большой аудитории, куда он сразу же направился, было шумно. Он с любопытством приоткрыл дверь. В зале собралось много студентов. Тот самый теолог, с которым он однажды дискутировал о Шеллинге, стоял на возвышении и что-то читал с театральным пафосом:

— «... и можем только сожалеть, что такой человек, как он [Шеллинг], попал в западню веры и несвободы. Когда он еще был молод, он был другим. Его ум, находившийся в состоянии брожения, рождал тогда светлые, как образы Паллады, мысли, и некоторые из них сослужили свою службу в позднейшей борьбе. Свободно и смело пускался он тогда в открытое море мысли, чтобы открыть Атлантиду — абсолютное, чей образ он так часто созерцал в виде неясного миража, поднимавшегося перед ним в морской дали. Огонь

юности переходил в нем в пламя восторга; богом упоенный пророк, он возвещал наступление нового времени. Вдохновленный снизошедшим на него духом, он сам часто не понимал значения своих слов».

И тут Фридрих понял: там читают его брошюру!

— «Но огонь угас, мужество исчезло, находившееся в процессе брожения виноградное сусло, не успев стать чистым вином, превратилось в кислый уксус. Смелый, весело пляшущий по волнам корабль повернулся вспять, вошел в мелкую гавань веры и так сильно врезался килем в песок, что и по сю пору не может сдвинуться со своего места».

Раздаются аплодисменты слушателей.

— Дальше! Дальше! — требует толпа.

Фридрих некоторое время слушал, а потом тихо закрыл дверь. Никто его не заметил. Выходя, он дружески кивнул сторожу, немного постоял во дворе, глядя на освещенные окна. Снова аплодисменты, снова ликующее одобрение. Ему казалось непостижимым это воздействие его собственной книги.

Значит, все-таки власть идеи? Все-таки орудие духа, правильно примененное в борьбе с врагом? Радость, удовлетворение и благодарность наполнили его сердце.

Число слушателей Шеллинга сильно сократилось. Из Большой аудитории апостол философии откровения перебрался в какую-то маленькую. К удовольствию друзей, Фридрих с ходу сочинил сатиру на Шеллинга. Она тоже была напечатана анонимно, но по силе воздействия уступала первому сочинению, продиктованному священным негодованием. Оно продолжало ходить по рукам, Мархейнеке продолжал цитировать его в лекциях, и даже за границей появились хвалебные рецензии. Вышел польский перевод. Все пытались угадать автора. Но «Свободные» хранили тайну. «Это язык якобинцев», — подзуживала «Евангелическая церковная газета» и требовала, чтобы полиция и судебные власти занялись наконец опасным сочинением. Во время одного из редких визитов в пасторский дом Фридрих услышал жалобы дядюшки Морица на то, как много развелось при дворе явных и тайных сторонников учения Гегеля. Однажды вечером у Штехели к Фридриху подошел молодой русский философ Бакунин. Несколько научных публикаций зарекомендовали его как революционного демократа и левого гегельянца и принесли ему определенную известность в гегельянском лагере. Бакунин сердечно поздоро-

вался с Энгельсом и вытащил из кармана небольшой пакет.

— Я уже несколько дней жду возможности передать это настоящему адресату.

Фридрих с недоумением повертел в руках пакет.

Бакунин усмехнулся.

— Его по ошибке прислали мне.

Фридрих развернул пакет. В нем оказался дорогой золотой портсигар, к нему была приложена записка: «Браво защитнику великого Гегеля!»

Бакунин пояснил:

— Это от некой высокопоставленной особы, пожелавшей остаться неизвестной.

Неужели можно сомневаться в правильности гегелевской концепции истории? В господствующей роли философского мышления для судеб нации? И все же какая-то смутная неудовлетворенность тревожила Фридриха. Сюзанна, Вальдек, Шмидт, эмигранты, люди из Вупперталя, простые парни в казарме, многие люди, которых он ежедневно встречал на улицах, самые различные слои народа, кроме маленькой кучки «Свободных», — все те, без кого не может быть никакой революции, не лежат ли в основе их поступков совсем другие мотивы?

— Наконец-то вы пришли! — встретила его хозяйка. Она буквально дрожала от возбуждения. — Вы ничего не знаете? У вас гости!

Фридрих спокойно снимал шинель:

— Кто же это?

— Дама! — зашептала хозяйка. — Настоящая дама! — прибавила она с выражением глубочайшего почтения и застонала: — А я приняла ее в кухонном фартуке!

— Да кто же это? Моя тетя?

Хозяйка протянула ему визитную карточку. Фридрих прочитал и удивился.

— Элизабет фон Арним?..

— Она пожелала непременно ждать в вашей комнате.

— Неужели сама Беттина?

— Слава богу, я там прибрала. Нет, вы представляете, в кухонном фартуке.

Фридрих подошел к двери.

— Придется постучать.

— Стойте! — Хозяйка почистила щеткой его одежду и пригладила волосы. — Вот так. Теперь можете идти. — Она постучала и открыла дверь: — Господин Энгельс, госпожа баронесса.

Фридрих вошел. За его письменным столом сидела самая знаменитая женщина Берлина. «Ей, наверно, далеко за пятьдесят, — констатировал Фридрих, — но глаза ее излучают все тот же молодой блеск».

— Чем я заслужил такую честь, милостивая государыня?

Знаменитая Беттина обернулась к хозяйке.

— Будьте любезны, оставьте нас наедине.

— Пожалуйста, пожалуйста! — Женщина сделала книксен и удалилась.

Посетительница повернулась к Фридриху. Довольно придирчиво она оглядела его с головы до пят.

— Фридрих Энгельс, он же Освальд... Молодой человек из Вупперталя. Очень молодой, сказала бы я. И уже такая известность!

Фридрих пытался смущенно возразить·

— Видите ли...

Знаменитая Беттина жестом остановила его.

— Позвольте я закончу свою мысль! Открытие Гуцкова. Еще бы — «Письма из Вупперталя»! Глубокое сочувствие бедным, потом полемические статьи, путевые записки, стихи во многих журналах под псевдонимом Освальд. Талант, к которому стоит прислушаться. Сомнения в боге. Сердце, кровоточащее любовью к родине. Безустанный поиск правды. Бёрне, Гегель — наконец, наконец свет истины. Год назад появились «Скитания по Ломбардии». Вы любили и были любимы. Потом вас задела тень смерти. После чего вы отправились в Берлин добровольно служить артиллеристом в гвардии. Может быть, от отчаяния? Потом подозрительные «Свободные»... — Она остановилась. — Вот видите, я могла бы написать о вас целый роман. Я в чем-нибудь ошиблась?

Фридрих был весьма обескуражен точностью ее информации.

— Я поражен...

Посетительница бросила на него быстрый взгляд.

— Вы и вправду думали, что можно скрыться от меня? — Поднявшись и подойдя к Фридриху, она добавила: — Вы будете время от времени бывать в моем салоне, не так ли?

— Это большая честь для меня... — пробормотал Фридрих, — но...

— Никаких «но»! У нас так мало интересных молодых людей. И совсем нет поэтических талантов.

— С поэзией, сударыня...

— Покончено. Ее времена прошли. Теперь наш козырь — философия. Ах да, я и забыла кульминацию вашей романтической истории. Философское полемическое сочинение, отчаянно дерзкий вызов, брошенный величайшему из ныне живущих немецких философов: «Шеллинг и откровение».

— Вы и это знаете?

Беттина лукаво взглянула на него:

— Теперь знаю. До сих пор это было лишь предположение. Стиль, знаете ли.

— Вы прочли брошюру?

— И поняла. — Она наклонила голову. — Брошюра возбудила больше толков, чем вы полагаете. О ее анонимном авторе ходят разные слухи. Я заключила пари с Гумбольдтом. Он поставил на этого русского философа Бакунина. Я — на Освальда. Но не беспокойтесь. От меня никто ничего не узнает. Я не употреблю во зло ваше доверие. У меня свои счеты с цензурой, и я не доверяю теперешнему затишью.

Фридрих, снова обретя хладнокровие, придвинул ей стул.

— Не угодно ли присесть? Может быть, чашку чая?..

— Сначала скажите, когда у вас найдется свободный вечер?

Фридрих посмотрел на нее вопросительно.

— У меня есть один добрый знакомый, — заявила Беттина, — который очень хотел бы познакомиться с вами.

— Могу я узнать, кто это?

— Да. И вы можете отклонить мое приглашение, если это знакомство будет вам неприятно. — Она выдержала паузу, внимательно глядя на него. — Это Шеллинг.

— Шеллинг! — Фридрих перевел дух. — Вот так сюрприз!

— Он совершенно одержим желанием лично встретиться со своим противником, — заключила гостья.

Фридрих дал согласие. Они условились, что он нанесет ей визит в ближайшую пятницу. Знаменитая Беттина не скрывала своей радости: ее миссия удалась. Она провела у него еще час, выпила чаю, не стесняясь болтала о пустозвонстве, угодничестве и бесхарактерности придворного общества. Все приближенные и фавориты короля были ей отвратительны. Конституция, свобода печати, разум и свет — таковы были ее требования. Пруссии они были нужней, чем любой другой стране, чтобы избежать надвигающейся катастрофы. Она многого ждала от молодого поколения. С на-

пряженным интересом она расспрашивала Фридриха о новейшей оппозиционной литературе. Она была начитанна, и Фридрих изумлялся верности ее суждений. Она жила не временем ее блестящей молодости, связанной с Гёте, Бетховеном и великими талантами раннего романтизма, а современностью. Ей хотелось знать все о «Свободных». По публикациям ей были известны имена Бруно Бауэра, Кёппена, Маркса, Науверка, Буля, Мейена, Рутенберга. После ее ухода Фридрих еще долго думал об этой женщине.

По мере того как приближалась пятница, Фридриху становилось все неуютнее при мысли о встрече с Шеллингом. Его тянуло к Сюзанне, хотелось рассказать ей все, услышать ее мнение.

Несмотря на поздний час, в приемной ожидало еще много пациентов. Был четверг, а по четвергам доктор Вальдек бесплатно лечил детей из бедных кварталов. Их худенькие личики напомнили Фридриху детей фабричных рабочих у него на родине. Сюзанна смогла уделить ему лишь несколько минут. Она просила не ждать ее, поскольку по четвергам прием всегда затягивается допоздна, но зато обещала увидеться с ним завтра вечером.

На следующий день в назначенное время он появился в городском доме Арнимов на Фридрихштрассе. Хозяйка дома приветствовала его как старого знакомого.

— Наш почтенный гость в библиотеке, — сказала она, — и не следует заставлять его ждать.

— Ни пуха ни пера, — прошептала дочка Беттины, озорная девица с кукольным личиком, вслед Фридриху, которого ее мать, подхватив под руку, увлекла к библиотеке.

— Ну, смело в бой!

— Скажите мне только, на чьей вы стороне?

— Как вы можете спрашивать? Хотя я и в зрелом возрасте, но, как всегда, безусловно, на стороне молодости. — Она отворила дверь. — Вот тебе твой серьезный противник, Фридрих Вильгельм, — сказала она с легкой иронией в голосе.

Шеллинг поднялся и пошел им навстречу. Увидев Фридриха, он на какой-то миг остановился в недоумении, но потом на его лице появилась ослепительная дружеская улыбка. Широким театральным жестом он развел руки.

— Сама молодость! — воскликнул он. — Я ждал всего, но это... — Он схватил Фридриха за руку и повел его к креслу. — Спасибо, что пришли. Садитесь, пожалуйста! Я прочел ваше сочинение, направленное против меня, с

величайшим интересом и могу только завидовать другу моей юности Гегелю, могилу которого охраняют такие преданные, отважные защитники.

Беттина разлила чай и сказала:

— Ну, теперь я могу удалиться. — И Фридрих остался наедине с Шеллингом.

Он предполагал встретить упрямого, властолюбивого человека, который воспользуется преимуществом возраста и известности, чтобы сбить с толку и поставить на место совершенно неизвестного критика. Однако он заблуждался. Старик говорил с ним благожелательно и спокойно, почти как с равным. Поначалу он не стал касаться спорных пунктов, зато поинтересовался мнением Фридриха обо всех возможных противоречиях в лагере Гегеля. Фридрих чувствовал, что его экзаменуют, отвечал дельно и лаконично и старался не обнаруживать пробелов в своих знаниях. Но, когда Шеллинг выставил против Гегеля Фейербаха, иронически отозвавшись о его антропологическом высокомерии, Фридрих не выдержал и бросился в атаку.

Лицо Шеллинга осветила дружеская усмешка. В его голосе зазвучали сомнение и сочувствие.

— Вы, дорогой друг, стоите на пороге жизни и верите, что мир может быть завоеван мановением руки. Вы напомнили мне мою собственную юность. С годами начинаешь приспосабливаться к тому, что невозможно изменить.

— Никогда! — разволновался Фридрих. — Человек родился не для того, чтобы подчиняться, а чтобы бороться. И, по моему глубочайшему убеждению, он должен победить.

Шеллинг задумчиво кивнул:

— Да, да! Я тоже верил во всесилие человеческого духа, в божественное предназначение разума...

— Божественный или нет — он бесконечен, как сама природа! — воскликнул Фридрих.

Шеллинг грустно продолжал:

— Гегель и Гёльдерлин были моими однокашниками в Тюбингене. Великая французская революция была нашей общей юностью. Руссо и Фихте — нашими кумирами. Великая надежда на новый мир...

Он замолчал. Его лицо, утратив театрально искусственное выражение, стало вдруг очень старым, очень усталым и осунувшимся. Фридрих вспомнил деда. Они помолчали. И только когда старик, словно очнувшись от воспоминаний, отхлебнул глоток чаю, Фридрих спросил тихо, с состраданием:

— Почему вы не сохранили верность юношеским идеалам? В этом городе все, кому свойственны жар души и юношеская сила, встретили бы вас ликованием, а не оскорблениями!

Шеллинг смерил Фридриха каким-то странным сверлящим взглядом. И вдруг покачал головой:

— Нет! Вы не похожи на человека, который не знает, куда с тех пор повернула история. Царство разума задохнулось в хаосе. Великая революция закончилась самовозвеличиванием Наполеона, прорыв к свободе — абсолютным произволом.

Фридрих добавил:

— А национальное освобождение немцев — реставрацией средневековья, я знаю. Но и Гегель пережил все это и все же остался неколебимо верным своим принципам.

Шеллинг отмахнулся.

— Этому мировому духу, который постигает себя в человеческом сознании? Этому абсолютному рационализму, для которого реальность служит лишь доказательством его аксиом? Еще бы, ему было легко презирать факты и не поддаваться никаким влияниям извне.

— Напротив, — возразил Фридрих, — ему было бесконечно трудно. Ибо он продолжал идти трудным путем науки, в то время как весь свет вокруг него погряз в пессимизме, мистике, романтике и теософии.

На лице Шеллинга снова появилась ироническая улыбка.

— Путем науки. Громкие слова. Как я слышал, вы и стихи пишете, мой юный друг. И при этом вовсе не производите впечатления далекого от мира резонера, способного мыслить только абстрактными категориями. Вы чувствуете, что между небом и землей существует множество явлений, которые не под силу объяснить никакой, хотя бы и самой изощренной, теории. Что же может вам дать Гегель?

— Веру в прогресс человечества, несмотря на все отступления и противоречия. Диалектика — душа этого прогресса, вечная движущая сила сознания в стремлении к совершенству. Все, что существует, достойно гибели. Жизнь есть вечное становление, процесс, переход от низшего к высшему — вот что открыл нам Гегель. В этом тайна его воздействия на нас «из могилы».

Шеллинг задумчиво взглянул на Фридриха.

— Понимаю. Вы еще слишком молоды, чтобы постичь, что никогда не прекращающийся прогресс есть не что иное,

как химера. То, что не имеет цели, не имеет конечного пункта, не имеет и смысла.

— Не имеет смысла? Уверенность, что старое порочное общество должно погибнуть и уступить наконец место человеческому порядку — химера? Значит, по вашему мнению, все битвы, все страдания и жертвы человечества не имели смысла?

Шеллинг усмехнулся с горьким сарказмом.

— Вы тоже рано или поздно поймете, что все позитивно существующее обладает внутренней силой и насмехается над идеей, какой бы благородной она ни была.

— Но и дух обладает реальностью, господин профессор, обладает природной силой, ибо он свойствен природе человека и определяет его волю.

— Тут вы далеко превзошли Гегеля. Будь дух просто природной сущностью, он был бы бессилен и несвободен, как все в природе, — бессилен, ибо находился бы в плену причинности и слепо подчинялся бы высшей судьбе.

— Значит, он должен познать внутренние законы естественной необходимости и подчинить их своей воле.

— Это не под силу человеческому духу.

— И следовательно, может быть результатом только божественного откровения. А значит, мы могли бы счастливо обойтись теологией.

Шеллинг, словно защищаясь от удара, поднял руку. В первый раз в нем почувствовалась неуверенность.

— Вы ложно истолковали меня, дорогой друг.

— Вы сами ложно истолковали себя, отрекшись от вашего принципа тождества, от провозглашения непобедимости человеческого разума.

— Мир духа беспределен. Это мое убеждение — теперь, как и прежде. Но он лишается всякой свободы, всякой суверенности, как только позитивно конституирует себя в реальном. Здесь власть духа кончается, здесь поставлены абсолютные пределы сознанию.

— Только для того, кто раньше времени складывает оружие, господин профессор, но не для того, кто видит смысл человеческой жизни в том, чтобы изменять мир.

— Это не зависит от вашей воли, молодой человек!

— От моей, конечно, не зависит. Но я не один. На моей стороне — тысячи людей. И мы не успокоимся, пока на нашу сторону не встанут миллионы, весь народ. То, что вы называете химерой, господин профессор Шеллинг, — безусловная вера в дальнейшее развитие человеческого рода,

есть содержание нашей жизни, наша сила, наша уверенность, которая делает нас непобедимыми.

Фридрих видел, как вдруг набрякло, стало каменным лицо собеседника. Ученый резко поднялся. В его голосе зазвучала ледяная холодность.

— Я надеялся найти в вас человека ищущего, с которым можно дискутировать. Но теперь я вижу, что вы не кто иной, как витающий в облаках мятежник, начитавшийся Гегеля.

— Ты не останешься на ужин? — спросила Беттина, когда Шеллинг стал раскланиваться. Он поблагодарил и отказался.

— Прости! Мне теперь нужно побыть одному.

— Ты выглядишь бледным, — заметила баронесса и взглянула на Фридриха. — Он так утомил тебя?

Шеллинг тяжело вздохнул.

— Ах, Беттина, этот мир... ваш Берлин... Этот абстрактный Гегель. Я никогда не мог понять, почему этот человек мог так воздействовать на умы.

— А теперь понял?

Шеллинг опустил глаза.

— Дело не в помпезном здании его философии. Не в том, что он предпринял все же довольно впечатляющую попытку универсального истолкования мира, нет! Секрет в том, что представляется мне наиболее неудобоваримым, наиболее абстрактным, — в его ловкой методе выводить каждое понятие из противоположного; он окрестил ее «диалектикой». Дух противоречия соблазняет умы, Фауст и Мефистофель — извечное беспокойство сознания, страсть к отрицанию, уничтожению всего, что есть, стремление все начать заново. Против этого нет противоядия.

Беттина бросила на него быстрый взгляд.

— Значит, ты откажешься от своего крестового похода против Гегеля? — спросила она.

Шеллинг уклонился от ответа:

— Мне нужно многое обдумать. Я полагаю, что приезд в Берлин был величайшей ошибкой моей жизни.

Беттина мягко возразила:

— Ты можешь уехать обратно!

Философ горько усмехнулся:

— Молодежь не оставляет нам пути назад.

За столом на Фридриха накинулись дочки Арнимов:

— Расскажите, господин Освальд, как прошел ваш диспут?

Фридрих не знал, что им отвечать.

Макси воскликнула:

— Он покинул поле боя огорченным. Вы одержали победу?

— Победу... — сказал он удрученно. — Если бы это было так просто.

— Полно, оставьте его в покое, мучительницы.

Как только позволили приличия, Фридрих, к огорчению девиц, откланялся. Сюзанна ждала его. Ей тоже было интересно узнать о встрече. Фридрих ограничился тем, что описал в нескольких словах, как проходила встреча, о содержании разговора он умолчал.

— Надо еще многое продумать, — мрачно заявил он. — Гегель, Фейербах. Это еще не вся правда.

Сюзанна не приставала с расспросами. Она приготовила ему сюрприз: два билета в Оперу на 23 марта. Большой концерт гениального, неотразимого, божественного Ференца Листа! Чего только он не предпринимал, чтобы попасть хотя бы на одно из выступлений великого пианиста! Тщетно. И вот — билеты на торжественное открытие гастролей!

Он хотел поцеловать Сюзанну. Но она ловко увернулась, не позволив обнять себя.

— До двадцать третьего! — сказала она с улыбкой, полной скрытого значения.

«До двадцать третьего, — мысленно повторял он, шагая по Фридрихштрассе. — Это больше недели!»

Дома его ждал Эдгар Бауэр. Он сидел за столом — угрюмый, огорченный:

— Эти негодяи в Бонне добились своего! — Эдгар вытащил из кармана письмо: — Читай, что пишет оттуда мой брат!

Фридрих пробежал глазами строчки письма:

— Его уволили из университета!

— Да. Теперь и доктору Карлу Марксу бессмысленно надеяться на кафедру в Боннском университете. Враги свободной мысли одержали победу.

— Победу? Но мы-то еще существуем! У нас остались еще Берлин, Галле, Лейпциг, «Ежегодник» и «Рейнская газета».

Эдгар Бауэр почти с яростью посмотрел на него и закричал:

— Ты разве не понимаешь? Ни в Бонне, ни в каком другом немецком университете никогда уже не будет ни доктора Бруно Бауэра, ни доктора Карла Маркса!

— Как нет ни профессора Штрауса, ни Фейербаха! От этого их мысли ничуть не менее действенны. Ведь так, Эдгар? Никакая власть в мире не может в административном порядке запретить истину! Мы не будем сложа руки смотреть, как торжествует обскурантизм.

— Но что мы можем? Все протесты со стороны «Свободных» будут только водой на мельницу реакции.

Фридрих задумался.

— Нет, не стоит затевать обычной шумихи с протестами, — решил он. — У духа есть и другое оружие.

— Оружие! — язвительно воскликнул Эдгар.

Фридрих видел, что, пока Эдгар пребывает в таком состоянии, говорить с ним бесполезно. Он предложил обсудить дело завтра вечером с друзьями.

Красная комната у Штехели была переполнена. Новость из Бонна вызвала у «Свободных» приступ праведного гнева. Все были согласны с Фридрихом, что наступлению реакции нужно противопоставить силу духа и остроумие.

— Да, Фриц, нужно написать новую статью!

— Нет, — заявил Фридрих. Ночью ему пришла в голову идея получше. — На этот раз не надо полемик. Напишем пародию. Христианскую героическую поэму. Мы эту публику убьем смехом. — И он пояснил свой замысел. — Толпу праведных ревнителей веры теснит ужасное дьявольское отродье мыслящих гегельянцев, ужасных атеистов, исчадий ада. Бруно Бауэр, некогда правоверный теолог, соблазненный рафинированным Мефистофелем по имени Гегель, проникает с помощью дьявольской уловки в боннское святилище.

Остальные закончили историю:

— А с ним черное чудовище Маркс, самое опасное исчадие философии!

— В Берлине, Лейпциге и Кёльне Гегель собирает под свои знамена дикую сатанинскую орду.

— Толпа верующих рвет и мечет...

— Ангелы на небесах ужасаются.

— Диалектика угрожает уничтожить чудесный немецкий порядок, дарованный божьей милостью.

Фридрих заразился общим боевым настроением. Он уже видел поэму написанной. Сами собой рифмовались ямбы:

К нам шлет великую блудницу Вавилон:
Богиню разума; дрожат алтарь и трон.
Чем *Руге* не *Дантон?* Второго *Робеспьера*

Мы видим в *Бауэре! Марата*-изувера
Еще превозойдет проклятый *Фейербах*!..

Все собравшиеся в комнате ликовали.

— Я уже придумал название, — воскликнул Фридрих. — «Библии чудесное избавление от дерзкого покушения»...

Мейен докончил:

— «Или Торжество веры».

В глубине зала поднялся из-за столика пожилой человек, которого Фридрих раньше не видел.

— Издатель у вас уже есть! Мне нравятся идея и название.

Фридрих вопросительно посмотрел на этого человека. Эдгар Бауэр пояснил:

— Ты его еще не знаешь? Отто Виганд из Лейпцига, издатель твоего сочинения против Шеллинга.

«Вот оно что. Значит, это и есть знаменитый Виганд, организатор радикальной оппозиции». Они обменялись сердечным рукопожатием. Виганд сказал:

— Ваш анти-Шеллинг оказался прибыльным. На брошюру до сих пор держится спрос. Мы печатаем и печатаем и все еще не можем его удовлетворить. Тираж вашего сочинения уже превысил тиражи всех книг Шеллинга по «позитивной философии».

— Вот это здорово! — воскликнул Науверк. — Правительство отбирает у нас кафедры, но наши идеи попадут в головы студентов и из-за стен университетов.

Фридрих добавил:

— Наши идеи станут тяжелыми снарядами и легкой картечью. И мы обрушим их на реакционное мракобесие и глупость, пока не падут их последние бастионы!

Виганд одобрительно рассмеялся:

— Мне нравится такой язык! Я получу право на издание вашего нового сочинения?

Фридрих протянул ему руку.

— Разумеется. Даю вам слово!

Фридрих попросил принести бумагу, чернила и перо. Буль взял на себя роль писца. Меряя комнату широкими шагами, Фридрих диктовал. Каждая удачная строфа встречала восторженный прием слушателей. Посыпались подсказки, но Фридрих не давал себя сбить воодушевившейся компании. Он принимал только то, что ему казалось подходящим.

В полночь первая часть поэмы была почти готова. Буль еще раз перечитал текст. Чтение сопровождалось взрывами смеха и восторженным одобрением присутствующих. «Свободные» собирались несколько вечеров подряд, и Фридрих диктовал стихи, которые успел сочинить днем в казарме. Поэма разрасталась. Виганд не скупился на угощение. «Свободные» были в ударе. То, что вчера еще казалось неопределенным и сомнительным, сегодня было забыто.

23 марта наступило быстрее, чем ожидалось. В этот день вся берлинская придворная, чиновная и денежная аристократия направилась в оперный театр, чтобы услышать знаменитого Ференца Листа. Унтер-ден-Линден была запружена тысячами людей, к театру подкатывали богатые кареты. В фойе, на лестницах, в оконных нишах — всюду их светлости, князья, герцоги, графы, превосходительства, генералы, бароны и советники. А туалеты дам! Над ними потрудилась целая армия портных и ювелиров. Мужчины же были увешаны сверкающими орденами. При виде этих регалий у простого человека должны от благоговения задрожать коленки. Фридриху едва ли удалось бы выдержать это зрелище без смеха, не будь рядом Сюзанны. Сюзанна в простом, совсем недорогом платье, но с осанкой и манерами королевы, была самой красивой из всех. И это прелестное существо, это чудо природы опирается на его руку! Да, жизнь прекрасна!..

И потом — музыка, музыка... Один-единственный, такой одинокий этот человек на огромной сцене — как тогда Магдалена! И он с помощью музыки создает волшебное царство, озаряющее светом все земное. Не надо слез! Рядом с тобой — сама цветущая жизнь, и ее глаза сулят надежду!

Мечтательные пассажи сменились сатанинским стаккато, словно на публику обрушился разящий огненный меч. Но публика не защищалась, она неистовствовала, неистовствовала от восторга. Потом снова тишина. «Грезы любви». На сцене рядом с пианистом появился актер. Под музыку он прочел стихи Фрейлиграта.

Люби, пока любить ты в силах,
Люби, коль хочешь ты любить.
Настанет день — у гроба милой
Придется горько слезы лить!

И сердце пусть твое пылает
Любовью искренней светло,

Когда другое посылает
Ему и нежность, и тепло!

Ты сердцу, что тебе открылось,
Все отдавай без лишних слов,
Чтоб счастьем каждый день светилось,
Не зная горестных часов!

И помни, больно ранит слово,
Легко и зло сорвавшись с уст.
Не знай намеренья дурного,
Других ищи и слов, и чувств*.

Рука Сюзанны коснулась руки Фридриха. Занавес опустился. Сюзанна быстро поднялась, увлекая его за собой. В этот момент публику словно прорвало, и зал разразился бурей оваций. Сюзанна, едва позволив Фридриху накинуть шинель, стремительно сбежала вниз по лестнице на улицу.

У подъезда толпились любопытные.

— Идемте! — Это было первое слово Сюзанны с начала концерта.

Они пробились сквозь толпу на другую сторону Унтер-ден-Линден. Фридрих и без слов понимал, что Сюзанна хотела остаться с ним наедине. Только бы не рассыпать, не погубить впечатление от услышанного...

Но возле университета их окружила компания «Свободных».

— Фридрих, друг! — вскричал Эдгар Бауэр, заключая его в объятия.

Фридрих не успел сообразить, что произошло.

— Виктория, Фридрих! Победа! — радостно вопили друзья. — Враг побежден! Шеллинг только что объявил в университете, что прерывает курс лекций по «позитивной философии».

— Это правда? — Фридрих был поражен. — Неужели правда?

— Поезжай в Галле! Ты увидишь своими глазами, что он уже объявил там о своем переезде.

Мейен тоже обнял его.

— Дружище, родная душа! Какой триумф! Берлин снова принадлежит нам, «Свободным».

---

* Перевод В. Сазонова.

Буль со смехом крикнул ему в лицо:

— Ты все еще сомневаешься в силе идеи?

Постепенно Фридрих начал понимать всю важность новости.

— Черт подери! Громы небесные! Тысяча дьяволов! Я никак не могу постичь, что человек, подобный Шеллингу...

— Это следует отпраздновать! — предложил Эдгар Бауэр, и все с восторгом присоединились к нему.

Фридрих радостно рассмеялся и заметил, подмигнув:

— Еще бы. Вы всегда найдете причины для пирушки.

— Решено и подписано! — заявил Бауэр. — Но на сей раз мы устроим настоящий праздник! Созовем всех гегельянцев и покажем, что в Берлине мы большая сила!

Вдруг Фридрих опомнился.

— Где Сюзанна? — спросил он.

В порыве радости он на несколько минут упустил девушку из виду.

— Она ушла, — сказал Кёппен. — Вон она едет.

Фридрих кинулся вслед за экипажем, крича и размахивая руками, но было поздно, экипаж уже завернул за угол. Свободного экипажа нигде не было видно.

Фридрих в растерянности остановился у дворца. Приближалась смена караула. Со стороны университета доносился звонкий голос Буля:

— Никакая сила в мире не может противостоять идее!

Словно в насмешку над этим возгласом мимо Энгельса с неподвижными лицами маршировала эта вооруженная сила. Никакая сила в мире не может противостоять идее? Фридрих рассмеялся саркастически, злым и горьким смехом. Перебежав через мост, он кинулся на Линиенштрассе. Но дом Сюзанны был погружен в темноту. Возвращаясь домой, он пытался утешить себя мыслью о том, что Шеллинг, великий Шеллинг все-таки был побежден. А завтра он уладит отношения с Сюзанной!

На большом плацу, где часами упражнялись в артиллерийской стрельбе, дул морозный ветер. День казался бесконечным. Но вот занятия кончились, и Фридрих чуть ли не бегом бросился из казармы в кондитерскую на Фридрихштрассе, где купил самую большvю коробку конфет. С нею — в качестве искупительной жертвы — он и отправился на Линиенштрассе. На этот раз ему открыла не Сюзанна, а старая экономка доктора Вальдека.

— Мне очень жаль, молодой человек, но мадемуазель Сюзанна никого не принимает.

Фридрих перепугался:

— Она больна?

Экономка замялась:

— Н-нет.

Фридрих понял. Он протянул ей коробку.

— Прошу вас, передайте ей в знак моего глубочайшего покаяния.

— Красивая коробка, — с сожалением заметила экономка, — но я не знаю, как она...

— Я приду опять завтра вечером, точно в это время, — простился он.

На следующий день ему вернули коробку через экономку, сопроводив советом тратить карманные деньги на более разумные цели.

Фридрих тут же избавился от нее, отдав конфеты какой-то маленькой пациентке, цеплявшейся за руку изможденной матери.

— Так легко вы от меня не отделаетесь, сестра Сюзанна! — бормотал он, шагая по Фридрихштрассе в обратном направлении.

Три дня он выдерживал характер. На четвертый прямо из казармы он отправился к Эдгару, снял мундир и всучил приятелю пачку бинтов. Преданный друг все понял и перебинтовал ему сверху донизу здоровую руку. Укрывшись неподалеку, Фридрих терпеливо ждал, пока из двери знакомого дома не вышел доктор Вальдек со своим саквояжем, чтобы начать ежедневный обход пациентов.

Энгельс вошел в дом и без труда проник в кабинет, где Сюзанна, как обычно, занималась уборкой. Она бросилась к нему с испуганным возгласом:

— Ради бога, что с вами случилось?

Состроив страдальческую мину, он простонал:

— Ужасная неприятность. — И позволил усадить себя на стул.

— Доктор, к сожалению, уже ушел.

— Какая досада!

— Я посмотрю рану, — сказала она, начиная разматывать бинты.

Он застонал.

— Так больно?

— Ужасно.

Было невыразимо приятно ощущать прикосновение

нежных рук Сюзанны, чувствовать тепло ее тела.

— Я понимаю, с моей стороны было непростительно забывать о вас в тот вечер. Но мне пришлось горько раскаяться в этом. Прошу вас, простите меня.

Сюзанна казалась неприступной.

— Полноте, Фридрих. Неужели вам не надоело?

— Я не могу отказаться от того, чем не обладаю, никогда не обладал и никогда не буду обладать. Но что прикажете делать бедному ваганту, если сердце его пленено вами?

— Вы пришли в качестве пациента или распускать нюни?

Фридрих изобразил на лице гримасу боли.

— Ох, осторожно, — взмолился он. — Да, пациента, которого может исцелить только одна-единственная сестра на свете.

Наконец Сюзанна поняла, что ее разыгрывают. Если до сих пор она разматывала бинт очень бережно, то сейчас содрала его одним рывком:

— Вы обманщик!

Он поймал ее руки.

— Дайте мне шанс, Сюзанна, дайте хоть какую-нибудь, хоть крошечную надежду, пожалуйста, пожалуйста!

Она высвободила руки, взглянула на него сверху вниз.

— Ну хорошо, — сказала она наконец. — Приходите в субботу на кофе.

Он поцеловал ей руку.

— Спасибо, спасибо, сестра. Я снова здоров. Я снова ожил. Мир снова увидит радостную улыбку на моей физиономии.

Как преобразился Берлин в эту первую субботу апреля! Весна прорвалась сюда буквально в одну ночь — поздняя весна, с буйной энергией уничтожившая мгновенно все остатки зимы.

Город был залит сияющим солнечным светом. На улицах полно народу. Стар и млад вышли на прогулку, кругом радостные лица, яркие туалеты.

В субботу после службы Фридрих одним из первых покинул казарму. Он торопился и даже не стал переодеваться. «До субботы», — сказала Сюзанна на прощанье, и, значит, надо использовать каждую минуту свободного вечера. По дороге он купил букетик первых крокусов и через несколько минут уже стоял перед домом на Линиенштрассе.

— Иоганн Якоби приехал, — сообщила Сюзанна. — Сегодня ему вынесли приговор.

— И что? — спросил Фридрих с напряженным интересом.

— Два с половиной года заключения в крепости, — промолвила она почти беззвучно. В ее глазах стояли слезы. Она провела его в гостиную. Здесь рядом с Вальдеком сидели Якоби и его сестра с замкнутым, страдальческим лицом. Якоби, казалось, ничуть не был подавлен приговором, он сердечно протянул руку Фридриху, похвалил стиль его антишеллинговской брошюры и осведомился о его дальнейших планах. Только позже, за обедом, когда Фридрих рассказал о своем намерении написать о процессе над Якоби в «Рейнскую газету», разговор зашел о приговоре, каждый пункт которого был юридически сомнителен и легко мог быть опровергнут. Якоби смеялся.

— Мне дали понять, что следует отказаться от апелляции. Я рискую тем, что верховная инстанция снова предъявит мне обвинение в государственной измене, и вместо двух с половиной лет я вполне могу получить пожизненный срок. Мне посоветовали подать прошение о помиловании и уповать на короля.

— Их план понятен, — сказал Фридрих. — Вы сами признаете себя виновным и к тому же даете королю повод проявить великодушие и милосердие.

— И значит, все окажется напрасным! — Якоби с улыбкой посмотрел на женщин. — Вот, послушайте-ка его!

— Но ты сохранишь свободу, твои друзья будут спокойны за тебя, многие сотни пациентов получат врача, в котором так нуждаются! — взволнованная Сюзанна не могла сдержать слез.

Сестра Якоби пыталась утешить ее:

— Иоганн знает, как следует поступить. Он знает это лучше всех, а наше дело — слушаться его.

Фридрих пригласил общество совершить прогулку за город. Старшие поняли, что ему хочется побыть с Сюзанной наедине, и сослались на неотложные дела.

Они наняли лодку недалеко от Вейдендаммерского моста. Фридрих греб, пока город не скрылся из виду. Он нашел в Тиргартене укромный уголок, словно созданный для любовных парочек. Но им было как-то не до нежностей; приговор, вынесенный Якоби, продолжал занимать их мысли.

— Иногда, Фридрих, — сказала девушка, — когда я

думаю об Иоганне, о несчастных людях, которым пришлось провести за решеткой лучшие годы жизни, обо всех гонимых, преследуемых, презираемых, я спрашиваю себя: какой в этом смысл? Столько жертв принесено во имя свободы, и ни одной победы. Зачем люди это делают? Неужели они не могут найти иного пути к счастью?

Фридрих проследил за ее взглядом, скользнувшим по воде к другому берегу, где суетилась шумная стайка воробьев.

— Что такое счастье? Жить, как эти птицы? Плыть по течению? Принимать все как есть по милости случая и праву рождения? Отдаваться во власть мгновения и собственных желаний, не задумываясь ни о чем? — Он заглянул ей в глаза. — Ведь они не жнут, не сеют... И это — счастье?

Сюзанна молчала. Фридрих сам ответил себе:

— Человеку свойственно всеми силами стремиться к истине и справедливости.

— Но неужели его целью всегда должно быть самое трудное, предельно возможное — благо всего человечества? Неужели нельзя творить добро в малом?

— А во всем остальном вести тихую, уютную жизнь, слушаясь бога и начальство? Нет, Сюзанна! — В том, что говорила Сюзанна, он слышал аргументы матери, против которых бунтовал еще ребенком. — Нет! — горячо воскликнул он. — Нет, нет и еще раз нет! Тот, кто обкрадывает себя, удовлетворяясь малым, легко достижимым, тот умирает прежде смерти, даже не узнав, что такое жизнь. Неужели вы могли бы простить человека, который предает свою совесть, жертвует человеческим достоинством ради того, чтобы крадучись пробираться по жизни удобным путем?

Девушка медлила с ответом.

— Не знаю. Но как подумаю о том, что пришлось пережить моей матери... Вы, мужчины, всегда можете увлечься мыслью о том, чтобы совершить нечто великое, значительное для человечества. Ну а женщины? В чем их утешение? Кто измерил потоки слез, которые они проливают из-за вас? У каждого человека только одна жизнь...

Фридрих не мог отвести от нее глаз. Женщины, матери этого мира, хранительницы жизни, стражи семейных очагов... Половина человечества... Мама, которая собирала когда-то стихотворения Гёте. Ульрика, пожертвовавшая своим призванием, Агнесса, даже Магдалена... Он согревался их любовью, отдавался под их покровительство,

наслаждался их красотой, как подарком небес, — и никогда не задумывался, в чем же их человеческое предназначение... И вдруг показался себе глупым и недалеким. Великие идеи человечества... А кто кормит весь дом? Кто в страданиях приносит в этот мир новую жизнь? Оберегает каждый шаг ребенка? Кто просиживает ночи напролет у постели, когда болезнь одолевает кого-нибудь из домашних? С болью в сердце он осознал, что всегда жил в абстрактном мире, размышляя о свободе духа, царстве разума, идеалах в масштабе Вселенной, и забывал о тех, кто нес на своих плечах груз будничных земных забот, кому обязаны жизнью все, без кого не мог бы существовать никакой гений.

— Черт возьми, Сюзанна! Вы правы, тысячу раз правы. Простите меня! Все много труднее, много сложнее. Можете бранить меня, называть зарвавшимся фантазером. Я не заслуживаю снисхождения.

Сюзанна улыбнулась, взъерошила ему волосы.

— А ты и в самом деле такой милый, такой... неотразимый фантазер!

— Ах, Сюзанна, — пробормотал он в замешательстве.

— Ты должен оставаться таким, каков ты есть. Мечтать о самом великом и верить своим мечтам! Человечеству нужна мечта, нужна надежда, чтобы оно могло переносить все тяготы жизни.

Это была любовь, и больше чем любовь. В эти недели чудесной весны Фридрих пользовался любой возможностью, чтобы увидеться с Сюзанной. Он помогал ей убирать приемную и кабинет, просил объяснить, как применяются инструменты, какое действие оказывают микстуры и другие лекарства.

Сестра Сюзанна была всей душой предана своим пациентам, маленьким людям из бедных кварталов или рекрутам из соседних казарм, которых посылали к ней военные врачи и фельдшеры. Перед ее глазами прошли сотни печальных человеческих судеб, и сострадала она этим людям, не расслабляясь, не отступая перед болью и безнадежностью. Без устали делала она для больных все возможное, была со всеми ровной и участливой, и ей платили уважением и любовью.

Сюзанна показала Фридриху старые дома, извилистые переулки Инненштадта, где прошло ее детство. Она знала там укромные уголки, поросшие мхом дворики, обвитые плющом ограды, заросли смородины, каменные скамьи под густой сенью ветел, маленькие незаметные кондитерские и

садики, где можно было остаться одним посреди огромного города.

Она никогда не забывала расспросить его об успехах в университете и охотно слушала, когда он читал ей наброски своих статей для «Рейнской газеты». В последнее время он начал по просьбе Руге писать и для «Немецкого ежегодника». Она смело высказывала ему свое мнение, всем сердцем радовалась удачам и спорила, если ей что-то не нравилось. Она умела простым вопросом поставить под сомнение самое изощренное доказательство, самый продуманный вывод, при этом не раня и не причиняя боли. Ее сердечность, ее неизменная участливость внушали бодрость, окрыляли мысли, удваивали силы.

Он скоро поймал себя на том, что ему хочется советоваться с Сюзанной обо всем, что чувствует и думает. Но он не всегда решался на это.

Ему казалось, что перед ним распахнулись ворота в какой-то новый, до сих пор закрытый для него мир. Его возлюбленная умела не только слушать, но и высказывать на все свою точку зрения, упорядочить проблемы, осторожно взвесить за и против, но в то же время энергично отстаивать собственную позицию, если слишком смелый тезис противоречил ее опыту и жизненной мудрости.

Наступило лето. Однажды они сидели под каштанами на Шпиттельмаркт. Он увлеченно рассказывал об успехах гегельянства, о растущей революционности «Свободных», давно преодолевших склонность к компромиссам, свойственную умеренному конституционализму, и признавших необходимость радикальных политических преобразований.

— Правительство, оказывая на нас все большее давление, добивается прямо противоположного результата. К«Свободным» тянется все больше людей. Наши политические требования и наш атеизм никого больше не отпугивают. Почти в каждом значительном городе Германии у нас уже есть сторонники. Мы обеспечиваем все либеральные газеты необходимыми материалами и таким образом делаем их своими органами. В газетах, издаваемых с разрешения официальной правительственной цензуры, мы печатаем статьи, за которые даже во Франции авторам предъявили бы обвинение в государственной измене. И самое странное, самое удивительное здесь то, что верхи все терпят.

— Это совсем не удивительно, — возразила Сюзанна. — Вас терпят, потому что такая воинственность никого особенно не беспокоит. — Она указала на людей, мирно

прогуливающихся мимо них по улице в субботний вечер. — Где в ваших статьях, не исключая и твои, сказано хоть слово о насущных заботах и проблемах этих людей?

Фридрих, проследив взглядом за движением ее руки, увидел сгорбленные спины стариков, озабоченные лица матерей и отцов, хмельные от любви глаза парней и девушек... Он вспомнил простых людей, с которыми сталкивался в Бремене, в Вуппертале... И смущенно замолк. Может, Сюзанна права? Этот народ, без которого не бывает революций... Сколько людей вообще понимают абстрактный язык бауэров, рутенбергов, мейенов, булей? Кто в состоянии угадать в постулатах Штирнера и Бакунина о самости индивида требование человека осуществить свои желания, призыв к революционной борьбе?

Действительно, чем объясняется королевское великодушие? Едва ли бессилием перед идеей, скорее, пренебрежением к ней.

— А хотя бы и так, — воскликнул он. — И Спиноза, и Руссо оставались непонятными большинству, их презирали, но их идеи все же оказывали свое действие, разрушали духовные основы старого режима, раздували огонь, пока народ не взялся за оружие... — И он с энтузиазмом принялся развивать перед Сюзанной гегелевскую концепцию движения истории.

Сюзанна слушала, широко раскрыв глаза. По ее лицу было видно, что она не была согласна ни с единым его словом. Но она не спорила, только улыбалась. А потом тихо обняла его, нежно и заботливо, как мать. Фридрих замолчал. Все его мысли о преобразовании мира куда-то вдруг испарились. Он закрыл глаза и доверился ее объятиям. В листве каштана щебетали птицы. Прохожие бросали на влюбленную пару добродушные взгляды.

Наконец-то «Свободные» устроили давно задуманный праздник и пригласили на него всех сторонников Гегеля. Сюзанна сшила себе новое платье. Она казалась в нем совсем юной девушкой, отправляющейся на свой первый бал. Прокуренные залы кабачка Хиппеля были празднично убраны. Играл танцевальный оркестр. «Свободные» сняли на этот вечер все помещение и прилегающий к нему сад. Гвардия берлинских младогегельянцев, собравшаяся здесь, встретила влюбленных шумными изъявлениями восторга. Фридрих представил Сюзанне молодых людей как ученых и

публицистов, уже заслуживших авторитет и известность. Среди приглашенных были и пожилые профессора, мужи, которые хранили живую память о Гегеле. «Свободные» условились не раскрывать гостям подлинную фамилию Фридриха. Среди незнакомых студентов и молодых дам могли оказаться агенты тайной полиции. Он был представлен только под литературным псевдонимом — Освальд.

Эдгар Бауэр сразу же потащил Фридриха за собой к невысокому крутолобому человеку, выделявшемуся среди остальных гостей серьезным и значительным выражением лица.

— Это мой брат. Тот самый пресловутый Бруно Бауэр.

Теолог протянул Фридриху руку. С некоторой снисходительностью он похвалил его блестящий стиль и поблагодарил за «Библию». Фридрих не имел возможности поговорить с ним подольше, его уже перехватил Мейен. Подцепив под руку, он увлек Фридриха в самую середину танцующих.

— Прошу внимания! — обратился Мейен к гостям. Разговоры стихли. — Мы обещали сегодня вечером представить вам автора сочинений против Шеллинга. Вот он перед вами: Фридрих Освальд, и я с великой радостью могу заявить публично: он — один из «Свободных».

Присутствующие встали, раздались аплодисменты. Больше всех ликовали студенты. Послышались крики: «Виват, Освальд! Виват, Освальд!»

Триумф Фридриха достиг апогея, когда один из студентов зачитал вслух только что полученное в университете распоряжение министра, согласно которому его анти-Шеллинг объявлялся запрещенным изданием и каждому студенту — обладателю анонимного сочинения — грозило немедленное исключение. Всеобщее ликование! Хохот! Аплодисменты.

Эдгар Бауэр провозгласил тост за Фридриха Освальда — победителя Шеллинга. Фридрих был потрясен. Его первое самостоятельное философское сочинение — и такой успех! Он вспомнил Вупперталь, вечера у Фрейлиграта, свое восхищение поэтом, вызывавшим всеобщее почитание. Тогда Фридрих мог лишь мечтать о том, чтобы и на его долю досталось такое признание. И вот мечта сбылась, да еще в большей мере, чем он когда-либо смел надеяться!

Раздалась музыка.

— Тур для Освальда! — закричали студенты.

Он танцевал с Сюзанной под рукоплескания остальных пар.

Едва кончился танец, как Эдгар Бауэр снова потянул его за собой.

— Сейчас я познакомлю тебя с человеком, который может пожизненно обеспечить тебе публицистическую карьеру. Его имя ты знаешь. Только не пугайся: он толще, чем в состоянии изобразить любой карикатурист. — Эдгар остановился у столика, за которым рядом с издателем Отто Вигандом сидел грандиозных размеров толстяк, уплетавший бифштекс. — Вот, прошу любить ненасытного Арнольда Руге.

Знаменитый публицист и издатель поднялся с неожиданной для его фигуры живостью:

— Раз познакомиться! Я в восторге от вашего стиля, ваших идей и пламенного энтузиазма вашей юности! — Сердечно поблагодарив Фридриха за великолепную рецензию на книгу Юнга «Лекции о современной литературе немцев», он придвинул ему стул. — Будет весьма кстати, если я немедленно изложу вам план нашего сотрудничества.

Прежде чем Фридрих успел что-то ответить, к ним подошел Науверк.

— Может, немного позже, Арнольд. Только что подъехал Мархейнеке. Он хочет познакомиться с автором полемического сочинения против Шеллинга.

Фридрих взглядом попросил прощения у Сюзанны, танцевавшей с Михаилом Бакуниным, и вышел из зала. В комнате для почетных гостей он увидел старого седого профессора. Опираясь на палку, тот нетерпеливо расхаживал взад и вперед. Фридрих почтительно ждал у двери, пока Мархейнеке не устремил на него вопросительный взгляд.

— Вы хотели познакомиться с Освальдом, господин профессор?

Лицо Мархейнеке прояснилось. Он явно узнал в нем артиллериста, посещавшего его лекции.

— Так это вы?

Он подошел совсем близко, вытащил из кармана пенсне, водрузил его на нос и окинул юношу внимательным взглядом. Потом спрятал пенсне и удовлетворенно кивнул.

— Вы не окажете нам чести принять участие в празднике? — спросил Фридрих.

Профессор взял Фридриха под руку.

— Выйдем отсюда! Здесь так шумно. Празднества уже не для меня. А эти люди...

Они вышли на улицу, где под газовым фонарем ожидал одинокий извозчик.

— Сколько вам лет, друг мой?

— Двадцать один.

Мархейнеке расспросил Фридриха о его происхождении, успехах в образовании, о его литературной деятельности и спросил о планах.

— Отец хочет, чтобы я через несколько месяцев вступил в дело. Но у меня другие планы. Для меня на свете существует только одно: философия.

Мархейнеке, не отвечая, прошел несколько шагов, потом вдруг остановился, пожал Фридриху руку.

— Я рад, что познакомился с вами! Может быть, мне удастся сделать что-нибудь для вас.

— Это я должен выразить вам мою благодарность и признательность, господин профессор. С тех пор как я в Берлине, я не пропустил ни одной вашей лекции. Я ценю вашу неизменную верность последнему из великих философов.

Мархейнеке как-то не совсем одобрительно взглянул на Фридриха. Потом сказал на прощанье:

— Не смею долее отрывать вас от ваших друзей.

И направился к экипажу. Извозчик спрыгнул с козел, чтобы подсадить его в карету. Мархейнеке вдруг передумал и повернул обратно.

— Я, подобно вашему прославленному Бёрне, хотел дожить до тех дней, когда у немецкого народа появится свой Вольтер. Природа щедро одарила вас, мой юный друг. Используйте ее дары! Всегда оставайтесь верным себе, той внутренней правде, которая рвется из вашего сердца! И тогда — я уверен — вы создадите произведение, о котором все мы, в свои молодые годы, могли только мечтать. — Он кивнул в сторону кабачка. — Эти люди слишком шумят, они слишком назойливы, слишком посредственны. В один прекрасный день вы сами это поймете.

Профессор, ни разу больше не оглянувшись, сел в карету. Фридрих долго смотрел ей вслед. Наконец он пришел в себя. Сюзанна, праздник, друзья, любовь, триумф, азарт молодости, жизнь, жизнь...

Как на крыльях, он понесся обратно.

— Ах, вот и ты наконец! — встретила его Сюзанна.

Он обнял ее.

— Тысяча извинений! Все это так неожиданно для меня. Но клянусь, теперь я не оставлю тебя ни на миг!

Они танцевали. Шумный зал, веселые люди, оркестранты, свечи — все вращалось вокруг него в бешеном вихре,

он видел перед собой лицо Сюзанны, ее глаза, ее улыбку...

Но вдруг в дверях появилась экономка Вальдека. Лицо ее было серьезно, она делала знаки Сюзанне.

— Меня послал господин доктор. Ему нужна ваша помощь. Он просит вас прийти немедленно!

Сюзанна испугалась:

— Что случилось?

— В округе Фогтланд выявлено несколько случаев холеры.

Во взгляде Сюзанны мелькнул ужас.

— Господи! Я еду с вами немедленно.

Вместе с женщинами Фридрих покинул зал. Сюзанна хотела распрощаться, но Фридрих твердо заявил, что будет сопровождать ее.

— Нет, ты останешься здесь! Это твой праздник! — сказала Сюзанна.

Не говоря ни слова, Фридрих подхватил женщин под руки и побежал с ними по улице к стоянке извозчиков. Сюзанна сделала еще одну энергичную попытку отослать его назад.

— Прошу тебя, Фриц! Оставайся! Будет лучше, если ты никогда не увидишь ни этой местности, ни того, что там происходит!

Фридрих помог женщинам сесть и сел сам.

— Я уже видел много горя и нищеты, — сказал он.

Сюзанна ничего не ответила.

— Линиенштрассе! — крикнула она извозчику.

У дома доктора Вальдека она попросила остановиться. Фридрих остался ждать в экипаже, женщины вышли. Через несколько минут Сюзанна вернулась уже в костюме сестры милосердия и приказала извозчику ехать к Гамбургским воротам. Они остановились у городской стены рядом с богадельней.

— Приехали! — сказала она и прошла вперед. Городские ворота были закрыты, охрана явно усилена. После короткого объяснения один из полицейских открыл калитку. Они вышли из города и оказались в местности, называвшейся Фогтланд. Стояла теплая безлунная безветренная ночь, матово-серое небо было затянуто облаками.

Глазам Фридриха открылось жуткое зрелище.

Справа от дороги кособочилась жалкая хижина, грубо сколоченная из всевозможных досок и листов жести. Перед входом бушевал огромный костер. Телега для перевозки больных и две пожарные повозки ожидали в узком боковом

проулке. Люди в светлых плащах и масках на лице орудовали насосами и шлангами. Дверь в хижину была открыта, оттуда доносились истошные вопли женщин и детский плач.

Сюзанна направилась прямо туда, Фридрих последовал за ней. У изгороди стояла бричка доктора Вальдека.

— Оставайся здесь! — приказала она Фридриху, намереваясь войти в дом.

Фридрих задержал ее.

— Чем я могу помочь, Сюзанна? — спросил он.

Она минутку подумала, потом указала на больничную телегу.

— Попроси у них халат.

— Вы от доктора Вальдека? — спросил кучер и указал на телегу. — Выбирайте любой.

Фридрих, закутанный в провонявшую карболкой хламиду, вернулся к хижине.

Двое санитаров выносили из развалюхи какого-то человека. Сюзанна пыталась оторвать от носилок цеплявшуюся за них плачущую женщину в лохмотьях.

— Мы пропали, пропали! — повторяла та, захлебываясь от рыданий. Четверо ребятишек стояли в дверях и, ничего не понимая, ревели в голос.

— Они его закопают? — спросил мальчик.

— Нет, — ответил Фридрих. — Он же не мертвый. Его отвезут в больницу, положат на красивую белую кровать. И он выздоровеет.

Двое мужчин сжигали на костре соломенную подстилку и одежду больного. Фридрих вошел в дом. Он увидел, что доктор Вальдек и двое пожарных разбрызгивали по жалкому жилищу какую-то химическую жидкость из шлангов. Едкие испарения заставили его отпрянуть назад. Вальдек приветствовал его кивком головы. Потом сказал пожарным:

— Объясните семье, что они должны оставаться здесь. Им нельзя покидать свою хижину, пока не пройдет время карантина.

Фридрих ужаснулся.

— Но не могут же эти люди снова вернуться туда!

— А куда еще прикажете им деться, молодой человек? — возразил врач.

Один из пожарных, пользуясь масляной краской и шаблоном, рисовал на дверях хижины череп и кости.

— В этом есть хотя бы то преимущество, — заметил Вальдек, — что во время карантина их никто не может ни

выбросить на улицу, ни запереть в работный дом.

— Кому же могло бы прийти такое в голову?

Они шли по дороге. Вальдек указал на телегу, на которую как раз укладывали носилки с больным.

— Он их единственный кормилец. Откуда же им взять денег на плату за квартиру?

— Плата? За эту дыру?

Врач не ответил. Он снял с лица маску и вытер со лба пот.

— С тех пор как Якоби ввел в практику эти карантинные и дезинфекционные меры — в высшей степени варварские, но эффективные, — мы держим холеру под контролем. Если бы его послушались раньше, то ваш Гегель и тысячи других людей жили бы по сей день.

Со стороны дома вдруг снова послышался вопль: санитар, пытаясь отодрать женщину от носилок, толкнул ее с такой силой, что та упала. Да так и осталась лежать на земле, сотрясаясь от рыданий. Фридрих нагнулся к ней и достал свой бумажник. Вальдек рванул его назад:

— Не трогайте! И уберите ваши деньги! Чтобы помочь тысячам несчастных, которые прозябают здесь, не хватит целого состояния!

Телега уехала.

Фридрих, не отрываясь, глядел на женщину, с трудом поднимавшуюся с земли. На лице ее отражалось все отчаяние замученного создания. Он беспомощно посмотрел на обреченных ребятишек за изгородью...

Никогда в жизни он не забудет этого зрелища, никогда, никогда!

Прикосновение руки Сюзанны вывело его из оцепенения.

— Пора двигаться дальше, — сказала она. — Самое худшее нам еще предстоит. — Она показала на проселочную дорогу, вдоль которой на фоне серого ночного неба виднелся ряд темных громоздких зданий. — В доходных домах.

По пути врач объяснил:

— Некий предприимчивый делец, у которого недалеко отсюда имеется фабрика, задумал сколотить капитал на нищете рабочих и построил здесь семь таких огромных домов. Для каждой семьи — одна крошечная комната, но зато в доме из настоящего кирпича. Однако сей благодетель не принял в расчет, что месячного жалованья, которое он и ему подобные платят рабочим, не хватает даже на квартирную плату. А поэтому одну «келью» делят три или четыре

семьи, и на каждого приходится ровно столько места, чтобы расстелить на ночь соломенную подстилку. Если там заболеет хоть один человек, сразу же заражается десять или двадцать.

— А там уже заболел кто-нибудь?

— К несчастью. Прежде всего необходимо освободить от жильцов и продезинфицировать комнату. Но эти люди заперлись и забаррикадировались. Они предпочитают умереть от холеры, но не покинуть своего обиталища.

Чем ближе они подходили, тем страшнее казались уродливые каменные великаны высотой в шесть и семь этажей. Перед средним зданием стояли повозки. Лучи фонарей шарили в похожей на туннель арке ворот.

Они прошли мимо сотрудников санитарной службы и оказались на заднем дворе дома, грязном, замусоренном, пропитанном запахом гнили. Лишь два-три окна в доме были освещены.

Вдруг из подъезда раздался зычный голос:

— Открывай! Открывай!

Потом тишину раскололи тяжелые удары. Прибывшие поднялись по узкой лестнице с черного хода на самый верхний этаж и вошли в освещенный фонарями узкий коридор. Полицейские, санитары и пожарные напряженно ждали наготове, пока другие высаживали дверь. Она с треском подалась. Жителей комнаты стали выводить из помещения. Все, что находилось в комнате, — одежду, соломенные подстилки, белье — выбросили через окно в костер. Фридрих насчитал в комнате примерно двадцать жалких фигур. Люди всех возрастов: дети, женщины и мужчины — цеплялись за свои нищенские пожитки и из последних сил сопротивлялись выселению.

Фридрих был не в силах что-либо делать, не в состоянии помешать грубому насилию, необходимость которого сознавал. Наконец помещение опустело. Доктор Вальдек и его дезинфекторы приступили к делу. Едкий запах заставил Фридриха отступить в коридор. Он прислонился к стене. Потрясение парализовало все его мысли. Он не мог удержаться от слез.

Сюзанна, которая все это время занималась грудными младенцами и маленькими детьми, подошла к нему.

— Я тебя предупреждала, — тихо сказала она.

Фридрих беспомощно взглянул на нее.

— Ничего хуже быть не может! — И тут из него выплеснулось все накопившееся возмущение. — Но почему

же эти люди так упрямятся? Почему их приходится выталкивать силой, как скот, обреченный на убой? Неужели им нельзя объяснить, что все это делается ради их же пользы? Что это единственная возможность сохранить им жизнь?

— Да, мы спасаем их, — сказала Сюзанна с горечью. — Но, может, было бы лучше дать им спокойно умереть. Да, ты верно заметил: эти люди чувствуют, что обречены. Так оно и есть, Фридрих! Обречены на медленную мучительную смерть, растянутую на годы. Даже выжив после холеры, они надолго останутся нетрудоспособными. А хозяева держат рабочего только при условии, что он может трудиться с раннего утра до самой ночи. Его содержат в такой нужде и скудости, что его заработка едва хватает на еду. Если же он больше не может работать, он теряет право на кров, на то, чтобы есть, дышать, жить. Выйдя из больницы, рабочие умножают армию бездомных и безработных. Рано или поздно они попадают в руки полиции, и их запирают в тюрьмы.

Между тем помощники Вальдека закончили свою работу. Врач покинул комнату последним. Он подошел к Сюзанне и Фридриху и молча слушал. А когда Сюзанна умолкла, добавил:

— С тех пор как собственность была превознесена настолько, что стала мерой всех вещей, бедность стала преступлением, за которое карают каторгой и принудительными работами. Вы, господин Энгельс, нашли чудесные слова, чтобы сказать о пробуждении самосознания человека, о мощи человеческого разума, о священном праве человека на свободу и достоинство. Но все это касается только той части биологического вида «человек», существование которого обеспечено собственностью. Тот же, у кого нет средств к существованию, лишается всего. Его всю жизнь преследует одна-единственная мысль: как я добуду себе пищу сегодня и завтра? Там, где правит голод, господин философ, кончается все великолепие ваших идей.

Фридрих ничего не ответил. Врач вдруг заторопился:

— Мне пора двигаться дальше.

Фридрих взял Сюзанну за руку. Они молча шли по длинному коридору. Вдруг одна из дверей приоткрылась, из-за двери на них робко смотрели огромные глаза маленького мальчика. Набравшись духу, он вышел в коридор и с немой просьбой загородил им дорогу. Фридрих дал ребенку монету. Как по команде отворились все двери. В одно мгновение их окружила толпа клянчущих детей и калек, которые броса-

лись на колени, кричали, жалобно вопили, отталкивали друг друга. Фридрих опустошил все свои карманы, пытаясь делить монеты по справедливости. Но все было напрасным. На тех, кому уже достались деньги, набрасывались другие. Люди дрались друг с другом, как звери из-за добычи. Наконец он просто вытряхнул все содержимое своего кошелька. Им с трудом удалось вырваться из этой обезумевшей толпы.

На улице, в темноте ночи, они остановились, едва переводя дыхание.

— И это люди? — сказал он в отчаянии. — Это люди? Что с ними сделали?

Неподалеку догорал костер. Из черноты кирпичного дома все еще доносился крик детей. Мимо проехала черная повозка.

— Идем! — сказала Сюзанна. И повела его за собой по дороге мимо жалких лачуг и доходных домов. Теперь он знал, что стоит в самом начале пути, который ему предстояло пройти.

Гегель и Бёрне, революция сознания и политическая конституция — все было только прелюдией, маленьким шагом из тьмы.

— У меня здесь дела. Тебе нужно вернуться на праздник, к друзьям. Поезжай.

— Нет! — сказал Фридрих с неожиданной резкостью. И добавил, скорее про себя, чем обращаясь к Сюзанне: — Я не могу сейчас вернуться туда!

Он увидел столько нищеты, горя и страданий, что сейчас должен был побыть наедине с собой, со своими мыслями. Он шел по лабиринту улиц Альтштадта, а перед ним вставали только что увиденные сцены. Они сливались с картинами детских лет в Вуппертале, с воспоминаниями о бременских эмигрантах. Там, где царит самая жестокая бедность, можно ли говорить о какой-либо человеческой общности? Гуманизм всякого общества определяется не идеями величайших гениев нации, не благородством правителей, не политическими устремлениями образованных слоев, не той свободой, которая предоставлена для развития самосознания одаренных привилегированных личностей, но условиями жизни несчастных и бедных. Как здоровье и жизненная сила отдельного организма зависят в конечном счете от его самого слабого и уязвимого органа, так и совершенство общественного организма зависит от положения самых низших классов.

Да, Шмидт, да, Сюзанна, да, Вальдек, тысячу раз да! Уязвимы любая философия, любая политическая программа, любое убеждение, игнорирующие это страшное положение вещей, эту взывающую к небесам несправедливость, эту издевку над любым гуманным чувством.

Фридрих не спал всю ночь. Что осталось от его душевного подъема? Ему казалось, что почва уходит у него из-под ног. Царство идеи, в котором еще вчера он был так непоколебимо уверен, лежало в развалинах. Все, что было написано им раньше, теперь казалось бессмысленным и никчемным. Разве люди, подумал он, не были уже свидетелями того, как разбилась вера в человеческий разум? Тогда, в те годы, последовавшие за революцией во Франции... С грустью припомнил он слова Гегеля о Великой французской революции: «...Мысли, понятию права, *сразу* было придано действительное значение, и ветхие подмостки, на которых держалась несправедливость, не могли устоять. Итак, с мыслью о праве теперь была выработана конституция, и отныне все должно было основываться на ней. С тех пор как солнце находится на небе и планеты обращаются вокруг него, не было видано, чтобы человек стал на голову, т. е. опирался на свои мысли и строил действительность соответственно им. Анаксагор впервые сказал, что ум управляет миром, но лишь теперь человек признал, что мысль должна управлять действительностью. Таким образом, это был великолепный восход солнца. Все мыслящие существа праздновали эту эпоху. В то время господствовало возвышенное, трогательное чувство, мир был охвачен энтузиазмом, как будто лишь теперь наступило действительное примирение божественного с миром».

Но спекулянты, мародеры, финансовые воротилы подкопались под идеалы революции, при помощи коррупции захватили власть, а народ остался в нищете.

Значит, правы те «реалистически» мыслящие скептики, которые объясняли прошлое и рисовали перспективы политического развития, исходя из волчьей природы человека, его слепого эгоизма, жажды власти и страсти к успеху? Значит, правы такие теоретики и экономисты, как Адам Смит, Рикардо, Сэй, Мак Куллох, Милль или Мальтус?

Нет, нет. И еще раз нет! Великая надежда народов Европы разбилась не о сущность человека. Ее погубила неспособность вождей революции понять и решить социальные проблемы. Это привело к расколу народных сил, к Директории, к наполеоновской деспотии, наконец, к рестав-

рации монархии. И революционное движение 1830 и 1831 годов было обречено: оно было подавлено в самом зародыше, поскольку страх имущих перед низшими слоями народа оказался в конечном счете сильнее, чем их ненависть к монархии. И точно так же окажутся напрасными революционные бои за свободу и человеческие права...

Фридрих задыхался. Ему казалось, что он больше не чувствует своего тела. Вдруг он увидел, что белый потолок его комнаты, в который был устремлен его взгляд, надвигается, расширяется, грозя превратиться в непреодолимый барьер, отгораживающий его от мира. Его губы шевелились, формулируя единственную мысль, застрявшую в сознании: «Какой самонадеянностью было полагать, что когда-нибудь могла существовать человеческая свобода без социальной справедливости, какой чудовищной самонадеянностью...»

Он долго лежал без движения, словно боялся свести аргументы в единую логическую цепь. Однако ему уже все было ясно. Великолепный дворец идей, еще вчера надежный оплот восторженного ожидания будущего, лежал в руинах. Но странно, он не испытывал боли, только слабость, невыразимую усталость.

Утром он чувствовал себя жалким и разбитым. Во время муштры — к тому времени он уже дослужился до бомбардира, унтер-офицера артиллерии — он выполнял команды совершенно механически, так что капитан Ведель, заметив его состояние, отослал Фридриха к ротному хирургу. Тот прописал ему эмзинскую соль, ромашковый чай и две недели постельного режима.

Фридрих заказал знакомому книготорговцу все сколько-нибудь известные книги по социальным вопросам. На немецком языке таких было немного. Он выбрал «Замкнутое торговое государство» Фихте и ряд работ немецких авторов, писавших о социальных проблемах. Запасшись этим материалом, он решил не покидать своей квартиры прежде, чем не обретет вновь ясный взгляд на вещи и твердую почву под ногами.

Сюзанна прислала записку, в которой просила несколько дней не приходить, поскольку она днем и ночью была занята в Фогтланде. Это было кстати.

То, что он читал, не могло его удовлетворить. Фихте предлагал некую отвлеченную теорию, совершенно не подкрепленную каким-либо знанием действительности. Все прочее было только жалостливым хныканьем чувствительных кабинетных ученых, которые полагали, что можно облег-

чить печальную участь отверженных членов общества благотворительностью, христианской любовью к ближнему и государственными пособиями на бедность. Как будто неясно, что высшая заповедь всякого социального учения — устранить причины бедности, а не манипулировать вокруг ее симптомов.

Тут в его памяти всплыло имя человека, который первым ввел понятие «социализм». Социально-этическое наследие этого человека в тридцатых годах породило движение романтических мечтателей, к которому примкнула фаланга французских и немецких интеллектуалов, в том числе таких крупных ученых, художников, писателей и музыкантов, как Гюго, Берлиоз, Лист, Беранже, Гейне и Жорж Санд. Этим человеком был Сен-Симон.

Фридрих отправился в университетскую библиотеку. Было еще рано, и потому в этот утренний час он не встретил никого из друзей.

Француз оставил после себя множество трудов. Почти ничего не было переведено на немецкий. Фридриху пришлось долго рыться в книгах, пока он не нашел то, что могло бы дать ответ на его вопросы. Нагруженный книгами, он вернулся к себе и нетерпеливо засел за чтение. Уже первые страницы захватили его. Он, с детства приученный к порядку, забывал бриться и одеваться к столу. Он попросил недоумевающую хозяйку не пускать к нему никого и даже запретил ей входить в его комнату для уборки. Она лишь беспомощно смотрела на то, как комната и жилец погружаются во все больший беспорядок. Ей пришлось смириться и только ежедневно подсовывать еду в пещеру льва.

Напрасно друзья и знакомые стучали в дверь квартиры. Письма и приглашения оставались без ответа. Он делал первые шаги в новый для него духовный мир. Он еще чувствовал себя чужим и неуверенным здесь. Ему предстояло еще много и упорно работать. Но вдалеке уже забрезжил слабый свет надежды.

Глава третья

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ

В ноябре 1819 года в первой тетради сборника «Организатор», издаваемого известным французским гражданином Сен-Симоном, была опубликована его знаменитая «Притча». Она была написана в самый мрачный период Реставра-

ции, когда ультрароялисты начали атаку на последние остатки прав народа, еще сохранившиеся от Великой французской революции.

«Допустим, что в один прекрасный день Франция вдруг потеряет по пятьдесят своих лучших физиков, химиков, физиологов, математиков, поэтов, художников, скульпторов, музыкантов и писателей, такое же количество техников, гражданских и военных инженеров, артиллеристов, архитекторов, медиков, хирургов, фармацевтов, моряков и часовщиков; пятьдесят лучших банкиров, двести лучших предпринимателей, шестьсот лучших фермеров, по пятьдесят лучших горнозаводчиков, фабрикантов оружия, сыромятников, красильщиков, горных инженеров, владельцев суконных, хлопковых, шелковых, полотняных фабрик, владельцев заводов, на которых производят скобяные изделия, фаянс, фарфор, хрусталь и стекло, судовладельцев, владельцев экспедиционных контор, печатников, граверов, ювелиров и других мастеров по металлу; по пятьдесят лучших каменщиков, плотников, столяров, кузнецов, слесарей, ножовщиков и литейщиков и сто других представителей прочих профессий. Всего три тысячи лучших ученых, художников и ремесленников Франции.

Эти люди... настоящий цвет французского общества. Они приносят стране наибольшую пользу, способствуют ее славе, развитию ее культуры и процветанию. Если бы Франция потеряла их, она в тот же момент стала бы телом без души. Она сразу же опустилась бы на более низкую ступень по сравнению с другими нациями, с которыми она сегодня соперничает. И оставалась бы второразрядной страной до тех пор, пока не возместила бы каждого... Чтобы помочь горю, Франции понадобилось бы по меньшей мере целое поколение...

Допустим другое. Допустим, что Франция сохранит всех одаренных людей в науке, искусстве и ремеслах, но, к несчастью своему, потеряет в один день Его королевское высочество, брата короля, светлейших герцогов — Ангулемского, Беррийского, Орлеанского и Бурбона, светлейших герцогинь — Ангулемскую, Беррийскую, Орлеанскую и Бурбон, а также графиню де Конде.

Допустим, что одновременно она потеряет всех высоких сановников и вельмож, государственных министров (с портфелями и без портфелей), тайных советников и начальников канцелярий, всех маршалов, всех кардиналов, архиепископов, епископов, настоятелей духовных орденов и соборов, всех префектов и супрефектов, всех министерских

чиновников, всех судей, а сверх того еще десять тысяч самых богатых землевладельцев, которые живут, как князья.

Это несчастье, конечно, очень огорчило бы французов, поскольку они очень добросердечны и не смогли бы равнодушно взирать на неожиданное исчезновение столь многих своих соотечественников. И все же потеря тридцати тысяч лиц, которые считаются самыми значительными в государстве, доставила бы только чувствительное огорчение, но не было бы политическим бедствием.

Ибо освободившиеся вакансии можно было бы занять немедленно и без труда...»

Воистину, сокрушается Сен-Симон, современное общество представляет картину мира, перевернутого вверх ногами, где неспособные управляют способными, безнравственные поучают добродетельных, а злодеи судят невиновных... Этот политический организм болен, утверждает Сен-Симон, и болен серьезно и опасно.

Лекарством, которое Сен-Симон предписывал для исцеления общества, было продолжение политической революции до решения социальных проблем. Он предлагал создать такую ассоциацию людей, в которой гармонически сочетались бы все человеческие дарования и счастье всех стало бы основой для счастья каждого.

Ученый затратил два десятилетия на теоретическое обоснование новой общественной системы. Никогда ни один реформатор, мечтавший о гуманистическом преобразовании всех человеческих отношений, не обладал таким кругозором, такими знаниями, такой основательностью и такой универсальностью мышления. На глазах Сен-Симона мельчали, рушились, казались исчерпавшими себя гуманистические идеалы Французской революции, на баррикадах которой он сражался на стороне народа. «Царство разума», о котором мечтали просветители, оказалось раем только для небольшого слоя паразитов, финансовых и земельных спекулянтов, раем для их безграничного обогащения, а народ продолжали обирать, как обирали испокон веков. Все очевидней становились для Сен-Симона правота его выводов, правильность проведенного им анализа общества. Все ощутимее проявлялась необходимость реформы. Но все его обращения к Директории, к Наполеону Бонапарту, к Людовику XVIII, занявшему престол Франции в эпоху Реставрации, были напрасны. Со стороны господствующих классов по его адресу раздавался только издевательский хохот.

В конце 1819 года шестидесятилетний философ решил привлечь на свою сторону народ. Он начал издавать сборники «Политик» и «Организатор». А 13 февраля 1820 года было совершено покушение на ненавистного герцога Беррийского. Герцог погиб. И Сен-Симон, этот благородный друг человечества, категорически отвергавший всякое насилие, был привлечен к суду по обвинению в подстрекательстве к убийству королевской особы. Поводом послужила опубликованная им «Притча». Великий ученый был обязан своим оправданием лишь тому обстоятельству, что его признали невменяемым.

Последние годы жизни Сен-Симон провел в полной нищете, окруженный лишь несколькими друзьями, высмеянный, покинутый, не понятый миром, который он хотел предостеречь от катастрофических последствий эксплуатации, презираемый, изолированный даже от беднейшего класса бесправных наемных рабов и прозябающих безработных, которым он хотел обеспечить достойное существование. 19 мая 1825 года Сен-Симон умер. Во Франции в это время начинался первый великий промышленный и торговый кризис. Никогда ранее нужда, нищета, голод и страдания народных масс не достигали такой степени. Последнее, о чем узнал философ на смертном ложе, было подлое предательство французской буржуазией идеалов Великой революции. Либеральные депутаты парламента одобрили закон о возмещении миллиардных убытков контрреволюционным эмигрантам, в то время как обнищание трудящихся масс превзошло всякую человеческую меру.

«Напрасно? Неужели все было напрасно?» — спрашивал ученый. И некому было ответить ему.

Его хоронили 22 мая. За гробом основателя утопического социализма, смелого пророка нового человеческого индустриального общества, титана духа, опередившего свое время, шли только близкие друзья. Вряд ли хоть один из них предполагал, что вопросы вопросов, которые задал покойный, скоро потрясут весь цивилизованный мир и окажутся в центре исторических битв грядущих поколений.

Однажды вечером, сидя над книгами Сен-Симона, Фридрих услышал из прихожей голос хозяйки.

— Это бесполезно, совершенно бесполезно, барышня. Он уже несколько дней никого к себе не пускает. Даже меня. Как приходит со службы, сразу же запирается. Мне при-

шлось отказать даже господину Бауэру, а он такой любезный юноша.

—Может быть, для меня он сделает исключение? Где его комната?

Фридрих испугался. Сюзанна?.. Было уже поздно натягивать рубашку, устранять чудовищный беспорядок в комнате или хотя бы провести щеткой по волосам. Раздался стук, дверь отворилась, и Сюзанна вошла.

— Извини, что встречаю тебя в таком виде, — пробормотал он. — Твой визит для меня полная неожиданность. Ты ведь написала...

Он не успел договорить, она обняла и поцеловала его.

— Не надо мне ничего объяснять. Я сама вижу, что здесь творится. — Она посмотрела на немытые стаканы и открытую бутылку с вином. — Однако ты еще находишь вкус в сигарах и вине. Это для меня большое утешение.

Он придвинул ей стул, принес чистый стакан.

— Садись, пожалуйста! Выпьешь со мной вина? А может, тебе чаю?

Сюзанна, не обращая внимания на любезное приглашение, отобрала у него из рук бутылку, закрыла пробкой и убрала в буфет.

— Ты уже достаточно пил. А что, если для разнообразия ты что-нибудь съешь?

Она отодвинула в сторону книги и поставила на стол поднос с нетронутым ужином. И как ни в чем не бывало принялась за уборку комнаты.

— Сюзанна, — начал Фридрих.

Она решительно перебила его:

— Ешь. Или я не останусь здесь ни минуты.

Фридрих тяжело опустился на стул.

— Я, право, не могу, Сюзанна.

Не отвечая ни слова, она продолжала свое дело. Он пожал плечами и нехотя начал есть.

— Прошу тебя, прекрати эту дурацкую уборку. Сюзанна, ты не можешь себе представить, в какое я попал положение. Я потерял почву под ногами. — Он подошел к шкафу, вынул свою брошюру о Шеллинге и саркастически процитировал: «Мир, казавшийся нам какой-то тюрьмой, явился теперь в истинном свете, как чудный королевский дворец, доступный для всех — богатых и бедных, знатных и простолюдинов...»

Покачав головой, он швырнул брошюру на стол и возбужденно заговорил:

— И я это написал, Сюзанна, хуже того — я верил в это. Я прокричал об этом на весь свет!

Сюзанна прекратила уборку и озадаченно взглянула на него.

— Фриц! О чем ты?

— Сюзанна, дорогая, что бы они на это сказали, твои фогтландские больные — мужчины и женщины из доходных домов? Что бы сказали на это ткачи, красильщики, прядильщицы с фабрик моего отца? — Его возбуждение росло. — Для них это прозвучало бы как холодное откровенное издевательство над их нищетой, их отчаянием!

Сюзанна потрогала его лоб и руки.

— Господи, у тебя жар!

Он почти не слышал ее, слишком остро он терзался чувством вины.

— Это ничем не лучше и даже хуже, чем ханжеские проповеди, которые преподносят им с церковной кафедры как единственную истину! — И глухим, бесцветным голосом он добавил: — Как мог я так заблудиться? Я ведь шел на огонь! Где он, где, Сюзанна?

Глаза любимой смотрели на него с глубокой тревогой.

— Тебе необходима помощь!

На следующий же день она привела доктора Вальдека, и тот внимательно его осмотрел.

— Нервное истощение, мой милый, — констатировал он озабоченно. — Маленькие серые клетки совершенно измучены. Некоторое время вам нужен абсолютный покой. Никаких книг, никаких лекций, никаких дебатов, никаких проблем, и прежде всего — никакой философии!

— Иными словами, перестать думать? — спросил Фридрих с кислой улыбкой.

— Именно в этом и состоит лечение, на котором я настаиваю. Предоставьте миру некоторое время оставаться таким, каков он есть.

Фридрих покорно согласился:

— Я постараюсь.

— Состояние вашего здоровья серьезнее, чем вы полагаете, господин Энгельс! — Врач задумчиво перевел взгяд с Фридриха на Сюзанну, чьи глаза с тревогой были устремлены на пациента. — Мне кажется, я знаю подходящий рецепт для вас. Я думаю, вам следует исчезнуть из города на несколько дней. Что вы на это скажете? У меня в окрестностях Кёпеника есть старая рыбачья хижина.

Не ожидая ответа, он взялся за саквояж.

— Конечно, такое лечение без ухода и медицинского наблюдения не может привести к положительным результатам. — Он взглянул на покрасневшую до ушей Сюзанну.

— Ты думаешь? — спросила она.

— Я думаю, что, учитывая серьезное состояние нашего пациента, я могу несколько дней обойтись без ассистентки.

Сюзанна просияла, а Фридрих от радости чуть не бросился врачу на шею.

Хижина пряталась в полутьме густых старинных прибрежных рощ, всего в получасе езды от Кёпеника. Это был глухой угол на совершенно необитаемом западном берегу большого озера. Только утреннее солнце находило дорогу через листву в два маленькие окна. Узкая тропинка вела от небольшой лужайки перед дверью через чащу к заросшему камышом берегу озера. Сквозь камышовые заросли до открытой воды были проложены деревянные мостки, с которых так удобно удить. Сюзанна сама проследила за сборами Фридриха к отъезду и беспощадно извлекала из его дорожной сумки все книги, журналы, каждый печатный листок. В хижине была всего одна комната с земляным полом, одну половину которой занимала лежанка, а другую — камин, платяной шкаф, источенный жучком, кухонная посуда, рыболовные снасти и рабочие инструменты. Небольшая застекленная веранда служила столовой.

Они приехали в полдень, в самую жару. Сложили запасы еды и вещи в хижине и сразу же побежали купаться. В первый же вечер, когда на огне тихо запел чайник, когда сумерки погасили пятна света на лугу, а трава и листва мягко погрузились в глубокий зеленый мрак, когда сошла жара и легкий ветерок донес влажный пряный еловый запах, когда постепенно замолк неугомонный птичий хор, а камышовые заросли наполнились кваканьем и воркованьем, стрекотом и шелестом и спокойный тихий плеск озера совсем приблизился к хижине, когда природа перевела дыхание, а их крошечный уголок показался первозданным миром, — в тот же вечер Берлин с его городской суетой был забыт, мучительные порывы мысли, Фогтланд и гегелевские силлогизмы, стыд и боль, гнев и споры о будущем человечества отхлынули, и к нему вернулось благословенное ощущение молодости, которого ему так давно не хватало.

Они говорили о пустяках. Интересно, сколько лет этим ивам? Какая разница между индийским, китайским и рус-

ским чаем? Что за рыбаки жили раньше в этой хижине? Разрастется ли когда-нибудь Берлин до Кёпеника?

Они говорили взахлеб — и вдруг неожиданно умолкали посреди фразы. Они дарили друг другу взгляды, которые были красноречивей, чем все слова в мире. Они сидели на скамьях, разделенные столом, прикасаясь друг к другу только в мечтах, от которых сладко кружилась голова, исчезало земное тяготение, которые влекли и обессиливали, как южное вино. Так они сидели до тех пор, пока ночь не набрасывала свое покрывало, а глубокая темнота вокруг уютной керосиновой лампы не делала их единственными обитателями земного шара.

По утрам, когда трава и кустарник еще искрились от ночной росы, он осторожно вставал и выходил к озеру, вдыхая утреннюю свежесть, заплывал подальше от берега, переворачивался на спину и лежал на воде, глядя в небо. Он мог часами бродить по лесу или подсаживался в лодку к какому-нибудь рыбаку, чтобы поболтать. Сюзанна же по утрам любила поспать, и сон ее был для него священен.

В эти утренние часы одиноких размышлений у него было время разобраться в самом себе.

Когда он возвращался в хижину, Сюзанна встречала его уже у накрытого к завтраку стола. Она очень сожалела, что он не разбудил ее и не взял с собой на утреннюю прогулку. Они проводили вместе весь день, плавали и плескались в воде, словно дети, строили замки и запруды из белого песка и смотрели, как набегающие волны потихоньку смывали их архитектурные шедевры, восстанавливая прежний порядок.

— Ах, если б эти дни никогда не кончались, Сюзанна!

Но они кончились. И последний вечер вернул их мысли к повседневности. Непогода загнала их в хижину раньше, чем обычно. Они купили у рыбака две форели и поджарили их, так что получился роскошный прощальный ужин. Сюзанна достала из дядиного тайничка бутылку вина и наполнила бокалы.

— За наш последний вечер здесь, — произнесла она, стараясь казаться веселой.

— Будет еще много таких вечеров, — воскликнул Фридрих.

Она улыбнулась своей мягкой, сдержанной улыбкой.

— Твое пребывание в Берлине близится к концу, мой дорогой.

— И тогда я буду свободен, Сюзанна. Для тебя.

— Для меня? — Она засмеялась и убрала с его лба

непослушную прядь волос. — Ах, мой мальчик! Будь доволен, если ты сможешь быть свободным хотя бы для самого себя. Прежде всего твоя жизнь еще зависит от твоего отца.

Фридрих нахмурился.

— Мой отец, мой отец! — сказал он угрюмо. — Ничто не может разубедить его в том, что когда-нибудь именно мне предстоит продолжать начатое им дело. Но я об этом и не думаю!

— Что же другое тебе остается, если не исполнение воли отца?

— Я хочу учиться дальше. Здесь, в Берлине, Сюзанна. Мархейнеке обещал мне свою поддержку. Через три-четыре года я защищу диссертацию.

Она придвинулась ближе, положила голову ему на плечо.

— А потом? — спросила она мягко.

— Мы снимем маленький домик на окраине города. С огромным садом. Летом будем устраивать там шумные праздники. А зимой запремся и не будем никого принимать.

Сюзанна засмеялась:

— Вот уж поистине революционная мечта!

— Тебе бы это не понравилось?

— Мне, может быть. Но как долго ты сможешь быть счастлив, живя так?

—Я люблю тебя!

Сюзанна отодвинулась и пристально посмотрела ему в глаза.

— Тогда скажи мне, что на самом деле происходит у тебя в душе? С завтрашнего дня для нас обоих снова начинается жизнь всерьез, мой дорогой.

Фридрих вдруг показался себе неопытным и беспомощным юнцом. И не потому, что она была на несколько лет старше. Он никогда не считал разницу в возрасте помехой прочным узам. Ее превосходство заключалось в знании жизни, в твердой самостоятельности, которую давала ей работа, а он еще только искал свое место в жизни, зависел от отцовской воли: без ежемесячных переводов из дому ему пришлось бы туго.

Он начал говорить. Не стыдясь, открывал перед ней душу, признавался в заблуждениях, исповедовался в дерзких мечтах отрочества найти ту высшую истину, которую тщетно пытались искать целые поколения, величайшие умы всех времен. Он рассказал о внутреннем разладе, который не давал ему покоя с тех пор, как он столкнулся с жестокой реальностью нищеты. Теперь он знал, что из всех

жгучих вопросов времени прежде всего должен быть решен один — социальный вопрос, и он готов отдать этому все силы. Но как найти путь к решению?

Он рассказал, как еще ребенком страдал, сталкиваясь с несправедливостью, как по-детски пытался уже тогда помогать беднякам.

— Но постепенно я на горьком опыте убедился, как мы бессильны в своем возмущении против зла. Теперь я понимаю: так же как медицина не может победить болезнь, пока не знает ее возбудителя, так нельзя побороть и недуги общества, пока мы не обнаружим их корней, причин их возникновения. Но этот шаг в состоянии сделать только наука. Наука, которой еще нет в Германии, а может быть, и в целом мире.

— Значит, ты хочешь учиться. Но неужели ты всерьез полагаешь, что знания, которых ты жаждешь, можно найти в запыленных фолиантах университетской библиотеки?

— Я не знаю, Сюзанна. Я знаю только, что их необходимо найти. Иначе человечество, слепое и беспомощное, устремится к самоуничтожению.

— Мне кажется, что ты видишь вещи в слишком мрачном свете.

— У меня такое чувство, словно я заблудился в лесу: будучи твердо уверен, что иду прямо к цели, я бежал по кругу и оказался там, откуда начал, Сюзанна.

Сюзанна видела, что он в отчаянии.

— Но ведь ты не совсем безоружен, Фриц! — попыталась она поддержать его.

— Я цепляюсь только за надежду. Я просто не могу поверить, что немецкая философия от Канта до Гегеля была напрасной. Я не могу расстаться с убеждением, что вооруженный диалектикой разум в состоянии разгадать, какие же силы движут историей человечества. Но я чувствую, что моего образования самоучки для этого недостаточно.

Он умолк. Все было сказано. Теперь она знала то, что хотела знать. Он больше не вызывал у нее ни сострадательной улыбки, ни сочувственного жеста ласкового превосходства. На ее лице отразилась боль, почти испуг. Этот мальчик с его беззаботной сердечностью и гениальной одаренностью, мальчик, которым она восхищалась, любовалась, наслаждалась, ведь он совсем другой.

— Ты разгадаешь эту тайну, — сказала она проникновенно.

Они вернулись в Берлин почти веселые. Каждый на свое место.

На письменном столе его ждали книги. Отдых пошел Фридриху на пользу. Очень скоро он снова увлекся своеобразным стилем произведений Сен-Симона. Все яснее раскрывалась ему великая мечта реформатора: обновленное, счастливое общество, где все трудоспособные люди сплочены в планомерно управляемую ассоциацию. Каждый занимается соответствующей его способностям и знаниям работой. Объединение всех национальных богатств, всех земельных наделов, полезных ископаемых и капиталов в единый фонд устраняет разобщенность работников и приводит к невиданному росту производства. А справедливое распределение произведенного продукта гарантирует всем достойное человека существование.

Прекрасная мечта. Фридрих скептически усмехнулся сопоставив концепцию Сен-Симона с ранними утопиями Кампанеллы и Томаса Мора. Это было нечто большее. Сен-Симон уже с научной тщательностью исследовал симптомы болезни общества, чтобы изыскать реальные возможности его оздоровления. Он не ограничился тем, что обрисовал контуры государства будущего. Он описал исторический процесс, в результате которого оно должно возникнуть, указал на те нравственные изменения, которые должны произойти в новом, социалистическом обществе. Для каждого человека труд в этом обществе будет не обязанностью, а первоочередной жизненной потребностью. Постепенно исчезнет слой бесполезных «трутней», ведущих паразитическую жизнь благодаря наследуемой собственности и наследуемым привилегиям. Частная собственность на жизненно важные средства труда и существования, основная причина всех несчастий человечества, опустошительных войн и кризисов, нищеты и голода широчайших слоев народа, будет ограничена системой налогообложения и в течение жизни одного поколения перестанет существовать благодаря ликвидации права наследования.

Фридрих продолжал читать. Убедительность аргументации Сен-Симона покоряла его.

С удовлетворением самых насущных жизненных потребностей граждан нового общества откроется простор для развития личности. Женщины обретут подлинное равенство с мужчинами. Система народного образования, освобожденная от религиозных догм, позволит всем детям полностью развить свои способности. Государство перестанет быть

орудием господства одних людей над другими и преобразуется в организатора производства, науки и искусства. Лучшие специалисты во всех областях деятельности будут управлять этим государством согласно гуманным принципам взаимного уважения и братской взаимопомощи.

Социалистические государства заключат между собой вечный мир и будут обмениваться продукцией. Во всем мире исчезнет разделение общества на враждующие классы — последствие исторического развития собственности, а в новом человеческом обществе трудовые достижения каждого станут выражением его способностей, а богатство индивида будет зависеть от его труда.

Человечество вступит в золотой век, когда эксплуатация человека человеком сменится использованием природы в интересах общества.

Нет, это предвидение не было плодом досужего воображения. Ученый страстно убеждал своих соотечественников и все человечество: вот каким может стать ваше будущее, если вы только захотите!

Фридрих бережно закрыл последний том. Он прочел все, что написал за свою жизнь Сен-Симон о преобразовании общества. Ему открылся новый мир, ради которого стоило жить и бороться. Он нашел ответ на мучившие его вопросы. Сен-Симон... Как мог этот человек на пороге нынешнего столетия так далеко заглянуть в будущее?!

Он был готов вскочить, выбежать на улицу, лететь к Сюзанне, к друзьям, рассказывать об этом всем, кого знал...

Но потом он покачал головой. Нельзя, нельзя торопиться. Он слишком часто ошибался, считая, что достиг цели. Еще четыре недели назад он с изумлением воззрился бы на всякого, кто стал бы толковать ему, что уничтожение частной собственности — панацея от всех недугов человечества. Оставалось еще много неясных вопросов.

Неожиданно его охватила странная печаль. Ведь все, что предсказал Сен-Симон об индустриальном развитии, сбылось. Однако этот процесс протекал не в гармоническом единении людей, но через нужду и страдания народа. Было произведено достаточно товаров, чтобы накормить досыта всех людей, и все же самые бедные вынуждены просить милостыню для своих детей. Почему? Что заставляет человека поступать против законов разума, против заповедей гуманности?

Отпуск по болезни кончился. Волей-неволей ему пришлось снова каждый день отбывать службу, но он продол-

жал читать все социалистические сочинения, которые ему удавалось найти.

В те дни он получил письмо от отца. Отец вложил туда и запечатанный конверт, адресованный «мадемуазель Сюзанне Эссер».

Отцовская фабрика в Манчестере работала на полную мощь и приносила достаточно прибыли, чтобы расширять капиталовложения в Энгельскирхене. Отец сообщал сыну, что еще до начала нового, 1843 года Фридрих должен будет отправиться в Манчестер в качестве представителя фирмы «Энгельс и Эрмен». Он не возражал против намерения сына вступить в брак, но научную карьеру тот пусть раз и навсегда выбросит из головы. В приписке мать просила Фридриха непременно принять предложение отца (разве оно не походило скорее на приказ?). «Ты очень скоро добьешься независимого положения. И тогда больше ничто не воспрепятствует твоим сердечным планам, которые нас радуют. Мадемуазель Эссер — девушка из очень уважаемой семьи. Все, что ты о ней пишешь, вызывает у нас желание поскорей познакомиться с нею. Поэтому я была бы рада просто пригласить ее сюда в октябре, когда кончится срок твоей службы». «Мама!» — ликовал Фридрих, целуя строчки письма, и, хотя был четверг, он бросился с письмом к Сюзанне.

Сюзанна как-то беспомощно взглянула на него, прежде чем открыть письмо.

— Ты прочла? — нетерпеливо допытывался Фридрих.

Сюзанна кивнула.

— Мне очень приятно! Она заранее рада нашему знакомству. Она открывает мне сердце и двери своего дома.

— И что ты об этом думаешь?

— До октября еще далеко.

— Всего два месяца, — возразил Фридрих.

— Времени достаточно, чтобы обо всем серьезно подумать. Как относится к твоим планам отец?

— Он согласен с тобой. Даже очень. Он знать ничего не хочет о моей дальнейшей учебе. Он пытается заманить меня в Англию, соблазняя высоким жалованьем. Я должен представлять в манчестерском филиале фирмы его интересы как главного акционера. Независимое положение, самое щедрое вознаграждение, деловые полномочия.

— Англия... — произнесла Сюзанна тихо, словно про себя. — Самая богатая и могущественная страна мира. Манчестер — ее индустриальный центр. Там ты скорее най-

дешь ответы на твои вопросы, чем во всех университетах Германии. Ты не можешь поступить иначе. Ты должен принять это предложение!

— Я уже ответил отказом. И ты знаешь почему.

— Ты передумаешь!

— Значит, ты хочешь, чтобы я уехал в эту двуличную скучную Англию? — бушевал он. — В эту яму, где нет места подлинно человеческим побуждениям, где живой мир расчленяется на доходы и расходы, платежные счета, балансы и чистую прибыль. К Эрменам, этим ограниченным торгашам, пожираемым тупой жаждой наживы.

— А разве здесь иначе? Только считают меньше.

— Но у нас идейное движение, идеалы, надежды.

— Движение вхолостую, идеалы без реальности, надежды, построенные на песке, — разве ты сам не говорил этого?

Он сник. Она была права.

Она поцеловала его и мягко улыбнулась, ласково убирая со лба упрямую прядь волос.

— Ты знаешь, у нас сегодня еще прием пациентов.

Он ушел. Она снова уклонилась от разговора об их совместном будущем, но не это мучило его. Он любил ее и знал, что был любим. Значит, рано или поздно он сумеет преодолеть ее сопротивление, ее сомнения, казавшиеся ему пустяковыми.

Терзало его другое. Разорванность и противоречивость мира. Теории и практики. Идеалов и действительности. И бессилие духа против неумолимых фактов жизни.

Он уже познакомился с различными моделями будущего общества, созданными французскими социалистами, — Фурье, Мабли, Морелли. Он изучил и новейших авторов — Прудона и Луи Блана.

Социалистическая теория соответствовала и немецким условиям. И здесь начала развиваться промышленность. Почти ежедневно открывались новые железнодорожные и пароходные линии. Горное дело, чугунное и стальное литье, машиностроение набирали стремительный темп. Уголь и пар стали главными источниками энергии для промышленности. А по мере исследования электричества начали вырисовываться еще большие возможности. Грандиозные успехи химии и агротехники, представленные работами Фридриха Вёлера и Юстуса Либиха, произвели революцию в сельскохозяйственном производстве. И все же с каждым днем росло число нуждающихся, живших в нечеловеческих усло-

виях. Технический прогресс, создаваемый всем обществом, шел на пользу только небольшому верхнему слою. И в Германии могущественные становились еще могущественней, богатые еще богаче, а масса народа продолжала бедствовать. Какая нелепость! Сен-Симон, Фурье, Оуэн, их ученики, их партии, социалисты и коммунисты во Франции и в Англии, они были правы, тысячу раз правы, когда требовали социального преобразования общества, общественной собственности, справедливого распределения готового продукта. Ни один образованный человек не мог бы противостоять убедительности этих аргументов.

Цель была ясна. Но путь к ней? Тот путь, который мерещился социалистам со времен Сен-Симона — моральное убеждение власть имущих путем настойчивой агитации, — как далек этот путь от реальности! Какая грандиозная иллюзия — допустить, что привилегированные классы когда-нибудь добровольно откажутся от своих преимуществ! Что министры, правительственные чиновники сами уйдут в отставку, что князья отрекутся от власти, чтобы уступить место представителям народа и бескорыстным ученым! Что землевладельцы из любви к ближнему передадут свои наделы общине? Что капиталисты и фабриканты выпустят из рук право распоряжаться своей собственностью, поскольку осознáют, что их деятельность приносит ущерб человечеству? Немыслимо! Он слишком хорошо знал представителей всех этих слоев! Среди них вряд ли найдется хоть один, который на секунду усомнился бы в том, что делает для общества благословенное дело. Нет, эти люди были и будут глухи ко всем доводам разума и употребят свою власть, чтобы помешать любым переменам. Революционное преобразование благодаря доброй воле власть имущих — без участия народных масс? Но разве это возможно?! Только в беспощадной борьбе новое пробьется сквозь отжившее старое!

Но где те народные силы, которые сделали бы этот принцип законом своих действий, революционной явью?

Старый вопрос, давно отодвинутый младогегельянцами на задний план, снова встал перед ним во всей остроте и неумолимо потребовал ответа.

«Милостивый государь! — писал он Арнольду Руге в Дрезден, который торопил его с присылкой новой статьи. — На этот раз я пишу Вам, чтобы сообщить, что ничего не пришлю Вам.

Я принял решение на некоторое время совершенно отка-

заться от литературной деятельности и вместо этого побольше учиться. Причины этого решения очевидны. Я молод и самоучка в философии. У меня достаточно знаний для того, чтобы составить себе определенное убеждение и, в случае надобности, отстаивать его, но недостаточно, чтобы делать это действительно с успехом».

«Пора покончить с игрой идей в чистом эфире мира, существующего лишь в воображении! — решил Фридрих. — Пора покончить с незапятнанным философским познанием, которое стремится только обосновывать, но не может ничего изменить!..»

— К Жагору, — приказал Фридрих извозчику.

Фридрих и Сюзанна ехали вдоль Фридрихштрассе. Сюзанна предложила было заглянуть на огонек к Ценнеру в Трептов, но в конце концов поддалась на уговоры сделать вылазку в «высший свет».

Город изнемогал от жары, лето клонилось к концу, пожирая себя в невыносимой череде горячих сухих дней. Фридриху предстояли тоскливые недели. Целый месяц он не увидит Сюзанну. Она решила провести летний отпуск в Кёнигсберге, чтобы помочь в работе своему многострадальному дяде. Окончательный приговор по делу доктора Якоби все еще не был вынесен. Над ним висела угроза тюремного заключения. Завтра рано утром почтовый дилижанс увезет Сюзанну. Сегодня же они проведут вместе последний вечер перед отъездом.

Фридрих твердо решил добиться согласия Сюзанны на поездку к его родителям. Все вопросы в университете были улажены. Он говорил с Мархейнеке, Хеннингом и Рюккертом. Ему обещали зачисление extra ordinarius. С помощью Сюзанны он надеялся преодолеть последнее препятствие к своей научной карьере — упрямое несогласие отца. Целый день он потратил на то, чтобы выбрать для нее кольцо и наконец остановился на дымчатом топазе, напоминающем окраской цвет ее глаз — светло-карих с серо-голубым оттенком.

Извозчик остановился. Они подождали, пока он открыл дверцу, и вышли. Тот глубоким поклоном поблагодарил за щедрые чаевые. Одетые в свои самые изящные костюмы, они гордо продефилировали мимо зевак через бульвар к подъезду, на котором красовалась золоченая вывеска: «Ресторан Жагор». Швейцар в ливрее распахнул дверь. Их охватила приятная прохлада и тишина, та атмосфера элегантности и роскоши, которую, казалось, источали мрамор-

ные стены, мебель из красного дерева и толстые мягкие ковры, поглощавшие даже малейший шум. Это был лучший ресторан города, место встреч и деловых свиданий высшей аристократии и финансовых тузов. Их встретил метрдотель с манерами английского лорда, окинул оценивающим взглядом и милостиво проводил в зал.

— Имеют ли господа какие-либо пожелания?

— Несомненно, любезный! — бесцеремонно воскликнул Фридрих, высоко вскидывая бровь. Его так и подмывало привести в смущение этого субъекта. И он дал волю своей фантазии. — Прохладное, укромное место...

— И разумеется, под пальмами, — подыграла Сюзанна тоном эрцгерцогини. — Мы предпочитаем в восточном вкусе.

— Но не без прусского колорита, мой дорогой! И хорошо бы с видом на Бранденбургские ворота. А к этому итальянская музыка.

— Испанское вино и французская кухня.

— С легким английским привкусом.

— Нет, лучше не надо!

Его лордство ничуть не удивилось, оно ограничилось сдержанным кивком.

— Салон три, — только и произнес «лорд».

Они поднялись на два лестничных марша и очутились там, где пожелали.

— Все, кроме пальмы, — резюмировала Сюзанна. — Я настаиваю на пальмах.

Фридрих указал на дверь. В нее уже вкатывали целую батарею больших комнатных пальм и группировали вокруг оконной ниши с их столиком.

Сюзанна сдалась.

— Пять — один в пользу мсье Жагора, — сказала она.

Тем временем им подали меню на сорока страницах. Оконные занавески были раздвинуты, а из окна и в самом деле открывался вид на Бранденбургские ворота. Скрипачи, только что исполнявшие Глюка, играли теперь Беллини. Фридрих и Сюзанна переглянулись и расхохотались так громко, что привлекли внимание гостей за соседними столиками. Монокли и лорнеты с любопытством обратились в их сторону. Посетители многозначительно шушукались, пытаясь разгадать, кто эта пара. От большинства присутствующих они отличались молодостью, а выставленные специально для них пальмовые деревца наводили на предположения о лицах самого высокого ранга. Для них играли

музыканты. На них были устремлены восхищенные взгляды. Ничуть не смущаясь всей этой роскошью, они отдали должное и ужину, и малаге. Их словно подхватила волна всеобщего благожелательства. Вечер удался на славу. Вино оказало свое действие. Сюзанна пересела ближе к Фридриху, и он решил, что настало время сказать ей все.

Он взял ее за руку.

— Закрой глаза, Сюзанна!

— Слушаюсь, ваша милость!

Он надел ей кольцо.

— Теперь можешь открыть.

Сюзанна взглянула на свою руку. На ее лице отразилось изумление.

— Нет, я не могу это принять! Оно должно стоить целое состояние.

— Ты возьмешь его! Это мой подарок в честь нашей помолвки. Мадемуазель Сюзанна Эссер, позвольте спросить вас: могли бы вы привыкнуть к мысли, что станете моей женой?

Сюзанна с трудом перевела дух.

— Фриц... — начала она нерешительно.

Фридрих закрыл ей рот ладонью.

— Тихо, не говори ничего другого, кроме да. Ты должна знать, что я больше не могу представить себе жизни без тебя. — И настойчиво попросил: — Скажи, что ты меня любишь!

— Мой дорогой большой глупый мальчик!

— Скажи!

— Как ты можешь в этом сомневаться? Но... — Она хотела снять кольцо.

Фридрих обнял ее.

— Никаких «но»! — Он закрыл ей рот поцелуем. — Никаких «но»!

— Что же, хорошо, — уступила наконец она. — Я буду носить твое кольцо, пока мы еще будем вместе. Но никакой помолвки!

— Значит, ты меня не любишь?

— Дурачок! Именно потому, что я тебя люблю, я предоставляю тебе свободу до тех пор, пока ты не узнаешь мир. Если ты, скажем, через год, не изменишь своих намерений... Я здесь и никуда не убегу от тебя.

— А приглашение к моим родителям?

— Отложим до того времени.

Он хотел что-то сказать, изложить ей свои доводы, но тут

его внимание привлекло странное событие в зале.

Кто-то вошел в ресторан с газетой и направился к одному из столиков. За столиком возникло оживление. Новость распространялась по залу с быстротой молнии, вызывая изумление, возмущение, ужас. Мужчины собирались в группы. Некоторые быстро раскланивались и покидали зал. Оркестр перестал играть. Из уст в уста передавали слово «Англия». Фридрих поймал за рукав пробегавшего мимо возбужденного кельнера:

— Что случилось?

— В Англии разразилась революция.

— Откуда вы это знаете?

— Все говорят. Эта «Таймс»...

Фридрих вскочил. Он подбежал к группе мужчин. Ему удалось раздобыть газетный листок, и он вернулся к Сюзанне.

— Восстание чартистов в Манчестере, — переводил он. — Город в руках мятежников. Промышленность парализована. Взбунтовавшиеся рабочие сеют ужас и террор. Правительство объявляет осадное положение. Неужели Англия на пороге революции? — Он опустил листок. Известие потрясло его. — Значит, Англия! — Его лицо сияло. — Кто бы подумал! Рабочие Манчестера! Моему старику достанется на орехи! Ты погляди, что творится! Англия! То, на что мы здесь уже так давно уповаем, происходит в богатой, консервативной Англии. Рабочие поднимаются! Ты понимаешь, что это значит для меня, Сюзанна? Дело принимает совершенно иной оборот... — Он вдруг осекся на полуслове и посмотрел на Сюзанну.

Откинувшись на спинку стула, она наблюдала за ним с веселой улыбкой, в которой сквозила печаль.

— Сюзанна, ты думаешь, что теперь мои планы...

Она решительно перебила его.

— Я ничего не думаю. Я знаю!

Фридрих в замешательстве замолчал. Сюзанна подняла свой бокал.

— За великую надежду твоей жизни!

Фридрих неуверенно взял бокал.

— Сюзанна! — только и промолвил он.

Она выпила. Вдруг на ее глазах выступили слезы. Она быстро отвернулась.

Весь остаток ночи и весь следующий день Фридриха не оставляли мысли о событиях в Манчестере. Возвращаясь вечером из казармы, он вдруг ясно осознал, что Сюзанны

больше нет в городе, что он не может увидеться с ней, услышать ее голос. Ему предстоял долгий вечер, одинокий и пустой.

Фридрих отправился в кафе на Унтер-ден-Линден, где можно было достать английские газеты. Дневные выпуски уже поместили подробные отчеты о событиях в Манчестере. Но отчеты противоречили друг другу, и нельзя было понять, как будут дальше разворачиваться события.

В течение недели волнения в Англии улеглись. Великий августовский бунт рабочих Манчестера — таким было теперь общепринятое название этого мятежа — окончился.

По газетным отчетам и комментариям Фридрих мог составить довольно ясное представление о ходе событий. Волнения среди рабочих вызвали сами предприниматели, стремившиеся втянуть их в свою борьбу с земельной аристократией против хлебных законов. Два предпринимателя из предместья Манчестера Стейлибриджа умышленно снизили рабочим жалованье. Рабочие этих фабрик бросили работу и в знак протеста двинулись в Манчестер, как на то и рассчитывали сторонники «свободной торговли хлебом». На пути к центру города к процессии из Стейлибриджа присоединялось все больше фабричных, пока наконец, к ужасу владельцев, не опустели все фабрики и шахты. Рабочие предъявили собственные требования. Манчестер фактически оказался в их руках. Но что делать дальше?

Фридрих представил себе улицы и площади огромного города, где он бывал два года назад проездом: кругом толпы «рабочего люда», красильщики, ткачи, печатники, прядильщики с огромных текстильных фабрик, шахтеры, кочегары, машинисты, англичане и ирландцы, жены и дети рабочих. И вот все они стоят, изумляясь своей мощи, и ожидают приказов от вожаков. Но ничего не произошло, последовало лишь поспешное уверение предпринимателей, что жалованье им будут продолжать платить по-прежнему. Чартисты не сумели своевременно придать движению политический характер. Взбудораженные страсти улеглись, и большинство было готово снова приступить к работе. Гордая богатая Англия отделалась легким испугом.

«И все же какое-то решительное изменение произошло, — возражал Фридрих комментаторам английских и немецких газет. — На мировую арену истории вышла новая сила, с которой придется считаться — промышленный пролетариат. Социальный вопрос теперь нельзя вырвать из политического движения стран, вступивших на путь про-

мышленного развития. Время, когда неимущие рабочие безропотно влачили свое жалкое существование, бесповоротно миновало».

Чем больше он размышлял об этом, тем яснее ему становилось, насколько права была Сюзанна, когда советовала ему принять предложение отца. Где как не в Англии, стремительно продвигавшейся по пути экономического и промышленного прогресса, он сможет найти ответ на свои вопросы?

Он уже собрался засесть за письмо к отцу, чтобы согласиться с его предложением, как пришло письмо из дому, в котором старик подтверждал свое предложение и при этом шел на уступки, предоставляя сыну полную свободу в завершении образования. На этот раз письмо было действительно выдержано в тоне настоятельной просьбы. Похоже было, что августовский кризис и в самом деле сильно встревожил отца. Тот не понимал, что происходит в мире, и дрожал за свои огромные капиталы, вложенные в фирму «Victoria mill» в Манчестере. Его совершенно очевидно потряс тот факт, что его рабочие в Англии примкнули к движению, хотя по сравнению с английскими предпринимателями он предоставил им некоторые социальные льготы.

Лето кончилось сразу. Сентябрь принес холод и дождь. Все это время Фридрих не показывался у «Свободных». На настойчивые приглашения друзей он отвечал уклончиво, отговариваясь обязанностями по службе.

Целыми днями он теперь обдумывал, как изложить друзьям свою новую позицию.

Но терпение друзей, видимо, исчерпалось. Однажды вечером они заявились к нему всей компанией: Эдгар Бауэр, Мейен, Штирнер, Буль и Засс. Фридрих дал им выговориться.

Эдгар Бауэр указал на книги, наваленные грудой на письменном столе:

— Бабеф, Сен-Симон, Фурье, Оуэн, Кабе, Ламенне, Дезами... Социализм, все эти коммунистические утопии... кто против? Можешь заниматься этим сколько душе угодно. Распределение богатств, устранение собственности, да, черт побери! Чтобы проклятый филистерский сброд наложил от страху в штаны! Но разве это основание, чтобы отрываться от нас? И именно теперь, когда дело принимает крутой оборот, когда мы собираемся показать всему миру, что пробил час критики, час отрицания, уничтожения всех ложных идеалов, всех лицемерных принципов?

Фридрих как мог успокаивал возбужденных спорщиков. Он налил вина и попытался объяснить посетителям, что произошло в его душе с той ночи, после праздника. Но почувствовал, что его рассказ произвел слабое впечатление. Социалистические идеи натолкнулись на полное непонимание. Кроме Эдгара, никто, казалось, не слушал его. Их занимали совсем другие проблемы.

— Дружище Фридерикус! — воскликнул с пафосом Мейен. — Ты нам нужен. Именно сейчас, когда все словно сговорились против нас. Руге приехал в Берлин, чтобы призвать нас к умеренности. Маркс, на которого все мы возлагали величайшие надежды, пишет озабоченные письма! Гервег, совершающий путешествие по Германии, вежливо отклонил наше приглашение. Юнг, Бакунин, Гесс отдаляются, держат дистанцию. Старая гвардия погрязла в мелочных личных склоках. Не пощадили даже Бруно Бауэра. Хоть ты-то приди в себя, опомнись!

Фридрих твердо стоял на своем:

— Я изложил вам свое мнение. Я не могу больше. Эти бесконечные разговоры, это высокопарное хвастовство, словесные перепалки, умственная акробатика, в то время как мир взывает к действию.

Гости смотрели на него в полном недоумении. Мейен взъерошил себе волосы.

— Я вообще отказываюсь что-либо понимать! Да разве не ты сам, не твои атаки объяснили большинству из нас, что только радикальнейшая переоценка всех ценностей духа позволит создать условия для обновления мира?!

Фридрих с болью ощутил, какое разочарование он доставил своим друзьям. Он чувствовал, что виноват перед ними. Но как объяснить им, что необходимо идти другим путем?

— Да, это так, Эдуард, — сказал он. — Я тоже ответствен за это. Мы одурманили себя пустыми словами, оглушили абстрактными идеями. Мы парили в категориях, понятиях, душевных излияниях. Мы забрались в высочайшие сферы умозрительных построений. Мы вознеслись над миром, мы высмеивали людей, которых удивляло наше поведение. А нам предоставили возможность резвиться. Мир просто не обратил на нас внимания. Ни единый камешек, ни единая пылинка не стронулась с места из-за нашего вселенского шума. И пока мы праздновали грандиозное освобождение нашего собственного жалкого духа от всяческого рабства, словно действительную победу, в двух милях от нас люди прозябали в чудовищной нищете, умирающие от

голода дети просили хлеба, целые семьи подыхали на гнилой соломе, как скотина.

Он заметил, что они не хотят его понять, и сделал последнюю попытку привести их в чувство!

— Да поймите же наконец! Мы не можем обязать весь свет признать наши идеи. Мы обязаны сначала постичь мир, прежде чем окажемся в состоянии изменить его.

Друзья недоуменно взирали на него.

— Что он, собственно, хочет сказать? — спросил Штирнер.

Эдгар Бауэр сокрушенно взглянул на него:

— Понятно. Тебя заразили либералы. Все эти Вальдеки, Эссеры, Якоби с их проповедью новой государственности, народного представительства, социальных законов, правопорядка и свободы ремесел. Ты собираешься оздоровить политические институты, вместо того чтобы стереть мысль о них в сознании живущих.

Фридрих рассмеялся.

— Они существуют независимо от того, мыслимы они или нет.

— Ты хочешь спуститься с величественных вершин идеи в бесформенную реальность!

— Без реальности всякая идея пуста, бессодержательна, нелепа. Но она лишь тогда станет реальностью, когда народ пропитается ею насквозь.

— Ты собираешься нести в толпу высочайшие принципы возвышенного духа!

— Нельзя изменить мир без участия народа, — настаивал на своем Фридрих.

Штирнер в ярости вскочил с места:

— Любая истинная идея разжижается, разрушается, искажается в объятиях массы.

Фридрих живо отпарировал:

— Значит, ее вообще не стоило выдумывать!

И вдруг группа милых молодых людей, которые всегда придавали столько значения превосходству своей логики, уважению к духовной свободе индивида, превратились в распоясавшуюся орду вполне ординарных истериков. Они осыпали его бранными словами, упрекали в трусливом предательстве, в филистерстве, в подлом сообщничестве с попами и уличной чернью и готовы были чуть ли не подвергнуть его физической расправе.

— Довольно! — воскликнул Фридрих, перекрывая их вопли. — Убирайтесь к черту, если не желаете понимать, что

я могу действовать только в согласии с моей совестью!

Гости мгновенно умолкли. Штирнер, Буль, Мейен и Засс исчезли, не прощаясь. Остался один Эдгар.

Фридрих не знал, плакать ему или смеяться.

— Мне очень жаль, Эдгар.

Тот молча протянул ему пустой стакан. Фридрих налил вина. Некоторое время оба молчали. Наконец Бауэр промолвил:

— Расскажи мне, что написано в этих книгах!

— Они задают неумолимый вопрос, не служит ли наша борьба за осуществление политического порядка, при котором гарантируется беспрепятственное развитие личности, не служит ли она в конечном счете только тому, что богатые будут еще богаче, а бедные еще беднее и несчастнее, — ответил Фридрих.

Он рассказал другу все. На Эдгара его рассказ произвел известное впечатление. Он задумчиво молчал. Его лицо опечалилось.

— Ты потерян для нас, — произнес он, нарушив тишину.

Фридрих с трудом перевел дыхание.

— Может быть, я никогда по-настоящему не принадлежал вам.

— Ты не останешься в Берлине?

— Нет. Теперь нет.

Эдгар вскочил, заговорил лихорадочно сквозь стиснутые зубы:

— Черт подери! Ты был моим самым лучшим другом, будь проклят этот мир, в котором рвутся самые священные узы.

Фридрих тоже встал, подошел к Эдгару, обеими руками взял его за лацкан сюртука.

— Эдгар! Дружище! Я же был счастлив с вами. Наш праздник, наша вера в победу! Мне казалось, что после бесконечно долгих сражений я наконец достиг цели. Это был самый прекрасный, самый великолепный день моей жизни, когда я позабыл обо всех сомнениях и освободился от неуверенности. Но потом была эта ужасная ночь в фогтландском аду. И я понял: все, все прежнее было дурманом.

Они пожали друг другу руки в знак примирения:

— Как долго ты еще пробудешь здесь?

— Всего несколько недель.

— А твоя Сюзанна?

Фридрих не знал, что ответить. Вопрос этот огорчил его. Он проводил Эдгара до двери.

— Мы еще увидимся? — спросил друг.

— Может быть.

— По крайней мере пиши мне.

Фридрих кивнул. Они обнялись. Эдгар ушел. Берлин снова казался унылым и серым.

— Ну и черт с ним! — сказал Фридрих.

Этой же ночью он написал отцу, что согласен на его предложение.

В один прекрасный день вернулась Сюзанна. Она с прежней хваткой и энергией включилась в работу. Но что-то в ней изменилось.

Кончился срок военной службы. Прощание с товарищами и с Веделем было вежливым, корректным.

— К сожалению, с повышением в сержанты ничего не вышло, бомбардир Энгельс. Ваше усердие по службе в последнее время...

— Пусть это вас не огорчает, господин капитан. Я и так во многом преуспел.

— Весьма рад, если ваши занятия в университете...

Не только. Муштра меня тоже многому научила. Когда-нибудь это может пригодиться. — Он не стал посвящать бравого капитана в свои мысли.

Фридрих вышел за ворота казармы. Его лицо прояснилось. Он увидел Сюзанну с большим букетом астр. Рядом ожидал экипаж. Сорвав каску с султаном, он бросился к ней.

— Итак, ты с почетом окончил службу в славной армии прусского короля?

Он с усмешкой показал на свои погоны.

— Как видишь, даже без повышения.

— Поздравляю.

Сюзанна указала на экипаж:

— Прошу садиться.

Извозчик тронул лошадей.

— Куда мы едем? — спросил Фридрих.

— В Кёпеник.

— В рыбачью хижину! — воскликнул он радостно. На какой-то момент в нем ожила надежда, что она изменила свое решение отпустить его в Англию одного.

Но потом все стало на свои места.

— Я подумала, что для нашего прощания это самое подходящее место.

Она сказала это непринужденно, почти легко, без намека

на боль или сожаление. И быстро переменила тему, заметив его огорчение. Она стала расспрашивать его об августовских событиях в Англии. Ей было интересно, как он интерпретирует то, что там произошло.

— Значит, ты решил уехать в Манчестер, — заключила она из его слов.

Фридрих дал ей прочесть последнее письмо отца.

— Он очень удручен. Не доверяет своему компаньону в Манчестере. Видит, что все его надежды рушатся. И обращается ко мне как к единственному человеку, который может ему сейчас помочь. Мои политические эскапады, которые до сих пор расценивались как позорная, недостойная слабость, вдруг оказались полезным делом, сулящим прямую выгоду. Мне, единственному человеку в семье, разбирающемуся в политических вопросах, он доверяет принятие деловых решений. Его новое предложение благородно во всех отношениях.

Сюзанна вернула ему письмо.

— Ты правильно сделал, что согласился.

Он взял ее за руку.

— Я думал о нашем общем будущем, Сюзанна.

Она ответила на его рукопожатие, но ничего не сказала. Только вечером на исходе этого счастливого дня, сидя на лежанке и глядя на затухающие угли очага, когда Фридрих возобновил разговор об их общем будущем, она сказала:

— Мой дорогой, у нас с тобой не будет общего будущего.

Она произнесла это без всякой неприязни, горечи или театральности. Просто и открыто глядя ему прямо в глаза. Это был однозначный, ничем не прикрытый отказ. У нее были на то свои причины. Десять лет разницы в возрасте, разные виды на будущее, разные жизненные планы, согласовать которые можно было только путем самоотречения с одной или с другой стороны. Все, что она говорила, звучало разумно, неопровержимо. Ее аргументация была несокрушимой.

— Но наша любовь... — пробормотал Фридрих.

— Она на всю жизнь останется для нас обоих незабываемым воспоминанием. Ничто, ни единое пятнышко не омрачило блаженных недель этого лета.

Он взглянул на нее. И все понял. Его разум, его чувство говорили ему, что она права. Тысячи мужчин точно так же прощались со своими любимыми, но чтобы женщина таким образом расставалась с мужчиной, который решил жениться

на ней? Он сглотнул слезы, ему хотелось бунтовать, кричать...

Потом настало время прощаться с Берлином, с теми немногими, кому он считал необходимым пожать руку: Мархейнеке, Эдгару Бауэру, Кёппену. Семейство Снетлаге передало приветы его домашним. Квартирной хозяйке он вручил на прощание большой букет цветов, и та разрыдалась от чувства признательности.

На этот раз он решил доехать до Потсдама по железной дороге. Оттуда шел почтовый дилижанс до Кёльна. Сюзанна провожала его на вокзал.

— Не забудь передать от меня сердечный привет твоей маме! — попросила она. — Когда ты будешь дома?

— В четверг. Два дня проведу в Кёльне. Я собираюсь повидаться там с будущим главным редактором «Рейнской газеты». С тем самым Карлом Марксом, о котором говорят, что он самая толковая философская голова после Гегеля. И если он не даст мне вразумительного ответа на коекакие замысловатые вопросы, к дьяволу тогда всю философию.

Фридрих обнял Сюзанну. У нее на глазах вдруг выступили слезы. Его охватило желание удержать ее во что бы то ни стало.

— Может быть, мы все же передумаем?

Сюзанна погладила его по волосам.

— Одно твое слово, и я останусь, — сказал Фридрих.

Сюзанна была неумолима.

— Ты не можешь остаться здесь. — Она снова улыбнулась своей мудрой улыбкой. — Я же знаю, это — «огонь». Ты будешь гнаться за ним, пока жив. Я не та женщина, которая последует за тобой. Мое место здесь. Ты это знаешь...

— Я люблю тебя, Сюзанна.

Она поцеловала его в последний раз.

— Прощай, мой мальчик! Тебе предстоит дальний путь...

Редакция «Рейнской газеты» находилась в лабиринте старых узких улочек Кёльна. На одном из старинных купеческих домов Фридрих обнаружил над дверью табличку «Издательство И. Э. Ренар и К°», а под ней — «Рейнская газета. Редакция и экспедиция». Уже на улице он почувствовал запах керосина, который помнил со времен своих визитов к Гуцкову в Гамбурге. Он пересек двор и вошел в длинную

пристройку. В большом зале с необозримой путаницей различных рабочих мест он увидел широкие столы и наборные кассы, архивные стеллажи с высокими полками, корректорские и редакторские конторки. Было послеполуденное время, работа шла полным ходом. Сотрудники сидели, склонившись каждый над своей работой. Никто не поднял глаз на вошедшего. Фридрих постоял в дверях и попытался привлечь к себе внимание громким «Добрый день, господа!». Ответом ему было лишь слабое эхо. Пожилой человек, сидевший у входа и заносивший какие-то записи в амбарную книгу, по всей видимости доверенный фирмы, не слишком дружелюбно поинтересовался:

— Вы кого-нибудь ищете?

Фридрих вежливо поклонился.

— Будьте так любезны доложить обо мне господину доктору Марксу!

Бухгалтер окинул его оценивающим взглядом.

— Я хотел бы поговорить с ним, — добавил Фридрих.

Физиономия бухгалтера стала еще более неприветливой.

— А других желаний у вас нет, господин?

— Простите, мое имя Фридрих Энгельс. Я только что приехал из Берлина.

— Берлин! Так-так! Наверное, один из «Свободных», а?

— Совершенно верно.

— Ну, значит, вам повезло.

— Так доложите же! — нетерпеливо потребовал Фридрих.

Бухгалтер мрачно продолжал:

— Ваше счастье, что доктор еще не приступил к исполнению своих обязанностей. Он чертовски зол на вашу братию.

Фридрих холодно возразил:

— Очевидно, братия отвечает ему взаимностью.

Старикан вскочил и разразился бранью.

— Какого черта вы компрометируете либеральное движение? По какому праву поносите честных демократов, которые не участвуют в ваших сумасшедших выходках? Но вы заблуждаетесь, если думаете, что мы напечатаем хоть строчку вашей болтовни. — Руками, дрожащими от ярости, старик схватил с конторки пачку исписанной бумаги и сунул ее в руки Фридриха.

— Нате, вот вам отвергнутые рукописи. Можете вернуть их своим берлинским дружкам с приветом от доктора Маркса.

Фридрих посмотрел бумаги и протянул их обратно.

— Благодарю вас, друг мой, но моих рукописей среди них нет.

— Ваших? — Бухгалтер с недоверием оглядел посетителя. — Неужели ваше желторотие тоже уже пишет?

Старик был поистине забавен, и Фридрих не мог отказать себе в удовольствии подразнить его еще больше. Он напустил на себя вид литератора-сноба и снисходительно произнес:

— Да, я позволил себе пару раз развлечься, напечатавшись в вашем листке.

Этого старик уже не мог вынести.

— Как вы сказали? В листке? — Он весь клокотал от возмущения.

Фридрих потрепал его по плечу.

— Кстати, друг мой, если не ошибаюсь, мне причитается еще некоторая сумма в качестве гонорара.

— Энгельс? — Бухгалтер решительно покачал головой. — Такой не значится.

Фридрих побарабанил пальцами по конторской книге.

— А вы взгляните на букву «О», на фамилию Освальд!

Старик не верил своим ушам.

— Освальд? Кто, вы — Освальд?

Прежде чем Фридрих успел раскрыть рот, чтобы доказать старику свою идентичность, от редакторского стола к ним немедленно ринулся какой-то человек. На вид ему было лет тридцать, он был полноват, но очень подвижен, у него были живые глаза и длинная, как у патриарха, борода.

— Освальд? — воскликнул он. — Я не ослышался? Вы — Фридрих Освальд? — Он сердечно пожал Фридриху руку. Меня зовут Мозес Гесс. Я давно уже ждал возможности обменяться с вами мнениями. Видите ли, в вашей последней статье...

Фридриха обрадовал интерес человека, чью рубрику, посвященную внешнеполитическим вопросам, он оценивал весьма высоко.

— Охотно, охотно, господин редактор. Но не здесь. Не в этой напряженной атмосфере!

Тем временем и другие люди в зале прервали работу, чтобы поприветствовать Фридриха. Сбитый с толку бухгалтер подошел к нему с поклоном и листком в руках.

— Вот ваш расчет, господин Освальд!

Фридрих бросил взгляд на листок.

— Ну вот! — Он обернулся ко всем сидевшим в зале. — Я знаю в Кёльне одно уютное местечко с отличной

кухней и недурным вином. Позвольте пригласить вас, господин доктор. И разумеется, всех остальных господ.

Гесс взялся за шляпу, все остальные обещали прийти попозже. Между Фридрихом и редактором сразу же завязался оживленный обмен мнениями. Мозес Гесс также полагал, что гуманистический идеал последовательного гегельянства должен непременно привести к социализму. Они пришли к единому выводу, что в настоящее время самой интересной страной для изучения социальных вопросов стала Англия.

Вскоре к ним присоединились и другие коллеги. Они славно провели вечер. Веселая доброжелательность и непринужденность, столь характерная для людей, живущих по обоим берегам Рейна, ничем не напоминала фразерства и вечной ругани в кондитерской Штехели. За третьим бокалом терпкого вина Фридрих забыл вкус скверного зелья из Грюнебергской паровой давильни на Шпрее. Вино снова стало вином, ухо снова ловило знакомые звуки рейнского диалекта. Хотелось затянуть привычные с детства песни, сердце радостно билось, голова сладко кружилась. Он снова был дома.

— Таких гостей, как ты, у нас еще не было! — уверял перешедший с ним на «ты» Мозес Гесс. — Побольше бы нам в «Рейнской» иметь таких сотрудников, как наш дорогой дядя Освальд!

Коллеги поддержали его. Фридрих обещал перед отъездом в Англию заглянуть к ним еще раз, чтобы познакомиться с Марксом. А пока он был вынужден проститься с Кёльном.

Когда он сошел в Бармене с поезда и отправился к Брухерплац, находившейся неподалеку от станции, он поймал себя на том, что чувствует себя чужаком в родном городе. Первой увидела его Ульрика и подняла на ноги всю семью. Мать — очень постаревшая, как он сразу отметил, — прижала его к груди. Братья и сестры повисли на нем, засыпав сотней вопросов, на которые он должен был подробно отвечать. Их интересовало все: и как выглядит город, и каков собор, королевский дворец, какие там пушки и офицерская форма, что носят при дворе, — то есть все то, на что он не очень-то обращал внимание и о чем не мог рассказать ничего сверх того, что всем и так было известно. Ему было очень досадно, что никто из них, даже мать, не выказывал ни малейшего интереса к тому, что его действительно волновало. Тогда он стал сочинять небылицы, кото-

рые были приняты со всеобщим изумлением и восторгом. Состоялась встреча и со старыми товарищами по кружку Фрейлиграта, которые устроили в его честь вечер в трактире на холме. Пришел и Клаузен с несколькими гимназистами. Приехали Веерт, Пютман и Кёстер, обосновавшиеся к этому времени в Дюссельдорфе. К радости Фридриха, привезли ему привет от почитаемого им Гервега, начавшего свою триумфальную поездку по Германии. Всего несколько дней провел Фридрих в Бармене. Отец с нетерпением ожидал его в Энгельскирхене, где предстояло освящение нового цеха. Спешно были собраны чемоданы с расчетом на длительное пребывание в Англии, и семейство без больших сожалений снова рассталось с ним.

Отец встретил его с неожиданной сердечностью. Он гордо показывал ему свою фабрику. То, что здесь было сделано за год, произвело на Фридриха сильное впечатление. Прекрасные здания, светлые цехи, дружелюбные лица в белых халатах около блистающих латунью современных машин, симпатичные домики с садиками для рабочих в поселке на опушке леса. Все это заставило сильнее биться его сердце. Он сравнивал то, что увидел здесь, с ужасающей нищетой берлинского Фогтланда, и не мог не поздравить отца. Похоже было, что отец очень нуждался в такой поддержке. Он обрадовался и показал ему проекты новой школы, евангелической церкви и виллы для семьи посреди огромного парка.

— Все это я хотел бы как можно скорее передать в твои руки.

Но когда вечером они расположились в помещении конторы, где отец по-походному жил, лицо его стало озабоченным, на лбу собрались морщины. Фабрика в Энгельскирхене все еще работала с огромными убытками. Расходы на транспорт, сырье, налоги и заработная плата съедали практически всю приносимую фабрикой прибыль. Причем все могло быть иначе, если бы не прогулы, небрежность и даже халатность со стороны персонала. Все это мешало использовать на полную мощность высокопродуктивные английские машины. От него, от будущего принципала, отец ожидал наведения порядка и сокращения непроизводительных затрат, в результате чего должны были повыситься качество товаров и рентабельность фабрики.

Фридрих не спорил с отцом относительно планов, касавшихся его особы, но и не соглашался. Он хранил свои соображения при себе. Завязавшиеся было теплые отношения

между отцом и сыном снова охладели, перешли в холодную деловитость.

Две недели, остававшиеся до намеченного отъезда, Фридрих использовал для совершенствования в английском. Он общался с английскими механиками, работавшими над техническим оснащением фабрики. Скоро он мог уже свободно и уверенно беседовать с ними и совсем избавился от школьного английского, который для британского слуха звучал искусственно и высокопарно.

Ежедневные педантичные наставления отца о производстве хлопчатобумажных тканей, которые Фридрих давно усвоил, действовали ему на нервы. Он был страшно рад, когда его сундуки были снова водружены на крышу почтового дилижанса, и он обменялся с отцом прощальным рукопожатием. Это было для него избавлением.

В Кёльне он отослал свой багаж на вокзал. Вторую половину дня он отвел для условленной встречи с Карлом Марксом.

Рывком распахнул он дверь редакционного зала «Рейнской».

— Добрый день, господа!

Лица сотрудников просияли. Все дружески его приветствовали, а Мозес Гесс вышел из-за своей конторки и сердечно пожал ему руку.

— Фридрих, дорогой друг!

— Можно ли сегодня увидеться с высоким шефом политики, Мозес?

Мозес состроил озабоченно-огорченную мину.

— Боюсь, что нет! Я сделал все возможное, чтобы подготовить его к встрече с тобой. Но похоже, что дело не выгорит. Всю ночь он уламывал цензора. Утром заявились со своими дрязгами господа акционеры. Потом пришло подлое письмо от Мейена, в котором этот щенок обвиняет нашего доктора в нерешительности за то, что мы не печатаем всю галиматью, сочиняемую берлинской кликой.

— И к тому же один из самых скверных «Свободных» является к нему собственной персоной. — Фридрих со смехом поклонился озабоченному редактору. — Мозес, старина, ты прямо дрожишь! Черт знает что такое! Какого дьявола этот Маркс терроризирует вас, вместо того чтобы вгонять в дрожь пруссаков!

— Речь идет о газете, Фридрих. Он решил испробовать все, чтобы спасти газету от грозящего ей запрещения. Но

нам для этого нужна общественность. Подписчики и еще раз подписчики! А их можно привлечь только основательным знанием дела, а не бестактными провокациями, не бессодержательной болтовней, к которой привыкли афиняне с берегов Шпрее. Без этого почти все, что могло бы способствовать популярности газеты, вычеркивается проклятой цензурой.

— Я вижу, вы попали в чертову мышеловку, из которой вас не вытащит даже его диалектический гений.

— Если кто-нибудь в состоянии это сделать, то только он! С тех пор как он руководит газетой, число подписчиков увеличилось вдвое.

— А гнев высочайших особ — в десять раз! — Фридрих рассмеялся.

— Этому в немалой степени способствовали берлинцы своими высокопарными воплями. И я опасаюсь, что на тебя, самого невинного из них, будет выплеснута вся желчь, которая накопилась у него против берлинской компании.

— Чудесно! По крайней мере это принесет ему облегчение.

Маленький человек умоляюще схватил его за руку.

— Мы должны перенести вашу встречу, от которой для тебя и для нас так много зависит!

— Перенести? — рявкнул Фридрих. — Я еду в Англию, понимаете ли вы это? И я прервал свое путешествие и застрял в вашем дурацком раю по единственной причине — из желания лично засвидетельствовать свое почтение его ученому величеству доктору Карлу Марксу.

Он обратился ко всем присутствующим редакторам и наборщикам:

— Господа, вы видите, я беру на себя неслыханную дерзость — на собственный страх и риск проникнуть в святая святых вашей редакции.

Он пересек зал и открыл обитую кожей двойную дверь, за которой находился кабинет доктора Карла Маркса. Отвесив короткий, корректный поклон, он представился человеку в комнате:

— Мое имя Фридрих Энгельс. Если вы — глава этой фирмы, то я прибыл сюда, чтобы познакомиться с вами.

Человек с густой черной шевелюрой спокойно продолжал править рукопись, не обращая никакого внимания на непрошеного гостя. Тем не менее Фридрих невозмутимо оставался стоять в дверях. Он хотел поближе рассмотреть фило-

софа, в адрес которого он слышал столько восторженных похвал в кругу «Свободных», пока тот не был редактором «Рейнской», и которого те же самые люди объявили теперь отщепенцем, поскольку «их» газету, орган радикальной интеллектуальной критики, он захотел свести на уровень массового политического листка.

Будь что будет! Его интересовал не главный редактор, а исключительно философ, «признанный последователь Гегеля», как его единодушно величали столь разные люди, как Бауэры, Кёппен, Арнольд Руге, Вальдек, демократы и либералы, и социалист Мозес Гесс. Да и внешность этого человека: широкоплечая приземистая фигура, высокий лоб, черная борода — все это вполне отвечало представлению, которое он составил о нем по рассказам этих людей о философе.

Наконец Маркс встал, прошел к двери мимо Фридриха, словно того и не было.

— Кристиан, — крикнул он одному из наборщиков. — Сделайте это для первой полосы. — И только на обратном пути он остановился рядом с Фридрихом, протянул ему руку и окинул его критическим взглядом снизу вверх. — Фридрих Энгельс, так-так. Эрмен и Энгельс, Манчестер, Бармен и Энгельскирхен. Главный наследник. Он же Фридрих Освальд. Литератор из гуцковского лагеря. Радикальный публицист, пользующийся всеобщим спросом. Философ во анти-Христе. Идеалистический форейтор «Свободных»! Берлинский корреспондент «Рейнской». Коммерсант и гвардии бомбардир. Поразительно широкий круг занятий для столь молодого человека!

Фридрих не остался в долгу.

— Согласно моему неточному подсчету, господин доктор, вы старше меня на целых тридцать месяцев. Разумеется, никто не скажет обо мне, что я философский гений вроде вас. — И не без иронического намека на небольшое количество публикаций Маркса, добавил: — Зато, к счастью, надо мной не тяготеет мучительное обязательство дозревать в тиши.

Насмешка, казалось, совершенно не задела этого человека.

— Ну, коли уж вы вторглись сюда, садитесь! По всей вероятности, вы приехали для того, чтобы пожаловаться на бессовестную редакцию, которая берет на себя дерзость пачками швырять в мусорную корзину гениальные излияния берлинских «Свободных». Что ж, начинайте обстрел! — Он

вытащил из кармана часы и сказал по-французски:

— Mais mon temps est extrêmement limité!*

«Ах, ты перешел на французский, тогда я перейду на латынь», — сказал себе Фридрих.

— Veritas est, — начал он быстро, — concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur. Sed, non meum tantas componere litee** .

— Будем беседовать по-латыни? — усмехнулся Маркс.

— На этом языке можно в немногих словах выразить многое. А поскольку ваше время так страшно ограничено...

— Вы остры на язык, это опасно. Тогда будем уж лучше продолжать по-немецки.

— Согласен!

Маркс закрыл дверь.

— Скажем так: один час!

Два часа пролетели, словно миг, а конца аудиенции не предвиделось. Но ни отчет Фридриха о духовной деградации в Берлинском университете, ни иронические замечания о готовности к компромиссам в лагере либеральной оппозиции не вызвали глубокого интереса у его скептически настроенного слушателя. За этим Маркс чуял только попытку побудить его к более снисходительному суждению о бессмысленных выпадах «Свободных». Фридрих вскоре переменил тему, заговорив о политическом кризисе правительственной системы. Он описал настроения различных групп населения в Берлине.

— В университете или на улице, среди извозчиков и ремесленников или среди чиновников и деловых людей, даже среди офицеров армии — везде ощущается раздражение против государства, скепсис в отношении властей. Все надежды, которые народ возлагал на нового короля, рухнули.

— По вашим наблюдениям, — сказал Маркс задумчиво, — в Берлине не осталось ни одного сословия, которое было бы довольно условиями своего существования?

Фридрих отвечал утвердительно.

— Прибавьте к этому развитие промышленности, угрожающее разорением все большему числу ремесленников.

— Вы считаете, что Пруссия будет развиваться в этом направлении?

---

* Но время мое крайне ограничено.

** Истина есть: при согласии растут и малые дела, при несогласии разрушаются и великие. Но не мое дело улаживать распри.

— В промышленном производстве, господин доктор, не может быть остановки. Всемогущая конкуренция вынуждает каждого предпринимателя, если он хочет сохранить свою фабрику, постоянно расширять производство. В свою очередь государство, которому постоянно угрожает финансовое разорение, наживается на промышленности, облагая ее высокими налогами, пошлинами и займами. Поэтому оно вынуждено терпеть это развитие, хотя именно промышленность разрушает социальный покой, безопасность старых сословий.

Фридрих упомянул о затруднениях своего отца, с которыми тот столкнулся, пытаясь превратить Энгельскирхен в образцовое предприятие. И как раз в этот момент его собеседник словно преобразился. Ворчливо-скептическое недоверие сменилось живейшим интересом. Начался форменный допрос. Маркс хотел знать решительно все, вплоть до социальных особенностей отдельных профессиональных групп рабочих и служащих. Его интересовало влияние нового филиала фирмы на крестьян, отношение к нему старых столпов общества — церкви и крупных помещиков. Поэтому Фридрих был вынужден говорить о предмете, далеком от его интересов — от философских вопросов.

Целых полчаса он как мог удовлетворял любопытство редактора. Он чувствовал себя как студент на экзамене, который по ошибке подготовился не по тому билету и отчаянно пытается выплыть. Но его экзаменатор против ожидания именно этим остался доволен.

— Похоже на то, что современная индустрия, разрушающая старые структуры и тем самым основы феодальной системы, тем не менее должна встречать терпимое отношение и даже поощрение со стороны государства.

Фридрих добавил:

— Слой предпринимателей и финансистов, участвующих в этом развитии, приобретает экономическую силу и социальное влияние. Но их усиливающееся могущество находится в вопиющем противоречии с их политическим бесправием. Отсюда их возрастающая оппозиция системе. Король, будучи неспособен понять ее истинные причины, ищет спасения в восстановлении средневековой системы сословий.

Маркс развил его мысль:

— Но все меры, которые он предпринимает в этом направлении, с неизбежностью ведут к углублению дилеммы. Прусская феодально-бюрократическая монархия не

только неспособна учитывать современное развитие. Ее политика вызывает недовольство всех слоев населения. Вы правы, Энгельс, положение в Пруссии во многом схоже с положением во Франции перед Великой революцией.

— Вопрос лишь в том, достаточно ли подготовлен немецкий народ к тому, чтобы понять, как должен он действовать в сложившихся обстоятельствах? Пока что мы тщетно пытаемся обнаружить влияние на него тех великих идей, которые могли бы объединить противоположные частные интересы в универсальное проявление воли. — Фридрих заговорил о своих наблюдениях в Берлине. — Вместо революционного объединения можно говорить скорее о массовом бегстве в «свой круг», в приватную, эгоистически-ограниченную сферу, чисто материальных интересов.

— А эти интересы в свою очередь должны обострить все имеющиеся противоречия до крайней степени. Лучший тому пример — развитие современной промышленности. Накопление власти и богатства с одной стороны, обнищание и отторжение от общества — с другой.

Наконец-то разговор принял нужный Фридриху оборот, коснулся связи социального вопроса с революционным процессом политического освобождения. Он рассказал о страшной судьбе рабочих семей в Фогтланде. Такую же картину можно встретить везде, где предприниматели используют бедность для улучшения своих деловых балансов. В Вуппертале, в Силезии, в Богемии целые деревни прозябают в нечеловеческих условиях, поскольку небольшой слой текстильных фабрикантов и оптовиков присваивает себе львиную долю рыночной прибыли.

— Но что стоят все наши идеи самоопределения человека, прогресса, демократии, свободы, равноправия, если бедность и нищета остаются и в ходе индустриального развития даже усиливаются? — Фридрих торопился высказаться. Пусть наконец этот знаменитый гений из Трира поделится с ним своей философской мудростью.

— Вы обладаете поразительной способностью разбираться в социальной и экономической проблематике. Почему вы никогда не писали о положении в промышленности, о неуверенности массы служащих и о растущей материальной неудовлетворенности среди мелких чиновников, об отчаянном положении фабричных рабочих, число которых растет с каждым новым предприятием? Обо всем этом и должна писать газета, чтобы пробудить в массах политическое

сознание, чтобы привлечь их интерес к решению общественных и государственных дел!

Фридрих закурил сигару, чтобы выиграть время. Он чувствовал: теперь настал момент, чтобы изложить свое дело. Только бы не упустить своего шанса!

— Все мои наблюдения имеют одну-единственную цель, — подчеркнул он, — показать, как в общественном сознании возникает и утверждается понимание сил, творящих историю, тех великих гуманистических идей, которые как глубинный движущий мотив лежат в основе большинства партийных точек зрения и групповых интересов. Если справедливо философское утверждение, что история развивается согласно идеям разума, то эти идеи должны были бы прежде всего обнаруживаться там, где в революционные эпохи делается история: в народе. Но, черт возьми, разве стал бы я исписывать себе в кровь пальцы, если бы обнаружил хоть что-нибудь, кроме этих проклятых материальных интересов!

Маркс поднял голову. Он, разумеется, понял, что прицельная атака на основную мысль гегелевской системы была вызовом — от него ожидали защиты спекулятивной философии.

— Вы хотите силой навязать мне диспут о гегелевской философии истории?

— Я сразу предупредил вас, господин доктор, что добивался беседы с философом, а не с главным редактором.

Карл Маркс отчужденно взглянул на Фридриха.

— Вы ожидаете от меня защиты гегелевской системы! Как раз здесь меня все время хотят поймать на слове берлинцы. Но я и не подумаю ее защищать! Ох уж эти мне берлинцы! Когда они наконец поймут, что после Фейербаха всякий возврат к философской спекуляции стал невозможным? Я могу только разделить ваше чувство социальной ответственности. Философия сможет продолжить свое существование лишь в том случае, если покинет царство абстрактной идеи и обратится к исследованию проблем реального мира: именно презренным материальным интересам философия до сих пор вообще не уделяла никакого внимания. Философская спекуляция достаточно долго уводила нас на ложный путь, объясняя политические обстоятельства волей действующих лиц. Но в любом обществе существуют объективные отношения, которые с необходимостью определяют действия как отдельных личностей, так и общественных институтов, и которые столь же мало зависят

от свободной воли и от «абсолютного» разума, как и способ дыхания.

Энгельс вскочил от возмущения.

— Это чудовищно! — вскричал он. — Выдвигая такое утверждение, вы оправдываете не только все позорные преступления власть имущих, вы оспариваете у революционной идеи возможность изменять мир по законам гуманности и разума!

— Напротив! Я указываю на существование исторических условий, необходимых для того, чтобы идея смогла обрести практическую преобразующую мир силу.

— Но все эти условия, каковы бы они ни были, сознательно или бессознательно создаются человеком. И человеком же постоянно изменяются. И я спрашиваю вас, господин доктор: неужели это лишь игра случая? Но тогда все философское развитие от Канта, Фихте и Гегеля до Штрауса, Бруно Бауэра и Фейербаха было сплошной ошибкой. А не протекает ли этот процесс по каким-то вечным законам, которые в конечном счете определяются сущностью человека, то есть абсолютным разумом? Вот вопрос, ответ на который мы ищем и обязаны найти.

На лице философа показалась ироническая улыбка.

— Да знаете ли вы, на что замахнулись?

— Я полагаю, да, — ответил Фридрих. — Не более чем на доказательство истинности теории, в правильности которой я твердо убежден.

Маркс взглянул на него почти с состраданием.

— Ни более ни менее как на создание новой науки. Если бы найти причины, лежащие в основе всей человеческой деятельности, если бы обнаружить результирующие миллионов отдельных воль и отдельных акций, то мы в конечном счете смогли бы возвести историю из собрания случайных событий и поводов в ранг науки. Мы смогли бы теоретическим путем, исходя из предпосылок современных условий, предсказать будущее, влиять на него и тем самым избавить человечество от бесконечного числа мучительных обходных путей и трагических заблуждений. То, что вы хотите узнать, господин Энгельс, есть самая трудная, самая грандиозная проблема, которая когда-либо стояла перед наукой. Для ее решения требуется понимание анатомии всех человеческих отношений, по сравнению с которой анатомия природных организмов просто детская игра. Речь идет о перевороте в человеческом мышлении, о преодолении всякой философской спекуляции.

«А хотя бы и так, — пронеслось в голове Фридриха, — чтобы добиться желаемого, я не отступлю перед трудностями». Но в отношении Маркса он сохранил светский тон.

— Вы, господин доктор, вправе видеть вещи, как вам заблагорассудится. Вы немецкий ученый, известный своей дальновидностью, основательностью и глубиной идей. Я всего лишь самоучка. В этой путанице непреодолимых проблем меня интересует только одно: когда народы поймут простую истину, что только им самим, только людям выпала честь быть средоточием, мерой, целью всех усилий и устремлений; что все мужество, весь жар, все самопожертвование и верность, на какие способны сильные души, стоит употребить лишь на благо людей. Когда народные массы взбунтуются против небесных и земных деспотов? Когда они победят убогих чудовищ своего прошлого, уничтожат фетиши своего глубочайшего самоуничижения, привилегии вероисповедания, рождения, образования, сословной принадлежности и собственности и вступят в подлинно человеческую эру? Когда откроют историю истинно разумных, освобожденных от забот о хлебе насущном, исполненных чувства собственного достоинства существ? Когда это будет, господин Маркс? Что нужно делать, чтобы приблизить этот момент? Где стоят батальоны, которые поведут эту последнюю священную войну? Какое духовное оружие понадобится им в их борьбе?

Фридрих откинулся в своем кресле, взволнованно закурил новую сигару. Он заметил, что в лице главного редактора вроде бы ничего не изменилось. Он почти раскаивался, что позволил себе такой взрыв энтузиазма в беседе в этим трезвым аналитиком.

На какой-то миг показалось, что старший готов высказать младшему свое одобрение и симпатию. Но вдруг снова взял тон деловой сдержанности.

— Может быть, в Англии вы найдете ключ к решению этих проблем. Как я слышал от Гесса, вы собираетесь переселиться в Манчестер, чтобы вступить в дело своего отца?

Обескураженный резкостью, с которой Маркс уклонился от темы, Фридрих язвительно возразил:

— Я отнюдь не собираюсь ограничиваться этой деятельностью, господин доктор Маркс.

— Мы как раз подыскиваем английского корреспондента. Волнения рабочих, чартистское движение с его требованием всеобщего избирательного права чувствительно подорвали все иллюзии наших крупных рейнских промыш-

ленников, видевших в английской системе образцовый пример политической стабильности. Вы кажетесь мне человеком, который вполне способен доказать им, что политическая стабильность гарантирована лишь при таком государственном устройстве, когда законом являются не только особые интересы промышленности, но национальные интересы всего народа. — Маркс встал. — Ну как, договорились?

Фридрих тоже поднялся. Но он не принял протянутую руку.

— Почему вы колеблетесь? — спросил Маркс.

— Я надеялся получить ответ философа на мой вопрос.

Маркс снова испытующе взглянул на него. Потом сказал откровенно:

— Единственный ответ, который я смог бы дать вам, вы нашли сами. В этом мире нужда, нищета, отчаяние и ненависть порождаются в массовом масштабе. Высший долг философии в том, чтобы обнаружить истинные причины народной нужды, найти выход из нищеты, превратить ненависть народа в меч революции.

Фридрих крепко пожал протянутую руку.

— Я дам вам о себе знать. — В дверях он еще раз остановился. При последних словах Маркса он заметил на его лице выражение сердечного участия, которого он тщетно искал прежде. — И еще одно... — Маркс вопросительно взглянул на него. — Бросайте вы всю эту возню. При теперешней цензуре даже гений не в состоянии издавать в Пруссии хорошую газету. Вы философ. Делайте то единственное, то важнейшее дело, которое Германия, в ее нынешнем положении, способна дать миру: выковать народам духовный меч революции!

Маркс посмотрел ему в глаза. «Ты прав, тысячу раз прав!» — говорило его прояснившееся лицо. Фридрих был готов пожать ему руку. Но собеседник снова скрылся за маской иронии.

— Благодарю вас за добрый совет, господин Энгельс. Вы только забываете одну незначительную мелочь. Нам, простым смертным, приходится заниматься столь вульгарными вещами, как еда, одежда и кров, прежде чем мы сможем внести нашу лепту в решение великих вопросов человечества.

— Простите меня, — сказал Фридрих и, скрывая смущение, быстро закрыл за собой дверь.

Ни он, ни Маркс не подозревали, что этой лапидарно-сар-

кастической фразе, сказанной походя в заключение их первой встречи, суждено будет вскоре лечь в основание мощного теоретического построения, стать ключом к преобразованию философии. Фридрих, которого скорее позабавила, чем рассердила стремительность их прощания, оглянулся. Зал почти опустел. Он проговорил с Марксом четыре часа. Беседа была интересной и поучительной, даже если надежда, которую он с ней связывал, вроде бы не оправдалась. Конец великой немецкой философии? Может быть. Но не конец ее возвышенной основной идеи — заново сформировать мир, исходя из сущности человека!

К нему подошел Мозес Гесс, заинтересованно спросил, как прошла беседа. Фридрих взглянул на него рассеянно, словно очнувшись, словно возвращаясь из другого мира. Не зная, что ответить, он пожал плечами.

— Жаль! — посочувствовал ему Гесс.

— Ты будешь моим свидетелем, Мозес! — вдруг воскликнул Фридрих так громко, что его могли услышать все, кто еще оставался в зале. — Клянусь: я заставлю растаять этот айсберг. — Он махнул всем рукой: — Прощайте, господа!

До вокзала он шел пешком. Мысленно он был уже в Англии, в Манчестере, где придется все начать сначала.

Он сел в последний вагон поезда новой железной дороги, связавшей Кёльн с Антверпеном. Миновали Ахен, город Каролингов, некогда центр Священной Римской империи германской нации, а ныне растущий промышленный город на вершине треугольника Пруссия — Нидерланды — Бельгия, прошли пограничный контроль и таможенный досмотр в Эйпене. И поезд медленно пересек границу. Фридрих вышел в тамбур вагона.

Рядом с Энгельсом в тамбуре стоял сгорбленный старый человек, весь в черном, державший за руку мальчика-подростка. За окном медленно проплыла стоявшая на насыпи одинокая пограничная будка с прусским гербом. Отдающий честь пограничник пропал из виду. Глазам открылся холмистый ландшафт, темные леса, невозделанные поля, луга, одинокий дом в долине.

Старик — то ли эмигрант, то ли изгнанник — с горечью сказал мальчику:

— Германия, родина. Вот, значит, как она выглядит отсюда. — Мальчик серьезно кивнул. Старик презрительно сплюнул. — К дьяволу! — Они с мальчиком вернулись в вагон.

Фридрих был один. Он испытывал глубокое волнение. Его глаза не могли оторваться от гряды холмов на востоке, словно вся его прежняя жизнь слилась в узкую темнеющую полоску на горизонте. Страна отцов лежала там, а перед ним — чужбина. Что-то принесет она ему?

Германия, бедная, истерзанная родина, прощай! Я не плюну тебе вслед, но и не пролью прощальных слез. Блаженная вера в благородство и доброту человека, драгоценная мечта о непобедимости воли народа к свободе, глупая надежда на власть разума — мои иллюзии, они похоронены там. За пределами Германии я должен искать истину. Искать закон истории.

Глава четвертая

СКАЧОК В МАШИННУЮ ЭРУ

Приближался конец 1842 года.

Лондон — Бирмингем — Манчестер. Всего за семь часов ночной экспресс пересекал всю Англию — с юго-востока на северо-запад. В купе первого класса сидел Фридрих Энгельс. Первые две недели в Англии он провел в Лондоне. Теперь направлялся в Манчестер — центр тогдашней текстильной промышленности, откуда началось техническое преобразование производства, которому предстояло коренным образом изменить облик Земли и условия жизни ее населения. Фридрих основательно изучил промышленное развитие не только Манчестера, но и всего графства. Здесь в 1764 году ткач Джеймс Харгривс изобрел знаменитую прядильную машину «Дженни», которая была усовершенствована его соотечественниками Ричардом Аркрайтом и Сэмюэлем Кромптоном. В новых прядильнях для приведения в действие этого станка использовалась паровая машина Джеймса Уатта. Дешевая пряжа в огромном количестве неожиданно затопила рынок, что привело к изобретению механического ткацкого станка сельским пастором Картрайтом. Быстрорастущая текстильная промышленность увеличила потребность в угле, в высококачественной стали, в станках, которую могли удовлетворить только крупные механизированные предприятия. Техническая революция постепенно охватывала все отрасли ремесла и средства сообщения.

Ночной экспресс миновал Стокпорт. За окном вагона над живописным пейзажем Ланкашира вставало дождливое

осеннее утро. Стали видны отдельные дома, потянулись улицы, поезд нырнул в туманную дымку речной низины. Вскоре загрохотали буфера, послышалось шипение паровых вентилей, скрежет тормозов. Поезд медленно, почти осторожно вползал в роскошное здание манчестерского вокзала из стали и стекла с куполообразной крышей, ярко освещенное бесчисленными газовыми лампами. Еще рывок — и поезд остановился. Суетливая толпа на широкой платформе подхватила Фридриха, и вскоре он был уже на улице.

Город встретил его сырым туманом и черными клубами сажи. Он стоял на Лондон-роуд. Перед ним громоздились каменные великаны: пяти-семиэтажные отели, торговые дома, склады товаров. Такой помпезности он не видал даже в Лондоне. В нижних этажах располагались большие магазины с ярко освещенными витринами. Казалось, город лишь затем и построен, чтобы соблазнять людей всякого рода удовольствиями и предметами роскоши. Мимо магазинов в южном направлении стремился беспрерывный поток людей. Фридрих вдруг по-настоящему ощутил драматизм своего положения: ведь он теперь не безучастный проезжий, а человек, который должен прожить здесь много лет. Да, все мосты сожжены. Он предчувствовал, что именно здесь ему придется принимать окончательное решение, от которого будет зависеть вся его последующая жизнь.

Уже пребывание в Лондоне, где он останавливался, чтобы познакомиться со столицей, с деловой жизнью и биржей, стоило ему огромного нервного напряжения. В гигантской паутине серых щелеобразных улиц, в хаосе высоких каменных зданий, экипажей, кораблей и множества торопливых, суетящихся людей, в этом адском котле лихорадочной деловитости он понял, что один шаг через Ла-Манш, это незначительное перемещение в пространстве, было на самом деле скачком в чуждый мир, в другой век, где все прежние мерки, все традиционные понятия о человеческом общежитии, все представления о сущности человеческого бытия стали сомнительными.

И вот теперь — Манчестер...

— Сударь!

Фридрих очнулся от своих мыслей. Носильщик, которого он нанял, сообщал ему, что его багаж погружен в кэб № 617. Фридрих расплатился и сквозь людской поток направился к стоянке. Он объяснил кэбмену, что хотел бы ехать рядом с ним на козлах. Усевшись на козлы, он увидал батарею огромных труб, они стояли, как сказочные велика-

ны, эти трубы, их было двадцать, тридцать, нет, сто, целый лес изрыгающих клубы дыма чудовищ, заволакивающих темнотой небо.

Узкая набережная протянулась от великолепной Лондон-роуд к этой адской кухне. И, подобно водовороту, она втягивала в себя поток загнанных, изможденных людей, тысячи и тысячи мужчин, женщин и детей в синих блузах. Фридрих импульсивно схватил за плечо кэбмена, так что тот натянул вожжи.

— Вы уже завтракали?

— Нет, сэр!

Фридрих вытащил из кармана шиллинг.

— Тогда позавтракайте! Но подождите меня здесь! Я скоро вернусь!

Обрадованный кэбмен поклонился.

— Спасибо, милорд! Я подожду!

Фридрих спрыгнул на тротуар и нырнул в человеческий поток, устремлявшийся к фабричному кварталу, начинавшемуся тут же, за вокзалом.

Через несколько минут он очутился на набережной реки Медлок в самом центре уродливого фабричного района. Мощный людской поток стремился к многочисленным проходным и исчезал там. Фабричные сирены фабрик подгоняли людей. Вскоре улица опустела, как будто ее дочиста вымели. Воздух содрогнулся от стука, грохота и скрежета включенных станков.

Фридрих шагал вдоль улицы, точно оглушенный. На воротах одной из фабрик он прочел вывеску: «Р. Х. Грег. Шерстяные ткани». Имя было хорошо знакомо ему по деловым отчетам. Фирма Грега — одна из самых мощных текстильных империй Манчестера — сотрудничала с отцовской фирмой.

Фридрих свернул в какой-то проход за фабричной стеной. Путь вел вниз к реке. По узкому деревянному мосту он мог продвигаться в тумане только ощупью. Под ногами плескалась черная, вонючая речка. На другом берегу его туфли погрузились в глинистую жижу. Он вернулся на мост и в нерешительности оперся о хлипкие перильца. Ему казалось, что впереди прямо перед ним находятся дома. Но напрасно он пытался различить что-нибудь в густом тумане. По мосту проковыляла старая, худая, сгорбленная женщина с вязанкой дров за плечами. Он обратился к ней:

— Я, кажется, заблудился. Скажите, там живет кто-нибудь?

Старуха только хихикнула в ответ и молча прошла мимо.

Он уже хотел вернуться, но услышал детские голоса, доносившиеся сквозь шум фабрики. Фридрих зашагал туда, увязая в глине, и оказался у какой-то стены. Он увидел темную дыру узких ворот и вошел во двор. Узкий двор окружали высокие неоштукатуренные стены. Вокруг лепились друг к другу свинарники и отхожие места. Окна почти всех квартир были без стекол. Они были заколочены листами картона и досками от ящиков. В грязи играли несколько ребятишек, около них бегали свиньи. По развешанному под окнами белью можно было догадаться, что здесь жили люди.

Вдруг рядом с Фридрихом возник однорукий человек. Он угрюмо взглянул на него и властно спросил:

— Что вам здесь надо?

— Я хотел осмотреть дома.

Инвалид загородил ему дорогу:

— Нечего здесь смотреть!

— Вы здешний управляющий домами?

Человек издевательски расхохотался:

— Управляющий домами!

В мгновение ока вокруг них столпились какие-то старики, старухи и любопытные дети.

— Лучше бы вам исчезнуть отсюда, сударь! — сказал однорукий.

Фридрих хотел ретироваться. Вдруг из подвала донесся душераздирающий крик ребенка, и все немедля бросились туда.

Фридрих последовал за ними. Войдя в душное подвальное помещение, он увидел старуху с грудным младенцем на руках. Тщедушное горлышко малыша было замотано белой тряпкой, через которую проступало кровавое пятно.

— Крысиный укус, — объяснил инвалид. Ребенок закричал снова. Должно быть, его лихорадило. — Иногда они лезут из своих дыр прямо среди белого дня!

— Быстро к врачу! — закричал Фридрих женщине, и, поскольку та медлила, он взял у нее ребенка и завернул его в свое пальто. — Покажите мне дорогу!

Женщина нерешительно оглянулась на однорукого. Фридрих схватил ее за руку, потянул за собой.

— Идемте!

Женщина подчинилась. Инвалид последовал за ними.

Через десять минут они стояли в приемном покое больницы для бедных. Врач равнодушно осмотрел рану.

— Дело плохо. Его бы надо оставить здесь на несколько

дней. Но, к сожалению, — он обращался к Фридриху, — вы должны понять меня правильно, в этом районе... Короче говоря, это стоит десять шиллингов...

— Десять шиллингов! — в ужасе воскликнула женщина.

Фридрих вытащил бумажник и с презрением протянул деньги. Врач быстрым движением сгреб их.

— Об этом тоже говорится в клятве Гиппократа, сударь? — спросил Фридрих человека в белом халате.

Тот посмотрел на него отчужденно, как на сумасшедшего.

— Вы, наверное, нездешний?

— Как мне благодарить вас, сэр? — спросила женщина.

— За что тут благодарить? — угрюмо отозвался Фридрих. — Непостижимо, что врач, прежде чем помочь человеку, требует деньги вперед.

— Что здесь особенного? Человек без денег — разве он вообще имеет право жить?

— Как можно так говорить?!

— Скажешь, когда окажешься в моем положении. — Инвалид показал на свой пустой рукав. — Я больше ничего не могу заработать. Черт возьми, сударь, вы же можете каждый день прочесть это в газете.

— Я только несколько дней в Англии, — объяснил Фридрих. — У нас, в Германии...

Однорукий в изумлении остановился.

— Вы немец?

Фридрих кивнул.

— Жаль, — сокрушенно сказал однорукий, — что моя жена не смогла познакомиться с вами! Она немка. Вот уж семь лет, как она не говорила на своем родном языке.

— Как она сюда попала?

— Я ее привез. Из нищей деревушки ткачей в Саксонии. Семь лет тому назад я делал там механические прялки.

Они прошли дальше. Фридрих остановился у кабачка и пригласил своего спутника на кружку пива. В этот ранний час они были там единственными посетителями.

— Вы механик? — спросил Фридрих.

— Я был им, черт побери. И хорошо зарабатывал. Горя не знал. Обещал Элизабет золотые горы. Ведь моя Англия так богата! Вся деревня радовалась, что Элизабет привалило этакое счастье. И вот она теперь торчит на треклятой фабрике, надрывается из последних сил. Ей двадцать пять, а она измождена, как старуха. А я ничего не могу ей дать,

кроме этой крысиной норы. — В его голосе слышалось ожесточение. — И знаете, сколько ей платят? Как мало платят женщине за двенадцать часов ада в день?

Фридрих спросил:

— А вы? Вы ничего не получаете за потерю руки?

— Ни единого пенни, сударь. Самое большее, что сделают для меня, — это место в приюте для бедных. Но тогда уж лучше каторга! — Человек умолк. Его левая рука протянулась к кружке пива. Он отпил глоток. В его глазах сверкнул гнев. — Надо бы что-то сделать, но что? Устроить поджог? Взяться за топор? Но против кого? — Выражение гнева сменилось безнадежностью. — Ах, сэр, эта страна проклята богом. Охота за парой шиллингов, делание денег — оно всех нас превратило в зверей. Я мог бы показать вам такие ужасы, рассказать такие истории...

— Ну и расскажите!

— Тогда пойдемте со мной, — сказал инвалид.

Они шли через поселок в низине Медлока, который владельцы фабрик построили для своих рабочих. Десятки тысяч людей были скучены на тесном пространстве в тонкостенных, поставленных впритык друг к другу домиках и высоких многоэтажных каменных коробках с вонючими дворами и дырами вместо окон, куда не проникал луч света. Повсюду неописуемая нищета. Те люди, к которым привел Фридриха Робсон (так звали однорукого), были самыми несчастными жертвами фабричной системы. Калеки, больные и «старики», уже в сорок лет совершенно немощные мужчины и женщины — все они не имели ни малейшего шанса когда-нибудь снова получить жалованье и хлеб. Это были раздавленные жизнью существа, прозябающие на иждивении близких. Многих постигла та же судьба, что и Робсона: когда-то они были мастерами своего дела, людьми, полными жизненной отваги и надежд на будущее. Фабрика выжала из них все соки, превратила в калек и вышвырнула как отходы.

— Конечно, это самые бедные из бедных, — комментировал Робсон. — Но их число огромно, ведь никто старше сорока пяти не может выдержать ежедневного убийственного труда у станка. Те, у кого есть работа, живут лучше, шиллинги и пенсы в конце недели позволяют им сводить концы с концами. Им хватает и продуктов, и бренди. Но надолго ли, сударь? Новый станок, ошибка в расчетах хозяина, болезнь, несчастный случай, произвол начальника может положить конец этому благополучию.

Фридрих попытался представить себе духовный мир этих

людей, существованию которых ежедневно, ежечасно угрожают сотни случайностей. Это ему не удалось.

Был уже полдень, когда он вернулся на Лондон-роуд. Он чувствовал себя совсем разбитым.

Кэб, который он нанял утром, все еще стоял на прежнем месте. Кэбмен спал на козлах. Фридрих разбудил его. Тот открыл глаза и заворчал сердито:

— Послушайте, сударь, это вам встанет в копеечку! Заставить меня ждать целое... — Он вдруг замолк, очевидно заметив, в каком состоянии находился его пассажир: усталое, измученное лицо, одежда в грязи. — Что с вами стряслось? — Не услышав ответа, он понимающе кивнул, решив, что клиент пьян, и стал подсаживать его в кэб. — Скажите по крайней мере адрес, сэр!

— Дрансгейт. Мне нужно снять квартиру в том районе. В тихом месте, недалеко от центра, — ответил Фридрих, к изумлению кэбмена, совершенно трезвым голосом.

Кэбмен уселся на козлы и тронул лошадей. Они приехали в ухоженный квартал, где еще было много зелени. Видно, когда-то здесь была окраина города. Кэб остановился у одного из коттеджей, на котором была вывеска: «Сдаются меблированные комнаты и квартиры для хорошо обеспеченных джентльменов».

Им открыла пожилая дама — субтильная, но, по-видимому, очень энергичная. Критически оглядев молодого человека, она как будто бы осталась довольной, несмотря на его несколько растерзанный вид. Осведомившись о его происхождении и роде занятий, она заявила, что сигарный дым ее не беспокоит, и показала ему просторную комнату с камином и отгороженной нишей для кровати. Комната принадлежала младшему брату хозяйки, уехавшему в Индию, и была обставлена удобно и со вкусом. На полках нашлось достаточно места и для книг Фридриха. Плата за квартиру его устраивала, Фридрих не колебался. Он написал Питеру Эрмену, что благополучно прибыл в Манчестер и завтра после полудня явится с визитом. Щедро заплатив кэбмену, он передал ему письмо с просьбой отвезти его Эрменам.

Пока он распаковывал багаж, хозяйка, мисс Миллер, затопила камин. Приятное тепло быстро распространилось по комнате. К счастью, хозяйка оказалась не очень любопытной и не болтливой. Он узнал лишь, что прежде она была учительницей французского в пансионе для девочек в Престоне, что город Манчестер давно перестал ей нравиться и она доживает свой век здесь только потому, что получила от

отца в наследство участок земли и дом. Выпив предложенный ему чай с сэндвичами, Фридрих с наслаждением закурил сигару. Ему было хорошо здесь. Но потом снова вспомнились утренние события. Его пугал этот город с «хорошо обеспеченными джентльменами», которые каждый день видят эту нищету и все-таки спокойно живут, смеются, наслаждаются своей безопасностью, своим благополучием, словно этой нищеты нет на свете.

Что это должны быть за люди, если сегодня, в середине XIX века после эпохи Гуманизма и Просвещения, после Томаса Мора и Шекспира, Беркли и Байрона, Оуэна и Шелли, они беззаботно и бездумно перешагивают через ужасы жизни? Каким же лицемерием должны обладать политики этой страны, если перед всем миром они осуждают работорговлю, разглагольствуют о правах человека, а у себя дома оставляют без внимания самое чудовищное социальное бесправие? Его преследовало мучительное ощущение, что ему придется жить в самой варварской стране мира, в самом варварском городе этой страны. Он погасил сигару.

Проснулся он только на следующий день, когда мисс Миллер принесла чай. Пока он спал, прибыли три ящика с его книгами из Бармена, Бремена и Берлина, отосланные в Манчестер багажом, и записка от Эрменов с приглашением в их загородный дом, где они устраивали маленький праздник в кругу самых близких друзей.

Какая почетная встреча, сказал себе Фридрих, и решил использовать день для приведения в порядок своего жилья и для того, чтобы набросать свою первую корреспонденцию в «Рейнскую газету».

Роскошно сервированный праздничный стол, пламя сотни свечей, отражавшееся в хрустале бра и бокалов, множество гостей в вечерних туалетах! Фридрих в замешательстве остановился в дверях гостиной Эрменов. И все — ради меня,,ради меня? Гости скандировали:

— Поздравляем с днем рожденья! Поздравляем с днем рожденья!

Тут он внезапно вспомнил: «Сегодня же пятница, 28 ноября, мне исполнилось двадцать два!» Множество новых впечатлений совершенно вытеснили из его памяти этот день. А его уже знакомили с гостями. Звучали имена, которые он не успевал запомнить. Он вглядывался в лица важных коммерсантов и их расфранченных жен — они, видимо, от души забавлялись смущением молодого немца. Нежные ручки

некоторых девушек как бы невзначай продлевали вежливое рукопожатие, их обладательницы, вспыхивая румянцем, одаривали его дерзкими взглядами из-под опущенных ресниц или очаровательными улыбками.

Двадцать два, да, он уже в том возрасте, когда может жениться. Главный наследник преуспевающего отца — боже мой, какая завидная партия!

Фридрих улыбался в ответ. А что еще ему оставалось делать? Таковы правила игры. Он часто наблюдал ее участников. И в душе она казалась ему игрой каких-то призраков. Но такой она казалась только ему.

Хозяйка пригласила гостей к празднично украшенному столу.

— Именинника просим на почетное место!

Справа от него сидели хозяева дома, два места слева оставались незанятыми.

— Мы ждем важного гостя, — шепнула ему фрау Эрмен. — Обещал прийти мистер Роберт Хайд Грег.

Фридриху дали понять, что от благорасположения Грега прежде всего зависит, откроется ли ему путь в самые высшие круги мира коммерсантов.

Тем временем были наполнены бокалы.

— Он не рассердится, если мы начнем без него, — сказал мистер Эрмен и на своем певучем фламандском диалекте провозгласил тост за именинника, за его немецкую родину, за процветание торговли между Пруссией и Англией, за Фридриха Энгельса-старшего и его неоценимые заслуги, за свободную, ничем не ограниченную торговлю между европейскими народами. Он выразил уверенность, что сын, продолжая отцовские традиции, будет содействовать этому великому делу. Он даже блеснул классическим образованием, процитировав Шиллера — хотя и несколько отступив от оригинала: «Боги, купец принадлежит вам. Он отправляется на поиски добра — и да сопутствует удача его кораблю!»

Оратор был награжден восторженными аплодисментами, и все взоры устремились на Фридриха, от которого явно ожидали ответной речи.

— Вы видите, я совершенно обескуражен той сердечностью, с которой меня встретили здесь, — начал он, недолго думая. — Не знаю, смогу ли я в чем-нибудь оправдать надежды, возлагаемые на меня мистером Питером Эрменом. Я не в состоянии заменить здесь моего отца и тем более принести какую-либо пользу в качестве купца из шил-

леровской цитаты. Я приехал сюда учиться. Англия — самая передовая промышленная страна мира. Нигде больше в промышленном производстве не занято такое множество людей. Индустриальное богатство окрыляет их надежды. Нигде на свете нельзя встретить такого целенаправленного предпринимательского напора, такой энергии, такой деловитости.

Он сделал паузу. Питер Эрмен одобряюще кивнул ему, давая понять, чтобы он продолжал в том же духе.

Но Фридрих уже не мог остановиться: он заставит этих самодовольных, сытых, улыбающихся людей взглянуть на оборотную сторону медали.

— Но я видел и другое. Среди этого богатства огромное множество людей прозябает в жесточайшей нужде. Несмотря на величайшие усилия и старания, несмотря на тяжелейший труд, они не в состоянии обеспечить себе и своим детям существование, достойное человека. — Он заметил, что хозяин дома помрачнел, а шокированные гости начали переглядываться. — Из страны романтических грез и абстрактной мысли я не смог привезти сюда ничего, кроме мучительного вопроса: сумеют ли властители этой страны — владельцы фабрик, ученые мужи, политики с их практичным разумом — справиться с нищетой и социальной необеспеченностью трудящихся классов, представляющими изнанку их процветающей индустрии?

По залу прокатилась волна беспокойства. Питер Эрмен попытался перебить его:

— Мой дорогой юный друг!..

Фридрих быстро взял свой бокал и продолжал:

— Дай бог, чтобы критики вашей системы на континенте, увидевшие в индустриальном государстве беспощадную войну всех против всех, разрушение духовных и нравственных ценностей и в конечном счете надвигающийся распад человеческого общества, дай бог, чтобы они оказались неправы! За это я хотел бы поднять мой бокал.

Общество застыло в нерешительном молчании. Рукоплескания нескольких молодых девиц мгновенно замерли. Некоторые из гостей, по привычке поднявшие было бокалы, растерянно поставили их обратно. Возникла тяжелая пауза.

Но тут высокий симпатичный мужчина, вошедший в зал во время речи Фридриха в сопровождении очень юной и очень миловидной девушки, разрядил обстановку. Мужчина этот, явно тот самый почетный гость, которого все ждали, обратился к Фридриху:

— Прекрасно сказано, мой юный друг! Ваша гуманность и благородство ваших чувств, безусловно, заслуживают всяческого одобрения. Позвольте мне присоединиться к вашему тосту.

Настроение собравшихся мгновенно переменилось. На лицах снова появились любезно-благожелательные улыбки.

— Какой симпатичный молодой человек!

— Фантазер и мечтатель, сразу видно — немец!

— Но возвышенная, бескорыстная натура!

Питер Эрмен познакомил опоздавших с Фридрихом:

— Это мистер Роберт Хайд Грег! Президент Биржевого клуба и председатель Торговой палаты.

Мистер Грег прибавил с улыбкой, но не без гордости:

— А также казначей Национального комитета Лиги против хлебных законов, если уж вам угодно перечислять все мои почетные должности.

Он извинился за опоздание, сославшись на недомогание супруги, вместо которой он привел с собой дочь Джейн, и сердечно пожал Фридриху руку.

Теперь к нему, несколько робея, приблизилась и девушка.

— Примите и мои поздравления, мистер Энгельс.

Вблизи она была еще прелестней: правильный овал лица, легкий румянец, покатые плечи, скромно опущенные ресницы, за которыми скрывались прекрасные глаза. Фридрих галантно поклонился, поднес ее ручку к губам.

— Поздравление из таких очаровательных уст обязывает меня к особой признательности.

Девушка застенчиво опустила голову.

Мистер Грег попросил тишины.

— Вы позволите мне, мой юный друг, присоединиться к поздравлениям? Вместе со всеми я рад возможности приветствовать в нашем городе в лице мистера Энгельса не только наследника высоко ценимого нами немецкого партнера, но и человека, чье зрение и слух открыты для политических и социальных проблем нашей страны. — Голос мистера Грега окреп, в нем прорезались интонации опытного оратора. — Да, это правда: история, дорогие друзья, будет оценивать наши заслуги не только по числу машин и фабричных труб, не только по статистическим данным торговли и производства, но и по тому, скольким людям мы, благодаря нашим предприятиям, обеспечили безбедное существование. Ибо превыше всех заповедей нашей торговли мы должны блюсти заповеди господа.

— Ой-ой! Речь будет длинная, — прошептала Джейн Фридриху.

И в самом деле, мистер Грег говорил долго, взывая к христианскому человеколюбию, и рисовал райские условия, в которых могла бы жить Англия, если бы наконец она преодолела последние барьеры, поставленные свободному рынку, и позволила беспрепятственно развиваться свободной конкуренции. В общем, то, что говорил мистер Грег, было вполне разумно. Хотя слова «свободный» и «христианский» употреблялись им довольно своеобразно, но, казалось, они шли от сердца просвещенного, либерального предпринимателя, озабоченного благополучием всех рабочих людей, противостоящего власти паразитического слоя дворян-феодалов. В Пруссии за такую речь его давно бы внесли в списки возмутителей народа, опасных для государства. Значит, есть в Англии люди, с которыми можно найти общий язык! И у этого человека есть влияние и власть — и дочь, в которую нельзя не влюбиться. Может быть, эта страна все-таки лучше, все-таки здоровее, чем Пруссия, может быть, пребывание здесь более сносно, чем он предполагал... Он повернулся к Джейн и вскоре слышал и видел только ее.

Был уже поздний вечер, когда мистер Грег пригласил Фридриха в свой экипаж, чтобы довезти его до дома. Фридриху удалось втянуть отца Джейн в разговор о социальном положении Англии. Грег стал развивать мысль о том, что современные социальные затруднения в Англии вызваны исключительно законодательством о зерне, которое защищают тори. Политика тори направлена на поддержание феодального землевладения и на ограничение свободной конкуренции, этой важнейшей предпосылки беспрепятственного развития промышленности.

Когда Фридрих упомянул о своих впечатлениях от поселка на Медлоке, мистер Грег озабоченно покачал головой:

— Да, нам предстоит еще многое сделать. И среди фабрикантов есть достойные порицания элементы, нарушающие заповедь о любви к ближнему.

Но бывает и по-другому, чему примером образцовые мастерские и жилища «Victoria mill», устроенные его отцом и мистером Эрменом. Грег пригласил Фридриха осмотреть свою новую фабрику в Куорри-Банк, небольшом поселке к югу от Манчестера.

Фридрих обменялся взглядом с Джейн и с готовностью согласился. Они условились, что в ближайшую же субботу

вместе совершат эту загородную прогулку.

В субботу отец и дочь заехали за ним. Быстро выехали из города на все еще зеленые луга Чешира. В устье тихой речки Ди, недалеко от Лестера, лежало идиллическое селение Куорри-Банк с большой текстильной фабрикой. Они прошли через высокие, просторные залы, оборудованные даже вентиляторами. Так же как в Энгельскирхене, станки сияли чистотой. Мужчины и женщины приветствовали своего работодателя вежливыми кивками. Мистер Грег просил Фридриха без стесненья спрашивать рабочих, что они думают о своей жизни. И разумеется, в присутствии хозяина Фридрих слышал только хорошее. В конторе их ждал превосходный ленч. А послеобеденное время мистер Грег предложил использовать для посещения рабочих в их коттеджах. Фридрих был приятно поражен. Здешние квартиры резко контрастировали с крысиными норами на берегу Медлока. Везде чистота, даже скромный достаток в меблировке, опрятно одетые дети. Конечно, он заметил, что его водили в отобранные дома — и все-таки! Не все английские рабочие жили в нищете, судьба пролетариев в значительной мере зависела от нравственных достоинств предпринимателя. К счастью, отцовская «Victoria mill» принадлежала к числу тех предприятий, где стремились создать для рабочих приемлемые условия жизни.

Он спросил:

— Правда ли, что одна паровая машина приводит в движение агрегат, который с помощью двухсот человек выполняет труд тысячи двухсот, работающих вручную? Неужели невозможно при такой огромной производительности создать хорошие условия жизни для всех людей?

На обратном пути мистер Грег пытался ответить на вопросы Фридриха. Он указывал на стремительный рост рождаемости в беднейших слоях, на ирландскую иммиграцию, ежедневно выплескивающую в Англию армию неимущих безработных, на алкоголизм, на развращающее влияние скученности больших городов. Но самым страшным врагом всеобщего благосостояния, по его словам, являлись законы, устанавливающие твердые цены на хлеб. Прощаясь, он пригласил Фридриха как-нибудь принять участие в собрании Лиги против хлебных законов.

И вот Фридрих, уже довольно близко сошедшийся с общественным деятелем Робертом Хайдом Грегом, сидит в первом ряду на массовом митинге Лиги, снова рядом с прелестной Джейн. Мистер Грег произносит речь. Он рас-

толковывает собравшимся цели Лиги, обличает аристократический режим тори, под гнетом которого народ терпит лишения, в то время как немногие паразиты, никогда не занимавшиеся никаким полезным делом, роскошествуют.

Грег с большим энтузиазмом рисовал картины золотого века, который наступит после отмены хлебных законов. Только торжество свободной конкуренции, уверял он, принесет трудящемуся народу всеобщее благополучие.

— Недавно, — продолжал Грег, — мой юный друг, прибывший в нашу страну с континента, восхищаясь нашими промышленными достижениями, робко спросил: «Справятся ли англичане с нищетой и социальной необеспеченностью низших слоев населения?» Наша Лига отвечает: безусловно! Мы добьемся этого, как только всем гражданам нашей страны будет предоставлена свобода действий. Долой изжившие себя законы тори!

Он призвал слушателей присоединиться к очередной петиции в парламент об отмене хлебных законов. Громкие восторженные аплодисменты были ответом мистеру Грегу. Казалось, ничто не может помешать голосованию.

Но в этот момент в задних рядах поднялся один из участников митинга. Это был высокий человек лет сорока. Седые волосы, прямая осанка, глубокие морщины в уголках губ, густые брови над спокойными глазами придавали его облику достоинство и значительность. Он деловито предложил обсудить речь оратора прежде, чем начинать голосование. Председатель собрания отклонил его предложение.

— Мы вас знаем, мистер Лич! Мы знаем, что вы видите свое призвание в том, чтобы мешать собраниям Лиги. Но мы не видим никакой надобности в том, чтобы слушать вашу чартистскую пропаганду.

С задних рядов раздались энергичные возгласы протеста:

— Дискуссия! Дискуссия! Дискуссия! — скандировал хор голосов. Председатель собрания был вынужден открыть обсуждение. Еще один человек из задних рядов попросил слова. Фридрих едва поверил собственным глазам, когда увидел, что на кафедру поднимается однорукий механик из квартала нищеты на берегу Медлока.

— Меня глубоко тронули проникновенные слова мистера Грега. Благосостояние для всех, справедливость и свобода! Какой англичанин может остаться равнодушным к столь благим пожеланиям? — Он показал собранию свой обрубок. — Я ветеран. Но я потерял свою здоровую руку не в восточной Индии, не в Америке, не в одной из многочи-

сленных колониальных войн, которые наша армия ведет по всему миру во имя чести и славы империи. За потерю руки я не получил поэтому ни ордена от королевы, ни пожизненной пенсии. Ведь я принадлежу к миллионной армии рабочих людей, которые каждый день и каждый час жертвуют своим здоровьем и жизнью на наших фабриках, чтобы создавать то самое богатство, от коего — по словам уважаемого мистера Грега — зависит величие и процветание нашего отечества. Мое имя Робсон. Когда-то я был механиком. Нужным специалистом. Я выполнял сложные ремонтные работы в прядильне. Я старался как мог, но моему директору было невтерпеж. Они запустили станок прежде, чем я подал им знак, что закончил. И меня прихватило. Эх, лучше бы мне сдохнуть на месте! Вместе с рукой я потерял рабочее место и всякую надежду когда-нибудь снова получить оплачиваемую работу.

Мистер Грег спросил его:

— Но ведь вам же платят пособие?

— Нет. Фабрикант отказался уплатить мне хотя бы пенни.

Инвалид рассказал, в какую нищету ввергнута его семья. В нескольких словах он описал ужасные условия жизни квартала, где прозябает в подвале вместе с семьей.

— Мало того что я потерял работу и жалованье. Мой хозяин еще и сейчас наживается на мне. За сырую дыру, где на моих детей набрасываются крысы, я должен платить ему пять шиллингов в месяц, потому что он одновременно является владельцем наших развалюх в Дипнесс-Граунд.

Возмущение в задних рядах зала достигло высшей точки.

— Собачье отродье!

— Кто этот мерзавец?

— Небось, тоже принадлежит к Лиге?

— Вот она, ваша справедливость!

Председатель с трудом восстановил тишину.

— Если вы, мистер Робсон, не имеете ничего сказать о хлебных законах...

— Мы не отклоняемся от темы! — крикнул Лич.

Робсон очень сдержанно продолжал:

— Позвольте такому пропащему человеку, как я, выразить сомнение в искренности красивых слов, с помощью которых Лига пытается получить поддержку рабочих! Если Лига и в самом деле борется за благополучие и свободу для всех, почему она не присоединяется к требованиям Народной хартии о всеобщих равных выборах?

— Верно! — выкрикнул вождь чартистов Джеймс Лич. — Если в Нижнюю палату войдут настоящие представители народа, то не пройдет и дня, как будут отменены высокие цены на хлеб и все прочие реакционные законы.

— Хартия! Хартия! Хартия! — скандировали в задних рядах.

Теперь оживились участники митинга из передних рядов.

— Провокация! — кричали они. — Чартистская пропаганда! Хватит, наслушались!

— А может быть, фабриканты добиваются отмены хлебных законов только в интересах увеличения собственных прибылей? — спросил Робсон.

Председатель вскочил и лишил Робсона слова. Но однорукий не уходил с трибуны. Какой-то священник из президиума попытался оттащить инвалида от кафедры.

Тут мистер Грег встал, предостерегающе поднял руки и воскликнул, обращаясь к священнику и председателю:

— Что вы, что вы, господа! Оставьте его! — В зале наступила тишина. — Никто не посмеет сказать, что здесь нельзя свободно выражать своих мыслей. Я за честную игру! Уважаемый, — обратился он к Робсону, — я точно так же возмущен...

— Возмущены, мистер Грег? А вы, значит, лучше? — крикнул вождь чартистов.

— Да, возмущен, мистер Лич! И потрясен тяжелой судьбой, которая постигла вот этого честного, усердного человека. Да, мистер Лич, я допускаю, что к великому сожалению, и среди предпринимателей попадаются черные овцы. Но никому не дано права по отдельным безответственным личностям судить о большинстве предпринимателей и тем более о миллионах приверженцев Лиги! — И, обращаясь к Робсону, продолжал: — Итак, добрый человек, вы говорили о фабриканте, на чьей фабрике потеряли руку.

— И в чьих домах на моих несчастных детей нападают крысы, — добавил Робсон.

Грег кивнул.

— Он должен был предоставить вам хотя бы пристойное жилье, даже если его не вынуждают к этому никакие юридические обязательства. Если вы после собрания сообщите мне его имя...

— Почему после собрания? Я и сейчас могу сообщить.

Голоса с задних рядов поддержали его:

— Да, мы все хотим знать!

— Кто этот негодяй?

Мистер Грег пожал плечами:

— Что ж, пожалуйста!

В поведении Робсона вдруг произошла перемена. С него будто слетело все его показное безразличие.

— Этот безответственный делец сидит здесь. Три года я ждал случая крикнуть ему это прямо в лицо!

Инвалид подошел к Грегу... да, к Грегу! Фридрих побледнел. Он почувствовал, как рука Джейн судорожно вцепилась в его рукав. Робсон пальцем указал на Грега.

— Это вы сами, мистер Роберт Хайд Грег! Вы! Вы!

На какой-то момент зал замер. Потом поднялся страшный шум. Мистер Грег кричал:

— Ложь, клевета, платная провокация!

С задних рядов отвечали свистом и бранью. Председатель собрания подал знак. Неожиданно двери распахнулись, и в зал ворвались десятки полицейских, вооруженных дубинками. Фридрих с ужасом смотрел на происходящее. В мгновение ока зал превратился в поле битвы. Люди в мундирах беспощадно избивали сидящих в задних рядах, вытесняя их из зала. Однорукого грубо стащили с кафедры и поволокли к выходу.

Фридрих бросился к двери, вслед за Робсоном. На улице собралась большая толпа. Энгельс попытался прорваться к полицейским, схватившим Робсона, но его отшвырнули в сторону. Вне себя от возмущения, юноша бессильно смотрел, как связанных друг с другом инвалида и вождя чартистов заталкивали в полицейскую карету. Тут он увидел офицера полиции, руководившего акцией.

— Почему вы арестовываете этих людей? Они не совершили ничего противозаконного. Все, что они говорили, — правда. Я могу это засвидетельствовать!

Полицейский с изумлением взглянул на него, на его платье.

— Уйдите с дороги! — приказал он.

Фридрих не успел опомниться, как на него налетело двое полицейских. Он защищался сколько мог. По знаку офицера подскочил третий, схватил его сзади. Его потащили куда-то в сторону. Он видел, как один из слуг закона взмахнул дубинкой. Почувствовав удар по спине, Фридрих в ярости рванулся, споткнулся о дождевой желоб и стукнулся головой о фонарный столб. Тут его подхватили чартисты и оттащили в сторону. Широкие спины в синих блузах встали стеной между ним и полицейскими.

— Проклятые свиньи! — вырвалось у Фридриха по-немецки.

Рядом с ним чей-то голос, так же, по-немецки, спросил:

— Вы немец?

Он обернулся и увидел хорошо одетого широкоплечего мужчину с длинной бородой.

— Да, сэр, — ответил он.

Мужчина стер носовым платком кровь, сочившуюся из ссадины на лбу Фридриха. Взяв у него платок, Фридрих прижал его к ране.

— Спасибо, сэр.

— С вашей стороны, сударь, было очень неумно вмешиваться в это дело.

— Я не мог иначе. Вы же слышали, что произошло там, в зале...

— Вы здесь недавно?

— Да.

Человек представился:

— Джон Уотс.

Фридрих назвал свое имя.

Тем временем арестованных затолкнули в закрытые полицейские кареты. Фридрих увидел рядом с полицейскими Джейн. Заметив его, она пробилась сквозь толпу.

— Господи, да у вас кровь!

Он улыбнулся:

— Ничего страшного.

Ее нежные руки с состраданием обняли его:

— Идемте!

Уотс вытащил из кармана визитную карточку и передал ее Фридриху:

— Я бы охотно побеседовал с вами.

Полицейские оттеснили толпу. Фридрих покорно дал Джейн увести себя в комнату за залом, где очень скоро появился врач.

Между тем митинг продолжался, словно ничего не произошло. Фридрих слышал, как Грег говорил полным сожаления голосом:

— Я никогда в жизни не видел этого человека. Не знаю, кто заплатил ему за клевету. У либерального движения много врагов, начиная с выродившихся тори и кончая невежественными сектантами вроде социалистов или коммунистов, которые хотят отменить всякую собственность, чтобы ввести общность жен. Каждому из присутствующих здесь известно, что нет ни одного рабочего ни в Куорри-Банк —

главной резиденции фирмы Грег, — ни в округе Медлок, который не мог бы подтвердить, что Роберт Грег платит самое высокое жалованье, возможное при нынешних обстоятельствах. Его коттеджи находятся в самом лучшем состоянии. Почему ежедневно сотни рабочих приходят наниматься именно в фирму Роберта Хайда Грега? Я в любое время готов допустить проведение на фирме непредвзятого обследования. Если хоть одно слово обвинения окажется правдой, я немедленно сложу с себя обязанности председателя Торговой палаты.

Собрание, в котором больше не нашлось ни одного оппонента, ответило бурной овацией.

— Но ведь это правда! Это правда! — тихо проговорил Фридрих, пока врач накладывал ему пластырь.

Джейн испугалась:

— Что вы такое говорите!

Врач закрыл свой саквояж.

— В следующий раз будьте осторожней, — предостерег он.

Фридрих рассеянно поблагодарил.

— Не за что, мистер Энгельс.

Фридрих и Джейн остались одни. Он снова услышал голос ее отца: «Благодарю вас всех за доверие...» Фридрих покачал головой.

— Либо он не имеет понятия о том, как живут люди в его домах, либо он говорит неправду.

Джейн глядела на него широко раскрытыми глазами.

— Разве вы знаете, как они там живут?

Фридрих кивнул:

— Я там был. В день приезда. Но я не знал, что эти дома принадлежат вашему отцу. Я никогда не забуду, мисс Джейн, того, что я там увидел. — Он встал. — А теперь я должен идти.

— Куда вы собрались?

— К мировому судье в полицейский участок. Я должен сделать заявление.

— Пожалуйста, поговорите прежде с моим отцом. Пожалуйста!

— Я не могу ждать. У арестованного жена и дети, Джейн.

Он направился к двери. Девушка осталась стоять, словно вдруг окаменела. Он сбежал по лестнице. Улица была пуста. Полицейские все еще охраняли зал. Не зная, куда обратиться, он быстро шагал к центру города. Вдруг он услы-

шал за собой торопливые шаги. Это была Джейн.

— Я знаю, где находится полицейский участок, — произнесла она, едва переводя дыхание. — Я покажу вам дорогу.

Не прошло и получаса, как он сидел напротив мистера Даниэля Мода, мирового судьи, внушавшего страх всему городу Манчестеру. Судья являл собой замечательную фигуру. Его скорее можно было принять за антрепренера какой-то театральной труппы, или за оперного певца, или за дирижера танцевального оркестра. У него было круглое загорелое лицо, прямо-таки излучавшее благодушие. Он принял Фридриха в своем кабинете, почти как старого знакомого. С веселой доверчивостью, все время улыбаясь, выслушал его дело, потом торопливо вскочил и забегал по кабинету, тесно заставленному высокими, до потолка, стеллажами, набитыми книгами и папками.

— Ну и ну, мой милый юный друг! — сказал он голосом, в котором звучало и одобрение и сомнение. — Мы — независимый, свободный суд. Мы не нуждаемся в вашем свидетельстве. Мы располагаем исчерпывающим следственным протоколом. Его достаточно, чтобы приговорить арестованных к пожизненной высылке. Нарушение общественного спокойствия, сопротивление государственной власти, подстрекательство к мятежу и бойкоту, угроза общественной безопасности и конституционному порядку и так далее, и так далее... — Он дружески похлопал Фридриха по плечу... — Мы наказываем преступника, а не преступление! Мы смотрим на грешника и знаем, какого наказания он достоин. Вы говорите о конфликте между мистером Грегом и этим инвалидом, как, бишь, его? Ах да, Робсон! Нам не следует этого касаться.

— При условии, что не явится главный свидетель, который будет настаивать, чтобы записали его показания, — сказал Фридрих.

Даниэль Мод спросил в простоте душевной:

— Но, дорогой мистер Энгельс, неужели вы действительно доставите нам такую неприятность? — Он опять взял папку, перелистал ее с озабоченным видом, покачал головой. — Те-те-те, с этим парнем дела обстоят скверно. Но мы демократическая страна, мистер Энгельс. Если вы внесете соответствующий залог, вы можете немедленно забрать с собой задержанного.

Фридрих не верил собственным ушам. Он осторожно спросил:

— И какой залог вы назначили бы?

Даниэль Мод окинул его оценивающим взглядом.

— Скажем, девяносто? — сказал он полувопросительно.

— Девяносто? — у Фридриха вытянулось лицо, он подумал, что речь идет о фунтах стерлингов.

Даниэль Мод снизил цену.

— Ну, ради вас — восемьдесят!

— Мой добрый мистер Мод, такая сумма...

Даниэль Мод посетовал:

— Ах, эта мне современная молодежь! На туалеты и всевозможные прихоти им денег не жалко. Но когда дело касается христианской любви к ближнему, тут они хотели бы проявлять ее даром. Я спрашиваю вас, неужто восемьдесят шиллингов...

Фридрих недоуменно воззрился на него:

— Вы говорите — шиллингов? Шиллингов?

Даниэль Мод повторил:

— Неужели эти восемьдесят шиллингов — слишком дорогая цена, если за нее можно вернуть семейству с тремя малышками любимого папочку?

Фридрих понял, что с этим противником можно торговаться:

— Мне кажется, восемьдесят шиллингов — это очень много.

— Ну, тогда семьдесят. Это мое последнее слово.

Фридрих с сожалением пожал плечами.

—Ну, будь у него хотя бы две руки, а так... шестьдесят — и ни шиллинга больше.

Мод тут же с готовностью протянул ему руку.

— Договорились! — воскликнул он, уселся за свой стол и стал писать: «Мы, Даниэль Мод, освобождаем из-под ареста подследственного Джорджа Робсона, механика, и Джеймса Лича, ткача, под залог шестидесяти шиллингов, согласно параграфу...»

— Второго тоже? — изумился Фридрих.

— Мне очень жаль, но вам придется забрать обоих. — Он подвел Фридриха к окну. — Видите, сколько набежало народу? А все из-за того, что этот болван-лейтенант приволок сюда Лича. Если я задержу здесь этого субъекта, завтра утром мне на голову свалится вся чартистская банда.

— Ну так и быть.

Мировой судья обрадованно взял деньги и протянул Фридриху руку:

— Был счастлив познакомиться с вами, мистер Энгельс.

Передайте мой поклон вашему отцу.

На улице уже смеркалось, когда они вышли из полицейского участка. Оба освобожденных арестанта были встречены восторженными криками. Прежде чем они успели поблагодарить Фридриха, толпа окружила их и увела с собой.

Фридрих глядел им вслед. Рабочие подняли Лича на плечи и с песней понесли по улице. Лич махал Фридриху рукой, что-то кричал ему, но из-за шума его не было слышно. Фридрих долго смотрел вслед процессии, пока она не исчезла в одном из боковых переулков. Он уже собрался уходить, когда увидел Джейн.

— Мисс Джейн! Вы ждали?

— Вы их освободили? — сказала она с удивлением. — Я всегда думала, что такое бывает только в романах. Вы герой!

— Как вам это пришло в голову? — отмахнулся Фридрих и с изумлением умолк. — Да вы плачете! У вас слезы на глазах!

— Я поговорю с папой. Я должна ему все рассказать, вы лучший человек на свете. Он поймет, почему вы вступились за этого бедного калеку.

— Не говорите так! Когда ваш отец узнает, что я выступлю свидетелем против него, если он будет настаивать на процессе...

Он не смог продолжать. Джейн импульсивно обняла его. Фридрих почувствовал быстрый поцелуй.

— Джейн! Девочка!

Прежде чем он успел опомниться, она уже бежала к кэбу, который ждал ее на противоположной стороне улицы. Садясь в кэб, Джейн еще раз махнула ему рукой.

Он вдруг почувствовал себя очень одиноким в этом городе, на чужой незнакомой улице. Фридрих вспомнил о бородаче, который помог ему после его бешеной и, если честно говорить, довольно смешной атаки на полицейский эскорт. Он нашел в кармане карточку, прочел имя: Джон Уотс. Заурядное имя. Но разве не так звали известного писателя — атеиста, социалиста, ближайшего сотрудника и последователя знаменитого Роберта Оуэна? Фридрих немедленно нанял кэб и отправился к нему. Его надежда оправдалась. Славный бородач действительно оказался тем самым писателем. Он был рад увидеться снова с молодым немцем. В комнате запылал добрый огонь, на столе появились сэндвичи и индийский чай. Обсудив события этого бурного дня, они

перешли к вопросам, вызывавшим у Фридриха жгучий интерес. Уотс рассказал об успехах социалистов в промышленных районах Англии, о процветании оуэновской образцовой фабрики «New Harmony», которая была совместной собственностью рабочих и великолепно работала без капиталистов. Этот человек с жаром рассуждал о совсем простых, практических сторонах человеческого общежития в будущем социалистическом обществе. Между ними нашлось много общего, и в тот же вечер завязалась дружба. Уходя, Фридрих унес с собой несколько рекомендательных писем к людям, исповедывавшим социалистические убеждения. Они могли пригодиться ему при изучении политического и социального положения страны.

Кроме того, Джон Уотс пригласил его посетить Дом собраний, где каждое воскресенье собирались манчестерские социалисты. Фридрих обещал в ближайшее время непременно зайти туда. А пока он должен был обосноваться в деловом мире Манчестера и приступить к выполнению своих обязанностей. С помощью Эрмена он нанял помещение для своего бюро в Дрансгейте недалеко от биржи. Бухгалтер, рекомендованный отцом, оказался в высшей степени порядочным человеком. Он помог ему завязать первые деловые знакомства. Речь шла не только о том, чтобы провести удачные биржевые операции, которые помогли бы поддерживать на должном уровне подвоз сырья и сбыт продукции обеих больших фабрик, но прежде всего о том, чтобы заключить долгосрочные соглашения с крупными партнерами, что застраховало бы оба отцовских предприятия от лихорадочных колебаний конъюнктуры рынка. Нерешительная, мелочная торговля, которую до сих пор практиковали Питер Эрмен и его сыновья, находилась в резком противоречии с мощным подъемом производства, ожидавшимся в ближайшем времени в Энгельскирхене. Старый Эрмен ходил на биржу, как мелкий крестьянин на недельную ярмарку. Вот мой товар и вот моя цена — кто возьмет? Он не понимал, что на бирже торгуют не потребительскими свойствами, но прежде всего шансами на получение прибыли. Суть дела заключалась в том, чтобы выявить колебания рынка, своевременно распознать тенденции и в удачный момент воспользоваться подвернувшимся шансом. Было выгоднее спекулировать на ожидаемой продукции, чем предлагать на продажу товары, заполнившие склады. Было во много раз выгоднее полностью захватить рынок сырья и сбыта, чем запутываться в сотнях мелких договоров. Можно торговать

не только собственной продукцией. Нужно лишь иметь уверенность, что где-то может возникнуть дополнительный спрос, и знать, где он возникнет. Это была игра в покер с тысячью комбинаций, но вполне поддающаяся расчету. Фридрих находил отвратительным то, как обращались здесь с продуктами человеческого труда, с усилиями миллионов наемных рабов. Но раз уж торговля существовала теперь только в такой и никакой иной форме, оставалось принять правила этой игры или разориться. Ежедневно четыре напряженных часа на бирже и три часа в бюро фирмы изматывали его. Нужно было найти выход, сохранить силы для выполнения той задачи, ради которой он вынужден был вести эту собачью жизнь среди биржевых маклеров и спекулянтов.

Он познакомился с социалистами, рекомендованными ему Уотсом. Все это были искренние открытые люди, отлично усвоившие гуманистические идеи европейской литературы и просветительской философии. Представление Фридриха об Англии все более прояснялось. Английский ум был направлен на практическую сторону жизни и не слишком углублялся в теоретические размышления. Как Оуэн, сразу же испытывавший свои идеи на практике, английские социалисты добивались проведения конкретных общественных реформ, смысл которых был понятен любому разумному человеку.

Стремительно приближался конец декабря.

В один прекрасный день он нашел на своем столе записку от матери Джейн Грег с приглашением на чай. «Мы были бы очень рады увидеть вас в кругу нашей семьи в субботу 20 декабря...» Господи, он чуть не забыл о Джейн за множеством ежедневных новых впечатлений!

Собственно говоря, в эту последнюю субботу перед рождеством он собирался писать письма в Берлин, Бремен и Бармен; их давно пора было написать... Но это приглашение было важнее. Он подумал о Робсоне, которому грозил уголовный процесс, если почтенный мистер Грег будет настаивать на привлечении его к суду. Он подумал о многообещающем поцелуе маленькой Джейн...

В этот день дождя не было. Он прошел милю до Уорсли пешком. Вилла Грегов располагалась в глубине большого парка. Это было мрачноватое, похожее на замок здание в вестминстерском стиле с высокими стрельчатыми бойницами-окнами, окруженное старыми-престарыми деревьями. Джейн выбежала ему навстречу.

— Я все рассказала папе. Я верю, что все обойдется.

Интерьер тоже был выдержан в духе готической строгости. Холл с высоким сводчатым потолком чем-то напоминал церковь. Гравюры на библейские сюжеты, украшавшие стены, усиливали впечатление. Хотя помещение согревали два огромных камина, Фридриха знобило. Миссис Грег походила на дочь и была еще сравнительно молода. Но то было карикатурное сходство: Джейн была само изящество, а мать ее казалась плоской и худосочной; дочь излучала волшебное обаяние юности, а мать выглядела блеклой и бесполой. Были еще младшие братья — двое противных мальчишек. Один страшно гордился форменным мундиром своего колледжа, а второй, толстый карапуз, что-то постоянно жевал и назойливо лез ко всем. Мистер Грег любезно приветствовал гостя. Его голос звучал еще более елейно, чем обычно. Говорили о вещах незначительных.

Молва о биржевых операциях Фридриха делала его в глазах хозяина влиятельной фигурой. Похоже было на то, что немецкую конкуренцию на текстильном рынке скоро придется принимать всерьез.

Лишь после того, как мальчиков отослали из гостиной и обстоятельно сервировали чай, зашел разговор о деле Робсона.

— Джейн рассказала мне о вашем фатальном приключении на Медлоке и о случайной встрече с этим чартистом. — Он не дал Фридриху вставить слово. — Мой дорогой юный друг, то, что вы так темпераментно вступились за инвалида, делает вам большую честь. — И заверил: — Я, может быть, более, чем кто-либо, испытываю глубокое сострадание к каждому попавшему в беду.

Тут в разговор робко попыталась вмешаться хозяйка дома:

— А нельзя ли как-то помочь бедному калеке, Роберт Хайд? Из христианской любви к ближнему!

Мистер Грег бросил на супругу не слишком любезный взгляд, и она снова стушевалась. Но и Джейн атаковала отца:

— Ты стольким уже помог, папочка!

— Я бы охотно сделал это, бог мне свидетель! — Казалось, он готов заплакать. — Если бы он обратился ко мне в качестве просителя. Но после скандала, после того, как он публично оклеветал меня по наущению чартистов, он потерял всякое право на сострадание.

— О папа!

Лицо мистера Грега приняло озабоченное, измученное выражение:

— Я действительно очень сожалею, мистер Энгельс. Судьба этого человека ужасна. Но обстоятельства сложились таким образом, что у меня нет выбора. Этот человек должен предстать перед судом. Поверьте, если я возьму назад свое обвинение, это будет равносильно признанию вины.

— Вы хотите упрятать этого человека в тюрьму, хотя он не сообщил ничего, кроме фактов?

— Факты. Что же, признаюсь, этот человек сказал правду. Он живет в подвальном помещении на одном из моих участков в Дипнесс-Граунд, и он потерял свою руку на одной из моих фабрик. Что это доказывает? Спросите-ка вашего отца! Спросите любого фабриканта! Все вам скажут в один голос, что невозможно заставить рабочих соблюдать правила безопасности.

Джейн испуганно спросила отца:

— Почему это так? Зачем они это делают, папа?

— Потому что хотят заработать много денег.

Фридрих горько усмехнулся.

— Хотят, мистер Грег? А может, вынуждены? Вынуждены, потому что это их единственный шанс избежать обнищания.

Мистер Грег выразил сожаление.

— Так устроен мир, молодой человек. Мы все вынуждены работать, чтобы выстоять в жизненной борьбе.

Миссис Грег отозвалась из своего угла:

— Как это верно, Роберт! Сколько ты работаешь, с твоим слабым сердцем!

Не обратив никакого внимания на жену, Грег продолжал:

— За исключением паразитов, гордящихся голубой кровью и живущих на земельную ренту, унаследованную от предков, все человечество испокон веков находится в стесненных обстоятельствах.

— Но только нашему времени, мистер Грег, суждено было сделать открытие, что из стесненных обстоятельств одних людей другие могут извлекать сказочные прибыли.

Мистер Грег измерил Фридриха злобным взглядом. И жестко пояснил:

— Разумеется, вы правы, мистер Энгельс. У меня хорошие доходы. И я горжусь, что мои предприятия приносят прибыль. Я ведь моих денег не ворую. Я никого не обма-

ниваю. Господь мне свидетель! Каждый пенни заработан честным трудом. Я получаю за свои товары только ту цену, которую определяют законы спроса и предложения. Идет ли при этом речь о шерстяном пледе или о квартирах — роли не играет. И точно так же я оплачиваю приобретаемые мною товары или труд моих ткачей. За каждый товар я плачу честную рыночную цену с точностью до шиллинга и пенни.

Мистер Грег встал. Его жена с каменным лицом следила за диспутом. Она воспользовалась паузой, чтобы сделать внушение Фридриху:

— Что вы такое говорите, молодой человек! Мой муж всю жизнь был честным, прилежным, всеми уважаемым христианином и почетным гражданином! И если...

Перебив ее, Грег продолжал оправдываться:

— Если бы рабочие могли мне предложить нечто большее, чем пару рук! Будь у них три или четыре руки, черт меня побери, если бы я не стал платить им больше! — Он отпил вина и продолжал: — Я деловой человек, и мне близки интересы общества! Так же, как вы, я сожалею, что не могу платить моим рабочим больше. Всякий предпочел бы видеть вокруг себя довольные лица, а не голодных волков, готовых в любую минуту растерзать тебя. Но я ничего не могу поделать. Спросите своего батюшку, спросите господина Эрмена, спросите любого предпринимателя! Мы вынуждены экономить каждый пенни, если хотим удержаться на поверхности. Мы — коммерсанты, во всех наших делах мы вынуждены считаться с жесткими законами конкуренции.

— Разве нет более высокого закона, мистер Грег? — спросил Фридрих.

— Если вы намекаете на это проклятое законодательство тори, то с ним мы рано или поздно покончим.

— Я говорю о законе человечности, мистер Грег!

Грег взглянул на него с сожалением.

— Мой милый мальчик, мы с вами говорим сейчас о делах!

Джейн схватила отца за руку:

— Но у этого бедного человека всего одна рука, папочка, ты же не посадишь его еще и в тюрьму?

Грег только пожал плечами:

— Он не оставил мне иного выхода!

— Тогда примите к сведению, мистер Грег, что я приду на судебное разбирательство и, каково бы ни было обвине-

ние, буду выступать в защиту обвиняемого! — сказал тихо, но очень решительно Фридрих.

Мистер Грег воззрился на Фридриха с ужасом:

— Вы собираетесь это сделать? Разве вы не понимаете, что таким образом вы наносите удар в спину всему либеральному движению? — Он поднялся. — Тори только и ждут случая замешать меня в скандальную историю.

,— Вы не оставляете мне иного выхода, мистер Грег!

Фабрикант выглядел подавленным:

— Сын моего партнера — защитник какого-то... какого-то подстрекателя. Это... непостижимо! — Вдруг он схватился за сердце, застонал и упал на стул.

Жена бросилась к нему.

— Что вы с ним сделали?!

Фридрих и сам испугался. Мистер Грег закатил глаза, лицо его болезненно исказилось. Фридрих смущенно пробормотал:

— Может быть, надо врача...

— Вам лучше немедленно удалиться, — истерично закричала миссис Грег, — и впредь оставить нашу дочь в покое!

На следующее утро произошло нечто неожиданное. Он был один — этот час каждый благонамеренный гражданин Англии проводит в церкви, — когда в дверь постучали. На пороге стоял однорукий Робсон.

— Я не хотел бы вам мешать, мистер Энгельс. Но надо ведь поблагодарить. Было не так-то просто найти ваш адрес.

Фридрих пригласил гостя в дом. Механик не без колебаний принял приглашение. Он развернул носовой платок, вынул из него три шиллинга и положил на стол.

— Это первый взнос за врача, сударь. Больше собрать не удалось.

Робсон попросил также не беспокоиться насчет залога — он не собирается скрываться от суда.

Фридрих подвинул деньги к Робсону.

— Вам это нужнее, чем мне, — сказал он.

— Вы считаете меня нищим?

Фридрих сунул деньги ему в карман.

— Не считайте это подарком, мистер Робсон. Это вознаграждение за время, которое вы пожертвовали мне в день моего приезда в Манчестер.

— Что-то больно высокое вознаграждение, — пробурчал Робсон.

— Наглядный урок, который вы мне дали, стоит много

больше. И если когда-нибудь еще окажетесь в тяжелой ситуации...

Робсон резко перебил его:

— Черт возьми, не хочу я милостыни; я хочу того, что мне положено по праву, разве не понятно?

— А я хочу вам помочь — вам и вашей семье, — возразил Фридрих. — Как друг.

Лицо Робсона стало непроницаемым.

— Мне не нужна ваша помощь, сударь. Я еще стою на своих ногах. Моя жена еще зарабатывает. Я присматриваю за детьми. Мы еще не голодаем. Если вы хотите заняться благотворительностью, отправляйтесь в богадельню или в ирландский квартал — там вы увидите настоящую нужду.

Фридрих проводил гостя до дверей.

— Простите, мистер Робсон. Я не хотел вас обидеть, совсем не хотел.

— Нечего мне извинять, — сказал покладисто Робсон. Он посмотрел на Фридриха. — Откуда вам знать, что творится в душе рабочего человека, у которого отняли возможность своими руками зарабатывать на хлеб для семьи. Вы не имели в виду ничего дурного. Попытайтесь хотя бы понять, почему большинство из нас предпочитает подохнуть с голоду, чем жить подачками богатых.

Фридрих глядел вслед Робсону. Он был недоволен собой. Удастся ли ему когда-нибудь завоевать доверие, дружбу этих людей? Он вспомнил прощальные слова Агнессы о том, что есть два мира. И между ними нет моста.

Снова в нем возникло чувство одиночества. Одинокий безумец, блуждающий между скал. Неужели он обречен на вечное блуждание?

Он сел за стол и начал обдумывать новую статью для «Рейнской газеты». Стал просматривать материалы, полученные от друзей Джона Уотса. Это было сплошное обвинение класса, к которому он принадлежал, — доказательное и убедительное обвинение в беззастенчивом злоупотреблении монополией на собственность в целях разорения класса рабочих, не имеющих средств к существованию, а потому обреченных терпеть произвол власть имущих. Потрясенный, он читал о том, какая глубокая пропасть разверзлась между этими классами. Ему стало понятно недоверие Робсона. Разве могли такие люди, как этот инвалид, разве могли сотни тысяч несчастных, бесправных людей судить о нем иначе, как по той несправедливости, которую причинили им ему подобные? Неудивительно, что им очень трудно распо-

знать, кто им друг, а кто — враг, что ими руководит лишь слепая ненависть, бессознательное отчаяние преследуемых существ...

Но как же тогда помочь им? Как вывести это общество из самоубийственного порочного круга? Сердце бешено стучало, голова болела, а мысли снова и снова возвращались к этому вопросу.

Он сидел так до глубокой ночи. Потом с мрачными мыслями погрузился в неспокойную дремоту. Он долго мучился, пока наконец его не одолела усталость.

Кажется, ему приснилось что-то хорошее. Проснувшись, он еще улыбался. Но тут вспомнил, что находится в Манчестере. Безмерное богатство. Безграничная бедность. Это новое утро было серо и полно забот. Но он решился: он ни за что не отступит. Он должен понять, почему передовую в промышленном отношении страну раздирают острейшие социальные противоречия, должен выяснить, каков путь разрешения этих противоречий.

Он вспомнил разговор с Марксом, совет философа обратить внимание на презренные материальные интересы, лежащие в основе моральных принципов. Нужно честно признаться, что, несмотря на свое коммерческое образование, он слишком плохо разбирался в экономических закономерностях, сделавших возможным скачок Англии в машинный век. Фридрих раздобыл сочинения известных представителей английской политической экономии. И зарылся в книги в своей комнате.

Глава пятая

ПОД ЗНАКОМ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА

Laissez faire, laissez passer — дайте делам идти своим чередом! Что за чудодейственный лозунг, перенесенный сентябрьским ветром 1758 года из остроумного Парижа с собрания физиократов через Ла-Манш в мореходный, ненасытный Альбион! В международной торговле еще царили принципы меркантилизма. Система оградительных пошлин и феодальных привилегий ограничивала товарообмен. Новая формула требовала «свободной игры сил» на рынке. Без вмешательства государства каждый должен был доставлять на рынок то, что у него имелось, и покупать на нем то, что мог приобрести на вырученные деньги. Неудивительно, что меткое парижское выражение в Англии,

где награбленные и добытые жульничеством богатства в конце концов попадали в хваткие руки прожженного, опытного в делах городского среднего сословия, должно было звучать как откровение святого духа.

Laissez faire, laissez passer! Беспрепятственная свободная торговля как благодатное средство ликвидации дефицита! Презренные, темные торгашеские душонки, беззастенчивые, снедаемые жаждой наживы хищники, переполненные деньгами и силой, но исключенные из почтенного сообщества джентльменов, ждали лишь морального оправдания своих быстрорастущих прибылей, своего сомнительного образа действий, освящения спекуляции, чтобы показать всему миру, что даже самые грязные пиратские деньги можно, обладая коммерческим умом, превратить в солидные предприятия, олицетворяющие гордость и силу нации.

Laissez faire, laissez passer! Свободная конкуренция владельцев товаров. Адам Смит, крупный ученый, живший в Глазго, осознал глубину и большое значение физиократических посылок. Он учил англичан уважать мелкую спекуляцию, искать свое благополучие в свободной торговле. Все, что движет человеком, связано со стремлением удовлетворить свои эгоистические желания. Корыстолюбие индивидуума, его не знающая границ страсть к быстрейшему обогащению служит источником всех его «операций». Адам Смит был основателем английской политэкономии, которая, казалось, нашла наконец ключ к золотому веку гармоничного, довольного человечества — свободный рынок, где чудо скатерти-самобранки свершалось для каждого совершенно естественным образом. К счастью или несчастью, природа наделила каждого в отдельности столь разными желаниями и возможностями их удовлетворения. Так пусть каждый привозит то, что не представляет для него ценности, потому что этого у него в избытке, и увозит то, что ему необходимо для счастья! Все есть рынок, вся совместная жизнь людей, кажущиеся необъяснимыми тайные силы, управляющие людьми и их взаимоотношениями между собой, политика, право, культура, науки, любовь, семья, мораль — не что иное, как скрытая сделка, при совершении которой у каждой из участвующих сторон осуществляются ее желания, стремления и интересы. Сделайте рынок свободным, сломайте печати и табу, боязливо и противоестественно оберегаемые небольшой прослойкой привилегированных, ликвидируйте монополии феодальной эпохи, преодолейте свои собственные предрассудки — и все будет иметь спрос на рынке, все будет

дешево и поддаваться учету по прибыли и убыткам! Свободная конкуренция на рынке — неподкупный судья, который всему определит истинную цену, измеримую до шиллинга и пенни. Она универсальный регулятор, незаменимый в своем рвении постоянно приводить в равновесие предложение и платежеспособный спрос, она — высшая школа жизни. Трудолюбие, одаренность, подготовленность и усердие хорошо бы оплачивались. Леность, глупость, вялость и неспособность не могли бы рассчитывать на многое. Но никто не уходил бы с пустыми руками. А если тебе нечего продать, так ты же ведь живой человек, у тебя есть руки и время. Приноси их на свободный рынок, и ты получишь то, чего они стоят. Не жалуйся, если это будут невесть какие богатства, во всяком случае и ты будешь в выигрыше. У тебя дома твои руки и твое время — совершенно бесполезные вещи. Но то, что в виде эквивалента ты выторгуешь за них на рынке — пусть всего лишь кусок хлеба, — будет тебе дороже всех богатств земли, если ты умираешь с голоду! Воистину никто, даже бедняк из бедняков, не уйдет со свободного рынка с убытком! Все, кто торгует, могут только выиграть: вот в чем чудесная сила этого рынка.

Laissez faire, laissez passer!

И Альбион, сошедший на долгое время с арены, вдруг расцвел. Откуда ни возьмись выросла промышленность, которой изумлялся весь мир. До неизмеримых размеров выросли благосостояние и богатство страны. Чудесная сила рынка превратила кучку неотесанных темных дельцов в сплошь уважаемых представителей имущих слоев, умелых предпринимателей, почтенных коммерсантов, солидных банкиров, которые вполне осознавали свое значение как опоры государства и постепенно сделали его защитником своих интересов.

Laissez faire, laissez passer!

Имущие слои всех континентальных стран с завистью и удивлением смотрели на это богом благословенное Эльдорадо наживы. В то время как на Европейском континенте кровавые революции, ужасные войны, политические распри, феодальные ограничения парализовали развитие экономики и каждый шаг приходилось завоевывать в мелкой, изнурительной борьбе с государственной бюрократией, английский остров являл собой страну непрерывного прогресса и политической стабильности.

Laissez faire, laissez passer!

Вряд ли кто из почтенных деловых людей был шокиро-

ван тем, что, несмотря на громадное богатство, постоянно росли бедность и нищета низших слоев населения. Вряд ли кого из них беспокоила участь людей, составлявших миллионную армию наемных рабочих, которым изо дня в день приходилось заботиться о самом существовании.

Laissez faire, laissez passer!

И даже августовские волнения рабочих не смогли посеять сомнения в лагере английского среднего класса в чудодейственной силе этого принципа.

Наступил новый год. Фридрих хорошо использовал свободные дни. Экскурс в экономическую теорию внес ясность в его размышления об этой стране и образе мыслей класса предпринимателей. Его надежды найти в их среде союзников заметно поубавились.

В середине января он получил плохое известие из Кёльна от Мозеса Гесса. Оно его почти не удивило, но все же привело в ярость. 24 декабря в виде рождественского подарка своему народу король прусский «ввиду опасного распространения демократических идей в «Рейнской газете» и других органах печати» ввел новую инструкцию о цензуре, по которой публикация любого критического мнения каралась закрытием органа печати. Одновременно под дипломатическим давлением Берлина саксонское правительство распорядилось прекратить выпуск «Немецкого ежегодника» Арнольда Руге и «Лейпцигской всеобщей газеты». Влиятельной буржуазно-либеральной оппозиции Рейнской провинции Пруссии также не удалось спасти финансируемую ею газету. Три статьи, вышедшие из-под пера Карла Маркса, будто бы послужили поводом для наложения запрета с 1 апреля 1843 года и на редактируемую им «Рейнскую газету». Только абсолютная политическая умеренность, фактически означавшая идеологическое подчинение, оставляла небольшой шанс сохранить газету.

Но какой же тогда был прок от газеты при таких обстоятельствах, спрашивал себя Фридрих. Для него, во всяком случае, дальнейшее сотрудничество стало бессмысленным! В таком духе он написал Марксу и отказался от корреспондентской деятельности.

Но нет худа без добра. Теперь у Фридриха появилось время, чтобы возобновить изучение социалистической литературы. В свете английских событий идеи, которым он с увлечением отдавался на исходе лета, приобретали новое

значение. За этим занятием прошли первые недели 1843 года.

В одно из воскресений он нанес визит самому презираемому в респектабельном обществе Манчестера человеку, «потерявшему человеческий облик», вождю чартистов Джемсу Личу. Человек, за которого он поручился, когда ходатайствовал за инвалида Робсона, жил в историческом квартале Манчестера, оставшемся как память о дофабричной эпохе. В те времена местечко с этим названием было еще идиллическим, но незначительным городком на реке Ирк. Если он рассчитывал увидеть в этом районе хоть легкий след средневекового бюргерского уюта, то его ждало разочарование. Жившие здесь некогда благонравные буржуа давно оставили свои насиженные гнезда, переселившись в лучшие кварталы за пределами промышленного пояса, старый город понемногу ветшал, но все же был еще достаточно хорош и давал кров наемным рабочим их фабрик. Неописуемая грязь, топкая проезжая часть, забытые груды щебня и руины обвалившихся домов, перемежающиеся понатыканными на свободных клочках земли уродливыми работными домами последних лет, — весь этот произвольно и наскоро собранный в груду, дурно пахнущий, гниющий жалкий хаос придавал кривым улочкам старого города вид огромной кучи мусора, в которой тысячи и тысячи бедняков вели отчаянную борьбу за выживание.

«Главной улицей» этого района была извилистая Лонг-Миллгейт. Здесь находился центр чартистов, здесь располагались бюро тред-юнионов. Отсюда осуществлялось руководство забастовками и бойкотами. Здесь рабочие организации были окружены армией своих приверженцев. Здесь могли свободно ходить их функционеры. Здесь они могли свободно разворачивать агитацию среди масс. Ни одна полицейская команда города не отважилась бы заявиться сюда с враждебным намерением, например для того, чтобы разогнать массовый митинг сторонников Народной хартии или арестовать осужденного мятежника. Здесь тысячекратно прошла проверку солидарность бедноты, солидарность, дававшая шанс выжить и тем, кого официальное общество давно уже приговорило к голодной смерти.

Целью Фридриха был флигель на Тодд-стрит, местонахождение которого Лич описал ему достаточно точно. И к счастью, как оказалось! Так как все вопросы, с которыми он обращался к встречным, оставались без ответа. Враждебными, недоверчивыми взглядами провожали они хорошо оде-

того молодого джентльмена, который с подозрительным любопытством разыскивал здесь что-то.

Фридрих был рад тому, что наконец поближе познакомится с рабочим вождем. Несколько раз они уже встречались на собраниях и демонстрациях чартистов, которые в январе подготавливали свой Национальный конвент в Бирмингеме. Но рабочий вожак всегда был окружен плотным кольцом своих приверженцев, ему приходилось отвечать на сотни вопросов, так что было совершенно невозможно побеседовать с ним. В конце концов они договорились встретиться в это воскресенье у него дома.

Фридрих отыскал ворота, где поджидал его Лич. Он повел его по лабиринту дворов и переходов к скрытому от глаз каменному строению, которое, вероятно, служило некогда жильем для прислуги. Фридрих не ожидал увидеть в комнате, обставленной лишь самым необходимым, так много книг, которые занимали целую стену. Хозяин дома приготовил чай и бутерброды. Он был в превосходном настроении. Национальный конвент принял важные решения, открывающие широкие горизонты. Был дан отпор фракции мелкобуржуазных соглашателей, которая намеревалась вернуть партию на путь умеренного реформистского движения и которая с самого начала отказалась добиваться политических перемен насильственным способом. Революционно настроенный главный редактор газеты чартистов «Северная звезда», друг Лича Джулиан Гарни из Лидса был проведен в руководство партии. Боевой лозунг, стихийно возникший в дни августовских волнений — «Наше средство — политическая власть, наша цель — социальное счастье», — был принят в Бирмингеме большинством делегатов.

Правда, от партии отделилась одна фракция, но значительное большинство преисполнено теперь твердой решимости последовательно выступать в защиту интересов бедствующих промышленных рабочих и разоблачать лицемерные лозунги партии фритредеров, вигов и людей из Лиги против хлебных законов.

Лич, простой ткач с бумагопрядильной фабрики, был очень хорошо знаком с условиями труда и социальным положением почти всех профессиональных групп и коллективов фабрик Манчестера. Каждое техническое новшество приводило к ухудшению условий жизни рабочих. В производственном процессе становились лишними целые ремесленные цехи. И хорошо оплачиваемые прежде квалифицирован-

ные рабочие деклассировались. Физически легкую работу у машин стали выполнять за самую низкую заработную плату сотни тысяч детей и женщин. Этот процесс все расширялся. Машинная система, неизмеримо поднявшая производительность труда, означала для сотен тысяч уважаемых ранее ремесленников и квалифицированных рабочих конец всякой надежды на нормальную жизнь. Правда, небольшое число рабочих выгадало и от этого. Это касалось прежде всего механиков, надсмотрщиков и старших рабочих, которые были нужны предпринимателю, чтобы строжайшей дисциплиной поддерживать интенсивность процесса производства. Все прочие влачили жалкое существование в той же прежней нищете и неуверенности. Каждый день мог принести с собой увольнение, потерю рабочего места, заработка и хлеба, а в большинстве случаев и жилья. Страх за существование заставлял многих униженно сносить все придирки, оскорбления, произвол фабрикантов и их лакеев.

Фридрих молча слушал рассказ Лича. Задумчиво подвел он удручающий итог:

— Таким образом, прогресс в науке и технике при восхваляемой системе свободной конкуренции постепенно ведет массы неимущих наемных рабочих, число которых постоянно растет, к абсолютному порабощению.

Лич согласился с ним.

— Понемногу рабочие начинают понимать, что против предпринимателей они могут обороняться только совместными действиями. Там, где рабочих удается объединить в союз, произволу предпринимателей положен предел. Волей-неволей фабрикантам приходится платить рабочим установленный минимум заработной платы, чтобы избежать стачки, которая может парализовать всю фабрику. Но именно там, где успешно действуют тред-юнионы, предприниматели используют все средства, чтобы обеспечить себе с помощью технических нововведений или других приемов полную свободу действий против рабочих.

Фридрих вдруг осознал весь трагизм положения прослойки некогда высокоуважаемых ремесленников и кустарей, которых развитие техники отбрасывало с привычного для них пути. Он понял также заблуждение большинства вождей чартистского движения. Вместо того чтобы усвоить выводы социалистов, давно доказавших, что корень социального зла лежит в имущественных отношениях, они возлагали ответственность за нищету на развитие промышленности, научно-технический прогресс в производстве, на

развитие, которое ничем нельзя было остановить и тем более обратить вспять.

Как бы в подтверждение его мыслей Лич продолжил:

— Это жестокая истина, которую знает сегодня каждый рабочий. Фабричная система принесла несчастье нашей стране. Все зло проистекает от нее. С ней пришли для народных масс невыразимые страдания, абсолютная нищета, отчаяние. А парламент, все государство относятся к этому нелепому, раздирающему нацию процессу совершенно пассивно и бездействуют.

«И как вы собираетесь изменить это?» — хотел спросить Фридрих. Но он ведь знал, что чартисты требуют введения всеобщего и равного избирательного права, благодаря чему трудовой народ сможет завоевать большинство в парламенте. Возможностям, какими располагали имущие классы, тори и виги, чартисты не могли противопоставить ничего, кроме числа своих сторонников. У них была только мечта, претворимая в жизнь в отдаленном будущем.

— Не забывайте, — говорил Энгельсу Лич, — что постоянно растет не только число наших сторонников, но и их решимость. В конце концов они будут готовы скорее поставить на карту свою жизнь в вооруженной борьбе за политическую власть, чем умирать медленной смертью. Против такой на все решившейся армии господствующая клика бессильна.

Он развернул социальную программу чартистов: парцеллирование земельной собственности с целью возвращения безработным в крупных городах возможности вести достойную человека трудовую жизнь, фабричное законодательство, охрана труда рабочих и обязательный минимум заработной платы.

Фридрих попытался обосновать собеседнику свои сомнения в эффективности таких мер.

— Я коммерсант и знаю, сколь бесчисленными возможностями располагают предприниматели, чтобы обойти установленное государственной властью законодательство. Предприниматели всегда найдут способ обеспечить себе прибыль. Неизбежно восстановится прежнее положение, и вашему социальному государству в конечном счете не останется ничего иного, как равномерно распределить бедность.

Лич засмеялся.

— Нам бы только завоевать власть, а там мы уж найдем способы обеспечить всем людям достойное существование.

Их беседа продолжалась долго. Пришли другие рабочие

вожди. Сильное впечатление оказала на Фридриха жажда деятельности у этих людей, однако вскоре он заметил, что теоретическим вопросам они не придают почти никакого значения. Их интересовало лишь то, что лежало на поверхности. Но эти революционеры были готовы пролить свою кровь и отдать жизнь ради освобождения своего класса.

Серые зимние недели прошли. Дни стали длиннее, небо прояснилось. Временами разрывы в облаках пропускали согревающие лучи солнца. Часы на бирже и в конторе были наполнены одной и той же скукой, которую можно было преодолеть только умственным трудом. Будущее Англии, будущее всего мира, как оно будет выглядеть? Если бы революционная решимость чартистов соединилась с социалистическими идеями, провозглашавшимися оуэнистами...

— Ваша почта, сэр, — прервал его размышления секретарь.

Нехотя просмотрел Фридрих стопку корреспонденции.

— Вы сделаете мне одолжение, мистер Бакльхерст, если отныне будете приносить только самое важное.

— Как вам угодно, мистер Энгельс.

Вдруг Фридрих насторожился. На одном из конвертов он прочел имя отправителя. «Карл Маркс, Кёльн...» Фридрих вскрыл письмо.

Маркс писал, что ему опостылели лицемерие и глупость цензуры, что ему надоело приспосабливаться, изворачиваться и наносить булавочные уколы, когда требуется пустить в дело дубинку. Он сообщал Энгельсу, что сложил обязанности редактора «Рейнской газеты» и вновь чувствует себя свободным человеком, полным решимости серьезно заняться научными исследованиями. Маркс просил писать ему об Англии все, что Энгельс считает интересным.

Фридрих как раз начал собирать материал для серии статей, которые выйдут под общим названием «Письма из Лондона». Сделав что-то вроде выписки из них, он послал ее Марксу вместе с некоторыми дополнительными размышлениями.

Однажды после полудня, когда он, как обычно, возвращался домой, к нему подошла незнакомая женщина.

— Мистер Энгельс? — спросила она шепотом.

— Что вам угодно?

Женщина с таинственным видом протянула ему письмо.

— Я должна передать вам это и подождать ответ.

Фридрих вскрыл конверт. Письмо было написано изящным каллиграфическим почерком. Джейн! Это было пылкое

объяснение в любви молодой девушки, захваченной первым большим чувством. Несмотря на родительский запрет, она думала только о нем, но на три месяца ее сослали к бабушке в Южный Уэльс. Там за ней был установлен строгий надзор, поэтому она не имела возможности даже отнести письмо на почту. Джейн назначила ему тайное свидание в воскресенье в часовне святого Георга в Уорсли.

Женщина, конечно посвященная во все, вопросительно посмотрела на него. Фридрих не стал медлить с ответом.

— Скажите ей всего два слова. Я приеду.

Место, выбранное девушкой для рандеву, было романтичным. Джейн одиноко стояла под мрачным сводом древних буков и сосен. Когда он подошел к ней, она повернула голову. Посмотрела на него. Боже мой, как она была молода...

— Ах, Фредерик, если бы ты знал, как я ждала этого мгновения...

Джейн непрерывно говорила о безрадостных месяцах в Южном Уэльсе. Ее миловидное лицо слегка порозовело. Она повеселела, стала почти шаловливой. К сожалению, пошел дождь, и довольно сильный. Они спрятались от него в карете. Только здесь он спросил ее об отце. Все было попрежнему: с размахом и здравым смыслом ее отец вел свои дела, агитировал, как и прежде, за Лигу против хлебных законов, настаивал на процессе против Робсона.

— А ты? — спросил Фридрих.

— Я на твоей стороне! Что бы ни случилось! — ответила она, но потом с неуверенностью в голосе добавила: — Но, может быть, ты вовсе и не любишь такое бесполезное создание, как я?

Джейн вопросительно посмотрела ему в глаза.

Поколебавшись, он сказал:

— Вот несколько месяцев назад я бы не колеблясь сделал тебе предложение. Но...

— Что же сейчас изменилось?

Фридрих хотел объяснить ей, но потом махнул рукой.

— Да что уж там! Между нами ничего не изменилось! Давай руку! Я знаю место, где бывает весело.

— Сегодня воскресенье, сударь! — возразила Джейн.

По воскресеньям всякого рода увеселения в Англии осуждались.

— Там, куда мы поедем, можно развлекаться и в воскресенье.

Он открыл переднее стекло и крикнул кучеру:

— В Энкоут, к Дому собраний.

Как и следовало ожидать, Джейн была озадачена.

— Ку-у-да мы едем? — спросила она.

— Если хочешь, могу и домой тебя отвезти.

— Нет-нет, я поеду с тобой. Только, знаешь, эти социалисты...

— ...ужасные люди, — с иронией добавил Энгельс. — Уличные разбойники, бунтовщики, заговорщики, с окровавленными кинжалами за поясом...

Джейн надула губы и отодвинулась от него.

— Ты насмехаешься надо мной.

Он коснулся ее руки.

— Прости меня.

Джейн взяла его руку и положила голову ему на плечо.

Дом собраний. Место встреч и дружеского общения социалистов. Фридрих был уже здесь своим. Он побывал на нескольких воскресных встречах и лекционных вечерах. Помещение состояло из нескольких приемных и лекционных аудиторий. По воскресеньям сюда приезжало часто до трех из восьми тысяч зарегистрированных членов ассоциации в Манчестере, представлявших самые разные слои населения. Приезжали, чтобы провести совместно несколько часов. Сегодня тоже царило всеобщее оживление. В большом зале играл оркестр. Здесь собралась молодежь, чтобы попеть и потанцевать. Люди постарше сидели за длинными столами в вестибюле, дискутировали, обсуждали новости дня или рассказывали друг другу анекдоты. Женщинам подавали чай, мужчинам эль, для проголодавшихся разносили целые горы бутербродов. Повсюду царила атмосфера веселья и непринужденности.

Когда Фридрих и Джейн входили в вестибюль, она боязливо прижалась к нему. Шаг в круг этих людей означал для нее нечто ужасное. По сравнению с ним бледнели все ее дерзкие детские проделки и последующие сумасбродные выходки. Джейн охватила дрожь. Фридрих прижал ее руку к себе.

— Здесь действительно так страшно? — спросил он ласково и с иронией.

— Нет, — ответила Джейн.

Их сердечно приветствовал Джон Уотс. Фридрих представил ему свою спутницу. За столом для них освободили место. Лоренс Питкейтли, учитель гимназии, протянул Джейн руку.

— Добро пожаловать, мисс Джейн. Будьте как дома. —

Он налил ей чаю, а Фридриху бокал эля, указал на тарелку с бутербродами. — Мы люди небогатые, но то, что мы предлагаем, мы предлагаем от всего сердца.

Джейн наклонила голову.

— Большое спасибо, мистер.

Во время беседы к столу подошел моложавый мужчина.

— Я слышал, что вы изучаете социальные проблемы Англии, и был бы рад знакомству с вами. — Он представился: — Саутуэлл.

Фридрих изумился. Имя воинствующего атеиста было ему хорошо известно.

— Вы Саутуэлл, Чарлз Саутуэлл? Издатель «Оракула»?

— Вам знакомо мое имя?

— Да. Я люблю читать ваш журнал. И могу вам сказать, что в Берлине я был не единственным его читателем.

— Если вы приехали из Берлина, то тогда, надеюсь, вы можете посвятить меня в последние события в Германии?

— Да, естественно.

— Нам было бы очень интересно знать, что сейчас происходит у берлинских «Свободных».

— Вы попали как раз по нужному вам адресу!

Но Фридрих не смог продолжить беседу: его тронул за плечо Джон Уотс.

— Там у молодежи только и разговоров что о присутствующем здесь госте из Германии. Они хотели вас поприветствовать.

— Что, Джейн, пойдем навстречу пожеланию? — спросил Фридрих.

Она кивнула, все еще несколько смущенная от стольких новых впечатлений. Фридрих и Джейн направились в зал, их сопровождали все, кто сидел с ними за столом.

Когда они вошли в зал, оркестр сыграл туш. Руководитель музыкальной группы сказал:

— Мы рады приветствовать на сегодняшнем вечере немецкого гостя. Позвольте сыграть для него немецкую песню. — И с сожалением добавил: — Увы, у нас нет никого, кто мог бы спеть ее.

Фридрих воскликнул:

— Если разрешите, я сам ее спою!

Слушатели были в восторге. Фридрих одним прыжком вскочил на возвышение. Музыканты заиграли «А в заснеженных горах...». Песня легко переводилась на английский, и вскоре ее знали все. Сцену заполнили юноши и девушки... Они подхватывали припев и не переставали аплодировать до

тех пор, пока Фридрих не соглашался петь еще. Лишь после полдюжины песен — веселых, печальных, любовных, спетых им вперемежку, — его оставили в покое. Он вернулся к Джейн.

Был уже вечер, когда они покинули Энкоут. В карете Джейн прильнула к Фридриху и крепко прижала к себе его руку, как будто боялась потерять его.

Они ехали по восточному промышленному району, по безлюдным улицам, мимо каменных чудовищ. Фабрики были объяты глубоким воскресным покоем.

Последняя из спетых им песен тронула Джейн.

— Повтори мне ее текст, — попросила она.

Фридрих повторил текст песни:

— «Услышал я, что серп шуршит...»

— Прекрасная страна твоя родина, и песни красивые, — прошептала Джейн.

— К сожалению, самые красивые все печальные.

— Да, печальные, очень печальные. В школе у нас был учитель немецкого из Люнебурга. Он часто рассказывал нам про Германию. Он всегда был печальным, и его рассказы были печальные. Мы называли его Трауром, а когда мы смеялись над ним, он становился еще печальнее.

Она продолжала болтать еще некоторое время, как болтают девушки в ее возрасте. Только когда он перестал отвечать, она наконец смолкла. Промышленный район остался позади, и они ехали теперь по прекрасной, ярко освещенной Лондон-роуд.

— Фредерик, — нерешительно прервала Джейн молчание. — Я хочу кое о чем спросить тебя. Но ты не должен смеяться надо мной.

— Спрашивай!

— Ты ведь не принадлежишь к ним?

— К кому?

— К социалистам.

Он посмотрел на девушку. Что ей ответить? Знала ли она вообще, чего добивались эти люди? Сколько нужно было бы рассказать ей, чтобы объяснить свою позицию. Тем более что она во многом отличалась от иллюзий сторонников Оуэна. Наконец он спросил:

— Ты все еще продолжаешь считать их ужасными?

Джейн, как ему показалось, с некоторой печалью покачала головой.

— Нет, вовсе не считаю. — Некоторое время они вновь ехали молча, потом она вдруг взорвалась. — Но они же

хотят отменить брак и ввести общность жен, не так ли?

Он улыбнулся.

— А что ты под этим подразумеваешь?

Помедлив немного, Джейн ответила:

— Что женщина будет принадлежат каждому, кто ее захочет.

Он не мог удержаться и засмеялся.

— Я сказала какую-нибудь глупость? — спросила растерянно девушка.

Он погладил ее по голове.

— Очень большую глупость. Верно как раз обратное. Женщина должна иметь такие же права, какими пользуется сильный пол. Она должна перестать быть собственностью какого бы то ни было мужчины, который в силу закона о браке может распоряжаться ею по своему усмотрению. Женщина не принадлежит никому — только самой себе. — Он нежно обнял ее за плечи. — И еще, естественно, тому, кому она добровольно подарит свое сердце. Но это уже должно быть построено на взаимности. И в этом случае ни одному из них уже ничем больше не поможешь.

Джейн обняла его за шею.

— И тут нечего делать никакому третьему?

— Никакому третьему!

Они поцеловались.

— Прости, если я задаю иногда такие глупые вопросы, — сказала она, по-детски надув губы. — Но все это так ново для меня. Будь снисходительным ко мне, Фредерик.

Они находились на Дрансгейт, совсем недалеко от его квартиры. Она попросила не провожать ее. Джейн выбралась из дому якобы к своей учительнице музыки и теперь опасалась, что Фридриха увидят с ней в карете.

Они договорились снова встретиться в среду во второй половине дня, когда у Джейн будут уроки танцев, которые она могла пропустить.

«Бог ты мой, уроки танцев! — У Фридриха появилось какое-то неприятное чувство, когда он подумал о своих отношениях с этой девушкой. — Агнесса, Магдалена, Сюзанна и вот теперь Джейн Грег... Дочка миллионера, берущая уроки игры на фортепьяно, посещающая монастырскую школу и пугающаяся слова «социалист». Но природа наделила ее таким обаянием, какое может только присниться. Влюблен ли я? Не знаю. Да и вообще, что я, собственно, знаю о ней? Нет, в среду мы должны объясниться. Я расскажу ей всю правду о том, с кем она связалась.

И если она не захочет меня больше видеть — тогда... тогда я потеряю всего лишь приключение».

Они встретились снова у старой часовни и отправились по холмистой дороге побродить по окрестностям. Был ясный предвесенний день.

— Ты спрашивала, принадлежу ли я к социалистам. Да, Джейн. Я должен был сказать тебе об этом. Да, я думаю и чувствую, как они.

Она остановилась, посмотрела на него. В ее глазах не было никакого испуга, даже удивления.

— Я предчувствовала это и поняла в воскресенье, там, в Доме собраний.

В его памяти всплыли картины детства и юности. Первые встречи с бедностью в Вуппертале. Нагорная проповедь. Освобождение человека от всех видов угнетения. Призыв величайшего немецкого поэта: «Человек, будь благородным, добрым, готовым протянуть руку помощи». Убежденность в непобедимой силе человеческого духа. Ночь в Фогтланде...

— Да, Джейн. Я видел в моем отечестве много нужды, гнета, человеческих страданий. Но мы бедная страна, разделенная на части, разорванная, с кровоточащими ранами от долгих войн. Нам осталась лишь надежда на лучшее будущее. Я долго верил, как и многие у нас, что огромные богатства, приносимые промышленным прогрессом, неизбежно должны привести к ликвидации нужды и бедности, стоит только народу найти в себе силы, чтобы освободиться от своих мучителей. С какой верой и надеждой смотрел наш народ на вашу страну! Великий немецкий ученый, философ Гегель видел в вашей системе воплощение принципов гуманизма на земле. А потом мы узнали, какова в вашей стране реальная действительность. Как вы используете ваше богатство. И вот я в вашей стране. И все прочитанное подтвердилось, нет, было превзойдено самым ужасным образом. В самой богатой стране в мире — самая отчаянная нужда миллионов людей неимущего класса, людей, живущих трудом рук своих! Только тут я понял, как правы были те, кто утверждал, что свобода, справедливость, равенство для всех могут быть воплощены в жизнь только в том случае, когда человек освободится от алчности и жажды наживы, от дьявольского инстинкта обогащения за счет других и властвования над ними!

Джейн уставилась на него.

— Это то, что объединяет людей в Доме собраний.

— Да, это очень благородные люди. Сами, в большинстве случаев живя в нужде, находясь в постоянной заботе о хлебе насущном, они думают в первую очередь не о себе, а, проявляя нравственное величие, действуют на благо всей страны, всей нации, всего человечества.

— Ты образованный человек, Фредерик. Ты прочел много книг. Какое я, должно быть, глупое, никчемное создание по сравнению с тобой?

— И все-таки глаза у меня раскрылись не с помощью книг, Джейн. — Он остановился. — Прозрел я в Дипнесс-Граунд. В домах, принадлежащих твоему отцу, Джейн. Решение пришло там!

Джейн поняла. Она тихо сказала:

— Отвези меня к этим домам.

Просьба эта была такой неожиданной, что Фридрих не сразу нашел, что ответить. Подумав, он согласился.

— Хорошо, если ты настаиваешь.

Они поехали в омнибусе до Риджент-стрит.

Спустя полчаса Джейн и Энгельс вошли в подвальную конуру Робсонов. На этот раз все члены семьи были в сборе: родители, двое детей, дед. Посреди комнаты стоял детский гробик.

— Крысы, мистер Энгельс, — глухо сказал однорукий. — Малышку не удалось спасти.

Лицо Джейн побледнело. Дрожа всем телом, она вцепилась в Фридриха. Однорукий поднял крышку гроба.

— Не хотите ли посмотреть, мисс?

Джейн бросила короткий взгляд в гробик и в ужасе закричала:

— Нет! — Закрыв лицо руками, она побежала к двери. — Нет!

Фридрих с трудом поспевал за ней. Она остановилась лишь на мосту. Вцепилась в перила. Силы оставили ее. Надломленно опустилась она в его объятия и заплакала...

Весь обратный путь до своего дома Джейн просидела с отрешенным видом. Попытки Фридриха как-то приободрить ее оказались тщетными. Она не проронила ни слова. Когда экипаж остановился перед коваными железными воротами, она в глубокой задумчивости, скорее для себя, пробормотала:

— Папа, добрый мой папочка, он не знает этого. Нет, он не знает этого!

В неожиданном порыве она бросилась к Фридриху на грудь, покрыла его лицо поцелуями.

— Фридрих, милый мой, ах, поверь мне! Мой отец, он ничего этого не знает!

Несколько дней спустя Фридрих получил приглашение в клуб Лиги «на беседу по личному вопросу». Внизу стояла подпись: «Ваш Роберт Хайд Грег».

В тот же день он вынул из почтового ящика записку от Джейн. Она настойчиво просила Фридриха принять приглашение ее отца.

Это было не первое посещение Фридрихом клуба фритредеров, расположенного неподалеку от старой церкви в центре города. Его ввел сюда в декабре Питер Эрмен. Он знал некоторых завсегдатаев клуба, проводивших здесь почти каждый вечер. Знал их по празднованию своего дня рождения, по бирже, по разным банкетам и деловым переговорам. Это были сплошь богатые торговцы, банкиры и фабриканты, крепко сколоченные дельцы с острым нюхом, умеющие пускать в ход локти. Их социальное положение было столь же простым, как и их душа. Они размещали друг друга на иерархической лестнице не по уму, не по достижениям, шарму, опыту, умению, характеру, не по тем человеческим качествам, которые среди обычных людей играют решающую роль в приобретении авторитета, а единственно по размеру движимого и недвижимого капитала. За каждым именем стояла сумма, выраженная в фунтах стерлингов. Люди тугой мошны. Все, что было связано с золотым тельцом, они знали прекрасно. Все, что нельзя было измерить фунтами и шиллингами, для них не существовало. Это были самые скучные в мире люди, не имеющие соперников в пошлости мыслей, в узости жизненных интересов, ограниченных конторой, биржей, семьей, церковью и клубом, в необразованности и безвкусице. Но их распирало от здоровья, аппетита и силы. Когда же требовалось обделать дело, они могли развить активность, превышающую всякую меру.

Здесь, в клубе, они лезли из кожи вон, чтобы казаться цивилизованными людьми. Некоторые натягивали на себя черные фраки, как это было принято в клубах лордов. Но держать себя в узде им стоило немалых трудов. У них отсутствовало чувство меры. Респектабельная обстановка клуба, отменно вымуштрованный персонал, вся благородная атмосфера резко контрастировали с посетителями. И в этот раз Фридрих показался себе как бы заядлым театралом, который наблюдает, как третьеразрядный театришко обезображивает любимую им пьесу.

Было трудно отличить этих мужчин друг от друга. Тут были Нестор фабрикантов Кобден, обладатель старейшей бумагопрядильной фабрики на улице Лонг-Миллгейт, основатель и вождь Лиги, предприниматели средней руки Эштон и Шарп, подрядчик Ханфри, спекулянт земельными участками Полинг и пользующийся дурной славой фабрикант тележек Бирли, а также крупный торговец Берт и банкир Флемминг.

Приветствуя их полупоклоном, Фридрих прошел к столику в глубине зала, за которым ожидал его мистер Грег. Он не видел отца Джейн со времени их спора, и его интересовало, чего от него хотел этот человек. Мистер Грег сидел в кресле с угрюмым видом и слушал невероятно толстого человека, тушу которого Фридрих довольно часто примечал на бирже. Грег как раз чокался с ним. Поставив рюмку, он заметил Фридриха. Лицо его сразу же прояснилось. Он встал и распростер руки.

— Мой дорогой друг!

Фридрих, не ожидавший такого дружелюбия, уклонился от объятия и ограничился пожатием руки.

— Я рад, — сказал с сияющим лицом Грег, — что вы, несмотря ни на что, приняли мое приглашение. — Грег представил его своему собеседнику. — Это мистер Фредерик Энгельс из Германии.

Колосс, казалось, уже успел достаточно поднабраться. Остекленевшим взглядом он бесцеремонно смерил Фридриха с ног до головы.

— А! Молодой немец с добрым сердцем, — сказал он, цинично ухмыляясь. Кряхтя, поднял он свою тушу из кресла. — Тогда не буду мешать вам в ваших деликатных делах, — сказал он, подмигнув, и направился к группе, собравшейся возле Кобдена.

— Одно сообщение, Фредерик, чтобы заранее предупредить всякие споры между нами: я забрал из суда жалобу на вашего подзащитного и, кроме того, дал указание произвести санацию домов в Дипнесс-Граунд. Это встанет мне в копеечку, друг мой!

— Ваше неожиданное великодушие удивляет меня.

— Не будем говорить о великодушии, дорогой друг. Назовем это лучше капитуляцией. — Он по-панибратски ударил Фридриха по плечу. — Я недооценил сначала ваши ресурсы. У вас есть чертовски упрямый союзник в лагере вашего противника! — Он подмигнул Фридриху. — Я в общем не против. Вы победили таким образом по всем

статьям, и нам теперь надо спокойно поговорить о вашем будущем.

— О моем будущем, мистер Грег?

— Знаю, оно обеспечено. Я знаю, какое состояние у вашего папаши. И все же! Лучше самому уверенно стоять на ногах. — Грег перешел к делу. — Итак, короче говоря, при сложившихся обстоятельствах я готов предложить вам участие в моих предприятиях.

Фридрих скептически посмотрел на Грега.

— При условии что я откажусь от своей собственной точки зрения на обстановку, не так ли?

Грег покачал рукой.

— Боже сохрани! За кого вы меня принимаете? Вы здесь не в Германии, Фредерик. — Он повысил голос, чтобы было слышно всем в салоне. — Мы либеральны, мы любим свободу и уважаем мнение других.

Он опорожнил свою рюмку и еще некоторое время говорил о достоинствах английской конституции, которая признавала за каждым свободу мнений, слова, печати.

— Так я говорю, господа? — спросил он, обращаясь к публике. Те дружно выразили свое согласие.

— Так-то. Да. Каждый может думать и говорить как ему хочется и веровать во что ему хочется.

Фридрих добавил:

— Только это не должно идти вразрез с деловыми интересами.

Грег снова потянулся за рюмкой.

— И в делах мы ратуем за абсолютно свободную игру сил.

Мясная туша пробасила:

— Laissez faire, laissez passer! Это наш единственный закон!

— Закон, ведущий вашу страну от одного кризиса к другому, — пояснил Фридрих. — Закон, доводящий миллионы до беспросветной нищеты и делающий бедных еще беднее.

Тут подключился мистер Кобден.

— Ну, хорошо, юный друг! Но посмотрите на этот город! Он процветает, ему тесно в старых границах. Повсюду новые фабрики, новые улицы, новые дома.

— И все новая и новая нищета! — воскликнул Фридрих.

Кобден не стал возражать, заметив:

— Ленивые, слабые, нежизнеспособные отсеиваются на полпути.

Шарп добавил:

— Следствие естественного отбора. Без него человечество давно бы уже погибло от своей собственной плодовитости.

— Правда, бывают и всегда будут невинные жертвы, — прибавил Кобден.

Вокруг стола Грега собралась уже вся группа, и каждый старался дополнить другого:

— Это во власти всевышнего и от нас не зависит.

— Но у каждого есть шанс выиграть.

— Всяк сам кузнец своего счастья.

— Всяк волен участвовать в игре.

Фридрих, почувствовавший, что на него наседают со всех сторон, собрался отвечать, но тут к нему протиснулась мясная туша.

— Laissez faire, laissez passer! — пропищала она. — Все регулируется само собой. Вот наш принцип, мистер Энгельс. Или вы можете предложить нам лучший?

— Вам нет, мистер. Вижу, на вас он работает превосходно. Поздравляю вас с этим принципом. — Фридрих встал и обратился ко всем собравшимся у стола. — Но, может, среди вас найдется хоть один человек, кто поймет, что экономическая система, отдающая большинство людей на произвол закона джунглей, должна быть заменена системой, при которой производство и распределение регулируется по законам разума и гуманности.

— Мы либеральные предприниматели. Мы отклоняем всякое применение регулирующих методов. — Это сказал Кобден. — Мы никого не принуждаем жить в наших домах или работать на наших фабриках. Кому это не подходит, может идти куда ему заблагорассудится. Но и мы не допустим никакого давления на нас.

Грег сказал:

— Слава богу, мы живем в самой свободной стране на земле!

Фридрих заставил себя успокоиться.

— Свобода для кого? Для инвалида, которого вы за правдивые слова посадили за решетку? Для инакомыслящих, которые за выражение своих мнений дубинками изгоняются с собраний? Единственная свобода рабочих состоит в альтернативе: либо умереть с голоду, либо подчиниться произволу ваших условий.

Свобода, о которой вы говорите, — это не та свобода, которую отвоевали ваши предки у всемогущего произвола

аристократии. Это не та свобода, которую некогда воспели величайшие ваши поэты, которыми восхищается весь мир, — Шекспир, Байрон, Шелли. Под нею вы понимаете всего лишь безграничное увеличение вашей собственности. Богиня свободы, которой вы поклоняетесь, зовется мамоной!

Фритредеры смотрели на него теперь несколько озадаченно. Казалось, эти слова не произвели впечатления только на фабриканта тележек Бирли, который, засмеявшись, сказал:

— Если это даже и так, молодой друг, то почему это вас так волнует?

— Потому что ваша система бесчеловечна по отношению к массе народа и приводит к варварским последствиям, мистер Бирли.

Кобден объяснил снисходительно:

— Вы типичный немец и к тому же еще довольно молоды. Вы прибыли из страны, где прядутся нити и бредовые идеи. У вас еще верят в сказки и фей. Вы хотите вылечить мир идеями. Мы, англичане, практичная нация. Да, мы народ лавочников и коммерсантов. Мы ценим деньги. С помощью денег, которые мы получаем в результате нашей деятельности, наша страна стала самой сильной и богатой страной в мире. С помощью наших денег мы отменили торговлю рабами и добились того, чего немцам не добиться никогда, — отмены абсолютного единовластия аристократии.

Мистер Грег, слушавший с растерянным видом, добавил:

— Верно! Каждое место, которое мы, виги, презираемое среднее сословие, получили в парламенте, куплено звонкой монетой.

— Тогда вы, мистер Грег, выходит, гордитесь тем, что ваш парламент состоит из подкупленных депутатов?

Мистер Грег, казалось, несколько смутился.

— Миром, Фредерик, правят деньги. И если мы по-дружески приняли вас здесь и спокойно выслушиваем ваши аргументы... — Тут он не выдержал и истерично выкрикнул: — ...вместо того, чтобы прогнать вас отсюда как собаку, то благодарите за это не ваш шарм, молодой человек, и не ваши идеи по улучшению мира, а единственно состояние вашего отца. Только когда вы постигнете, что обладание состоянием, умение делать деньги не позор, а занятие, достойное каждого англичанина, только тогда вы поймете нашу страну и будете принадлежать к нашему кругу.

Возникла пауза. Все уставились на Фридриха как на обвиняемого. Он сказал тихо:

— Благодарю вас, мистер Грег, за то, что вы открыли мне глаза, как нужно понимать ваши публичные выступления по поводу благосостояния и справедливости для всех.

Мистер Бирли ухмыльнулся:

— Вы что, действительно принимали это за чистую монету? Но молодой мой друг! Благосостояние и справедливость для всех — это же несбыточные мечты, которые ни один нормальный человек не станет считать возможными или хотя бы желательными. Это ведь был бы конец всякого промышленного прогресса. Или, быть может, вы полагаете, что при тех отношениях, за которые ратуют оуэнисты, найдется хоть один-единственный рабочий, который бы согласился на тяжелую, изнурительную работу на наших фабриках?

Захваченный врасплох такой циничной развязностью, Фридрих не сразу ответил. Он вопрошающе посмотрел на лица окружавших его фритредеров. Ни на одном из них не было написано несогласия с беззастенчиво прямым признанием фабриканта тележек. Лицо его, должно быть, приняло довольно глупое выражение, так как присутствующие развеселились. Смех этих людей задел его больнее всех их аргументов. Он ясно осознал, насколько бессмысленно было дебатировать с этими рвачами из рвачей. Он понял вдруг, что попал в дурацкое положение, и тоже рассмеялся, громче остальных и так звонко, что к его смеху присоединилось все общество. Однако этот безудержный, неожиданный смех вскоре оборвался.

Фридрих почувствовал, как вся кровь отлила от его лица.

— Вы правы, мистер Бирли, — прошептал он, — я идиот, последний дурак. Извините! Я забыл, среди каких людей я нахожусь.

Он обвел взглядом собравшееся общество. Мистер Грег, покачиваясь, подошел к нему, хлопнул по плечу.

— То-то, Фредерик! Спуститесь с небес на землю! Вы же интеллигентный человек! Не будьте занудой! — Он взял у одного из стоявших рядом официантов рюмку и протянул ее Фридриху. — Выпейте с нами! Вы не представляете, как много друзей можете найти себе здесь!

Фридрих отступил на шаг назад и отвесил поклон.

— Благодарю! — Повернувшись ко всем, он сказал: — Я знаю теперь, где мне искать друзей. — И направился к выходу. В дверях он еще раз остановился. — Я констатирую

следующее, джентльмены: два тысячелетия спустя после Платона и Аристотеля вы хотите возвратить человечество к хаосу джунглей и волчьей морали, так как это для вас наиболее удобный способ заработать много денег. Этот путь дает к тому же в ваши руки всю власть, не накладывая на вас скверной обязанности социальной ответственности. Человечество не окажет вам любезности и не пойдет на поводу у ваших замыслов. — С горечью он воскликнул: — Laissez faire, laissez passer! Да здравствует закон свободного рыночного хозяйства! Этот закон, господа, неизбежно приведет к одному — к социальной революции!

Фридрих громко хлопнул за собой дверью, прежде чем озадаченные дельцы успели что-либо возразить ему.

Холодный вечерний воздух освежил его разгоряченную голову. Он медленно спустился по широким ступеням великолепного здания. Маркет-стрит была объята воскресной тишиной. Он был один, но чувствовал себя легко. Калека без ног подкатил к нему на своей тележке и просяще протянул руку. Фридрих дал ему золотую монету. Калека поцеловал монету и разразился потоком благодарностей.

Неожиданно кто-то взял Фридриха под руку. Это оказалась Джейн.

— Тебе удалось поговорить с моим отцом?

— Поговорил и с ним, и с другими.

— И как все это прошло?

— Все это позади, Джейн. Меня с ними теперь ничто не связывает.

Джейн озабоченно спросила:

— Что случилось?

— Ничего. Ничего не случилось. Все они очень порядочные, благопристойные джентльмены. Полезные граждане своей страны. Прилежные, экономные, благочестивые, даже терпимые. Истинные обыватели, которым нет нужды страдать ни от плохого пищеварения, ни от угрызений совести. Они все одинаковы, все на одно лицо, они как попугаи повторяют одно и то же, у них одинаковые желания, одинаковые взгляды, они отличаются одинаковой ограниченностью. Джейн, хотя бы один-единственный из них выделялся из массы! Если бы хоть одному из них я мог сказать: «В жилах твоих течет кровь, в голове рождаются мысли, ты можешь любить и ненавидеть. Ты человек».

Джейн в замешательстве посмотрела на него.

— Было мило с твоей стороны, Джейн, что ты поджидала меня. Но теперь тебе, конечно, захочется домой.

Джейн ничего не понимала.

Он взял девушку за плечи и встряхнул ее.

— Пойми же наконец! Я порвал с ними.

Только тут она вышла из оцепенения и пролепетала недоверчиво:

— Нет.

— Пойми же, девочка! Между миром твоего отца и моим миром нет ничего общего.

Джейн растерянно покачала головой.

— Фредерик, мой...

Тут ее прервали.

— Джейн! — У открытой дверцы экипажа недалеко от них стоял мистер Грег. Фридриха он не удостоил даже взглядом. — Пойдем, дочь, пожалуйста! — приказал он.

Взгляд Джейн беспомощно перебегал от одного к другому. Она прошептала тихо:

— Как же так, Фредерик, как же так?

И покорно последовала за отцом. Фридрих смотрел ей вслед. Ну вот, закончилась и эта глава.

Нет, эта глава еще не закончилась...

Джейн, маленькая Джейн, она не допускала и мысли об этом. Она не поняла всей истины, не поняла, что он окончательно порвал с миром, из которого происходил, с классом, с которым его связывали тысячи нитей.

Два дня спустя после посещения клуба фритредеров, когда он пришел домой несколько позже обычного, добрая мисс Миллер встретила его веселым шепотом:

— Так поздно сегодня? Вас давно уже ждут с нетерпением.

Фридрих увидел на вешалке горностаевую шубку Джейн. Она сидела, подобрав ноги, на софе, на столике перед ней стоял принесенный мисс Миллер чай.

Он спросил сдержанно, что привело ее сюда.

Джейн растерянно посмотрела на него.

— О, милый, как ты говоришь со мной?

— Разве твой отец не запретил тебе всякое общение со мной?

Джейн опустила голову.

— Он угрожает запереть меня или вновь отправить в Уэльс, если я хоть раз тайно встречусь с тобой. Но я же ведь люблю тебя и всегда буду любить, что бы они ни говорили.

Фридрих бережно снял ее руки со своей шеи, сказал ей, что для нее было бы лучше покориться приказу отца и быть послушной девочкой.

— Это невозможно! — торопливо воскликнула Джейн. — Я не могу больше жить у своих родителей, словно ничего не произошло. — Она закрыла лицо руками. Всхлипывая, выкрикнула: — Я не могу больше говорить с ними, как прежде. Я не могу больше глядеть моему отцу в глаза. Куда бы я ни посмотрела, что бы я ни делала, я постоянно думаю об ужасном.

Он подождал, пока она не успокоилась.

— Ты преодолеешь это, Джейн. Придет день, и ты перестанешь думать об этом.

— Никогда, никогда! Или тогда я бесчувственное существо.

— Не говори так, Джейн! Возьми наших отцов, всех друзей и добрых знакомых, окружавших нас в детстве. Ты думаешь, они не видели, как страдают люди, работающие на их фабриках? Или вспомни о наших матерях! Ты думаешь, они были далеки от жизни и не знали, сколько слез, сколько нужды, сколько страданий вплелось в их дорогие кружева? И тем не менее они без угрызений совести наслаждаются плодами, которые приносит им благосостояние. Да и в конечном счете они еще лицемерно уверяют себя, что делают добро и для бедняков, давая им возможность за нищенскую заработную плату работать на них.

Джейн с испугом посмотрела на него.

— Я не хочу становиться такой, как они. — Она обняла его, покрыла его лицо быстрыми поцелуями, умоляюще просила его: — Давай уедем, убежим отсюда! Куда-нибудь далеко-далеко. В другую страну. Потом будет поздно.

— Джейн...

Она не дала ему говорить.

— В Италии у меня есть тетка, живет она в одиночестве. У нее прелестная вилла на Лаго-Маджоре. Мы можем жить там. Среди нетронутой природы. Только для себя одних. Только друг для друга. Ради нашей любви. Ты можешь писать. Я буду заботиться о тебе. Мы будем ограничивать себя самым необходимым. Наши руки останутся чистыми!

Он высвободился из ее объятий.

— Ты много тут всего понапридумала, дитя...

— Я говорю серьезно!

Он улыбнулся.

— Мой милый, я должна тебе кое-что сказать... — Джейн совсем успокоилась. С очень серьезным лицом она пояснила:

— Если ты не увезешь меня отсюда, я погибла!

Он вопросительно посмотрел на нее. Некоторое время они оба молчали, потом он сказал глухим голосом:

— Что за глупости ты говоришь?

— Отец хочет выдать меня замуж. — Она уткнулась головой в его колени и заплакала.

Фридрих беспомощно пытался утешить ее.

— Успокойся же! Я не хотел причинить тебе боль... Я не оставлю тебя в беде. Девочка моя, маленькая моя девочка, все будет хорошо!

Джейн подняла голову. Боль и слезы исказили ее лицо.

— Не здесь! Не в этой ужасной стране!

— Послушай меня, Джейн! — прервал он ее. — Повсюду в мире есть нужда и нищета, есть отчаяние и унижение человека. Мы не можем бежать от ужасов. Если ты хочешь остаться человеком, то в этом случае единственный путь — это путь возмущения!

— Возмущения? Против кого? Против моего отца, которого я обожаю? Против моей матери, которую я люблю? Против мира, в котором я была счастлива и полна надежд?

Он сказал тихо:

— Джейн, когда-нибудь тебе все равно придется решать. За или против них.

— Но это же ведь неплохие люди, — возмутилась она. — Они же всегда хотели только самого хорошего.

— Плохие или хорошие, Джейн, но они рабы своей собственности. Собственность подавила в них совесть, она отравляет их мысли, притупляет в них человеческое сознание. Хорошие или плохие, Джейн, они живут и сойдут в могилу, даже не поняв, в чем, собственно, состоял смысл их существования. — Он сделал несколько шагов по комнате, потом остановился перед девушкой. — Но горе, Джейн, горе тому, кто увидел корни зла и отказывается бороться с ним. Он виновен. Куда бы мы ни бежали, мы не сможем сохранить свои руки чистыми. Знающий несет ответственность и должен решиться. Кто уклоняется от этого решения, тот действует бесчеловечно.

Джейн слушала его с растущим страхом.

— Ты говоришь о борьбе, о возмущении, о революции. Страшна, ужасна даже одна мысль об этом! Будет пролита кровь. Снова будут безвинные жертвы. И в конце всего этого возникнет новая ненависть, новый раздор, новая несправедливость. Поверь мне, ни один человек не имеет права играть с судьбой.

— Laissez faire, laissez passer! Теперь ты говоришь, как твой отец.

— Ах, Фредерик. Я ведь понимаю тебя. Понимаю. Мое сердце подсказывает мне, что ты прав, прав, тысячу раз прав. Но у мира, против которого ты хочешь пойти, слишком много сил. — Она отвернулась от него. — Ах, если бы я никогда там не бывала. Никогда бы не видела этот ужас в подвале. — Она снова залилась слезами.

Фридрих стоял возле Джейн в нерешительности. Что ему делать? Чем помочь? Только она одна могла найти выход из создавшегося положения, только она одна!

Постепенно она успокоилась. Он взял ее за руку.

— Уже поздно. Я провожу тебя домой.

Она кивнула.

Когда экипаж остановился недалеко от ее дома, Джейн испуганно прислушалась. Стоящий посреди парка дом был ярко освещен. Лаяли собаки. В разных концах обширного парка блуждали огни факелов. Мужские голоса выкрикивали:

— Джейн! Мисс Джейн!

Девушка крепко ухватилась за руку Фридриха.

— Не отпускай меня! Не отпускай меня к ним! Я люблю тебя! Я знаю, что могу быть счастлива только с тобой. Но они не потерпят этого.

— Тебе нужно лишь быть стойкой. Рано или поздно твой отец поймет, как глупо желание разъединить двух любящих.

Она безнадежно махнула рукой.

— Нет, нет, я знаю его лучше. Пока ты будешь предан своим идеям, ты не сможешь перешагнуть порог нашего дома. Я знаю, мы никогда не сможем быть счастливы в этой стране.

— Чепуха. Год-два настойчивости, и бастион отцовского сопротивления сложит оружие.

Голоса, зовущие Джейн, приближались.

— Нет, Фредерик, я слишком слаба.

— Тогда я помогу тебе. Одно твое слово, и я буду стоять с букетом роз перед твоим отцом. Хотел бы я услышать, сможет ли он выдвинуть какие-либо возражения против молодого человека, который прислушивается только к голосу своей совести.

— Мы можем только молиться, чтоб не стало хуже.

— Молиться, Джейн...

Джейн стала испуганно допытываться у него:

— Ведь это ложь, что ты ни одно воскресенье не был в церкви, как утверждают мои родители. Скажи, прошу тебя, скажи, что это ложь, отвратительная, гнусная ложь! Скажи же наконец!

Фридрих встал и вышел из кареты. — Теперь идем, Джейн! — Девушка не проронила ни слова, пока он помогал ей выйти.

Она зябко поежилась.

— Холодно. Как будто зима хочет вернуться.

Рука об руку пошли они вниз по улице к ее дому.

— Твои родители правы, Джейн. Я атеист, — сказал он тихо.

Девушка остановилась, на лице ее отразилось замешательство.

— Ты — самый благородный, самый самоотверженный человек из тех, кого я знаю, — безбожник? Нет! Нет!

Бедная Джейн, подумал Фридрих.

— Бога нет, — сказал он тихо. — Все, что люди на протяжении веков приписывали потустороннему существу, — все это плод их собственной фантазии. Они создали себе высшую силу, поскольку сами были недостаточно сильны, чтобы противостоять судьбе, которая казалась неотвратимой. Но высшего правосудия над нами, Джейн, не существует. То, что случается с человеком по вине других людей, не может быть оправдано ничем. Это дело рук человеческих. Только человек может это изменить. Никакая сила в мире не может освободить нас от ответственности.

Какое-то мгновение Джейн, казалось, была сбита с толку.

— Прощай, — сказала она беззвучно.

Быстро, почти боязливо она отвернулась от него и зашагала к железным воротам парка.

— Мы увидимся, Джейн?

Она еще раз остановилась, как-то неуверенно посмотрела назад. Потом сорвалась с места, подбежала к нему, сняла с шеи ожерелье, сунула ему в руку.

— Отдай это Робсонам, Фредерик!

Джейн убежала, не дав ему сказать ни слова. Он растерянно смотрел на ожерелье. «О Джейн! Вот она, твоя совесть!»

В бешенстве он хотел бросить его на землю, но опомнился и сунул в карман. Им, Робсонам, оно, конечно, пригодится. Пропади оно пропадом!

Подойдя к экипажу, он еще раз остановился, посмотрел

на дом Грегов. Мысли его были печальны. Прощай, девочка...

Он знал: это было прощание. Прощание с Джейн. Прощание с уже утраченным миром. Прощание навсегда...

Глава шестая

РЕШЕНИЕ

Начало апреля 1843 года, Манчестер.

В новой серии статей, появившихся в те дни, Фридрих Энгельс подвел итог накопленного им опыта. «Демократическая партия в Англии делает быстрые успехи. В то время как вигизм и торизм, денежная аристократия и дворянская аристократия ведут скучный словесный спор о пустяках... в то время как государственная церковь пускает в ход все свое влияние, чтобы, опираясь на ханжеские наклонности нации, хоть как-нибудь поддержать свое прогнившее здание, а Лига против хлебных законов выбрасывает сотни тысяч в безрассудной надежде, что взамен этого в карманы хлопчатобумажных лордов потекут миллионы, — в это же самое время презираемый и осмеиваемый социализм спокойно и уверенно шествует вперед... Известно, что в Англии партии идентичны с социальными слоями и классами; что тори тождественны с дворянством и ханжеской, строго ортодоксальной фракцией англиканской церкви; что виги состоят из фабрикантов, купцов и диссентеров*, в целом — из высших слоев буржуазии; что низший слой буржуазии составляют так называемые «радикалы» и что, наконец, чартизм черпает свои силы в рабочем люде, в пролетариях. Социализм не образует замкнутой политической партии, но он вербует своих сторонников, вообще говоря, из низших слоев буржуазии и из пролетариев. Таким образом, в Англии наблюдается тот замечательный факт, что чем ниже стоит класс в обществе, чем он «необразованнее» в обычном смысле слова, тем он прогрессивнее, тем бо́льшую будущность он имеет. В общем, такое положение характерно для всякой революционной эпохи... Но, пожалуй, никогда еще предзнаменование великого переворота не было столь ярко

* Представители религиозных сект и направлений в Англии, отступающих в той или иной мере от догматов официальной англиканской церкви.

выраженным, столь резко очерченным, как сейчас в Англии».

Перед молодым немецким философом остро встала проблема выбора дальнейшего пути. Все, во что он в глубине души до этого времени верил, оказалось шатким.

Класс буржуазии, вошедший некогда в историю под знаменем свободы, равенства и братства, в настоящий момент, став, как в Англии, экономически и политически доминирующим классом, предает гуманистические идеалы и отбрасывает народные массы к положению, страшней которого не могло быть даже во времена античных и средневековых деспотий.

Что делать?

Оставаться в этом классе, продолжать играть роль критика, неудобного человека, призывающего к благоразумию? Или полностью и окончательно порвать с этим классом и перейти в ряды тех, кто объявил ему борьбу не на жизнь, а на смерть?

Когда Фридрих пробудился после короткого, но глубокого сна и вошел в гостиную, он невольно отпрянул назад. Дрова в камине потрескивали и горели так сильно, что хоть быка на них поджаривай.

— Уж не собрались ли вы меня изжарить, мисс Миллер? — спросил он свою хозяйку, только что вошедшую в прихожую с огромной корзиной.

Она поставила корзину на пол, вошла в комнату и раздвинула шторы.

— Взгляните в окно! Снова зима пришла. На моей памяти еще никогда в апреле не было такого мороза и столько снега.

Действительно, на крышах домов и улицах лежал белый снежный ковер, а снег все шел и шел не переставая. В снегу резвились ребятишки. У садовой изгороди возница разгружал дрова.

— Я на всякий случай заказала для вас дров, — пояснила мисс Миллер.

— Но у нас же в сарае много дров.

На лице мисс Миллер появилось озабоченное выражение.

— Чего уж там! В такую погоду на исходе зимы замерзло уже немало людей.

Вдруг взгляд Фридриха упал на жемчужное ожерелье Джейн, которое он положил на выступ камина. Он вспомнил

о Робсонах. Неожиданное похолодание, как и для всех бедняков в городе, могло иметь для них самые неприятные последствия. Он рывком открыл окно.

— Эй, мистер, — крикнул он извозчику. Мужчина прервал свою работу. — Пожалуйста, погрузите дрова обратно.

Кучер недоуменно посмотрел на него.

— Заказано, так уж заказано, мистер Энгельс, — проворчал он.

— Да я все равно заплачу. Мы только доставим их по другому адресу.

Кучер равнодушно пожал плечами:

— Как вам будет угодно.

— Ну, пожалуйста, не сердитесь, мисс Миллер, — сказал Фридрих с виноватой улыбкой своей удивленной хозяйке. — Я ведь рассказывал вам о семье Робсонов...

Она поняла.

— У вас сердобольное сердце. Господь возблагодарит вас за заботу об этой бедной семье.

Когда Фридрих уже собрался выйти из дома, она остановила его и сунула ему в руки корзину с провизией.

— Это мой привет Робсонам.

Час спустя нагруженная дровами повозка въезжала в Дипнесс-Граунд. Фридрих остолбенел. Перед его глазами открывался странный вид. Кругом стояли телеги с камнем и грунтом. Как раз в этот момент полицейские засыпали подвальное помещение Робсонов щебнем. Немного подальше очищали и другие подвальные помещения. Из окон выбрасывали мебель, людей силой вытаскивали наружу.

Фридрих соскочил с повозки и подбежал к одному из полицейских.

— Что здесь происходит, сержант?

Полицейский неприветливо пробрюзжал:

— Сами видите. Мистер Грег санирует свои дома.

— Как же вы вот так запросто выбрасываете жильцов на улицу? — возмутился Фридрих.

— У меня приказ очистить дома, мистер. А кто вы, собственно, такой?

Фридрих оставил вопрос без ответа. Во дворе среди жильцов дома он увидел знакомого Робсонов.

— Мистер Чайлдер, где Робсоны?

Старик, к которому он обратился, уставился на него, мигая своими близорукими глазами.

— А, это вы, сэр. Робсоны уехали еще вчера. Немного вниз по реке, набережная Медлок, сто двенадцать, «Зеленый

остров». Little Ireland*, понимаете? Там у Робсона есть родственница.

Фридрих поблагодарил его. Минуту спустя он уже снова сидел рядом с возницей.

— Малая Ирландия, — сказал он.

Кучер знал, как туда проехать. Недалеко от нового моста через Медлок повозка повернула направо в узкую улочку на берегу реки, замощенную неровным черным известняком. Миновав последние каменные строения этой улицы, ездоки неожиданно оказались перед небольшой котловиной, застроенной несколькими сотнями старегьких ветхих домишек. Дыра эта со всех сторон была отгорожена от внешнего мира высокими фабричными стенами и свалкой мусора. Перед ними было пресловутое ирландское гетто Манчестера.

Фридрих попросил остановить повозку и посмотрел вниз. Он уже слышал об этом нищенском квартале, который, как говорили, по своей мерзости оставлял в тени все рабочие кварталы в других промышленных районах. То, что представилось его глазам, превзошло самые дурные ожидания! Колония ирландских переселенцев влачила жалкое существование в этих гниющих приземистых лачугах, похожих скорее на пришедшие в негодность хлевы, чем на жилища людей, прозябала за этими неостекленными, кое-как заклеенными промасленной парусиной оконными проемами, среди нечистот, грязи, вонючих отбросов.

Тем временем в некотором отдалении собралась группа подозрительных парней. Они были в лохмотьях, еле прикрывавших тело, и босые, несмотря на ледянящий холод.

— Сэр, вы что, действительно собираетесь ехать туда, вниз? — спросил кучер.

— А вы, может, боитесь? — вопросом на вопрос и с вызовом ответил Фридрих.

Широкоплечий возница вынул из-под сиденья толстую суковатую палку.

— Нет, конечно, сэр.

Фридрих подозвал одного подростка, который не без любопытства приблизился к ним:

— Парень, ты не знаешь, как проехать к «Зеленому острову»?

Малый указал на строение, расположенное на некотором возвышении на берегу Медлока. Между высокими дере-

---

* Малая Ирландия.

вьями проглядывали стены старинной мельницы, которая по непонятным причинам сохранилась среди высоких кирпичных стен фабрики. Фридрих бросил парню монету. Через несколько минут он уже входил в прокуренный зал. Несмотря на предобеденное время, столики были заняты одетыми в лохмотья ирландцами, которые оживленно, без стеснений, громко и беззаботно предавались увеселению. За стойкой восседал худосочный мужчина с шотландской шапочкой на голове. Опущенные книзу концы усов, впалые щеки придавали ему желчный вид.

Фридрих назвал себя. Мужчина с любопытством уставился на него.

— Ах, вы мистер Энгельс. Слышал о вас. — Он тут же начал жаловаться на Робсонов, родственников его жены, которые, к сожалению, куда-то исчезли. — Они прибыли сюда без единого пенни в кармане и оставили у нас своих малышей. Откуда мне брать деньги, чтобы кормить их? Самих же родителей и след простыл. Будто бы ищут работу и жилье. Кто же возьмет калеку, который еще и числится в черном списке? И его болезненную жену, которая, как видно, уже снова беременна! Прошу вас, мистер!

— Их нет уже со вчерашнего дня? — озабоченно спросил Фридрих.

Шотландец подтвердил.

— Со вчерашнего утра. Черт его знает, увидим ли мы их теперь когда-нибудь. Тогда на шее у меня будут еще и эти двое малышей. — Он снова разразился потоком жалоб и ругательств, пока к ним не подошла женщина, обслуживавшая посетителей, и не прервала его.

— Ну, хватит тебе, Квентин! Они обязательно придут. Мой двоюродный брат и его жена не такие люди, чтобы бросать детей на произвол судьбы. Кто знает, по какой причине они не смогли вернуться ночью. Снег, холод.

— Миссис, вы не знаете, куда они собирались пойти? — спросил Фридрих.

— В Уоррингтон, так как чистенький мистер Грег очернил их по всему Манчестеру. Представьте себе, мистер Энгельс, на прошлой неделе бедную женщину без всяких причин уволили из прядильни, где она проработала пять лет. С тех пор она сбилась с ног. Но даже на тех фабриках, где срочно нужны опытные плетельщицы, ей отказывали, как только узнавали ее фамилию. А тут вот позавчера выселили из квартиры! К счастью, один француз открыл в Уоррингтоне фабрику, и у нее снова появилась надежда. Какое дело

французу до черных списков английских кровопийц? Они наверняка нашли там работу и жилье и, как стемнеет, возвратятся и заберут своих детей.

Оба малыша стояли в дверях и вопросительно смотрели на господина, которого знали по его визитам в Дипнесс-Граунд.

— Когда придут папа с мамой? — спросила, заплакав, девочка.

Хозяйка быстро выпроводила детей из зала.

— Вам здесь нечего делать! Извините, сэр, — обратилась она к Фридриху и понесла пиво к столикам.

Хозяин продолжал жаловаться:

— Двое детей! Вы знаете, что это означает по теперешним временам? Я вот-вот разорюсь. Если бы вы знали, сколько я уже записал в долг этим субъектам!

Жалобы эти уже стали действовать Фридриху на нервы.

— Перестаньте же наконец! — прервал он поток слов и бросил на стойку золотую монету. — Возьмите! Думаю, на первое время этого хватит.

Хозяин мигом прибрал монету и рассыпался в подобострастных благодарностях.

— Если бы господин подождал здесь немного. Если господин изволит чего-нибудь...

Фридрих с отвращением отвернулся и стал рассматривать сидевших за столиками. Среди них не было ни одного человека, у которого бы одежда не была в дырах и заплатах. И тем не менее ничто, казалось, не мешало им быть в хорошем настроении. Они шутили, смеялись, словно у них всего было вдоволь. Его внимание привлекла сцена, разыгравшаяся за одним из столиков в углу. Молоденькая девушка с отчаянием в голосе уговаривала подпившего пожилого человека идти домой. Вместо ответа старик одним залпом опустошил свою кружку и крикнул, обращаясь к собравшейся за столом компании:

— Долой английских кровопийц! Да здравствует свободная Ирландия! Мы не оставим в беде наших братьев и сестер по ту сторону пролива Святого Георга! Они должны знать: ирландец — где бы он ни находился, — всегда на стороне своего отечества. Мак-Петерсон, еще по одной. Для всех! У отца Бёрнса есть деньги, он платит.

Он надменно бросил на стол пятидесятишиллинговую монету. Девушка молниеносно схватила монету и побежала к двери. Молодой парень заслонил ей дорогу. Бородач, вероятно, ее отец, догнал ее и попытался отобрать у нее монету.

Пьяному это оказалось не под силу. Девушке удалось вырваться. Под крики и хохот буйной компании мужчина, не устояв на ногах, плюхнулся задом на пол.

— И такой вот герой хочет спасти Ирландию! — с насмешкой воскликнул один молодой парень.

— Браво, Мери! — с восторгом кричали гости.

Девушка испугалась, увидев, как упал ее отец, и теперь озабоченно склонилась над ним. Бородач сделал беспомощное движение рукой.

— Отдай мои деньги, Мери! Отдай их мне! Ну пожалуйста, Мери!

Девушка помогла отцу встать на ноги.

— Деньги, деньги, Мери! Ну отдай, Мери!

На лице девушки отразилась полная отчаяния внутренняя борьба. Наконец она отдала старику его деньги.

— Спасибо, Мерилин, дочь моя!

Девушка вышла из заведения с подавленным видом. В дверях ее хотел обнять подвыпивший парень. Она с гневом вырвалась из его рук и с треском захлопнула за собой дверь. В руке у парня остался ее платок. С глуповатым видом он размахивал им из стороны в сторону.

— Чертовка черная, Мария, — пропел он заплетающимся языком.

Фридрих взял у парня из рук платок и последовал за девушкой.

— Эй, мистер, — услышал он за спиной озадаченный голос парня.

Девушка стояла на улице в нерешительности, со слезами на глазах. Ее черные волосы развевались от ветра. Взгляд ее со злобой был устремлен на кабак, из которого доносился хохот подвыпивших мужчин.

Фридрих подошел с платком к ней.

— Мисс... — сказал он нерешительно.

Она не обратила на него никакого внимания. Губы ее дрожали. Вдруг она закрыла лицо руками и горько зарыдала. Казалось, она вот-вот упадет на землю. Фридрих поддержал ее и протянул ей платок.

— Ваш платок, мисс!

Она машинально взяла его, вытерла слезы.

— Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

Девушка, не глядя на него, заговорила без остановки:

— Вы видели его? Мой бедный отец пропивает всю недельную зарплату. А дома лежит больная мать. Маленькие плачут и просят хлеба. В комнате холодно... У-у,

проклятый кабак! Если бы могла, взорвала бы его! — Только теперь она взглянула на него, увидела незнакомого мужчину и вдруг враждебно закричала: — Кто вы? Чего вам нужно? И какое вам вообще до этого дело?

В мгновение ока Фридрих был окружен неизвестно откуда появившейся кучкой подростков, которая тут же набросилась на него. Он с трудом отбивался. Один из них сорвал у него с головы шляпу, двое других вцепились в его пальто. Четвертый как репей пристал к ногам. Фридрих поскользнулся на мокром снегу и упал.

Все это произошло так быстро, что он даже не понял, что случилось. Вдруг девушка накинулась на мальчишек.

— Отпустите его! — громко закричала она. — Пат, Майк, дурьи головы! — Она подняла за шиворот сорванца, который продолжал виснуть на ногах Фридриха. — Катитесь отсюда ко всем чертям! Я сама за себя постою!

Подростки тотчас же оставили его в покое и отошли. Фридрих встал на ноги, поднял со снега шляпу, оправил свою одежду.

Девушка с недоверием посмотрела на него.

— Кто вы вообще?

— Друг мистера Робсона.

— Вы?

— Вы его знаете? — спросил он.

Девушка кивнула головой.

— Его здесь все знают.

— Семью выселили.

Девушка уставилась на него широко раскрытыми глазами.

— Я видела, как они уходили. Вчера, на рассвете. Бедные дети! Это было... — Она не договорила.

Фридрих настаивал:

— Что было?

— Так, какое-то чувство. Я не могу это объяснить. Многие уходят и оставляют своих малышей одних. Навсегда.

Фридрих покачал головой.

— Робсоны? Никогда!

— Говорите, никогда?

— Они хорошие родители.

— Да, хорошие родители. Но если им нечем больше кормить своих детей? — Она посмотрела Фридриху в лицо, злые искорки блеснули в ее глазах. — Что вы вообще знаете о бедности? Знаете вы, каково матери, когда она не может дать куска хлеба своему голодному ребенку?

Прежде чем Фридрих успел что-либо ответить ей, она повернулась и зашагала прочь.

Он стал размышлять о словах, сказанных молодой ирландкой. А если ее озабоченность была все же оправданной? Если Робсоны в крайнем отчаянии... Он не решился продолжить свою мысль дальше.

К нему подошел кучер со своей суковатой палкой.

— Я предупреждал вас, мистер Энгельс.

Фридрих не ответил. Он решил незамедлительно начать поиски Робсонов.

— А что делать мне, мистер? — спросил кучер.

Фридрих очнулся от своих мыслей. После короткого размышления он показал вниз по улице.

— Поезжайте вслед за девушкой к ее дому! Все разгрузите там! Отдайте им и продукты.

— А потом, мистер?

Фридрих дал ему деньги.

— Потом вы мне больше не нужны.

Он возвратился в заведение.

— Вы действительно собираетесь при таком снеге в Уоррингтон, сэр? — спросил его шотландец.

— Укажите мне самый короткий путь туда! Остальное предоставьте моим заботам.

Когда он вышел на улицу, в дверях показалась хозяйка кабака с собакой.

— Мистер Энгельс! Возьмите с собой собаку! Скоро стемнеет, и никогда не знаешь, какой сброд может встретиться ночью на дороге.

После некоторого колебания Фридрих взял поводок.

— Спасибо, миссис Паттерсон. Как ее зовут?

— Плутон.

Женщина сунула ему в руки еще шерстяной платок и сверток с хлебом для Робсонов. Фридрих пообещал передать все это, если найдет их. Собака пошла за ним вниз по улице.

Вначале Фридрих собирался нанять экипаж. Но путь по тропинке через пойму был короче, а проехать здесь было нельзя. К тому же не была исключена вероятность, что он встретит тут Робсонов. Он быстро зашагал по тропинке. Городок Уоррингтон лежал на полпути в Ливерпуль, и ему предстояло пройти пешком несколько часов. Навстречу ему попалось всего несколько человек. Никто из них не видел однорукого с худой женщиной.

Уже начинало темнеть, когда Фридрих подошел к городку в устье Мерси. Снег уже перестал идти. Местечко

погрузилось в оранжевую вечернюю зарю. По всему телу Фридриха разлилась странная усталость. Он вспомнил, что после наспех проглоченного завтрака ничего больше сегодня не ел. Без всяких расспросов он нашел новую фабрику на окраине города. Шум станков оглушил его. Ему пришлось просунуть голову в окошко в будке сторожа, чтобы тот мог расслышать его.

— А как же! — кивнул сторож. — Был один однорукий с тощей женщиной, вчера были здесь. Целый день прождали мастера. Ушли ни с чем.

— Когда это было?

— Вчера поздно вечером. Они пошли вон туда, в направлении Глейсбрука.

— Как они пошли?

— Ну, обратной дорогой, вдоль железнодорожной насыпи.

Итак, обратной дорогой. Еще вчера. Но ведь они не возвратились! У Фридриха вдруг бешено заколотилось сердце. Усталость и голод были забыты.

— Как мне пройти в полицейский участок? — торопливо спросил он.

Сторож показал за угол.

— Соседний дом с ратушей. Но они совсем не походили на преступников. Такие обходительные люди. Одеты чисто.

Фридрих молча пошел в указанном направлении.

Добродушный, осанистый констебль Уоррингтона посмотрел на него как на душевнобольного, когда Фридрих изложил ему свою просьбу обойти с поисковой командой участок железной дороги до Манчестера. Только после того, как он пообещал заплатить несколько фунтов, полицейский выразил готовность дать ход розыску на следующий день. Ничто не могло заставить его немедленно предпринять что-нибудь. Случай с исчезнувшей супружеской парой был для него совершенно ясен.

— Если бы мы стали разыскивать всех родителей, уклоняющихся от своих обязанностей, то тогда британский остров должны были бы населять одни констебли, мистер.

Фридрих вышел, не сказав ни слова. В душе он должен был признать правоту полицейского. Чувство беспокойства гнало его по дороге у насыпи. Час за часом, тяжело ступая, шагал он вдоль железнодорожного полотна. Собака плелась за ним. У него закружилось перед глазами. В Уоррингтоне он мог по крайней мере подкрепиться! Дорога казалась бесконечной. Фридрих машинально переставлял ноги в похру-

стывающем снегу. Холода он больше не ощущал. Ветер стих. Его окутала звездная лунная ночь. Абсолютное одиночество. Я бодрствую или мне видится сон? По его спине пробежала дрожь. Ему вдруг почудилось, что он когда-то уже бывал здесь. Но тогда он спал. Снег был горячим песком пустыни, кусты в белых снежных шапках — скалами. Да, бывают сны, которых не забываешь... И мозг продолжает работать даже во сне... Нечто думает в нас! Бесконечность природы, Вселенная. И мы следуем этому мышлению, оно определяет наши действия. Мы считаем, что действуем по собственной воле, обожествляем наш разум как носителя верховной власти, а в действительности подчиняемся неизменному, вечному закону природы. Свобода — прекрасное, великое слово. Что иное может скрываться за тобой, как не способность человека познавать ход развития, переплетение причинных взаимосвязей в природе и приводить в соответствие с ними свои решения, свою волю к действию! Так знание человеческого рода, опыт, накопленный бесконечной цепью поколений, каждое из которых на своем отрезке жизни участвовало в познании, постепенно, шаг за шагом приближаются к разлитому в природе разуму. И назначение отдельного человека — внести свою лепту в этот процесс.

Лай собаки прервал ход его мыслей. Он остановился. Собака села. Должно быть, что-то поблизости привлекло ее внимание. Быть может, плеск речушки, извивающейся по равнине вон там, впереди?

Пес вскочил на ноги, возбужденно завилял хвостом, почуяв след.

— Что с тобой, Плутон?

Пес тявкнул еще раз, потом, охваченный охотничьим азартом, прыжками побежал по снежной равнине. Фридрих несколько раз позвал его, но пес продолжал бежать. Вскоре он превратился в неясное черное пятно, которое вскоре совсем исчезло в темноте ночи.

Фридрих ругал себя за то, что спустил собаку с поводка. Кажется, преследует зайца. Плутон тоже был голоден. Фридрих раздосадованно пошел по собачьему следу. Вдали послышался лай Плутона. Он зашагал быстрее. Вот темное пятно стало снова приближаться, увеличиваться. Вскоре он узнал собаку, которая со всех ног бежала ему навстречу. В двух шагах от него пес остановился, с повизгиваньем встал на задние лапы.

— Ну, что случилось, Плутон? — Фридрих подошел к

нему и похлопал его по шее. — Если изголодался, старина, придется ловить для себя зайца! У меня для тебя ничего нет.

Он хотел возвратиться к насыпи, однако собака не двигалась с места. Фридрих, пожав плечами, пошел один. Пес сначала последовал за ним, затем начал описывать круги возле Фридриха, отбегая и снова возвращаясь. Он как бы приглашал его последовать за собой, пока Фридрих наконец не понял.

— Ты хочешь показать мне что-то? Ну хорошо. Настойчивый ты малый!

Собака бежала перед ним. Она вела его к пойме реки, где густые, покрытые снегом заросли ивняка скрывали русло.

Перед горой снега, образовавшейся над старой узловатой ветлой, опущенные ветви которой доходили до уровня воды, собака снова остановилась и залаяла.

Фридрих подошел к кустарнику. Плутон подполз под ветви и тотчас возвратился с пестрой шейной косынкой в зубах. Фридрих испуганно взял у собаки платок.

В крайнем волнении он расширил отверстие в снегу и в ужасе отпрянул назад. У ствола дерева, прижавшись друг к другу, с застывшими лицами сидели Робсоны. Бездыханные, мертвые.

Прошла ночь и весь следующий день, прежде чем констебль Уоррингтона закончил свое расследование. Врач определил отравление мышьяком, были выписаны свидетельства о смерти и выданы тела мертвых.

Нужно было сделать так, чтобы Робсоны не были тайком закопаны на манчестерском кладбище для бедных. Фридрих решил передать мертвых на попечение пастора методистской часовни на берегу Медлока, к приходу которого принадлежал Робсон. Он познакомился с молодым пастором при погребении младенца. Пастор Пэйнтер был другом воинствующего методистского проповедника Джозефа Рейнера Стефенса, одного из основателей чартистского движения. Проповедь пастора тогда, на могиле маленького Робсона, была гневным обвинением эксплуататорской системы.

Уже стемнело, когда Фридрих доставил мертвых в Манчестер. «Самоубийство», — значилось в заверенном протоколе медицинского обследования. Самоубийство! Сердце сжалось. Самоубийство! Мысли кружились в бессильном гневе, вызываемом этим словом. Сведены в могилу бесчеловечностью проклятой системы. Вот что должно было быть записано в протоколе!

Дорога в Манчестер шла через Экклс, недалеко от заго-

родного дома Эрменов и поблизости от Уорсли, где жил человек, на чьей совести были эти люди!

Фридрих нащупал в своем кармане жемчужное ожерелье Джейн Грег. Хриплым голосом он попросил возницу сделать небольшой крюк и проехать через Уорсли. Пусть получит обратно свою нитку жемчуга! Она и ее родители должны услышать первыми, что произошло! Все должны узнать об этом. Всему городу, всей стране пусть станет известно об акте отчаяния двух безвинных людей. Клянусь, клянусь, смерть их не должна быть напрасной!

Окна виллы Грега были ярко освещены. Фридрих остановил повозку у ворот. Они были открыты. Перед домом стояло несколько экипажей. Из гостиной доносились голоса. Вероятно, принимали гостей. Он позвонил.

Швейцар открыл дверь.

— Мистер Энгельс? Я не уверен, что смею доложить о вас...

— В этом нет необходимости, — ответил Фридрих и прошел мимо швейцара в дом. Гости сидели вокруг рояля, на котором Джейн самозабвенно играла модную пьеску. Кроме Грегов, было здесь шестеро или семеро гостей, из которых Фридрих знал только мистера Кобдена. Фридриха заметили не сразу, так как все, кроме Джейн, стояли или сидели спиной к двери. Когда их глаза встретились, девушка оборвала игру. Она уставилась на него, удивленная его неожиданным визитом. Только тогда его увидели хозяева и гости.

— Добрый вечер, господа! — поклонился Фридрих. — Не обращайте на меня внимания! Мне хотелось только сказать несколько слов мисс Джейн.

Присутствующие смотрели на него ошеломленно. В своем промокшем пальто, грязной обуви, с изнуренным, бледным лицом он казался пришедшим из другого мира. С большим трудом к мистеру Грегу вернулось самообладание.

— Вы отваживаетесь, — заикаясь, произнес он. — в такой час непрошенно проникнуть в мой дом!

Фридрих посмотрел на него.

— Конечно, не без важной причины, мистер Грег.

Тот схватился за сердце.

— Вильям! — крикнул он в сторону двери.

К нему подошел мужчина примерно в возрасте Грега.

— Прикажите, Роберт, и я выброшу вон этого неотесанного мужлана.

Фридрих смерил коренастого мужчину взглядом.

— Не переоценивайте своих возможностей, мистер.

Миссис Грег закричала истерично:

— Разве вы мало уже причинили нам зла, вы... вы чудовище!

Тем временем появился швейцар с работником. Джейн очнулась от оцепенения.

— Не прикасайтесь к нему! — закричала она и бросилась Фридриху на шею. — О дорогой! Что случилось?

Осторожно, но решительно он освободился из объятий девушки. Достал из кармана ее ожерелье.

— Я пришел лишь затем, чтобы возвратить тебе это.

Джейн растерянно посмотрела на ожерелье. Миссис Грег удивилась.

— Твой жемчуг?

— Ты не передал его Робсонам? — спросила Джейн.

— Оно им больше не нужно, Джейн.

Девушка испуганно-вопросительно посмотрела на него.

— Робсоны, Джейн, мертвы.

— Мертвы?

— Я нашел их два часа тому назад. Недалеко отсюда. Между Глейсбруком и Уоррингтоном. В снегу, отравившихся ядом. Иного выхода они больше не видели. Благодаря великодушным санирующим мерам твоего отца.

Грег побледнел.

— Что вы говорите?

Повернувшись к отцу, Джейн крикнула:

— Что ты наделал?

— Этого я не хотел! — запинаясь, ответил Грег. Он обратился к гостям. — Бог свидетель, я не хотел этого. — Ломая руки, он направился к Фридриху. — Мистер Энгельс, клянусь...

— Мистер, договариваться вы должны со своей совестью! — сказал Фридрих. Он протянул девушке руку. — Прощай, Джейн! Желаю тебе счастья! — И вышел.

Девушка выбежала вслед за ним в переднюю.

— А дети? Дети?

— О детях позаботятся.

Он видел, как Джейн ухватилась за лестничные перила. Тело ее содрогалось в судорожном плаче. Медленно зашагал он по парковой дорожке к воротам.

Молодой пастор бедных в долине Медлока, потрясенный сообщением Фридриха, дал указание положить усопших в

гробы и поместить их в часовне на возвышении. Затем он повернулся к Фридриху.

— Они отстрадали. Но дети. Бедные дети...

Фридрих молча кивнул.

— Мне нужно к ним, — сказал он, тяжело дыша.

Священник взял его за руку.

— Нет. Не вы. Вы сделали достаточно. Предоставьте это мне! Я крестил их. Они знают меня.

Он согласился с Фридрихом, что смерть Робсонов должна стать поводом, чтобы встряхнуть общественность, и взялся поговорить с Личем и руководством тред-юниона о похоронах.

— Обещаю вам, — сказал решительно пастор, — эти двое будут похоронены, как святые. Они не самоубийцы. Они жертвы бесчеловечной системы!

Фридрих пришел домой смертельно усталый. Мисс Миллер встретила его упреками. Она очень переволновалась за него и собиралась поднять на ноги полицию. Фридрих махнул рукой. У него не было сил, чтобы в который уже раз рассказывать печальную историю. У мисс Миллер было еще одно сообщение для него.

— Вас, впрочем, поджидает одна молодая ирландка по фамилии Бёрнс. Девушка из бедных. Но ершистая. Я не могла отправить ее по такой погоде. Она без пальто.

— И хорошо сделали.

В его комнате сидела ирландская девушка, которую он видел вчера в «Зеленом острове». Она надела, вероятно, свое единственное «хорошее» платье — простенькое, летнее. Черные волосы шелковистыми локонами спадали ей на плечи.

Когда он вошел в комнату, она вскочила со стула. В глазах ее горел огонь, голос был полон агрессивности. Речь шла о повозке с дровами, которую он направил вчера к дому ее родителей. Вместо благодарности она излила на него поток ругательств. Что это он себе такое позволяет? Он воображает, что коль богат, то может разыгрывать из себя всеблагого бога! Далее последовало длинное проклятие по поводу самонадеянности богачей, которые считают, будто бог дал им право использовать в своих целях простодушие бедняков.

— Да, это так, — злобно выкрикнула она. — Бабушка, мать, маленькие сестры и братья верят, что телегу эту послал им сам господь бог. Они так неописуемо глупы, что даже не предполагают, что в действительности за этим кроется. Если

бы они знали, то скорее бы померли от холода и голода, чем притронулись хоть к чему-нибудь из этой «милости божьей».

— А что, по-вашему, за этим кроется?

— Я нравлюсь вам! — сказала она с обезоруживающей прямотой. — Вот что кроется за этим. Вы хотите уложить меня в свою постель. Невинная ирландская девушка в постели — это ведь так модно у вас, английских джентльменов. Вы считаете, что все можно купить.

Он посмотрел на нее. Да, она была права. То, что она только что сказала, ни для кого не было тайной. А что бывали и исключения, откуда ей было это знать? Он устало опустился на стул.

— Вы проделали весь длинный путь сюда только для того, чтобы сказать мне это?

Мери распирало от ярости.

— Еще и не то я хотела сказать вам!

Фридрих махнул рукой.

— Это было лишнее, мисс Бёрнс, но продолжайте, продолжайте! Говорите все, что вы думаете, но, если можно, не так громко.

Она посмотрела на него, несколько сбитая с толку. Затем неуверенно продолжила:

— Я пришла, потому что была не в силах снова отобрать все у своих, чтобы с проклятьем отослать вам! — Она подняла голову, посмотрела на него своими пылающими глазами. — А именно на это вы и рассчитывали, на это, не правда ли?

«Она красивая девушка», — мелькнуло в голове у Фридриха.

— Дрова и провизия предназначались для человека, которого я не смог разыскать. Я не знал, что со всем этим делать. Но тут... вы и ваш отец в «Зеленом острове»... Я хотел помочь вашей семье. Я не хочу никакой благодарности за это.

Она опустилась на софу.

— Только плату я знаю. И вот я здесь. Но прежде вы должны знать, как я вас ненавижу. Как я всех вас ненавижу с вашими деньгами!

— Мне понятна ваша ненависть, мне понятна она.

— Почему вы не оставите нас в покое? — спросила девушка неожиданно изменившимся тоном, умоляюще. — Почему вы не даете нам работу и зарплату, как всякому англичанину? И если уж нам суждено подыхать голодной

смертью, почему вы не оставляете нам хотя бы наше человеческое достоинство?

Фридрих был слишком разбит, чтобы отвечать ей. Пожав плечами, он встал, подошел к двери, открыл ее и позвал:

— Мисс Миллер! Мисс Бёрнс нужна на эту ночь кровать.

— Будет сделано, мистер Энгельс.

— Утром отвезите ее, пожалуйста, домой, к матери.

Девушка вскочила. Абсолютная деловитость молодого человека привела ее в исступление.

— Мистер Энгельс, хочу сказать вам...

Мисс Миллер решительно взяла ее за руку.

— Ты будешь спать в отдельной комнате, дитя мое! — Девушка неуверенно посмотрела на мисс Миллер, потом на Фридриха. — Девочка, никто тебе ничего дурного не сделает!

Мери Бёрнс вырвала свою руку.

— Мистер Энгельс, если вы думаете...

Фридрих прервал ее:

— Идите! Я устал. У меня было два тяжелых дня и одна плохая ночь.

Девушка вдруг опомнилась:

— Вы знаете, что Робсоны так и не вернулись?

Фридрих взглянул на нее.

— Почему же, мисс Бёрнс? — сказал он тихо. — Они вернулись.

Девушка вздрогнула:

— Вы говорите так, как будто...

Силы Фридриха были на исходе.

— Идите, пожалуйста, не то и я сейчас начну кричать!

Он спал дольше обычного, а проснувшись, тотчас сел за свой стол, чтобы написать статью о судьбе и смерти Робсонов. Статья должна быть деловой, краткой, написанной в телеграфном стиле, принятом в утренней манчестерской газете, для которой она и предназначалась. Ее прочтут тысячи, многие из них придут на похороны. Возможно, удастся пробудить от привычного равнодушия часть тех благопристойных людей, что бездумно живут одним лишь днем и заботятся единственно о соблюдении своих интересов. Ему не без труда удалось уместить всю историю в тридцати машинописных строках. Это был максимальный объем статей, помещаемых в этой газете.

Непривычный шум над головой заставил его прислушаться. Ах, верно, молодая ирландка! Мисс Миллер поме-

стила ее в нежилой комнате на чердаке. На его губах невольно появилась улыбка, когда он вспомнил вчерашний разговор с этой девушкой.

— Доброе утро! — услышал он голос своей хозяйки.

Голос доносился из камина, который, очевидно, имел выход и в комнате над ним. Он стал невольным свидетелем диалога, завязавшегося наверху между двумя женщинами.

— Вода для умывания стоит на кухне. Поторапливайся! Я уже заказала кэб, — приказала мисс Миллер.

— Кэб? — спросила заспанным голосом девушка.

— Он отвезет тебя к твоей матери.

— Я и сама найду дорогу.

— Возможно. Но так распорядился мистер Энгельс. Так и будет сделано.

— Я сама себе хозяйка и делаю то, что мне хочется! — голос Мери звучал теперь очень бодро.

— Ну и глупая же ты девчонка! Надо мне было вчера выпроводить тебя! И лгунья к тому же. Что, дескать, он пригласил тебя. И потом говорить мистеру Энгельсу эти гадости... Взбучку бы тебе хорошую устроить!

— Вы говорите, как все англичане. Вам хочется бить нас, пинать, травить! Но придет день, когда мы, ирландцы, будем свободными и отомстим за наш позор!

— Ах, бог ты мой! Меня сейчас уже в дрожь бросает. — Хозяйка засмеялась. — За всю свою жизнь мне никогда еще не приходилось сталкиваться с такой неблагодарной, дерзкой девчонкой! Но уж зато смазлива! Можно понять, почему молодой господин был так снисходителен и терпелив по отношению к тебе.

— Пусть бы он только попробовал прикоснуться ко мне!

Фридрих представил себе, как заблестели глаза девушки.

Мисс Миллер за словом в карман не полезла.

— Ты в ярости оттого, что он не дал тебе околдовать себя. Ну, признайся, поди всю ночь ждала, вот сейчас откроется дверь комнаты...

— Я никогда не буду принадлежать англичанину.

— Во-первых, он никакой не англичанин, а немец.

— Но он богач.

— Конечно, он богатый. Мог бы иметь самых красивых и богатых девушек Англии и жить припеваючи. Но он живет не как богатые.

— А как?

— Работает с утра до ночи. Днем на своего отца в конторе. А вечером на бедных.

— На бедных? — недоверчиво спросила Мери.

— Да, на бедных! — энергично подтвердила мисс Миллер. На некоторое время наверху воцарилось молчание.

Затем Фридрих услышал голос девушки, прозвучавший с ноткой размышления.

— Так он, выходит, немец?

— Да, немец и философ. Но где тебе знать, что это такое. — Мисс Миллер с горячностью добавила: — Слова спасителя «Перед всемогущим богом все люди равны» он хочет осуществить на этой земле!

Дверь наверху открылась. Он услышал шаги на лестнице, затем в прихожей.

Мери Бёрнс! Фридрих откинулся на спинку кресла. Искрометная чернота ее глаз, привлекательность ее лица, на котором отражалось как в зеркале каждое движение ее темпераментного характера, черные шелковистые локоны на плечах. Только-только начинающая расцветать дикая роза... Быть любимым такой девушкой...

С усилием заставил он себя оторваться от этих мыслей. Перед ним возникла картина на Дугласе. Ужасный вид двух мертвых под ветлой. Сердце вновь сжалось.

Двумя часами позже он сидел в редакции газеты напротив ее главного редактора.

— Ваш рассказ хорош, мистер Энгельс. Можно даже сказать, отличный. Но противоположная сторона оказалась расторопней. Подключился лично мистер Кобден. Он опасается возможного влияния на результаты дополнительных выборов в палату общин. Наш издатель просил нас...

Фридрих продолжил за него:

— ...ничего не публиковать об обстоятельствах, приведших к трагическому происшествию. — Он взял со стола редактора экземпляр газеты. — Помогите мне, пожалуйста, разобраться с одной загадкой, мистер Фландерс! Почему, собственно, ваша газета называется «Свободная, независимая утренняя газета для всех»?

— Н-да, об этом мы сами часто спрашиваем себя, мистер Энгельс.

Фридрих поднялся.

— Тогда мне не остается ничего иного, как попытаться опубликовать статью в прессе тори.

Мистер Фландерс был настроен скептически.

— Тут вам вряд ли будет сопутствовать удача. Война между Грегом и тори, кажется, окончилась. Могу показать

вам интересное сообщение нашего местного репортера. — С этими словами он протянул Фридриху гранку.

«Как нам стало известно из хорошо информированных кругов Торговой палаты, путешествующий вокруг света Ричард Томас Стюарт, пресловутый отпрыск министратори лорда Чарлза Уильяма Вэйна, остановился в доме Грега. Кажется, ничто уже более не помешает сочетанию холостяка с очаровательной семнадцатилетней дочерью хозяина дома...»

У Фридриха было такое ощущение, будто редактор исподтишка наблюдает за тем, какую реакцию вызовет у него эта заметка. Отношения между молодым немцем и дочерью всемогущего Грега, конечно же, были известны прожженным репортерам желтой прессы Манчестера. Фридрих спокойно произнес:

— Все побеждает золотой телец. Пусть она будет счастлива!

Главный редактор с участием кивнул.

— Видите, везет тому, кого бог любит. Одним словом, поверьте мне, мистер Энгельс, я охотно бы поместил эту историю. На первой полосе! Этим Грегам, всей этой ханжеской своре торгашей, позволяющей себе говорить от имени народа, я бы поднасолил с удовольствием.

Фридрих взял свою статью обратно и спросил:

— А как с объявлением?

— Вы имеете в виду извещение о смерти?

— Всего в нескольких словах о причине смерти и указать место и время похоронной церемонии.

Наморщив лоб, мистер Фландерс задумался. Наконец он решился:

— Да, это я возьму на свою ответственность.

Фридрих взял на письменном столе чистый лист бумаги. Редактор попросил:

— Но, мистер Энгельс, пожалуйста, учтите...

Фридрих кивнул.

— Я учту.

После этой беседы Фридриху стало ясно, что всякая попытка поместить сообщение в какой-либо другой манчестерской газете бессмысленна. Таким образом, оставалась только газета чартистов «Северная звезда», выходившая в Лидсе под руководством вождя чартистов Фергюса О'Коннора и молодого редактора Джулиана Гарни. По делам фирмы Фридриху все равно нужно было быть в Брадфорде, поэтому он решил завернуть в соседний с ним Лидс. Против

ожиданий Гарни встретил его сердечно. Джеймс Лич сообщил ему о своем знакомстве с молодым немецким философом и писателем. Находчивый журналист без труда опознал его как корреспондента «Рейнской газеты». Так что ему была известна не только фамилия Фридриха, но и его симпатии к английскому рабочему движению и его статьи. План Фридриха превратить похороны Робсонов в демонстрацию против бесчеловечной эксплуататорской системы фабрикантов он нашел отличным.

— Случай с Робсонами удобен для разоблачения Лиги против хлебных законов во всем ее жалком лицемерии и показа всем рабочим их общего врага.

— Надеюсь, не только рабочим, — пояснил Фридрих. — Полагаю, мы и других заставим призадуматься.

В отношении последнего Гарни был настроен скептически. Он знал так называемый средний класс Англии. В своей массе он был лишь прихвостнем фритредеров. Состоятельные буржуа боготворили фабричную систему, славу и величие Англии. Они верили теориям Мальтуса и Маркуса, считавших, что социальное неблагополучие коренится в расточительности и распущенности пролетариев, в их ничем не сдерживаемой плодовитости и лености.

Фридриху пришлось с ним в этом пункте согласиться.

— За исключением социалистов, — заметил он и рассказал Гарни о людях, с которыми познакомился в Доме собраний. Среди них много тех, кто серьезно стремится к кардинальным переменам социальных условий и созданию такого индустриального общества, где бы не было возможности для эксплуатации одного класса другим.

Гарни был не слишком высокого мнения о приверженцах социалистических идей Оуэна, которые собирались излечить человечество путем нравственного убеждения. Образцом для себя он считал Томаса Пэйна и Гракха Бабёфа, решительных революционеров, видевших залог успеха в силе масс. Он указал на постоянно растущее число бесправных рабочих, на армию безработных и социально обездоленных.

— Только эти люди заинтересованы в радикальном изменении общества. Придет день, и они захватят власть в государстве и восстановят первоначальное равенство всех людей, если понадобится — силой.

Многое из того, что рассказал ему редактор из практики политической борьбы чартистов, было Фридриху ясно. Тем не менее ему были непонятны предубеждения вождя чарти-

стов к теоретическим представлениям социалистов. Свою роль в этом, несомненно, играло незнание социалистической литературы на континенте. У Фридриха было слишком мало времени, и он мог только бегло ввести Гарни в курс того, какая огромная духовная работа уже проделана во Франции, а в последнее время и в Германии, чтобы дать демократическому движению социальную цель. Редактор слушал его внимательно. Он попросил Фридриха рассказать об этом читателям газеты более подробно. Они расстались друзьями.

Возвратившись в Манчестер, он сразу же направился к Джону Уотсу. Его захватила идея свести на похоронах социалистов и чартистов, преследовавших аналогичные конечные цели, но действовавших обособленно. Нужно было склонить к этому вождя оуэнистов.

Фридрих знал о предубеждениях Джона Уотса против чартистского движения. Но он знал и отзывчивое сердце этого человека. Он описал ему судьбу молодой супружеской пары. Социалист кипел от гнева и возмущения. Он тотчас же выразил готовность организовать своих сторонников для оказания последних почестей умершим. Когда он узнал об участии чартистов, то поставил условием, чтобы был гарантирован мирный характер процессии.

Так в часовне на берегу Медлока встретились чартисты и социалисты. Лич привел с собой Ричарда Пиллинга, председателя тред-юниона рабочих бумагопрядильной фабрики в Стейлибридже. Вместе с Уотсом пришел Чарлз Саутуэлл.

Собравшиеся сидели в тесном помещении с серьезными лицами, печальный случай свел их здесь вместе. Пастор разносил чай. Первым нарушил молчание Ричард Пиллинг.

— Ко всем чер... пардон, почему они это сделали? Почему Робсон не обратился к нам? Ассоциация бы... — Ему не хватало воздуха.

Джон Уотс перебил его:

— ...смогла найти работу ему или его жене?

— Ко всем ч..., нет! Но с помощью кассы взаимопомощи...

— Им нужна была работа, как ты этого не понимаешь? Они не хотели жить сочувствием и подаяниями и еще меньше на пенсы их братьев по классу.

— Он прав, Ричард, — подтвердил Джеймс Лич. — Робсон не верил в то, что, оказывая помощь таким, как они, мы смогли бы изменить к лучшему жалкое существование безработных.

— Вы тоже ничего не измените, — выступил с пророчеством Чарлз Саутуэлл, — ничего, пока будете оставлять неприкосновенной частную собственность.

— То есть надеяться, что господа фабриканты добровольно уступят свои фабрики? Нет! Народ должен завоевать большинство в парламенте.

— Было бы лучше, — вмешался в спор священник, — если бы мы, вместо того чтобы возлагать какие-то надежды на избирательные бюллетени, вооружили народ.

— Народ, а кто народ? Виги, кровопийцы и живодеры, тоже называют себя народом!

Обсуждение вопроса грозило вылиться в спор. Самое время было вмешаться Фридриху.

— Довольно, — сказал он, успокаивая стороны. — Прошу вас, забудьте о разногласиях! Рядом лежат двое рабочих — англичанин и немка. Тори и виги вступили в заговор с целью возвести стену молчания вокруг этих мертвых. Больше всего им хотелось бы избежать участия общественности и захоронить их тайком — как собак.

Призыв подействовал. О порядке проведения траурной процессии договорились быстро.

Спор готов был разразиться снова, когда стали обсуждать вопрос о речах. Уотс и Саутуэлл, при всем уважении политических взглядов священника-методиста, настаивали на светском характере надгробной речи. Они успокоились только после того, как Фридрих выразил готовность также выступить с речью.

— Сколько человек соберется? — спросил он Уотса.

— Это зависит от разных факторов. Но даже при самой плохой погоде будет не менее пяти тысяч!

Фридрих испугался. Пять тысяч! Выступать перед такой массой людей, затронуть их чувства и одновременно посеять в их мыслях искорку социалистических идей? Какая самоуверенность позволить себе нечто подобное, будучи в этой стране иностранцем!

Он пришел домой в большой озабоченности. В прихожей он насторожился. Из его комнаты доносился голос мисс Миллер, которая говорила с каким-то посетителем.

— Вот это его рабочая комната. Прилежный молодой человек, экономный и любезный. Только вот... — она помедлила и продолжала: — Посмотрите! Столько книг! Но среди них нет ни одного молитвенника.

— Хорошо, сударыня. — У Фридриха заколотилось сердце. Это был голос его отца! — Если бы вы еще приго-

товили мне немного чаю, то я был бы полностью удовлетворен.

Фридрих мог рассчитывать на что угодно, только не на этот визит! Он рывком открыл дверь.

— Привет, отец!

Он побежал к нему, чтобы с радостью обнять его, но холодное выражение на лице отца остановило его. Он ограничился тем, что пожал отцу руку.

— Должен признаться, этот сюрприз тебе удался!

Мисс Миллер быстро вышла из комнаты. Отец молчал. Направленный на сына взор был испытующим и озабоченным.

— Да садись же ты! — попытался Фридрих прервать затянувшееся молчание. — Скажи, поездка прошла благополучно? Как дела дома? Что поделывает мать? Малыши здоровы? Садись же, пожалуйста! Рассказывай!

— Дома все в порядке. Жаловаться нам не на что, за исключением того, что всей семье подолгу приходится ждать почту от своего англичанина.

— Ты прав! Прав! Клянусь, исправлюсь!

Отец кинул взгляд на письменный стол.

— Как вижу, время тебе необходимо для другой корреспонденции.

Старая песня! Фридрих со вздохом сел напротив отца.

— Ну, начнем с нашей любимой темы.

Против ожиданий отец устало махнул рукой.

— Оставим это. Давно уже кругом говорят, что если хочешь услышать что-нибудь о досточтимом сыне, то следует полистать самые радикальные газеты. Ты уже взрослый, и мне просто неприятно вмешиваться в эти твои дела. Один бог ведает, где я допустил промах в твоем воспитании! Однако ты должен позволить своей озабоченной матери и мне не оставлять надежды, что однажды все-таки образумишься.

— Расскажите мне о доме, отец! Как идут дела в Энгельскирхене? Чем живет старый Бармен? Герман освоился с делами? А Мария нашла себе наконец воздыхателя по гроб жизни? Рассказывай! Ты не можешь себе представить, как в этой британской глуши хочется послушать милые старые сплетни о делах на родине. Среди людей нашего круга здесь едва ли найдешь человека, с которым можно было бы беседовать о чем-либо ином, кроме статистики, торговли, движения цен и курса валют. Ну, рассказывай же! Я хочу все знать.

Отец не стал отвечать на его вопросы.

— Ты не хочешь узнать, почему я, собственно, приехал сюда?

— Полагаю, по делам.

— На этот раз нет. Дела здесь идут сейчас хорошо, об этом ты знаешь лучше меня. На этот раз я приехал в Англию ради тебя.

Вошла с чаем мисс Миллер. Фридрих помог ей накрыть на стол. Когда она вышла, он спросил:

— Итак, выходит, ради меня?

Отец достал из своего бумажника письмо.

— Вот. Это срочное письмо от моего весьма уважаемого старого партнера Хайда Грега.

Фридрих изумился.

— Он написал тебе?

Отец кивнул головой.

— Хотя у него достаточно оснований для серьезных обвинений в твой адрес, однако он предлагает тебе свое отеческое сердце. При известных условиях.

— Так, при условиях.

— Точнее говоря, это просьба. Просьба отказаться от публичной его дискредитации.

— Ты знаешь, о чем идет речь?

— Да, знаю. — Отец озабоченно кивнул. — И я присоединяюсь к его просьбе.

— И ради этого, отец, ты приехал сюда? Проделав дальний путь из Энгельскирхена в Манчестер?

— Не без радости. Ты должен знать, что твоя мать, твои братья и сестры полны надежд после того, как мы получили это письмо. Прочти его сначала!

Фридрих отодвинул письмо обратно.

— В этом нет необходимости. Я говорю: нет, нет и еще раз нет!

— Это твой ответ?

— Единственный ответ, какого заслуживает субъект, полагающий, что убеждения человека так же дешевы, как его тюки хлопка и кислое пиво.

— Но Джейн?

Фридрих произнес сердито:

— Джейн!

— Она самое очаровательное создание, какое я когда-либо встречал в Англии.

— Ты знаешь ее?

— До приезда сюда я разговаривал с ней.

— Выходит, ты уже был у них?

— Она тебя по-прежнему любит и умоляет согласиться на условия отца.

Фридрих ничего не ответил. Перед его мысленным взором возникло лицо Джейн, рядом — другое лицо... Он пожал плечами.

Отец расценил это как знак, благоприятный для своих планов. Не без теплоты в голосе он стал просить сына:

— Оставь свои бунтарские идеи, Фриц! Расстанься со своими новыми друзьями! Подведи черту под всеми своими мятежными юношескими глупостями! И вы будете самой счастливой парой, какая когда-либо существовала. Ты сделаешь счастливыми не только себя и ее.

— Если бы я это сделал, отец, то тогда мне не следовало бы появляться на этот свет.

— Но это уж... — Отец схватился руками за голову. — Ты разрушаешь свое счастье. Ты растаптываешь свое будущее. Столь блестящей возможности тебе никогда больше не представится. Я этого не понимаю. Я вообще ничего больше не понимаю. Ничего!

Фридрих сказал тихо, печально:

— Жаль, что ты этого не понимаешь. Жаль.

Холодная, серая от тумана страстная пятница на Медлоке. Пришло много, много людей, тысячи, несчетное число. Еще никогда на кладбище для бедных не было столько народу. Призыву ассоциации последовали ткачи с бумагопрядильной фабрики Грега, дорогу сюда нашли и представители чартистов, и многие приверженцы Оуэна. Кроме того, мужчины и женщины со своими детьми из бедных кварталов на берегу Медлока. Над головами колыхалось море флагов, черных — траурных и алых — чартистов. Место захоронения находилось сразу же за часовней, стоявшей на холме.

Слова пастора, звучавшие вначале приглушенно, наполнились пылающим негодованием. Его голос разносился далеко по долине реки.

— Я обращаюсь к вам, к господам этой страны. Я обращаюсь к двору, к королеве, которой, собственно, должно быть матерью своего народа, к вам, высокоблагородные лорды с длинными именами, к властвующим в правительстве, к палате народных представителей, к вам, столь набожные купцы и столь деловые фабриканты этого города. Я

обвиняю вас в предательстве, в самом коварном обмане, в бесконечной цепи убийств людей из народа, вверенного господом богом вашему руководству. Прячьтесь, прячьтесь, господа, мы все равно вас видим. Мы видим вас в ваших дворцах, в ваших конторах, в ваших изысканных клубах и в залах биржи. Мы видим, как вы бесстрастно и безжалостно копите богатства, текущие к вам от народа, никогда ранее не переживавшего такой кричащей нужды, такой ужасающей нищеты. Но господь говорит: что причинили вы самой малой овце из стада моего, то причинили вы мне самому! Здесь лежат две жертвы, две из тысяч и тысяч ваших жертв, жизнь которых оборвалась в отчаянии и безысходности, ибо вы лишили их самого элементарного права, священного права, данного богом всякому созданию, — права на жизнь.

Как и все, Фридрих слушал с большим вниманием. Он видел, как выпрямлялись согнутые спины мужчин, как поднимались опущенные головы. Он видел под кустистыми бровями огонь негодования. Проповедник, казалось, слился воедино с чувствами своих слушателей. Должно быть, так было, когда Иисус из Назарета, мессия, возвещал в своей проповеди о любви к человеку, когда Ян Гус, Томас Мюнцер собирали вокруг себя отчаявшихся.

Пэйнтер поднял руки. Взгляд его был устремлен на город. Он указал на собравшихся.

— Но здесь собрались тысячи их товарищей по судьбе, которые заявляют: довольно! Довольно святотатства, довольно варварских мерзостей, которые вы творите над нами! Посмотрите на этих людей! Посмотрите на их лица! Это такие же человеческие лица, как и у вас. Бог создал их по своему образу и подобию. И они достаточно сильны, чтобы с мечом в руках отвоевать свое священное право. Кто сеет ветер, пожнет бурю. Горе вам, когда придет день и над вами разразится буря!

Проповедник отошел в сторону. Фридрих услышал глухой рокот толпы, который стлался над землей и, казалось, шел из нее, как неясный гул приближающегося стихийного бедствия, еще далекий, но надвигающийся неудержимо, неотвратимо. Горе, если придет день...

В это время стоявшие в почетном карауле мужчины взялись за веревки. Гробы медленно опустились в могилу. Тут до сознания Фридриха дошло, что теперь его очередь выступать с прощальным словом. Он подошел к краю могилы. Грозный гул на дне долины улегся. Он чувствовал тысячи

направленных на него глаз, видел в них ожидание. Его окружила глубокая, напряженная тишина. По спине пробежала дрожь, он ощутил тяжесть испытания, которое ему предстояло выдержать. Фридрих почувствовал, что ожидания толпы могла оправдать только простая беседа с покойными. Он бросил взгляд в полумрак могилы.

— Элизабет, Джеймс! Мы передаем вам наш последний привет. — Голос его дрожал. Он опасался, что будет говорить слишком тихо и по обыкновению слишком быстро. Но против ожиданий слова его доходили до людей, стоящих в долине. — Когда пять лет тому назад молодыми и полными надежд приехали вы в этот город, вы не были ни мятежниками, ни бунтарями. Вы были рабочими, честными, прилежными людьми, стремящимися сделать все, что было в ваших силах, чтобы достойно человека жить в стране, хвастающей перед всем миром своим богатством. Я вижу вас молодыми и сильными, рука об руку гуляющими среди золотого великолепия Маркет-стрит. Я вижу вас красивыми, полными любви, надежды, полными скромных мечтаний о своей небольшой толике счастья. Я вижу вас способными жить в этом сказочно богатом городе с верой в будущее, как люди среди людей. Элизабет и Джеймс! Вы не знали, что при волчьем законе золотого тельца неимущий не может жить как человеческое существо. Ваше человеческое лицо, ваши человеческие мысли, человеческие сердца в вашей груди в расчет не шли. Ваши слезы, ваши заботы, ваша любовь к своим детям были в глазах бесчеловечной монополии собственности лишь факторами, делающими вас дешевым товаром для получения прибыли. Для всемогущих денежных мешков существовали только ваши руки. Ибо для их обогащения годилось только то, что в состоянии были произвести эти руки. И вот, когда тебе, Джеймс, в этой жестокой борьбе за существование оторвало на фабрике руку, вы впали в глубочайшую нужду. Но и при оставшихся у вас силах вы могли еще существовать. Единственная возможность сохранить свое человеческое достоинство, какую тебе, Джеймс, оставили, был протест, гнев против владетельного класса. Этот класс нанес ответный удар. Когда ваши имена, Джеймс и Элизабет, предприниматели внесли в черные списки, вы лишились и тех трех рук, которые оставались у вас после несчастья. Это был смертный приговор, вынесенный от имени имущих, от имени буржуазии, несущей в своей неуемной жажде наживы ответственность за каждого страждущего, умирающего безвременной смертью

в своих домах, в своем городе, в своей стране. Да! И пусть господа из Торговой палаты и клуба фритредеров тоже в ужасе возводят свой взор к небесам и клянутся богу и всему свету, что у них и в мыслях не было допустить страшную трагедию, происшедшую в ту глухую зимнюю ночь на Дугласе, — мы не можем оправдать их. И каждый в этой стране и во всем мире, кто защищает монополию собственности и волчьи законы прибыли, также виновен в вашей смерти, желает он или нет признавать это. Элизабет и Джеймс Робсоны! Мир вашему праху! — Он взял пригоршню земли и бросил ее в могилу. — Мы знали о горькой доле, отпущенной вам, при которой едва ли стоило жить. И все же мы оплакиваем вас. Ваша судьба — судьба миллионов обездоленных и бесправных людей во всем мире. Но оплакивать — этого мало! К слезам нужно добавить выводы о том, что необходимо изменить на этой земле. К слезам нужно добавить мудрость и знание того, как победить могущественного противника, добавить опыт всей предшествующей борьбы за человеческие права! Задача — объединение, солидарность всех отверженных на этой земле, чтобы сломить монополию собственности, власть охотников за наживой, чтобы лишить их права распоряжаться богатствами наций! К нашим слезам — волю к революции и силу для ее свершения! — Он вновь взял пригоршню земли. — Клянемся вам, Элизабет и Джеймс, сделать все, что в человеческих силах, чтобы уберечь ваших детей от вашей доли! Клянемся!

Глухой хор тысяч голосов повторил:

— Клянемся!

От домов на той стороне отразилось эхо. Казалось, тысячи людей слились в одно тело, в одну волю.

— Клянемся!

Казалось, придавленность, отчаяние этих людей перешли в упорную решимость отвоевать свои права, права человека.

— Клянемся, клянемся!

Фридрих сдерживал дыхание. Бешеный пульс сердца звоном отдавался в его ушах. И неожиданно в его голове как бы растаяла пелена. В мыслях его обрела ясность желанная, давно искомая истина. Вдруг он понял: вот они, эти собравшиеся в долине люди, презираемые «hands»*, отверженные на этой земле, попираемые, мучимые униженные рабы экономики, построенной на принципе получения прибыли

* Руки.

любой ценой, именно они свершат дело освобождения! Им, только им принадлежит будущее. Они были революционной силой, которая воплотит в реальность исконную мечту людей и построит мир гуманного общества.

Разъединенность человеческого рода, глубокая разобщенность наций при законе золотого тельца были осознаны им со всей ясностью только здесь, в Англии. На одной стороне класс имущих, который становился все богаче, на другой — впадающий во все более глубокую нужду класс неимущих. Этот постоянно обостряющийся процесс поляризации населения был не роковым заблуждением истории, а исторически необходимым процессом, который неизбежно должен привести к последнему, охватывающему все области человеческого бытия перевороту, к социальной революции.

Гегелева триада!

Господство частного капитала, устранение всех элементов человечности, разрушение всех прежних традиционных структур, всех унаследованных понятий о морали, сведение самого человека до голой формулы пригодности для получения прибыли — это было всеобъемлющим отрицанием прежней истории, опустошительным, ужасным, полным внутренних противоречий, но необходимым в качестве переходной стадии к окончательному освобождению. Не сдерживаемая более никакими угрызениями совести погоня за прибылью создала предпосылки для развития максимальной производительной силы общества. Однако эта промышленная система породила одновременно и противоречия как предпосылку для ее преодоления. С ростом фабрик растет и армия промышленных рабочих. Закон прибыли буржуазной национальной экономики приводит миллионы эксплуатируемых оплачиваемых рабов к такому положению, из которого в конечном счете существует только один выход — возмущение.

Так в капиталистическом индустриальном обществе неудержимо созревают противоречия, от которых эта система в конце концов развалится.

Отрицание отрицания! Великая революция отверженных создаст политически и социально свободное общество, гуманное общество, в котором частные лица будут лишены права распоряжаться производительными силами современной промышленности. Эти силы помогут людям избавиться от социальных противоречий, и человечество совершит скачок из царства необходимости в царство свободы.

Итак, из этих людей, из трудового люда, бедствующего,

эксплуатируемого промышленной системой, из армии бесправных и униженных сформируется революционная сила, которая уничтожит старый мир и создаст мир новый, мир коммунизма.

У Фридриха закружилась голова. Все, что он сейчас понял интуитивно, было еще не упорядочено, должно было быть продумано глубже, требовало всестороннего исследования, чтобы затем превратиться в целостную теоретико-философскую систему. Он вспомнил о своей встрече с Марксом в Кёльне. Духовный меч революции! Силы одного человека для этого недостаточно. Но один, кто-то один должен был сделать первый шаг!

Фридрих механически протягивал руку хотевшим попрощаться с ним рабочим вождям, священнику-методисту и социалистам. Захватившая Фридриха мысль не оставляла его.

«Первый вывод, первый и самый важный для меня, для моей жизни: я принадлежу к ним! Я должен перепрыгнуть ров, отделяющий меня от них. Я должен повернуться спиной к обществу, в котором я был рожден, в котором прошли мое детство и молодость, под защитой которого я любил и наслаждался жизнью, в котором духовно созрел, чьи идеи освоил, чьей поэзией грезил. Да, к этому обществу я должен повернуться спиной и перейти к тем, кто находится по ту сторону рва, к отверженным, с которыми, однако, связаны все надежды на лучшее будущее. Я должен думать так же, как они. Понимать их. Жить их поэзией. Страдать их страданиями, впитать в себя их ненависть. Бороться, как борются они. Мои научные познания и вдохновляющую силу диалектического мышления я должен поставить на службу этому классу. Для выполнения миссии, возложенной на него историей, этому классу потребуется весь накопленный человечеством исторический опыт, вся мудрость философии».

Не опасения заставляли учащенно биться его сердце, а далеко идущие выводы, которые теперь будут определять все его бытие.

Он остался у открытой могилы один. Старый человечек с лопатой на плече, могильщик, вернул его к действительности.

— Да-да, сэр, это все, что нам в конце концов остается.

Земля и камни застучали по крышкам гробов.

Он медленно пошел между рядами могил к выходу. Прощаться с ушедшими тяжело, очень тяжело!

На небольшой площади перед часовней одиноко стояла

девушка. Кого она ждала? Может, своего возлюбленного? На ней было тонкое платье. Голову ее и плечи для защиты от холодного апрельского воздуха покрывал вязаный платок.

«Почему я был рожден в богатом доме? Как было бы все просто, происходи я из хижины. Эта девушка ждала бы меня. Никакой раны, никаких отягчающих меня теней, никакого прощания с золотыми башнями. Жизнь моя была бы направлена только в будущее. Позади у меня нужда и голод, во мне — надежда и боевое мужество отчаяния, когда нечего терять, кроме любви этой девушки, но можешь приобрести целый мир, новый мир человека для человека...»

Девушка подошла к нему.

— Простите меня, мистер Энгельс. Я была не права...

— Мери! — воскликнул в изумлении Фридрих. Она отогнула платок. Ее темные глаза с теплотой смотрели на него. В этом взоре читалась трогательная просьба. Очень долго стоял он и в замешательстве смотрел в эти глаза, пока не заметил, что девушка в тонком платье дрожит.

— Ради бога, вы что, все время стояли здесь?

Согретая теплом его пальто, она смущенно посмотрела на него. Вдруг по лицу ее пробежала тень испуга. Глаза ее влажно заблестели. Она крепко прижалась к его груди.

— Фредерик... — прошептала она странно, непривычно звучащим голосом.

Он обнял ее. Чувство непостижимого богатства охватило его. Картина детства осветила его душу, белые облака на высоком небе, неутоленная тоска сердца по любви...

Потом они медленно, тесно прижавшись друг к другу, молча пошли в направлении города, где в небо вздымались черные фабричные трубы.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ
В РУЦЕ БОЖЬЕЙ

КНИГА ВТОРАЯ
ПРОЩАНИЕ С ГРЕЗАМИ

КНИГА ТРЕТЬЯ

ДОЛГИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ

Перечень заставок

На авантитуле
Фридрих Энгельс. Рисунок Л. Кузнецова

На супере
Бармен. Сер. XIX в.
Манчестер. Сер. XIX в.

ВАЛЬТЕР БАУМЕРТ

ПОЛЕТ СОКОЛА

ЮНОСТЬ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

ИБ № 13088

Мл. редактор *В. И. Власенко*
Художник *Т. К. Самигулин*
Художественный редактор *С. К. Матвеева*
Корректор *Т. А. Шустина*
Технические редакторы *Т. К. Купцова*,
Г. В. Лазарева

Сдано в набор 14.01.85. Подписано в печать 26.04.85
Формат 84×108 $^1/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура таймс.
Печать офсет. Условн. печ. л. 31,08.
Усл. кр. отт. 62,79. Уч.-изд. л. 34,99. Тираж 50000 экз. Заказ 1524.
Цена 4 р. 20 к. Изд. № 38309.

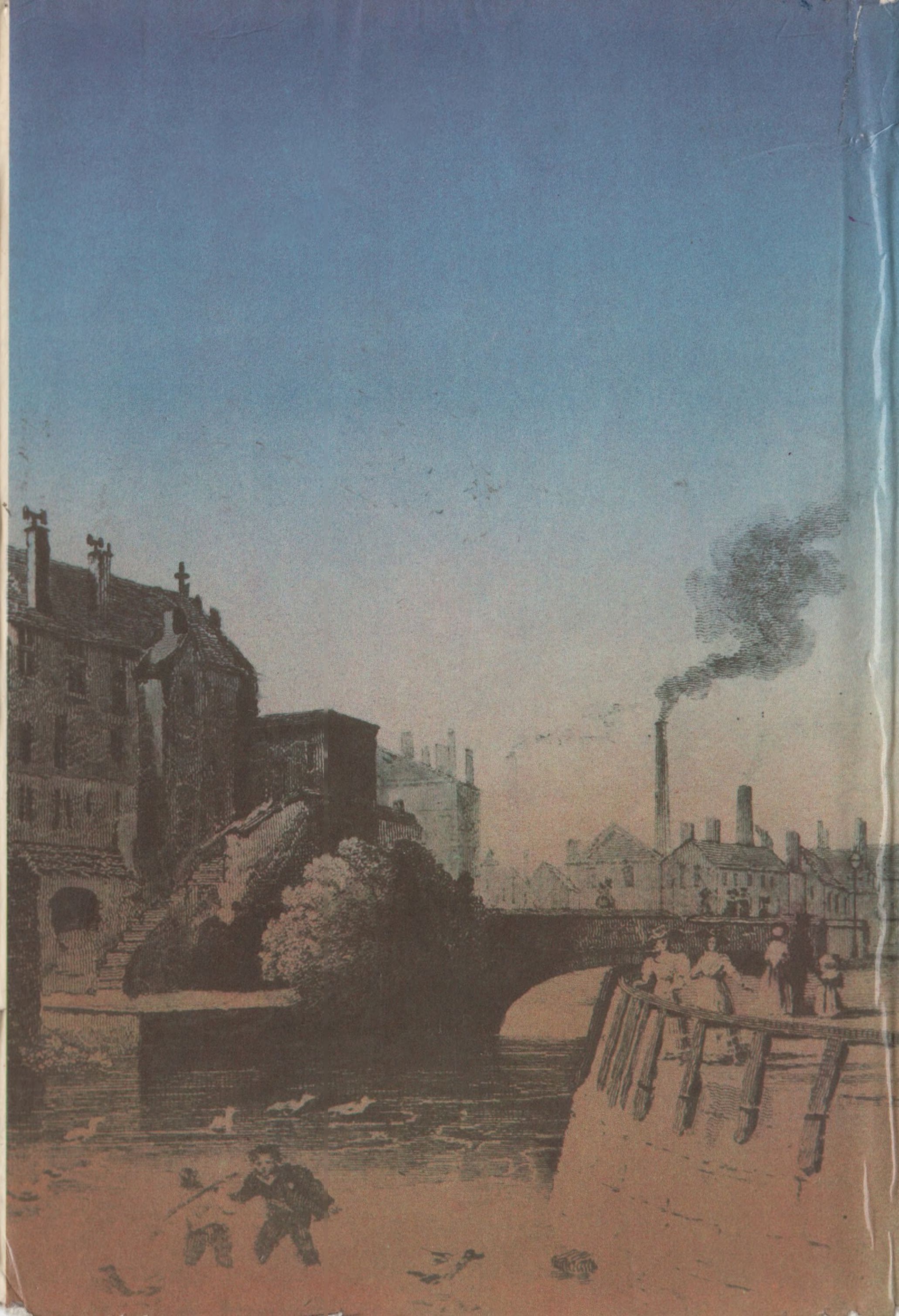
Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Прогресс» Государственного комитета СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский
полиграфический комбинат Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 170024, г. Калинин,
пр. Ленина, 5.

ВАЛЬТЕР БАУМЕРТ

ПОЛЕТ СОКОЛА

4 р. 20 к.



ВАЛЬТЕР БАУМЕРТ

ПОЛЕТ СОКОЛА

·ПРОГРЕСС·